

СТЕФАН
ЦВЕИГ

СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание
сочинений
в десяти
томах

STEFAN ZWEIG

Stefan Zweig

Собрание
сочинений
в десяти
томах

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Собрание
сочинений

Том 8

МАРИЯ СТЮАРТ
ВЧЕРАШНИЙ МИР



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1996

УДК 82/89
ББК 84(4 А)
Ц26

Внешнее оформление
И. САЙКО

Цвейг С.

Ц26 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 8: Мария Стюарт; Вчерашний мир: Воспоминания европейца / Пер. с нем.— М.: ТЕРРА, 1996.— 800 с.

ISBN 5-300-00434-0 (т. 8)

ISBN 5-300-00427-8

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций.

В восьмой том Собрания сочинений вошли произведения: «Мария Стюарт» — романизованная биография несчастной шотландской королевы и «Вчерашний мир» — воспоминания, в которых С. Цвейг рисует широкую панораму политической и культурной жизни Европы конца XIX — первой половины XX века.

УДК 82/89
ББК 84(4А)

ISBN 5-300-00434-0 (т. 8)
ISBN 5-300-00427-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1996



МАРИЯ
СТЮАРТ

ВСТУПЛЕНИЕ

Если ясное и очевидное само себя объясняет, то загадка будит творческую мысль. Вот почему исторические личности и события, окутанные дымкой загадочности, ждут от нас все нового осмысления и поэтического истолкования. Классическим, коронным примером того неистощимого очарования загадки, какое исходит порой от исторической проблемы, должна по праву считаться жизненная трагедия Марии Стюарт. Пожалуй, ни об одной женщине в истории не создана такая богатая литература — драмы, романы, биографии, дискуссии. Уже три с лишним столетия неустанно волнует она писателей, привлекает ученых, образ ее и поныне с неослабевающей силой тревожит нас, добиваясь все нового воспроизведения. Ибо все запутанное по самой природе своей тяготеет к ясности, а все темное — к свету.

Но все попытки отобразить и истолковать загадочное в жизни Марии Стюарт столь же противоречивы, сколь и многочисленны: вряд ли найдется женщина, которую бы рисовали так по-разному — то убийцей, то мученицей, то неумелой интриганкой, то святой. Однако разноречивость ее портретов, как ни странно, вызвана не скудостью дошедших сведений, а их смущающим изобилием. Сохранившиеся документы, протоколы, акты, письма и сообщения исчисляются тысячами — ведь что ни год, вот уже триста с лишним лет, все новые судьи, обуянные новым рвением, решают, виновна она или невинов-

на. Но чем добросовестнее изучаешь источники, тем с большей грустью убеждаешься в сомнительности всякого исторического свидетельства вообще (а стало быть, и изображения). Ибо ни тщательно удостоверенная давность документа, ни его архивная подлинность еще не гарантируют его надежности и человеческой правдивости.

На примере Марии Стюарт, пожалуй, особенно видно, с какими чудовищными расхождениями описывается одно и то же событие в анналах современников. Каждому документально подтвержденному «да» здесь противостоит документально подтвержденное «нет», каждому обвинению — извинение. Правда так густо перемешана с ложью, а факты с выдумкой, что можно, в сущности, обосновать любую точку зрения. Если вам угодно доказать, что Мария Стюарт была причастна к убийству мужа, к вашим услугам десятки свидетельских показаний; а если вы склонны отстаивать противное, за показаниями опять-таки дело не станет; краски для любого ее портрета всегда смешиваются заранее. Когда же в сумятицу дошедших до нас сведений вторгается еще и политическое пристрастие или национальный патриотизм, искажения принимают и вовсе злостный характер.

Такова уж природа человека, что, оказавшись между двумя лагерями, двумя идеями, двумя мировоззрениями, спорящими, быть или не быть, он не может устоять перед соблазном примкнуть к той или другой стороне, признать одну правой, а другую неправой, обвинить одну и воздать хвалу другой. Если же, как в данном случае, и сами авторы в большинстве своем принадлежат к одному из борющихся направлений, верований или мировоззрений, то однобокость их взглядов заранее предопределена; в общем и целом, авторы-протестанты возлагают всю вину на Марию Стюарт, а католики — на Елизавету. Англичане, за редким исключением, изображают ее убийцей, а шотландцы — безвинной жертвой подлой клеветы. Особенно много споров вокруг «писем из ларца», если одни клятвенно защищают их подлинность, то другие клятвенно ее опровергают. Словом, все до мелочей подцвечено здесь партийным

пристрастием. Быть может, поэтому неангличанин и нешотландец, свободный от такой кровной зависимости и заинтересованности, более способен судить объективно и непредвзято; быть может, художнику, охваченному хоть и горячим, но не партийно-пристрастным интересом, скорее дано понять эту трагедию.

Конечно, и с его стороны было бы непросительной смелостью утверждать, будто он знает непреложную правду обо всех обстоятельствах жизни Марии Стюарт. Единственное, что ему доступно, — это некий максимум вероятности, и даже то, что он по своему разумению и совести сочтет за объективную точку зрения, неизбежно будет носить черты субъективности. Поскольку источники загрязнены, ему приходится в мутных струях искать свою правду. И так как показания современников противоречивы, он вынужден на этом процессе в каждой мелочи выбирать между свидетелями обвинения и свидетелями защиты. Но как бы ни осмотрителен был его выбор, в иных случаях он поступит всего честней, снабдив свое суждение вопросительным знаком и признав, что тот или иной эпизод в жизни Марии Стюарт остался темным, недоступным исследованию и таким, должно быть, останется навсегда.

Поэтому автор представленного здесь опыта взял себе за правило не обращаться к показаниям, добытым пыткой и другими средствами запугивания и насилия: тот, кому дорога истина, не станет полагаться на вынужденные показания как на заслуживающие доверия. Точно так же и донесения шпионов и послов (в те времена понятия почти равнозначные) лишь с величайшим отбором принимаются здесь во внимание и каждый отдельный документ берется под сомнение; и если автор держится взгляда, что сонеты, а также большая часть «писем из ларца» достоверны, то пришел он к этому, тщательно взвесив все обстоятельства, а также основываясь на мотивах внутреннего характера. Повсюду, где в архивных документах сталкиваются два противоречивых утверждения, автор каждое из них возводил к его истокам и политическим мотивам, и если бывал вынужден сделать между ними выбор, всегда сооб-

разовывался с тем, насколько данный поступок психологически созвучен характеру в целом, что и было для него конечным мерилом.

Ибо сам по себе характер Марии Стюарт не представляет загадки, он противоречив лишь во внешнем своем развитии, внутренне же он монолитен и ясен от начала до конца. Мария Стюарт принадлежит к тому редкому, глубоко впечатляющему типу женщин, чья способность к бурным переживаниям как бы ограничена коротким сроком, к женщинам, которые знают лишь мгновенный пышный расцвет и расточают себя не постепенно, а словно сгорая в горниле одной-единственной страсти. До двадцати трех лет чувства ее все еще покоятся тихой заводью, да и потом, начиная с двадцати пяти, ни разу не всколыхнуться они бурным прибоем, и только в течение короткого двухлетия клокочет разбушевавшаяся стихия — так обычная, будничная судьба превращается в трагедию античного масштаба, великую и величаво развивающуюся трагедию, подобную «Орестее». Лишь за это двухлетие предстает перед нами Мария Стюарт поистине трагической фигурой, только под этим давлением поднимается она над собой, разрушая в неистовом порыве свою жизнь и в то же время сохраняя ее для вечности. Только благодаря страсти, убившей в ней все человеческое, имя ее еще и сегодня живет в стихах и спорах.

Этой необычайной уплотненностью внутренней жизни, сведенной к единственному мгновенному взрыву, предуказаны форма и ритм всякого жизнеописания Марии Стюарт; задача художника — воспроизвести эту круто взлетающую и так же внезапно ниспадающую кривую во всем ее неповторимом своеобразии. А потому да не сочтут произволом, что таким большим отрезкам времени, как первые двадцать три года жизни, а также без малого двадцать лет заточения, здесь отведено столько же места, сколько двум годам ее трагической страсти. В жизни человека внешнее и внутреннее время лишь условно совпадают; единственно полнота переживаний служит душе мерилом: по-своему, не как холодный календарь, отсчитывает она изнутри череду уходящих часов. В опьяне-

нии чувств, блаженно свободная от пут и благословенная судьбой, она может в кратчайший миг узнать жизнь во всей полноте, чтобы потом, отрешившись от страсти, снова впасть в пустоту бесконечных лет, скользящих теней, глухого Ничто. Вот почему в прожитой жизни идут в счет лишь напряженные, волнующие мгновения, вот почему единственно в них и через них поддается она верному описанию. Лишь когда в человеке взиграют его душевные силы, он истинно жив для себя и для других; только когда его душа раскалена и пылает, становится она зримым образом.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Первое место действия

Шотландия 1542—1548

Второе место действия

Франция 1548—1561

Третье место действия

Шотландия 1561—1568

Четвертое место действия

Англия 1568—1587

Ш О Т Л А Н Д И Я

Иаков V (1512—1542), отец Марии Стюарт.

Мария де Гиз Лотарингская (1515—1560), его супруга, мать Марии Стюарт.

Мария Стюарт (1542—1587).

Джеймс Стюарт, граф Меррейский (1533—1570), внебрачный сын Иакова V и Маргариты Дуглас, дочери лорда Эрскина, сводный брат Марии Стюарт, регент Шотландии до и после правления Марии Стюарт.

Генрих Дарнлей (Стюарт) (1546—1567), правнук Генриха VII по своей матери, леди Ленокс, племяннице Генриха VIII. Второй супруг Марии Стюарт, возведенный ею на шотландский престол.

Иаков VI (1566—1625), сын Марии Стюарт и Генриха Дарнлея. После смерти Марии Стюарт (1587) — полноправный шотландский король, после смерти Елизаветы (1603) — английский король Иаков I.

Джеймс Хепберн, граф Босуэлльский (1536—1578), позднее герцог Оркнейский, третий супруг Марии Стюарт.

Уильям Мэйтленд Летингтонский, государственный канцлер Марии Стюарт.

Джеймс Дуглас, граф Мортонский, после убийства Меррея — регент Шотландии, казнен в 1581 году.

Мэтью Стюарт, граф Ленокский, отец Генриха Дарнлея; обвинял Марию Стюарт в убийстве своего сына.

Аргайл
Аран
Мортон Дуглас
Эрскин
Гордон
Гаррис
Хантлей
Керколди Грейнджский
Линдсей
Мар
Рутвен

лорды, выступающие то как сторонники, то как противники Марии Стюарт; участники бесчисленных заговоров и междоусобиц, они почти все кончают жизнь на эшафоте.

Мэри Битон
Мэри Флеминг
Мэри Ливингстон
Мэри Сетон

четыре Марии, сверстницы и подруги Марии Стюарт.

Джон Нокс (1505—1572), проповедник реформаторской церкви, главный противник Марии Стюарт.

Давид Риччо, музыкант, секретарь Марии Стюарт, убит в 1566 году.

Пьер де Шателляр, французский поэт при дворе Марии Стюарт, казнен в 1563 году.

Джордж Бьюкенен, гуманист, воспитатель Иакова VI, автор наиболее злобных пасквилей на Марию Стюарт.

Ф Р А Н Ц И Я

Генрих II (1518—1559), с 1547 года французский король.

Екатерина Медичи (1519—1589), его супруга.

Франциск II (1544—1560), его старший сын, первый супруг Марии Стюарт.

Карл IX (1550—1574), младший брат Франциска II, после его смерти король Франции.

Кардинал Лотарингский
Клод де Гиз
Франсуа де Гиз
Анри де Гиз

из дома Гизов.

*Ронсар
Дю Белле
Брантом* }

авторы, прославлявшие Марию Стюарт
в своих творениях.

АНГЛИЯ

Генрих VII (1457—1509), с 1485 года английский король, дед Елизаветы, прадед Марии Стюарт и Дарнлея.

Генрих VIII (1491—1547), его сын, правил с 1509 года.

Анна Болейн (1507—1536), вторая супруга Генриха VIII; обвиненная в нарушении супружеской верности, была казнена.

Мария I (1516—1558), дочь Генриха VIII от брака с Екатериной Арагонской, после смерти Эдуарда VI (1553) — английская королева.

Елизавета (1533—1603), дочь Генриха VIII и Анны Болейн, при жизни отца считалась незаконнорожденной; после смерти своей сводной сестры Марии (1558) она взошла на английский престол.

Эдуард VI (1537—1553), сын Генриха VIII от третьего брака с Джоанной Сеймур, ребенком обручен с Марией Стюарт, с 1547 года — король.

Иаков I, сын Марии Стюарт, преемник Елизаветы.

Уильям Сесил, лорд Берли (1520—1598), всемогущий государственный канцлер Елизаветы.

Сэр Фрэнсис Уолсингем, государственный секретарь и министр полиции.

Уильям Девисон, второй секретарь.

Роберт Дадлей, граф Лестерский (1532—1588), фаворит Елизаветы, предложенный ею в супруги Марии Стюарт.

Томас Хоуард, герцог Норфолкский, первый дворянин королевства, претендовал на руку Марии Стюарт.

Толбот, граф Шрусберийский, по поручению Елизаветы был стражем Марии Стюарт в течение пятнадцати лет.

Эмиас Паулет, последний тюремщик Марии Стюарт.

Палач города Лондона.



Г Л А В А I
КОРОЛЕВА-ДИТЯ
1542—1548

Марии Стюарт не исполнилось и недели, когда она стала королевой Шотландии; так с первых же дней заявляет о себе изначальный закон ее жизни — слишком рано, еще не умея радоваться, приемлет она щедрые дары фортуны. В сумрачный день в декабре 1542 года, увидевший ее рождение в замке Линлитгау, отец ее, Иаков V, лежит в соседнем Фокленде на смертном одре. Тридцать один год королю, а он уже сломлен жизнью, устал от власти и борьбы. Истинный храбрец и рыцарь, жизнелюб по натуре, он страстно почитал искусство и женщин и был любим народом. Нередко, одетый простолюдином, посещал он сельские праздники, танцевал и шутил с крестьянами, и отчизна еще долго хранила в памяти сложенные им песни и баллады. Но злосчастный наследник злосчастливого рода, он жил в смутное время в непокорной стране, и это решило его участь.

Властный, наглый сосед Генрих VIII побуждает его насадить у себя реформацию, но Иаков V остается верен католицизму, и этим разладом пользуется шотландская знать, вечно впутывающая жизнерадостного, миролюбивого короля в войны и смуты. За четыре года до смерти, когда он искал руки Марии де Гиз, Иаков V уже хорошо понимал, что значит быть королем наперекор строптивым и хищным кланам. «Madame, — писал он ей с трогательной искренностью, — мне всего лишь двадцать семь лет, а жизнь уже тяготит меня, равно как и моя корона... Осиротев в раннем детстве, я был пленником честолюбивой знати; могущественный род Дугла-

сов держал меня в неволе, и я ненавижу это имя и саму память о нем. Арчибалд, граф Энгасский, Джордж, его брат, и все их изгнанные родичи постоянно натравливают на нас английского короля, и нет у меня в стране дворянина, которого он не совратил бы бесчестными посулами и не подкупил золотом. Никогда не могу я быть уверен в своей безопасности, а равно и в том, что воля моя и справедливые законы выполняются. Все это страшит меня, Madame, и от вас жду я поддержки и совета. Без всяких средств, пробавляясь даяниями моего богатого духовенства, пытаюсь я украшать свои замки, подновлять крепости и строить корабли. Но мои бароны видят в короле, который хочет на деле быть королем, ненавистного соперника. Боюсь, что, невзирая на дружбу французского короля и поддержку его войск, невзирая на преданность народа, мне не одолеть баронов. Я не отступил бы ни перед чем, чтобы проложить моей стране путь к справедливости и миру, и думаю, что преуспел бы, когда бы не было у моей знати могущественного союзника. Английский король неустанно разжигает меж нами вражду, а ереси, насаждаемые им в моем государстве, поражают все сословия вплоть до духовенства и простонародья. Единственной силой, на которую я и мои предки искони могли опереться, были горожане и церковь, и я спрашиваю себя: долго ли еще они будут нам опорой?»

Поистине это письмо Кассандры — все его зловещие предсказания сбываются, да и многие другие, еще более тяжкие бедствия обрушиваются на короля. Оба сына, подаренные ему Марией де Гиз, умирают в колыбели, и у Иакова V в его лучшей поре все еще нет наследника короны, которая год от года все более его тяготит. В конце концов непокорные бароны вовлекают его в войну с могущественной Англией, чтобы в критическую минуту предательски покинуть. У Солвейского залива Шотландия узнала не только горечь, но и позор поражения. Войско, покинутое предводителями кланов, трусливо разбежалось, почти не оказав сопротивления, а король, мужественный рыцарь, в этот тяжкий час сражается не с чуждым

врагом, а с собственной смертью. В Фокленде лежит он, измученный лихорадкой, утомленный постылой жизнью и бессмысленной борьбой.

В тот хмурый зимний день девятого декабря 1542 года, когда за окнами стоял непроницаемый туман, в ворота замка Фокленд постучал гонец. Он принес измученному, угасающему королю весть о том, что у него родилась дочь, наследница. Но в опустошенной душе Иакова V нет места радости и надежде. Почему не сын, не наследник?.. Обреченный смерти, видит он повсюду лишь несчастье, крушение и безысходное зло. «Женщина принесла нам корону, с женщиной мы ее утратим», — произносит он покорно. Это мрачное пророчество было его последним словом. Глубоко вздохнув, повернулся он к стене и больше ни на что не реагировал. Спустя несколько дней его предали земле, и Мария Стюарт, еще не научившись видеть мир, стала королевой.

Однако быть из рода Стюартов и притом шотландской королевой значило нести двойное проклятие, ибо ни одному из Стюартов не выпало на этом престоле счастливо и долго царствовать. Двое королей — Иаков I и Иаков III — были умерщвлены, двое — Иаков II и Иаков IV — пали на поле брани, а двум их потомкам — этой еще несмышленной крошке и ее кровному внуку Карлу I — судьба уготовила еще более страшную участь — эшафот. Никому из этого рода Атреева* не было дано достичь преклонных лет, никому не благоприятствовала судьба и звезды. Вечно воюют они с врагами внешними, врагами внутренними и с самими собой, вечно окружены смутой и носят смуту в себе. Их страна так же не знает мира, как не знают его они сами. Меньше всего могут они положиться на тех своих подданных, кто должен быть опорой трона, — на лордов и баронов, на все это мрачное и суровое, дикое и необузданное, алчное и воинственное, упрямое и своенравное

*Здесь: проклятый род.

племя рыцарей, — «un pays barbare et une gent brutelle»*, как жалуется Ронсар, поэт, заброшенный в эту страну туманов.

Чувствуя себя в своих поместьях и замках маленькими королями, лорды и бароны гонят, точно убойный скот, подвластных им пахарей и пастухов на свои нескончаемые войны и разбойничьи набеги; неограниченные властители кланов, они не знают иной утехи, кроме войны. Их стихия — раздоры, их побуждение — зависть, все их помыслы о власти. «Золото и корысть — единственные сирены, чьих песен заслушиваются шотландские лорды, — пишет французский посол. — Учить их, что такое долг перед государем, честь, справедливость, благородные поступки, — значит лишь вызвать у них насмешку». Драчливые и хищные, как итальянские кондотьеры, но еще более необузданные и неотесанные в проявлении своих страстей, все эти древние могущественные кланы — Гордоны, Гамильтоны, Араны, Мэйтленды, Крофорды, Линдсеи, Ленноксы и Аргайлы — вечно грызутся между собой из-за первенства. То они ополчаются друг на друга в бесконечных усобицах, то клятвенно скрепляют в торжественных «бондах»** свои недолговечные союзы, сговариваясь против кого-то третьего, вечно сбиваются в шайки и клики, но ничем не связаны меж собой и, будучи все родственниками и свойственниками, на самом деле завистливые и непримиримые враги. В душе это все те же язычники и варвары, как бы они себя ни именовали, протестантами или католиками, — смотря по тому, что им выгоднее, — все те же правнуки Макбета и Макдуфа, кровавые таны, столь блистательно запечатленные Шекспиром.

Только в одном едина неукротимая завистливая свора — в борьбе против своего государя, короля, ибо всем им одинаково несносно послушание и незнакома верность. И если эта «кучка негодяев» — «parcel of rascals», как заклеил их шотландец из шотландцев Бернс, — и терпит некое подобие власти над

*Варварская страна и жестокое племя (фр.).

**Договорах (англ.).

своими замками и прочим достоянием, то лишь из ревности одного клана к другому. Гордоны потому оставляют корону Стюартам, что боятся, как бы она не досталась Гамильтонам, а Гамильтоны — лишь из ревности к Гордонам. Но горе шотландскому королю, вздумай он в своей пылкой, юношеской самонадеянности стать королем на деле, насаждать в стране порядок и добрые нравы и противостоять алчности лордов! Весь этот враждующий между собой сброд тотчас же по-братски сплотится, чтобы свергнуть своего государя; и коль не сладится у них дело мечом, то к их услугам надежный кинжал убийцы.

Трагическая, раздираемая бурными страстями, сумрачная и романтическая, как баллада, эта маленькая, обособленная, омытая морями страна на северной окраине Европы — к тому же еще и нищая, ибо ее истощают нескончаемые войны. Несколько городов — впрочем, какие же это города, — просто сбившиеся под защиту крепости лачуги! — не могут разбогатеть или даже достичь благосостояния. Их вечно грабят и жгут. Замки же аристократов, сумрачные и величавые развалины коих высятся и по сей день, ничем не напоминают настоящих замков, кичащихся своим великолепием и придворным блеском; эти неприступные крепости предназначались для войны — не для мирного гостеприимства. Между немногочисленными разветвленными аристократическими родами и их холопами отсутствовала столь необходимая государству благотворная сила деятельного среднего сословия. Единственная густонаселенная область между реками Твид и Ферт лежит слишком близко к английской границе, и набеги то и дело разоряют ее и опустошают. На севере можно часами бродить вокруг одиноких озер, по пустынным пастбищам или дремучим лесам, не встречая ни селения, ни замка, ни города. Деревни здесь не лепятся друг к другу, как в перенаселенных краях Европы: здесь нет ни широких дорог, несущих в страну торговлю и деловое оживление, ни пестрящих вымпелами рейдов, как в Голландии, Испании и Англии, откуда отплыва-

ют корабли, спеша в далекие океаны за золотом и пряностями; население еле-еле кормится, пробавляясь овцеводством, рыбной ловлей и охотой, как в дедовские времена; по своим обычаям и законам, по благосостоянию и культуре Шотландия той поры не меньше чем на столетие отстала от Англии и Европы. В то время как в портовых городах повсеместно возникают банки и биржи, здесь, словно в библейские дни, богатство измеряется количеством земли и овец. Все достояние Иакова V, отца Марии Стюарт, составляют десять тысяч овец. У него нет ни сокровищ короны, ни армии, ни лейб-гвардии для утверждения своей власти, ибо он не может их содержать, а парламент, где все решают лорды, никогда не предоставит королю действительных средств власти. Все, что есть у короля, помимо скудного пропитания, дарят ему богатые союзники — Франция и папа; каждый ковер, каждый гобелен, каждый подсвечник в его дворцовых покоях и замках достался ему ценой унижения.

Неизбывная нищета, подобно гнойной язве, истощает политические силы Шотландии, прекрасной, благородной страны. Нужда и алчность ее королей, солдат и лордов делают ее игрушкой в руках иноземных властителей. Кто борется против короля и за протестантизм, тому платит Лондон; кто борется за католицизм и Стюартов, тому платят Париж, Мадрид и Рим; иностранные державы охотно покупают шотландскую кровь. Спор двух великих наций о первенстве все еще не решен, поэтому Шотландия — ближайшая соседка Англии — незаменимый партнер Франции в игре. Каждый раз, как английские войска вторгаются в Нормандию, Франция нацеливает этот кинжал в спину Англии, и воинственные скотты немедленно переходят *the border*^{*}, угрожая своим *auld enemies*^{**}.

Но и в мирное время шотландцы — вечная угроза Англии.

*Границу (англ.).

**Заклятым врагам (средневек. англ.).

Поэтому укрепление военных сил Шотландии — первейшая забота французских политиков; Англия же, стравливая лордов и разжигая в стране мятежи, стремится подорвать эти силы. Так несчастная страна становится кровавым полем столетней войны, и только трагическая судьба еще несмышленного младенца окончательно решит этот спор.

Какой великолепный драматический символ: борьба начинается у самой колыбели Марии Стюарт! Младенец еще не говорит, не думает, не чувствует, он едва шевелит ручонками в своем конверте, а политика уже цепко хватает его нерасцветшее тельце, его невинную душу. Таков злой рок Марии Стюарт, вечно втянута она в эту азартную игру. Никогда не сможет она беззаботно отдаться влечениям своей натуры, постоянно ее впутывают в политические интриги, делают объектом дипломатических уловок, игрушкой чужих интересов, всегда она лишь королева или претендентка на престол, союзница или враг.

Не успел гонец доставить в Лондон обе вести, что Иаков V скончался и что у него родилась дочь, наследная принцесса и королева Шотландии, как Генрих VIII Английский решает заручиться этой драгоценной невестой для своего малолетнего сына Эдуарда; еще не сложившимся телом, еще дремлющей душой распоряжаются, как товаром. Но политика не считается с чувствами, она принимает в расчет только короны, государства и права наследования. Отдельный человек для нее не существует, он ничего не значит по сравнению с мнимыми и реальными целями всемирной игры. Правда, в этом конкретном случае намерение Генриха VIII обручить престолонаследницу Шотландии с престолонаследником Англии разумно и даже гуманно. Непрерывная война между двумя братскими странами давно утратила всякий смысл. Перед народами Англии и Шотландии, живущими на одном острове, под защитой и угрозой одного моря, родственными по происхождению и условиям жизни, несомненно, стоит одна задача: объединиться. Природа на сей раз недвусмысленно явила свою волю. И

только соперничество обеих династий, Тюдоров и Стюартов, препятствует выполнению задачи. Если бы удалось благодаря этому браку превратить спор в союз, общие потомки Стюартов и Тюдоров стали бы одновременно править Англией, Шотландией и Ирландией, и объединенная Великобритания могла бы отдать свои силы более сложной борьбе — за мировое первенство.

Но такова ирония судьбы: едва лишь в политике в виде исключения блеснет ясная, разумная идея, как ее искажают неумным исполнением. Сначала все идет как по маслу: стоворчивые лорды, которым щедро заплачено, охотно голосуют за брачный договор. Однако умудренный опытом Генрих VIII не удовлетворяется клочком пергамента. Ему слишком хорошо знакомы лицемерие и жадность этих благородных господ, и он понимает, что на них нельзя положиться и что за большую сумму они тут же перепродадут малютку-королеву французскому дофину. А потому Генрих VIII требует от шотландских посредников в качестве первейшего условия немедленной выдачи ребенка.

Но если Тюдоры не верят Стюартам, то Стюарты платят им той же монетой; особенно противится договору королева-мать. Набожная католичка, дочь Гизов не хочет отдать свое дитя вероотступникам и еретикам, а кроме того, не требуется большой проницательности, чтобы обнаружить в договоре опасную ловушку. Особым, секретным пунктом посредники обязались в случае преждевременной смерти ребенка содействовать тому, чтобы «вся полнота власти и управление королевством» перешли к Генриху VIII. Тут есть над чем задуматься! От человека, который уже двух жен отправил на эшафот, всего можно ждать: в своем нетерпении завладеть желанным наследством он еще, пожалуй, постарается, чтобы ребенок умер поскорей — и не своей смертью; поэтому заботливая мать отклоняет требование о выдаче малютки Лондону. Сваатовство едва не приводит к войне. Генрих VIII посылает войска, чтобы захватить драгоценный залог, и отданный по армии

приказ красноречиво говорит об откровенной бесчеловечности века: «Его Величество повелевает все предать огню и мечу. Спалите Эдинбург дотла и сровняйте с землей, как только вынесете и разграбите все, что возможно... Разграбьте Холируд и столько городов и сел вокруг Эдинбурга, сколько встретите на пути; отдайте на поток и разграбление Лейт и другие города, а где наткнетесь на сопротивление, без жалости истребляйте мужчин, женщин и детей».

Как гунны, вторглись вооруженные орды Генриха VIII в Шотландию. Но мать и дитя своевременно укрылись в укрепленном замке Стирлинг, и Генриху VIII пришлось удовольствоваться договором, по которому Шотландия обязалась выдать Марию Стюарт Англии (вечно ее продают и покупают, как товар!) в день, когда ей исполнится десять лет.

Казалось бы, все уладилось к общему удовольствию. Но политика во все времена была наукой парадоксов. Ей чужды простые, разумные и естественные решения: создавать трудности — ее страсть, сеять вражду — ее призвание. Вскоре католическая партия пускается в интриги, выясняя исподтишка, не выгоднее ли сбыть дитя — оно еще только лепечет и улыбается — французскому дофину, а после смерти Генриха VIII никто уже и не думает о выполнении договора. Но теперь выдачи малютки-невесты от имени малолетнего короля Эдуарда требует английский регент Сомерсет, и, так как Шотландия противится, он опять посылает войска, ибо с лордами можно говорить только на одном языке — языке силы. Десятого сентября 1547 года в битве, — вернее, бойне — при Пинки шотландская армия была разбита наголову, более десяти тысяч трупов усеяли поле брани. Марии Стюарт не исполнилось и пяти лет, а из-за нее уже рекой льется кровь.

Перед англичанами лежит беззащитная Шотландия. Но в разграбленной стране нечего взять; Тюдоров же интересуется единственным сокровище — ребенок, олицетворяющий корону и преемство трона. Однако, к великому огорчению английских шпионов, Мария Стюарт неожиданно и бесследно исчезла из

замка Стирлинг; даже наиболее приближенные лица не знают, куда спрятала ее королева-мать. Новый надежный тайник выбран превосходно: ночью преданные слуги под строжайшим секретом отвозят ребенка в монастырь Инчмэхом, укрывшийся на небольшом островке посреди озера Ментит — «dans les pays des sauvages»*, как сообщает французский посол. Ни одна тропка не ведет в заповедные места; драгоценный груз доставляют в лодке на остров и там поручают заботам благочестивых иноков, никогда не покидающих обитель. Здесь, в надежном убежище, вдали от беспокойного, взбаламученного мира, живет, ничего не ведая, невинное дитя, меж тем как дипломатия, раскинув свои сети над морями и океанами, усердно занимается его судьбой. Ибо на арену, угрожая, выступает Франция, чтобы не дать Англии полностью подчинить себе Шотландию.

Генрих II, сын Франциска I, посылает в Шотландию сильную эскадру, и генерал-лейтенант французского вспомогательного корпуса просит от его имени руки Марии Стюарт для малолетнего дофина Франциска. Политический ветер, резко и порывисто задувший из-за пролива, круто повернул судьбу ребенка: вместо того чтобы сделаться английской королевой, маленькая дочь Стюартов внезапно предназначена в королевы Франции. Едва лишь новое и более выгодное соглашение заключено, как седьмого августа драгоценный объект сделки, девочку Марию Стюарт пяти лет восьми месяцев от роду, сажают на корабль и отвозят во Францию, запродав другому, столь же незнакомому супругу. Вновь — и не в последний раз — чужая воля определяет и изменяет ее судьбу.

Неведение — великое преимущество детства. Что знает трехлетнее, четырехлетнее, пятилетнее дитя о войне и мире, о битвах и договорах? Что ему Франция или Англия, Эдуард или Франциск, что ему неистовое безумие, охватившее мир? Длинноногая девочка с развевающимися белокурыми локонами бегаёт и резвится в мрачных и светлых покоях замка вместе

* В краю дикарей (фр.).

с четырьмя своими сверстницами-подружками. Ибо ей — чудесная идея в столь варварский век — отобрали среди лучших семейств Шотландии четырех подруг, ее однолеток: Мэри Флеминг, Мэри Битон, Мэри Ливингстон и Мэри Сетон. Дети, как и она, они сегодня весело играют с малюткой королевой, завтра они разделят ее одиночество на чужбине, позднее сделаются ее придворными дамами и однажды, в особенно задумчивую минуту, поклянутся выйти замуж не раньше, чем их госпожа изберет себе супруга. И если три из них покинут королеву в несчастье, то одна последует за ней и в изгнание и будет ей верна до самого смертного часа; так отблеск блаженного детства озарит и ее последние, страшные минуты.

Пока же пять девочек весело играют изо дня в день то в замке Холируд, то в замке Стирлинг, не задумываясь о таких вещах, как королевское достоинство и величие, ведущее к опасной гордыне. Но однажды вечером маленькую Марию поднимают с постели, в сумраке ночи на озере ждет лодка, чтобы отвезти ее на тихий, благостный остров — Инчмэхом зовут его, что значит «мирная обитель». Какие-то незнакомые люди, одетые не так, как все, в черных широких развевающихся рясах, приветствуют ее. Добрые и кроткие, они чудесно поют в высоком зале с цветными окнами, и девочка быстро привыкает к ним. Но вскоре ее опять увозят вечером (и не однажды придется Марии Стюарт бежать под покровом ночи от одной судьбы к другой); и вот она на высоком корабле со скрипящими мачтами и белыми парусами; кругом чужие солдаты и бородатые матросы. Но маленькая Мария не боится. Все они добры и ласковы с ней; семнадцатилетний сводный брат Джеймс, один из многочисленных бастардов Иакова V, рожденных до его брака, гладит ее пушистые белокурые волосы, да и четыре Марии, ее любимые подружки, тоже с нею. Пять девочек, радуясь новым впечатлениям, как радуются дети всякой перемене, резвятся меж пушками французского военного судна и закованными в латы моряками. А высоко на марсе матрос опасливо вглядывается в даль; он знает: по проливу

курсирует английский флот в надежде захватить невесту английского короля, пока она не стала нареченной французского дофина. Но ребенок видит только то, что рядом и что ему ново; он видит: море синее, люди добрые, и корабль, фыркая, как исполинский зверь, прокладывает себе в волнах дорогу.

Тринадцатого августа галеон входит в Росков, небольшой портовый город близ Бреста. Шлюпки пристали к берегу, и, по-детски радуясь чудесному приключению, беспечная, шаловливая шестилетняя королева Шотландии спрыгнула на французскую землю. На этом кончается ее детство, начинается пора обязанностей и испытаний.

Г Л А В А II

ЮНОСТЬ ВО ФРАНЦИИ

1548—1559

Французский двор — великий знаток благородных обычаев, ему до тонкости известны правила загадочной науки, именуемой этикетом. Кто-кто, а уж Генрих II Валуа доподлинно знает, с какими почестями должно встречать нареченную дофина. Еще до ее прибытия подписывает он указ о том, чтобы маленькую королеву Шотландии — *la reinette* — приветствовали на ее пути по всем градам и весям так же почтительно, как если бы то была его родная дочь. Уже в Нанте Марию Стюарт ждут восхитительные знаки внимания. Мало того, что на всех площадях воздвигнуты арки с классическими эмблемами, со статуями языческих богинь, нимф и сирен; придворной свите для пущего веселья не жалеют отменного вина. Щедро палят из пушек и жгут фейерверки; впереди малютки-королевы выступает крошечное войско — сто пятьдесят мальчиков в белоснежных одеждах, с трубами и барабанами, с миниатюрными пиками и алебардами — своего рода почетный эскорт. И так из города в город нескончаемой вереницей празднеств следует она до Сен-Жерменского дворца. Здесь шестилетняя девочка впервые встречает своего нареченного, кото-

рому не исполнилось еще и пяти лет, и хилый, бледный, рахитичный мальчик — ему на роду написана хворость и ранняя могила, ибо в жилах у него течет отравленная кровь, — смущенно и робко приветствует свою «невесту». Тем радушнее принимают ее остальные члены королевской фамилии, очарованные ее детской прелестью, а восхищенный Генрих II называет ее в письме «la plus parfayt enfant que je vus jamés»*.

Французский двор в эти годы — один из самых блестящих и пышных в мире. Только что миновало мрачное средневековье, и последние романтические отблески умирающего рыцарства еще озаряют поколение переходной эпохи. По-прежнему сила и храбрость проявляют себя в стародавних суровых и мужественных потехах: охоте, игрищах, турнирах, приключениях, войне, но в высших кругах общества уже одерживает верх духовное начало; гуманизм завоевывает вслед за монастырями и университетами и королевские замки. Из Италии во Францию в победном шествии проникают излюбленный папами культ роскоши, характерное для Ренессанса тяготение к духовно-чувственным наслаждениям, увлечение изящными искусствами; в это историческое мгновение здесь возникает новый идеал, единственное в своем роде сочетание силы и красоты, беспечности и отваги — высокое искусство презирать смерть и в то же время страстно любить жизнь.

Естественнее и свободнее чем где бы то ни было объединяются во французском характере горячий темперамент с беззаботной легкостью, галльская *chevalerie*** чудесным образом гармонирует с классической культурой Ренессанса. От дворянина наравне с умением, облачившись в тяжелые доспехи, стремительно атаковать противника на турнире, требуется и безукоризненное выполнение замысловатых танцевальных фигур, он должен постичь как суровую науку войны, так и галантные законы придворной куртуазии; одна и та же рука должна разить тяжелым двуручным мечом, чувствительно

*Самый прелестный ребенок, какого мне довелось видеть (фр.).

**Рыцарственность (фр.).

играть на лютне и писать сонеты даме сердца. Сочетать в себе полярные противоположности — силу и нежность, суровость и изысканность, быть равно оснаственным для боя и для духовного поединка — вот идеал того времени.

Днем король и его дворяне на взмыленных скакунах носятся в погоне за оленями и вепрями и скрещивают мечи и копья на турнирах, а вечерами кавалеры и знатные дамы собираются в заново отделанных с небывалой роскошью дворцах — Лувре, Сен-Жермене, Блуа и Амбуазе — для изысканных развлечений. При дворе читают стихи, поют мадригалы, музицируют, возрождают в маскарадах дух античности. Множество красивых, нарядных женщин, творения таких поэтов и художников, как Ронсар, Дю Белле и Клуэ, сообщают двору невиданную красочность и жизнерадостность, небывалой щедростью проявляющиеся во всех областях искусства и жизни. Как и вся Европа накануне злосчастных религиозных войн, Франция той поры стоит перед великим расцветом культуры.

Тот, кому предстоит жить при таком дворе, а тем более царить в нем, должен отвечать этим новым культурным запросам. Он должен стремиться овладеть всеми искусствами и знаниями, совершенствуя свой ум, равно как и свое тело. Навсегда послужит к чести гуманизма, что от тех, кто готовил себя к власти, он требовал знакомства со всеми видами искусств. Пожалуй, никогда еще не уделялось столько внимания безукоризненному воспитанию не только мужчин высшего сословия, но и женщин — этим открывалась новая эра. Как и Мария Английская и Елизавета, изучает Мария Стюарт классические языки — греческий и латынь, а также современные — итальянский, английский, испанский. Благодаря острому, живому уму и унаследованному предрасположению ко всему изящному одаренной девочке все дается шутя. Уже в тринадцать лет, изучив латынь по «Беседам» Эразма, она в Лувре перед всем двором произносит речь собственного сочинения, и ее дядя, кардинал Лотарингский, с гордостью сообщает матери, Марии де Гиз: «Душевное величие, красота и мудрость Вашей дочери столь возросли и возрастают с каждым

днем, что она уже сейчас владеет в совершенстве всеми славными и благородными науками, и ни одна из дочерей дворянского или иного сословия в этом королевстве не может с ней сравниться. Я счастлив сообщить Вам, что король очень к ней привязан, иногда он более чем по часу беседует с ней одной, и она так умеет занять его разумными и здоровыми речами, как впору и двадцатипятилетней!»

И в самом деле, умственно Мария Стюарт развилась необычайно рано. Она в короткое время настолько овладела французским, что пробует свои силы и в стихах, достойно отвечая на хвалебные оды таких поэтов, как Ронсар и Дю Белле; и не только в придворной игре «на случай» тешит она муз, нет, в самые горькие минуты юная королева, полюбившая поэзию и полюбившаяся поэтам, изливает свои чувства в стихах. Впрочем, тонкий вкус проявляется у нее и в других искусствах: она очаровательно поет, аккомпанируя себе на лютне, и покоряет всех танцами; ее вышивки говорят не только об умении, но и об одаренности; она и одевается с отменным вкусом, без той помпезной роскоши, какой чванится Елизавета, щеголяющая в своих широчайших робах, — Мария Стюарт одинаково мила и естественна и в пестрой шотландской юбочке, и в торжественном одеянии.

Такт и чувство прекрасного у нее природные, а свою величественную, ничуть не театральную осанку — источник поэтического очарования, прославившего ее в веках, — дочь Стюартов сохранит и в самые тяжкие минуты как драгоценное наследие королевской крови и княжеского воспитания. Но и в телесных упражнениях — неутомимая наездница, страстная охотница, искусный игрок в мяч — она едва ли уступает самым закаленным атлетам этого рыцарственного двора; ее стройное тело отроковицы, при всей своей грации, не знает усталости. Самозабвенно и радостно, блаженно и беззаботно припадает она ко всем источникам романтической юности, не подозревая, что величайшее счастье своей жизни она уже исчерпала без остатка. Вряд ли в ком рыцарско-романтический идеал женщины французского Ренессанса нашел более

совершенное воплощение, чем в этой жизнерадостной и пылкой принцессе.

Но не только музы — и боги благословили ее колыбель. Душевное совершенство сочетается у Марии Стюарт с необычайным телесным очарованием. Едва ребенок стал девушкой, женщиной, как поэты наперебой спешат воспеть ее красоту. «На пятнадцатом году красота ее воссияла, как свет яркого дня», — возглашает Брантом, и еще более пламенно — Дю Белле:

En v^otre esprit le ciel s'est surmonté
Nature et art ont en v^otre beaute
Mis tout le beau dont la beauté s'assemble.

Чтобы, как в зеркале, обворожая нас* ,
Явить нам в женщине величие богини,
Жар сердца, блеск ума, вкус, прелесть форм и линий,
Вас людям небеса послали в добрый час.

Природа, захотев очаровать наш глаз
И лучшее затмить, что видел мир доньне,
Так много совершенств собрав в одной картине,
Все мастерство свое вложила щедро в вас.

Творя ваш светлый дух, Бог превзошел себя.
Искусства к вам пришли, гармонию любя,
Ваш облик завершить, прекрасный от природы.

И музы дар певца мне дан лишь для того,
Чтоб сразу в вас одной, на то не тратя годы,
Воспел я небеса, природу, мастерство.

Лопе де Вега восторженно слагает ей гимны: «Звезды даровали ее глазам свой нежнейший блеск, а ланитам — краски, придающие ей столь удивительную прелесть». После смерти Франциска Ронсар вкладывает в уста его брата Карла IX следующие строки, исполненные почти завистливого восхищения:

*Здесь и далее стихи даются в переводе В. Левика.

Avoit joui d'une telle beauté
Sein contre sein, valoit ta royauté.

Кто грудь ее ласкал, забыв на ложе сон,
За эту красоту отдаст, не дрогнув, трон.

Дю Белле как бы суммирует все похвалы, расточаемые Марии Стюарт во многих описаниях и стихах, восторженно восклицая:

Contentez vous mes yeux,
Vous ne verrez jamais une chose pareille.

Глядите на нее, мои глаза, —
Нет больше в мире красоты подобной.

Но ведь поэты — заведомые льстецы, а особенно придворные пииты, когда они прославляют свою властительницу; с тем большим интересом вглядываемся мы в ее портреты той поры, зная, что залогом их достоверности служит мастерская кисть Клуэ, и хоть не испытываем разочарования, однако не разделяем и чрезмерных восторгов. Перед нами не блистательная, а скорее пикантная красота: милый нежный овал, которому чуть заостренный нос придает легкую неправильность, сообщающую женскому лицу какое-то особое очарование. Мягкие темные глаза с поволокой загадочно мерцают, безмятежные губы затаили еще неведомую тайну; поистине природа не пожалела для этой принцессы драгоценнейших своих материалов, подарив ей изумительно белую с матовым отливом кожу, густые пепельные волосы, прихотливо перевитые жемчужными нитями, длинные, тонкие, белоснежные пальцы, стройный, гибкий стан, «...dont le corsage laissait entrevoir la neige de sa poitrine et dont le collet relevé droit decouvrait le pur modelé de ses épaules»^{*}.

* «...Корсаж приоткрывает ее белоснежную грудь, а высокий стоячий ворот подчеркивает безупречные линии плеч» (фр.).

В этом лице не найдешь изъяна, но именно холодная безупречная красота лишает его всякой характерности. Глядя на портрет этой прелестной девушки, вы ничего о ней не узнаете, да и сама она ничего толком о себе не знает. В ее лице еще не видна женщина — приветливо и ласково глядит на вас хорошенькая кроткая институтка.

Об этой незрелости, этой душевной спячке свидетельствуют, несмотря на велеречивые восторги, и устные отзывы. Превознося изысканные манеры, блестящее воспитание, примерное усердие и светский такт Марии Стюарт, все они характеризуют ее лишь как первую ученицу. Мы узнаем, что она прилежно учится и любезна в разговоре, что она почтительна и набожна и отличается во всех искусствах и играх, не выказывая особого расположения к чему-либо определенному, что она усердно и послушно овладевает всей разнообразной программой, предписанной невесте короля. Но все восхищаются лишь ее безличными, светскими качествами; о человеке, о характере никто ничего не сообщает, и это показывает, что все своеобразное, существенное в ней скрыто от постороннего глаза — просто потому, что ее душа еще не расцвела. И еще долгие годы блестящее воспитание и светский лоск принцессы будут скрывать силу страсти, на какую окажется способна женщина, когда все существо ее раскроется, всколыхнувшись до заветных глубин. От чистого лба веет холодом; приветливо и нежно улыбается рот; грезят и ищут темные глаза, устремленные пока лишь во внешний мир, еще не заглянувшие в собственную душу; никто не знает — Мария Стюарт сама не знает о роковом наследии в своей крови и таящихся в нем опасностях. Только страсти дано сорвать покров с женской души, только через любовь и страдание вырастает женщина в полный свой рост.

Многообещающее развитие девочки, в которой видна уже будущая королева, приводит к тому, что со свадьбой торопятся, назначая ее раньше срока; даже и тут стрелки на часах

жизни Марии Стюарт бегут быстрее, чем у ее сверстниц. Нареченному едва минуло четырнадцать лет, к тому же бледный, тщедушный мальчик слаб здоровьем, но политика в этом случае нетерпеливее природы, она не хочет и не может ждать. Французский двор потому так подозрительно и спешит с завершением брачной сделки, что ему хорошо известна хилость и пагубная болезненность принца, о которой докладывают озабоченные врачи. Для Валуа главное в этом браке — обеспечить себе шотландскую корону; вот почему обоих детей с такой поспешностью тащат к алтарю. По брачному договору, составленному вместе с посланцем шотландского парламента, дофин получает «the matrimonial crown» — корону соправителя Шотландии; но одновременно Гизы, родственники Марии Стюарт, втихомолку вымогают у пятнадцатилетней Марии, которая не ведает, что творит, и другой документ, неизвестный шотландскому парламенту; Мария Стюарт обязуется в нем на случай преждевременной смерти или за отсутствием наследников отписать свою страну по духовной, словно это ее личное владение, а также и свои наследные права на английский и ирландский престол — французской короне.

Разумеется, этот акт — недаром его подписывают так секретно — недобросовестный маневр. Мария Стюарт не вправе произвольно менять условия преемства, завещать свое отечество чужеземной династии, как плащ или другое личное имущество; но дядья понуждают беспечную руку подписать его. Трагический символ: первая подпись, выведенная Марией Стюарт на политическом документе под давлением своих родичей, становится вместе с тем и первой ложью этой глубоко искренней, доверчивой, открытой натуры. Чтобы стать королевой и пребывать королевой, ей уже нельзя будет держаться правды; человек, который закабалится политике, больше себе не принадлежит и подчиняется иным законам, нежели священные законы сердца.

Эти тайные махинации скрыты от мира великолепным зрелищем свадебных торжеств. Уже свыше двухсот лет ни один французский дофин не сочетался браком у себя на родине, и двор Валуа считает долгом потешить свой неизбалованный народ неслыханно пышным празднеством. У Екатерины из дома Медичи сохранились в памяти картины торжественных шествий Ренессанса, которые устраивались в Италии по эскизам известных художников: затмить эти красочные воспоминания детства торжественной свадьбой своего отпрыска — для нее дело чести.

В этот день, двадцать четвертого апреля 1558 года, праздничный Париж становится столицей мира. Перед Нотр-Дам воздвигается открытый павильон с балдахином голубого кипрского шелка, затканного золотыми лилиями, к нему ведет такой же расшитый лилиями ковер. Впереди процессии выступают музыканты в красных и желтых одеждах, они играют на различных инструментах, а за ними под ликование восторженных толп следует, сверкая драгоценными уборами, королевский кортеж. Венчание совершается всенародно, тысячи, десятки тысяч глаз устремлены на невесту бледного, чахлого мальчика, изнемогающего под тяжестью своего великолепия. Придворные пииты, конечно, и на сей раз не упускают случая воспеть в восторженных хвалах красоту невесты. «Она предстала перед нами, — в экстазе повествует Брантом, обычно охотнее рассказывающий свои галантные анекдоты, — во сто крат прекраснее, чем небесная богиня», — и возможно, что в зените счастья эта до страсти честолюбивая женщина действительно излучала особое обаяние. В тот час юная, цветущая девушка, со счастливой улыбкой кивавшая толпе, вкушала, быть может, величайшее торжество своей жизни. Рядом с первым принцем Европы, в сопровождении блестящей свиты проезжает Мария Стюарт по улицам, до самых крыш гремящим приветственными криками, — никогда больше подобный прибор богато разодетых, восторженных и ликующих толп не будет кипеть у ее ног.

Вечером во Дворце юстиции устраивается открытый банкет, и восхищенные парижане теснятся вокруг, пожирая глазами юную деву, принесшую Франции вторую корону. Знаменательный день завершается балом, для которого художники не пожалели хитрых выдумок. Шесть раззолоченных кораблей с парусами из серебряной парчи, влекомые невидимыми машинами, словно покачиваясь на бурных волнах, втекают в зал. В каждом сидит разодетый в золото, скрывшийся под узорчатой маской принц и грациозным жестом приглашает к себе одну из дам королевской фамилии: Екатерину Медичи — королеву, Марию Стюарт — наследницу престола, королеву Наваррскую и принцесс — Елизавету, Маргариту и Клод. Это представление должно символизировать счастливое плавание по волнам жизни, полной роскоши и блеска. Но человеку не дано управлять судьбой: после этого единственно беззаботного дня жизненный корабль Марии Стюарт поплывет к иным, опасным берегам.

Первая опасность подкралась неожиданно. Мария Стюарт — давно уже коронованная владычица Шотландии, к тому же le Roi Dauphin, французский наследник, возвел ее в сан своей супруги, и, значит, над ее головой незримо сверкает вторая, еще более драгоценная корона. Но тут судьба шлет ей пагубное искушение, поманив еще и третьей короной, и Мария Стюарт с детской непосредственностью, в ослеплении, не получив своевременного мудрого остережения, потянулась к ней, прельщенная ее коварным блеском. В тот самый 1558 год, когда она стала супругой французского наследника, скончалась Мария, королева Английская, и на престол вступила ее сводная сестра Елизавета. Но действительно ли Елизавета — законная наследница престола? У женолюбивого Генриха VIII — Синей бороды — было трое детей: сын Эдуард и две дочери, Мария — от брака с Екатериной Арагонской и Елизавета — от брака с Анной Болейн. После скоропостижной смерти Эдуарда Мария, как старшая и рожденная в неоспоримо законном браке, стала наследницей престола. Но она умирает бездетной; является

ли теперь законной наследницей Елизавета? Да, утверждают юристы английской короны, ибо епископ скрепил брак Генриха VIII и Анны Болейн, а папа признал его. Нет, утверждают юристы французской короны, ибо Генрих VIII впоследствии объявил свой брак с Анной Болейн недействительным, а Елизавету — особым парламентским указом — незаконнорожденной. Если это так, а на том стоит весь католический мир, то, как бастард, Елизавета не может взойти на английский престол, и притязать на него вправе не кто иной, как правнучка Генриха VII — Мария Стюарт.

Итак, шестнадцатилетней неопытной девочке выпало принять решение всемирно-исторической важности. Перед Марией Стюарт два пути. Она может проявить уступчивость и политичность и признать свою кузину Елизавету правомочной королевой Англии, отказаться от своих притязаний, ибо защитить их можно лишь с оружием в руках. Или же она может смело и решительно обвинить Елизавету в захвате короны и призвать к оружию шотландскую и французскую армии для свержения узурпаторши. Роковым образом Мария Стюарт и ее советчики избирают третий, самый пагубный в политике, средний путь. Вместо сильного, решительного удара французский двор лишь хвастливо замахивается на Елизавету: по приказу Генриха II дофин и его супруга вносят в свой герб английскую корону, а Мария Стюарт официально и в документах титулуется «*Regina Franciae, Scotiae, Angliae et Hiberniae*»*.

Таким образом, притязание заявлено, но никто его не отстаивает. С Елизаветой не воюют, ее лишь дразнят. Вместо решительных действий огнем и мечом бессильный жест: перед Елизаветой потрясают размалеванной деревяшкой и исписанным клочком бумаги. Создается нелепое положение: Мария Стюарт и претендует на английский престол, и не претендует.

* Королева Французская, Шотландская, Английская и Ирландская (*лат.*).

О ее притязаниях то молчат, то вдруг извлекают их из-под спуда. Так, на требование Елизаветы вернуть ей по договору Кале Генрих II отвечает: «В таком случае Кале следует передать супруге дофина, королеве Шотландской, которую все мы почитаем законной королевой Англии». Однако тот же Генрих II и пальцем не пошевелил, чтобы защитить притязания своей невестки; он и сейчас продолжает вести переговоры с так называемой узурпаторшей, как с равноправной монархиней.

Своим нелепым ребяческим жестом, своим тщеславно-намалеваным гербом Мария Стюарт так ничего и не добилась, а погубила все. У каждого в жизни бывают ошибки, которые никогда и ничем не исправишь. Так случилось и с Марией Стюарт: политическая бестактность, совершенная в отрочестве, и скорее из упрямства и тщеславия, чем по обдуманному решению, приводит ее к гибели, ибо, нанеся подобное оскорбление могущественнейшей женщине Европы, она наживает в ее лице непримиримого врага. Истинная властительница может многое стерпеть и простить, но только не сомнение в своем праве на власть. Естественно, что с этой минуты Елизавета рассматривает Марию Стюарт как опаснейшую соперницу, как тень за своим тронem. Отныне, что бы ни говорили и ни писали друг другу обе королевы, все будет притворством и ложью, попыткой замаскировать тайную вражду; но эту трещину ничем уже не закроешь. В политике, как и в жизни, полумеры и влияние причиняют больше вреда, нежели энергичные и решительные действия. Всего лишь символически вписанная в герб Марии Стюарт английская корона будет стоить больше крови, чем пролилось бы ради настоящей короны в настоящей войне. Открытая борьба раз и навсегда внесла бы в дело полную ясность, тогда как подспудная, лукавая борьба постоянно возобновляется, отравляя обеим женщинам жизнь и власть.

Роковой герб с английскими регалиями фигурирует также на турнире по случаю мира, заключенного в Като-Камбрези: в июле 1559 года его горделиво несут для общего обозрения

перед le Roi Dauphin и la Reine Dauphine. Рыцарственный король Генрих II не упускает случая преломить копье pour l'amour des dames*, и каждый понимает, какую даму он имеет в виду: красавицу Диану де Пуатье, горделиво взирающую из ложи на своего царственного возлюбленного. Но безобидная игра внезапно обращается в нечто крайне серьезное. Этому поединку суждено решить судьбу истории. Капитан шотландской лейб-гвардии Монтгомери, чье копье уже расколосось, так неловко хватил древком своего противника короля, что ранил его в глаз, и король замертво упал с коня. Рану поначалу считают неопасной, но король так и не приходит в себя; охваченные ужасом, стоят у ложа умирающего члены его семьи. Несколько дней могучий организм храброго Валуа борется со смертью, и, наконец, десятого июля сердце его перестает биться.

Французский двор и в минуты глубокой скорби чтит обычай, как высшего своего властелина. Когда королевская фамилия покидала замок, Екатерина Медичи, супруга Генриха II, вдруг замедлила шаг у порога: с этого часа, сделавшего ее вдовой, первое место при дворе принадлежит женщине, которую этот же час возвел на трон Франции. Трепетным шагом, смущенная и растерянная, переступает Мария Стюарт порог — супруга нового французского короля проходит мимо вчерашней королевы. Этим единственным шагом семнадцатилетняя отроковица опередила всех своих сверстниц, достигнув высшей ступени власти.

*Ради любви прекрасных дам (фр.).

ВДОВСТВУЮЩАЯ КОРОЛЕВА
И ВСЕ ЖЕ КОРОЛЕВА*С июля 1560 по август 1561 года*

Ничто так резко не повернуло линию жизни Марии Стюарт в сторону трагического, как та коварная легкость, с какой судьба вознесла ее на вершину земной власти. Ее стремительное восхождение напоминает взрыв ракеты: в шесть дней — королева Шотландии, в шесть лет — нареченная одного из могущественнейших принцев Европы, в семнадцать — королева Французская, она уже в зените власти, тогда как ее душевная жизнь еще, в сущности, и не начиналась. Кажется, будто все сыплется на нее из неисчерпаемого рога изобилия, ничто не приобретено собственными силами, не завоевано собственной энергией; здесь нет ни трудов, ни заслуг, а только наследство, дар, благодать. Как во сне, где все проносится в летучей многоцветной дымке, видит она себя то в подвенечных, то в коронационных одеждах, и, раньше чем этот преждевременный расцвет может быть воспринят прозревшими чувствами, весна отцвела, развеялась, миновала, и королева просыпается ошеломленная, растерянная, обманутая, ограбленная. В возрасте, когда другие лишь начинают желать, надеяться, стремиться, она уже познала все радости триумфа, так и не успев им душевно насладиться. Но в этой скороспелости судьбы кроется, как в зерне, и тайна гложущего ее беспокойства, ее неудовлетворенности; кто так рано был первым в стране, первым в мире, уже не сможет примириться с ничтожной долей. Только слабые натуры покоряются и забывают, сильные же мечутся и вызывают на неравный бой всемогущую судьбу.

И в самом деле: промелькнет, как сон, короткая пора ее правления во Франции, как быстрый, беспокойный, тягостный и тревожный сон. Реймский собор, где архиепископ венчает на царство бледного больного мальчика и где прелестная

юная королева, украшенная всеми драгоценностями короны, сияет среди придворных, как стройная грациозная полурасцветшая лилия, дарит ей один лишь сверкающий миг, в остальном летописцы не сообщают ни о каких празднествах и увеселениях. Судьба не дала Марии Стюарт времени ни создать грезившийся ей двор трубадуров, где процветала бы поэзия и все искусства, ни живописцам времени запечатлеть на полотне монарха и его прелестную супругу в царственных одеждах, ни летописцам — обрисовать ее характер, ни народу — познакомиться со своими властителями, а тем более их полюбить; словно две торопливые тени, гонимые суровым ветром, проносятся эти детские фигуры в длинной веренице французских королей.

Ибо Франциск II болен и с самого рождения обречен ранней смерти, как меченное лесником дерево. Робко смотрят усталые, с тяжелыми веками глаза, словно испуганно открывшиеся после сна на бледном одутловатом лице мальчика, чей внезапно начавшийся и потому неестественно быстрый рост еще больше подрывает его силы. Постоянно хлопочут над ним врачи и настойчиво советуют беречь себя. Но в душе этого полуребенка живет мальчишески честолюбивое стремление ни в чем не отставать от стройной, крепкой своей подруги, страстно приверженной охоте и спорту. Чтобы казаться здоровым и мужественным, он принуждает себя к бешеной скачке и непосильным физическим упражнениям: но природу не обманешь. Его отравленная, неизлечимо вялая кровь — проклятое дедовское наследие — словно нехотя течет по жилам; подверженный приступам лихорадки, он осужден в ненастную погоду томиться в четырех стенах, изнывая от страха, нетерпения и усталости, жалкая тень, вечно окруженная заботой бесчисленных врачей. Такой незадачливый король внушает придворным скорее жалость, чем уважение, в народе же, напротив, ползут зловещие слухи, будто он болен проказой и, чтобы исцелиться, купается в крови свежезарезанных младенцев; угрюмо, исподлобья глядят крестьяне на хилого маль-

чика, с безжизненной миной проезжающего мимо них на рослом скакуне; что же до придворных, то, опережая события, они предпочитают толпиться вокруг королевы-матери Екатерины Медичи и престолонаследника Карла. Слабым, безжизненным рукам трудно удержать бразды правления; время от времени мальчик выводит корявым, нетвердым почерком свою подпись «François» под указами и актами, на деле же правят Гизы, родичи Марии Стюарт, а он только борется за то, чтобы уберечь в себе гаснущее здоровье и жизнь.

Счастливым супружеством — если это было супружество — подобное вынужденное затворничество и вечные опасения и тревоги не назовешь. Но ничто не говорит и о том, что эти, в сущности, дети не ладили меж собой: даже злоязычный двор, давший Брантому материал для его «Vie des dames galantes»*, не находит оснований обвинять или заподозрить Марию Стюарт в чем-либо предосудительном; еще задолго до того, как соображения государственной пользы соединили их перед алтарем, Франциск и Мария Стюарт были товарищами детских игр, и вряд ли в отношениях юной четы эротическое играло заметную роль; пройдут годы, прежде чем в Марии Стюарт вспыхнет способность к самозабвенной любви, и уж во всяком случае не Франциску, изнуренному лихорадкой юнцу, дано было пробудить эту сдержанную, замкнутую в себе натуру.

Конечно, Мария Стюарт с ее добрым, жалостливым сердцем и мягким, незлобивым характером заботливо ухаживала за больным супругом; ведь если не чувство, то разум подсказывал ей, что блеск и величие власти зависят для нее от дыхания и пульса бедного хилого мальчика и что, оберегая его жизнь, она защищает и свое счастье. Да, в сущности, недолгая пора их правления и не давала простора для безмятежного счастья; в стране назревает восстание гугенотов, и после Амбуазского заговора, угрожавшего самой королевской чете, Мария Стю-

* «Жизнь легкомысленных дам» (фр.).

арт платит печальную дань обязанностям правительницы. Она должна присутствовать на казни мятежников, видеть — и это впечатление глубоко западет ей в душу, чтобы, точно в магическом зеркале, вспыхнуть в ее собственный час, — как живого человека со связанными руками толкают на колени перед плахой и как размахнувшийся топор с тупым гудящим скрежетанием вонзается в затылок, и голова, обливаясь кровью, катится на песок, — видение, достаточно страшное, чтобы погасить в ее памяти сверкающее зрелище венчания в Реймском соборе. А затем одна недобрая весть обгоняет другую: ее мать, Мария де Гиз, правящая вместо нее в Шотландии, умирает в июне 1560 года, в то время как страну раздирают жестокие религиозные распри, а на границе кипит война и англичане проникли далеко в глубь страны.

И вот уже Мария Стюарт вынуждена облачиться в траурные одежды, она, бредившая, как девочка, праздничными нарядами. Столь любимая ею музыка должна замолкнуть, танец — замереть. И снова костлявой рукой стучится смерть в сердце и в дверь: Франциск II все более слабеет, отравленная кровь беспокойно ударяет в виски и звенит в ушах. Он уже не в силах ходить и сидеть в седле, в постели переносят его с места на место. Наконец воспаление прорывается в ухо гноем, все искусство врачей не в силах ему помочь, и 6 декабря 1560 года злосчастный мальчик успокоился.

Трагическим символом повторяется между обеими женщинами — Екатериной Медичи и Марией Стюарт — сцена у одра смерти. Не успел Франциск II испустить последний вздох, как Мария Стюарт, утратившая французский престол, пропускает вперед в дверях Екатерину Медичи — молодая вдовствующая королева уступает дорогу старшей. Она уже не первая дама королевства, а вторая, как и раньше; только год прошел, а сон уже рассеялся; Мария Стюарт больше не французская королева, а всего лишь то, чем она была с первой минуты и пребудет до последней: королева Шотландии.

Сорок дней длится по французскому придворному этикету первый, глубокий траур для вдовствующей королевы. Во время этого сурового затворничества ей не дозволено ни на минуту покидать свои покои; в течение первых двух недель никто, кроме нового короля и его ближайших родственников, не должен навещать ее в искусственном склепе — затемненной комнате, освещенной слабым мерцанием свечей. Пусть женщины простонародья одеваются во все черное — всеми признанный траурный цвет: ей одной подобает *le deuil blanc* — белый траур. В белоснежном чепце, обрамляющем бледное лицо, в белом парчовом платье, белых башмаках и чулках и только в черном флере поверх этого призрачного сияния — такой выступает Мария Стюарт в те дни, такой предстает на знаменитом холсте Жане и такой же рисует ее Ронсар в своем стихотворении:

Un cresse long, subtil et délié
Ply contre ply, retors et replié
Habit de deuil, vous sert de couverture,
Depuis le chef jusques à la ceinture,
Qui s'enfle ainsi qu'un voile quand le vent
Soufle la barque et la cingle en avant.
De tel habit vous étiez accourée
Partant, hélas! de la belle contrée
Dont aviez eu le sceptre dans la main,
Lorsque, pensive et baignant votre sein
Du beau cristal de vos larmes coulées
Triste marchiez par les longues allées
Du grand jardin de ce royal château
Qui prend son nom de la beauté des eaux.

В прозрачный креп одеты были вы,
На бедра ниспадавший с головы
В обдуманном и строгом беспорядке.
Весь перевит, искусно собран в складки,
Вздвухался он, как парус в бурный час,
Покровом скорби облекая вас.
В такой одежде вы двору предстали,
Когда свой трон и царство покидали,
И слезы орошали вашу грудь,
Когда, пускаясь в незнакомый путь,

На все глядели вы печальным взглядом,
В последний раз любуясь дивным садом
Того дворца, чье прозвище идет
От синевы кругом журчащих вод.

В самом деле, прелесть и обаяние юной королевы нигде не выступает так убедительно, как на портрете Жане; созерцательное выражение придает ее взору необычную ясность, а однотонная, ничем не нарушаемая белизна платья подчеркивает мраморную бледность кожи; в этой скорбной одежде ее царственное благородство проступает гораздо отчетливее, чем на ранних портретах, показывающих ее во всем блеске и великолепии высокого сана, осыпанную камнями и украшенную всеми знаками власти.

Благородная меланхолия звучит в строках, которые сама она посвящает памяти умершего супруга в виде надгробного плача, — строках, достойных пера ее маэстро и учителя Ронсара. Даже написанная не рукой королевы, эта кроткая нения* трогала бы нас своей неподдельной искренностью. Ибо осиротевшая подруга говорит не о страстной любви — никогда Мария Стюарт не лгала в поэзии, как лгала в политике, — а лишь о чувстве утраты и одиночества:

Sans cesse mon coeur sent
Le regret d'un absent
Si parfois vers les cieux
Viens à dresser ma veue
Le doux trait de ses yeux
Je vois dans une nue;
Soudain je vois dans l'eau
Comme dans un tombeau
Si je suis en repos
Sommeillant sur ma couche,
Je le sens qu'il me touche:
En labeur, en recoy
Toujours est près de moy.

*Нения (лат.) — погребальная песнь.

Как тяжело ночью, днем
Всегда грустить о нем!
Когда на небеса
Кидаю взгляд порою,
Из туч его глаза
Сияют предо мною.
Гляжу в глубокий пруд —
Они туда зовут.
Одна в ночи тоскуя,
Я ощущаю вдруг
Прикосновенье рук
И трепет поцелуя.
Во сне ли, наяву —
Я только им живу.

Скорь Марии Стюарт об ушедшем Франциске II, несомненно, нечто большее, чем поэтическая условность, в ней чувствуется подлинная, искренняя боль. Ведь она утратила не только доброго, покладистого товарища, не только нежного друга, но также и свое положение в Европе, свое могущество, свою безопасность. Вскоре девочка-вдова почувствует, какая разница, быть ли первой при дворе, королевой, или же отойти на второе место, стать нахлебницей у нового короля. Трудность ее положения усугубляется враждой, которую питает к ней Екатерина Медичи, ее свекровь, ныне снова первая дама французского двора; по-видимому, Мария Стюарт смертельно обидела чванливую, коварную дочь Медичи, как-то пренебрежительно отозвавшись о происхождении этой «купеческой дочки», не сравнимом с ее собственным, наследственным королевским достоинством. Подобные бестактные выходки — неукротимая шальная девчонка не раз позволит себе то же самое и в отношении Елизаветы — способны посеять между женщинами больше недобрых чувств, чем открытые оскорбления. И едва лишь Екатерина Медичи, двадцать долгих лет обуздывавшая свое честолюбие — сначала ради Дианы Пуатье, а потом ради Марии Стюарт, — едва лишь она становится правительницей, как с вызывающей властью дает почувствовать свою ненависть обоим павшим богиням.

Однако никогда Мария Стюарт — и тут ясно выступает на свет самая яркая черта ее характера: неукротимая, непреклонная, чисто мужская гордость, — никогда она не останется там, где чувствует себя лишь второй, никогда ее гордое, горячее сердце не удовлетворится скромной долей и половинным рангом. Лучше ничто, лучше смерть. На мгновение ей приходит мысль удалиться в монастырь, отказаться от высокого сана, раз самый высокий сан в этой стране ей более недоступен. Но слишком велик еще соблазн жизни: отречься навсегда от ее усад значило бы для восемнадцатилетней попать свою природу. А кроме того, не ушла еще возможность возместить утерянную корону другой, не менее драгоценной. Испанский король поручает своему послу сватать ее за дона Карлоса, будущего властителя двух миров; австрийский двор присылает к ней тайных посредников; короли шведский и датский предлагают руку и престол. К тому же есть у нее и своя наследственная шотландская корона, да и ее притязание на вторую, английскую корону покамест еще в полной силе. Неисчислимы возможности по-прежнему ждут юную вдовствующую королеву, эту женщину, едва достигшую полного расцвета. Правда, чудесные дары уже не сыплются на нее с неба и не преподносятся ей на блюде благосклонной судьбой, их приходится с великим искусством и терпением отвоевывать у сильных противников. Но с таким мужеством, с такой красотой, с такой юной душой в горячем, цветущем теле можно отважиться и на самую высшую ставку. Исполненная решимости, приступает Мария Стюарт к битве за свое наследие.

Разумеется, прощание с Францией дается ей нелегко. Двенадцать лет провела она при этом княжеском дворе, и прекрасная, изобильная, богатая чувственными радостями страна для нее в большей мере родина, чем Шотландия ее канувшего детства. Здесь ее опекают родичи по материнской линии, здесь стоят замки, где она была счастлива, здесь творят поэты, что славят и понимают ее, здесь вся легкая рыцарская прелесть жизни, столь близкая ее душе. Из месяца в месяц откла-

дывает она возвращение в родное королевство, хотя там давно ее ждут. Она навещает родственников в Жуанвилле и Нанси, присутствует на коронационных торжествах своего десятилетнего шурина Карла IX в Реймсе; словно охваченная таинственным предчувствием, ищет она все новых поводов, чтобы отложить отъезд, как будто она ждет какого-то внезапного поворота судьбы, который избавил бы ее от возвращения на родину.

Ибо, каким бы новичком в заботах правления ни была эта восемнадцатилетняя королева, одно ей хорошо известно, что в Шотландии ее ждут тяжкие испытания. После смерти ее матери, управлявшей вместо нее страной в качестве регентши, взяли верх протестантские лорды, ее злейшие противники, и теперь они едва скрывают свое нежелание призвать в страну ревностную католичку, приверженную ненавистной мессе. Открыто заявляют они — английский посол с восторгом доносит об этом в Лондон, — что «лучше-де задержать приезд королевы еще на несколько месяцев, и что, кабы не долг послушания, они и вовсе рады бы никогда ее больше не видеть». Втайне они давно уже ведут нечестную игру; так, они предлагали английской королеве в мужа ближайшего претендента на престол, протестанта графа Аранского, чтобы незаконно подкинуть Елизавете корону, по праву принадлежащую Марии Стюарт. Столь же мало может она верить и сводному брату, Джеймсу Стюарту, графу Меррею, по поручению шотландского парламента приезжающему к ней во Францию: он в слишком хороших отношениях с Елизаветой. Уж не на платной ли он у нее службе? Только немедленное ее возвращение может своевременно подавить эти темные, глухие интриги; только опираясь на наследственную отвагу, отвагу королей Стюартов, может она утвердить свою власть. Итак, рискуя потерять в один год вслед за первой еще и вторую корону, томимая мрачными предчувствиями, с тяжелой душой решается Мария Стюарт следовать зову, который исходит не от чистого сердца и которому сама она верит лишь наполовину.

Но еще до возвращения на родину Марии Стюарт дают почувствовать, что Шотландия граничит с Англией, где правит не она, а другая королева. Елизавета не видит ни малейшего основания и не чувствует никакой склонности идти в чем-либо навстречу своей сопернице и наследнице престола, да и английский государственный секретарь Сесил с нескрываемым цинизмом поддерживает каждый враждебный ее маневр: «Чем дольше дела шотландской королевы останутся неустроенными, тем лучше для Вашего Величества». Вся беда в том, что нелепые бутафорские притязания Марии Стюарт на английский престол — предмет их распри — все еще не сняты с повестки дня. Правда, между шотландскими и английскими делегатами заключен в Эдинбурге договор, по которому первые от имени Марии Стюарт обязались признать Елизавету «for all times coming», ныне и присно, правомочной английской королевой. Но, когда договор был доставлен во Францию, Мария Стюарт и ее супруг Франциск II уклонились от его подписания; никогда у Марии Стюарт не поднимется рука скрепить подобное своей подписью, никогда она, выставившая на своем знамени притязание на английский престол и демонстративно размахивавшая этим знаменем, никогда она его не опустит. Она, пожалуй, готова из политических соображений отложить свое требование до лучших времен, но ни за что открыто и честно не откажется от наследия предков.

Но такой двойной игры в этом вопросе Елизавета не потерпит. Представители шотландской королевы подписали от ее имени Эдинбургский договор, пусть же и она скрепит его своей подписью. Признанием *sub rosa*, негласным обещанием Елизавета не удовлетворится, для нее, протестантки и правительницы страны, на добрую половину оставшейся верной католицизму, католическая претендентка означает не только угрозу ее власти, но и самой ее жизни. Пока эта контркоролева не откажется со всей прямотой от своих притязаний, Елизавета не будет чувствовать себя настоящей королевой.

В этом спорном вопросе Елизавета, конечно, права; но она

тут же ставит свою правоту под сомнение, когда столь серьезный политический конфликт стремится решить мелкими, пошлыми средствами. В политической борьбе у женщин неизменно наблюдается опасная склонность ранить булавочными уколами, разжигать распрю личной злобой; так и на сей раз дальновидная правительница впадает в неизбежную ошибку всех женщин-политиков. Мария Стюарт официально испросила для поездки в Шотландию так называемый *safe conduct* — транзитную визу, как сказали бы мы сейчас: с ее стороны это было скорее любезностью, данью чисто формальной официозной вежливости, поскольку прямой путь в Шотландию морем ей не закрыт; предполагая ехать через Англию, она как бы молчаливо давала противнице возможность для дружеских переговоров. Елизавета, однако, тотчас же ухватилась за случай нанести противнице булавочный укол. На учтивость она отвечает сугубой неучтивостью, заявляя, что до тех пор не даст Марии Стюарт *safe conduct*, пока та не подпишет Эдинбургский договор. Желая уязвить королеву, она оскорбляет женщину; вместо открытой военной угрозы избирает бессильный и злобный личный выпад.

Итак, завеса, скрывающая конфликт между обеими женщинами, сорвана, с пылающими гневом глазами встала гордость против гордости. Сгоряча призывает к себе Мария Стюарт английского посланника и негодуя набрасывается на него. «Я в крайней на себя досаде, — говорит она ему, — надо же мне было так забытья — просить вашу повелительницу об услуге, в которой я, в сущности, не нуждаюсь. Мне так же мало потребно ее разрешение для поездки, как и ей мое, куда б она ни вознамерилась ехать. Ничто не мешает мне вернуться в мое королевство и без ее охранной грамоты и соизволения. Покойный король пытался перехватить меня по дороге сюда, в эту страну, однако это не помешало мне, как вы знаете, господин посол, благополучно доехать, и точно так же найдутся у меня теперь средства и пути для возвращения, стоит лишь мне обратиться к друзьям... Вы говорите, что дружба между

королевой и мною как нельзя более желательна и полезна для обеих сторон. Но у меня есть основание полагать, что ваша королева держится иного мнения, иначе она не отнеслась бы к моей просьбе столь недружественно. Похоже, что дружба моих непокорных подданных ей во сто крат милее моей, их повелительницы, равного с нею сана, пусть и уступающей ей в мудрости и опыте, однако все же ближайшей родственницы и соседки... Я же ищу одной только дружбы, я не тревожу мира в ее государстве, не вступаю в переговоры с ее подданными, хотя известно мне, что среди них немало нашлось бы таких, кто с радостью откликнулся бы на любое мое предложение».

Внушительная угроза, скорее внушительная, нежели мудрая. Мария Стюарт еще не успела ступить на берег Шотландии, а уже выдает свое тайное намерение в случае надобности перенести борьбу с Елизаветой на английскую землю. Посол учтиво увиливает от ответа: все эти недоразумения, говорит он, проистекают оттого, что Мария Стюарт включила английский государственный герб в свой собственный. Мария Стюарт тотчас же отводит этот упрек: «В то время, господин посол, я находилась под влиянием короля Генриха, моего свекра, а также моего царственного господина и супруга, я только выполняла их пожелания и приказы. После же их смерти я, как вам известно, воздерживалась носить титул и герб английской королевы. Хотя, к слову сказать, я не вижу ничего оскорбительного для моей августейшей кузины в том, что, будучи такой же королевой, как она, ношу английский герб, ведь носят же его другие лица, и куда с меньшим правом, чем я. Не станете же вы отрицать, что одна из моих бабок была сестрой ее августейшего родителя и к тому же старшей сестрой».

Опять под личиной дружбы блеснуло зловещее напоминание: подчеркивая свое происхождение по старшей линии, Мария Стюарт вновь утверждает свои преемственные права. И когда посол настоятельно просит ее, дабы рассеять это недоразумение, подписать в согласии с данным ею словом Эдинбургский договор, Мария Стюарт, как всегда, чуть речь пойдет об

этом щекотливом пункте, находит тысячу причин, чтобы отложить дело в долгий ящик: нет, она ничего не может предпринять, не посоветовавшись с шотландским парламентом; но точно так же и посол избегает каких-либо обещаний от имени Елизаветы.

Едва лишь переговоры доходят до этой критической точки, едва лишь одна из королев должна безусловно и непреложно поступиться кое-чем из своих прав, как начинаются увертки и ложь. Каждая придерживает свой козырь; так игра затягивается до бесконечности, клонясь к трагической развязке. Резко обрывает Мария Стюарт переговоры насчет охранной грамоты — вы словно слышите скрежет разрываемой ткани: «Когда б мои приготовления не подвинулись так далеко, быть может, недружественное поведение вашей августейшей госпожи и помешало б моей поездке. Однако теперь я полна решимости отважиться на задуманное, к чему бы это ни привело. Уповаю, что ветер будет благоприятный и нам не придется приставать к английскому берегу. Если же это случится, ваша августейшая госпожа заполучит меня в свои руки. Пусть тогда делает со мной, что хочет, и если она столь жестокосердна, что жаждет моей смерти, пусть принесет меня в жертву своему произволу. Быть может, такой выход для меня и лучше, чем это земное странствие. Да сбудется же и здесь воля господня!»

И снова в ее словах прорывается все тот же опасный, самонадеянный, решительный тон. Скорее мягкая, беспечная и легкомысленная по натуре, более склонная искать утех жизни, чем борьбы, Мария Стюарт становится тверже стали, упрямой и смелой, едва дело коснется ее чести, ее королевских прав. Лучше погибнуть, чем склонить выю, лучше королевская блажь, чем малодушная слабость. В тревоге доносит посол в Лондон о своей неудаче, и Елизавета, как более мудрая и гибкая правительница, тотчас же идет на уступки. Сразу же выправляется охранная грамота и отсылается в Кале. Однако она приходит с двухдневным опозданием. Мария Стюарт тем временем отважилась пуститься в дорогу, хоть в Ла-Манше ей

угрожает встреча с английскими каперами: лучше смело и независимо избрать опасный путь, чем ценой унижения — безопасный. Елизавета упустила единственную представившуюся ей возможность миром разрешить конфликт, обязав благодарностью ту, кого она страшится как соперницы. Но политика и разум редко следуют одним путем: быть может, именно такими упущенными возможностями и определяется драматическое развитие истории.

Словно обманчивое сияние вечернего солнца, одевающее ландшафт в пурпур и золото, предстает перед Марией Стюарт в прощальном спектакле, данном в ее честь, вся пышность и великолепии французского церемониала. Ибо не одинокой и всеми оставленной придется той, что царственной невестой ступила на эту землю, покинуть места своего бывшего владычества; да будет ведомо всем, что не бедной, сирой вдовой, не слабой, беспомощной женщиной возвращается на родину шотландская королева, но что меч и честь Франции на страже ее судьбы. От Сен-Жерменского дворца и до самого Кале провожает ее блестящая кавалькада. На конях под богатыми чепраками, щеголяя расточительной роскошью французского Ренессанса, бряцая оружием, в золоченых доспехах с богатой инкрустацией, провожает вдовствующую королеву весь цвет французской нации — впереди в парадной карете трое ее дядей, герцог де Гиз и кардиналы Лотарингский и Гиз. Марию Стюарт окружают четыре верные Марии, знатные дамы, служанки, пажи, поэты и музыканты; следом за пестрым поездом везут тяжелые сундуки с драгоценной утварью и в закрытом ковчежце — сокровища короны. Королевой, во всем блеске и славе, среди почестей и поклонения, такой же, какой она прибыла сюда, покидает Мария Стюарт отчизну своего сердца. Отлетела только радость, когда-то сиявшая в глазах ребенка. Проводы — это всегда лишь закатное сияние, последняя вспышка света на пороге ночи.

Большая часть княжеского поезда остается в Кале. Дворяне возвращаются домой. Завтра им предстоит в Лувре служить

другой королеве, ведь для царедворца важен сан, а не человек, его носящий. Все они забудут Марию Стюарт; едва лишь ветер надует паруса галеонов, от нее отвернутся сердцем все те, кто сейчас, возведя горé восторженные очи и пав на колени, клянется ей в вечной преданности и на расстоянии. Проводы для этих всадников — всего лишь пышная церемония, подобная коронации или погребению. Искреннюю печаль, неподдельное горе ощущают при отъезде Марии Стюарт только поэты, чьим более чутким душам дан вещей дар предвидеть и пророчить. Они знают: с отъездом этой молодой женщины, грезившей о дворе — прибежище радости и красоты, музы покинут Францию; наступает темная пора как для них, так и для других французов — пора политической борьбы, междоусобиц и распрей, пора гугенотских восстаний, Варфоломеевской ночи, фанатиков и изуверов. Уходит все рыцарское и романтическое, все светлое и беспечально прекрасное — вместе с этим юным видением уходит и расцвет искусств. Созвездие «Плеяды»*, поэтический семисвечник, скоро померкнет под омраченным войной небом. С Марией Стюарт, печалуются поэты, отлетают столь любезные нам радости духа:

Ce jour le même voile emporta loin de France
Les Muses, qui songoient y faire demeurance.

В тот день корабль унес от наших берегов
Всех муз, во Франции нашедших верный кров.

И снова Ронсар, чье сердце молодеет при виде юности и красоты, в своей элегии «Au départ»** прославляет очарование Марии Стюарт, словно хочет удержать в стихах то, что навек утрачено для его восхищенных взоров, и в искренней скорби создает поистине красноречивую жалобу:

* «Плеяда» — французская поэтическая школа эпохи Возрождения, названная в честь группы из семи александрийских поэтов III в. до н. э. и объединявшая П. де Ронсара, Ж. Дю Белле, Ж. А. де Баифа, Э. Жоделя, Р. Белло, Ж. Дора и П. де Таира.

** «На прощание» (фр.).

Comment pourroient chanter les bouches de poètes,
Quand, par vostre départ les Muses sont muettes?
Tout ce qui est de beau ne se garde longtemps,
Les roses et les lys ne régneront qu'un printemps.
Ainsi votre beauté seulement apparue
Quinze ans en notre France, est soudain disparue,
Comme on voit d'un éclair s'évanouir le trait,
Et d'elle n'a laissé sinon le regret,
Sinno le déplaisir qui me remet sans cesse
Au coeur le souvenir d'une telle princesse.

Как может петь поэт, когда, полны печали,
Узнав про ваш отъезд, и музы замолчали?
Всему прекрасному приходит свой черед,
Весна умчится прочь, и лилия умрет.
Так ваша красота во Франции блистала
Всего пятнадцать лет, и вдруг ее не стало,
Подобно молнии, исчезнувшей из глаз,
Лишь сожаление напечатлевшей в нас,
Лишь неизбывный след, чтоб в этой жизни брэнной
Я верность сохранил принцессе несравненной.

Двор, знать и благородное рыцарство забудут отсутствующую, одни лишь поэты останутся верны своей королеве; ибо в глазах поэтов несчастье — это истинное благородство, и та, чью гордую красоту они воспели, станет им вдвое дороже в своей печали. Верные провожатые, восславят они ее жизнь и смерть. Когда человек возвышенной души проживет свою жизнь, уподобив ее стихам, драме или балладе, всегда найдутся поэты, которые снова и снова станут воссоздавать ее для новой жизни.

В гавани в Кале уже дожидается великолепно разукрашенный, сверкающий свежей белизной галеон; на этом адмиральском судне, на котором вместе с шотландским развеивается и французский королевский штандарт, сопровождают Марию Стюарт ее вельможные дядья, избранные царедворцы и четыре Марии, верные подруги ее детских игр; два других корабля его эскортируют. Галеон еще не выбрался из внутренней гавани, еще не поставлены паруса, а первый же взгляд, обращенный Марией Стюарт в неведомую морскую даль, натывается

на зловещее знамение: только что вошедший в гавань баркас терпит крушение у прибрежных скал, его пассажирам грозит смерть в волнах. Итак, первая картина, которую видит Мария Стюарт, оставляя Францию, чтобы принять бразды правления, становится мрачным символом: плохо управляемый корабль погружается в морскую пучину.

Внушает ли ей это знамение безотчетный трепет, гнетет ли ее тоска об утраченной отчизне или предчувствие, что прошлому нет возврата, но Мария Стюарт не в силах отвести затуманенных глаз от земли, где она была так молода и наивна, а следовательно, и счастлива. Проникновенно описывает Брантом захватывающую грусть этого прощания: «Как только судно вывели из гавани, задул бриз, и матросы развернули паруса. Положив обе руки на корму у руля, она громко зарыдала, обращая взоры к тому месту на берегу, откуда мы отчалили, и повторяя все тот же грустный возглас: «Прощай, Франция!» — пока над нами не сгустилась тьма. Когда ей предложили пойти в каюту, чтобы отдохнуть, она решительно отказалась. Ей приготовили постель на фордеке. Отходя ко сну, она строго наказала помощнику рулевого, чтобы, едва рассветет, если французский берег будет еще в виду, он тотчас же ее разбудил, хотя бы ему пришлось кричать над самым ее ухом. И судьба благословила ее горячее желание. Ибо ветер вскоре улегся, пришлось идти на веслах и за ночь судно ушло недалеко. При восходе солнца вдали еще виднелся французский берег. Как только рулевой выполнил ее просьбу, она вскочила с ложа и, не отрываясь, глядела вдаль, без конца повторяя все те же слова: «Прощай, Франция! Франция, прощай! Я чувствую, что больше тебя не увижу!»

Непроницаемо густой туман — редкое явление летом у этих северных берегов — окутывает все кругом, когда Мария Стюарт 19 августа 1561 года высаживается в Лейте. Но как же отличается ее прибытие в Шотландию от расставания с *la douce France**. Там с нею на торжественных проводах прощались цвет французской знати: князья и графы, поэты и музыканты соперничали в изъявлении преданности и подобострастной почтительности. Здесь же никто ее не ждет; и только когда суда пристают к берегу, собирается изумленная толпа — несколько рыбаков в своей грубой одежде, кучка слоняющихся без дела солдат, какие-то лавочники да крестьяне, пригнавшие в город на продажу свой скот. Скорее робко, чем восторженно, следят они, как богато разодетые именитые дамы и кавалеры высаживаются на берег. Угрюмая встреча, мрачная и суровая, как душа этой северной страны! Чужие смотрят на чужих. С первого же часа стесненной душой познает Мария Стюарт ужасающую бедность своей родины: за пятидневный переход по морю она удалилась вспять на целое столетие — из обширной, богатой, благоденствующей, расточительной, упивающейся своей культурой страны попала в темный, тесный, трагический мир. В городе, десятки раз спаленном дотла, разграбленном англичанами и повстанцами, нет не только дворца, но даже господского дома, где ее могли бы достойно приютить; и королева, чтобы обрести кров, вынуждена заночевать у простого купца.

Первым впечатлениям присуща особая власть, неизгладимо запечатлеваются они в душе. Должно быть, молодая женщина не отдает себе отчета, что за неизъяснимая грусть сковала ей сердце, когда после тринадцатилетнего отсутствия она, как чужая, снова ступила на родную землю. Тоска ли об

* Милой Францией (фр.).

утраченном доме, бессознательное сожаление о той полной тепле и сладости жизни, которую научилась она любить на французской земле; давит ли ее это чужое серое небо или предчувствие грядущих бед? Кто знает — но только, оставшись одна, королева, по словам Брантома, залилась безутешными слезами. Не так, как Вильгельм Завоеватель, не с гордой самонадеянностью властителя ступила она уверенной и твердой стопой на британский берег, нет, первое ее ощущение — растерянность, недоброе предчувствие и страх перед событиями, таящимися во мгле.

На следующий день прискакал уведомленный о ее приезде регент, ее сводный брат Джеймс Стюарт, более известный как граф Меррей; он прибыл с несколькими дворянами, чтобы, спасая положение, хотя бы с какой-то видимостью почета проводить королеву в уже недалекий Эдинбург. Но парадного шествия не получилось. Англичане под неуклюжим предлогом, будто они отправляются на поиски пиратов, задержали корабль с лошадьми ее двора, здесь же, в захолустном Лейте, удастся найти только одного пристойного коня в более или менее сносной сбруе, которого и подводят королеве, женщинам же и дворянам ее свиты приходится довольствоваться простыми деревенскими клячами, набранными по окрестным конюшням и стойлам. Со слезами глядит Мария Стюарт на это зрелище, и снова ей приходит на ум, сколь много утратила она со смертью своего супруга и какая скромная доля — оказаться всего лишь королевой Шотландии, после того как ты побыла королевой Франции. Гордость не позволяет ей явиться своим подданным с таким жалким обозом, и вместо *joyeuse entrée** по улицам Эдинбурга она сворачивает со своей свитой в замок Холируд, стоящий за городскими стенами. Дом, построенный ее отцом, тонет в вечерней мгле, выделяются только круглые башни и зубчатая линия крепостных стен; суровые очертания

* Ликующего шествия (фр.).

фасада, сложенного из массивного камня, производят при первом взгляде почти величественное впечатление.

Но с какой ледяной будничностью встречают свою хозяйку, избалованную французской роскошью, эти пустынные, угрюмые покои! Ни гобеленов, ни праздничного сияния огней, которые, отражаясь в венецианских зеркалах, отбрасывают свет от стены к стене, ни дорогих драпировок, ни мерцания золота и серебра. Здесь годами не держали двора, в покинутых покоях давно заглох беззаботный смех, никакая королевская рука после кончины ее отца не подновляла и не украшала этот дом; отовсюду ввалившимися очами глядит нищета, извечное проклятие ее королевства.

Однако едва в Эдинбурге услышали, что королева прибыла в Холируд, как жители, несмотря на поздний час, высыпали из домов и потянулись за городские ворота ее приветствовать. Неудивительно, что изысканным, изнеженным французским придворным эта встреча показалась грубоватой и неуклюжей: ведь у эдинбургских обывателей нет своих *musiciens de la cour**, чтобы позабавить ученицу Ронсара сладостными мадригалами и искусно положенными на музыку канцонами. Только по стародавнему обычаю могут они восславить свою королеву. Натаскав валежника — единственное, чем богата эта негостеприимная местность, — они раскладывают на площадях костры, свои излюбленные *bonfires*, и жгут их до глубокой ночи. Толпами собираются они под ее окнами и на волынках, дудках и других нескладных инструментах исполняют нечто, что на их языке зовется музыкой, изошренному же слуху гостей представляется какой-то адской какофонией; грубыми мужскими голосами распевают они псалмы и духовные гимны — единственное, чем они могут приветствовать гостей, так как мирские песни строго-настрога запрещены им кальвинистскими пастырями. Но Мария Стюарт рада сердечному приему, во всяком случае, она смеется и благосклонно

*Придворных музыкантов (фр.).

приветствует свой народ. Так, по крайней мере на первые часы прибытия, между государыней и ее подданными воцаряется единомыслие, какого здесь не знавали уже десятки лет.

В том, что не искушенную в политике правительницу ждут огромные трудности, отдавали себе отчет и сама королева и ее советники. Пророческими оказались слова умнейшего из шотландских вельмож Мэйтленда Летингтонского, писавшего по поводу приезда Марии Стюарт, что он послужит причиной многих удивительных трагедий («it could not fail to raise wonderful tragedies»). Даже энергичный, решительный мужчина, правящий железной рукой, не мог бы надолго умиротворить эту страну, а тем более девятнадцатилетняя, несведущая в делах правления женщина, ставшая чужой в собственной стране! Нищий край; развращенная знать, радующаяся любому поводу для смуты и войны; бесчисленные кланы, только и ждущие случая превратить свои усобицы и распри в гражданскую войну; католическое и протестантское духовенство, яростно оспаривающее друг у друга первенство; опасная и зоркая соседка, искусно разжигающая всякую искру недовольства в открытый мятеж, и ко всему этому враждебные происки европейских держав, бесстыдно втравливающих Шотландию в свою кровавую игру, — в таком положении застает страну Мария Стюарт.

В тот момент, когда она появляется в Шотландии, борьба достигла высшего накала. Вместо набитых деньгами сундуков ей досталось от матери пагубное наследство (поистине *damnosa hereditas*) — религиозная вражда, свирепствующая в этой стране с особенной силой. За те годы, что она, баловница счастья, беспечно жила во Франции, реформации удалось победоносным маршем войти в Шотландию. Через дома и усадьбы, через города и веси, через родство и свойство пролегла чудовищная трещина: дворяне — одни католики, другие протестанты; города прилежат к новой вере, деревни — к старой; клан восстал против клана, род против рода; вражда

между обоими лагерями постоянно разжигается фанатичными священниками и поддерживается кознями иноземных государей.

Особенную опасность для Марии Стюарт представляет то, что наиболее могущественная и влиятельная часть ее дворянства объединилась во враждебном ей кальвинистском лагере; возможность разжиться богатыми церковными землями вскружила голову властолюбивым мятежникам. Наконец-то представился им случай выступить против своей монархини в тоге добродетели, на положении «лордов конгрегации», заступников веры, тем более что содействие Англии им обеспечено. Скуповатая Елизавета уже более двухсот фунтов пожертвовала на то, чтобы с помощью смут и вооруженных походов вырвать Шотландию из-под власти католиков Стюартов, и даже сейчас, после торжественно заключенного мира, большинство подданных соперницы тайно состоит у нее на службе.

Мария Стюарт может одним ударом восстановить равновесие, стоит ей лишь перейти в протестантскую веру, и часть ее советников усиленно на этом настаивает. Но недаром Мария Стюарт из дома Гизов. По матери она в кровном родстве с самыми горячими поборниками католицизма, да и сама она, хоть и чужда фарисейскому благочестию, все же горячо и убежденно привержена вере отцов и предков. Никогда не откажется она от своего исповедания и даже в минуты величайшей опасности, по обычаю смелой натуры, предпочтет неугасимую борьбу хотя бы одному трусливому шагу, противному ее совести и чести. Но тем самым между ней и ее дворянством пролегла непроходимая пропасть; когда властителя и его подданных разделяют религиозные верования, это к добру не приводит; весы не могут вечно колебаться, та или другая чаша должна перевесить. В сущности, у Марии Стюарт один только выбор — возглавить в стране реформацию или пасть ее жертвой. Неудержимый раскол между Лютером, Кальвином и Римом неисповедимой волей судеб именно в ее участии получает свое драматическое разрешение; личный конфликт между

Марией Стюарт и Елизаветой, между Англией и Шотландией призван решить — и в этом его огромное значение — также и конфликт между Англией и Испанией, между реформацией и контрреформацией.

Это положение, и само по себе пагубное, отягчено еще тем, что религиозный раскол проник в семью королевы, в ее замок, ее совещательную палату. Влиятельнейший шотландский вельможа, ее сводный брат Джеймс Стюарт, коему она вынуждена доверить все дела правления, — и сам убежденный протестант, оберегатель той «кирки», которую она, верующая католичка, считает погрязшей в ереси. Уже четыре года, как он первым поставил свою подпись под присягой заступников веры, так называемых «лордов конгрегации», присягой, коей они «отрекались от сатанинского учения и обязывались открыто противиться его суеверству и идолопоклонству». Сатанинское же учение, от которого они отреклись, и есть католическое, то самое, что исповедует Мария Стюарт. Между королевой и регентом с первой же минуты разверста непроходимая пропасть в наиболее важном, основополагающем для них вопросе, а это не обещает мира. Ибо в глубине души королева лелеет одно заветное желание — искоренить реформацию в Шотландии, а у ее регента и брата одна цель — провозгласить протестантизм единственной господствующей религией в Шотландии. Такое резкое идейное расхождение неминуемо должно привести к открытому конфликту.

Означенный Джеймс Стюарт призван стать в драме «Мария Стюарт» одним из ведущих персонажей; судьба уготовила ему в ней важнейшую роль, и он мастерски ее играет. Сын того же отца, рожденный им в многолетнем сожительстве с Маргаритой Эрскин из родовитейшей шотландской фамилии, он и по крови, и по своей железной энергии как бы самой природой предназначен стать достойнейшим наследником престола. Однако политическая зависимость вынудила Иакова V в свое время отказаться от мысли узаконить свою связь с горячо любимой леди Эрскин; ради укрепления своей власти и своих

финансов он женится на французской принцессе, ставшей впоследствии матерью Марии Стюарт. Над честолюбивым старшим сыном тяготеет проклятье незаконного рождения, навсегда преграждающее ему дорогу к престолу. Хоть папа по просьбе Иакова V и признал за старшим сыном, равно как и за другими его внебрачными детьми, все права королевского происхождения, все же Меррей остается бастардом без всяких прав на отцовский престол.

История и ее величайший подражатель Шекспир дали миру немало примеров душевной трагедии бастарда, этого и сына и несына, у которого закон государственный, церковный и человеческий безжалостно отнял те права, что сама природа запечатлела в его крови и обличье. Осужденные трибуналом предрассудков, самым страшным и непреклонным из судов человеческих, внебрачные дети, зачатые не на королевском ложе, обойдены в пользу других наследников, порой слабейших, так как последних произвела на свет не любовь, а политический расчет; вечно гонимые и изгоняемые, они обречены клянчить там, где им надлежало бы владеть и властвовать. Но если человека открыто заклеить как неполноценного, то вечно преследующее его чувство неполноценности должно либо совсем его согнуть, либо чудесным образом укрепить. Трусливые и вялые души становятся под ярмом унижения еще мельче, еще ничтожнее; попрошайки и лизоблюды, они клячат подачек и милостей у тех, кто благоденствует под сенью закона. Когда же обделен человек волею, это высвобождает в нем связанные темные силы: если добром не подпустить его к власти, он постарается сам стать властью.

Меррей — волевая натура. Неистовая решимость Стюартов, его царственных предков, их гордость и властность неукротимо бродят в его крови; как человек, как личность он незаурядным умом и твердой волей на голову выше, чем разбойничье племя остальных графов и баронов. Его честолюбие метит высоко, его планы политически обоснованы; умный, как и сестра, этот тридцатилетний искатель власти неизмери-

мо превосходит ее практической сметкой и мужским опытом. Словно на играющее дитя, смотрит он на нее сверху вниз и не мешает ей резвиться, доколе ее игра не путает его планов. Зрелый муж, он не подвержен, как она, страстным, нервическим, романтическим порывам; как правитель он лишен всего героического, но зато умеет терпеливо ждать и, следовательно, владеет подлинной тайной успеха, более надежным его залогом, чем внезапный жаркий порыв.

Мудрого политика всегда отличает умение заранее отказаться от несбыточных мечтаний. Для незаконнорожденного такой мечтой является царская корона. Никогда Меррею — и он это прекрасно знает — не именоваться Иаковом Шестым. Трезвый политик, он наперед отказывается от притязаний на престол Шотландии, чтобы с тем большим основанием стать ее правителем — регентом (regent), поскольку ему нельзя быть королем (rex). Он отказывается от королевских регалий и внешнего блеска, но лишь для того, чтобы крепче удерживать в руках власть. С ранней молодости рвется он к богатству, как наиболее осязаемому воплощению могущества, выговаривает себе у отца огромное наследство, не брезгует богатыми дарами и на стороне, использует в своих интересах секуляризацию церковных владений и войну — словом, при каждом лове первым наполняет свою сеть. Без зазрения совести принимает он от Елизаветы щедрые субсидии, и вернувшись в Шотландию королевой Мария Стюарт находит в нем самого богатого и влиятельного вельможу, которого уже не спихнешь с дороги.

Скорее по необходимости, чем по внутренней склонности, ищет она его дружбы и, радея о собственной выгоде, отдает сводному брату в его ненасытные руки все, что он ни попросит, всячески утоляя его жажду богатства и власти. По счастью для Марии Стюарт, руки у Меррея и впрямь надежные, они умеют натягивать вожжи, умеют и отпускать. Прирожденный государственный деятель, он держится золотой середины: он протестант, но не буйный иконоборец; шотландский патриот, но

отлично ладит с Елизаветой; свой брат с лордами, но, когда нужно, умеет им пригрозить; короче говоря, этот холодный, расчетливый человек с железными нервами не гонится за престижем власти, так как удовлетворить его может только подлинная власть.

Такой незаурядный человек — незаменимая опора для Марии Стюарт, доколе он ее союзник. И — величайшая опасность, когда он держит руку ее врагов. Как брат, связанный с ней узами крови, он и сам не прочь поддержать ее, ведь никакой Гордон или Гамильтон, оказавшись на ее месте, не предоставит ему такую неограниченную и бесконтрольную власть; охотно позволяет он ей блистать, без тени зависти наблюдая, как она выступает на торжествах в предшестве скипетра и короны, лишь бы никто не вмешивался в дела правления. Но как только она попытается взять власть в свои руки и тем умалить его авторитет, гордость Стюартов необоримо столкнется с гордостью Стюартов. Ибо нет вражды страшнее, чем та, когда сходное борется со сходным, движимое одинаковыми стремлениями и с одинаковой силой.

Мэйтленд Летингтонский, второй по значению придворный вельможа и статс-секретарь Марии Стюарт, тоже протестант. Но и он поначалу держит ее сторону. Мэйтленд, человек незаурядного ума, образованный, просвещенных взглядов, «the flower of wits»*, как называет его Елизавета, не отличается гордостью и честолюбием Меррея. Дипломат, он чувствует себя как рыба в воде в атмосфере политических происков и комбинаций; такие незыблемые принципы, как религия и отечество, королевская власть и государство, не его забота; его увлекает виртуозное искусство одновременно ставить на всех игорных столах, завязывать и развязывать по своей воле узелки интриг. На удивление преданный Марии Стюарт лично (одна из четырех Марий, Мэри Флеминг, становится его женой), он непоследователен как в верности, так

* Великий остроумец (англ.).

и в неверности. Он будет служить королеве, пока ей сопутствует успех, и покинет ее в минуту опасности; как флюгер, он показывает ей, попутный или встречный дует ветер. Как истинный политик, он служит не ей — королеве и другу, — а единственно ее счастью.

Итак, нигде, ни в городе, ни у себя дома — плохое предзнаменование! — не находит Мария Стюарт по приезде надежного друга. И тем не менее с помощью Меррея, с помощью Мэйтленда можно править, с ними можно как-то стовориться; зато непримиримо, неумолимо, обуянный беспощадной, кровавадной ненавистью, противостоит ей с первой же минуты могущественный выходец из низов Джон Нокс, популярнейший проповедник Эдинбурга, основоположник и глава шотландской «кирки», мастер религиозной демагогии. Между ним и Марией Стюарт завязывается смертельный поединок, борьба не на жизнь, а на смерть.

Ибо кальвинизм Джона Нокса представляет собой уже не просто реформатское обновление церкви, это — закостенелая государственно-религиозная система, в известной мере *plus ultra** протестантизма. Он выступает как повелитель, фанатически требуя даже от монархов рабского подчинения своим теократическим заповедям. С англиканской церковью, с лютеранством, с любой менее суровой разновидностью реформатского учения Мария Стюарт при своей мягкой, уступчивой натуре, возможно, и столковалась бы. Но диктаторские повадки кальвинизма исключают всякую возможность соглашения с истинным монархом, и даже Елизавета, охотно прибегающая к услугам Нокса, чтобы елико возможно пакостить Марии Стюарт, терпеть его не может за несносную спесь. Тем более это фанатическое рвение должно претить гуманной и гуманистически настроенной Марии Стюарт! Ей, жизнерадостной эпикурейке, наперснице муз, чужда и непонятна трезвая суровость пресловутого женевского учения, его враждебность

* Высшая степень (*лат.*).

всем радостям жизни, его иконоборствующая ненависть к искусству, ей чуждо и непонятно надменное упрямство, казнящее смех, осуждающее красоту, как постыдный порок, нацеленное на разрушение всего, что ей мило, всех праздничных сторон жизни, музыки, поэзии, танцев, вносящее в сумрачный и без того уклад жизни дополнительную сугубо сумрачную ноту.

Именно такой угрюмый, ветхозаветный отпечаток накладывает на эдинбургскую «кирку» Джон Нокс, самый чугуноголовый, самый фанатично безжалостный из всех основателей церкви, неумолимостью и нетерпимостью превзошедший даже своего учителя Кальвина. В прошлом захудалый католический священник, он с неукротимой яростью истинного фанатика ринулся в волны реформации, оказавшись последователем того самого Джорджа Уишарта, который как еретик терпел гонения и был заживо сожжен на костре матерью Марии Стюарт. Пламя, пожравшее учителя, продолжает неугасимо гореть в душе ученика. Как один из вожаков восстания против правящей регентши, он попадает в плен к вспомогательным французским войскам, и во Франции его сажают на галеры. Хоть он и закован в цепи, воля его мужает, и вскоре она уже тверже его железных оков. Отпущенный на свободу, он бежит к Кальвину; там постигает он силу проповедуемого слова, заражается непоколебимой ненавистью пуританина к светлому эллинскому началу и по возвращении в Шотландию, взяв за горло со свойственной ему гениальной напористостью простонародье и дворянство, за несколько считанных лет насаждает в стране реформацию.

Джон Нокс, быть может, самый законченный образец религиозного фанатика, какой знает история; он тверже Лютера, у которого были свои минуты душевной слабости, суровее Савонаролы, ибо лишен блеска и мистических воспарений его красноречия. Безусловно честный в своей прямолинейности, он вследствие надетых на себя шор, стесняющих мысль, становится одним из тех ограниченных, суровых умов, кои при-

знают только истину собственной марки, добродетель, христианство собственной марки, все же прочее почитают не истиной, не добродетелью, не христианством. Всякий инакомыслящий представляется ему злодеем; всякий, хоть на йоту отступающий от буквы его требований, — прислужником сатаны. Ноксу свойственна слепая неустрашимость маньяка, страстность иступленного фанатика и омерзительная гордость фарисея; в его жестокости сквозит опасное любование своим жестокосердием, в его нетерпимости — мрачное упоение своей непогрешимостью.

Шотландский Иегова с развевающейся бородой, он каждое воскресенье в Сент-Джайлском соборе мечет с амвона грома и молнии на тех, кто не пришел его слушать; «убийца радости» (kill joy), он нещадно поносит «сатанинское отродье», беспечных, безрассудных людей, служащих Богу не по его указке. Ибо этот старый фанатик не знает иной радости, кроме торжества собственной правоты, иной справедливости, кроме победы его дела. С наивностью дикаря предается он ликованию, узнав, что какой-то католик или иной его враг претерпел кару или поношение; если рукой убийц сражен враг «кирки», то, разумеется, убийство совершилось попусшением или соизволением Божьим. Он затягивает на своем амвоне благодарственный гимн, когда у малолетнего супруга Марии Стюарт, бедняжки Франциска II, гной прорвался в ухо, «не желавшее слышать слово Господне»; когда же умирает Мария де Гиз, мать Марии Стюарт, он с увлечением проповедует: «Да избавит нас Бог в своей великой милости и от других порождений той же крови, от всех потомков Валуа! Аминь! Аминь!»

Не ищите ни кротости, ни евангельской доброты в его проповедях, коими он оглушает, как дубинкой; его Бог — это Бог мести, ревнивый, неумолимый; его библия — кровожаждущий, бесчеловечно жестокий Ветхий завет. О Моаве, Амалеке и других символических врагах Израиля, коих должно предать огню и мечу, неумолчно твердит он в остережение врагам истинной, иначе говоря, *его* веры. А когда он ожесточенно

поносит библейскую королеву Иезавель, слушатели ни минуты не сомневаются в том, кто эта королева. Подобно тому как темные, величественные грозовые облака заволакивают небо и повергают душу в трепет неумолчными громами и зигзагами молний, так кальвинизм навис над Шотландией, готовый ежеминутно разразиться опустошительной грозой.

С таким непреклонным, неподкупным фанатиком, который только повелевает и требует беспрекословного подчинения, невозможно столковаться; любая попытка его вразумить или улестить лишь усиливает в нем жестокость, желчную насмешку и надменность. О каменную стену такого самодовольного упрямства разбивается всякая попытка взаимопонимания. И всегда эти вестники Господни — самые неуживчивые люди на свете; уши их отверсты для божественного глагола, поэтому они глухи к голосу человечности.

Мария Стюарт и недели не пробыла дома, а зловещее присутствие этого фанатика уже дает себя знать. Еще до того, как принять бразды правления, она не только даровала своим подданным свободу вероисповедания — что при терпимости ее натуры не представляло большой жертвы, — но и приняла к сведению закон, запрещающий открыто служить мессе в Шотландии, — мучительная уступка приверженцам Джона Нокса, которому, по его словам, «легче было бы услышать, что в Шотландии высадилось десятитысячное вражеское войско, чем знать, что где-то служилась хотя бы одна-единственная месса». Но набожная католичка, племянница Гизов, разумеется, выговорила себе право совершать в своей домашней часовне все обряды и службы, предписываемые ее религией, и парламент охотно внял этому справедливому требованию.

Тем не менее в первое же воскресенье, когда у нее дома, в Холирудской часовне, шли приготовления к службе, разъяренная толпа проникла чуть ли не в самый дворец; у ризничего вырывают из рук освященные свечи, которые он нес для алтаря, и ломают на куски. Толпа все громче ропщет, раздаются требования изгнать «попа-идолопоклонника» и даже

предать его смерти, все явственнее слышны проклятия «сатанинской мессы», еще минута — и дворцовая часовня будет разнесена в щепы. К счастью, лорд Меррей, хоть он и приверженец «кирки», бросается навстречу толпе и задерживает ее у входа. По окончании службы, прошедшей в великом страхе, он уводит испуганного священника в его комнату целым и невредимым: несчастье предотвращено, авторитет королевы кое-как удалось спасти. Но веселые празднества в честь ее возвращения, «joyousities», как иронически называет их Джон Нокс, сразу же, к величайшему его удовольствию, обрываются: впервые чувствует романтическая королева сопротивление действительности в своей стране.

Мария Стюарт не на шутку разгневана, слезами и яростными выкриками дает она волю своему возмущению. И тут на ее все еще неявный характер снова проливается более яркий свет. Такая юная, с ранних лет избалованная счастьем, она, в сущности, нежная и ласковая натура, покладистая и обходительная: окружающие, от первых вельмож двора до камеристок и служанок, не могут нахвалиться ее простотой и сердечностью. Своей доступной манерой обращения, без тени надменности, она покоряет всех, каждого заставляя забыть о своем высоком сане. Однако за этой сердечностью и приветливостью скрыто горделивое сознание собственного избранничества, незаметное до тех пор, пока никто ее не задевает, но прорывающееся со всей страстностью, едва кто-либо осмелится оскорбить ее слушанием или прекословием. Эта необычайная женщина порой умела забывать личные обиды, но никогда не прощала она ни малейшего посягательства на свои королевские права.

Ни минуты не станет она терпеть это первое оскорбление. Таковую дерзость должно пресечь сразу же, подавить в корне. И она знает, к кому адресоваться, знает, что бородач из церкви еретиков натравливает народ на ее веру, это он подослал шайку богохульников к ней в дом. Отчитать его как следует — и сию же минуту! Ибо Мария Стюарт, вскормленная французскими традициями неограниченного абсолютизма, с детства

привыкшая к безусловному повиновению, выросшая в понятиях неотъемлемой божественной благодати, и представить себе не может послушания со стороны одного из своих подданных, какого-то простого горожанина. Она чего угодно ждет, но только не того, что кто-либо осмелится открыто, а тем более грубо ей перечить. А Джону Ноксу только этого и нужно, он рвется в бой: «Мне ли убояться смазливой личика высокородной аристократки, мне, который и перед многими гневными мужами не опускал глаз и постыдно не робел!» С воодушевлением спешит он во дворец, ибо спорить — во имя Божие, как он считает, — самое милое дело для фанатика. Если Господь дает королям корону, то своим пастырям и посланцам он дарует слово огненное. Для Джона Нокса священнослужитель «кирки» выше короля, ибо он заступник прав господних. Его дело — защищать царство Божие на земле; без колебаний избивает он непокорных увесистой дубинкой гнева своего, как во времена оны Самуил и судьи библейские.

Так разыгрывается сцена совсем в духе Ветхого завета, сцена, где королевская гордыня и поповское высокомерие сшибаются лбами; не женщина борется здесь с мужчиной за верховенство, нет, две древние идеи уже который раз встречаются в яростном поединке. Мария Стюарт приступает к беседе со всей мягкостью. Она ищет взаимопонимания и подавляет в себе раздражение, так как хочет мира в своей стране; учтиво начинает она переговоры. Однако Джон Нокс заранее настроился на неучтивость, желая доказать этой «*idolatress*»*, что он не клонит головы перед сильными мира. Угрюмо и молчаливо, не как обвиняемый, но как обвинитель, выслушивает он королеву, которая обращается к нему с упреком по поводу его книги «*The first blast of trumpet against the monstrous regiment of women*»**, отрицающей право женщины на престол. Но тот же самый Нокс, который по поводу той же самой книги будет

* Язычнице (англ.).

** «Первый трубный сигнал в осуждение чудовищного правления женщин» (англ.).

униженно вымаливать прощения у протестантки Елизаветы, здесь, перед своей государыней «паписткой», упрямо стоит на своем, приводя весьма двусмысленные доводы. Разгорается перепалка. Мария Стюарт в упор спрашивает Нокса: обязаны ли подданные повиноваться своему властелину или нет? Но вместо того, чтобы сказать: да, обязаны, на что и рассчитывает Мария Стюарт, сей искусный тактик ограничивает необходимость повиновения некоей притчей: когда отец, утратив разум, хочет убить своих детей, то дети вправе, связав ему руки, вырвать у него меч. Когда князя преследуют детей Божиих, те вправе воспротивиться гонению. Королева сразу же чует за этой оговоркой восстание теократа против ее державных прав.

— Стало быть, мои подданные, — допытывается она, — должны повиноваться вам, а не мне? Стало быть, я подвластна вам, а не вы мне?

Собственно, таково мнение Джона Нокса. Но он остерегается в присутствии Меррея высказать его ясно.

— Нет, — отвечает он уклончиво, — и князь и его подданные должны повиноваться Господу. Королям надлежит быть кормильцами церкви, а королевам — ее мамками.

— Но я не вашу церковь хочу кормить, — возражает королева, возмущенная двусмысленностью его ответа. — Я хочу лелеять римско-католическую церковь, для меня она единственная церковь Божия.

Итак, противники схватились врукопашную. Спор зашел в тупик, ибо не может быть понимания между верующей католичкой и фанатичным протестантом. Нокс идет в своей неучтивости еще дальше, он называет римско-католическую церковь блудницей, недостойной быть невестой Божией. Когда же королева запрещает ему подобные выражения как оскорбительные для ее совести, он отвечает с вызовом: «Совести потребно познание», — он же боится, что королеве как раз не хватает познания. Так вместо примирения эта первая беседа только обострила взаимную вражду. Нокс знает теперь, что «сатана силен» и что юная властительница никогда ему не покорится. «При этом объяснении я натолкнулся на реши-

мость, какой еще не встречал в возрасте, столь незрелом. С того дня у меня со двором все покончено, равно как и у них со мной», — пишет он в раздражении. Но и молодая женщина впервые ощутила предел своей королевской власти. С гордо поднятой головой покидает Нокс дворец, довольный, что оказал сопротивление королеве; в растерянности смотрит ему вслед Мария Стюарт и, чувствуя свое бессилие, раздражается горькими слезами. И это не последние слезы. Вскоре она узнает, что власть не наследуют с кровью, а непрерывно завоевывают вновь и вновь в борьбе и унижениях.

Г Л А В А V

КАМЕНЬ ПОКАТИЛСЯ

1561—1563

Первые три года в Шотландии, проведенные Марией Стюарт на положении вдовствующей королевы, проходят при полном штиле, без сколько-нибудь заметных потрясений; такова уж особенность этой судьбы (недаром привлекающей драматургов), что все великие ее события как бы сжимаются в короткие эпизоды стихийной силы. В эту пору правят Меррей и Мэйтленд, а Мария Стюарт только представляет — удачное разделение власти для всего государства. Ибо как Меррей, так и Мэйтленд правят разумно и осмотрительно, а Мария Стюарт отлично справляется со своими обязанностями по части репрезентации. От природы красивая и обаятельная, искушенная во всех рыцарских забавах, мастерски играющая в мяч, не по-женски смелая наездница, страстная охотница, она уже внешними данными завоевывает сердца: с гордостью глядят эдинбуржцы, как эта дочь Стюартов поутру, с соколом на высоко поднятом кулачке, выезжает во главе празднично пестреющей кавалькады, с ласковой готовностью отвечая на каждое приветствие. Что-то светлое и радостное, что-то трогательное и романтическое озарило суровую, темную страну с появлением этой королевы, словно солнце юности и красоты,

а ведь красота и юность правителя всегда таинственно пленяют сердца подданных. Лордам, в свою очередь, внушает уважение ее мужественная отвага. Целыми днями способна эта молодая женщина в бешеной скачке мчаться без усталости впереди своей свиты. Как душа ее под чарующей приветливостью таит еще не раскрывшуюся железную гордость, так и гибкое, словно лоза, нежное, легкое, женственно-округлое тело скрывает необычайную силу.

Никакие трудности не страшны ее жаркой отваге; однажды, наслаждаясь быстрой скачкой, она сказала своему спутнику, что хотела бы быть мужчиной, изведать, каково это — всю ночь провести в поле на коне. Когда регент Меррей выезжает в поход против мятежного клана Хантлей, она бесстрашно скачет с ним рядом с мечом на боку, с пистолетами за поясом: отважные приключения неотразимо манят ее неведомым очарованием чего-то дикого и опасного, ибо отдаваться чему-либо всеми силами своего существа, всем пылом своей любви, всей своей необузданной страстью — сокровеннейшее призвание этой энергичной натуры. Но, неприхотливая и выносливая, точно воин, точно охотник, во всех этих скачках и похождениях, она умеет быть совсем другой в своем замке, повелительница во всеоружии искусства и культуры, самая веселая, самая очаровательная женщина в своем маленьком мире; поистине в этой короткой юности воплотился идеал века — мужество и нежность, сила и смирение, явленные нам рыцарской романтикой. Последним, предзакатным сиянием куртуазной *chevalerie*, воспетой трубадурами, светится это прекрасное видение в тумане холодного северного края, уже омраченного тенями реформации.

Но никогда романтический образ этой женщина-отроковицы, этой девочки-вдовы не сверкал так лучезарно, как на двадцатом, двадцать первом ее году, — и здесь торжество приходит к ней слишком рано, непонятное и ненужное. Ибо все еще не пробудилась вполне ее внутренняя жизнь, еще женщина в ней не знает велений крови, еще не развилась, не сложилась ее личность. Только в минуты волнений и опасно-

стей раскрывается истинная Мария Стюарт, а эти первые годы в Шотландии для нее лишь время безразличного ожидания, и она коротает его в праздных забавах, как бы пребывая в постоянной готовности еще неизвестно к чему и для чего. Это словно вдох перед решающим усилием, бесцветный, мертвый интервал. Марию Стюарт, уже полуробенком владевшую всей Францией, не удовлетворяет убогое владичество в Шотландии. Не для того, чтобы править этой бедной, тесной, заштатной страной, возвратилась она на родину; с первых же шагов смотрит она на эту корону лишь как на ставку во всемирной игре, рассчитывая выиграть более блестящую.

Сильно заблуждается тот, кто думает или утверждает, будто Мария Стюарт не желала ничего лучшего, как тихо и мирно управлять наследием своего отца в качестве примерной девочки, преемницы шотландской короны. Тот, кто приписывает ей столь утлое честолюбие, умаляет ее величие, ибо в этой женщине живет неукротимая, неуправляемая воля к большой власти; никогда та, что пятнадцати лет венчалась в Нотр-Дам с французским наследным принцем, та, кого в Лувре чествовали с величайшей пышностью как повелительницу миллионов, никогда она не удовлетворится участью госпожи над двумя десятками непокорных мужланов, именуемых графами и баронами, — королевы каких-то двухсот тысяч пастухов и рыбаков. Искусственная, фальшивая натяжка — приписывать ей задним числом некое национально-патриотическое чувство, открытое веками позднее. Князьям пятнадцатого-шестнадцатого веков — всем, исключая ее великую антагонистку Елизавету, — дела нет до их народов, а лишь до своей личной власти. Империи перекраиваются, как платья, государства создаются войнами и браками, а не пробуждением национального самосознания. Не надо впадать в сентиментальную ошибку: Мария Стюарт той поры готова променять Шотландию на испанский, французский, английский да, в сущности, на любой другой престол; вероятно, ни слезинки не проронила б она, расставаясь с лесами, озерами и романтическими замками

своей отчизны; ее неуемное честолюбие рассматривает это маленькое государство всего лишь как трамплин для более высокой цели. Она знает, что по своему рождению призвана к власти, знает, что красота и блестящее воспитание делают ее достойной любой европейской короны, и с той беспредметной мечтательностью, с какой ее сверстницы грезят о безграничной любви, грезит ее честолюбие лишь о безграничной власти.

Потому-то она вначале и бросает на Меррея и Мэйтленда все государственные дела — без малейшей ревности, без участия и интереса; ни капли не завидуя — что ей, так рано венчанной, так избалованной властью, эта бедная, тесная страна! — позволяет она им править и владеть по-своему. Никогда управление, приумножение своего достояния — это высшее политическое искусство — не было сильной стороной Марии Стюарт. Она может только защищать, но не сохранять. Лишь когда ущемляется ее право, когда задета ее гордость, когда чужая воля угрожает ее притязаниям, в ней пробуждается дикая, порывистая энергия; только в решительные мгновения становится эта женщина великой и деятельной; обыкновенные времена находят ее обыкновенной и безучастной.

В эту пору затишья стихают и козни ее великой противницы; ибо всегда, когда пылкое сердце Марии Стюарт осеняют мир и покой, успокаивается и Елизавета. Одним из величайших политических достоинств этой великой реалистки было умение считаться с фактами, умение не восставать своевольно против неизбежного. Всеми средствами пыталась она помешать возвращению Марии Стюарт в Шотландию, а потом делала все возможное, чтобы его отодвинуть; но теперь, когда оно стало непреложным фактом, Елизавета больше не борется, наоборот, она не жалеет стараний, чтобы завязать с соперницей, которую устранить бессильна, дружественные отношения. Елизавета — и это одна из самых положительных особенностей ее причудливого, своевольного нрава, — как и всякая умная женщина, не любит войны, всегда, чуть дело доходит до ответственных насильственных мер, она теряется

и робеет; расчетливая натура, она предпочитает искать преимущества в переговорах и договорах, добиваясь победы в искусном поединке умов.

Едва лишь достоверно выяснилось, что Мария Стюарт приезжает, лорд Меррей обратился к Елизавете с проникновенными словами увещевания, призывая ее заключить с шотландской королевой честную дружбу: «Обе вы молодые, преславные королевы, и уже ваш пол возбращает вам умножать ваше величие войной и кровопролитием. Каждая из вас знает, что послужило поводом для возникшей меж вами распри. Видит Бог, больше всего я желал бы, чтобы моя державная госпожа никогда не заявляла претензий как на государство Вашего Величества, так и на титул. И все же вам должно пребыть и остаться друзьями. Однако, поскольку с ее стороны было изъявлено такое притязание, боюсь, как бы это недоразумение не стало меж вами, доколе причина его не устранена. Ваше Величество, вы не можете пойти на уступки в этом вопросе, но и ей трудно стерпеть, что на нее, столь близкую Англии по крови, смотрят там, как на чужую. Нет ли здесь какого-то среднего пути?» Елизавета готова внять совету; в качестве всего лишь королевы Шотландии, да еще под контролем английского прихлебателя Меррея, Мария Стюарт не так уж ей страшна — прошли те времена, когда она носила двойную корону, монархини Французской и Шотландской. Так почему бы не выказать приязнь, хотя бы и чуждую ее сердцу?

Вскоре между Елизаветой и Марией Стюарт завязывается переписка, обе *dear sisters** доверяют многотерпеливой бумаге свои нежнейшие чувства. Мария Стюарт посылает Елизавете в знак любви бриллиантовое кольцо, а та шлет ей взамен перстень еще более драгоценный; обе успешно разыгрывают перед публикой и собой утешительное зрелище родственной привязанности. Мария Стюарт заверяет, что «самое заветное

* Милые сестрицы (англ.).

ее желание в этом мире — повидать добрую сестрицу», она готова разорвать союз с Францией, так как ценит благосклонность Елизаветы «more than all uncles of the world»*, тогда как Елизавета затейливым крупным почерком, к коему она обращается лишь в самых торжественных случаях, выводит веле-речивые изъяснения в преданности и дружбе. Но едва лишь дело доходит до того, чтобы договориться о личной встрече, как обе осторожно увиваются. Их старые переговоры так и завязли на мертвой точке: Мария Стюарт согласна подписать Эдинбургский договор о признании Елизаветы лишь при условии, что та подтвердит ее права преемства; для Елизаветы же это все равно, что подписать собственный смертный приговор. Ни одна из сторон ни на йоту не отступает от своих притязаний, цветистые фразы в конечном счете лишь прикрывают непроходимую пропасть. Завоеватель мира Чингисхан сказал: «Не бывать двум солнцам в небе и двум ханам на земле». Одна из них должна уступить — Елизавета или Мария Стюарт. Обе в глубине души знают это, и каждая ждет своего часа. Но пока решительный час не настал, почему не воспользоваться короткой передышкой? Там, где недоверие неистребимо живет в душе, всегда отыщется повод раздуть подспудный огонь во всепожирающее пламя.

Нередко в эти годы юную королеву удручают мелочные заботы, утомляют докучные государственные дела, все чаще и чаще чувствует она себя чужой среди забияк дворян, ей не по себе от брани и лая воинствующих попов и от тайных козней — в такие минуты бежит она во Францию, свою отчизну сердца. Разумеется, Шотландии ей не покинуть, но в своем Холирудском замке она создала себе маленькую Францию, крошечный мирок, где свободно и невозбранно отдается самым заветным своим влечениям, — собственный Трианон. В круглой Холирудской башне держит она романтический двор во французском вкусе; она привезла из Парижа гобелены и

*Превыше всех дядюшек на свете (англ.).

турецкие ковры, затейливые кровати, дорогую мебель и картины, а также любимые книги в роскошных переплетах, своего Эразма и Рабле, своего Ариосто и Ронсара. Здесь говорят и живут по-французски, здесь в трепетном сиянии свечей вечерами музицируют, затевают светские игры, читают стихи, поют мадригалы. При этом миниатюрном дворе впервые по эту сторону Ла-Манша разыгрываются «маски», маленькие классические пьесы «на случай», впоследствии, уже на английских подмостках, увидевшие свой пышный расцвет. До глубокой ночи танцуют переодетые дамы и кавалеры, и во время одного из таких танцев в масках, «The purpose»*, королева появляется даже в мужском костюме, в черных облегающих шелковых панталонах, а ее партнер, поэт Шателяр, переодет дамой — зрелище, которое повергло бы Джона Нокса в неопишемый ужас.

Но пуритане, фарисеи и им подобные ворчуны на выстрел не подпускаются к этим увеселениям, и тщетно кипятится Джон Нокс, изобличая премерзостные «*souparis*» и «*dansaris*», и мечет громы с высоты амвона в Сент-Джайлсе, так что борода его мотается, что твой маятник: «Князьям сподручнее слушать музыку и ублажать мамону, чем внимать священному слову Божию или читать его. Музыканты и льстецы, погубители младости, угодней им, чем зрелые, умудренные мужи, — кого же имеет в виду сей самонадеянный муж? — те, что целительными увещаниями тщатся хоть отчасти истребить в них первозданный грех гордыни». Но юный, веселый кружок не ищет «целительных увещаний» этого «*kill-joy*», убийцы радости; четыре Марии и два-три кавалера, преданных всему французскому, счастливы забыть здесь, в ярко освещенном уютном зале — приюте дружбы, о сумраке неприветливой, трагической страны, а Мария Стюарт прежде всего счастлива сбросить холодную личину величия и быть просто веселой молодой женщиной в кругу сверстников и единомышленников.

* «Тайное намерение» (англ.).

Такое желание естественно. Но поддаваться беспечности всегда опасно для Марии Стюарт. Притворство душит ее, осторожность скоро утомляет, однако похвальное, в сущности, качество — неумение скрывать свои чувства — «*Je ne sais point déguiser mes sentiments*», — как она кому-то пишет, — приносит ей политически больше неприятностей, нежели другим самая бесчеловечная жестокость, самый злонамеренный обман. Известная непринужденность, которую королева разрешает себе в обществе молодых людей, с улыбкой принимая их поклонение и даже порой бессознательно поощряя его, располагает сумасбродных юнцов к неподобающей фамильярности, а более пылким и вовсе кружит голову.

Было, очевидно, в этой женщине, чье очарование так и не сумели передать писанные с нее портреты, нечто воспламенявшее чувства; быть может, по каким-то незаметным признакам иные мужчины уже тогда улавливали за мягкими манерами женщины-девушки неудержимую страстность, — так иной раз за улыбчивым ландшафтом скрывается вулкан; быть может, задолго до того, как Марии Стюарт самой открылась ее тайна, угадывали они мужским чутьем ее неукротимый темперамент, ибо от нее исходили чары, склонявшие мужчин скорее к чувственному влечению, нежели к романтической любви.

Вполне вероятно, что в слепоте еще не пробудившихся инстинктов она легче допускала чувственные вольности — ласковое прикосновение, поцелуй, манящий взгляд, — нежели это сделала бы умудренная опытом женщина, понимающая, сколько опасного соблазна в таких невинных шалостях; иной раз она позволяет окружающим молодым людям забывать, что женщина в ней, как королеве, должна оставаться недоступной для чересчур смелых мыслей. Был такой случай: молодой шотландец, капитан Хепберн, позволил себе по отношению к ней какую-то дурацки неуклюжую выходку, и только бегство спасло его от грозной кары. Но как-то слишком небрежно проходит Мария Стюарт мимо этого досадного ин-

цидента, легкомысленно расценивая дерзкую фривольность как простительную шалость, и тем придает храбрости другому дворянину из тесного кружка своих друзей.

Это приключение носит уже и вовсе романтический характер; как почти все, что случается на шотландской земле, становится оно сумрачной балладой. Первый почитатель Марии Стюарт при французском дворе, господин Данвилль, сделал своего юного спутника и друга, поэта Шателяра, наперсником своих восторженных чувств. Но вот господину Данвиллю, вместе с другими французскими дворянами сопровождавшему Марию Стюарт в ее путешествии, пора вернуться домой, к жене, к своим обязанностям; и трубадур Шателяр остается в Шотландии своего рода наместником чужого поклонения. Однако не столь уж безопасно сочинять все новые и новые нежные стихи — игра легко превращается в действительность. Мария Стюарт бездумно принимает поэтические излияния юного гугенота, в совершенстве владеющего всеми рыцарскими искусствами, и даже отвечает на его мадригалы стихами своего сочинения; да и какой молодой, знающей с музами женщине, заброшенной в грубую, отсталую страну, не было бы лестно слышать такие прославляющие ее строфы:

Oh Déesse immortelle
Escoute donc ma voix
Toi qui tiens en tutelle
Mon pouvoir sous tes loix
Afin que si ma vie
Se voie en bref ravie,
Ta cruauté
La confesse péric
Par ta seule beauté.

К тебе, моей богине,
К тебе моя мольба.
К тебе, чья воля ныне —
Закон мой и судьба.
Верь, если б в дни расцвета

Пресекла путь мой Лета,
Виновна только ты,
Сразившая поэта
Оружьем красоты! —

тем более что она не знает за собой никакой вины? Ибо разделенным чувством Шателляр похвастаться не может — его страсть остается безответной. Уныло вынужден он признать:

Et néansmoins la flâme
Qui me brûle et enflâme
De passion
N'émeut jamais ton âme
D'aucune affection.

Ничто не уничтожит
Огня, который гложет
Мне грудь,
Но он любовь не может
В тебя вдохнуть.

Вероятно, лишь как поэтическую хвалу на фоне других придворных и подобострастных знаков внимания, с улыбкой приемлет Мария Стюарт — она и сама поэтесса и знает, сколь условны эти лирические воспарения, — прочувствованные строфы своего пригожего Селадона*, и, конечно же, только терпит она галантные любезности, не представляющие собой ничего неуместного при романтическом дворе женщины. С обычной непосредственностью шутит и забавляется она с Шателляром, как и с четырьмя Мариями. Она отличает его невинными знаками внимания, избирает того, кто по правилам этикета должен созерцать ее из почтительного отдаления, своим партнером в танцах и как-то в фигуре фокингданса слишком близко склоняется к его плечу; она позволяет ему более вольные речи, чем допустимо в Шотландии в трех кварталах от

* Селадон — верный и чувствительный ухажер (по имени героя романа д'Юрфе «Астрея»).

амвона Джона Нокса, неустанно обличающего «such fashions more lyke to the bordell than to the comeliness of honest women»*, она, быть может, даже дарит Шателюру мимолетный поцелуй, танцуя с ним в «маске» или играя в фанты.

Но, пусть и безобидное, кокетство приводит к фатальной развязке: подобно Торквато Тассо, юный поэт склонен преступить границы, отделяющие королеву от слуги, почтение от фамильярности, галантность от учтивости, шутку от чего-то серьезного, и безрассудно отдаться своему чувству. Неожиданно происходит следующий досадный эпизод: как-то вечером молодые девушки, прислуживающие Марии Стюарт, находят в ее опочивальне поэта, спрятавшегося за складками занавеси. Сперва они судят его не слишком строго, усмотрев в непристойности скорее мальчишескую проделку. Браня озорника больше для виду, они выпроваживают его из спальни. Да и сама Мария Стюарт принимает эту выходку скорее с благодушной снисходительностью, чем с непритворным возмущением. Случай этот тщательно скрывают от брата королевы, и о какой-либо серьезной каре за столь чудовищное нарушение всякого благоприличия вскоре никто уже и не помышляет.

Однако потворство не пошло безумцу на пользу. То ли он усмотрел поощрение в снисходительности молодых женщин, то ли страсть превозмогла доводы рассудка, но вскоре он отваживается на новую дерзость. Во время поездки Марии Стюарт в Файф он следует за ней тайно от придворных, и снова его обнаруживают в спальне королевы, раздевающейся перед отходом ко сну. В испуге оскорбленная женщина поднимает крик, переполошив весь дом; из смежного покоя выскакивает ее сводный брат Меррей, и теперь уже ни о прощении, ни об умолчании не может быть и речи. По официальной версии, Мария Стюарт даже потребовала (хоть это и маловероятно),

*Подобные нравы, более приличные блудницам, чем пригожим честным женщинам (англ.).

чтобы Меррей заколол дерзкого кинжалом. Однако Меррею, который в противоположность сестре умеет рассчитывать каждый свой шаг, взвешивая его последствия, слишком хорошо известно, что, убив молодого человека в спальне государыни, он рискует запятнать кровью не только ковер, но и ее честь. Нет, такое преступление должно быть оглашено всенародно, и воздастся за него тоже всенародно — на городской площади; только этим и можно доказать невиновность властительницы — как ее подданным, так и всему миру.

Несколько дней спустя Шателяра ведут на плаху. В его дерзновенной отваге судьи усмотрели преступление, в его легкомыслии — черную злонамеренность. Единогласно присуждают они его к самой лютой каре — к смерти под топором палача. Мария Стюарт, пожелай она даже, не могла бы помиловать безумца: послы донесли об этом случае своим дворам, в Лондоне и Париже, затаив дыхание, следят за поведением шотландской королевы. Малейшее слово в защиту виновного было бы равносильно признанию в соучастии. И наперсника, делившего с ней немало приятных, радостных часов, оставляет она в самый тяжкий час без малейшей надежды и утешения.

Шателяр умирает безупречной смертью, как и подобает рыцарю романтической королевы. Он отказывается от духовного напутствия, единственно в поэзии ищет он утешения, а также в сознании, что:

Mon malheur déplorable
Soit sur moy immortel.

Я жалок, но мое
Страдание бессмертно.

С высоко поднятой головой восходит мужественный трубадур на эшафот, вместо псалмов и молитв громко декламируя знаменитое «Послание к смерти» своего друга Ронсара:

Je te salue, heureuse et profitable Mort
Des extrêmes douleurs médecin et confort.

О смерть, я жду тебя, прекрасный, добрый друг,
Освобождающий от непосильных мук.

Перед плахой он снова поднимает голову, чтобы воскликнуть — и это скорее вздох, чем жалоба: «O cruelle dame!»*, а затем с полным самообладанием склоняется под смертоносное лезвие. Романтик, он и умирает в духе баллады, в духе романтической поэмы.

Но злополучный Шателляр — лишь случайно выхваченный образ в смутной веренице теней, он лишь первым умирает за Марию Стюарт, лишь предшествует другим. С него начинается призрачная пляска смерти, хоровод всех тех, кто за эту женщину взшел на эшафот, вовлеченный в темную пучину ее судьбы, увлекая ее за собой. Из всех стран стекаются они, безвольно влачась, словно на гравюре Гольбейна, за черным костяным барабаном — шаг за шагом, год за годом, князья и правители, графы и бароны, священники и солдаты, юноши и старцы, жертвуя собой во имя нее, принесенные в жертву во имя нее — той, что безвинно виновата в их мрачном шествии и во искупление своей вины сама его завершает. Не часто бывает, чтобы судьба воплотила в женщине столько смертной магии: словно таинственный магнит, увлекает она окружающих ее мужчин в орбиту своей пагубной судьбы. Кто бы ни оказался на ее пути, все равно в милости или немилости, обречен на несчастье и насильственную смерть. Никому не принесла счастья ненависть к Марии Стюарт. Но еще горше поплатились за свою смелость дерзавшие ее любить.

А потому гибель Шателляра лишь на поверхностный взгляд кажется нам случайностью, ничего не говорящим эпизодом: впервые раскрывается здесь еще неясный закон ее судьбы, гласящий, что никогда не будет ей дано безнаказанно предаваться беспечности, жить легко и безмятежно. Так сложилась ее жизнь, что с первого же часа должна изображать она величие, быть королевой, всегда и только королевой, репре-

*О жестокая дама! (фр.)

зентативной фигурой, игрушкой в мировой игре, и то, что на первых порах казалось благословением неба — раннее королевство, высокое рождение, — обернулось на деле проклятием. Всякий раз, как она пытается быть верной себе, отдаться своему чувству, своим настроениям, своим истинным склонностям, судьба жестоко наказывает ее за нерадивость. Шательер лишь первое предостережение. После детства, лишенного всего детского, она, пользуясь короткой передышкой до того, как во второй, как в третий раз ее тело, ее жизнь отдадут чужому мужчине, выменяют на какую-нибудь корону, — пытается хотя бы несколько месяцев быть только молодой и беспечной, только дышать, только жить и бездумно радоваться жизни; и тотчас жестокие руки отрывают ее от беспечных игр.

Встревоженные этим происшествием, торопят регент, парламент и лорды с заключением нового брака. Пусть Мария Стюарт изберет себе супруга; разумеется, не того, кто придется ей по вкусу, но такого, кто укрепит могущество и безопасность страны. Давно уже ведутся переговоры, но теперь их возобновляют с новой энергией; дядьки и опекуны трепещут, как бы эта ветреница какой-нибудь новой глупостью не загубила свою честь и свой престиж. Снова закипел торг на брачном аукционе: опять Мария Стюарт оттесняется в заклятый круг политики, которая с первого до последнего часа держит ее в своей власти. И каждый раз, как она стремится теплым живым телом прорвать ледяное кольцо ради глотка воздуха, неизменно губит она чужую и свою собственную участь.

Г Л А В А VI

ОЖИВЛЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОМ АУКЦИОНЕ НЕВЕСТ

1563—1565

Две молодые женщины в ту пору — самые желанные невесты в мире: Елизавета Английская и Мария Шотландская. Во всей Европе едва ли сыщется обладатель королевских прав,

еще не обладающий супругой, который не засылал бы к ним сватов — будь то Габсбург или Бурбон, Филипп II Испанский или сын его дон Карлос, эрцгерцог Австрийский, короли Шведский и Датский, почтенные старцы и совсем еще мальчишки, юноши и зрелые мужи; давно уже на политическом аукционе невест не было такого оживления. Ведь женитьба на государыне — по-прежнему незаменимое средство для расширения монаршей власти. Не войнами, а матримониальными союзами создавались во времена абсолютизма обширные наследственные права; так возникла объединенная Франция, Испанская мировая держава и могущество дома Габсбургов. А тут неожиданно засверкали и последние драгоценности европейской короны. Елизавета или Мария Стюарт, Англия или Шотландия — тот, кто женитьбой приберет к рукам ту или другую страну, выиграет мировое первенство; но здесь идет не только состязание наций, но и война духовная, война за человеческие души. Ибо, случись, что британские острова вместе с одной из владычиц достались бы соправителю-католику, это означало бы, что стрелка весов в борьбе католицизма и протестантизма окончательно склонилась в сторону Рима и *ecclesia universalis** вновь восторжествовала в мире. А потому азартная погоня за невестами означает здесь нечто большее, нежели простое семейное событие: в ней заключено решение мировой важности.

Решение мировой важности... Но для обеих женщин, для обеих королев здесь решается также и спор всей их жизни. Нерасторжимо переплелись их судьбы. Если одна из соперниц возвысится благодаря браку, то неудержимо зашатается престол другой; если одна чаша весов поднимется, неминуемо упадет другая. Равновесие лжедружбы между Елизаветой и Марией Стюарт может сохраняться, пока обе не замужем и одна — лишь королева Английская, а другая — лишь королева Шотландская. Стоит одной чаше перевесить, и кто-то из них

* Вселенская церковь (*лат.*).

станет сильнее — победит. Но неустрашимо противостоит гордость гордости, ни одна не хочет уступить и не уступит. Только борьба не на жизнь, а на смерть может разрешить этот безысходный спор.

Для блистательно развивающегося зрелища этого поединка сестер история избрала двух артисток величайшего масштаба. Обе, и Мария Стюарт и Елизавета, — редкостные, несравненные дарования. Рядом с их колоритными фигурами остальные монархи того времени — аскетически закостенелый Филипп II Испанский, по-мальчишески вздорный Карл IX Французский, незначительный Фердинанд Австрийский — кажутся актерами на вторые роли; ни один из них и отдаленно не достигает того духовного уровня, на котором противостоят друг другу обе женщины. Обе они умны, но при всем своем уме подвержены чисто женским страстям и капризам, обе бешено честолюбивы, обе с юного возраста тщательно готовились к своей высокой роли. Обе держатся с подобающим их сану величием, обе блистают утонченной культурой, делающей честь гуманистическому веку. Каждая наряду с родным языком свободно изъясняется по-латыни, по-французски и итальянски — Елизавета знает и по-гречески, а письма обеих образным и метким словом выгодно отличаются от бесцветных писаний их первых министров — письма Елизаветы несравненно красочнее и живее докладных записок ее умного статс-секретаря Сесила, а слог Марии Стюарт, отточенный и своеобразный, нисколько не похож на бесцветные дипломатические послания Мэйтленда и Меррея. Незаурядный ум обеих женщин, их понимание искусства, вся их царственная повадка способны удовлетворить самых придиричивых судей, и если Елизавета внушает уважение Шекспиру и Бену Джонсону, то Марией Стюарт восхищаются Ронсар и Дю Белле. Но на утонченной личной культуре сходство между обеими женщинами и кончается: тем ярче выступает их внутренняя противоположность, которую писатели с давних времен воспринимали и изображали как типично драматическую.

Противоположность эта такая полная, что даже линии их жизни выражают ее с графической наглядностью. Основное различие: Елизавета терпит трудности в начале пути, Мария Стюарт — в конце. Счастье и могущество Марии Стюарт возносится легко, светло и мгновенно, как встает в небе утренняя звезда; рожденная королевой, она еще ребенком принимает второе помазание. Но также круто и внезапно совершается ее падение. Ее судьба как бы сгустилась в три-четыре катастрофы и, следовательно, сложилась как драма — недаром Марию Стюарт столь охотно избирали героиней трагедии, — в то время как восхождение Елизаветы свершается медленно, но верно (почему здесь уместно только плавное повествование). Ей ничто не давалось даром и не падало в руки с неба. Объявленная в детстве бастардом и заточенная родной сестрой в Тауэр в ожидании смертного приговора, эта скороспелая дипломатка вынуждена поначалу хитростью отстаивать свое право на самое существование, на жизнь из милости. У Марии Стюарт, прямой наследницы королей, на роду написано величие; Елизавета добилась его своими силами, своим горбом.

Две столь различные линии жизни, естественно, стремятся разойтись в разные стороны. Если порой они скрещиваются и пересекаются, то переплестись не могут. Глубоко, в каждой извилине, в каждом оттенке характера неминуемо сказывается изначальное различие, заключающееся в том, что одна родилась в короне, как иные дети рождаются с густыми волосами, тогда как другая с трудом добилась, хитростью достигла своего положения; одна с первой же минуты — законная королева, вторая — королева под вопросом. У каждой из этих женщин в силу особенностей ее судьбы развились свои, только ей присущие качества.

У Марии Стюарт незаслуженная легкость, с какой — увы, слишком рано! — ей все доставалось, порождает необычайную беспечность, самоуверенность и, как высший дар, ту дерзновенную отвагу, которая и возвеличила ее и погубила. Всякая власть от Бога и лишь Богу ответ дает. Ее дело — повелевать,

а других — повиноваться, и если бы даже весь мир усомнился в ее царственном призвании, она чувствует его в себе, в жарком кипении своей крови. Легко и не рассуждая воодушевляется она; бездумно, сгоряча, словно хватаясь за рукоять шпаги, принимает решения; отчаянная наездница, одним рывком повода, с маху берущая любой барьер, любую изгородь, она и в политике надеется единственно на крыльях мужества перемахнуть через любое препятствие, любую преграду. Если для Елизаветы искусство правления — это партия в шахматы, головоломная задача, то для Марии Стюарт — это одна из самых острых усад, высшая радость бытия, рыцарское ристалище. У нее, как однажды сказал папа, «сердце мужа в теле женщины», и именно эта бездумная смелость, этот державный эгоизм, которые так привлекают к ней стихотворцев, авторов баллад и трагиков, послужили причиной ее безвременной гибели.

Ибо Елизавета, натура насквозь реалистическая, с близким к гениальности чувством действительности, добивается победы исключительно тем, что использует промахи и безумства своей по-рыцарски отважной противницы. Зоркими, пронизательными, птичьими глазами она — взгляните на ее портрет — недоверчиво взирает на мир, опасности которого так рано узнала. Уже ребенком постигла она, как произвольно, то назад, то вперед, катится шар Фортуны: всего лишь шаг отделяет Тауэр, это преддверие смерти, от Вестминстера. Всегда поэтому будет она воспринимать власть как нечто текучее, повсюду будет ей чудиться угроза; осторожно и боязливо, словно они из стекла и ежеминутно могут выскользнуть из рук, держит Елизавета корону и скипетр; вся ее жизнь, в сущности, сплошные тревоги и колебания. Портреты убедительно дополняют известные нам описания ее характера: ни на одном не глядит она ясно, независимо и гордо, истинной повелительницей: на каждом в ее нервных чертах сквозят настороженность и робость, словно она к чему-то прислушивается, словно ждет чего-то, и никогда улыбка уверенности не

оживляет ее губ. Бледная, она держится очень прямо, неуверенно и вместе с тем тщеславно вознося голову над помпезной роскошью осыпанной камнями робы и словно коченея под ее грузным великолепием. Чувствуется: стоит ей остаться одной, сбросить парадную одежду с костлявых плеч, стереть румяна с узких щек — и все ее величие уйдет, останется бедная, растерянная, рано постаревшая женщина, одинокая душа, не способная справиться с собственными трудностями — где уж ей править миром!

Такая робость в королеве, конечно, далека от героики, а ее вечная медлительность, неуверенность и нерешительность не способствуют впечатлению королевского могущества; но величие Елизаветы как правительницы лежит в иной, неромантической области. Не в смелых планах и решениях проявлялась ее сила, а в упорной, неустанной заботе об умножении и сохранении, о сбережении и стяжании, иначе говоря, в чисто бюргерских, чисто хозяйственных добродетелях: как раз ее недостатки — боязливость, осторожность — оказались особенно плодотворны на ниве государственной деятельности. Если Мария Стюарт живет для себя, то Елизавета живет для своей страны, реалистка с сильно развитым чувством ответственности, она видит во власти призвание, тогда как Мария Стюарт воспринимает свой сан как ни к чему не обязывающее звание. У каждой свои отличительные достоинства и свои недостатки. И если безрассудно-геройская отвага Марии Стюарт становится ее роком, то медлительность и неуверенность Елизаветы в конечном счете идут ей на пользу. В политике неторопливое упорство всегда берет верх над неукротимой силой, тщательно разработанный план торжествует над импульсивным порывом, реализм — над романтикой.

Но в этом споре различие сестер гораздо глубже. Не только как королевы, но и как женщины Елизавета и Мария Стюарт — полярные противоположности, как будто природе за благорассудилось воплотить в двух великих образах всемир-

но-историческую антитезу, проведя ее во всем с контрапунктической последовательностью.

Как женщина Мария Стюарт — женщина до конца, женщина в полном смысле слова; наиболее ответственные ее решения всегда диктовались импульсами, исходившими из глубочайших родников ее женского естества. И не то чтобы она была ненасытно страстной натурой, послушной велениям инстинкта, напротив, что особенно ее характеризует — это чрезвычайно затянувшаяся женская сдержанность. Проходят годы, прежде чем ее чувства дают о себе знать. Долго видим мы в ней (и такова она на портретах) милую, приветливую, кроткую, ко всему безучастную женщину с чуть томным взглядом, с почти детской улыбкой на устах, нерешительное, пассивное создание, женщину-ребенка. Как и всякая истинно женственная натура, она легко возбудима и подвержена вспышкам волнения, краснеет и бледнеет по любому поводу, глаза ее то и дело увлажняются. Но это мгновенное, поверхностное волнение крови долгие годы не тревожит глубин ее существа; и как раз потому, что она нормальная, настоящая, подлинная женщина, Мария Стюарт находит себя как сильный характер именно в страстной любви — единственной на всю жизнь. Только тогда чувствуется, как сильна в ней женщина, как она подвластна инстинктам и страстям, как скована цепями пола. Ибо в великий миг экстаза исчезает, словно сорванная налетевшей бурей, ее наружная культурная оснастка; в этой до сих пор спокойной и сдержанной натуре рушатся плотины воспитания, морали, достоинства, и, поставленная перед выбором между честью и страстью, Мария Стюарт, как истинная женщина, избирает не королевское, а женское свое призвание. Царственная мантия ниспадает к ее ногам, и в своей нагоде, пылая, она чувствует себя сестрой бесчисленных женщин, что томятся желанием давать и брать любовь; и больше всего возвышает ее в наших глазах то, что ради немногих сполна пережитых мгновений она с презрением отшвырнула от себя власть, достоинство и сан.

Елизавета, напротив, никогда не была способна так беззаветно отдаваться любви — и это по особой, интимной причине. Как выражается Мария Стюарт в своем знаменитом обличительном письме, она физически «не такая, как все женщины». Елизавете было отказано не только в материнстве; очевидно, и тот естественный акт любви, в котором женщина отдается на волю мужчины, был ей недоступен. Не так уж добровольно, как ей хочется представить, осталась она вековечной virgin Queen, королевой-девственницей, и хотя некоторые сообщения современников (вроде приписываемого Бену Джонсону) относительно физического уродства Елизаветы и вызывают сомнение, все же известно, что какое-то физиологическое или душевное торможение нарушало ее интимную женскую жизнь. Подобная ненормальность должна весьма серьезно сказаться на всем существе женщины; и в самом деле, в этой тайне заключены, как в зерне, и другие тайны ее души. Все нервически неустойчивое, переливчатое, изменчивое в ее натуре, эта мигающая истерическая светотень, какая-то неуравновешенность и безотчетность в поступках, внезапное переключение с холода на жар, с «да» на «нет», все комедиантское, утонченное, затаенно хитрое, а также в немалой степени свойственное ей кокетство, не раз подводившее ее королевское достоинство, порождалось внутренней неуверенностью.

Просто и естественно чувствовать, мыслить и действовать было недоступно этой женщине с глубокой трещиной в душе; никто не мог ни в чем на нее рассчитывать, и меньше всего она сама. Но, будучи даже калеккой в самой интимной области, игрушкой собственных издерганных нервов, будучи опасной интриганкой, Елизавета все же никогда не была жестокой, бесчеловечной, холодной и черствой. Ничто не может быть лживее, поверхностнее и банальнее, чем получившее широкое хождение понятие о ней (воспринятое Шиллером в его трагедии), будто бы коварная кошка Елизавета играла кроткой, безоружной Марией Стюарт как беспомощной мышкой. Кто глядит глубже, тот в этой одинокой женщине, забнувшей

под броней своего могущества и только изводящей себя своими псевдолюбовниками, ибо ни одному из них она не способна отдаться, видит скрытую лукавую теплоту, а за ее капризными и грубыми выходками — честное желание быть доброй и великодушной. Ее робкой натуре претило насилие, и она предпочитала ему пряную дипломатическую игру «по маленькой» и безответственность закулисных махинаций; каждое объявление войны повергало ее в дрожь и трепет, каждый смертный приговор камнем ложился на совесть, всеми силами старалась она сохранить в стране мир. Если она боролась с Марией Стюарт, то лишь потому, что чувствовала (и не без основания) с ее стороны угрозу, да и то она охотнее уклонилась бы от открытой борьбы, ибо была по натуре игроком, шулером, но только не борцом.

Обе они — Мария Стюарт по своей беспечности и Елизавета по робости характера — предпочли бы жить в мире, пусть бы даже это был худой, ложный мир. Но расположение звезд на небе в тот исторический момент не допускало половинчатости, неопределенности. Равнодушная к заветным желаниям отдельной личности, сильнейшая воля истории часто втрагивает людей и стоящие за ними силы в свою смертоносную игру.

Ибо за антагонистическими чертами исторических личностей повелительно, исполинскими тенями встают великие противоречия эпохи. И не случайность, что Мария Стюарт была поборницей старой, католической, а Елизавета — защитницей новой, реформатской церкви; в том, что каждая из них берет сторону одной из борющихся партий, как бы символически отражен тот факт, что обе королевы воплощают различные мировоззрения: Мария Стюарт — умирающий мир рыцарского средневековья, Елизавета — мир новый, нарождающийся. В их борьбе как бы изживает себя эпоха перелома.

Мария Стюарт, как последний отважный паладин, борется и умирает за то, что кануло без возврата, — за обреченное, гиблое дело, и это придает ее фигуре такое романтическое очарование. Она лишь повинуется творящей воле истории,

когда, обращенная в прошлое, политически связывает свою судьбу с силами, уже перешагнувшими через зенит, с Испанией и Ватиканом, — тогда как Елизавета прозорливо шлет посольства в самые отдаленные страны, Россию и Персию, и с безошибочным чутьем обращает энергию своего народа к океанам, как бы в предвидении того, что столбы, поддерживающие будущую мировую империю, должны быть воздвигнуты на новых континентах. Мария Стюарт косо привержена традиции, она не возвышается над чисто династическим пониманием королевской власти. По ее мнению, страна принадлежит властителю, а не властитель стране; все эти годы Мария Стюарт была лишь королевой Шотландии, и никогда не была она королевой шотландского народа. Сотни написанных ею писем трактуют об утверждении, расширении ее личных прав, и нет ни одного, где шла бы речь о народном благе, о развитии торговли, мореплавании или военной мощи. Как языком ее в поэтических опытах и повседневном обиходе всегда оставался французский язык, так и в помыслах ее и чувствах нет ничего национального, шотландского; не ради Шотландии жила она и приняла смерть, а единственно, чтобы оставаться королевой Шотландской. В итоге Мария Стюарт не дала своей стране ничего творчески вдохновляющего, кроме легенды о своей жизни.

Но, поставив себя над всеми, Мария Стюарт обрекла себя на одиночество. Пусть мужеством и решимостью она неизмеримо превосходила Елизавету, зато Елизавета не в одиночестве боролась против нее. Чувство неуверенности рано заставило ее укрепить свои позиции, и она сумела окружить себя помощниками — надежными людьми с ясным, трезвым разумом; в этой войне она опиралась на целый генеральный штаб, обучавший ее тактике и практике и в решительные минуты защищавший ее от порывов и срывов ее нервного темперамента. Елизавета умудрилась создать вокруг себя такую превосходную организацию, что и поныне, спустя столетия, ее личные заслуги почти неотделимы от коллективных заслуг ели-

заветинской эпохи в целом, так что озаряющая ее имя бессмертная слава объемлет и достижения ее выдающихся советников. В то время как Мария Стюарт — это Мария Стюарт, и только, Елизавета — это всегда Елизавета плюс Сесил, плюс Лестер, плюс Уолсингем, плюс энергия всего народа; не разберешь, кто же, собственно, был гением того, шекспировского, века — Англия или Елизавета, настолько они слились в некое замечательное единство.

Своим выдающимся положением среди монархов своего времени Елизавета обязана как раз тому, что она не стремилась быть госпожой Англии, а лишь исполнительницей воли англичан, вершительницей национальной миссии. Она угадывала веяние времени, от автократии устремленное к конституционному строю. Добровольно признает она новые силы, возникающие из преобразования сословий, из расширения мирового пространства благодаря выдающимся открытиям века; она поощряет все новое — сословные гильдии, купцов-толстосумов и даже пиратов, ибо Англии, ее Англии, они прокладывают путь к преобладанию на море. Тысячи раз жертвует она (чего Мария Стюарт никогда не делает) своими личными желаниями ради общенационального блага. Наилучший выход из душевных затруднений — выход в деятельную жизнь; потерпев крах как женщина, Елизавета ищет счастья в благоденствии своего народа. Весь свой эгоизм, всю жажду власти эта бездетная безмужняя женщина переключила на общенациональные интересы: быть великой величию Англии в глазах потомства было самым благородным из ее тщеславных помыслов, и жила она лишь во имя будущего величия Англии. Никакая другая корона не могла бы ее прельстить (тогда как Мария Стюарт с восторгом сменяла бы свою на любую лучшую), и в то время как та сторела в свой час, вспыхнув ослепительным метеором, скупая, дальновидная Елизавета отдала все силы будущему своей нации.

А потому не случайность, что борьба между Марией Стюарт и Елизаветой решилась в пользу той, что олицетворяла

прогрессивное, жизнеспособное начало, а не той, что была обращена назад, в рыцарское прошлое; с Елизаветой победила воля истории, которая торопится вперед, отбрасывая отжившие формы, как пустую шелуху, творчески испытывая себя на новых путях. В ее жизни воплощена энергия нации, которая хочет завоевать свое место в мире, тогда как в смерти Марии Стюарт героически и эффектно отмирает рыцарское прошлое. И все же каждая из них выполняет в этой борьбе свое назначение: Елизавета, как трезвая реалистка, побеждает в истории, романтическая Мария Стюарт — в поэзии и преданиях.

Блистательна эта борьба, предстающая нам сквозь призму времени и пространства и в столь эффектном исполнении; жаль только, что презренны и мелки те средства, какими она ведется. Ибо хоть фигуры и незаурядные, обе женщины остаются женщинами, они бессильны превозмочь свойственную их полу слабость — враждовать не в открытую, а изводя противника лукавыми происками, булавочными уколами. Будь на месте Марии Стюарт и Елизаветы двое мужчин, двое королей, не миновать бы им кровавого столкновения, войны. Тут притязание непримиримо встало бы против притязания, мужество против мужества. Конфликт между Марией Стюарт и Елизаветой лишен честной мужской ясности; это драка двух кошек, которые, спрятав когти, бродят вокруг да около и сторожат друг друга, — коварная и во всех отношениях нечестная игра. В течение четверти века эти женщины только и делали, что лгали друг другу (причем ни одна ни на секунду не дала себя обмануть). Ни разу не поглядят они в глаза друг другу, ни разу их ненависть не выступит с поднятым забралом; льстиво и лицемерно улыбаясь, приветствуют они, и поздравляют, и улещают, и одаривают одна другую, и каждая держит за спиной отточенный кинжал. Нет, хроника войны между Елизаветой и Марией Стюарт не знает ни битв, ни прославленных эпизодов в духе «Илиады», это не героическая эпопея, а скорее глава из Макиавелли, пусть и увлекательная для психолога, но отталкивающая для моралиста, ибо это — всего

лишь затянувшаяся на двадцатилетие интрига, но только не открытый, честный бой.

Бесчестная игра начинается со сватовства Марии Стюарт и появления на сцене августейших женихов. Мария Стюарт согласна на любого из них, женщина в ней еще дремлет и не участвует в выборе. Она охотно пошла бы за пятнадцатилетнего дона Карлоса, хотя молва рисует его злобным мальчишкой, страдающим припадками ярости, но так же легко согласилась бы и на малолетнего Карла IX. Молод или стар, красив или уродлив, — безразлично ее честолюбию, лишь бы этот союз возвысил ее над ненавистой соперницей. Не проявляя большого интереса, она поручает все переговоры своему сводному брату Меррею, и тот ведет их с корыстным рвением, ибо стоит его сестре заполучить корону в Париже, Вене или Мадриде, как он избавится от нее и снова станет некоронованным королем Шотландии.

Елизавета мигом узнает — ведь ее шпионы не дремлют — об этих чужеземных сватовствах и тотчас же накладывает на них свое грозное вето. Без околичностей заявляет она шотландскому посланнику, что, коль скоро Мария Стюарт примет королевское предложение из Австрии, Франции или Испании, она, Елизавета, сочтет это враждебным актом, но это не мешает ей в то же самое время обратиться к своей дорогой кузине с нежным увещанием, умоляя довериться ей одной, «какие бы горы блаженства и земного великолепия ей ни сулили другие». О, она нисколько не возражала бы против принца протестантской веры, против короля Датского или герцога Феррары — понимай: против недостойных, безопасных претендентов, — но больше всего желала бы, чтобы Мария Стюарт нашла себе супруга «дома» — какого-нибудь шотландского или английского дворянина. В этом случае ей навеки обеспечена ее сестринская любовь и помощь.

Позиция Елизаветы — это, конечно, беззастенчивая *foul play**, и ее скрытое намерение очевидно: королева-девствен-

*Нечестная игра, надувательство (англ.).

ница поневоле, она старается лишить соперницу ее крупного шанса.

Столь же искусным приемом отбивает Мария Стюарт брошенный ей мяч. Она, разумеется, ни минуты не думает о том, чтобы признать за Елизаветой *overlordship* — право решающего голоса в ее матримониальных прожектах. Но великая сделка повисла в воздухе, главный кандидат, дон Карлос, все еще медлит с решением. И Мария Стюарт лицемерно благодарит Елизавету за материнскую заботу. «*For all uncles of the world*»* не стала бы она рисковать драгоценной дружбой английской королевы, оскорбив ее самовольным решением — о нет, Боже сохрани! — она готова следовать любому ее совету, пусть только Елизавета вразумит ее, которые женихи дозволены («*allowed*»), а которые нет. Поистине трогательная покорность, но словно между строк вставляет Мария Стюарт невинный вопрос: каким образом намерена Елизавета вознаградить ее покорность? Она как бы говорит: «Изволь, я исполню твое желание и не выйду за человека, знатностью и могуществом превосходящего тебя, о возлюбленная сестра. Но и ты соблаговоли дать мне гарантию и не откажи разъяснить: как обстоит дело с моими правами преемства?»

Тем самым конфликт по-прежнему благополучно застрял на мертвой точке. Как только Елизавете надо сказать что-то членораздельное на тему о преемстве, она прячется в свою скорлупу, и клещами не вырвешь у нее ясного слова. Кружа и петляя, лепечет она что-то сугубо косноязычное: «она-де сердечно предана интересам своей сестрицы» и намерена позаботиться о ней, как о родной дочери; потоком сладчайших слов исписываются целые страницы, но нет среди них искомого, решительного, обязывающего слова: точно два левантинских купца, хотят они сварганить дельце, так сказать, из рук в руки — ни одна не рискует разжать горсть первой. Избери того, кого я тебе прикажу, говорит Елизавета, и я объявлю

*Ни для каких дядюшек (*англ.*).

тебя своей преемницей. Назови меня своей преемницей, и я изберу, кого ты мне велишь, отвечает ей Мария Стюарт. И ни одна не верит другой, потому что каждая намерена обмануть соперницу.

Целых два года тянутся переговоры о замужестве, женихах и преемстве. Но, как ни странно, оба шулера, сами того не желая, подыгрывают друг другу. Елизавете только и нужно, что водить Марию Стюарт за нос, а Марии Стюарт, к ее несчастью, приходится иметь дело с самым медлительным из монархов, Филиппом II. И лишь когда переговоры с Испанией окончательно заходят в тупик и надо уже думать о других предложениях, Мария Стюарт решает покончить с намеками и экивоками и безоговорочно приставляет своей милой сестрице к груди пистолет. Она приказывает ясно и недвусмысленно спросить, кого же предлагает Елизавета как достойного претендента.

Елизавете очень уж неповадно отвечать на вопросы, заданные в столь категорической форме, а тем более на этот вопрос. Ибо давно уже обвиняками дала она понять, кого имеет в виду для Марии Стюарт. В одном из писем она многозначительно проямлила: она-де «намерена предложить ей такого жениха, что никто и не подумал бы, что она может на это решиться». Однако шотландский двор делает вид, будто не понимает намеков, и требует позитивного предложения — назовите имя! Припертая к стене, Елизавета уже не может ограничиться намеками. С усилием выдавливает она из себя имя избранника: Роберт Дадлей.

И тут дипломатическая комедия рискует на минуту превратиться в фарс. Предложение Елизаветы можно понять либо как чудовищное надругательство, либо как чудовищный блеф. Уже одно предположение, что королева Шотландская, вдовствующая королева Французская, может удостоить своей руки какого-то ничтожного подданного, subject, своей сестры-королевы, захудалого дворянчика без единой капли королев-

ской крови, по понятиям того времени, близко к оскорблению. Однако наглость предложения усугубляется особым обстоятельством: всей Европе известно, что Роберт Дадлей уже многие годы состоит у Елизаветы в потешных любовниках, в партнерах ее эротических игр, и, стало быть, королева Английская, словно свой обносок, дарит королеве Шотландской как раз того человека, с которым сама она погнушалась вступить в брак. Впрочем, всего лишь несколько лет назад тяжелодумная Елизавета играла этой мыслью (именно играла: для нее это всегда игра). И только когда Эйми Робсарт, жена Дадлея, была найдена убитой при загадочных обстоятельствах, она поспешила отказаться от этого плана, дабы не навлечь на себя подозрения в соучастии. Сватать дважды скомпрометированного человека — во-первых, той темной историей, а также некими интимными отношениями с ней, Елизаветой, — предложить его в мужа Марии Стюарт было из многих грубых и бестактных выходов, ознаменовавших ее правление, пожалуй, наиболее бестактной.

Чего Елизавета, собственно, добивалась этим непонятным сватовством — вряд ли когда-либо станет ясно. Кто возьмется перевести на язык логики взбалмошную прихоть истерической натуры? Мечтала ли она как преданная любовница награждать любовника, которого не осмеливалась взять в мужа, отписав ему по духовной, вместе с правами преемства, самое ценное, чем она располагала, — свое королевство? Хотела ли просто избавиться от прискучившего ей *cicisbeo**?

Надеялась ли через преданного человека вернее держать соперницу в узде? А может быть, она лишь испытывала любовь Дадлея? Мечтала ли она о *partie à trois*** — объединенном любовном хозяйстве? Или же это просто фортель, рассчитанный на то, что Мария Стюарт своим отказом проявит себя неблагодарной? Каждое из этих предположений закономерно, но скорее всего причудница и сама не знала, чего она, собствен-

* Любовник (*ит.*).

** Любовь втроем (*фр.*).

но, хочет: по-видимому, то была опять лишь игра воображения, ведь ей так свойственно играть решениями и людьми. Трудно себе представить, что произошло бы, отнесись Мария Стюарт серьезно к предложению выйти замуж за отставного любовника английской королевы. Быть может, Елизавета, внезапно одумавшись, запретила бы Дадлею этот брак и, унизив соперницу оскорбительным сватовством, осрамила бы ее вдобавок позорным отказом.

Для Марии Стюарт предложение выйти замуж за претендента некоролевской крови — это нечто вроде дерзостного богохульства. Неужто его госпожа серьезно думает, что она, помазанница Божия, позарится на какого-то «лорда Роберта», спрашивает она посланца под впечатлением свежей обиды. Но она сдерживает недовольство и мило улыбается: такую опасную противницу, как Елизавета, не стоит преждевременно гневить столь резким отказом. Надо сперва выйти за испанского или французского престолонаследника, а там она сполна рассчитается за оскорбление. В этом поединке сестер один нечестный поступок неизменно вызывает ответный — на коварное предложение Елизаветы следует лживое заверение Марии Стюарт в дружбе и признательности. Итак, Дадлея не отвергают в Эдинбурге как претендента, Боже сохрани, королева делает вид, будто клюнула на эту удочку, что позволяет ей разыграть презабавный второй акт. Сэр Джеймс Мелвил откомандировывается с официальным поручением в Лондон, якобы для того, чтобы начать переговоры о кандидатуре Дадлея, а на самом деле — чтобы еще больше запутать этот клубок лжи и притворства.

Мелвил, самый преданный из дворян Марии Стюарт, — искусный дипломат, но еще более искусное перо: он умеет не просто писать, но и живописать, за что мы ему особенно благодарны. Его поездка к английскому двору подарила миру самое живое и яркое изображение Елизаветы в приватной обстановке, а также одну из самых блестящих исторических комедий. Елизавете хорошо известно, что этот светский чело-

век провел долгие годы при французском и германском дворах, и она пускается во все тяжкие, чтобы блеснуть перед ним именно своими женскими достоинствами, не подозревая, что его беспощадная память удержит и увековечит для истории все ее кокетливые благоглупости и ужимки.

Женское тщеславие частенько подводит Елизавету; так и сейчас неисправимая кокетка, вместо того чтобы убеждать посла шотландской королевы доводами политической мудрости, старается прежде всего очаровать мужчину своими личными совершенствами. Она показывает ему во всем блеске. В необъятном своем гардеробе — три тысячи платьев насчитали после ее смерти — она выбирает самые дорогие туалеты и появляется одетая то по английской, то по французской, то по итальянской моде, в щедром декольте, открывающем обширные перспективы, щеголяет своей латынью, своим французским и итальянским и с ненасытной жадностью вбирает в себя безграничное, по-видимому, восхищение посла. А все же его комплименты, хоть и выраженные в превосходной степени, — она-де чудо как хороша и умна и образованна — ее не удовлетворяют, ей непременно хочется — «Скажи, зеркальце на стене, кто красивее во всей стране» — именно от посла шотландской королевы услышать, что он восхищен ею как женщиной больше, чем своей госпожой. Пусть скажет, что она либо красивее, либо умнее, либо образованнее, нежели Мария Стюарт. И она распускает перед ним свои необычайно густые волнистые волосы, рыжие с красноватым отливом, и спрашивает, лучше ли волосы у Марии Стюарт, — каверзный вопрос для посланца королевы! Мелвил с честью выходит из затруднения, отвечая с соломоновой мудростью, что в Англии ни одна женщина не сравнится с Елизаветой, а в Шотландии ни одна не превосходит красотой Марию Стюарт.

Но такое «и нашим и вашим» не удовлетворяет тщеславную кокетку: снова и снова расточает она перед ним свои чары — садится за клавесин и даже поет под лютню. Волею-неволею Мелвил, памятуя поручение обвести Елизавету вок-

руг пальца, снисходит до признания, что лицо у нее блее, что она искуснее играет на клавесине и в танцах держится лучше, чем Мария Стюарт. Увлеченная самовосхвалением, Елизавета забывает о настоящей цели их свидания, когда же Мелвил сворачивает на эту щекотливую тему, Елизавета уже опять играет роль: прежде всего она достает из ящика миниатюру Марии Стюарт и нежно ее целует. Со слезой в голосе принимается она рассказывать, как мечтает лично встретиться с Марией Стюарт, своей возлюбленной сестрицей (на самом деле она всю свою жизнь не жалела усилий, чтобы так или иначе расстроить все предстоящие им свидания); если верить словам этой отпетой актрисы, то дороже всего для нее знать, что ее соседка королева счастлива.

Но у Мелвила трезвая голова и ясный взгляд. Разученной декламацией его не обманешь; подытоживая все виденное и слышанное, он сообщит в Эдинбург, что Елизавета всеми своими речами и поступками лишь увиливала от правды, проявляя великое притворство, смятение и страх. Когда же Елизавета отважилась на вопрос, что думает Мария Стюарт о браке с Дадлеем, опытный дипломат воздержался как от решительного «нет», так и от ясного «да». Уклончиво заявляет он, что Мария Стюарт еще недостаточно обдумала это предложение. Но чем больше он уклоняется, тем резче настаивает Елизавета. «Лорд Роберт, — говорит она, — мой лучший друг. Я люблю его как брата и никогда бы не искала себе другого мужа, если бы решилась выйти замуж. Но так как я не чувствую к сему склонность и бессильна себя побороть, то я желала бы, чтобы, по крайней мере, сестра моя избрала его, ибо я не знаю никого более достойного делить с ней мое наследство. А для того, чтобы моя сестра не ценила его слишком низко, я намереваюсь через несколько дней возвести его в сан графа Лестерского и барона Денбийского».

И действительно, по прошествии нескольких дней — третий акт комедии — совершается со всей пышностью и блеском означенная церемония. Лорд Роберт Дадлей преклоняет колена перед своей государыней и возлюбленной, чтобы встать с

колен уже графом Лестером. Но даже в эту патетическую минуту женщина в Елизавете сыграла с королевой недобрую шутку. Возлагая на верного слугу графскую корону, любовница не может удержаться, чтобы не потрепать по головке милого друга; так торжественная церемония оборачивается фарсом, и Мелвил лукаво усмехается в бороду: он уже предвидит, какой забавный доклад пошлет своей госпоже в Эдинбург.

Но Мелвил прибыл в Лондон не только для того, чтобы как летописец наслаждаться комедией, разыгрываемой коронованной особой: у него тоже своя роль в этом *quid pro quo**. В его дипломатическом портфеле имеются потайные карманы, которых он ни за что не откроет Елизавете; лживая болтовня о графе Лестере — лишь дымовая завеса, скрывающая поручение, с которым он, собственно, и приехал в Лондон. Прежде всего ему надлежит энергично постучаться к испанскому послу и выяснить, каковы наконец намерения дон Карлоса, — Мария Стюарт не согласна больше ждать. Кроме того, ему поручено со всей осторожностью позондировать почву насчет возможных переговоров с еще одним второсортным кандидатом — Генри Дарнлеем.

Означенный Генри Дарнлей пока еще стоит на запасном пути, Мария Стюарт придерживает его в резерве на тот случай, если провалятся все ее многообещающие планы. Ибо Генри Дарнлей никакой не король и даже не князь; отец его, граф Леннокс, как исконный враг Стюартов, был изгнан из Шотландии и лишен всех поместий. Зато с материнской стороны в жилах восемнадцатилетнего юноши течет истинно королевская кровь Тюдоров; правнук Генриха VII, он — первый *prince of blood*** при английском королевском дворе и потому вполне приемлемая партия для любой государыни; кроме того, у него еще то преимущество, что он католик. В качестве третьего, четвертого или пятого претендента Дарнлей вполне

*Недоразумении (лат.).

**Принц крови (англ.).

возможен, и Мелвил ведет туманные, ни к чему не обязывающие разговоры с Маргаритой Ленокс, честолюбивой матушкой этого кандидата на всякий случай.

Но таково условие любой удачной комедии: хотя все ее персонажи обманывают друг друга, а все же кое-кому случается и запустить глаза в карты соседа. Елизавета не так уж наивна, чтобы думать, будто Мелвил лишь с тем приехал в Лондон, чтобы отпустить ей комплименты насчет ее волос и искусной игры на клавесине. Она знает, что предложение сдать с рук на руки Марии Стюарт ее, Елизаветы, отставленного дружка не слишком восхищает шотландскую королеву; ей также хорошо известны честолюбие и практическая сноровка леди Ленокс. Кое-что, надо думать, пронюхали и ее шпионы. И как-то, во время обряда посвящения в рыцари, когда Генри Дарнлей в качестве первого принца двора несет перед ней королевский меч, Елизавета в приливе искренности обращается к Мелвилу и говорит ему, не моргнув: «Мне очень хорошо известно, что вам больше приглянулся сей молодой повеса». Однако Мелвил при такой попытке бесцеремонно залезть к нему в потайной карман не теряет обычного хладнокровия. Плох тот дипломат, который не способен в трудную минуту соврать, не краснея. Сморщив умное лицо в презрительную гримасу и с пренебрежением глядя на того самого Дарнлея, ради которого он еще только вчера хлопотал, Мелвил замечает спокойно: «Ни одна умная женщина не изберет в мужа повесу с такой стройной талией и таким пригожим безбородым лицом, более подходящим женщине, чем зрелому мужу».

Попалась ли Елизавета на искусный маневр опытного дипломата? Поверила ли его притворному пренебрежению? Или же она ведет в этой комедии еще более непроницаемую двойную игру? Но только вот что удивительно: сначала лорду Леноксу, отцу Дарнлея, дозволено вернуться в Шотландию, а в январе 1565 года разрешение получает и сам Дарнлей. Елизавета не то из каприза, не то из коварства посылает ко двору

противницы как раз самого опасного кандидата. Забавно, что ходатаем по этому делу выступает не кто иной, как граф Лестер — он тоже ведет двойную игру, чтобы незаметно выскользнуть из брачных силков, расставленных его госпожой. Четвертый акт этого фарса тем самым переносится в Шотландию, но тут искусно нарастающая путаница обрывается, и комедия сватовства приходит к внезапному концу, неожиданному для всех участников.

Ибо политика, эта земная, искусственная сила, сталкивается в тот зимний день с некоей извечной, изначальной силой: жених, явившийся к Марии Стюарт с визитом, неожиданно находит в королеве женщину. После долгих лет терпеливого, безучастного ожидания она наконец пробудилась к жизни. До сей поры она была лишь королевской дочерью, королевской невестой, просто королевой и вдовствующей королевой — игрушка чужой воли, послушный объект дипломатических торгов. Впервые в ней просыпается чувство, одним рывком сбрасывает она с себя коросту честолюбия, словно тяготящее ее платье, чтобы свободно распорядиться своим юным телом, своей жизнью. Впервые слушается она не чужих советов, а лишь голоса крови — требований и подсказки своих чувств. Так начинается история ее внутренней жизни.

Г Л А В А VII

ВТОРОЕ ЗАМУЖЕСТВО

1565

То неожиданное, что произошло, в сущности, — самая обыкновенная вещь на свете: молодая женщина влюбляется в молодого человека. Нельзя надолго подавить природу: Мария Стюарт, женщина с нормальными чувствами и горячей кровью, в этот поворотный миг стоит на пороге своей двадцать третьей весны. Четыре года вдовства протекли для нее в стро-

гом воздержании, без единого сколько-нибудь серьезного любовного эпизода. Но страсти можно лишь до поры до времени держать в узде: даже в королеве женщина в конце концов предъявляет самое священное свое право — любить и быть любимой.

Предметом первого увлечения Марии Стюарт стал — редкий в мировой истории случай — не кто иной, как политический искатель невест, Дарнлей, в 1565 году по поручению своей матушки объявившийся в Шотландии. Мария Стюарт не впервые встречает этого юношу: четыре года назад, пятнадцатилетним подростком, он прибыл во Францию, чтобы принести в затененный покой вдовы de deuil blanc соболезнования своей матушки. И как же вытянулся с тех пор этот долговязый, широкоплечий юнец с соломенно-желтыми волосами, с девически гладким, безбородым, но и девически красивым лицом, на котором большие круглые мальчишеские глаза с каким-то недоумением смотрят на мир. «Il n'est possible de voir un plus beau prince»*, — сообщает о нем Мовиссьер, да и на взгляд юной королевы Дарнлей — «на редкость пригожий и статный верзила» — «the lustiest and bestproportioned long man».

Марии Стюарт, с ее пылкой, нетерпеливой душой, свойственно обольщаться иллюзиями. Романтические натуры ее склада редко видят людей и жизнь в истинном свете; мир обычно представляется им таким, каким они хотят его видеть. Непрестанно бросаемые от чрезмерного увлечения к разочарованию, эти неисправимые мечтательницы никогда не отрываются полностью. Освободившись от одних иллюзий, они тут же поддаются другим, ибо в иллюзиях, а не в действительности для них настоящая жизнь. Так и Мария Стюарт в скороспелом увлечении этим гладким юношей не замечает вначале, что его красивая внешность не скрывает большой глубины, что тугие мускулы не говорят о подлинной силе, а придворный лоск не знаменует душевной утонченности. Мало

*Трудно вообразить более красивого принца (фр.).

избалованная своим пуританским окружением, она видит лишь, что этот юный принц мастерски сидит в седле, что он грациозно танцует, любит музыку и прочие тонкие развлечения и при случае может накропать премилый мадригал. Малейший намек на артистичность в человеке всегда много для нее значит; она от души радуется, что нашла в молодом принце доброго товарища по танцам и охоте, по всевозможным играм и упражнениям в искусствах, которыми увлекаются при дворе. Его присутствие вносит разнообразие и свежее дыхание юности в затхлость и скуку придворной жизни. Но не только королеву пленил Дарнлей — не даром, следуя наставлениям сметливой матушки, он ведет себя с примерной скромностью: повсюду в Эдинбурге он вскоре желанный гость, «well liked for his personage»*, как доносит Елизавете ее недалечно-видный соглядатай Рандольф. С поразительной ловкостью добивается он успеха не только у Марии Стюарт, но и у всех вокруг.

Так, он завязывает дружбу с Давидом Риччо, новым доверенным секретарем королевы, агентом контрреформации: днем они вместе играют в мяч, ночью делят ложе. Но, заискивая у католической партии, он ластится и к протестантам. По воскресеньям сопровождает регента Меррея в реформатскую «кирку», где с хорошо разыгранным волнением слушает проповедь Джона Нокса; днем, для отвода глаз, обедает с английским посланником и славит доброе сердце Елизаветы, а вечером танцует с четырьмя Мариями. Короче говоря, долговязый, недалекий, но хорошо вышколенный юноша отлично справляется со своей задачей; и, будучи круглым ничтожеством, ни в ком не возбуждает преждевременных подозрений.

Но вот искра перекинулась, и занялся пожар — Мария Стюарт, чьей благосклонности ищут государи и князья, сама теперь ищет любви глупого девятнадцатилетнего мальчика. Долго сдерживаемая, нетерпеливая страсть пробивается с

*Ценимый за свои приятные качества (англ.).

вулканической силой, как это бывает с цельными характерами, не растратившими и не промотавшими своих чувств в пустых интрижках и легкомысленных увлечениях; благодаря Дарнлею впервые в Марии Стюарт заговорило женское естество — ведь ее супружество с Франциском II так и осталось ничем не разрешившейся детской дружбой, и все эти годы женщина в королеве прозябала в каких-то сумерках чувств. Наконец-то перед ней человек, мужчина, на которого оттаявший, запруженный преизбыток ее страстности может излиться кипящей стремниной. Не размышляя, не рассуждая, она, как это часто бывает с женщинами, видит в первом попавшемся шалопаете единственного возлюбленного, посланного ей судьбой.

Конечно, умнее было бы повременить, проверить человека, узнать ему настоящую цену. Но требовать логики от страстно влюбленной молодой женщины — все равно, что искать солнце в глухую полночь. Тем-то и отличается истинная страсть, что к ней неприменим скальпель анализа и рассудка. Ее не вычислишь наперед, не сбалансируешь задним числом. Выбор, сделанный Марией Стюарт, лежит, без сомнения, за гранью ее обычно столь трезвого разума. Ничто в этом незрелом, тщеславном и разве что красивом мальчике не объясняет такого бурного разлива чувств. Как и у многих мужчин, которых не по заслугам любят превосходящие их духовно женщины, единственная заслуга Дарнлея, его приворотный корень в том, что ему посчастливилось в критическую минуту, исполненную величайшего напряжения, подвернуться этой женщине, в которой еще только дремала воля к любви.

Итак, понадобилось немало времени, чтобы кровь гордой дочери Стюартов взыграла. Зато теперь она бурлит и клокочет в нетерпении. Уж если Мария Стюарт что задумала, долго тянуть и откладывать она не станет. Что ей Англия, что Франция, что Испания, что все ее будущее по сравнению со счастьем этой минуты! Довольно с нее скучной игры в дурачки с Елизаветой, довольно полусонного сватовства из Мадрида,

хотя бы и сулящего ей корону двух миров: ведь рядом он, этот светлый, юный и такой податливый, сластолюбивый мальчик с алым чувственным ртом, глупыми ребячьими глазами и еще только пробующей себя нежностью! Поскорее связать себя, принадлежать ему — вот единственная мысль, владеющая королевой в этом блаженно-чувственном ослеплении.

Из придворных знает на первых порах о ее склонности, о ее сладостных тревогах лишь новый доверенный ее секретарь Давид Риччо, не жалеющий сил, чтобы искусно направить ладью влюбленных в гавань Цитеры. Тайный агент папы видит в супружестве королевы с католиком верный залог владычества вселенской церкви в Шотландии и с усердием сводника хлопочет не столько о счастье юной пары, сколько о политических интересах контрреформации. В то время как оба хранителя печати, Меррей и Мэйтленд, еще и не подозревают о намерениях королевы, он сносится с папой, испрашивая разрешения на брак, поскольку Мария Стюарт состоит с Дарнлемом в четвертой степени родства. В предвидении неизбежных осложнений он зондирует почву в Мадриде, может ли королева рассчитывать на помощь Филиппа II, если Елизавета захочет помешать этому браку, — словом, исполнительный агент трудится не покладая рук в надежде, что успех послужит к его собственной славе и к славе католического дела.

Но как он ни трудится, как ни роет землю, расчищая дорогу к заветной цели, королеве не терпится — ей противна эта медлительность, эта осторожность и оглядка. Ведь пройдут бесконечные недели, пока письма со скоростью черепахи доползут туда и обратно через моря и океаны. Она более чем уверена в разрешении святого отца, так стоит ли ждать, чтобы клочок пергамента подтвердил то, что ей необходимо сейчас, сию минуту. В решениях Марии Стюарт всегда чувствуется эта слепая безоглядность, этот великолепный безрассудный задор. Но и эту волю королевы, как и всякую другую, сумеет выполнить расторопный Риччо; он призывает к себе католического священника, и хотя у нас нет доказательств того, что

был совершен некий предварительный обряд — в истории Марии Стюарт нельзя полагаться на свидетельства отдельных лиц, — какое-то обручение состоялось, союз между влюбленными был как-то скреплен. «Laudato sia Dio, — восклицает их бравый приспешник Риччо, — теперь уже никому не удастся disturbare le nozze»*. При дворе и не догадываются о матримониальных планах Дарнлея, а он уже поистине стал господином ее судьбы, а может быть, и тела.

Matrimonio segreto** держится в строгой тайне; не считая священника, обязанного молчать, посвящены только эти трое. Но как дымок выдает невидимое пламя, так нежность обличает скрытые чувства; прошло немного времени, и весь двор уже глаз не сводит с влюбленной пары. Каждому бросилось в глаза, с каким рвением и какой тревогой ухаживала Мария Стюарт за своим родичем, когда бедный юноша — как ни смешно это звучит для жениха — заболел корью. Все дни просиживает она у постели больного, и он, поправившись, ни на шаг от нее не отходит.

Первым насупил брови Меррей. До сего времени он от души поощрял (радея главным образом о себе) все матримониальные проекты своей сестрицы; будучи правоверным протестантом, он даже не возражал против того, чтобы породниться с испанским отпрыском Габсбургов, этим оплотом и щитом католицизма, не видя для себя в том большой помехи, — от Холируда не ближний свет до Мадрида. Но кандидатура Дарнлея для него удар. Проницательному Меррею не надо объяснять, что едва лишь тщеславный слабохарактерный юнец станет принцем-консортом, как он захочет самовластия, будто настоящий король; Меррей к тому же достаточно политик, чтобы чуют, куда ведут тайные происки секретаря итальянца, агента папы: к восстановлению католического суверенитета, к искоренению реформации в Шотландии. В этой не-

* Хвала Богу... расстроить этот брак (ит.).

** Тайный брак (ит.).

преклонной душе властолюбивые планы перемешаны с религиозными верованиями, жажда власти — с тревогой о судьбах отечества; Меррей ясно видит, что с Дарнлеем в Шотландии установится чужеземная власть, а его собственной придет конец. И он обращается к сестре со словами увещания, предостерегая ее от брака, который вовлечет еще не замиренную страну в неисчислимые конфликты. И когда убеждается, что предостережениям его не внимлют, в гневе покидает двор.

Да и Мэйтленд, второй испытанный советник королевы, сдается не сразу. И он понимает, что его высокое положение и мир в Шотландии под угрозой, и он, как министр-протестант, восстает против принца-консорта католика; постепенно вокруг обоих вельмож собирается вся протестантская знать. Открылись глаза и у английского посла Рандольфа. В смущении оттого, что оплошал и время упущено, ссылается он в своих донесениях на witchcraft — смазливый юноша якобы околдовал королеву — и бьет в набат, прося помощи. Но что значат недовольство и ропот всех этих мелких людишек по сравнению с неистовым, яростным и бессильным гневом Елизаветы, когда она узнает о выборе, сделанном противницей! Дорого же она поплатилась за свою двойную игру; во всей этой комедии сватовства ее попросту одурачили, сделали общим посмешищем. Под видом переговоров о Лестере выманили у нее истинного претендента и контрабандой увезли в Шотландию. Она же со всей своей архидипломатией села в лужу и может теперь пенять только на себя. В приступе ярости она велит заточить в Тауэр леди Ленокс, мать Дарнлея, зачинщицу сватовства, она грозно приказывает своему «подданному» Дарнлею немедленно вернуться в Англию, она страшит его отца конфискацией всех поместий, она созывает коронный совет, и он, по ее требованию, объявляет этот брак опасным для дружбы между обоими государствами, иначе говоря, угрожает войной.

Но обманутая обманщица так растерялась в душе и так

напугана, что тут же начинает кланчить и торговаться; спасаясь от позора, она торопится бросить на стол свой последний козырь, заветную карту, которую до сих пор прятала в рукаве. Впервые в открытой и обязывающей форме предлагает она Марии Стюарт (теперь, раз уж игра все равно проиграна) подтвердить ее право на английский престол, она даже отряжает в Эдинбург (так ей не терпится) нарочного с торжественным обещанием: «If the Queen of Scots would accept Leicester, she would be accounted and allowed next heir to the crown as though she were her own born daughter»*. Это ли не образчик извечной бессмыслицы всяких дипломатических торгов и ухищрений: то, чего Мария Стюарт долгие годы добивалась от своего недруга всеми силами ума, всей настойчивостью и хитростью, а именно признания ее наследственных прав, само теперь плывет ей в руки и как раз благодаря величайшей глупости, какую она сотворила в жизни.

Но такова судьба всех политических уступок: они всегда запаздывают. Не далее как вчера Мария Стюарт была политиком, сегодня она только женщина, только возлюбленная. Стать признанной наследницей английского престола было лишь недавно ее заветной мечтой; сегодня это честолюбивое стремление оттеснено куда более легковесным, но и более пламенным желанием женщины — поскорее завладеть этим статным красавцем, этим мальчиком. Запоздали угрозы и прельстительные посулы Елизаветы, запоздали и увещания честных друзей, таких, как герцог Лотарингский, ее дядя, который советует ей отказаться от этого «*joli hutaudeau*» — «смазливый шалопая». Ни доводам разума, ни соображениям государственной важности уже не совладать с ее пылким нетерпением. Иронически звучит ее ответ разъяренной Елизавете, запутавшейся в собственных сетях: «Мне поистине

*Если королева Шотландии согласится на брак с Лестером, она будет признана и провозглашена ближайшей наследницей короны, словно ее, Елизаветы, родная дочь (англ.).

странно, что я не угодила моей доброй сестрице: ведь выбор, который она порицает, ни в чем не расходится с ее волей. Разве не отвергла я всех чужеземных искателей и не предпочла им англичанина, в жилах которого течет кровь обоих наших правящих домов, первого принца Англии?»

Против этого Елизавете трудно возразить, ведь Мария Стюарт чуть ли не буквально — но только по-своему — выполнила ее волю. Она остановила свой выбор на английском дворянине, том самом, которого Елизавета прислала к ней с двусмысленными намерениями. Но так как соперница, не владея собой, засыпает ее все новыми предложениями и угрозами, Мария Стюарт высказывается уже грубо и откровенно. Слишком долго ее кормили обещаниями и обманывали в лучших надеждах: устав от этого, она, с одобрения всей страны, сама сделала выбор. Невзирая на то, что из Англии шлют то кислые, то сладкие письма, в Эдинбурге на всех парах готовятся к свадьбе, Дарнлею наспех жалуют еще титул герцога Росского; английский посланник, который в последнюю минуту прискакал из Англии с кипой протестов и нот, еще не вылезая из кареты, слышит, что Генри Дарнлею отныне надлежит именоваться и титуловаться (*namit and stylith*) не иначе как королем.

Двадцать девятого июля колокола возвещают о венчании. В маленькой домашней капелле Холируда священник благословляет молодых. Мария Стюарт, неистощимо изобретательная в устройстве торжественных церемоний, приводит всех в изумление, появившись в траурном одеянии, том самом, в котором она провожала гроб своего усопшего супруга, короля Франции, — этим она как бы подчеркивает, что не по легкомыслию идет она вторично к алтарю, не потому, чтобы забыла первого супруга, а единственно выполняя волю своего народа. И только прослушав мессу и вернувшись к себе в опочивальню, она — вся эта сцена мастерски задумана, и пышные уборы лежат наготове, — уступая нежным мольбам Дарнлея, соглашается снять траур и сменить его на цвета радости и веселья.

Внизу осаждает замок ликующая толпа, в которую щедрыми горстями кидают деньги, и с легким сердцем королева и ее народ спешат упиться праздничным весельем. К великой досаде Джона Нокса, кстати лишь недавно, на пятьдесят седьмом году жизни, вторично вступившего в брак и взявшего девицу восемнадцати лет — но радости он признает только для себя, — четыре дня и четыре ночи кипит веселье, и пиршества сменяют друг друга, как будто все темное, гнетущее ушло навек и отныне начинается блаженное царство юности.

Отчаянию Елизаветы нет границ, когда она, незамужняя и неспособная к замужеству, слышит, что Мария Стюарт вновь взшла на брачное ложе. Сама же она своими хитроумными маневрами только осрамила себя на весь мир: сватала королеве Шотландской своего сердечного дружка, а его оконфузили всенародно; возражала против кандидатуры Дарнлея, а ее советами пренебрегли; послала нарочного с последним предупреждением, а ее посланца продержали у запертых дверей, пока не кончился обряд. Необходимо было что-то предпринять для спасения своего престижа. Порвать дипломатические отношения и объявить войну? Но под каким предлогом? Ведь Мария Стюарт абсолютно и неоспоримо права, она достаточно посчиталась с волей Елизаветы, не отдав своей руки чужеземцу, к тому же Дарнлей и безупречная партия: ближайший кандидат на английский престол, правнук Генриха VII — чем не достойный супруг? Нет, всякая попытка протестовать, ввиду полного ее бессилия, только изобличит перед миром личную досаду Елизаветы.

Однако двойная игра всегда была и пребудет душой всех поступков Елизаветы. Только что потерпев жестокую неудачу, она все же остается верна себе. Она, конечно, воздержится от объявления войны, не отзовет и своего посланника, но втихомолку постарается, елико возможно, пакостить счастливой паре. Слишком нерешительная и осторожная, чтобы открыто выступить против своих лютых врагов, Дарнлея и Марии Стюарт, она действует с помощью интриг и подкопов.

В Шотландии всегда найдутся недовольные, восстающие против наследственной власти, а на сей раз с ними заодно человек, головой выше прочей мелюзги, выделяющийся своей незаурядной энергией и открыто заявивший протест. Меррей демонстративно не явился на свадьбу сестры, и посвященные сочли это недобрым знаком. Ибо Меррею — что немало способствует притягательности и загадочности этой фигуры — в удивительной мере присуще умение предугадывать внезапные изменения политической погоды; какой-то верный инстинкт предупреждает его о назревшей опасности, и в этих случаях он делает самое умное, что может сделать умудренный политик, — исчезает. Он выпускает из рук кормило власти и становится невидим и неуловим. Подобно тому как внезапное высыхание рек и иссякание источников предвещает в природе стихийные бедствия, так исчезновение Меррея неизменно предрекает — история Марии Стюарт тому наглядное доказательство — политическую непогоду. На первых порах Меррей ведет себя скорее пассивно. Он запирается в своем замке, он упрямо избегает двора, показывая, что, как регент и оберегатель протестантизма, решительно осуждает возведение Дарнлея на шотландский престол. Но Елизавете мало одного протеста. Ей нужен бунт; в Меррее и в столь же, как и он, недовольных Гамильтонах ищет она союзников и помощников. Со строжайшим наказом ни в коем случае ее не скомпрометировать, «in the most secret way», поручает она агенту поддержать лордов деньгами и людьми «as if from himself», якобы по его личному почину, ей же, Елизавете, будто ничего о том не известно. Деньги, как благодатная роса на жухнувшие луга, падают в жадные руки лордов, сердца их снова загораются мужеством, и обещанная военная помощь снова способствует назреванию мятежа, которого с таким нетерпением ждут в Англии.

Пожалуй, единственная ошибка Меррея, этого умного и дальновидного политика, в том, что он и в самом деле понадеялся на ненадежнейшую из правительниц и стал во главе

мятежа. Разумеется, осторожный заговорщик не спешит ударить и лишь тайно вербует сообщников; он не прочь повременить, пусть Елизавета открыто выскажется за возмутившихся лордов, и тогда не как мятежник, но как оберегатель веры станет он против сестры. Однако Мария Стюарт, встревоженная двусмысленным поведением брата и по праву не желая терпеть его враждебной безучастности, торжественно призывает его к ответу, требуя, чтоб он оправдался перед парламентом. Меррей, гордостью не уступающий сестре, не признает себя обвиняемым и надменно отказывается покориться; и тогда на него и его приверженцев налагается опала (put to the horn), глашатай возвещает об этом на рыночной площади. Так снова призвано решать оружие, а не разум.

И тут, как всегда в минуты ответственных решений, проявляется с неотразимой ясностью различие обоих темпераментов — Марии Стюарт и Елизаветы. Мария Стюарт не знает колебаний, ее мужество нетерпеливо, у него жаркое дыхание и быстрая поступь. Елизавета же, скованная робостью, медлит и тянет с решением; она еще только размышляет, не вмешаться ли открыто, не повелеть ли государственному казначею снарядить войско в помощь бунтовщикам, как Мария Стюарт уже нанесла удар. Всенародно оглашает она грамоту, в которой начисто изобличает бунтовщиков. «Мало того, что они без счета захватили почестей и богатств, они бы и Нас, и все Наше Королевство рады прибрать к рукам, чтобы владеть им по своей воле, а Нам бы слушаться во всем их указки, — словом, они не прочь завладеть престолом, а Нам разве что оставить титул, исправлять же все дела в государстве предерзостно берутся сами».

Не теряя ни минуты, вскакивает отважная амазонка в седло. Сунув пистолеты за пояс, в сопровождении закованного в золоченые латы молодого супруга и верных присяге дворян, торопится она во главе наспех собранного войска навстречу бунтовщикам. Не успели веселые гости отрезвиться, как свадебный поезд превратился в военный поход. И эта безоглядная

решимость приносит свои плоды. Кое-кого из мятежных баронов оторопь берет перед этой новоявленной энергией, тем более что подкрепления из Англии не видно, Елизавета вместо обещанной помощи отделяется смущенными отговорками. Один за другим возвращаются они с повинной к своей законной государыне, и только Меррей не хочет покориться; всеми покинутый, он не успевает сколотить мало-мальски годное войско, как уже разбит наголову и вынужден скрыться. До самой границы преследует его в безумной, бешеной скачке победоносная королевская чета. Меррей едва уносит ноги и в середине октября находит убежище на английской земле.

Полная победа — все бароны и лорды ее владений тесно сомкнулись вокруг Марии Стюарт, впервые за долгое время Шотландия вновь припала к ногам своего государя и государыни. На какой-то миг уверенность в своих силах так захлестывает Марию Стюарт, что она подумывает, не перейти ли в наступление, не вторгнуться ли в Англию, где, как она знает, католическое меньшинство с ликованием встретит освободительницу; трезвые советчики с трудом сдерживают ее разгулявшуюся удаль. Зато учтивости конец — с тех пор как она выбила из рук противницы все ее карты, в том числе и ту, что Елизавета прятала в рукаве. Брак по собственному выбору был первой победой Марии Стюарт, разгром мятежников — второй; открыто, уверенно может она теперь смотреть в глаза своей «добрый сестрице» за кордоном.

Если положение Елизаветы и раньше было незавидно, то после разгрома ею выпестованных и обнадеженных бунтовщиков ей приходится и вовсе туго. Разумеется, всегда существовал и существует у правителей обычай — в случае поражения тайно на вербованных в соседней стране повстанцев открыто их дезавуировать, предоставив собственной участи. Но уж если кому не повезет, так не везет до конца. Надо же случиться, чтобы какие-то деньги Елизаветы, предназначенные для лордов, — явная улика — благодаря смелому нападению попали в руки Босуэлу, заклятому недругу Меррея. А тут

еще и вторая неприятность: спасаясь от преследования, Меррей, естественно, бежал в страну, где его открыто и тайно ласкали, — в Англию. Мало того, у побежденного хватило смелости пожаловать в Лондон. Какой конфуз — попасться на двойной игре, когда до сих пор ей все сходило с рук! Ведь допустить ко двору опального Меррея — значит задним числом благословить мятеж. Если же она отвернется от тайного союзника и тем нанесет ему открытую обиду, чего только оскорбленный не способен наклепать на свою милостивицу, о чем при иностранных дворах и знать не должно. Никогда еще Елизавета не попадала в такую ловушку из-за своей двойной игры. Но недаром это век прославленных комедий, и не случайно Елизавета дышит тем же пряным, пьянящим воздухом, что Шекспир и Бен Джонсон. Природная актриса, она, как ни одна королева, знает толк в театре и эффектных сценах. Хэмптон-корт и Вестминстер того времени могли смело поспорить с «Глобусом» и «Фортуной» по части эффектных сцен. Едва лишь становится известно о прибытии неудобного союзника, как его в тот же вечер призывает к себе Сесил, чтобы прорепетировать с ним роль, которую тому завтра предстоит исполнить для реабилитации Елизаветы.

Трудно выдумать что-либо более наглое, чем эта разыгранная наутро комедия. У королевы сидит французский посланник, разговор идет — ведь ему и невдомек, что он зван на веселый фарс, — о политических делах. Вошедший слуга докладывает о прибытии графа Меррея. Королева высоко вздергивает брови. Что такое? Не ослышалась ли она? Неужто и вправду лорд Меррей? Да как же он осмелился, презренный мятежник, обманувший ее «добрую сестрицу», явиться в Лондон? И что за неслыханная наглость показаться на глаза ей, которая — весь мир это знает — телом и душой предана своей милой кухне. Бедная Елизавета! Она не может опомниться от удивления и негодования. И лишь после долгих колебаний решается принять этого «наглеца», но только не с глазу на глаз. Нет, Боже упаси! И она не отпускает французского по-

сланника, чтобы заручиться свидетелем своего «искренного» возмущения.

Выход Меррея. Серьезно и добросовестно ведет он свою роль. Уже само его появление говорит о том, что человек пришел с повинной головой. Смиренно и нерешительно, отнюдь не обычной своей горделивой и смелой походкой, облаченный во все черное, приближается он, склоняет колено, как проситель, и обращается к королеве на своем родном шотландском языке. Елизавета обрывает его и приказывает говорить по-французски, дабы посланник мог следить за их беседой, — пусть никто не посмеет сказать, что у королевы какие-то секреты с отъявленным бунтовщиком. Меррей что-то смущенно бормочет, но Елизавета сразу же переходит в наступление: она-де не понимает, как он, беглец и бунтовщик, восставший против ее лучшего друга, отважился без зова явиться во дворец. Правда, у нее с Марией Стюарт бывали разногласия, но ничего серьезного. Она всегда видела в шотландской королеве родную сестру и надеется, что так будет и впредь. И если Меррей не докажет, что лишь по недоразумению или защищая свою жизнь восстал он против своей госпожи, она повелит бросить его в тюрьму и будет судить как изменника. Пусть же Меррей перед ней оправдается.

Натасканный Сесилом, Меррей прекрасно понимает, что волен говорить решительно все, кроме правды. Он знает: всю вину ему должно принять на себя, чтобы обелить Елизавету в глазах посланника, доказать ее полную непричастность к ею же инспирированному заговору. Он должен подтвердить ее алиби. И вместо того, чтобы жаловаться на сводную сестру, он превозносит ее до небес. Она свыше меры наградила его землями, осыпала почестями и щедрыми дарами, да и он служил ей не за страх, а за совесть, и только опасение, что против него злоумышляют, боязнь за свою жизнь затуманили его разум. К Елизавете же он явился лишь затем, чтобы она, по милости своей, помогла ему исхлопотать прощение у его повелительницы, королевы Шотландской.

Уже эти слова ласкают слух тайной подстрекательницы.

Но Елизавете все еще мало. Не для того она инсценировала комедию, чтобы Меррей в присутствии посланника принял всю вину на себя, а для того, чтобы, как главный свидетель, он удостоверил, что Елизавета ничего не знала о заговоре. Прожженный политик солжет — недорого возьмет, и Меррей клятвенно заверяет посланника, что Елизавета «ни сном, ни духом не ведала о заговоре, никогда она не наущала ни его, Меррея, ни его друзей нарушить свой верноподданнический долг, возмутиться против Ее Величества королевы».

Елизавета добилась своего алиби. Она полностью обелена. С чисто актерским пафосом напускается она на своего сценического партнера: «Вот когда ты сказал правду! Ибо ни я, ни кто другой от моего имени не подстрекал против вашей королевы. Такое предательство могло бы дурно кончиться и для меня. Ведь, наученные дурным примером, и мои подданные могли бы восстать против меня. А теперь с глаз долой, бунтовщик!»

Меррей низко склонил голову — уж не для того ли, чтобы скрыть мелькнувшую на губах улыбку? Он хорошо помнит, сколько десятков тысяч фунтов были вручены ему и другим лордам через их жен от имени королевы Английской, помнит письма и заверения Рандольфа и обещания государственной канцелярии. Но он знает: если он возьмет на себя роль козла отпущения, Елизавета не изгонит его в пустыню. Да и французский посол с выражением почтительности на лице хранит учтивое молчание; человек светский и образованный, он умеет ценить хорошую комедию. Лишь дома, у себя в кабинете, восседая за конторкой и строча донесение в Париж, позволит он себе лукавую усмешку. Не совсем легко на душе в эту минуту, пожалуй, только у Елизаветы; должно быть, ей не верится, что кто-то ей поверил. Но по крайней мере ни одна душа не решится открыто высказать сомнение — видимость соблюдена, а кому нужна правда! Исполненная величия, шурша пышными юбками, покидает она в молчании зал.

То, что Елизавета вынуждена прибегнуть к таким жалким уверткам, чтобы, потерпев поражение, обеспечить себе хотя бы моральное отступление, — вернейшее свидетельство сегодняшнего могущества Марии Стюарт. Горделиво поднимает она голову — все устроилось по желанию ее сердца. Ее избранник носит корону. Восставшие бароны либо вернулись, либо преданы опале и блуждают на чужбине. Звезды благоприятствуют ей, а если от нового союза родится наследник, сбудется ее заветная, великая мечта: Стюарт станет преемником объединенного престола Шотландии и Англии.

Звезды благоприятствуют ей, благословенная тишина воцарилась наконец в стране. Мария Стюарт могла бы теперь вздохнуть, вкусить завоеванное счастье. Но жить в вечной тревоге и порождать тревогу — закон ее неукротимой природы. Тот, у кого своенравное сердце, не знает счастья и мира, идущих извне. Ибо в своем буйстве оно неустанно порождает все новые беды и неотвратимые опасности.

Г Л А В А VIII

РОКОВАЯ НОЧЬ В ХОЛИРУДЕ

9 марта 1566 года

Если чувство в самой поре, то такова уж его природа, что оно не рассчитывает и не скаредничает, не колеблется и не сомневается; когда любит царственно щедрая натура, это — полное самоотречение и саморасточение. Первые недели замужества у Марии Стюарт только и заботы, как излить на молодого супруга свое благоволение. Каждый день приносит Дарнлею новую нечаянную радость — то лошадь, то богатый наряд, — сотни маленьких нежных даров любви, после того как она отдала ему самый большой — королевский титул и свое неумемное сердце. «Чем только может женщина возвеличить мужчину, — сообщает английский посол в Лондон, — он взыскан в полной мере... Вся хвала, все награды и почести, какими она располагает, — все сложено к его ногам. На каж-

дого она смотрит его глазами, да что говорить — даже волю свою она отдала ему». Верная своей неистовой натуре, Мария Стюарт ничего не умеет делать наполовину, всему отдается она безоговорочно, целиком. Когда она дарит свою любовь, то уж без робости, без оглядки, очертя голову, в неудержимом порыве давать и давать без конца и меры. «Она во всем покорна его воле, — пишет дальше Рандольф, — он вертит ею, как хочет». Страстная любовница, она вся растворяется в послушании, в смирении, переходящем в экстаз. Только безграничная гордость может в душе любящей женщины обратиться в столь безграничное смирение.

Однако великие дары лишь тому во благо, кто их достоин, для недостойного они опасны. Сильные характеры крепнут благодаря возросшей власти (поскольку власть — их естественная стихия), слабые же гибнут под бременем незаслуженного счастья. Успех пробуждает в них не скромность, а заносчивость; в каждом свалившемся с неба подарке видят они по детской наивности собственную заслугу. Как вскоре выясняется, опрометчивая и безудержная щедрость Марии Стюарт фатально растрачена на ограниченного, тщеславного мальчишку, которому приличнее бы иметь гувернера, чем повелевать королевой с большой душой и большим сердцем. Ибо стоило Дарнлею заметить, какую силу он приобрел, и он становится нагл и заносчив. Он принимает милости Марии Стюарт, словно причитающуюся ему дань, а великий дар ее царственной любви — как неотъемлемую привилегию мужчины. Став ее господином, он считает, что вправе ее третировать. Ничтожная душонка, «heart of wax»*, как с презрением скажет о нем сама Мария Стюарт, избалованный мальчишка, ни в чем не знающий меры, он напускает на себя важность и бесцеремонно вмешивается в государственные дела. Побоку стишки и приятные манеры, они ему больше не нужны, он пытается командовать в коронном совете, кричит и сквернословит, он

*Восковое сердце (англ.).

бражничает в компании забулдыг, а когда королева как-то захотела увести его из этого недостойного общества, он грубо выругался, и, оскорбленная публично, она не могла сдержать слезы. Мария Стюарт даровала ему королевский титул — только титул, а он и вправду возомнил себя королем и настойчиво требует равной с ней власти — the matrimonial crown; безбородый девятнадцатилетний мальчишка притязает на то, чтобы править Шотландией, точно своей вотчиной. При этом каждому ясно: за вызывающей грубостью не кроется и тени мужества, за похвальбой — ни намека на твердую волю. Марии Стюарт не уйти от постыдного сознания, что свое первое, прекраснейшее чувство она растратила зря, на неблагодарного балбеса. Слишком поздно, как это часто бывает, пожалела она, что не послушалась добрых советов.

А между тем нет для женщины большего унижения, нежели сознание, что она чересчур поспешно отдалась человеку, не достойному ее любви; никогда настоящая женщина не простит этой вины ни себе, ни виновному. Но столь великая страсть, связывающая двух любовников, не может сразу смениться простой холодностью и бездушной учтивостью: раз воспламенившись, чувство продолжает тлеть и только меняет окраску; вместо того чтобы пылать любовью и страстью, оно распространяет чад ненависти и презрения. Едва осознав ничтожество этого шалопая, Мария Стюарт, всегда неукротимая в своих порывах, сразу же лишает его своих милостей, делая это, быть может, резче и внезапнее, чем позволила бы себе женщина более осмотрительная и расчетливая. Из одной крайности она впадает в противоположную. Одну за другой отнимает она у Дарнлея все привилегии, какие она в первом увлечении страсти, не размышляя, без счета дарила ему.

О подлинном совместном правлении, о matrimonial crown, которую она когда-то принесла шестнадцатилетнему Франциску II, теперь уже и речи нет. Дарнлей вскоре с гневом замечает, что его больше не зовут на заседания государственного совета; ему запрещают включить в свой герб королевские

регалии. Низведенный на ампула принца-консорта, он уже играет при дворе не первую роль, о какой мечтал, а в лучшем случае роль оскорбленного резонера. Вскоре пренебрежительное отношение передается и придворным: его друг Давид Риччо больше не показывает ему важных государственных бумаг и, не спросив его, скрепляет письма железной печатью (iron stamp) с росчерком королевы; английский посол уже не титулует его «величеством» и не далее как в сочельник, всего лишь полгода спустя после медового месяца, сообщает о «strange alterations»* при шотландском дворе. «Еще недавно здесь только и слышно было, что «король и королева», а теперь его именуют «супругом королевы». Дарнлей уже привык к тому, что в королевских рескриптах его имя стоит первым, а теперь ему приходится довольствоваться вторым местом. Были вычеканены монеты с двойным изображением: «Henricus et Maria», — но их тут же изъяли из обращения и заменили новыми. Между супругами чувствуется какое-то охлаждение, но пока это лишь *amantium irae*** , или, как говорят в народе, *household words**** , этому не надо придавать значения, лишь бы дело не пошло дальше.

Но оно пошло дальше! К тем горьким обидам, какие картонный король вынужден терпеть при собственном дворе, присоединяется тайная и наиболее чувствительная — обида оскорбленного мужа. Что в политике не обойдешься без лжи, к этому Мария Стюарт притерпелась за долгие годы. Не то в сфере чувства: ее глубоко честной натуре не свойственно притворство. Едва лишь ей становится ясно, как она продешевила свое чувство, свою страсть, едва лишь из-за вымышленного Дарнлея поры жениховства выступает недалекий, тщеславный, наглый и неблагодарный юнец, как физическое тяготение сменяется гадливостью. Охладев к этому человеку, она не выносит больше его близости.

* Удивительных перемен (англ.).

** Ссоры влюбленных (лат.).

*** Семейные дразги (англ.).

Едва королева замечает, что беременна, она под всевозможными предлогами уклоняется от супружеских объятий. То она больна, то устала, вечно у нее находятся отговорки, чтобы отделаться от него. И если в первые месяцы их супружества (разгневанный Дарнлей сам разглашает эти интимные подробности) именно она была требовательна в своей страсти, то теперь она оскорбляет его частыми отказами. Так что и в самой интимной сфере, в которой ему сперва удалось завоевать эту женщину, Дарнлей чувствует себя — и это наиболее глубокая, потому что наиболее болезненная обида, — обездоленным и отвергнутым.

У Дарнлея не хватает душевной выдержки, чтобы скрыть свое поражение. Глупо и тупо плачется он всем и каждому на свою отставку, он ропщет, вопит, бьет себя в грудь и клянется, что месть его будет ужасна. Но чем громогласнее трубит он о своей обиде, тем нелепее звучат его угрозы; проходит несколько месяцев, и, невзирая на королевский титул, недавний кумир низведен в глазах придворных на роль скучного, озлобленного приживальщика, от которого каждый норовит отвернуться. Никто уже не гнет перед ним спину — какое там, все смеются, когда этот *Henricus, Rex Scotiae** чего-нибудь желает, или просит, или требует. Но даже ненависть не так страшна для властителя, как всеобщее презрение.

Жестокое разочарование, постигшее Марию Стюарт в ее втором браке, помимо человеческой, имеет еще и политическую сторону. Она надеялась, что, опираясь на молодого, преданного ей душой и телом супруга, избавится наконец от опеки Меррея, Мэйтленда и баронов. Но вместе с медовым месяцем миновали и эти иллюзии. Ради Дарнлея оттолкнула она Меррея и Мэйтленда и теперь более чем когда-либо чувствует себя одинокой. Как бы ни было велико постигшее ее разочарование, Мария Стюарт с ее открытой душой должна кому-то верить; неустанно ищет она помощника не за страх,

* Генрих, король Шотландский (*лат.*).

а за совесть, на которого можно было бы целиком положиться. Лучше уж приблизить к себе человека низкого происхождения, пусть у него не будет представительности Меррея или Мэйтленда, лишь бы он обладал достоинствами куда более необходимыми при шотландском дворе, неотъемлемыми достоинствами всякого доброго слуги — безусловной преданностью и надежностью.

Случай привел к ней такого человека. Маркиз Моретта, савойский посол, привез в Шотландию среди своей многочисленной свиты молодого смуглого пьемонтца (*in visage very black*) Давида Риччо, лет двадцати восьми, черноглазого, с румяными губами, весьма искусного певца (*particolarmente ega buon musico*). Как известно, поэты и музыканты — самые желанные гости при романтическом дворе Марии Стюарт. От матери и отца унаследовала она горячую любовь к изящным искусствам, и ничто так не утешает и не радует молодую королеву в ее сумрачном окружении, как возможность послушать прекрасное пение, насладиться звуками скрипки или лютни. В то время придворной капелле как раз требовался бас, и, поскольку сеньор Дейви (как именовали итальянца в кругу друзей) не только хорошо пел, но и умел переключивать стихи на музыку, королева попросила посла отдать ей своего «*buon musico*» в личное услужение. Моретта не возражал, да и Риччо улыбалось место, обещавшее шестьдесят пять фунтов в год. То, что его провели по книгам как «*David le chantre*»* и зачислили камердинером по штату придворной челяди, несколько его не унижает — вплоть до времен Бетховена музыканты, будь то даже полубоги, занимают при княжеских дворах положение челяди. Еще Вольфганг Амадей Моцарт и седовласый Гайдн, хоть слава их гремит по всей Европе, едят не за княжеским столом вместе с дворянством и высшей знатью, а на голых досках, с конюшими и камеристками.

Однако у Риччо не только сладкозвучный голос, но и пре-

*Певца Давида (фр.).

красная голова, ясный, живой ум и тонкий вкус. Латынь он знает не хуже, чем английский и французский, к тому же у него пребойкое перо — один из сохранившихся его сонетов свидетельствует о подлинном поэтическом даровании и чувстве формы. Вскоре Риччо представляется случай покинуть лакейскую. Доверенный секретарь королевы Роле не проявил должной стойкости в отношении свирепствующей при шотландском дворе эпидемии — английского подкупа. Пришлось весьма поспешно с ним расстаться. И вот на опустевшее место в кабинете королевы пролезает расторопный Риччо; с этой минуты он быстро поднимается по чиновной лестнице. Из обыкновенного писца он становится доверенным лицом королевы. Мария Стюарт уже не диктует пьемонтцу-секретарю свои письма, он набрасывает их сам, по своему усмотрению. Спустя несколько недель его влияние дает себя знать в шотландских делах. Скоропалительный союз с католиком Дарнлеем — в значительной мере его детище, а ту необычайную твердость, с какой королева отказывается помиловать Меррея и других бунтовщиков, опальные вельможи не зря относят на счет его интриг.

Был ли Риччо агентом папы при шотландском дворе, сказать трудно, возможно, это только подозрение; но, ярый приверженец католичества и папы, он все же с большей преданностью служит Марии Стюарт, чем ей когда-либо служили в Шотландии. А настоящую преданность Мария Стюарт умеет ценить. Тот, на чью верность она может рассчитывать, вправе рассчитывать на ее милости. Открыто, слишком открыто поощряет она Риччо, дарит ему дорогое платье, доверяет королевскую печать и государственные тайны. Оглянуться не успели, а Давид Риччо уже один из первых вельмож; нимало не смущаясь, садится он за стол вместе с королевой и ее подругами; как в свое время Шательяр (зловещее родство судеб!), он в качестве доброхотного *maître de plaisir*, министра пиров и увеселений, помогает устраивать при дворе концерты и другие изящные развлечения, из слуги все больше превращаясь в

друга. На зависть придворной челяди, низкорожденный иноземец засиживается в покоях королевы до глубокой ночи, беседуя с ней с глазу на глаз; одетый по-княжески, недоступно надменный, он поставлен очень высоко, а давно ли нищим проходимцем в потертой лакейской ливрее явился ко двору — только что песни петь горазд! Теперь же ни одно дело в Шотландии не делается без его ведома и спроса. Но и вознесенный над всеми, Риччо остается преданнейшим слугой своей госпожи.

Есть у нее и второй надежный столп ее самостоятельности — не только политическая, но и военная власть отдана ею в верные руки. Опорой ей и на этот раз становится новое лицо — лорд Босуэл; протестант, он уже в юности отстаивал интересы ее матери, Марии де Гиз, против протестантской конгрегации и от гнева Меррея бежал из Шотландии. После падения своего смертельного врага он вернулся и отдал себя и своих приверженцев в распоряжение королевы, а это нешуточная сила. Безоглядно смелый, готовый на любое приключение рубака, железный воин, равно горячий в ненависти и в любви, Босуэл ведет за собой своих *borderers* — пограничников. Да он и сам по себе представляет несокрушимую армию. Благодарная Мария Стюарт дает ему звание генерал-адмирала, зная, что он схватится с любым врагом, чтобы защитить ее и ее право на престол.

Опираясь на этих верных паладинов, двадцатитрехлетняя Мария Стюарт может крепко натянуть поводья власти — политической и военной. Наконец-то она рискует править одна против всех — нет такого риска, на который не отважилась бы эта безрассудная душа.

Но всякий раз, как монарх в Шотландии вздумает править самостоятельно, лорды встают на дыбы. Ничто так не поперек души этим ослушникам, как королева, которая не заискивает и не трепещет перед ними. Из Англии рвутся домой Меррей и другие опальные вельможи. Они ведут подкупы и подклады-

вают мины, в том числе серебряные и золотые, но Мария Стюарт проявляет неожиданную твердость, и гнев дворян обрушивается в первую голову на временщика Риччо: тайный ропот и возмущение распространяются по замкам. С негодованием чуют протестанты, что в Холируде плетется тончайшая сеть дипломатических интриг макиавеллиевской чеканки. Они не столько знают, сколько догадываются, что Шотландия включилась в обширный тайный заговор контрреформации; быть может, Мария Стюарт в створе с католическим союзом и связала себя какими-то обязательствами. Первым в ответе за это чужак Риччо, проходимец, которого так жалует королева, а между тем при дворе у него не найдется ни одного доброжелателя. Поистине удивительно, как умных людей всегда подводит собственное неразумие. Вместо того чтобы скрыть свою силу, Риччо — вечная ошибка всякого выскочки — тщеславно выставляет ее напоказ. Но едва ли не больше всего страдает самолюбие у гордых вельмож, когда они видят, как прощелыга лакей, приبلудный шарманщик без роду и племени проводит долгие часы в покоях государыни рядом с ее опочивальней, услаждая сердце задушевной беседой. Все больше терзает их подозрение, что эти тайные беседы клонятся к тому, чтобы с корнем вырвать реформацию и утвердить в стране католицизм. И дабы своевременно расстроить эти гнусные замыслы, несколько протестантских лордов вступают в тайный заговор.

Веками повелось, что шотландское дворянство знает одно только средство для расправы с неугодным противником — убийство. Лишь когда паук, ткущий невидимую паутину, будет раздавлен, когда увертливый, неуязвимый итальянский искатель приключений будет убран с дороги, только тогда удастся им вновь захватить власть и Мария Стюарт станет створчивей. План извести Риччо, видимо, довольно давно засел в голове у шотландской знати; за много месяцев до убийства английский посол сообщает в Лондон: «Либо Господь приберет его до времени, либо им уготовит ад на земле». Но

заговорщики долго не решаются выступить открыто. У них еще поджилки трясутся при воспоминании, как быстро и решительно пресекла Мария Стюарт их недавний бунт, им вовсе не улыбается разделить участь Меррея и прочих эмигрантов. Не меньше страшатся они железной руки Босуэла, зная, как он скор на расправу, и понимая, что надменный временщик не унижится до того, чтобы вступить с ними в тайный сговор. Поэтому они только ворчат да сжимают кулаки в карманах, пока у кого-то не возникает план — поистине дьявольская выдумка — изобразить убийство Риччо не актом крамолы, а, наоборот, вполне законным и истинно патриотическим деянием, для чего воспользоваться Дарнлеем как прикрытием, поставив его во главе заговора.

На первый взгляд нелепая затея! Властитель королевства вступает в заговор против собственной супруги, король против королевы! Но психологически она вполне оправдана, ибо сильнейшим стимулом у Дарнлея, как у всякого слабого человека, является неудовлетворенное тщеславие. Да и Риччо слишком вознесся, чтобы отвергнутый Дарнлей не кипел злобой и ненавистью на своего бывшего приятеля. Приблудный бродяга ведет дипломатические переговоры, о которых он, *Henricus, Rex Scotiae*, даже не ставится в известность; до часу, до двух ночи просиживает у королевы, отнимая у супруга его законные часы, и власть фаворита прибывает со дня на день, в то время как его собственная власть на глазах у всего двора с каждым днем идет на убыль. Нежелание Марии Стюарт сделать его соправителем, передать ему *matrimonial crown*, Дарнлей, быть может, и справедливо, приписывает влиянию Риччо, а ведь одного этого достаточно, чтобы разжечь ненависть в обиженном человеке, не отличающемся особым душевным благородством.

Но бароны подливают еще злейшего яда в отверстые раны его тщеславия, они растрavляют в Дарнлее самое чувствительное место — его оскорбленную мужскую честь. Они пробуждают в нем ревность, всячески давая понять, что королева

делит с Риччо не только трапезы, но и ложе. И хотя доказательства у них нет, Дарнлей тем легче клюет на эту наживку, что Мария Стюарт в последнее время то и дело уклоняется от выполнения супружеского долга. Неужто — жестокая мысль! — она предпочла ему этого чумазого музыканта? Ущемленное честолюбие, у которого не хватает мужества для открытых, членораздельных обвинений, легко склонить к подозрительности: человек, который сам себе не верит, не станет верить и другим. Лордам не приходится долго подзуживать Дарнлея, чтобы довести его до исступления и безумия. Вскоре Дарнлей уже не сомневается, что «ему причинена злейшая обида, какую можно нанести мужчине». Так невозможное становится фактом: король соглашается возглавить заговор, обращенный против королевы, его супруги.

Был ли черномазый музыкант Риччо действительно любовником королевы, так и осталось неразрешимой загадкой. То открытое благоволение, которым Мария Стюарт дарит своего доверенного писца на глазах у всего двора, скорее красноречиво опровергает это подозрение. Если даже допустить, что духовная близость женщины и мужчины отделена от физической лишь незаметной чертой, которую иная взволнованная минута или неосторожное движение могут легко стереть, то все же Мария Стюарт, уже носящая под сердцем ребенка, так уверенно и беззаботно отдается дружбе с Риччо, что трудно счесть это искусной личиной неверной жены. Находясь со своим секретарем в предосудительной связи, для нее было бы естественно избегать всего, что наводит на подозрение: не засиживаться с итальянцем до утра за музыкой или за картами, не запирается с ним в своем рабочем кабинете для составления дипломатических депеш. Но и здесь, как в случае с Шателеаром, Марию Стюарт подводят как раз наиболее располагающие ее черты — презрение к пересудам, поистине царственное нежелание считаться с наговорами и сплетнями, искренняя непосредственность. Опрометчивость и мужество обычно соединены в одном характере, подобно добродетели и

наивности, являя две стороны одной медали; только трусы и сомневающиеся в себе страшатся даже подобия вины и действуют с оглядкой и расчетом.

Но стоит кому-либо пустить молву о женщине, хотя бы самую нелепую и вздорную, как ее уже не остановишь. Переносясь из уст в уста, она ширится и растет, раздуваемая ветром любопытства. Целых полвека спустя клевету эту подхватит Генрих IV; в насмешку над Иаковом VI, сыном Марии Стюарт, которого она тогда носила во чреве, он скажет: «Ему правильнее было бы называться Соломоном, ведь он тоже «Давидов сын». Так репутация Марии Стюарт вторично терпит тяжкий ущерб, и опять не по ее вине, а исключительно по опрометчивости.

Заговорщики, натравливавшие Дарнлея, сами не верили в свою выдумку — это явствует уже из того, что два года спустя они торжественно провозгласят мнимого бастарда королем. Вряд ли стали бы надменные лорды присягать на верность незаконному отпрыску заезжего музыканта. Слепленные ненавистью, обманщики и тогда уже знали правду, и клеветуют они лишь затем, чтобы пуще растравить в Дарнлее обиду. А он уже и без того не владеет собой; у него уже и без того какой-то ералаш в голове из-за вечно грызущего чувства неполноценности — и вспыхнувшее подозрение его ослепляет: огненной волной накатила ярость, как бык, устремился он на красный лоскут, которым размахивали у него перед носом, и, унося его на себе, ринулся в расставленную западню. Не задумываясь, дает он себя вовлечь в заговор против собственной жены. Проходит день-другой, и Дарнлей больше всех жаждет крови Риччо, своего бывшего друга, с которым он делил хлеб и постель, да и короной он в немалой степени обязан приبلудному итальянскому музыкантишке.

Политическое убийство готовится шотландской знатью обстоятельно, как некое долгожданное торжество. Никакой спешки и горячности под впечатлением минуты: партнеры заранее обмениваются письменными обязательствами — на честь и совесть здесь надежды плохи, для этого они

слишком хорошо знают друг друга, — скрепляя их по всей форме подписью и печатью, словно это не рыцарское дело, а нотариальный акт. При всех таких злодейских начинаниях, словно при торговой сделке, пишется на пергаменте контракт, так называемый «совепап» или «bond», в котором вельможные бандиты клянутся в верности друг другу до гробовой доски, ибо только скопом, только как банда или клан дерзают они подняться на своих властителей.

На сей раз, впервые в истории Шотландии, заговорщики удостоились невиданной чести: на их «бондах» стоит подпись короля. Между Дарнлеем и лордами заключены два честных, добропорядочных контракта, в коих отставленный король и обойденные бароны пункт за пунктом обязуются отнять у Марии Стюарт власть. В первом «бонде» Дарнлей при любом исходе гарантирует заговорщикам полную безнаказанность (shaitless), обещая лично ходатайствовать за них и защищать их перед самой королевой. Далее, он изъявляет согласие на возвращение изгнанных лордов и на отпущение им всех провинностей (faults), как только он получит королевскую власть, ту самую matrimonial crown, в которой Мария Стюарт так упорно ему отказывала; кроме того, он обязуется оберегать «кирку» от малейших посягательств. В свою очередь, заговорщики обещают во втором «бонде», или, как выражаются коммерсанты, во взаимном обязательстве, признать за Дарнлеем всю полноту власти, более того, в случае смерти королевы (из дальнейшего видно, что не наобум предусмотрели они эту возможность) сохранить за ним власть. Но за ясными, казалось бы, словами сквозит нечто, что не доходит до ушей Дарнлея, а вот английский посол слышит то, что в тексте и за текстом, — намерение вообще избавиться от Марии Стюарт и с помощью «несчастливого случая» обезвредить королеву заодно с ее итальянцем.

Еще не просохли все подписи под позорной сделкой, а в Англию уже скачут гонцы известить Меррея, чтобы он готовился к возвращению. Да и английский посол, играющий в

заговоре не последнюю роль, торопится упредить Елизавету о кровавом сюрпризе, ожидающем соседнюю королеву. «Мне доподлинно известно, — писал он уже 13 февраля, и значит, задолго до убийства, — что королева сожалеет о своем замужестве и ненавидит как *его*, так и все их племя. Известно мне также, что он подозревает, будто кто-то охотится в его владениях (*partaker in play and game*), и у них с отцом состряпан некий комплот — они намерены захватить власть против ее воли. Известно мне, что, ежели все у них сойдет успешно, Давиду с согласия короля не далее как на той неделе перережут глотку». Но соглядатай Елизаветы, по всему видно, посвящен и в более сокровенные помыслы заговорщиков: «Дошли до меня слухи и о делах более страшных, будто покушение готовится и против ее особы». Письмо показывает со всей достоверностью, что заговор ставил себе куда более обширные цели, чем сочли нужным рассказать дурачку Дарнлею его сообщники, что меч, занесенный якобы над одним только Риччо, метит и в Марию Стюарт, и жизни ее угрожает, пожалуй, не меньшая опасность, чем жизни ее секретаря.

Бесноватый Дарнлей — ибо никто не превзойдет лютостью труса, почувствовавшего за собой какую-то силу, — жаждет особенно изощренной мести человеку, похитившему у него государственную печать и доверие его супруги. Для посрамления непокорной он требует, чтобы убийство совершилось у нее на глазах — бредовая идея труса, который надеется «примерным наказанием» сломить строптивый дух послушницы и зрелищем зверского насилия усмирить женщину, его презирающую. По личному желанию короля решено и в самом деле произвести расправу в покоях беременной королевы, назначив 9 марта как наиболее подходящий день: гнусность исполнения должна превзойти даже низость замысла.

В то время как Елизавета и ее министры уже много недель как посвящены во все подробности заговора (она, однако, забывает остеречь «сестрицу»), в то время как Меррей держит

на границе оседланных лошадей, а Джон Нокс готовит проповедь, где прославляет свершившееся убийство как деяние, «заслуживающее всяческой хвалы» («most worthy of all praise»), всеми преданная Мария Стюарт и не подозревает о готовящемся покушении. Как раз за последние дни Дарнлей (предательство вдвойне презренно своим притворством) на удивление кроток, и ничто не предвещает ей ночи ужасов и роковых предопределений на долгие, долгие годы — ночи, что наступит вслед за гаснущим вечером 9 марта. Риччо, правда, получил остережение, писанное незнакомой рукой, но не обратил на него внимания, так как, желая усыпить его доверие, Дарнлей после обеда предлагает ему партию в мяч; весело и беспечно откликается итальянец на зов своего бывшего доброго друга.

Тем временем спустился вечер. Мария Стюарт, как всегда, распорядилась сервировать ужин в малой башенной комнате, смежной с ее опочивальней, во втором этаже; это — небольшое помещение, где собираются только самые близкие. Вот они расположились в тесной привычной компании, несколько дворян и сводная сестра Марии Стюарт, окружая тяжелый дубовый стол, освещенный свечами в серебряных жирандолях. Против королевы, богато разодетый, словно знатный вельможа, сидит Давид Риччо, в шляпе à la mode de France*, в узорчатом кафтане с меховой опушкой; он острит и развлекает общество, а после ужина они немного помузицируют или еще как-нибудь с приятностью проведут время. Поначалу никого не удивляет, что занавес, скрывающий вход в королевскую опочивальню, отдергивается и входит Дарнлей, король и муж; все встают, редкому гостю освобождают место за тесным столом, рядом с его супругой, он осторожно обнимает ее и запечатлевает на ее губах иудин поцелуй. Оживленная беседа не смолкла, ласково, радушно бренчат тарелки, позванивают стаканы.

*По французской моде (фр.).

И тут снова поднимается занавес. Но на этот раз все вскакивают в удивлении, в досаде, испуге: на пороге, словно черный ангел, в полном вооружении стоит с обнаженным мечом в руке один из заговорщиков, лорд Патрик Рутвен, которого все боятся и считают чернокнижником. Сегодня его бледное лицо кажется восковым; хворый, в горячке, встал он с одра болезни, чтобы не упустить столь славного дела. Неумолимо оглядывают всех его налитые кровью глаза. Охваченная недобрым предчувствием, королева — ибо никому, кроме ее мужа, не разрешено пользоваться потайной витой лесенкой, что ведет в опочивальню, — грозно спрашивает, кто позволил ему войти без доклада. Хладнокровно и сдержанно возражает Рутвен, что ни ей, ни кому другому нечего опасаться. Он явился сюда только ради «yonder poltroon David»*.

Риччо бледнеет под своей роскошной шляпой и конвульсивно хватается за стол. Он понял, что его ждет. Только его госпожа, только Мария Стюарт может его спасти, король не делает и попытки указать наглицу на дверь, а сидит, безучастный и смущенный, как будто это его не касается. И Мария Стюарт действительно заступает за него. Она спрашивает, в чем обвиняют Риччо, какое он совершил преступление.

Рутвен только презрительно пожимает плечами.

— Спросите у вашего мужа. «Ask your husband».

Мария Стюарт невольно поворачивается к Дарнлею. Но в решительную минуту это ничтожество, которое уже неделями только и делает, что призывает к убийству, сразу съеживается. Он не решается открыто и прямо присоединиться к своим сотоварищам.

— Ничего я не знаю, — мямлит он смущенно и прячет глаза.

Но из-за занавеса снова доносятся гулкие шаги и бряцание оружия. Заговорщики гуськом поднялись по узкой лестнице,

*Того труса — Давида (англ.).

и теперь их латы железной стеной преграждают Риччо выход. Бежать невозможно. И Мария Стюарт пускается в переговоры, чтобы выручить верного слугу. Если Давид в чем виноват, она сама привлечет его к суду, и он ответит перед дворянами в парламенте, а сейчас, приказывает она, пусть Рутвен и прочие очистят ее покои. Но бунтовщики не внемлют. Рутвен двинулся к помертвевшему Риччо, чтобы схватить его, но тут кто-то накинул на итальянца петлю и потащил его к выходу. В начавшейся суматохе перевернулся стол и погасли свечи. Слабосильный, безоружный Риччо, никакой не герой и не воин, вцепился в платье королевы, пронзительно звучит в общей свалке его истощный, дикий вопль:

— *Madonna, io sono morto, giustizia, giustizia!**

Кто-то из заговорщиков поднимает пистолет и наводит на королеву, и он, конечно, спустил бы курок, как предусмотрено заговором, если бы его не толкнул под руку сосед, а Дарнлей, обхватив руками отяжелевшее тело беременной женщины, держит ее, пока остальные тащат из комнаты дико визжащую и отчаянно сопротивляющуюся жертву. Последний раз, когда его волокут через спальню королевы, делает Риччо попытку схватиться за ножку кровати, и бессильная Мария Стюарт слышит крики о помощи; но тут ему безжалостно обрубают пальцы и тащат в соседнюю парадную палату. Там они, озверев, наваливаются на него. Предполагалось будто бы только взять секретаря под стражу и на следующий день всенародно повесить на рыночной площади. Но заговорщики обезумели от возбуждения. Взапуски набрасываются они на незащитного итальянца, снова и снова колют его кинжалами; пролитая кровь ударила им в голову; не помня себя от ярости, они и друг другу наносят раны. Весь пол в крови, а они все не унимаются. И только когда судорожно бьющееся тело, истекающее кровью из пятидесяти с лишним ран, совсем затихает и последнее дыхание жизни уходит из него, они отваливаются от своей

*Мадонна, я умираю, справедливости, справедливости! (*ит.*)

жертвы. Истерзанной жуткой грудой мяса выбрасывают они из окна во двор труп того, кто был верным другом Марии Стюарт.

В неистовстве ловит Мария Стюарт каждый предсмертный вопль преданного слуги. Она не в состоянии оторваться неповоротливым телом от ненавистного мужа, держащего ее в железных тисках, но всеми силами неукротимой души восстает она против неслыханного унижения, которое собственные подданные нанесли ей в ее доме. Дарнлей может стиснуть ей руки, но не зажать рот. Задыхаясь, в безрассудной ярости, она выплевывает ему в лицо всю свою смертельную ненависть. Изменником называет она его и сыном изменника и казнит себя за то, что такое ничтожество возвела на трон: если до сих пор в этой женской душе жила только смутная антипатия к мужу, то теперь это чувство крепнет и кристаллизуется в непреходящее, неугасимое презрение. Тщетно старается Дарнлей перед ней оправдаться. Он осыпает ее упреками: сколько раз за эти месяцы она не подпускала его к себе, да она этому чужаку Риччо уделяла куда больше времени, чем ему, своему супругу. Но и Рутвена, который входит в комнату и, обессиленный кровавой работой, в изнеможении падает на стул, не щадит Мария Стюарт, она угрожает ему великими опалами!

Будь Дарнлей способен читать в ее взоре, он ужаснулся бы убийственной ненависти, которая неприкрыто в нем пылает. Да, будь он хоть немного прозорливее и умнее, он должен был бы почуять всю опасность ее клятвы, что она больше не считает его своим мужем и не даст себе ни сна, ни покоя, пока он не узнает таких же страданий, какие рвут ее сердце на части. Но нет, Дарнлей способен лишь на мизерные, плоские чувства и побуждения, он не в силах понять, как смертельно ранена ее гордость, он и не подозревает, что она в этот миг вынесла ему приговор. Дряблая душонка, мелкий изменник, позволяющий каждому водить себя за нос, он воображает, что теперь, когда эта обессиленная женщина умолкла и как будто безвольно дает увести себя в опочивальню, ее гордый дух окончательно

сломлен и она снова ему покорится. Но скоро он узнает, что ненависть, умеющая молчать, во сто крат опаснее, чем самые неистовые речи, и что тот, кто смертельно оскорбит эту неукротимую женщину, сам себя обречет на смерть.

Крики итальянца о помощи, звон оружия в королевских покоях всполошили весь замок: с обнаженными мечами выскакивают из своих спален верные слуги королевы — Босуэл и Хантлей. Но заговорщики и это предусмотрели: Холируд со всех сторон окружили их вооруженные слуги, они сторожат подступы к замку, чтобы никто из города не подоспел на выручку королевы. Босуэлу и Хантлею ничего не остается — столько же для спасения своей жизни, сколько и для того, чтобы вызвать подмогу, — как выскочить в окно. Когда они прискакали с тревожной вестью, что жизнь королевы в опасности, городской профос приказал бить в набат, и встревоженные обыватели поспешили за городские ворота, стремясь увидеть свою королеву и говорить с ней. Но вместо королевы к ним выходит Дарнлей и облыжно заверяет, будто ничего не случилось: просто в замке пойман иностранный шпион, намеревавшийся ввести в страну испанские войска, но с ним удалось расправиться. Профос, конечно, не смеет усомниться в королевском слове: притихнув, расходятся честные горожане по домам, а между тем Мария Стюарт, которая тщетно рвалась передать весточку своим верным, надежно заперта у себя в опочивальне. Ни придворным дамам, ни горничным и камеристкам нет доступа к королеве, у всех дверей и ворот замка выставлен тройной караул: впервые в жизни в эту ночь Мария Стюарт превращается из королевы в пленницу. Заговор удался на славу. Во дворе замка валяется в луже крови истерзанный труп ее лучшего слуги, шайку ее врагов возглавляет король Шотландии в чаянии завладеть обещанной короной, тогда как сама она не вправе переступить порог своей опочивальни. В мгновение ока сброшена она с головокружительной высоты, бессильная, всеми покинутая, без помощников и друзей, окруженная ненавистью и насмешкой. Казалось, все рухнуло

для нее в эту страшную ночь. Но под молотом судьбы только крепнет и закаляется пламенное сердце. Всегда и неизменно, когда на карту поставлена ее свобода, ее честь и корона, Мария Стюарт обретает в себе больше сил, чем найдется у всех ее помощников и слуг, вместе взятых.

Г Л А В А I X

ПРЕДАННЫЕ ПРЕДАТЕЛИ

С марта по июнь 1566 года

Опасность всегда благотворна для Марии Стюарт, как личности. Лишь в самые трудные минуты, требующие величайшей внутренней собранности, становится ясно, какие незаурядные дарования кроются в этой женщине: нерассуждающая железная решимость, быстрый, живой ум, схватывающий все на лету, неукротимая, можно сказать, геройская отвага. Но для того, чтобы эти силы выиграли, должны быть потревожены глубинные залежи, таящиеся в этой богатой натуре. Только тогда ее способности, рассыпанные с детской беспечностью, стусуются в несокрушимую энергию. Кто хочет согнуть эту женщину, лишь помогает ей выпрямиться во весь рост. Любой удар судьбы, если смотреть вглубь, ей на пользу, как нечаянное богатство, как бесценный подарок.

Эта ночь ее первого унижения меняет в корне характер Марии Стюарт, меняет навсегда. В горниле жестоких испытаний, когда ее слишком беспечная доверчивость была обманута одновременно мужем, братом, друзьями и подданными, эта женственная, мягкая натура приобретает твердость стали и вместе с тем упругую податливость хорошо откованного на огне металла. Но как добрый меч двуостр, так душа ее двулика с той страшной ночи, положившей начало всем ее невзгодам. Великая кровавая трагедия началась.

Только мысль о возмездии владеет королевой, когда, запертая в своей спальне, узница вероломных подданных, она мечется из угла в угол, перебирая и взвешивая в уме все одно

и то же: как ей прорвать кольцо своих врагов, как отомстить за кровь верного слуги, которая еще теплыми каплями стекает в щели пола, как обуздать, поставить на колени или перед плахой тех, кто святотатственно поднял руку на нее, помазаницу Божию? Рыцарственная воительница, жестоко пострадав от людской неправды, она считает, что против врагов все средства дозволены и хороши. С ней происходит превращение: неосторожная, она становится осторожной, скрытной; слишком честная по натуре, чтобы сказать неправду, она учится притворяться и хитрить; всегда справедливая и прямая с людьми, она теперь приложит все свои незаурядные способности, чтобы обратить против врагов их собственные козни.

Бывает, что за день человек выучится тому, чему его не научили месяцы и годы; именно такой суровый урок преподан Марии Стюарт на всю жизнь; кинжалы заговорщиков прикончили на ее глазах не только верного слугу Риччо, они убили беззаботную доверчивость и непосредственность ее души. Какая ошибка — довериться предателям, быть честной с лжецами, какая непростительная глупость — открыть свое сердце тем, кто вовсе лишен сердца! Нет, притворяться, скрывать свои чувства, хоронить злобу, уверять в любви тех, кого навек возненавидел, и, затаив ненависть, ждать часа, когда удастся отомстить за убитого друга, — часа возмездия! Все силы приложить к тому, чтобы скрыть собственные помыслы и усыпить подозрения врагов, пока еще опьяненных победой; лучше на день, на два притворно смириться перед негодьями, чтобы потом окончательно их усмирить! За такое чудовищное предательство можно отплатить лишь предательством, но только еще более смелым, дерзостным, циничным.

Во внезапном озарении, какое ввиду смертельной опасности подчас нисходит даже на беззаботные и вялые души, составляет Мария Стюарт свой план. Доколе Дарнлей держит руку заговорщиков, ее положение безвыходно, это ясно ей с первого взгляда. Только одно может ее спасти: пока еще не поздно, расколоть блок заговорщиков, вбить в него клин. Если

цепь, стягивающую ей шею, нельзя разорвать одним махом, значит, надо исхитриться перепилить ее в самом слабом звене: пусть один из предателей предаст остальных. А кто среди жестковейных мятежников самый малодушный, ей слишком хорошо известно: конечно же, Дарнлей, heart of wax, восковое сердце, которое любая сильная рука лепит по своему произволу.

Первый же ход Марии Стюарт мастерски задуман и психологически верен. Она объявляет, что чувствует приближение схваток. Волнение прошедшей ночи, зверское убийство, совершенное на глазах у женщины на пятом месяце беременности, с полным основанием подсказывали возможность преждевременных родов. Мария Стюарт делает вид, будто ей очень плохо, и ложится в постель — никто не посмеет навлечь на себя обвинение в чудовищном бессердечии, отказав страждущей в уходе ее камеристок и врача. А это, собственно, все, что ей покамест нужно, ее строгое заключение нарушено. Наконец-то у нее появляется возможность послать с надежной служанкой весточку Босуэлу и Хантлею и все подготовить к задуманному побегу. Более того, угроза преждевременных родов поставила заговорщиков, и в особенности Дарнлея, в крайне затруднительное положение. Ведь дитя, что она носит под сердцем, — наследный принц Шотландии, наследный принц Англии; какая ответственность падет на голову отца-садиста, который для удовлетворения своей личной мести повелел злодеянию совершиться на глазах у беременной женщины, тем самым убив младенца в ее чреве! Теряя голову от страха, спешит Дарнлей в опочивальню королевы.

И тут разыгрывается совершенно шекспировская по масштабам сцена, своей блистательной смелостью идущая в сравнение разве лишь с той, где Ричард III перед гробом убитого им супруга домогается любви его вдовы — и в том преуспевает. И здесь непогребенное тело все еще валяется на земле, и здесь убийца и соучастник убийц стоит перед жертвой, которую он подло, бесчеловечно предал, и здесь искусное притворство

извергает каскады дьявольского красноречия. Никто не присутствовал при этой сцене; известны лишь ее начало и исход. Дарнлей спешит к жене, которую лишь вчера нещадно унизил и которая в первом неподдельном гневе поклялась ему в такой же беспощадной мести. Как Кримгильда над трупом Зигфрида, она еще вчера потрясала стиснутыми кулаками, грозя врагам расправой, но, так же как Кримгильда, за одну эту ночь научилась скрывать свой гнев. Сегодня Дарнлей не находит вчерашней Марии Стюарт, этой гордо восстающей противницы и мстительницы; перед ним лишь бедная, сломленная женщина, смертельно усталая, больная, с робкой нежностью взирающая на него, своего неумолимого тирана-мужа, который показал ей, чего он стоит. Тщеславный глупец уже мнит себя победителем, ведь он достиг всего, о чем только смел мечтать: наконец-то Мария Стюарт снова у его ног. Едва почувствовав его железную руку, она, гордая, надменная, покорилась. Стоило ему убрать этого итальянского проходимца, как она вновь готова служить своему истинному господину и повелителю.

Человека умного и рассудительного такое внезапное превращение, верно, заставило б насторожиться. У него бы не отзвучал еще в ушах пронзительный крик этой женщины, которая только вчера, сверкая глазами, как смертоносной сталью, называла его предателем и сыном предателя. Он вспомнил бы, что гордая дочь Стюартов не прощает оскорблений и не забывает обид. Но, как все тщеславные люди, упивающиеся лестью, Дарнлей легковверен, и, как у всякого глупца, у него короткая память. К тому же — о, каверзная судьба! — из всех мужчин, когда-либо любивших Марию Стюарт, он, этот пылкий мальчик, особенно к ней вожделеет; с какой-то собачьей преданностью льнет чувственный юноша к ее телу: ничто так не раздражало и не оскорбляло его все это время, как пренебрежение, с каким она столь явно уклонялась от его объятий. И вдруг — о, неслыханное чудо! — желанная любовница снова в его власти. Пусть не уходит, пусть останется с

ней этой ночью, молит строптивница, — и миг он растаял, он снова нежен и покорен, ее слуга, ее верный холоп.

Никто не знает, какой прельстительной ложью свершила Мария Стюарт это чудесное превращение. Не прошло и двадцати четырех часов после убийства, а Дарнлей, обманувший ее вместе с лордами, смиренно готов на все и будет из кожи лезть вон, стремясь обмануть вчерашних сообщников; с еще большей легкостью, чем те сманили его на свою сторону, возвращает королева к себе своего раба. Он выдает ей имена всех участников, он готов содействовать ее побегу, малодушно идет он и на то, чтобы стать орудием мести, которая в конце концов сразит и его самого, архипредателя и коновода. Послушным орудием покидает эту спальню тот, кто вошел в нее, казалось, господином и повелителем. Одним усилием разорвала Мария Стюарт душившую ее цепь — и это лишь несколько часов спустя после жестокого унижения: глава заговора неведомо для заговорщиков стал их заклятым врагом, гениальное притворство победило притворство низменное.

Итак, полдела сделано для освобождения Марии Стюарт, а между тем в Эдинбург прискакали Меррей и другие опальные лорды; великий тактик и дипломат, Меррей не был здесь во время убийства — попробуй докажи, что он к нему причастен; этот пройдоха всегда выйдет сухим из воды. Но как только с грязной работой покончено, он тут как тут, спокойный, величавый, самонадеянный, руки у него чисты, и он готов пожать плоды чужих трудов. Как раз на этот день — одиннадцатое марта — назначено в парламенте по высочайшей воле всенародное оглашение его изменником, и — о, чудо! — его плененная сестра вдруг позабыла старые счеты. Талантливая актриса — актриса поневоле, — она бросается к нему на шею с таким же иудиным лобзанием, каким не далее как вчера приветствовал ее муж. Нежно и проникновенно спрашивает она у опального бунтовщика братского совета и помощи.

Меррей, и сам неплохой знаток человеческого сердца, пра-

вильно оценивает положение. Он, без сомнения, призывал и благословлял убийство Риччо в надежде расстроить тайные шашни Марии Стюарт с папизмом; для него черномазый интриган был врагом протестантских, шотландских интересов и к тому же помехой для его собственных властолюбивых планов. Но теперь, когда с Риччо благополучно покончено, Меррей готов зачеркнуть былое, пойти на мировую: пусть послушники-лорды тотчас же снимут стражу, оскорбительную для королевского достоинства Марии Стюарт, и вернут ей все прерогативы неограниченной королевской власти. Она же должна забыть прошлые обиды и отпустить патриотическим убийцам все их грехи.

Мария Стюарт, у которой при пособничестве изменника-мужа готов и разработан в мельчайших подробностях план побега, и не думает прощать убийц. Но, чтобы усыпить бдительность бунтовщиков, она готова на великодушные уступки. Спустя сорок восемь часов после убийства весь эпизод, вместе с растерзанным телом Риччо, по-видимому, погребен и предан забвению: все притворяются, будто ничего не случилось. Прикончили какого-то музыкантишку — велика важность! Скоро ни одна душа не вспомнит о безвестном бродяге и в Шотландии воцарится мир.

Устный пакт заключен. И все же заговорщики не решаются снять караул перед покоями королевы. Какое-то смутное беспокойство гложет их. Наиболее догадливым из них слишком знакома гордость Стюартов, чтобы поддаться на заманчивые уверения, будто Мария Стюарт от чистого сердца готова простить и забыть подлое убийство своего слуги. Им кажется, что куда вернее держать неукротимую женщину под замком, отнять у нее всякую возможность мести; на свободе, чувствуют они, она станет для них постоянной угрозой. Им также не нравится, что Дарнлей то и дело бегаёт на ее половину и о чем-то подолгу шушукается с мнимобольной. Они по опыту знают, как мало нужно, чтобы вертеть этим мозгляком, как вздумается. Открыто говорят они о том, что Мария Стюарт

хочет перетянуть его на свою сторону. Они убеждают Дарнлея не верить ни одному ее слову и заклинают не предавать их, в противном случае — справедливое пророчество! — и ему и ей придется худо. И хотя лгунишка клянется, что все прощено и забыто, они отказываются снять охрану, прежде чем королева письменно не гарантирует им полную безнаказанность. Как для убийства, так и для отпущения убийства домогаются эти друзья законности одного: писаной грамоты — «бонда».

Очевидно, многоопытным, матерым клятвопреступникам мало сказанного слова — им ли не знать, сколь оно эфемерно и легковесно! — подавайте им отпускную грамоту! Однако Мария Стюарт не намерена давать официальные обязательства убийцам — для этого она слишком осторожна и самолюбива. Никто из этих негодяев не сможет похвалиться «бондом» за ее подписью! Но, решив не давать заговорщикам отпускной, она с тем большей готовностью изъявляет согласие: все, что ей нужно, — это как-нибудь дотянуть до вечера. Дарнлею — он опять, как воск, в ее руках — дается унижительное поручение удерживать в узде своих вчерашних сообщников мнимой приязнью и обещаниями высочайшей подписи. Словно преданная нянька, вертится он среди мятежников и вместе с ними вырабатывает текст отпущения; остановка единственно за подписью Марии Стюарт. К сожалению, время позднее, заверяет их Дарнлей: королева утомилась и поживает. Но он клянется — что стоит лжецу солгать лишний раз! — завтра же утром вручить им грамоту за высочайшей подписью. Раз король дает такое обещание, не верить ему — значит оскорбить его. В доказательство своей доброй воли заговорщики снимают стражу у покоев королевы. Марии Стюарт только того и нужно. Путь к побегу ей открыт.

Как только караульные ушли, Мария Стюарт вскакивает с мнимого одра болезни и энергично готовится к отъезду. Босуэл, Хантлей и прочие друзья за стенами замка давно предупреждены; в полночь оседланные лошади будут ждать у погоста в тени ограды. Главное теперь — обмануть бдительность заго-

воршиков, и постыдное поручение оглушить и одурманить их вином и знаками своей милости снова, подобно другим неблагоприятным делишкам, выпадает на долю Дарнлея. По приказу королевы он зовет своих вчерашних сообщников на веселый пир, гости бражничают, и праздник примирения затягивается до глубокой ночи; когда же собутыльники, нагрузившись, отправляются на боковую, обуянный усердием Дарнлей даже не решается из осторожности вернуться в покои королевы. Но лорды слишком уверены в своем триумфе, чтоб быть начеку. Королева обещала их помиловать, сам король в том порукой, Риччо покоится в земле, а Меррей вернулся в Шотландию — зачем же раздумывать и оглядываться? Опьяненные вином и победой, заваливаются лорды на отдых, чтобы отоспаться после тревожного дня.

Полночь, тишина стоит в коридорах спящего замка, как вдруг где-то наверху осторожно приотворяется дверь. Ощупью крадется Мария Стюарт через помещения для слуг и по лестнице — вниз, в подвал, откуда подземный ход ведет в кладбищенские катакомбы. Ледяным холодом веет в мрачном подземелье, вечная сырость, каплет со сводов и стропил. Зажженный факел отбрасывает пляшущие тени на черные, как ночь, стены, на прогнившие гробы и сваленные в кучи человеческие кости. Но вот повеяло свежим, чистым воздухом, они у выхода! А теперь только пересечь кладбище и добежать до ограды, за которой ждут друзья с оседланными конями! Но тут Дарнлей обо что-то спотыкается и едва не падает, королева подбегает, и оба с содроганием видят, что стоят перед свеженасыпанным холмом — могилой Давида Риччо.

Последний удар молота — он еще больше закалит броню, в которую одето сердце оскорбленной женщины. Она знает: перед ней теперь две задачи — восстановить побегом свою королевскую честь и даровать миру сына, наследника престола. А там отмщение всем, кто так ее унизил! Отмщение и тому, кто сейчас по глупости старается ей услужить! Не колеблясь ни секунды, вскакивает беременная на пятом месяце женщи-

на в мужское седло к Артуру Эрскину, верному начальнику ее лейб-гвардии; под защитой чужого она чувствует себя в большей безопасности, чем с мужем; кстати, тот, не дожидаясь, прищипривает коня, торопясь унести ноги. Так Эрскин и цепляющаяся за него Мария Стюарт мчатся галопом на одном коне все двадцать с лишним миль до замка лорда Сетона. Там ей наконец дают коня и стражу в две сотни всадников. Новый день беглянка встречает уже повелительницей. К обеду она доскакала до своего замка Данбар. Но вместо того, чтобы отдохнуть, дать себе покой, сразу же берется за дела: мало называться королевой, в такие минуты должно бороться, чтобы и в самом деле ею быть. Она диктует и пишет письма во все концы: надо кликнуть клич верным присяге дворянам, надо собрать войско против засевших в Холируде бунтовщиков. Жизнь спасена, но дело идет о короне, о чести! Неизменно, когда настает час мщения, когда страсти пожаром бушуют в ее крови, эта женщина не знает ни слабости, ни усталости; только в такие великие, решающие мгновения открывается, какие силы таит в себе это сердце.

Недоброе пробуждение ждет наутро холирудских заговорщиков: замок опустел, королева бежала, их побратим и покровитель Дарнлей исчез вместе с ней. Но не сразу доходит до них вся полнота поражения: слишком велика их надежда на королевское слово Дарнлея, на то, что генеральное отпущение грехов, составленное накануне при его участии, остается в силе. Да и в самом деле, трудно представить себе подобное предательство. Они все еще не верят обману. Смиренно шлют они в Данбар своего посланца, лорда Семпила, просить у государыни обещанную грамоту. Три дня заставляет Мария Стюарт вестника мира томиться у запертых ворот, словно перед новой Каноссой*; нет, она не унижится до переговоров с бунтовщиками, тем более что Босуэл уже собрал войска.

*Каносса — замок в Италии, перед которым германский император Генрих IV в январе 1077 г. униженно вымаливал прощение у папы Григория VII; в переносном значении — каяться, смиряться, идти на унижение, сдаваться на милость победителя. — *Примеч. ред.*

Только теперь страх ледяной струей пробегает по спине у заговорщиков, быстро редеют их ряды. Один за другим пробираются они черным ходом к королеве вымаливать прощение; их коноводы, такие, как Рутвен, первым схвативший итальянца, или Фодонсайд, дерзнувший навести на королеву пистолет, разумеется, понимают, что не дождутся милости. Поспешно покидают они Шотландию, и вместе с ними бежит на сей раз и Джон Нокс, слишком рано и слишком громко восславивший убийство итальянца как богоугодное дело.

Если бы королева вольна была слушаться обуревающей ее жажды мести, она бы примерно покарала бунтовщиков, внушила бы неугомонной банде знатных смутьянов, что нельзя безнаказанно бунтовать против нее. Но опасность была слишком велика, и в будущем придется ей действовать с большим умом и коварством. Меррей, ее сводный брат, конечно, был осведомлен о заговоре — то-то он подоспел так вовремя, — но сам в измене не участвовал; и Мария Стюарт понимает, что этого сильного человека лучше не трогать. Для того чтобы не слишком многих восстановить против себя, она предпочитает кое на что закрыть глаза. Ибо вздумай она всерьез судить мятежников, разве не пришлось бы ей в первую очередь призвать к ответу Дарнлея, собственного супруга, — ведь это он ввел к ней заговорщиков, а во время убийства держал ее за руки. Но, памятуя о скандале с Шателеяром, так невыгодно сказавшемся на ее репутации, она не может допустить, чтобы муж ее выступил в роли рогоносца, защищающего свою честь. *Semper aliquid haeret**. Лучше представить дело так, будто он, главный подстрекатель и зачинщик, не имел к убийству отношения. Правда, трудно выгородить того, кто собственноручно подписал два «бонда», кто заключил по всей форме контракт, где наперед гарантировал заговорщикам полную безнаказанность, кто свой собственный кинжал — его нашли потом торчащим в истерзанном трупe итальянца — сунул кому-то из

* Всегда что-нибудь мешает (*лат.*).

убийц. Но не ищите у марионетки ни воли, ни чести: стоило Марии Стюарт прибрать его к рукам, как Дарнлей послушно пляшет под ее дудку.

Торжественно возглашает герольд на главной площади Эдинбурга самую беззастенчивую ложь века, скрепленную «словом и честью принца», о том, что он непричастен к «изменническому заговору», «*treasonable conspiracy*», и что сущая ложь и клевета, будто заговорщики действовали «с его ведома, совета, приказа и согласия», тогда как король не только «*counseled, commanded, consented, assisted*», что известно каждому встречному и поперечному, но и официально «*approved*» — благословил бунтовщиков на измену. Кажется, трудно вообразить более жалкую роль, чем та, какую этот слабовольный человек играл во время убийства, но на сей раз Дарнлей превосходит самого себя: лжеприсягой, данной на эдинбургской площади перед лицом всей страны и народа, он сам себе подписал приговор. Из всех, кому Мария Стюарт поклялась отомстить, никого она не покарала так жестоко, как Дарнлея, выставив своего втайне презираемого супруга на открытое поругание всего света.

Итак, на убийство наброшен белоснежный саван лжи. С громко возвещаемым торжеством, под звуки фанфар возвращается в Эдинбург королевская чета во вновь обретенном согласии. Все как будто улажено и умиротворено. Чтобы соблюсти некую видимость правосудия и вместе с тем никого не испугать, вешают каких-то случайных горемык, ничего не ведающих солдат и холопов: пока господа повелители кланов орудовали наверху кинжалами, слуги, выполняя приказ, стояли на часах у ворот. Знатным же господам все сходит с рук. Итальянцу — слабое утешение для мертвеца — отводят почетное место упокоения на королевском кладбище, а в должность усопшего вступает его родной брат; на этом трагический эпизод исчерпан и предан забвению.

После всех этих передраг и волнений королеве остается еще одно немаловажное дело, которое больше чем что-либо может укрепить ее сильно пошатнувшееся положение: благополучно произвести на свет престолонаследника. Только как мать короля будет она неприкосновенна, не как супруга этого ничтожества, этого короля-марионетки. С тревогой ждет она своего трудного часа. Странное уныние и подавленность овладевают ею, особенно в последние недели. Гнетет ли ее неотвязной тенью воспоминание о смерти Риччо? Предвидит ли она обостренными чувствами наступление неминуемых бед? Во всяком случае, она пишет свою последнюю волю. Дарнлею завещает она перстень, тот самый, что он надел ей на палец в день их свадьбы, но и Джузеппе Риччо, Босуэл и четыре Марии не забыты; впервые беспечная, отважная женщина страшится смерти или какой-то еще неведомой угрозы. Она покидает Холируд, где после той трагической ночи не чувствует себя больше в безопасности, и переезжает в куда менее удобный, но высоко расположенный и хорошо укрепленный Эдинбургский замок, чтобы там ценой жизни, если придется, даровать жизнь наследнику шотландской и английской короны.

Утром 9 июня грохот пушек в замке возвещает городу счастливую весть. Родился наследник, отпрыск Стюартов, король Шотландский, отныне пагубному женскому правлению конец. Заветная мечта матери, единодушное желание всей страны, ждущей мужского потомства Стюартов, наконец-то сбылись. Но едва даровав сыну жизнь, Мария Стюарт уже чувствует себя обязанной утвердить его положение. Ей, вероятно, слишком хорошо известно, что ядовитые сплетни, которые нашептали Дарнлею заговорщики, слухи, будто она нарушила супружеский долг с Риччо, просочились и за стены замка. Она знает, с какой радостью в Лондоне ухватятся за любой повод подвергнуть сомнению законное происхождение ее наследника, а там, возможно, и его право на престол. И она хочет заранее, перед всем миром, раз навсегда пресечь эту наглую ложь. Она зовет Дарнлея к себе в спальню и при всех показывает ему ребенка со словами:

— Бог даровал нам с тобой сына, зачатого тобой и только тобой.

Дарнлей смущен, ведь никто как он сам, обуреваемый болтливостью ревнивца, помог распространить позорную клевету. Что может он ответить на такое торжественное заявление? Скрывая замешательство, он наклоняется к новорожденному и целует его.

Но Мария Стюарт, взяв младенца на руки, снова громко повторяет:

— Перед Богом свидетельствую, как на страшном суде, что это твой сын и нет у него другого отца, кроме тебя! И всех присутствующих здесь мужчин и женщин призываю в свидетели, что это в такой мере твое дитя, что я боюсь, как бы ему не пришлось когда-нибудь пожалеть об этом.

Великая клятва — и более чем странное опасение: даже в столь торжественную минуту оскорбленная мать не в силах скрыть свое недоверие к Дарнлею; даже сейчас не может она забыть, как жестоко этот человек обманул и ранил ее. После этих достаточно знаменательных слов она протянула ребенка сэру Уильяму Стандону, одному из своих лордов.

— Вот принц, который, я надеюсь, впервые объединит оба королевства — Шотландию и Англию.

— Но почему же, madame? — слегка оторопев, спрашивает Стандон. — Как может он опередить ваше величество и своего отца?

И снова с упреком отвечает Мария Стюарт:

— Потому что его отец расстроил наш союз.

Пристыженный Дарнлей старается урезонить разгневанную супругу.

— Разве это не противно твоему обещанию все забыть и простить? — спрашивает он в огорчении.

— Простить я все прошу, — отзывается королева. — Но забыть не в силах. Если бы Фодонсайд тогда спустил курок, что случилось бы с ним и со мной? Один Бог ведает, что бы они с тобой сделали.

— Madame, — останавливает ее Дарнлей, — не будем вспоминать прошлое.

— Хорошо, — отвечает королева, — не будем вспоминать.

На том и кончился разговор, насыщенный громами и предвещавший грозу. Однако Мария Стюарт даже в свой трудный час сказала полуправду, заявив, что ничего не забыла, но все готова простить; ибо никогда ни в этом замке, ни в этой стране не будет больше мира, пока кровь не прольется за кровь и насилием не воздастся за насилие.

Не успела мать разрешиться от бремени, а ребенок увидеть свет, как ровно в полдень сэр Джеймс Мелвил, испытанный и надежный посланец, садится на коня. Вечером он уже на границе, ночью отдыхает в Берике, а наутро снова мчит во весь опор. Двенадцатого июня вечером — блестящий спортивный рекорд — въезжает он на взмыленном коне в Лондон. Там ему сообщают, что Елизавета дает бал в своем Гринвичском дворце; презрев усталость, пересаживается гонец на свежего коня и летит дальше, чтобы еще этой ночью передать свою весть.

Елизавета соизволила даже протанцевать на этом пышном празднестве — после продолжительной и тяжелой болезни она радуется вновь обретенному здоровью. Веселая, оживленная, густо нарумяненная и напудренная, в своей помпезной пышной робе напоминая экзотический тюльпан, она, как всегда, окружена верными палачинами. Но тут к ней, раздвигая ряды танцующих, протискивается ее государственный секретарь Сесил, за которым следует Джеймс Мелвил. Сесил подходит и шепотом сообщает королеве, что у Марии Стюарт родился наследник, сын.

Елизавета как правительница — великая дипломатка, в совершенстве владеющая собой и понаторевшая в искусстве скрывать свои истинные чувства. Но эта весть поражает в ней женщину, кинжал вонзился в живое тело. А как женщина Елизавета болезненно чувствительна и не всегда владеет своими нервами. Она так ошеломлена, что ее гневные взгляды, ее стиснутые губы забывают лгать. Лицо ее застыло, кровь отли-

ла от щек, судорожно сжаты руки. Она приказывает музыкантам замолчать, танец внезапно обрывается, и королева поспешно покидает зал, чувствуя, что нервы ее не выдержат. И только добравшись до своей опочивальни, среди обступивших ее в испуге прислужниц, дает она себе волю. Со стоном, под тяжестью горя, рухнула она на стул и разразилась рыданиями:

— У королевы Шотландской родился сын, а я, я иссохший мертвый сук!

Ни разу за семьдесят лет жизни глубокая трагедия этой обреченной девственницы не раскрывалась с такой очевидностью, как в ту секунду; ни разу так отчетливо не промелькнула ревниво оберегаемая тайна — сколь тяжело этой женщине, зачахшей от неспособности любить и от сознания своего бесплодия, нести свой крест, — как именно в этом возгласе, вырвавшемся из самых женских, самых сокровенных, самых незамутненных родников ее существа, подобно внезапно хлынувшему потоку крови. Чувствуется, что все царства мира отдала бы она за обычное, ясное, естественное счастье — быть просто женщиной, просто возлюбленной, просто матерью. Любое другое преимущество, любую удачу она при всей своей ревности, быть может, и простила бы Марии Стюарт. Но эта будит в ней смертельную зависть, ибо в ней возмущено самое заветное чувство и желание — быть матерью.

Но уже на следующее утро Елизавета опять только королева, только женщина-политик и дипломат. В совершенстве владеет она своим испытанным искусством скрывать злобу, недовольство, а порой и жгучее страдание под завесой холодных величавых слов. Наведя на лицо милостивую улыбку, принимает она Мелвила с положенными почестями: если верить ее словам, более приятной вести ей не приходилось слышать. Она велит посланцу передать Марии Стюарт самые сердечные пожелания, она повторяет свое обещание быть восприимчивой новорожденного и даже готова, если представится возможность, приехать на крестины. Именно потому, что она завидует счастьем данной ей роком сестры, она, вечная

лицедейка собственного величия, хочет выступить перед миром в роли доброй феи.

Итак, снова мужественной сопернице выпала счастливая карта, все опасности как будто миновали, все трудности словно чудом преодолены. Еще раз отступили тучи, с первой же минуты трагически нависшие над судьбой Марии Стюарт; но того, кто отважен духом, ничему не научат минувшие испытания, а разве лишь раззадорят. Мария Стюарт родилась не для спокойствия и счастья, какие-то неборимые силы управляют ею изнутри. Никогда события и случайности внешней жизни не придают человеческой судьбе ее окончательного смысла и формы. Только врожденные, только изначальные законы формируют жизнь — или разрушают ее.

Г Л А В А X

В НЕПРОХОДИМЫХ ДЕБРЯХ

С июля по рождество 1566 года

Рождение ребенка знаменует в трагедии Марии Стюарт как бы завершение первого, вступительного акта. Ситуация внезапно драматически заостряется, все трепещет, все до предела напряжено внутренними неразрешимыми конфликтами. Новые характеры и персонажи вступают в игру, меняется место действия, трагедия из политической становится личной. До сего времени Мария Стюарт боролась с мятежниками в собственной стране и с враждебными силами за рубежом, теперь же на нее обрушивается новый враг, беспощаднее всех ее лордов и баронов: ее собственные чувства поднимают мятеж, женщина в Марии Стюарт объявляет войну королеве. Властолюбие впервые отступает перед властью крови. Одержимая страстью, легкомысленно разрушает пробудившаяся женщина то, что рачительная монархиня с трудом сберегала; как в омут бросается она с поистине великолепной безогляд-

ностью в еще невиданную историей экзальтацию страсти, все забывая, все увлекая в своем падении — честь, закон и мораль, свою корону, свою страну, — новоявленная трагическая героиня, которую трудно было предугадать в прилежной добродетельной принцессе или в бездумной чего-то ждущей кокетливой вдовствующей королеве. За один-единственный год преобразила Мария Стюарт всю свою жизнь, тысячекратно повысив ее драматизм, и за этот единственный год она разрушила свою жизнь.

В начале этого, второго акта опять на сцену выступает Дарнлей, но в нем чувствуется перемена, какая-то новая, трагическая нотка. Он выходит один, никто не дарит отступника своим доверием, ни даже сказанным от сердца словом. Глубокое озлобление, бессильная ярость терзают душу честолюбивого юноши. Он сделал больше, чем может сделать для женщины мужчина, и ждал хоть немного благодарности, покорности, сочувствия, а может быть, и любви! И что же, едва он стал не нужен, Дарнлей встречает в Марии Стюарт одно лишь усилившееся отвращение. Королева неумолима. Бежавшие лорды, чтобы поквитаться с предателем, подбрасывают ей через тайных агентов подписанную Дарнлеем грамоту, которой им отпускалось убийство Риччо, — пусть знает, что муж ее был с ними заодно. Подметное письмо не открывает Марии Стюарт ничего нового, но чем больше презирает она этого предателя, эту тряпку, тем меньше гордая женщина прощает себе, что полюбила такое смазливое ничтожество. В Дарнлее ей претит ко всему прочему и собственное заблуждение; как мужчина, как муж он ей отвратителен, точно что-то скользкое, липкое, змея или слизняк, до чего боишься дотронуться пальцем, а тем более коснуться живым, теплым телом. Его присутствие, самое его существование гнетет ее кошмаром. И одна лишь мысль владеет ею днем и ночью: как отделаться от него, как освободиться?

В этих мыслях нет еще и намек на предстоящее убийство,

ни тени намека, даже в виде туманных мечтаний. То, что случилось с Марией Стюарт, не такая уж редкость. Как тысячи других женщин, она вскоре после замужества испытывает разочарование, столь острое, что объятия и близость человека, ставшего для нее чужим, ей просто нестерпимы. Наиболее разумный и естественный выход в таких случаях — развод, и Мария Стюарт обсуждает эту возможность с Мерреем и Мэйтлендом. Но развестись чуть ли не на завтра после рождения ребенка — значит дать пищу опасным сплетням насчет ее якобы предосудительных отношений с Риччо: ребенка немедленно ославят бастардом. И чтобы не нанести ущерба имени Иакова VI, который может притязать на корону лишь как отпрыск безупречного брака, королеве приходится — страшная жертва! — отказаться от этого естественного решения.

Казалось бы, существует и другой выход: келейная договоренность между супругами о том, чтобы сохранить для вида брачный союз, а на деле вернуть друг другу свободу. Это избавило бы Марию Стюарт от любовных домогательств мужа, а в глазах света сохранило бы видимость брака. Что Мария Стюарт искала и этой возможности, свидетельствует дошедший до нас ее разговор с Дарнлеем: она намекнула, что не худо бы ему завести любовницу, и даже подсказала, кого — супругу Меррея, его заклятого врага; так, под видом шутки, она дает ему понять, что несколько не огорчилась бы, вздумай он искать утешения в другом месте. Но вот незадача: для Дарнлея не существует другой женщины, он хочет ее и никого другого. С какой-то непонятной рабской преданностью и жадностью льнет злосчастный юноша к этой сильной, гордой женщине. Он и мысли не допускает о другой любовнице, он не прикаснется ни к одной, ему нужна единственно эта, которая знать его не хочет. Только это тело будит в нем желание, сводит его с ума, и он неотступно клянчит и требует, чтобы его супружеские права уважались; но чем жарче и настойчивее домогается он ее, тем нетерпеливее она ему отказывает. И — такова насмешка судьбы! — чем нетерпеливее она его отталкивает,

тем коварнее и злее его желание и тем смиреннее возвращается он вновь и вновь, чтобы вымолить подачку; страшным разочарованием расплачивается бедная женщина за свою злополучную опрометчивость, за то, что мальчишке без сердца и ума предоставила она супружескую власть, ибо как ни противится она всем существом, а все же они связаны безысходно.

В этом трудном душевном положении Мария Стюарт делает то, что обычно делают люди, попавшие в тупик. Она уходит от решения, она уклоняется от открытой борьбы, обращаясь в бегство. Как ни странно, биографы все как один в недоумении от того, что Мария Стюарт после родов не дает себе естественного роздыха и, никого не предупредив, уже месяц спустя покидает замок и ребенка, чтобы отправиться в увеселительную прогулку — в Аллоа, поместье графа Марского. Вполне понятное бегство: прошел месяц, и, стало быть, исчезли уважительные причины, позволявшие ей без особых уверток держать на расстоянии постылого мужа; но теперь он снова станет предприимчив, ежедневно, еженощно будет он ее преследовать, а между тем тело ее отказывается, а душа не в силах выносить любовника, которого она больше не любит. Вполне естественно, что Мария Стюарт бежит от него, что она ставит преградой между ним и собой разлуку и даль, что она хотя бы внешне от него освобождается, чтобы внутренне расправить крылья.

И так все последующие недели, месяцы, все лето до глубокой осени спасается она бегством, переезжая из замка в замок, с одной охоты на другую. А что при этом она ищет развлечений, что и в Аллоа и в других местах еще даже не двадцатичетырехлетняя Мария Стюарт веселится до упаду, что излюбленные ею маски, танцы и пестрая череда празднеств снова помогают неисправимой ветренице убить время, как во времена Шателера и Риччо, — все это лишь показывает, как легко эта беззаботная головка забывает прошлые испытания. Только однажды пытается Дарнлей робко предъявить свои супружеские права. Он отправляется верхом в Аллоа, но его

очень быстро выпроваживают и даже не просят переночевать в замке. Внутренне Мария Стюарт с ним покончила. Пламя ее любви взвилось вверх мимолетной вспышкой и так же быстро сникло. Ошибка, о которой стараешься не думать, досадное воспоминание, которое хочется изгнать из памяти, — вот чем стал для нее Генри Дарнлей, тот, кого безрассудство влюбленной сделало повелителем Шотландии и господином ее тела.

Дарнлей больше для нее не существует, но и Меррею, невзирая на добрый мир между ними, она не слишком доверяет; к прощенному после долгих колебаний Мэйтленду она уже всегда будет относиться с холодком, а между тем ей нужен человек, которому можно было бы довериться всецело, так как всякая осторожность и половинчатость, всякие оглядки и колебания чужды и противны этой горячей натуре. Она безоговорочно любит и безоговорочно ненавидит; безоговорочно верит и безоговорочно не верит. Как королева и как женщина Мария Стюарт всю свою жизнь сознательно или бессознательно ищет некую полярную противоположность своей беспокойной душе в лице сильного, сурового, преданного и стойкого мужчины.

И вот после Риччо у нее остается только Босуэл, единственный, на кого она может положиться. Судьба нещадно преследовала этого неустрашимого человека. Свора лордов изгоняет его из страны совсем еще юнцом за то, что он отказался с ней спеться; верный до конца, защищал он Марию де Гиз, мать Марии Стюарт, против «лордов конгрегации» и не сложил оружия и тогда, когда дело католицизма в Шотландии, которое отстаивали Стюарты, было окончательно проиграно. Но силы врага были несокрушимы, и Босуэлу пришлось бежать. Во Франции изгнанник сразу же стал начальником шотландской лейб-гвардии, и это почетное положение при дворе выгодно сказалось на его обхождении, внешне обтесав его, однако не смягчило перевозданной грубости и неумемной силы его природы. Но Босуэл слишком солдат, чтобы удовлетвориться теплым местечком, и, как только его заклятый враг Меррей

восстает против королевы, он под парусом переплывает Ла-Манш, чтобы вступить за дочь Стюартов. Когда бы Марии Стюарт ни понадобилась помощь против ее злокозненных подданных, он с готовностью протягивает ей свою закованную в броню руку. В ночь убийства Риччо он бесстрашно выскочил из окна второго этажа, чтобы прийти ей на выручку; это его предусмотрительность способствовала отважному побегу королевы. а его воинственная энергия внушает заговорщикам такой страх, что они даже не берутся за оружие. Никто в Шотландии еще не служил Марии Стюарт так преданно, как этот тридцатилетний беззаветно храбрый солдат.

Босуэл — фигура, словно высеченная из черной мраморной глыбы. Подобно своему итальянскому собрату кондотьеру Коллеоне, стоит он в горделиво вызывающей позе, и смелый взор его устремлен в века — мужчина из мужчин в апофеозе суровой и жестокой мужественности. Он носит имя Хепбернов, древнего шотландского рода, но невольно думается, что в жилах его течет еще не укрощенная кровь древних викингов и норманнских завоевателей, суровых воинов и разбойников. Несмотря на благоприобретенную культуру (он безукоризненно говорит по-французски, любит и собирает книги), в Босуэле еще живет дикарский задор прирожденного бунтаря против благонамеренной обывательщины, необузданная жажда приключений тех *hors la loi*^{*}, романтических корсаров, которыми так восхищался Байрон.

Высокий, широкоплечий, необычайно сильный и выносливый, он орудует двуручным мечом, как легкой шпагой, управляет парусом в шторм и бурю, и эта уверенность в своих силах порождает у него бесподобную моральную, вернее, аморальную бесшабашность. Этот забияка ничего не боится, для него существует только мораль сильных — без зазрения совести хватать, не выпускать и отстаивать захваченное. Но в этой природной забиячливости нет ничего общего с низменной

^{*} Отщепенцев, стоящих вне закона (фр.).

жадностью и расчетливым интриганством других баронов, которых он, отчаянный храбрец, презирает, так как они вечно сбиваются в кучу для своих грабительских походов и обделывают свои подлые делишки под покровом ночи. Босуэл не заключает союзов, всякие сделки ему глубоко противны: надменный, одинокий, с гордо поднятой головой, идет он своим путем, плюя на мораль и закон. Стань только у него на дороге — и он расшибет тебе физиономию бронированным кулаком. Беззаботно делает он все, что захочет, дозволенное и недозволенное, не таясь, среди бела дня. Но хищник и насильник, закованный в латы циник, Босуэл все же выгодно отличается от своего окружения прямоотой характера. Рядом с двоедушными, двуличными лордами и баронами он напоминает кровожадного, но благородного зверя, леопарда или льва среди вороватых волков и гиен — отнюдь не высококравственная, не обаятельная по-человечески фигура и все же настоящий мужчина, цельный характер, воитель стародавних времен.

Потому-то так боятся и ненавидят Босуэла его собратья мужчины, но зато его неприкрытая, ясная, жестокая сила магически действует на женщин. Неизвестно, был ли этот похититель сердец хорош собой, не сохранилось ни одного сколько-нибудь удачного его портрета (неволью представляешь себе полотна Франца Хальса, одного из его удалых воинов с залихватски нахлобученной на лоб шляпой, с вызывающе и смело устремленным вперед взглядом). По некоторым отзывам, он был отталкивающе некрасив. Но, чтобы пользоваться успехом у женщин, и не нужно быть красавцем: уже терпкое дыхание мужественности, исходящее от таких сильных натур, какое-то неистовое своеобразие, безоглядная жестокость, сама атмосфера войны и победы дурманят их чувства. Ничто так не будит в женщине страсть, как трепет страха и восхищения — легкое сладостное чувство жути и опасности только усиливает наслаждение, придает ему неизъяснимую остроту. Если такой насильник при этом не просто male, неукротимый быкоподоб-

ный самец, если у него, как мы это видим у Босуэла, все грубоплотоядное завуалировано кое-какой личной и придворной культурой, если он к тому же умен и находчив, обаянию его невозможно противостоять.

И действительно, весь путь этого искателя приключений усеян любовными эпизодами, по-видимому, не стоившими ему больших хлопот. При французском дворе о его победах рассказывали легенды, да и в кругу Марии Стюарт перед ним не устояло несколько придворных дам; в Дании некая красавица принесла в жертву мужа, деньги и все свое состояние. Но, несмотря на эти лавры, Босуэла не назовешь обольстителем, донжуаном, юбочником, женщины у него всегда на втором плане. Такие победы слишком легки и безопасны для его воинственной натуры. Подобно разбойникам-викингам, Босуэл берет женщин лишь как случайную добычу, он берет их походя, как пьет вино, играет в кости или скачет верхом, для него это та же проба сил, повышающая жизненную энергию — наиболее мужская из мужских забав; он берет женщин, но сам им не отдается, не теряет себя в них. Он берет их потому, что брать, а особенно брать насильно, — естественное проявление его властолюбия.

Этого мужчину в Босуэле сперва не замечает Мария Стюарт в преданном своем вассале. Да и Босуэл не видит в королеве юной желанной женщины; когда-то он с обычной беспечностью позволил себе дерзко отозваться о ее особе: «Им с Елизаветой даже вдвоем не составить одной настоящей бабы». Ему и в голову не приходит помыслить о королеве как о возможной любовнице, да и она не проявляет к нему ни малейшей склонности. Она даже собиралась запретить ему въезд в Шотландию, так как во Франции он не очень-то стеснялся в разговорах о ней, но стоило ей узнать ему цену как солдату, и она уже не может без него обойтись. Она не скупится на благодарность, одно отличие следует за другим: Босуэл назначается командующим северных графств, потом верховным адмиралом Шотландии и главнокомандующим вооруженными сила-

ми на случай войны или мятежа. Мария Стюарт жалуется Босуэлу поместья опальных баронов и в знак дружеского попечения сама подыскивает ему — это ли не доказывает, как нейтральны поначалу их отношения? — молодую супругу из богатого рода Хантлеев.

Прирожденного повелителя стоит лишь подпустить к власти, как он захватывает ее целиком. Вскоре Босуэл — уже не первый советчик королевы по всем вопросам, он, собственно, правит страной как наместник; английский посол с раздражением доносит, что «королева отличает Босуэла больше, нежели других». Но на этот раз Мария Стюарт сделала верный выбор, наконец-то нашла она правителя по сердцу, человека с чувством собственного достоинства — он не польстится на подарки и посулы Елизаветы, не стакнется с лордами ради пустяковой корысти. Опираясь на этого бесстрашного солдата, она впервые получает перевес в собственной стране. Ее неуживчивые лорды скоро восчувствовали, какую королева забрала силу благодаря военной диктатуре Босуэла. Они жалуются, что Босуэл «слишком занесся, что даже Риччо не так ненавидели, как его», и мечтают от него избавиться.

Но Босуэл не Риччо, он не даст себя покорно прирезать, да и в угол его не задвинешь, как Дарнлея. Он слишком хорошо знает повадки своих знатных собратьев и никуда не выезжает без сильной охраны, а его *borderers* по первому знаку готовы взяться за оружие. Ему безразлично, любят или ненавидят его придворные интриганы; достаточно того, что они трепещут. Доколе меч не выпадет из его рук, эта буйная банда грабителей, пусть и с зубовным скрежетом, будет повиноваться королеве. По настоятельной просьбе Марии Стюарт между ним и его заядлым врагом Мерреем заключен мир; таким образом, круг власти замкнулся, все силы строго уравновешены. Мария Стюарт, под надежным заслоном Босуэла, ни во что не вмешивается и ограничивается представительством; Меррей, как и раньше, ведает внутренними делами, Мэйтленд — диплома-

тической службой, а преданный Босуэл у нее all in all*. Благодаря его железной руке в Шотландии восстановлен мир и порядок; и это чудо сотворил один-единственный человек — настоящий мужчина.

Но чем больше власти забирает Босуэл в свои могучие руки, тем меньше ее остается на долю того, кому она принадлежит по праву, — на долю короля. А постепенно усыхает и это немногое, и остается только воспоминание, звук пустой. Прошел всего лишь год, а как далеко то время, когда юная властительница по страстному влечению избрала Дарнлея, когда герольды всенародно возглашали его королем и, закованный в золоченые доспехи, он скакал в погоне за мятежниками! Теперь, после рождения ребенка, после того, как выполнено его прямое назначение, несчастного все больше оттесняют на задний план. Все поворачиваются к нему спиной; пусть себе что-то болтает — никто его не слушает; пусть идет, куда вздумает, — никто его знать не хочет. Дарнлея больше не зовут на заседания совета, не приглашают на торжества и увеселения; вечно бродит он в одиночестве, и холодная пустота одиночества следует за ним тенью. Где бы он ни находился, повсюду его со спины прохватывает сквозняком насмешки и презрения. Чужой, враг, он чувствует себя среди врагов в своей отчизне, в своем доме.

Это полное пренебрежение, это внезапное переключение с горячего на холодное, очевидно, объясняется родившимся в женской душе отвращением. Но, как он ей ни опостылел, афишировать свое презрение было государственно-политическим просчетом королевы. Тщеславного честолюбца нельзя было так безжалостно выставлять на поругание лордов, разум повелевал сохранить ему хотя бы видимость почета. Оскорбление обычно приводит к обратным результатам, оно и у слабейшего выжимает каплю твердости: даже бесхарактерный Дарнлей постепенно становится злобным и опасным. И он дает

* Все и вся (англ.).

волю своему ожесточению. Когда, окружив себя вооруженной стражей — убийство Риччо и ему послужило уроком, — он целые дни пропадает на охоте, спутники нередко слышат от него угрозы по адресу Меррея и других лордов. Он сам себя уполномочивает писать письма иностранным дворам, обвиняя Марию Стюарт в том, что она «не стойка в вере», и предлагая себя Филиппу II в «истинные оберегатели» католицизма. Правнук Генриха VII, он домогается участия во власти и права голоса; как ни мягка, как ни мелка душа этого мальчика, где-то на дне ее теплится неугасимое чувство чести.

Дарнлея можно назвать безвольным, но уж никак не бесчестным; даже наиболее сомнительные свои поступки он совершает, по-видимому, из ложного честолюбия, из повышенной тяги к самоутверждению. И вот наконец — должно быть, палку перегнули — отверженный принимает отчаянное решение. В последних числах сентября он уезжает в Глазго, не скрывая своего намерения вскоре оставить Шотландию и отправиться в чужие края. Я с вами больше не играю, заявляет Дарнлей. Раз вы отказываете мне в королевских полномочиях, на что он мне сдался, ваш титул! Раз не даете подобающего положения ни в государстве, ни у домашнего очага, на что мне ваш дворец, да и вся Шотландия! По его приказу в гавани ждет оснащенный, готовый к отплытию корабль.

Чего же добивается Дарнлей этой внезапной угрозой? Получил ли он своевременное предостережение, дошла ли до него молва о готовящемся заговоре и хочет ли он, зная, что не в силах противостоять этой своре, бежать, пока не поздно, туда, где никакой яд и кинжал его не достанут? Гложет ли его подозрение, гонит ли страх? Или же вся эта похвальба — пустое фанфаронство, чистейшая дипломатия, чтобы запугать Марию Стюарт? Каждое из этих предположений заключает в себе долю истины, а тем более все они, вместе взятые, — ведь в одном решении всегда соединяется много чувств и ни одно не должно быть предпочтено или отвергнуто. Там, где тропа спускается в сумеречные катакомбы сердца, огни исто-

рии горят уже неясно: в этом лабиринте можно только осторожно, наугад нащупывать дорогу.

Однако Мария Стюарт серьезно напугана предполагаемым отъездом Дарнлея. Злонамеренное бегство отца из страны чуть ли не накануне торжественных крестин — каким бы это было ударом для ее репутации! А особенно теперь, когда у всех еще свежа в памяти расправа с Риччо! Что, если этот недалекий мальчик с досады начнет трезвонить при дворе Екатерины Медичи или Елизаветы о том, что не служит ей к чести! Как будут торжествовать обе ее соперницы, как станет издеваться весь мир над тем, что возлюбленный супруг так быстро сбежал из ее дома и постели! Мария Стюарт спешно созывает государственный совет, и впопыхах, чтобы предупредить Дарнлея, лорды строчат большое дипломатическое послание Екатерине Медичи, в котором все беззакония валят на Дарнлея, как на козла отпущения.

Переполох, однако, оказался преждевременным. Никуда Дарнлей не уехал. Этот слабый мальчик находит в себе силы разве лишь для мужественных жестов — не для мужественных поступков. Двадцать девятого сентября — лорды только что отправили в Париж свой навет — Дарнлей вдруг появляется в Эдинбурге, под окнами дворца; правда, войти он отказывается, пока не разошлись лорды; снова странное, необъяснимое поведение! Подозревает ли Дарнлей, что ему готовят участь Риччо, опасается ли войти во дворец, зная, что там засели его смертельные враги? Или, оскорбленный супруг, он хочет, чтобы Мария Стюарт низко ему поклонилась, моля о возвращении? А может быть, он явился проверить, какое действие произвела его угроза? Снова загадка, как и многие другие загадки, которыми овеян образ Дарнлея!

Мария Стюарт не долго думает. У нее выработалось безошибочное умение справляться со своим мозгляком-мужем, когда он вздумает разыгрывать из себя бунтаря или господина. Она знает: нужно возможно скорее, как в ночь после убийства Риччо, лишить его последнего остатка воли, пока он в своем

детском упрямстве не натворил худших бед. Итак, нечего с ним церемониться! Снова изображает она кроткую овечку и, чтобы сломить его непокорство, идет на крайние меры: тотчас же отпускает лордов, а сама спешит к упрямцу, ждущему в воротах, и с великими почестями уводит — не только во дворец, но, надо полагать, и на остров Цирцеи — в свою опочивальню. И средство действует безотказно; такова ее власть над этим юношей, прикованным к ней всеми чувственными помыслами: наутро он уже послушен, как ребенок, и Мария Стюарт водит его на помочах.

Но нет пощады: беднягу снова ждет расплата, как и за ночь, подаренную ему после убийства Риччо. Дарнлей, опять вообразивший себя господином и повелителем, вдруг наталкивается в аудиенц-зале на французского посланника и на лордов. Как Елизавета в комедии с Мерреем, Мария Стюарт запаслась свидетелями. В их присутствии она громко и настойчиво допрашивает Дарнлея, пусть скажет «for god's sake»*, почему он задумал уехать из Шотландии, не дала ли она ему повод для такого бегства. Какое убийственное разочарование! Дарнлей еще мнит себя счастливым мужем и любовником и вдруг предстать перед послом и лордами в роли обвиняемого!

Мрачно стоит он посреди зала, долговязый малый с бледным безбородым, мальчишеским лицом. Будь он настоящим мужчиной, вытесанным из более крепкого материала, ему бы самое время выступить со всей твердостью, властно изложить свои претензии и не обвиняемым, а судьей предстать перед этой женщиной и своими подданными. Но где уж восковому сердцу оказать сопротивление! Словно пойманный шалун, словно школьник, боящийся, как бы у него не брызнули слезы бессильной ярости, стоит Дарнлей один среди большого зала, стиснул зубы и молчит — молчит. Он попросту не отвечает на вопросы. Он не обвиняет, но и не извиняется. Встревоженные

* Ради создателя (англ.).

этим молчанием, лорды почтительно его уговаривают, как мог он помылить оставить «so beautiful a queen and so noble a realm»*?

Но тщетно: Дарнлей не достаивает их ответом. Это молчание, исполненное упорства и тайной угрозы, все более гнетет собравшихся, каждый чувствует, что несчастный лишь с трудом владеет собой — вот-вот случится непоправимое; для Марии Стюарт было бы величайшим поражением, если бы у Дарнлея достало силы выдержать это убийственное, красноречивое молчание. Но Дарнлей сдается. По мере того как посланник и лорды снова и снова нажимают на него «avec beaucoup de puros»**, он уступает и чуть слышным голосом, угрюмо подтверждает то, что от него хотят услышать: нет, его супруга не давала ему повода к отъезду. Марии Стюарт только того и нужно: ведь этим заявлением несчастный себя осудил. Ее добрая репутация восстановлена в присутствии французского посланника. Она облегченно вздыхает и заключительным движением дает понять, что вполне удовлетворена ответом Дарнлея.

Но Дарнлей недоволен, Дарнлея душит стыд: снова покорился он этой Далиле***, дал себя выманить из твердыни своего молчания. Невыразимые муки, должно быть, терпел обманутый и одураченный юнец, когда королева величественным жестом как бы «простила» его, хотя ему больше пристало бы выступить здесь в роли обвинителя. Слишком поздно обретает он утерянное достоинство. Не поклонившись лордам, не обняв супруги, холодный, как герольд, вручающий объявление войны, выходит он из зала. Его прощальные слова обращены к королеве: «Madame, вы меня не скоро увидите». Но лорды и Мария Стюарт обмениваются довольной улыбкой: какое облегчение: пусть этот фанфарониска, «that proud fool», явив-

* Такую прекрасную королеву и благородную страну (англ.).

** Убедительно (фр.).

*** Далила — в библейской легенде — возлюбленная Самсона, выведавшая у него тайну его силы и выдавшая ее филистимлянам; в переносном значении — коварная женщина. — *Примеч. ред.*

шийся сюда с наглыми претензиями, уползает в свою нору, его угрозы уже никому не страшны. Чем дальше он уберется, тем лучше для него и для всех!

Однако уж на что никудышный, а ведь вот же понадобился! Казалось бы, только помеха в доме, и вдруг его настоятельно требуют обратно. Шестнадцатого декабря, с большим запозданием, в замке Стирлинг назначены торжественные крестины малютки принца. Идут великие приготовления. Елизавета, восприемница младенца, разумеется, не явилась собственной персоной — всю жизнь уклонялась она от встреч с Марией Стюарт, — но зато, преодолев в виде исключения свою пресловутую скарედность, она шлет с графом Бедфордским бесценный дар — тяжелую, чистого золота купель тончайшей работы, украшенную по краю драгоценными камнями. Явились послы Франции, Испании, Савойи, приглашена вся знать; всякий, кто претендует на громкое имя или звание, присутствует на торжестве. По случаю столь пышной церемонии нельзя при всем желании исключить из списка гостей такое пусть само по себе и незначительное лицо, как Генри Дарнлей, отец наследника, правящий государь. Но Дарнлей понимает, что это последний раз о нем вспомнили, и он начеку. Хватит с него всенародного срама, он знает, что английскому послу велено не титуловать его «Ваше Величество»; французский же посол, которого он хочет навестить в его покое, с предерзостной надменностью велит передать Дарнлею, что, как только тот войдет к нему в одну дверь, он тут же выйдет в другую. Наконец-то в растоптанном юнце вскипает гордость — правда, его хватает лишь на детский каприз, на злобную выходку. Но на сей раз выходка достигает цели. Дарнлей хоть и не покидает замок Стирлинг, но и не показывается гостям. Он угрожает своим отсутствием. Демонстративно заперся он в своей комнате, не участвует ни в крестинах сына, ни тем более в балах, празднествах и масках, вместо него — ропот возмущения проходит по рядам приглашенных — гостей принимает Босуэл, все тот же ненавистный фаворит в

новом богатом наряде, и Мария Стюарт старается вовсю, изображая веселую и приветливую хозяйку, чтобы никто не думал о покойнике в доме, о государе, отце и супруге, который замкнулся в своей спальне выше этажом и которому удалось-таки испортить жене и ее друзьям радостный праздник. Еще раз доказал он им, что он здесь, все еще здесь: именно своим отсутствием напоминает Дарнлей в последний раз о своем существовании.

Но, чтобы наказать непослушного мальчишку, тотчас же срезается розга. Уже через несколько дней, в сочельник, она со зловещим свистом рассекает воздух. Кто бы мог ожидать: Мария Стюарт, обычно такая несговорчивая, решается, по совету Меррея и Босуэла, помиловать убийц Риччо. Тем самым лютые враги Дарнлея, которых он в свое время обманул и предал, снова призываются на родину. Дарнлей, сколь он ни прост, сразу же смекает, какая ему грозит опасность. Стоит всей своре — Меррею, Мэйтленду, Босуэлу, Мортону — собраться, как начнется облава и его затравят насмерть. Недаром его супруга объединилась с самыми лютыми его врагами: есть в этом немалый смысл и немалый расчет, который ему дорого обойдется.

Дарнлей чувствует опасность. Он знает: на карту поставлена его жизнь. Точно дичь, выслеженная легавыми, бежит он из замка, торопясь укрыться у отца в Глазго. И года не прошло, как Риччо зарыли в землю, а убийцы уже снова собрались в братский кружок, все ближе и ближе надвигается что-то жуткое, неведомое. Мертвецам скучно лежать одиноко в сырой земле, вот они и требуют к себе тех, кто их туда столкнул, засылая вперед, как своих герольдов, страх и смятение.

И в самом деле, что-то темное, тяжелое, словно туча в дни, когда задувает фен*, что-то гнетущее и знобкое уже два месяца как нависло над Холирудским замком. В вечер королевских крестин в залитом огнями замке Стирлинг — ибо надо было

* Фен — теплый и сухой ветер в горных странах.

удивить приезжих великолепием двора, а друзей дружбой — Мария Стюарт, всегда умеющая на короткий срок взять себя в руки, призвала на помощь все свои силы. Глаза ее излучали притворное счастье, она очаровывала гостей беспечной веселостью и подкупающей приветливостью; но едва погасли огни, гаснет и ее наигранное оживление, тишина воцаряется в Холируде, жуткая, странная тишина закрадывается и в душу королевы; какая-то загадочная печаль, какая-то непонятная растерянность овладевают ею.

Впервые глубокая меланхолия угрюмой тенью омрачает ее лицо, и кажется, будто неизъяснимая тревога глохнет ее душу. Она больше не танцует, не требует музыки, да и здоровье ее после знаменитой скачки в Джедборо, когда ее замертво сняли с седла, как будто сильно пошатнулось. Она жалуется на боли в боку, целыми днями лежит в постели, избегает увеселений. Ей не сидится в Холируде; на долгие недели забирается она в отдаленные усадьбы и уединенные замки, нигде, впрочем, не задерживаясь; неотвязная тревога гонит ее все дальше и дальше. Можно подумать, что в ней действует какая-то разрушительная сила; с мучительным, напряженным любопытством прислушивается Мария Стюарт к боли, что глохнет ее изнутри: что-то новое, чуждое происходит в ней, что-то враждебное и злое овладело ее доселе такой светлой душой. Как-то французский посол застал ее врасплох: она лежала в постели и рыдала. Умудренный житейским опытом, старик не поверил королеве, когда она в смущении что-то залепетала о болях в левом боку, терзающих ее до слез. Он тотчас же замечает, что здесь терпит муки не тело, а душа, что несчастлива не королева, а женщина. «Королева занемогла, — отписывает он в Париж, — но, думается мне, истинная причина ее болезни в глубоком горе, для которого нет забвения. То и дело она твердит: «Хоть бы мне умереть!»

От Меррея, Мэйтленда и прочих лордов также не укрывается тяжелое состояние духа их госпожи. Но, опытные в вождении полков, они неопытны в разгадывании сердца; им ясна

лишь грубая, очевидная причина, лежащая на поверхности, а именно — ее неудачный брак. «Ей невыносимо сознавать, что он ее супруг, — пишет Мэйтленд, — и что нет никакой возможности от него избавиться». Однако многоопытный Дю Крок увидел больше, когда говорил о «глубоком горе, для которого нет забвения». Иная, скрытая, невидимая рана изнуряет несчастную женщину. Горе, для которого нет забвения, заключается в том, что королева забылась, что великая страсть внезапно, подобно хищному зверю, набросилась на нее из темноты, истерзала ее тело когтями, разворотила до самых внутренностей — безмерная, неутолимая, неугасимая страсть, начавшаяся с преступления и требующая все новых и новых преступлений. И теперь она борется, сама себя пугаясь, сама себя стыдясь, мучается, стараясь скрыть эту страшную тайну и в то же время зная и чувствуя, что ее не скроешь, не замолчишь. Ею владеет воля сильнее ее разумной воли; она уже не принадлежит себе: беспомощная и потерянная, она отдана на волю этой всемогущей безрассудной страсти.

Г Л А В А Х I
ТРАГЕДИЯ ЛЮБВИ
1566, 1567

Любовь Марии Стюарт к Босуэлу — одна из самых примечательных в истории; дошедшие до нас предания об античных и иных прославленных любовниках едва ли превосходят ее в силе и неистовстве. Огненным языком взмывает она до пурпурных высот экстаза, до сумрачных зон преступления, растекаясь мятущейся лавой. Но когда чувства так раскалены, наивно было бы подводить к ним мерку логики и разума — ведь таким безудержным влечениям свойственно и проявляться неразумно. Страсть, как болезнь, нельзя осуждать, нельзя и оправдывать; можно только описывать ее с все новым изумлением и невольной дрожью пред извечным могуществом стихий, которые как в природе, так и в человеке внезапно разра-

жаются вспышками грозы. Ибо страсть подобного наивысшего напряжения неподвластна тому, кого она поражает: всеми своими проявлениями и последствиями она выходит за пределы его сознательной жизни и как бы бушует над его головой, ускользая от чувства ответственности. Подходить с меркой морали к одержимому страстью столь же нелепо, как если бы мы вздумали привлечь к ответу вулкан или наложить взыскание на грозу. Но точно так же и Мария Стюарт в пору ее душевно-чувственной поработченности не несет вины за свои деяния — безрассудные поступки отнюдь не вяжутся с ее обычным, нормальным, вполне уравновешенным поведением; все, что она ни делает, происходит словно в дурмане чувств и даже против ее воли. С закрытыми глазами, пораженная глухотой, бредет она, точно сомнамбула, влекомая магнетической силой по предначертанному пути преступления и гибели. Недоступная увещанию, недосыгаемая зову, она очнется лишь тогда, когда пламя, клокочущее в ее крови, пожрет себя, — очнется вся выгоревшая, опустошенная. Кто однажды прошел через это горнило, в том испепелено все живое.

Ибо никогда страсть столь чрезмерная не повторяется у одного человека. Как взрыв уничтожает всю взрывчатку, так подобное извержение страсти — всегда и навсегда — сжигает весь наличный запас чувств. Не более полугода длится у Марии Стюарт белый накал экстаза. Но за столь короткий срок душа ее в своем неустанном напряжении проходит через такие огненные бури, что становится лишь тенью этого безмерного сияния. Как иные поэты (Рембо), иные музыканты (Масканьи) исчерпывают себя в одном гениальном творении и понижают, бессильные, ошеломленные, так иные женщины в едином взрыве страсти расточают весь свой любовный потенциал, вместо того чтобы, как свойственно более уравновешенным, обывательским натурам, растянуть его на годы и годы. Словно в вытяжке, вкушают они любовь целой жизни; безоглядно бросаются такие женщины — эти гении саморасточительства — в пучину страсти, откуда нет спасения, нет возвра-

та. Для такой любви — а ее поистине можно назвать героической, поскольку она презирает страх и смерть, — Мария Стюарт может служить истинным образцом, она, изведавшая одну только страсть, но исчерпавшая ее до конца — до саморазрушения и саморазрушения.

С первого взгляда может показаться странным, что стихийная страсть, внушенная Марии Стюарт Босуэлом, следует чуть ли не по пятам за ее увлечением Генри Дарнлеем. А между тем ничто не может быть естественнее и закономернее. Как всякое великое искусство, любовь требует изучения, испытания и проверки. Всегда или почти всегда, как мы это видим и в искусстве, первый опыт далек от совершенства; непреходящий закон науки о душе гласит, что большая страсть почти неизменно предполагает малую в качестве предшествующей ступеньки. Гениальный сердцевед Шекспир блистательно раскрыл это в своих творениях. Быть может, самый мастерский мотив его бессмертной трагедии любви состоит в том, что начинается она не внезапным пробуждением чувства у Ромео к Джульетте (как начал бы менее талантливый художник и психолог), а с его будто бы не относящейся к делу влюбленности в некую Розалинду. Заблуждение сердца здесь нарочито предпослано жгучей правде, как некое предстояние, как полусознательное ученичество на пути к высокому мастерству; Шекспир на этом ярком примере показывает, что нет познания без его предвосхищения, нет страсти без предвкушения страсти и что прежде, чем вознести свое сияние в бесконечность, чувство должно было уже однажды воспламениться и вспыхнуть. Только потому, что все в душе у Ромео напряжено до крайности, что его сильная и страстная натура настроена на страсть, дремлющая воля к любви — сначала беспомощно и слепо — хватается за первый попавшийся повод, за случайно подвернувшуюся Розалинду, чтобы потом, когда он прозреет глазами и душой, сменить полулюбовь на любовь полную, Розалинду на Джульетту.

Так и Мария Стюарт еще незрячей душой устремлена к

Дарнлею, потому что, молодой и красивый, он попался ей в нужную минуту. Но вялое его дыхание бессильно раздуть жар в ее крови. Этим слабым искоркам не дано взлететь в небо экстаза, ни выгореть, ни даже вспыхнуть ярко. Они лишь тлеют под пеплом и дымом, возбуждая чувства и обманывая душу, — мучительное состояние подспудного горения при заглушенном огне. Когда же появился настоящий объект, тот, кому предстояло избавить ее от этой пытки, кто дал воздух и пищу полужадушенному огню, багряный сноп взвился ввысь так, что небу стало жарко. Как сердечная склонность к Розалинде бесследно растворяется в подлинной страсти Ромео к Джульетте, так и чувственное увлечение Дарнлеем сменяется у Марии Стюарт пламенной, всеокрушающей любовью к Босуэлу. Ибо смысл и назначение всякой последующей любви в том, что она питается и усиливается своими предшественницами. Все то, что человек лишь предугадывал в любви, становится действительностью в настоящей страсти.

Историю любви Марии Стюарт к Босуэлу раскрывают нам источники двоякого рода: во-первых, записки современников, хроники и официальные документы; во-вторых, серия дошедших до нас писем и стихов, по преданию, написанных самой королевой; и то и другое, как отклики внешнего мира, так и исповедь души, сходится точь-в-точь. И все же те, кто считает, будто память Марии Стюарт во имя последующих соображений морали надо всячески защищать от обвинений в страсти, от которой сама она, кстати, никогда не отпиралась, отказываются признать подлинность писем и стихов. Они начисто перечеркивают их, как якобы подложные, отрицая за ними всякое историческое значение. С точки зрения процессуального права, у них есть для этого основание. Дело в том, что письма и сонеты Марии Стюарт дошли до нас только в переводах, с возможными искажениями. Подлинники исчезли, и нет никакой надежды когда-нибудь их найти, так как автографы, иначе говоря, конечное, неопровержимое доказательство, были в свое время уничтожены, и даже известно кем. Едва взойдя

на престол, Иаков VI предал огню все эти бумаги, порочащие, с обывательской точки зрения, женскую честь его матери. С той поры насчет подлинности так называемых «писем из ларца» идет ожесточенный спор, в полной мере отражающий ту предвзятость суждений, которой отчасти из религиозных, отчасти из националистических побуждений проникнута вся известная нам литература о Марии Стюарт; непредвзятому биографу тем более важно взвесить все доводы и контрдоводы в этом споре. Однако его заключения осуждены оставаться личными, субъективными, так как единственное научно и юридически правомочное доказательство, заключающееся в предъявлении автографов, отсутствует и о подлинности писем, как в положительном, так и в отрицательном смысле, можно говорить лишь на основании логических и психологических домыслов.

И все же тот, кто захочет составить себе верное представление о Марии Стюарт, а также заглянуть в ее внутренний мир, должен решить для себя, считает он эти стихи, эти письма подлинными или не считает. Он не может с равнодушным «*forse che si, forse che no*», с трусливым «либо да, либо нет» пройти мимо, ибо здесь — основной узел, определяющий всю линию душевного развития; с полной ответственностью должен он взвесить все «за» и «против» и уж если решит в пользу подлинности стихов и станет опираться на их свидетельство, то свое убеждение он обязан открыто и ясно обосновать.

«Письмами из ларца» называются эти письма и сонеты потому, что после поспешного бегства Босуэла они были найдены в запертом серебряном ларце. Что ларец этот, полученный в дар от Франциска II, первого ее мужа, Мария Стюарт отдала Босуэлу, как и многое другое, — факт установленный, равно как и то, что Босуэл прятал в этом надежно запирающемся сейфе все свои секретные бумаги: в первую очередь, разумеется, письма Марии Стюарт. Точно так же несомненно, что послания Марии Стюарт к возлюбленному были неосторожного и компрометирующего свойства, ибо, во-первых, Мария Стюарт была всю свою жизнь отважной женщиной, склон-

ной к безоглядным, опрометчивым поступкам, и никогда не умела скрывать свои чувства. Во-вторых, противники ее не радовались бы так безмерно своей находке, если бы письма в известной мере не порочили и не позорили королеву. Но сторонники гипотезы о фальсификации уже всерьез и не оспаривают факта существования писем и только утверждают, будто в короткий срок между коллективным их прочтением лордами и предъявлением парламенту оригиналы были похищены и заменены злонамеренными подделками и что, следовательно, опубликованные письма не имеют ничего общего с теми, что были найдены в запечатом ларце.

Но тут возникает вопрос: кто из современников Марии Стюарт выдвигал это обвинение? Ответ звучит не в пользу обвинения: да, собственно, никто. Как только ларец попал в руки к Мортону, его на другой же день вскрыли лорды и клятвенно засвидетельствовали, что письма подлинные, после чего тексты снова рассматривались членами собравшегося парламента (в том числе и ближайшими друзьями Марии Стюарт) и также не вызвали сомнений; в третий и четвертый раз они были предъявлены в Йоркском и Хэмптонском судах, где их сравнили с другими автографами Марии Стюарт и опять признали подлинными. Однако самым веским аргументом служит здесь то, что Елизавета разослала отпечатанные оттки всем иностранным дворам — как ни мало она стеснялась в средствах для достижения своих целей, а все же не стала бы английская королева покрывать заведомую и наглую подделку, которую любой участник подлога мог бы разоблачить; Елизавета была чересчур осторожным политиком, чтобы позволить поймать себя на мелком мошенничестве.

Единственное же лицо, которое, спасая свою честь, должно было бы воззвать ко всему миру, прося защиты ввиду столь явного обмана, — сама Мария Стюарт, лицо наиболее заинтересованное и якобы невинно страдающее, если и протестовала, то очень-очень робко и, на удивление, неубедительно. Сначала она окольными путями хлопочет, чтобы письма не были предъявлены в Йорке — хотя, кажется, почему бы и нет,

ведь доказательство их подделки только укрепило бы ее позицию, а когда она в конце концов поручает своим представителям в суде отрицать *en bloc** все предъявленные ей обвинения, то это мало о чем говорит: в вопросах политики Мария Стюарт не придерживалась правды, требуя, чтобы с ее *parol de prince*** считались больше, чем с любыми доказательствами.

Но, даже когда письма были обнародованы в пасквиле Бьюкенена и хула была рассеяна по свету, когда ею упивались при всех королевских дворах, Мария Стюарт протестует весьма умеренно; она не жалуется, что письма подделаны, и только весьма общо отзывается о Бьюкенене как об «окаянном безбожнике». Ни единым словом не обмолвилась она о подлоге в своих письмах к папе, французскому королю и даже к ближайшим родным, да и французский двор, чуть ли не с первой минуты располагавший оттисками писем и стихов, ни разу по поводу этого сенсационного дела не высказался в пользу Марии Стюарт. Итак, никто из современников ни на миг не усомнился в подлинности писем, никто из друзей королевы того времени не поднял голоса против такой возмутительной несправедливости, как заведомый подлог. И лишь сто, лишь двести лет спустя после того, как подлинники были уничтожены сыном, прокладывает себе дорогу гипотеза о фальсификации, как результат стараний представить смелую, неукротимую женщину невинной и непорочной жертвой подлого заговора.

Итак, отношение современников, иначе говоря, довод исторический, безусловно говорит за подлинность писем, но о том же и столь же ясно, на мой взгляд, свидетельствуют доводы филологический и психологический. Обращаясь сначала к стихам, — кто в тогдашней Шотландии мог бы в столь короткий срок и к тому же на чужом, французском языке настроить целый цикл сонетов, предполагающих интимнейшее знание сугубо частных событий из жизни Марии Стюарт?

* Огулом (фр.).

** Слово государя (фр.).

Правда, истории известно немало случаев подделки документов и писем, да и в литературе время от времени появлялись загадочные апокрифические сочинения, но в таких случаях, как Макферсоновы «Песни Оссиана» или «Краледворская рукопись», мы встречаемся с филологическими реконструкциями далекой старины. Никто еще не пытался приписать целый цикл стихотворений живому современнику. Да и трудно себе представить, чтобы шотландские сельские дворяне, и слыхом не слыхавшие ни о какой поэзии, злонамеренно, с целью оклеветать свою королеву накропали наспех одиннадцать сонетов да еще на французском языке. Так кто же был тот неведомый волшебник — кстати, ни один из паладинов Марии Стюарт не ответил на этот вопрос, — который на чуждом ему языке с непогрешимым чувством формы сочинил за королеву цикл сонетов, где каждое слово и каждое чувство созвучно тому, что происходило в ее святая святых? Никакой Ронсар, никакой Дю Белле не могли бы сделать этого так быстро и с такой человеческой правдивостью, не говоря уж о Мортонгах, Аргайлах, Гамильтонах и Гордонах, неплохо владевших мечом, но вряд ли достаточно знавших по-французски, чтобы кое-как поддерживать на этом языке застольную беседу.

Но если подлинность стихов бесспорна (а сегодня этого уже никто не отрицает), то бесспорна и подлинность писем. Вполне вероятно, что при обратном переводе на латинский и шотландский (только два письма сохранились на языке оригинала) отдельные места и подверглись искажению, не исключена возможность и последующих вставок. Но в целом те же доводы говорят о подлинности писем, а особенно последний аргумент — психологический. Ибо если бы некая злодейская камарилья захотела из мести сфабриковать пасквильные письма, она бы наверняка изготовила прямолинейные признания, рисующие Марию Стюарт в самом неприглядном свете, как похотливую, коварную, злобную фурию. Было бы совершеннейшим абсурдом, ставя себе злопыхательские цели, приписать Марии Стюарт дошедшие до нас письма, которые скорее

оправдывают, чем обвиняют ее, ибо в них с потрясающей искренностью говорится о том, как ужасно для нее сознание своей роли пособницы и укрывательницы преступления. Эти письма говорят не о вожделениях страсти, это крик исстрадавшейся души, полузадушенные стоны человека, заживо горящего и сгорающего на костре. И то, что они звучат так безыскусно, набросаны в таком смятении мыслей и чувств, с такой лихорадочной поспешностью — рукой, дрожащей — вы это чувствуете — от еле сдерживаемого волнения, как раз это и свидетельствует о душевной растерзанности, столь характерной для всех ее поступков этих дней; только гениальный сердцевед мог бы с таким совершенством сочинить психологическую подмалевку к общеизвестным обстоятельствам и фактам. Но Меррей, Мэйтленд и Бьюкенен, которым попеременно и наудачу присяжные защитники Марии Стюарт приписывают этот подлог, не были ни Шекспирами, ни Бальзаками, ни Достоевскими, а всего лишь плюгавыми душонками, правда, гораздыми на мелкое мошенничество, но уж конечно неспособными создавать в стенах канцелярий такие потрясающие своей правдивостью признания, какими письма Марии Стюарт предстают всем векам и народам; тот гений, что будто бы изобрел эти письма, еще ждет своего изобретателя. А потому каждый непредубежденный судья может с чистой совестью считать Марию Стюарт, которую лишь безысходное горе и глубокое душевное смятение побуждали к стихотворству, единственно возможным автором пресловутых писем и стихов и достовернейшим свидетелем ее собственных горестных чувств и дум.

Одно из стихотворений выдает ее с головой: только оно и приоткрывает нам начало злополучной страсти. Только благодаря этим пламенным строкам известно, что, не постепенно нарастая и кристаллизуясь, созрела эта любовь, нет, она броском ринулась на беспечную женщину и навсегда ее поработила. Непосредственным поводом послужил грубый физиоло-

гический акт, внезапное нападение Босуэла, насилие или почти насилие. Подобно молнии, озаряют эти строчки сонета непроницаемую тьму:

Pour luy ausi j'ay jette mainte larme,
Premier qu'il fust de ce corps possesseur,
Duquel alors il n'avoit pas le coeur.

...я столько слез лила из-за него!
Он первый мной владел, но взял он только тело,
А сердце перед ним раскрыться не хотело.

И сразу же вырисовывается вся ситуация. Мария Стюарт эти последние недели все чаще бывала в обществе Босуэла: как первый ее советник и командующий войсками, он сопровождал королеву во время ее увеселительных прогулок из замка в замок. Но ни на минуту королева, сама устроившая счастье этого человека, выбравшая ему красавицу жену в высшем обществе и танцевавшая на его свадьбе, не подозревает в молодожене каких-либо поползновений на свой счет; благодаря этому браку она чувствует себя вдвойне неприкосновенной, вдвойне застрахованной от всяких посягательств со стороны верного вассала. Она без опаски с ним путешествует, проводит в его обществе много времени. И, как всегда, эта опрометчивая доверчивость, эта уверенность в себе — драгоценная, в сущности, черта — становится для нее роковой.

Должно быть — это словно видишь воочию — она иной раз позволяет себе с ним некоторую вольность обращения, ту кокетливую короткость, которая уже сыграла пагубную роль в судьбе Шателяра и Риччо. Она, возможно, подолгу сидит с ним с глазу на глаз в четырех стенах, беседует интимнее, чем позволяет осторожность, шутит, играет, забавляется. Но Босуэл не Шателяр, романтический трубадур, аккомпанирующий себе на лютне, и не льстивый выскочка Риччо. Босуэл — мужчина, человек грубых страстей и железной мускулатуры, властных инстинктов и внезапных побуждений, его смелость не знает границ. Такого человека нельзя легкомысленно драз-

нить и вызывать на фамильярность. Он не задумываясь переходит к действиям, с налета хватая женщину, уже давно находящуюся в неуравновешенном, возбужденном состоянии, женщину, чьи чувства были разбужены первой, наивной влюбленностью, но так и остались неудовлетворенными. «Il se fait de ce corps possesseur», он нападает на нее врасплох или овладевает ею силой. (Как определить разницу в минуты, когда попытка самозащиты и желание мешаются в каком-то опьянении чувств?) Похоже, что и для Босуэла это нападение не было чем-то предумышленным, не увенчанием давно сдерживаемой страсти, а импульсивным удовлетворением похоти, в которой нет ничего душевного, — чисто плотским, чисто физическим актом насилия.

Однако на Марию Стюарт это нападение оказывает молниеносное, ошеломляющее действие. Что-то новое, неизведанное бурей врывается в ее спокойную жизнь: не только телом ее овладел Босуэл, но и чувствами. В обоих своих супругах, пятнадцатилетнем отроке Франциске II и безбородом Дарнлее, она встретилась с еще не созревшей мужественностью — то были неженки, маменькины сынки. Ей уже казалось, что иначе и быть не может: всегда она должна дарить, великодушно расточать счастье; оставаясь госпожой и повелительницей даже в самой интимной сфере, никогда она еще не бывала в положении более слабого существа, которое увлекают, похищают, берут силой. В этих же насильственных объятиях она внезапно — и все ее существо оглушено этой неожиданностью — встретила настоящего мужчину, наконец-то такого мужчину, который смел, развеял по ветру все ее женские доблести: стыд, гордость, уверенность в себе, — человека, который в ней самой открыл ей новый, еще неведомый, вулканический мир страсти и наслаждения. Она еще не почувствовала опасности, она еще не успела дать отпор, как уже покорена, целомудренный сосуд разбит, и всепожирающий, палящий вихрь вырвался наружу.

Должно быть, первым ее чувством был только гнев, только

возмущение, только яростная, смертельная ненависть к любовно-страстному убийце ее женской гордости. Но таков неисповедимый закон природы, что полярные ощущения где-то на высшем пределе сходятся. Как кожа не отличает сильного жара от сильного холода, как мороз обжигает щеки огнем, так и противоречивые чувства иногда сливаются воедино. В одну секунду ненависть в душе женщины может скачком перейти в любовь, а оскорбленная гордость — в безудержное смирение, и тело ее способно с неистовой алчностью призывать того, кого оно еще за секунду до этого с неистовым отвращением отвергло. С этого часа разумная, в сущности, женщина объята пламенем, она горит и спорает на невидимом огне. Все устои, на которых до сих пор зиждилась ее жизнь, — честь, достоинство, порядочность, гордость, уверенность в себе и разум — рушатся: сбитая однажды с ног, грубо поваленная, она хочет падать все ниже и ниже, хочет низвергнуться в бездну, затеряться в ней. Новое, внезапно налетевшее сладострастие заполонило ее, и она пьет его, пьет жадно, в каком-то опьянении чувств; смиренно целует она руку человека, растоптавшего венец ее женственности, но зато научившего ее новому восторгу — саморастворения в другом существе.

Эта новая, беспредельная страсть несоизмерима с ее прежней влюбленностью в Дарнлея. Тогда она впервые открыла для себя чувство самозабвенной жертвенности и только испробовала его — теперь она полностью живет им; с Дарнлеем ей хотелось всем делиться — короной, могуществом, жизнью. Для Босуэла же она не может ограничиться отдельными дарами, — все, все жаждет она ему отдать, чем только владеет на земле, самой стать нищей, чтобы сделать его богатым, с упоением принизить себя, чтобы его возвысить. В каком-то непонятном экстазе отбрасывает она все, что стесняет и связывает ее, лишь бы удержать и не отпускать его, единственного. Она знает: друзья от нее отвернутся, весь мир ее покинет и станет презирать, но именно это наполняет ее новой гордостью взамен старой, растоптанной; вдохновенно возвещает она:

Pour luy depuis j'ay mesprise l'honneur,
Ce qui nous peust seul pourvoir de bonheur.
Pour luy j'ay hazarde grandeur & conscience,
Pour luy tous mes parens j'ay quitte & amis,
Et tous autres respectz sont a part mis.

Pour luy tous mes amis, j'estime moins qui rien,
Et de mes ennemis je veux esperer bien.
J'ay hazardé pour luy nom & conscience,
Je veux pour luy au monde renoncer,
Je veux mourir pour le faire avancer.

Я для него забыла честь мою —
Единственное счастье нашей жизни,
Ему я власть и совесть отдаю,
Я для него отринула семью,
Презренной стала в собственной отчизне.

Я для него отвергла всех друзей,
Прошу поддержки вражеского стана,
Пожертвовала совестью своей,
Презрела гордость имени и сана
И, чтобы он возвысился, умру...

**Отныне ничего больше для себя, все только для него, кому
она впервые отдала себя без остатка.**

Pour luy je veux rechercher la grandeur,
Et feray tant que de vray congoistra
Que je n'ay bien, heur, ne contentement,
Qu'a l'obeir & servir loyaument.

Pour luy j'attendz toute bonne fortune,
Pour luy je veux garder sante & vie.
Pour luy tout vertu de suivre j'ay envie,
Et sans changer me trouvera tout' une.

Лишь для него и трон мой и венец!
И, может быть, поймет он наконец,
Что я одно преследую упорно:
Жить для него, служить ему покорно.

Лишь для него все блага обрести.
Стремиться к долголетию, к здоровью

**И для него с незабываемой любовью
К вершинам добродетели идти!**

Все, чем она владеет, всю себя — свою корону, свое достоинство, свое тело, свою душу — швыряет она в бездну страсти и в глубине своего падения наслаждается переизбытком своей любви.

Такое бешеное напряжение и перенапряжение всех чувств в корне преобразует душу. Неведомые и невиданные силы исторгает безмерная страсть у беспечной и дотоле сдержанной женщины. Удесятеренной жизнью живет в эти недели ее тело, ее душа, наружу пробиваются способности и дарования, которых она не знала раньше и не будет знать потом. В эти недели Мария Стюарт способна, восемнадцать часов проскакав на коне, всю ночь бодрствовать и неутомимо писать письма. Она, до сих пор сочинявшая разве лишь короткие эпиграммы да незначительные стишки на случай, в порыве пламенного вдохновения пишет те одиннадцать сонетов, где изливает свои страдания и свою страсть с неведомой ей дотоле — да и впоследствии — силой красноречия. Всегда беспечная и неосторожная, она так мастерски притворяется, что в течение долгих месяцев никто не замечает ее изменившихся отношений с Босуэлом. В присутствии других у нее хватает духу повелительно и холодно, как с подчиненным, разговаривать с человеком, от чьего прикосновения ее бросает в дрожь, или же казаться веселой и беспечной, в то время как нервы ее напряжены до крайности, а душа исходит слезами и отчаянием. В ней вдруг как бы пробудилось некое демоническое «сверх-я», и оно увлекает ее за собой, заставляя превзойти себя, превысить свои возможности и силы.

Однако за эти порывы чувства, насильно исторгнутые у воли, приходится платить периодами тяжелого душевного упадка. И тогда она целыми днями в изнеможении валяется в постели, часами блуждает по комнате в каком-то бесчувственном забытии, рыдая, взывает, простертая на своем ложе: «Хоть

бы мне умереть!» — требуя, чтобы ей дали кинжал — она хочет лишиться себя жизни. Как эта сила таинственно снизошла на нее, так временами она бесследно ее покидает. Ибо плоть не в состоянии долго переносить такое яростное перенапряжение всех своих ресурсов, такое иступленное стремление подняться над собой; она бунтует, восстает, каждый нерв горит огнем и трепещет.

Как ее организм потрясен безмерной экзальтацией страсти, ярко показывает знаменитый джедбороский эпизод. Седьмого октября Босуэл был тяжело ранен в схватке с контр-рабандистом. Эта весть застает Марию Стюарт в Джедборо, где она присутствует на сессии суда. Чтобы не привлекать внимания, она не позволяет себе в ту же минуту вскочить в седло и вихрем понестись за двадцать пять миль от Джедборо в замок Эрмитаж. Но, видимо, недобрая весть совершенно ее перевернула; находившийся при ней сторонний наблюдатель, посланник Дю Крок, в то время и не подозревавший о ее близких отношениях с Босуэлом, сообщает в Париж: «*Ce ne luy eust esté peu de perte de le perdre*»*. Да и от Мэйтленда не укрылась необычайная рассеянность и озабоченность королевы, и, не зная настоящей причины, он высказывает предположение, что «эти мрачные настроения, эти тяжелые мысли у нее из-за неладов с королем».

Лишь два-три дня спустя королева в сопровождении Меррея и других приближенных скачет во весь опор проведать Босуэла. Два часа проводит она у постели раненого, а потом так же бешено мчится назад, словно желая яростной скачкой подавить мучительную тревогу. Но подорванный жгучей страстью организм внезапно сдает. Едва ее снимают с седла, она падает замертво и два часа лежит в беспамятстве. Вечером у нее открылась горячка, типичная нервная горячка, она мечется в бреду. И вдруг члены ее цепенеют, она ничего не чувствует, никого не узнает; в растерянности окружили приближенные во главе с врачом свою королеву, заболевшую

*Для нее, видно, немалая потеря потерять его (фр.).

столь загадочной болезнью. Во все концы мчатся нарочные за королем, а также за епископом, чтобы королева не отошла без соборования. Восемь дней витала она между жизнью и смертью. Можно подумать, что скрытое желание уйти из жизни, налетевшее ураганом, истощило ее нервы, исчерпало силы. А все же — и это с клинической достоверностью показывает, что болезнь была скорее душевная, что это был типичный случай истерии, — как только на крестьянском возу привезли выздоравливающего Босуэла, королева ожила, и — новое чудо! — спустя две недели восставшая покойница уже опять сидит в седле. Ибо опасность возникла в ней самой, и она справилась с ней собственными силами.

Но и окрепнув физически, Мария Стюарт никак не придет в себя, все ближайшие недели она подавлена, угнетена. Даже посторонние замечают, что королева «на себя не похожа». Что-то в ее чертах, во всем ее существе сникло, привычной беспечности и уверенности как не бывало. Она ходит, живет, действует, как человек, на которого свалились тяжкие невзгоды. Она запирается у себя, и прислужницы слышат за дверью, как она стонет и рыдает. Всегда откровенная и общительная, она никому не доверяет свое горе. Уста ее скованы молчанием, и никто не подозревает страшной тайны, которая преследует ее днем и ночью и гнетет душу.

Ибо есть нечто грозное в этой страсти, от чего веет одновременно жутью и величием, нечто невыразимо грозное: королева с первой же минуты знает, что любовь ее преступна и обречена на безысходность. Ужасным было, верно, уже пробуждение после первого объятия — поистине тристановское мгновение, — когда отравленная любовным питьем королева приходит в себя и оба вспоминают, что они не одни в беспредельности своего счастья, что их держит в плену этот мир, долг и закон. Ужасное пробуждение, когда она наконец очнулась, и громом поражает ее мысль о том, в какое безумие они впали. Ибо она, отдавшая ему себя, принадлежит другому, и он, отдавший ей себя, принадлежит другой. Прелюбодеяние,

двойное прелюбодеяние — вот куда увлекло их неистовство чувств, а ведь совсем недавно, две-три недели или месяц назад, Мария Стюарт как шотландская королева торжественно подписала и издала указ о том, что нарушение супружеской верности, как и всякое другое оскорбление нравственности, карается смертью. С первой же минуты эта страсть заклеимена как преступная, и утверждать себя и развиваться она может лишь за счет все новых и новых преступлений. Чтобы соединиться навек, оба они должны сперва насильственно избавиться — она от мужа, он от жены.

Только ядовитые плоды может принести эта греховная страсть, и Мария Стюарт с первого же часа с непреложной ясностью отдает себе отчет в том, что отныне ей нет покоя и спасения. Но именно в такие трудные минуты просыпается у Марии Стюарт мужество отчаяния, и она готова бросить вызов судьбе — вопреки всякой надежде и смыслу готова спасти то, что непоправимо обречено. Не станет она трусливо отступать, прятаться и укрываться, нет, с гордо поднятой головой пройдет она до конца путь, ведущий в бездну. Пусть все потеряно — среди тягчайших испытаний находит она счастье в том, что ради него принесла все эти жертвы.

Entre ses mains, & en son plain pouvoir,
Je mets mon fils, mon honneur, & ma vie,
Mon pais, mes subjects, mon ame assubjettie
Est tout à luy, & n'ay autre vouloir
Pour mon ovjet, que sans le decevoir
Suivre je veux, malgré toute l'envie
Qu'issir en peut.

Ему во власть я сына отдаю,
И честь, и совесть, и страну мою,
И подданных, и трон, и жизнь, и душу.
Все для него! И мысли нет иной,
Как быть его женой, его рабой,
Я верности до гроба не нарушу!
С ним каждое мгновенье, каждый час,
А там — пусть зависть осуждает нас!

Что бы потом ни было, она отважится на этот путь в безнадежность. После того как она всем — телом, душой, всей своей жизнью — пожертвовала ради него, несказанно любимого, эта исступленная любовница боится лишь одного на свете — потерять его.

Но самое ужасное в этом ужасе, самое мучительное в этой муке ей еще только предстоит. При всем своем ослеплении Мария Стюарт достаточно проницательна — скоро она увидит, что и на этот раз попусту себя расточает: человек, к которому устремлены ее чувства, в сущности, ее не любит. Босуэл овладел ею, как это не раз с ним бывало, в пылу животной страсти, необдуманно, жестоко. И так же равнодушно готов он ее покинуть, едва чувства его остыли. Для него это лишь жаркий миг обладания, мимолетное приключение, и несчастной скоро приходится сказать себе, что господин ее мыслей и чувств не очень-то ее почитает:

Vous m'estimez legiere, que je voy,
Et si n'avez en moy nulle assurance,
Et soupconnez mon coeur sans apparence,
Vous meffiant a trop grand tort de moy.
Vous ignorez l'amour que je vous porte.
Vous soupconnez qu'autre amour me transporte.
Vous despeignez de cire mon las coeur,
Vous me pensez femme sans jugement;
Et tout celf augmente mon ardeur.

Вы верите наветам злой молвы,
Вам кажется, что я пуста и лжива.
Мою любовь — о, как несправедливо! —
Готовы счесть игрой нечестной вы.
И, моего не уважая слова,
Решили вы, что я люблю другого,
Что я коварство низкое таю,
Что нравственных устоев не имею, —
Но и самой враждебностью своею
Вы жажду распалаете мою.

И вместо того, чтобы гордо отвернуться от неблагодарного, вместо того, чтобы взять себя в руки, обуздать, опьяненная страстью женщина бросается на колени перед равнодушным любовником, стараясь удержать его. Ее бывшее высокомерие словно каким-то чудом превращается в неистовое самоунижение. Она молит, клянчит и тут же превозносит себя, восхваляет, как товар, пресытившемуся ею любовнику. Утратив чувство собственного достоинства, готовая на последнее унижение, она, гордая царица, словно торговка на рынке, высчитывает ему, чем только она для него ни пожертвовала, и настойчиво, чуть ли не назойливо, уверяет в своем рабском смирении.

Car c'est le seul desir de vostre chere amie,
De vous servir, & loyaument aimer,
Et tous malheurs moins que rien estimer,
Et vostre volonte de la mienne suivre
Vous cognoistrez aveques obeissance,
De mon loyal devoir n'obmettant la science,
A quoy j'estudiray pour tousjours vous complaire.
Sans aimer rien que vous, sous la subjection
De qui je veux san nulle fiction,
Vivre & mourir.

Единственная цель подруги вашей —
Служить вам, угождать и подчиняться,
Вас обожать, пред вами преклоняться
И, презирая все несчастья впредь,
Свой видеть высший долг в повиновенье,
Чтобы отдать вам каждое мгновенье,
Под вашей властью жить и умереть.

С дрожью ужаса и сострадания наблюдаем мы, как эта прямая и смелая женщина, никогда не отступавшая ни перед какой земной опасностью, ни перед каким земным властителем, утратив бывшее достоинство, унижается до постыдных уловок завистливой и злобной ревности. По каким-то признакам Мария Стюарт, верно, заметила, что Босуэл куда более предан молодой жене, которую королева сама для него избрала, и что он отнюдь не собирается ее покинуть ради своей

новой возлюбленной. И она силится — не правда ли, ужасно, что именно большое чувство способно так умалить женщину, — очернить его супругу, не останавливаясь перед самой низкой и бесчестной, перед самой злобной клеветой. Играя на мужском тщеславии Босуэла, она напоминает ему (очевидно, исходя из его интимных признаний), что жена недостаточно отзывается на его ласки, что вместо того, чтобы отвечать со всем пылом страсти, она лишь нехотя ему уступает. В прошлом сама сдержанность и высокомерие, она с жалким самохвалством перечисляет, на какие жертвы, на какое самозаклание во имя любви приходится идти ей, нарушительнице супружеской верности, тогда как его жена пользуется всеми благами и преимуществами его высокого положения. Так нет же, пусть останется с ней, пусть принадлежит ей одной и не поддается на обманчивые письма, слезы и заверения этой «лжесупруги»!

Et maintenant elle commence à voir,
Qu'elle estoit bien de mauvais jugement,
De n'estimer l'amour d'un tel amant,
Et voudroit bien mon amy decevoir,
Par les escrits tous fardez de scavoïr...
Et toutes fois ses paroles fardeez.
Ses pleurs, ses plaincts remplis de fictions,
Et ses hautz cris & lamentations
Ont tant gaigné, que par vous sont gardeez
Ses lettres, escrites, ausquels vous donnez foy,
Et si l'aimez, & croiez plus que moy.

Она лишь поняла (даю вам слово!),
Что надо быть бездушной и слепой,
Чтоб не ценить любовника такого,
И хочет лицемерно мольбой
Вас обмануть, мой друг, опутать снова...
Но ложью слез, наигранной тоски,
Упреков, просьб, рассчитанных умело,
Она вас так заморозить сумела,
Что мертвые фальшивые листки
Читаете вы, бережно храните,
А мне, живой, и верить не хотите!

Все большим отчаянием звучат ее вопли. Неужели он ее, единственно достойную, может променять на недостойную? Пусть прогонит ту и соединится с ней, ведь она готова бороться за него не на жизнь, а на смерть. Пусть требует от нее, молит она на коленях, всего, что только хочет, любого доказательства ее верности и нерушимой преданности, она все ради него бросит: дом, семью, корону, все свое достояние, свою честь и сына. Пусть все отнимет, лишь бы не отталкивал ее, все отдавшую ему, единственно любимому.

И тут впервые приоткрывается глубина всей этой трагической ситуации. Благодаря чрезмерности признаний Марии Стюарт на сцену проливается яркий свет. Босуэл лишь случайно увлекся ею, как и многими другими женщинами, и этим, собственно, для него эпизод исчерпан. Однако Мария Стюарт, предавшаяся ему всей душой и всеми чувствами, вся огонь и экстаз, стремится удержать его, удержать навсегда. Но сама по себе любовная связь несколько не привлекает счастливого в семейной жизни, честолюбивого человека. В лучшем случае ради тех преимуществ и выгод, какие дает ему любовь женщины, держащей в своих руках все почести и милости шотландской короны, Босуэл тянул бы еще какое-то время, он терпел бы Марию Стюарт в качестве наложницы рядом с женой. Но этого недостаточно королеве с душой королевы, недостаточно женщине, которая не хочет делиться, которая в своей неистовой страсти хочет одного — владеть им всецело. Но как им завладеть? Как привязать навек своевольного, необузданного искателя приключений? Клятвы в безграничной верности и покорности лишь наскучат такому мужчине, он немало слышал их от других женщин. Нет, одна только приманка может увлечь ненасытного честолюбца, единственный приз, ради которого грешили и блудили столь многие, — корона. Как бы мало Босуэл ни стремился сохранить отношения с женщиной, к которой он, в сущности, равнодушен, великий соблазн исходит от мысли, что эта женщина — королева и что она может сделать его королем Шотландии.

Правда, мысль эта на первый взгляд кажется безрассудной. Ведь жив законный супруг Марии Стюарт — Генри Дарнлей, и ни о каком другом короле не может быть и речи. А все же эта безрассудная мысль, и только она, отныне приковывает Босуэла к Марии Стюарт нерасторжимой цепью, ибо нет у несчастной другой приманки, которая могла бы удержать этого неукротимого человека. Ничто не заставит вольного, независимого кондотьера продаться своей рабыне и терпеть ее любовь, как только корона. И нет такой цены, какой эта опьяненная женщина, давно забывшая честь, порядочность, достоинство, закон, не была бы готова уплатить за его любовь. И если придется добыть корону для Босуэла ценой преступления, она, ослепленная страстью, не отступит и перед преступлением.

Ибо так же, как Макбет, выполняя демоническое предсказание ведьм, не может стать королем иначе, как ценой крови, ценой полного уничтожения целого королевского рода, так и Босуэлу прегражден честный, законный путь к шотландскому престолу. Дорога к нему ведет через труп Дарнлея. Для того чтобы кровь соединилась с кровью, должна неизбежно пролиться кровь.

В том, что Мария Стюарт не станет серьезно противиться, когда, освободив ее от Дарнлея, он потребует у нее руки и короны, Босуэл, разумеется, ни минуты не сомневался. И если бы даже ясно сформулированное письменное обязательство, якобы найденное в пресловутом серебряном ларце, обязательство, в коем она обещает сочетаться с ним браком, «невзирая на любые препятствия, какие стали бы чинить ей родичи, а равно и другие лица», если бы даже оно было чистейшим мифом или фальшивкой, он и без ее обещания, скрепленного подписью и печатью, был бы уверен в ее покорности. Как часто жаловалась она ему — да и не только ему, — до чего тяжела ей мысль, что Дарнлей — ее супруг, как пылко (пожалуй, слишком пылко) уверяла в своих сонетах, а тем более, надо думать, с глазу на глаз, в часы любовных свиданий, сколь

страстно она мечтает навек соединиться с ним, Босуэлом! Да, с этой стороны ему ничто не угрожало, он мог отважиться на любую крайность, на любое безрассудство.

Но Босуэл, разумеется, заручился и одобрением лордов, хотя бы молчаливым. Он знает, все они единодушны в своей ненависти к настырному, несносному мальчишке, их предавшему, и нельзя оказать им большей услуги, как любыми средствами и по возможности скорее убрав его из Шотландии. Босуэл и сам присутствовал на том знаменательном сборище в замке Крэгмиллер, на котором, при участии Марии Стюарт, игра, пусть и в завуалированной форме, велась на голову Дарнлея. Первые сановники страны — Меррей, Мэйтленд, Аргайл, Хантлей и Босуэл — сговорились предложить королеве своеобразную сделку: пусть вернет на родину опальных вельмож, убийц Риччо — Мортонна, Линдсея и Рутвена, а они берутся избавить ее от Дарнлея. Перед королевой речь идет сначала о легальном освобождении, под словами «to make her quit of him»^{*} разумеется официальный развод. Однако Мария Стюарт ставит условием, чтобы расторжение брака было законным и вместе с тем не угрожало правам ее сына, на что Мэйтленд весьма загадочно отвечает: насчет того, как и что, пусть королева положится на них, они так поведут это дело, что сын ее не потерпит ни малейшего ущерба, и даже Меррей, уж на что он придира (scrupulous), на многое «закроет глаза» — ведь, как протестант, он проще смотрит на эти вещи.

Странное заявление, и именно таким оно кажется Марии Стюарт. Не надо делать ничего, возражает она Мэйтленду, что «легло бы бременем на ее честь и совесть». За этими темными речами кроется — и уж от Босуэла это, во всяком случае, не укрылось — некий тайный смысл. Ясно лишь одно, что уже тогда все они — Мария Стюарт, Меррей, Мэйтленд, Босуэл, — все главные герои этой трагедии согласились в том, что Дарнлея надо устранить; неясным осталось только, как это сделать — добром, хитростью или силой.

^{*}Избавить от него (англ.).

Босуэл, самый нетерпеливый и отчаянный из вельмож, стоит за силу. Он не хочет и не может ждать, как другие, — ведь для него речь идет не только о том, чтоб убрать с глаз долой ненавистного мальчишку, а о том, чтобы унаследовать после него корону и власть. Пока другие только тянут и выжидают, он вынужден действовать, и действовать решительно; по-видимому, он заблаговременно нащупывает почву, подыскивая себе среди лордов помощников и пособников. Но здесь огни истории снова горят приглушенно, ведь преступление всегда готовится в темноте или в неверном, сумеречном свете.

Никогда уже не станет известным, кого из лордов и скольких посвятил в свои планы Босуэл, а также чьей помощью или молчаливым согласием он и в самом деле заручился. Меррей, должно быть, знал, но от участия воздержался; Мэйтленд как будто отважился на большее. Положиться можно лишь на признание Мортонна, сделанное на смертном одре. Мортон как раз возвращался из изгнания, затаив смертельную ненависть к предателю Дарнлею, когда Босуэл, поскакавший ему навстречу, открыто, без околичностей предложил ему вместе с ним, Босуэлом, убить Дарнлея. Но Мортон с некоторых пор стал осторожен, у него еще свежо в памяти недавнее предприятие, когда соучастники оставили его одного и умыли руки. Он медлит с ответом и, требуя гарантий, спрашивает, согласна ли королева на убийство. Да, она согласна, не задумываясь отвечает Босуэл, которому важно заручиться его поддержкой. Но, наученный горьким опытом, Мортон знает, как быстро *post festum** забываются устные договоры, и прежде чем связать себя обещанием, требует письменного согласия королевы черным по белому. По добром шотландскому обычаю он хочет запастись «бондом», дабы в случае неприятностей ему было на что сослаться. Босуэл и это ему обещает. На самом деле ни о каком «бонде» не может быть и речи, вожденная свадьба состоится лишь при условии, что королева останется в стороне и в критическую минуту события «застигнут ее врасплох».

*После праздника (*лат.*).

Итак, Босуэлу не на кого опереться, задуманное дело падает на него, самого нетерпеливого, самого отчаянного, и у него, конечно, достанет решимости привести его в исполнение. Но уже та двусмысленная уклончивость, с какой выслушали его Мортон, Меррей и Мэйтленд, показала, что открыто противиться лорды не будут. Если они и не благословили его намерения тайным письмом, то поддержали сочувственным молчанием и дружеским невмешательством. А с того дня, как выясняется, что Мария Стюарт, Босуэл и лорды — все в этом вопросе мыслят одинаково, можно сказать, что дни Дарнлея сочтены.

Собственно, все уже готово. Босуэл призвал на помощь своих головорезов. О том, где и как произойдет убийство, договорились на секретных совещаниях. Но для жертвенного заклятия не хватает главного — самой жертвы. Как Дарнлей ни наивен, а все же он учуял опасность. Уже за много недель до этого он отказался переступить порог Холируда, зная, что еще не разошлись собравшиеся там вооруженные лорды; но и в замке Стирлинг он больше не чувствует себя в безопасности, с тех пор как преданные им убийцы Риччо по знаменательной амнистии королевы снова вернулись в Шотландию. Непоколебимо, не поддаваясь ни на какие приманки и посулы, засел он в Глазго. Там живет граф Ленокс, его отец, там все их друзья, это крепкий, надежный дом, а на случай, если враг вторгнется силой, в порту день и ночь стоит судно, в любую минуту готовое принять его на борт. А тут, словно чтобы охранить в опасную минуту, судьба посылает ему в первых числах января оспу — удобный предлог для того, чтобы еще много недель безвыездно просидеть в Глазго, в надежном убежище у самого моря.

Болезнь Дарнлея путает созревшие планы Босуэла, с нетерпением поджидающего свою жертву в Эдинбурге. По каким-то причинам, о которых мы можем только гадать, Босуэл, видимо, не хотел терять время: то ли ему не терпелось поско-

рей добраться до престола; то ли он вполне основательно боялся опасных проволок, так как слишком много ненадежных людей знало о заговоре; то ли его интимные отношения с Марией Стюарт не остались без последствий — трудно сказать, во всяком случае, ждать он больше не намеревался. Но как заманить больного, заподозрившего недоброе юношу под топор? Как вытащить его из постели, из твердыни родительского дома? Официальное приглашение заставило бы Дарнлея насторожиться, а ведь ни Меррей, ни Мэйтленд, никто другой при дворе не настолько близок всем ненавистному всеми презираемому экс-королю, чтобы убедить его вернуться по доброй воле. И только одна-единственная сохранила над ним власть. Уже дважды заставляла она несчастного юношу, преданного ей раба, покориться. Только Мария Стюарт, она единственная, надев личину любви к тому, кто жаждет ее любви, может заманить притаившуюся жертву в расставленную ловушку. Из всех людей на свете ей одной дано совершить этот чудовищный обман. А так как и сама она больше себе не госпожа, а лишь послушная марионетка в руках тирана, то достаточно Босуэлу повелеть, и невероятное или, лучше сказать, то, чему наше чувство отказывается верить, свершилось: двадцать второго января Мария Стюарт, уже много недель избегавшая встречи с Дарнлеем, отправляется верхом в Глазго, будто бы для того, чтобы навестить больного супруга, на самом же деле чтобы по приказанию Босуэла заманить его домой, в город Эдинбург, где его ждет не дождется с отточенным кинжалом смерть.

ДОРОГА К УБИЙСТВУ

С 22 января по 9 февраля 1567 года

И вот начинается самая зловещая строфа баллады о Марии Стюарт. Поездка в Глазго, из которой она привезла еще большого супруга прямо в логово заговорщиков, — один из наиболее сомнительных ее поступков. Снова и снова напрашивается вопрос: была ли Мария Стюарт и вправду под стать древним Атридам — Клитемнестре, с лицемерной заботливостью готовящей вернувшемуся домой супругу Агамемнону теплую ванну, меж тем как ее возлюбленный убийца Эгисф затаился в тени с отточенным топором? Или же она сродни леди Макбет, кроткими и льстивыми словами провожающей ко сну короля Дункана, которого Макбет потом зарежет во сне, — одна из тех демонических преступниц, какими великая страсть порой делает самых отважных и любящих женщин? А может быть, правильнее считать ее безвольной рабой жестокого сутенера Босуэла, движущейся в каком-то трансе исполнительницей чужой непререкаемой воли, наивно послушной марионеткой и не подозревающей о страшных приготовлениях за ее спиной? Чувство отказывается верить такому злодейству, обвинить в сокрытии и соучастии женщину, которая до сих пор была преисполнена человечности. Вновь и вновь ищешь другого, более гуманного и незлобивого истолкования ее поездки в Глазго. Опять и опять откладываешь в сторону, как пристрастные, показания и документы, обличающие Марию Стюарт, и с чистосердечной готовностью и желанием дать себя убедить проверяешь те оправдательные доводы, которые ее защитникам удалось найти или изобрести. Увы, при всем желании отнестись к ним с доверием, эти адвокатские доводы никого убедить не могут: звено совершенного злодеяния без швов включается в цепь событий, в то время как домыслы защитников при ближайшем рассмотрении рассыпаются в руках трухой.

Ибо как предположить, что нежная забота погнала Марию

Стюарт к постели больного Дарнлея и что она забрала его из безопасного убежища в надежде обеспечить ему дома лучший уход? Ведь уже несколько месяцев супруги живут врозь, как чужие. Присутствие Дарнлея ей несносно; как ни молит он, чтобы Мария Стюарт делила с ним супружеское ложе, его законные права попираются. Испанский, английский и французский послы в своих донесениях давно говорят о наступившем охлаждении как о чем-то бесспорном и само собой разумеющемся. Лорды официально начали дело о разводе, а про себя помышляют и о менее безобидной развязке. Недавние любовники так равнодушны друг к другу, что, даже услышав, что Мария Стюарт заболела в Джедборо и находится при смерти, преданный супруг отнюдь не спешит проститься с той, которую уже готовят к принятию святых даров. С помощью самой сильной лупы не обнаружите вы в этом союзе и ниточки любви и атома нежности; а значит, предположение, будто горячая забота подвинула Марию Стюарт на эту поездку, отпадает как несостоятельное.

Однако — и это последний довод ее защитников à-tout-prix* — быть может, Мария Стюарт, отправляясь в Глазго, хотела покончить со злополучной ссорой? Разве не могла она поехать к больному искать примирения? К сожалению, и этот наипоследний благоприятный довод опровергается документом за собственноручной ее подписью. Всего за день до отъезда в Глазго в своем письме к архиепископу Битону — неосторожная и не думала, когда писала письма, что они будут свидетельствовать против нее, — Мария Стюарт дала волю своему гневу и раздражению против Дарнлея: «Что до короля, нашего супруга, то одному Богу известно, как мы всегда к нему относились, но и Богу и всему свету известны его происки и козни против нашей особы; все наши подданные были тому свидетелями, и я несколько не сомневаюсь, что в душе они осуждают его». Слышен ли здесь кроткий голос миролюбия? Это ли на-

* Во что бы то ни стало (фр.).

строение преданной жены, которая в смятении и тревоге спешит к больному мужу? И второе неопровержимое обстоятельство, явно не говорящее в ее пользу, — Мария Стюарт предпринимает эту поездку не просто с тем, чтобы проведать Дарнлея и вернуться домой, а с твердым намерением тут же увезти его в Эдинбург: опять чрезмерная забота, которой, пожалуй, не веришь. Ибо не противно ли всем законам медицины и здравого смысла вытащить оспенного больного, в горячке, с еще не опавшим лицом, из постели и везти его зимой, в январе, целых два дня в открытом экипаже, по лютому морозу? А ведь Мария Стюарт даже телегу прихватила с собой, чтобы Дарнлею некуда было податься, так не терпелось ей со всей поспешностью отвезти его в Эдинбург, где заговор против него был уже в полном ходу.

А может быть, Мария Стюарт — лучше лишний раз послушаться к доводам ее защитников, шутка ли: несправедливо обвинить человека в убийстве! — может быть, она не знала о готовящемся покушении? Волею судеб и это сомнение отпадает благодаря дошедшему до нас письму Арчибалда Дугласа на имя Марии Стюарт. Один из главных заговорщиков, Арчибалд Дуглас, лично посетил королеву во время ее поездки в Глазго, чтобы добиться от нее открытого одобрения готовящемуся заговору убийц. И хоть он не вырвал у нее ни согласия, ни каких-либо гарантий или обещаний, как могла супруга, узнав, что за крамола куется, утаить этот разговор от короля? Как было не предупредить Дарнлея? Более того, как можно было, убедившись в полной мере, что против него что-то затевается, настаивать на его возвращении в это осиное гнездо? В подобных случаях умолчание — больше чем укрывательство, это — пассивное, скрытое пособничество, ибо тому, кто знает о готовящемся преступлении и не стремится его предотвратить, зачтется в вину самое его равнодушие. В лучшем случае о Марии Стюарт можно сказать, что она не знала о готовящемся преступлении потому, что не хотела знать, что она отворачивалась и закрывала глаза, дабы иметь возможность заявить под присягой: мое дело сторона.

Итак, чувство, что Мария Стюарт в какой-то мере виновна в устранении своего мужа, не покидает беспристрастного исследователя; известным оправданием ей могла бы послужить разве что поработанная воля, но никак не полное неведение. Ибо не с легкой душой выполняет свою миссию эта раба, не дерзко, не в трезвом рассудке и по собственной воле, а повинаясь чужой воле, чужому приказу. Не с холодным, коварным, циничным расчетом отправилась Мария Стюарт в Глазго, чтобы выманить Дарнлея из его убежища, — в решительную минуту, как свидетельствуют письма из ларца, ею овладели ужас и отвращение перед навязанной ей ролью. Разумеется, они с Босуэлом заранее обсудили, как забрать Дарнлея домой, но письмо с непреложной ясностью показывает, что стоило Марии Стюарт очутиться на расстоянии дня пути от ее господина и в какой-то мере избавиться от гипноза его присутствия, как в этой шагна *ressatrix** внезапно заговорила усыпленная совесть. Всегда бывает так, что человека, которого толкает на преступление таинственная сила, сразу же отличишь от подлинного преступника — преступника из внутренних побуждений, преступление по злumu и преднамеренному умыслу — от *crime passionel*** , и деяние Марии Стюарт, — быть может, один из самых ярких случаев преступления, совершенного не по личному почину, а под давлением чужой, более сильной воли.

В ту минуту, когда Мария Стюарт должна уже привести в исполнение обсужденный и принятый план, когда она оказывается лицом к лицу с жертвой, которую ей велено завлечь на бойню, в ней вдруг умолкает чувство ненависти и мести, и в душе ее исконно человеческое вступает в борьбу с бесчеловечностью приказа. Запоздалая и тщетная борьба! Ведь Мария Стюарт в этом злодеянии не только коварно подкрадывающийся охотник, но и затравленная дичь. Все время чувствует она за спиной бич, который безжалостно гонит ее вперед. Она

* Великой грешнице (*лат.*).

** Преступление, совершенное в состоянии аффекта (*фр.*).

трепещет перед гневом жестокого сутенера, зная, что он не простит ей, если она не приведет ему намеченной жертвы, но и трепещет потерять из-за послушания его любовь. И только то, что безвольная тяготится в душе своим злодейством, что беззащитная восстает против навязанного ей поручения, — только это позволяет если не простить ее поступок по справедливости, то хотя бы понять его по-человечески.

В этом, более прощительном свете ужасное злодеяние предстает нам в знаменитом письме, которое она пишет любовнику из дома больного Дарнлея; близорукие защитники Марии Стюарт напрасно чураются этого письма, так как только оно проливает на ее омерзительный поступок умиротворяющий отблеск человечности. Письмо, словно пробоина в стене, приоткрывает нам страшные часы Глазговской трагедии. Время за полночь, Мария Стюарт в ночном одеянии сидит у столика в чужой комнате. Ярко пылает огонь в камине, причудливые тени пляшут на высоких холодных стенах. Но пламя не согревает пустынной комнаты, не дает оно тепла и зябнущей душе. Снова и снова мелкая дрожь пробегает по спине полуодетой женщины: так холодно, и она устала, уснуть бы, но ей не спится, она слишком взволнована и возбуждена. Столько страшного и тяжелого пережито за последние недели, за последние часы, все нервы горят и трепещут до болезненно чувствительных кончиков. Содрогаясь от ужаса перед тем, что ей предстоит, но безропотно послушная господину своей воли, духовная пленница Босуэла предприняла эту недобрую поездку, чтобы выманить своего супруга из верного убежища на еще более верную смерть. Немало трудностей встретилось ей. Уже перед городскими воротами остановил ее гонец Ленокса, отца Дарнлея. Старику подозрительно, что женщина, уже многие месяцы с лютой ненавистью избегающая его сына, вдруг заботливо спешит к ложу больного. Старые люди чувствуют приближение несчастья, а может быть, Ленокс вспомнил, что всякий раз, как Мария Стюарт искала расположения его сына, она тайла в душе какую-то корыстную цель. С тру-

дом отразив испытующие вопросы посланца, счастливо добирается она до постели больного, чтобы и здесь — неизбежное следствие двойной игры — наткнуться на недоверие. Зачем она привезла с собой телегу, первым делом допытывается Дарнлей, и в глазах его мечутся искорки тревоги. И ей приходится крепко зажать сердце в кулак, чтобы под градом его вопросов не выдать себя ни единой запинкой, не побледнеть и не покраснеть. Но страх перед Босуэлом научил ее притворству. Ласковыми руками и льстивыми речами ублаживает она недоверие Дарнлея, постепенно, по ниточке выматывает у него последнюю волю и вручает взамен свою, сильнейшую. Уже к вечеру первого дня половина дела сделана.

И вот она сидит ночью одна, в полутемной комнате, пустой и холодной, свечи проливают призрачный свет, а кругом такая немая тишина, что слышно бормотание самых сокровенных ее мыслей и вздохи растоптанной совести. Нет ей ни сна, ни покоя, безмерно томит ее желание разделить с кем-нибудь тяжесть, что гнетет душу, перемолвиться словом в этот час неизбывной тоски и муки. И так как его нет рядом, единственного на земле, с кем она может говорить о несказанном, чего никто знать не должен, кроме него, — о том страшном злодействе, в котором она боится признаться себе самой, то она берет подвернувшиеся ей листки бумаги и садится писать. Письму нет конца. Она не закончит его ни в эту ночь, ни на вторую ночь: здесь человек, совершая преступление, единоборствует со своей совестью.

В глубокой усталости, в страшном смятении написаны эти строки, где все путается и мешается в каком-то отупении и изнеможении чувств — глупость и глубокомыслие, вопль души, пустая болтовня и стон отчаяния, а черные мысли, как летучие мыши, шныряют вокруг, вычерчивая сумасшедшие зигзаги. То это лепет о незначащих мелочах, то страшным воплем прорывается стон истерзанной совести, вспыхивает ненависть, но сострадание заглушает ее, и неизменно поверх всего, широко разливаясь и пламенея, катится бурлящий по-

ток любви к тому единственному, чья воля тяготеет над ней, чья рука столкнула ее в эту бездну. Внезапно она замечает, что кончилась бумага. Тогда она продолжает писать на каком-то начатом счете, лишь бы дальше, дальше, все дальше, только бы этот ужас не задушил ее, не удавила тишина, цепляться за него хотя бы словами, за того, к кому она неразрывно прикована, — кандалник к кандалнику, кровь к крови.

Но в то время, как перо в ее трясущейся руке, словно своей волей, летит по бумаге, она замечает, что все в письме сказано не так, как надо было сказать, что нет у нее сил укротить свои мысли, привести их в порядок. Она улавливает это будто другой половиной сознания и заклинает Босуэла — пусть дважды прочтет ее письмо. Но именно потому, что в письме, насчитывающем три тысячи слов, отсутствует путеводная нить дневного сознания и разума, что мысли в нем путаются и кружат в каком-то смутном мелькании, — именно поэтому оно становится своеобразным, единственным в своем роде документом человеческой души. Ибо здесь говорит не разумное существо, нет, в трансе усталости и лихорадки здесь приоткрывается обычно недоступное взору подсознание, нагое чувство, сбросившее последний покров скромности и стыда. Явственные голоса и смутные подголоски, трезвые мысли и такие, которые она не отважилась бы высказать в полном разуме, сменяют друг друга в этой сумятице чувств. То она повторяется, то противоречит себе, все хаотически волнуется и клокочет в кипении и бурлении страсти.

Ни разу или, быть может, только считанные разы доходило до нас признание, в котором духовное и душевное перевозбуждение в момент совершаемого преступления было бы раскрыто с такой полнотой, — нет, никакой Бьюкенен, никакой Мэйтленд, никто из этих архиумников не мог бы с таким знанием дела, с такой пронизательностью, с такой магической точностью измыслить горячечный монолог смятенного сердца, ужасающее положение женщины, которая, совершая тяжкое преступление, не знает иного средства спастись от

терзаний совести, как писать и писать своему возлюбленному, стараясь потеряться, забыться, оправдаться и все объяснить, которая убегает в это письмо, чтобы в окружающей тишине не слышать, как бешено колотится в груди ее сердце. И снова невольно вспоминается леди Макбет: так же в развевающихся ночных одеждах блуждает та по темному замку, преследуемая и теснимая страшными мыслями, и, подобно сомнамбуле, выдает свое преступление в потрясающем монологе. Только Шекспир, только Достоевские способны создавать такие образы, а также их величайшая наставница — Действительность.

Как великолепно уже самое вступление, трогающее сердце до глубины, уже этот начальный затакт: «Я устала, меня клонит в сон, но я не могу не писать, пока есть бумага... Прости мне эти каракули, если чего не разберешь, пусть сердце тебе подскажет... И все же я рада, что могу писать тебе, пока все кругом спят, мне же все равно не уснуть, так рвется все мое существо к тебе, в твои объятия, жизнь моя, мой ненаглядный». С неотразимой проникновенностью рассказывает она, как бедняга Дарнлей обрадовался ее неожиданному приезду: кажется, видишь его перед собой, бедного юношу с еще воспаленным от сильного жара, еще не очистившимся от струпьев лицом. Все эти ночи и дни он лежал один-одинешенек и терзался мыслью, что она, которой он предался душой и телом, так жестоко оттолкнула его и прогнала от себя. И вот она здесь, его прекрасная, юная возлюбленная, эта ласковая женщина снова у его ложа. Бедный глупец так счастлив, что не верит себе — «а вдруг это сон», так рад ее видеть, «что боится умереть от счастья». Минутами в нем, правда, вскипает старое недоверие, свербят незажившие раны. Все произошло так внезапно, что кажется просто невозможным, — и все же это мелкотравчатое сердце, как часто оно ни бывало обмануто, бессильно заподозрить столь грандиозный обман.

Слабому человеку сладко надеяться и верить, тщеславно-

му — легко вообразить, что он любим. Понадобилась самая малость, чтобы Дарнлей растрогался и размяк: он снова ее раб и снова просит, как в ночь после убийства Риччо, прощения за все обиды, что он причинил: «Мало ли твоих подданных против тебя согрешило, и ты всех простила, а ведь я еще так молод. Ты скажешь, что не раз меня простила, а я снова впадаю во все те же ошибки. Но разве не бывает, что человек в мои годы, послушавшись дурного совета, и второй и третий раз впадает во все те же ошибки, нарушает данное слово, но зато уж потом, наученный горьким опытом, окончательно берется за ум? Если ты простишь меня, клянусь, я не заставлю тебя жалеть об этом. И мне ничего от тебя не нужно, только чтобы мы, как верные супруги, делили кров и ложе, а если ты не захочешь меня простить, лучше мне никогда не встать с этой постели... Бог видит, как жестоко я наказан за то, что сотворил себе кумира, и ни о чем не могу думать, кроме тебя одной...»

И снова письмо приоткрывает нам далекую комнату, погруженную в полумрак. Мария Стюарт сидит у изголовья больного и внемлет этому взрыву признаний, этим смиренным клятвам. Пришло ее время торжествовать, план удался на славу, опять она обвела вокруг пальца этого недалекого мальчика. Но ей слишком стыдно своего обмана, чтобы радоваться, в самый разгар вероломных хлопот душит ее отвращение к совершаемой низости. Помрачневшая, пряча глаза, со смятенной душой, сидит она у постели больного, и даже Дарнлей замечает, что его милую гнетет какая-то темная тайна. Бедный, околпаченный дурачок старается — не правда ли, гениальная ситуация! — утешить обманщицу, предательницу, он хочет вселить в нее бодрость, веселье, надежду. Он молит ее остаться с ним эту ночь; злосчастный глупец, он снова бредит любовью и нежностью. Страшно чувствовать через письмо, как слабый мальчик опять доверчиво льнет к ней, как он уже в ней уверен. Нет, он не может не глядеть на нее, безгранично наслаждается он возобновленной близостью, которой так долго был лишен. Он просит ее своими руками нарезать ему мясо

и говорит, говорит и выбалтывает по наивности все свои секреты, называет поименно своих дружков и соглядатаев и, ничего не ведая о ее отношениях с Босуэлом, признается в лютой ненависти к Мэйтленду и Босуэлу. И — да это и вполне естественно — чем доверчивее, чем самозабвеннее он выдает себя, тем больше затрудняет он этой женщине ее задачу предать его, беспомощного, наивного несмышленика.

Против желания, она растрогана, смущена легковерием, бессилием жертвы. Лишь величайшим напряжением воли продолжает она играть эту презренную комедию. «Никогда я от него не слыхала более разумных и кротких речей, и кабы я не знала, что сердце у него из воска, а мое не было бы тверже алмаза, ничей приказ, исключая полученного из твоих рук, не приневолил бы меня побороть сострадание». Видно, что она уже не чувствует ненависти к бедняге, который тянется к ней воспаленным лицом, пожирает ее голодными, нежными глазами; начисто забыла она все зло, которое глупый лгунишка ей причинил, ей от души хотелось бы спасти его. В порыве возмущения она всю вину возлагает на Босуэла: «Никогда бы я не пошла на это, чтобы отомстить за себя». Только во имя любви и ничего другого совершит она столь мерзостный обман, употребив во зло детское доверие. Великолепно звучит вырвавшийся у нее вопль протеста: «Ты вынуждаешь меня к притворству, которое внушает мне ужас и отвращение, ты навязываешь мне роль предательницы. Но помни, если бы не то, что я хочу слушаться тебя во всем, я предпочла бы умереть. Сердце у меня обливается кровью».

Однако раб не может бороться. Он может только стенать, когда свирепый бич гонит его вперед. С покорной жалобой клонит она голову перед своим господином: «Горе мне! Никогда и никого я не обманывала, а теперь во всем покорна твоей воле. Намекни хоть словом, чего ты от меня хочешь, и, что бы со мной ни стряслось, я покорюсь. Подумай также, не надежнее ли было бы прибегнуть к какому-либо снадобью, он собирается в Крэгмиллер, на тамошние воды и купания». Очевид-

но, ей хотелось бы измыслить для несчастного более легкую кончину, избежать грубого, грязного насилия; если бы она хоть в какой-то мере принадлежала себе и не была всецело предана Босуэлу, останься в ней хоть капля душевных сил, хоть искра моральной самостоятельности, она бы непременно — это чувствуется — спасла Дарнлея.

Но она не отваживается на послушание, так как страшится потерять Босуэла и вместе с тем — гениальный психологический штрих, какого не придумать ни одному писателю, — страшится, как бы Босуэл не стал ее презирать за то, что она согласилась на такую низость. С мольбой простирает она руки, умоляя, чтобы он за это «не стал меньше уважать ее, так как он всему причина». На коленях взывает она: путь вознаградит любовью ее нынешние муки. «Всем жертвую я — честью, совестью, счастьем и величием, помни же это и не поддавайся на уговоры своего лживого шурина, ополчающего тебя против самой верной возлюбленной, какая у тебя когда-либо была или будет. И не гляди, что она (жена Босуэла) обливается лживыми слезами, а воззри на меня и на то деяние, на которое я иду против воли, единственно, чтобы заслужить ее место, ради которого я готова попать собственную природу. И да простит мне Бог и да ниспошлет он тебе, бесценный друг, всякого счастья и без счета милостей, каких тебе желает твоя всеподданнейшая и преданнейшая возлюбленная, та, что надеется вскоре стать для тебя чем-то большим в награду за свои муки». Тот, кто непредвзятой душой слышит в этих словах голос измученного, исстрадавшегося сердца, не назовет несчастную убийцей, хотя все, что она делает в эти ночи и дни, ведет к убийству. Ибо чувствуется: в тысячу раз сильнее ее воли ее неволя, ее отвращение и протест. Быть может, в иные часы эта женщина ближе к самоубийству, чем к убийству. Но такова судьба того, кто отдал себя в кабалу: раз отказавшись от своей воли, он уже не волен сам избрать свой путь. Он может лишь служить и повиноваться. И так, спотыкаясь, оступаясь, бредет она все вперед, невольница своей страсти, бессознательная и

в то же время до ужаса сознательная сомнамбула своего чувства, увлекаемая в бездну злодеяния.

Уже на следующий день Мария Стюарт выполнила целиком и полностью все, что ей надлежало сделать: наиболее деликатная, наиболее рискованная часть задачи ей счастливо удалась. Королева усыпила подозрения Дарнлея — бедного недалекого малого не узнать, он заметно повеселел, приободрился, у него уверенный и даже счастливый вид. Еще не оправившийся, ослабевший, с изрытым оспинами лицом, он даже пытается с ней нежничать. Ему бы только обниматься и целоваться, и Марии Стюарт стоит величайших усилий, поборов гадливость, сдерживать его нетерпение. Послушный ее желаниям — так же, как она послушна желаниям Босуэла, — невольник невольницы, он объявляет, что согласен вернуться с ней в Эдинбург.

Еще больной, закрыв лицо тонким суконным покрывалом, чтобы никто не видел, как оно обезображено, он доверчиво разрешает перенести себя из надежного родительского замка в ожидающую его телегу. И вот наконец жертва на пути к мяснику. Грубой, кровавой частью работы займется Босуэл, этому отъявленному цинику она дастся неизмеримо легче, чем далось Марии Стюарт ее предательство.

Медленно катится телега под эскортом верховых по зимней морозной дороге, во вновь обретенном согласии после долгих месяцев непримиримой вражды возвращается в Эдинбург королевская чета. В Эдинбург, но куда же именно? Разумеется, в Холирудский замок, скажете вы, в королевскую резиденцию, в уютные княжеские палаты. Но нет. Босуэл, всемогущий, распорядился иначе. Король не вернется к себе в замок — якобы потому, что не прошла еще опасность заразы. Ну, тогда, значит, в Стирлинг или в Эдинбургский замок, эту гордую, неприступную крепость? В крайнем случае он заедет погостить в какой-нибудь другой княжеский дом, хотя бы во дворец епископа. Опять-таки нет! В силу каких-то сугубо подозрительных обстоятельств выбор падает на весьма не-

взрачный, одиноко стоящий дом, о котором до сей поры не могло быть и речи, — отнюдь не господские хоромы, к тому же и расположенный в подозрительной местности, за городскими стенами, среди садов и пустырей, — дом, полуразрушенный и годами пустовавший, дом, который трудно охранять и защищать, — странный и знаменательный выбор! Поневоле спросишь, кому взбрело в голову отвести для короля это подозрительно уединенное жилье в Керк о'Филде, по соседству с пользующейся дурной славой Воровской слободой (Thieves Row). И опять-таки здесь замешан Босуэл, ведь он нынче все и вся в Шотландии (all in all). Повсюду и везде — в письмах, документах, дознаниях — неизменно к нему ведет кровавый след.

Этот невзрачный, недостойный короля, затерянный среди пустырей домик, к которому прилегает только одна усадьба, принадлежащая кому-то из приспешников Босуэла, состоит всего лишь из прихожей и четырех комнат. Внизу помещается импровизированная спальня королевы, которой вдруг пришла охота ходить за больным супругом, хотя еще недавно она и слышать о нем не хотела; вторая комната отведена ее ближним женщинам. Комната побольше наверху предназначена королю, а рядом — помещение для его челядинцев. Для этих приземистых комнатушек в подозрительном доме не жалеют убранства, из Холируда доставлены ковры и богатые шпалеры, специально для короля переправляется одна из великолепных кроватей, вывезенных Марией де Гиз из Франции, вторая ставится внизу для королевы. А уж Мария Стюарт прямо разрывается от усердия — всемерно подчеркивает она свою нежную заботу о Дарнлее. По несколько раз на дню навещает она его со всей свитой, не давая скучать, это она-то, которая — не мешает лишний раз напомнить — уже много месяцев как бежит его, точно зачумленного. Три ночи — с четвертого по седьмое февраля — она, покинув свой удобный дворец, ночует в этом уединенном доме. Пусть каждый в Эдинбурге убедится, что король и королева снова живут душа в душу.

Нарочито и даже, можно сказать, навязчиво афишируется это благоденствие, это задушевное согласие перед всем городом. Легко себе представить, как неожиданный поворот в расположении королевы был воспринят всеми, а особенно лордами, с которыми Мария Стюарт еще недавно обсуждала, как бы ей вернее отделаться от мужа. И вдруг эта внезапная, бурная и чересчур уж подчеркиваемая супружеская любовь! Самый догадливый из лордов, Меррей, по-видимому, делает свои выводы — об этом явствует его дальнейшее поведение: он ни на секунду не сомневается, что в этом на диво уединенном домике ведется сомнительная игра, и, как истый дипломат, принимает меры.

И, может быть, только один человек во всем городе, во всей стране свято верит в изменившееся расположение королевы — Дарнлей, незадачливый супруг. Его тщеславию льстит ее забота; с гордостью видит он, что лорды, еще недавно с презрением от него отворачивавшиеся, спешат к его постели с поклонами, с участливыми минами. Исполненный признательности, докладывает он седьмого февраля отцу в письме, как поправилось его здоровье благодаря тщательному уходу королевы, которая выказала себя на этот раз истинно любящей женой. Врачи предвещают ему скорое выздоровление, лицо его почти очистилось, ему разрешено переехать во дворец — на понедельник утром заказаны лошади. Еще один день, и он вернется в Холируд, где снова будет делить с королевой «bed and board»*, и наконец-то опять воцарится в своем государстве и в ее сердце.

Но понедельнику — десятому февраля — предшествует воскресенье — девятое февраля, — на вечер которого в Холирудском замке назначено веселое празднество. Двое самых верных слуг Марии Стюарт справляют свадьбу: по этому слу-

*Постель и стол (англ.).

чаю состоится пышный банкет и бал, на котором обещала быть сама королева. Но в программе дня не только это общеизвестное событие — есть и другое, все значение которого выяснится только впоследствии. Девятого утром Меррей внезапно спрашивает у сестры дозволения ненадолго отлучиться, он уезжает денька на два, на три в один из своих замков навестить заболевшую жену. А это недобрый знак. Ибо, когда Меррей исчезает с политической арены, у него имеются на то серьезные основания. Что бы здесь ни случилось — переворот или какое-либо трагическое происшествие, — он всегда может потом сказать, что его при этом не было. Тот, кто чувствителен к приближению грозы, должен был бы забеспокоиться, увидев, как этот расчетливый, дальновидный человек спешит ретироваться, пока не ударил гром. И года не прошло, как он с таким же невинным видом въехал в Эдинбург наутро после убийства Риччо; и вот он уже снова уезжает как ни в чем не бывало — утром того самого дня, когда должно свершиться еще большее злодеяние, предоставляя другим расклебывать кашу, а всю честь и корысть приберегая для себя.

И еще один симптом, наводящий на размышление. По-видимому, королева уже сейчас приказывает переправить из Керк о'Филда в Холируд свое пышное ложе с меховыми одеялами. Само по себе это распоряжение вполне уместно: ближайшую ночь, ночь долгожданного бала, она все равно проведет в замке, а не в Керк о'Филде, а там — и конец разлуке. Но это нетерпеливое желание скорее переправить на место драгоценное ложе в дальнейшем, по ходу разбирательства, послужит пищей для всяких толков и кривотолков. Правда, и после обеда и вечером ничто не предвещает трагических событий, да и поведение Марии Стюарт ни капли не отличается от обычного. Днем она в обществе друзей посещает выздоравливающего супруга, вечером, вместе с Босуэлом, Хантлеем и Аргайлом, весело пирует на свадьбе своих челядинцев. А главное, ну до чего трогательно: опять — в самом деле, до чего же трогательно! — опять спешит она, хотя Дарнлей вот-вот вер-

нется в Холируд, спешит морозной зимней ночью туда, в уединенный домик Керк о'Филда. Безо всякого прерывает оживленную застольную беседу, чтобы еще полчаса посидеть у изголовья мужа и поболтать с ним.

До одиннадцати вечера — не мешает поточнее заметить время — засиживается Мария Стюарт в Керк о'Филде и только тогда возвращается к себе, в Холируд; в темноте ночи далеко заметна сверкающая шумливая кавалькада, полыхают факелы, мелькают фонари, доносятся взрывы веселого смеха. Раскрываются ворота — весь Эдинбург сможет потом засвидетельствовать, что королева, как нежная жена, проведав больного мужа, вернулась в Холируд, где под пение скрипок и наигрыш волынок вихрем кружатся танцующие пары. Еще раз смешивается веселая, словоохотливая королева с толпой свадебных гостей и только за полночь удаляется в свои покои, чтобы отойти ко сну.

В два часа ночи от грома содрогнулась земля. Страшный взрыв, «будто выпалили из двадцати пяти пушек», сотряс воздух. И сразу же стало видно, как со стороны Керк о'Филда побежали сломя голову какие-то подозрительные фигуры: что-то ужасное, должно быть, стряслось в уединенном домике у короля. Весь город, объятый страхом и волнением, проснулся и уже на ногах. Распахиваются городские ворота, и в Холируд устремляются гонцы с ужасной вестью, что одинокий домик в Керк о'Филде вместе с королем и его челядью взлетел на воздух. Босуэла, пировавшего на свадьбе, — очевидно, чтобы обеспечить себе алиби, меж тем как его молодцы готовили взрыв, — сонного поднимают с постели, вернее, он делает вид, будто крепко спал. Он второпях одевается и вместе с вооруженной стражей спешит на место преступления. Трупы Дарнлея и слуги, спавшего в его комнате, находят в саду, в одних рубашках. Дом полностью разрушен пороховым взрывом. Установлением этого весьма для него, по-видимому, неожиданного и прискорбного факта Босуэл и ограничивается. Так как

существо дела известно ему лучше, чем кому-либо, он не дает себе труда расследовать, что здесь произошло. Он приказывает подобрать трупы и уже через каких-нибудь полчаса возвращается в замок. И здесь он может доложить ничего не подозревающей королеве, так же, как и он, разбуженной среди крепкого сна, один только голый факт: ее супруг, Генрих, король Шотландский, убит неведомыми злодеями, скрывшимися неведомо куда.

Г Л А В А X I I I

QUOS DEUS PERDÈRE VULT...

С февраля по апрель 1567 года

Страсть способна на многое. Она может пробудить в человеке небывалую, сверхчеловеческую энергию. Она может своим неослабным давлением выжать даже из самой уравновешенной души поистине титанические силы и, ломая все нормы и формы узаконенной нравственности, отважиться и на преступление. Но так же неотъемлемо для нее другое: после стихийного взрыва пароксизм страсти, как бы истощив себя, никнет, спадает. И этим, по существу, отличается преступник по страсти, действующий в состоянии аффекта, от подлинного, прирожденного, закоренелого преступника. У случайного преступника, преступника по страсти, обычно хватает сил лишь на само деяние, и очень редко на его последствия. Действуя по первому побуждению, слепо устремленный на задуманное, он все свои душевные силы отдает одной-единственной цели; но едва она достигнута, едва деяние совершено, как вся его энергия словно отливает, уходит решимость, изменяет разум, отказывает мудрость, и это в то самое время, как трезвый, расчетливый преступник вступает со следователями и судьями в изворотливый поединок. Не для самого деяния, как мы видим у преступника по страсти, а для последующей самозащиты приберегает он максимум своих душевных сил.

Мэри Стюарт — и это не умаляет, а возвышает ее в глазах потомства — не хватило мужества для той преступной ситуации, в которую поставила ее зависимость от Босуэла, ибо если она и сделалась преступницей, то лишь по безрассудству страсти, не своей, а чужой волей. В свое время у нее не достало сил предотвратить катастрофу, а теперь, когда дело сделано, она и вовсе растерялась. Ей остается одно из двух: или решительно, с чувством омерзения порвать с Босуэлом, который, в сущности, зашел дальше, чем она внутренне допускала, отмежеваться от его деяния, или же, наоборот, помочь ему замести следы, а следовательно, лицемерить, надеть личину страдания, чтобы отвести подозрение от него и от себя. Но вместо этого Мария Стюарт делает самое безрассудное, самое нелепое, что только можно сделать в ее положении, — то есть ровно ничего. Она остается нема и недвижима и этой полной растерянностью выдает себя с головой. Как заводная игрушка, автоматически выполняющая несколько предписанных движений, она в каком-то трансе покорности подчинилась всем приказаниям Босуэла: поехала в Глазго, успокоила Дарнлея и завлекла его обратно домой. Но завод кончился, и механизм бездействует. Именно сейчас, когда ей надо разыграть безутешную скорбь и потрясти патетической игрой весь мир, чтобы он безоговорочно поверил в ее невиновность, именно сейчас она устало роняет маску; какое-то окаменение чувств, жестокий душевный столбняк, какое-то необъяснимое равнодушие находят на нее; безвольная, она и не пытается защищаться, когда над ней дамокловым мечом нависает подозрение.

Этот странный душевный столбняк, поражающий человека в минуты опасности и словно замораживающий его, обрекая на полное бездействие и безучастие в минуты, когда ему особенно необходимы притворство, самозащита и внутренняя собранность, сам по себе не представляет ничего необычного. Подобное окаменение души — лишь естественная реакция на чрезмерное напряжение, коварная месть природы тому, кто нарушает ее границы.

У Наполеона в канун Ватерлоо исчезает вся его дьявольская сила воли; молча, как истукан, сидит он и не отдает распоряжений, хотя именно сейчас, в минуту катастрофы, они особенно необходимы; куда-то внезапно утекли его силы, как утекает вино из продырявленной бочки. Подобное же оцепенение находит на Оскара Уайльда перед арестом; друзья вовремя предупредили его, у него довольно времени и денег, он может сесть в поезд и бежать через Ла-Манш. Но и на него нашел столбняк, он сидит у себя в номере и ждет — ждет неизвестно чего — то ли суда, то ли гибели.

Только подобные аналогии — а история знает их тысячи — помогают нам уяснить поведение Марии Стюарт, ее нелепое, бессмысленное, предательски пассивное поведение тех недель, которое, собственно, и навлекло на нее подозрение. До самой катастрофы ничто не указывало на ее договоренность с Босуэлом, ее поездка к Дарнлею могла и вправду означать попытку примирения. Но после смерти Дарнлея его вдова сразу же оказывается в фокусе общего внимания, и теперь либо ее невиновность должна со всей очевидностью открыться миру, либо притворство должно поистине стать гениальным. Но судорожное отвращение к притворству и лжи, видимо, владеет несчастной. Вместо того чтобы рассеять законное подозрение, она полным безучастием еще усугубляет свою вину в глазах мира, представляясь более виновной, чем даже, возможно, была. Подобно самоубийце, бросающемуся в бездну, закрывает она глаза, чтобы ничего не видеть, ничего не чувствовать, она словно жаждет погрузиться в небытие, где нет места мучительному раздумью и сомнению, а только конец, гибель. Вряд ли история криминалистики когда-либо являла миру другой такой патологически законченный образец преступника по страсти, который в своем деянии истощает все силы и гибнет. *Quos deus perdere vult...* Кого боги замыслили погубить, у того они отнимают разум.

Ибо как повела бы себя невинная, честная, любящая жена-королева, когда бы посланный принес ей среди ночи ужасную весть, что супруг ее только что убит неведомыми злодеями? Она вскочила бы, точно ужаленная, как если б крыша пылала у нее над головой. Она кричала бы, бесновалась, требовала бы, чтобы виновных тотчас схватили. Она бросила бы в тюрьму всякого, на кого пала хоть тень подозрения. Она взывала бы к сочувствию народа, она просила бы чужеземных государей задерживать на своих рубежах всех беглых из страны. Так же как после кончины Франциска II, заперлась бы она в своей опочивальне и, не выходя ни днем, ни ночью, изгнала бы на долгие недели и месяцы всякое помышление о мирских радостях, развлечениях и веселье в кругу друзей, а главное, не знала бы ни отдыха, ни покоя, пока не был бы схвачен и казнен каждый соучастник злодеяния, каждый виновный в преступном укрывательстве.

Вот как, казалось бы, должна была проявить себя честная, истинно любящая жена, на которую неожиданно-негаданно обрушилось такое известие. И каким это ни звучит парадоксом, примерно эти же чувства, по законам логики, должна была бы симулировать соучастница преступления, ибо ничто так не страшит преступника от подозрений, как вовремя надетая личина невинности и неведения. А между тем Мария Стюарт выказывает после катастрофы такое чудовищное равнодушие, что это бросилось бы в глаза даже самому наивному человеку. Ни следа того возмущения, той мрачной ярости, в которую ввергло ее убийство Риччо, или меланхолической отрешенности, которая овладела ею после смерти Франциска II. Она не посвящает памяти Дарнлея прочувствованной элегии, вроде той, какую написала на смерть первого мужа, но с полным самообладанием спустя лишь несколько часов после получения страшной вести подписывает увертливые послания ко всем иноземным дворам, чтобы хоть как-то объяснить убийство, а главное, выгородить себя. В этой более чем странной реляции все поставлено на голову, и дело рисуется так,

будто убийцы покушались на жизнь не столько Дарнлея, сколько самой Марии Стюарт. По этой, официальной, версии заговорщики якобы находились в заблуждении, полагая, что королевская чета ночует в Керк о'Филде, и только чистая случайность, а именно то, что королева вернулась на свадебное пиршество, помешала ей погибнуть вместе с королем. Бестрепетной рукой подписывает Мария Стюарт заведомую ложь: королеве-де пока еще неизвестно, кто истинные виновники злодеяния, но она полагается на рвение и усердие своего коронного совета, которому поручено учинить розыск; она же намерена так покарать злодеев, чтобы это стало острасткой и примером на все времена.

Такая подтасовка фактов слишком бросается в глаза, чтобы обмануть кого-либо. Весь Эдинбург видел, как королева в одиннадцатом часу вечера во главе большой кавалькады, далеко озарившей ночь факелами, возвращалась в Холируд из уединенной усадьбы Керк о'Филда. Весь город знал, что она не ночует у мужа, и, значит, сторожившие в темноте убийцы заведомо не покушались на ее жизнь, когда три часа спустя взорвали дом. Да и взрыв был произведен лишь для отвода глаз, скорее всего Дарнлея придушили злодеи, заранее проникшие в дом, — очевидная несуразность официального сообщения лишь усиливает чувство, что дело не чисто.

Но, как ни странно, Шотландия молчит; не только безучастность Марии Стюарт в эти дни настораживает мир, настораживает и безучастность страны. Вы подумайте: случилось нечто невероятное, неслыханное даже в анналах этой кровью писанной истории. Король Шотландский убит в своей столице, мало того, пал жертвой взрыва. И что же происходит? Содрогнулся ли весь город от ужаса и негодования? Стекаются ли из своих замков дворяне и бароны, чтобы защитить королеву, чья жизнь будто бы в опасности? Взывают ли проповедники со своих кафедр о возмездии? Предпринимают ли власти необходимые меры для разоблачения убийц? Запирают ли городские ворота, берут ли сотнями под стражу подозритель-

ных лиц и пытаются ли их на дыбе? Закрывают ли границы, проносят ли тело убиенного по улицам в траурном шествии всей шотландской знати? Воздвигают ли катафалк на площади, освещая его свечами и факелами? Созывают ли парламент, чтобы заслушать донесение о неслыханном злодеянии и вынести приговор? Собираются ли лорды, защитники трона, на крестное целование, чтобы клятвенно подтвердить свою готовность преследовать убийц? Ничего этого нет и в помине.

Странная, зловещая тишина следует за ударом грома. Королева, вместо того чтобы воззвать к народу, заперлась во дворце. Хранят молчание лорды. Ни Меррей, ни Мэйтленд не подают признаков жизни, притаились все те, кто преклонял перед королем колена. Они не осуждают убийство и не славят его, настороженно затаились они в тени и ждут, как развернутся события; чувствуется, что гласное обсуждение царубийства им пока не по нутру, ведь так или иначе они были во все посвящены. Да и горожане запираются в четырех стенах и только с глазу на глаз обмениваются догадками. Они знают: маленькому человеку лучше не соваться в дела больших господ, того гляди притянут за чужие грехи. Словом, на первых порах все идет так, как и рассчитывали убийцы: будто произошло пусть и досадное, но не слишком значительное происшествие.

В истории Европы, пожалуй, не было случая, чтобы весь королевский двор, вся знать, весь город с такой постыдной трусостью старались прошмыгнуть мимо царубийства; всем на удивление, забывают о самых элементарных мерах для прояснения обстоятельств убийства. Ни полицейские, ни судебные власти не осматривают места преступления, не снимаются показания, нет ни сколько-нибудь вразумительного сообщения о происшедшем, ни обращения к народу, проливающего свет на загадочное происшествие, — словом, дело всячески заминают. Труп убитого так и не подвергается медицинскому и судебному освидетельствованию; и поныне неизвестно, был ли Дарнлей задушен, заколот или (труп был найден в

саду с почерневшим лицом) отравлен еще до того, как убийцы взорвали дом, поистине не пожалев пороху. А чтобы не было лишних разговоров и чтобы не слишком много людей видели труп, Босуэл самым непристойным образом торопит с похоронами. Лишь бы скорее упрятать в землю Генри Дарнлея, похоронить всю эту грязную историю, чтобы не была в нос!

И что каждому бросается в глаза, каждому показывает, какие высокие лица замешаны в убийстве, — Генри Дарнлея, короля Шотландии, даже не удосужились похоронить, как подобает. Тело не только не выставляют на катафалке для торжественного прощания, не только не провозят по городу в пышном погребальном кортеже, предшествуемом безутешной вдовой, всеми лордами и баронами. Никто не палит из пушек, никто не звонит в колокола; тайком, в ночи, выносят гроб в часовню. Без всякой помпы, без почестей, в трусливой спешке тело Генри Дарнлея, короля Шотландии, опускают в склеп, как будто он был убийцей, а не жертвой чужой ненависти и неукротимой алчности. А там... отслужили мессу — и по домам! Пусть бесталанная душа не тревожит больше мира в Шотландии! *Quos deus perdere vult...*

Мария Стюарт, Босуэл и лорды рады бы гробовой крышкой прихлопнуть всю эту темную аферу. Но во избежание лишних вопросов, а также дабы Елизавета не вздумала жаловаться, что ничего не предпринято для раскрытия преступления, решено сделать вид, будто что-то делается. Спасаясь от настоящего следствия, Босуэл снаряжает следствие мнимое: этой маленькой уступкой он хочет откупиться от общественного мнения, пусть думают, что «неведомых убийц» усердно ищут. Правда, всему городу известны их имена: слишком много понадобилось соучастников, чтобы следить за усадьбой, закупить всю эту уйму пороху и перетаскать его мешками в дом. Немудрено, что кого-то и заметили, да и караульные у городских ворот прекрасно помнят, кого они ночью вскоре после взрыва впускали в город. Но поскольку коронный совет

Марии Стюарт, в сущности, состоит теперь из Босуэла да Мэйтленда — из соучастника и укрывателя, — а им довольно поглядеться в зеркало, чтобы увидеть истинных зачинщиков, то версия о «неведомых злодеях» остается в силе и даже обнародуется грамота: две тысячи шотландских фунтов обещано тому, кто назовет имена виновных. Две тысячи шотландских фунтов — заманчивая сумма для бедняка-горожанина, но каждый понимает, что стоит сказать лишнее слово, и вместо двух тысяч фунтов заработаешь нож в бок. Босуэл же учреждает нечто вроде военной диктатуры, и его верные приспешники, the borderers, грозно скачут по улицам города. Оружие, которым они потрясают, достаточно внушительно, чтобы у всякого отпала охота молоть языком.

Но когда правду хотят подавить силой, она отстаивает себя хитростью. Закройте ей рот днем, и она заговорит ночью. Уже наутро после оглашения грамоты о награде находят на рыночной площади афишки с именами убийц, а одну такую афишку кто-то даже умудрился прибить к воротам Холируда, королевского замка. В листках открыто называются Босуэл и Джеймс Балфур, его пособник, а также слуги королевы — Бастьен и Джузеппе Риччо; на других афишках стоят и другие имена. Но в каждой неизменно повторяются все те же два имени: Босуэл и Балфур, Балфур и Босуэл.

Если бы чувствами Марии Стюарт не владел демон, если бы ее разум и воображение не были затоплены грозовой страстью, если бы ее воля не была в подчинении, ей, раз уж голос народа прозвучал так явственно, оставалось одно — отречься от Босуэла. Ей надо было, сохранись в ее затуманенной душе хоть искра благоразумия, решительно от него отмежеваться. Надо было прекратить с ним всякое общение, доколе с помощью искусных маневров его невиновность не будет удостоверена «официально», после чего под благовидным предлогом удалить его от двора. И только одного не следовало ей делать: допускать, чтобы человек, которого чуть ли не вся улица открыто и про себя называет убийцей короля, ее супруга, чтобы

этот человек заправлял в шотландском королевском доме, и уж, во всяком случае, не следовало допускать, чтобы тот, кого общественное мнение клеймило как вожака преступной шайки, возглавил следствие против «неведомых злодеев».

Но что того хуже и нелепее: на афишках рядом с именами Босуэла и Балфура в качестве их пособников назывались двое слуг Марии Стюарт — Бастьен и Джузеппе Риччо, братья Давида. Что же должна была сделать Мария Стюарт в первую очередь? Разумеется, предать суду людей, обвиняемых народной молвой. А вместо этого — и тут недалеко видность граничит с безумием и самообвинением — она тайно отпускает обоих со своей службы, их снабжают паспортами и срочно, контрабандой переправляют за границу. Словом, она поступает не так, как диктуют закон и честь, а наоборот: чем выдать суду заподозренных, содействует их побегу и, как укрывательница, сама себя сажает на скамью подсудимых. Но этим не исчерпывается ее самоубийственное безумие! Достаточно сказать, что ни одна душа в эти дни не видела на ее глазах ни слезинки; не уединяется она и в свою опочивальню — на сорок дней в одежде скорби (*de deuil blanc*), хотя на этот раз у нее во сто крат больше оснований облечься в траур, а, едва выждав неделю, покидает Холируд и отправляется гостить в замок лорда Сетона. Даже простую видимость придворного траура не соблюдает эта вдова, а главное, верх провокации — это ли не вызов, брошенный всему свету! — в Сетоне она принимает посетителя — и кого же? Да все того же Джеймса Босуэла, чье изображение с подписью «Цареубийца» раздают в эти дни на улицах Эдинбурга.

Но Шотландия не весь мир, и если лорды, у которых совесть нечиста, если запуганные обыватели помалкивают с опаской, делая вид, будто вместе с прахом короля погребен и всякий интерес к преступлению, то при дворах Лондона, Парижа и Мадрида не так равнодушно взирают на ужасное убийство. Для Шотландии Дарнлей был чужак, и когда он всем опостылел, его обычным способом убрали с дороги; иначе смотрят на

Дарнлея при европейских дворах: для них он король, помазанник Божий, один из их августейшей семьи, одного с ними неприкосновенного сана, а потому его дело — их кровное дело. Разумеется, никто здесь не верит лживому сообщению: вся Европа с первой же минуты считает Босуэла зачинщиком убийства, а Марию Стюарт — его поверенной; даже папа и его легат в гневе обличают ослепленную женщину. Но не самый факт убийства занимает и волнует иноземных государей. В тот век не слишком считались с моралью и не так уж щепетильно оберегали человеческую жизнь. Со времен Макиавелли на политическое убийство в любом европейском государстве смотрят сквозь пальцы, подобные примеры найдутся чуть ли не у каждой правящей династии. Генрих VIII не стеснялся в средствах, когда ему нужно было избавиться от своих жен; Филиппу II было бы крайне неприятно отвечать на вопросы по поводу убийства его собственного сына, дон Карлоса; семейство Борджа не в последнюю очередь обязано своей темной славой знаменитым ядам. Вся разница в том, что каждый государь, кто бы он ни был, страшится навлечь на себя хотя бы малейшее подозрение в соучастии: преступления совершают другие, их же руки остаются чисты. Единственное, чего ждут от Марии Стюарт, это хотя бы видимости самооправдания, и, что пуще всего досаждало всем, — это ее нелепая безучастность!

С удивлением, а затем и с досадой взирают иноземные государи на свою неразумную, ослепленную сестру, которая и пальцем не шевельнет, чтобы снять с себя подозрение: чем, как это обычно делается, распорядиться повесить или четвертовать одного-двух мелких людишек, она забавляется игрой в мяч, избирая товарищем своих развлечений все того же архи-преступника Босуэла. С искренним волнением докладывает Марии Стюарт ее верный посланник в Париже о неблагоприятном впечатлении, какое производит ее пассивность: «Здесь на Вас клеветают, изображая Вас первопричиною преступления; говорят даже, будто оно совершено по Вашему приказу».

И с прямою, которая на все времена делает ему честь, отважный служитель церкви заявляет своей королеве, что если она решительно и бесповоротно не искупит свой грех, «то лучше было бы для Вас лишиться жизни и всего, чем Вы владеете».

Таковы ясные слова друга. Когда бы эта потерянная душа сохранила хоть крупицу разума, хоть искру воли, она воспрянула бы и взяла себя в руки. Еще настоятельнее звучит соболезнующее письмо Елизаветы. Удивительное стечение обстоятельств: ни одна женщина, ни один человек на земле не могли бы так понять Марию Стюарт в этот страшный час, после ужаснейшего свершения всей ее жизни, как та, что искони была ее злейшей противницей. Елизавета, должно быть, видела себя в этом деянии, как в зеркале; ведь и она была когда-то в таком положении, и на нее пало ужасное и, по-видимому, столь же оправданное подозрение в пору самого пламенного увлечения ее Дадлеем-Лестером. Как здесь — супруг, так там на пути любовников стояла супруга, которую нужно было устранить, чтобы открыть им дорогу к венцу; с ведома Елизаветы или нет свершилось ужасное — мир никогда не узнает, но только однажды утром Эйми Робсарт, жену Роберта Дадлея, нашли убитой так же, как в случае Дарнлея, «неведомыми убийцами». И тотчас же все взгляды, обвиняя, обратились на Елизавету, как теперь — на Марию Стюарт; да и сама Мария Стюарт, в то время еще королева Французская, легкомысленно иронизировала над своей кузиной, говоря, что та намерена «выйти за своего шталмейстера (master of the horses), который к тому и женоубийца». Так же, как сейчас в Босуэле, весь мир видел тогда в Лестере убийцу, а в королеве его пособницу. Воспоминания о пережитых потрясениях и сделали Елизавету в этом случае лучшей и подлинно искренней советчицей данной ей роком сестры. Ибо мудро и мужественно поступила тогда Елизавета, спасая свою честь: она назначила расследование, безуспешное, конечно, но все же расследование. А главное, она обрезала крылья молве, отказавшись от заветного своего желанья — брака с Лестером, кото-

рый так очевидно для всех запутался. Убийство, таким образом, потеряло всякую связь с ее особой: и этой же тактике советует Елизавета придерживаться Марии Стюарт.

Письмо от 24 февраля 1567 года замечательно еще и тем, что это поистине письмо Елизаветы, письмо женщины, письмо человека. «Madame, — восклицает она в своем прочувствованном послании, — я так встревожена, подавлена, так ошеломлена ужасным сообщением о гнусном убийстве Вашего покойного супруга, а моего безвременно погибшего кузена, что еще не в силах писать об этом; но как ни побуждают меня мои чувства оплакать смерть столь близкого родича, скажу по совести, больше, чем о нем, скорблю я о Вас. О Madame, я не выполнила бы долга Вашей преданной кузины и верного друга, когда бы постаралась сказать Вам нечто приятное, вместо того чтобы стать на стражу Вашей чести; а потому не стану таить слухов, какие повсюду о Вас распространяют, будто Вы расследование дела намерены вести спустя рукава и остерегаетесь взять под стражу тех, кому обязаны этой услугой, давая повод думать, что убийцы действовали с Вашего согласия. Поверьте, ни за какие богатства мира не вскормила бы я в своем сердце мысли столь чудовищной. Никогда бы я не приютила в нем гостя столь зловещего, никогда бы не решилась так дурно помыслить о государыне, особенно же о той, которой желаю всего наилучшего, что только может подсказать мне сердце или чего сами Вы себе желаете. А потому призываю Вас, заклинаю и молю: послушайте моего совета, не бойтесь задеть и того, кто Вам всех ближе, раз он виновен, и пусть никакие уговоры не воспрепятствуют Вам показать всему миру, что Вы такая же благородная государыня, как и добропорядочная женщина».

Более честного и человеческого письма эта лицемерка, пожалуй, никогда не писала; выстрелом из пистолета должно было оно прозвучать в ушах оглушенной женщины и наконец пробудить ее к действительности. Снова ей перстом указуют на Босуэла, снова неопровержимо убеждают, что малейшее

снисхождение обличит ее саму как соучастницу. Но состояние Марии Стюарт в эти недели — приходится еще и еще раз подчеркнуть это — состояние полной поработанности. Она так «shamefully enamoured», постыдно влюблена в Босуэла, что, как доносит в Лондон один из соглядатаев Елизаветы, «по ее же словам, готова все бросить и в одной сорочке последовать за ним на край света». Она глуха к увещаниям, ее разум уже не волен над бурлением крови. И поскольку сама она себя забывает, ей кажется, что и мир забудет ее и ее деяние.

Некоторое время — весь март месяц — пассивность Марии Стюарт как будто бы себя оправдывает. Вся Шотландия молчит, ее вершители суда как бы ослепли и оглохли, а Босуэл — поистине беспримерный случай — при всем желании бессилён найти «неведомых злодеев», хотя в каждом доме и на каждом перекрестке горожане шепотом сообщают друг другу их имена. Все знают и называют их, и никто не рискует ценой собственной жизни добиваться обещанной награды. Но вот раздаётся голос. Отцу убитого, графу Леноксу, одному из влиятельнейших вельмож в стране, нельзя же отказать в ответе, когда он справедливо ропщет, что по истечении стольких дней никаких серьезных мер не принято для поимки и наказания убийц его сына. Мария Стюарт, которая делит ложе с убийцей и чьей рукой водит укрыватель Мэйтленд, отвечает, разумеется, уклончиво: она, конечно, сделает все от нее зависящее и поручит расследование парламенту. Но Ленокс прекрасно знает цену такому ответу и повторяет свое требование. Пусть для начала, заявляет он, арестуют тех, чьи имена были названы в афишках, расклеенных по всему Эдинбургу. На требование, так ясно сформулированное, ответить уже труднее.

Мария Стюарт снова увиливает: она охотно бы так и сделала, но в афишках указывались столь многие и столь различные имена, никак друг с другом не связанные, — пусть Ленокс сам скажет, кого он подозревает. Очевидно, она надеется, что из страха перед всемогущим диктатором, учредившим в стране террор, Ленокс не решится произнести опасное имя Босуэла.

Но Ленокс тем временем заручился поддержкой и укрепился духом: он снесся с Елизаветой и отдал себя под ее защиту. Ясно и недвусмысленно, недрогнувшей рукой выписывает он, к всеобщему замешательству, имена всех тех, против кого требует учредить следствие. Первым в списке стоит Босуэл, за ним Балфур, Дэйвид Чалмерс и кое-кто помельче из людей Марии Стюарт и Босуэла — господа давно постарались сплавить их за границу, чтобы они на дыбе не сболтнули лишнего.

И тут обескураженной Марии Стюарт наконец становится ясно, что играть комедию, вести следствие «спустя рукава» ей больше не удастся. За упорством Ленокса она угадывает Елизавету со всей присущей той энергией и авторитетом. Тем временем и Екатерина Медичи в весьма резкой форме уведомляет Марию Стюарт, что отныне считает ее обесчещенной (dishonoured) и что Шотландии нечего рассчитывать на дружбу Франции, доколе убийство не будет искуплено добросовестным и беспристрастным судебным следствием. Единственное, что остается Марии Стюарт, — это круто повернуть и заменить комедию «тщетных» розысков другой комедией — гласного судопроизводства. Она вынуждена дать согласие на то, чтобы Джеймс Босуэл — мелкими людишками можно будет заняться позднее — предстал перед судом дворян. Двадцать восьмого марта граф Ленокс получает официальное приглашение в Эдинбург с тем, чтобы двенадцатого апреля он предъявил Босуэлу свои обвинения.

Однако Босуэл не из тех, кто в покаянной одежде, смиренно и робко спешит предстать перед судьями. И если он не отказывается явиться на вызов, то лишь потому, что намерен всеми средствами добиваться не осуждения, а оправдательного приговора — *cleansing*. Энергично берется он за приготовления. В первую очередь он побуждает королеву передать под его команду все крепости страны. Все наличное оружие и боевые припасы теперь в его непосредственном ведении. Он знает: сильный всегда и прав; к тому же он созвал в Эдинбург всю банду своих *borderers* и снарядил их словно для битвы. Не

ведая стыда и сраму, с присущей ему бесцеремонностью и цинизмом, этот повадливый на все дурное человек устанавливает в Эдинбурге самый настоящий режим террора. «Дайте мне только дознаться, — заявляет он во всеуслышание, — чьи людишки разбросали по городу подметные грамоты, и я омою руки в их крови», — серьезнейшее предупреждение Леноксу. Он так и ходит, держа руку на кинжале, и точно так же, угрожая кинжалами, шатаются по городу его люди, недвусмысленно заявляя, что они не позволят, чтобы предводителя их клана, словно преступника, таскали по судам. Пусть только Ленокс посмеет сунуться сюда и оговорить его! Пусть только судьи попробуют осудить его, диктатора Шотландии!

Эти приготовления так афишируются, что у Ленокса не остается сомнений насчет того, что его ждет. Никто не возражает ему приехать в Эдинбург и предъявить Босуэлу свои обвинения, но уж после этого Босуэл не выпустит его из города живым. И снова обращается он к своей заступнице Елизавете, и та без колебаний шлет Марии Стюарт весьма энергичное письмо, предупреждая ее, пока не поздно, не мирволить столь явному беззаконию, дабы не навлечь на себя подозрения в соучастии.

«Madame, я не позволила б себе беспокоить Вас этим письмом, — пишет она в крайнем раздражении, — когда б меня не приневолила к тому заповедь, предписывающая нам возлюбить ближнего, не приневолили слезные мольбы несчастных. Мне известно, Madame, Ваше распоряжение, коим разбирательство по делу лиц, подозреваемых в убийстве Вашего супруга, а моего почившего кузена, назначено на 12-е сего месяца. Чрезвычайно важно, чтобы событию этому не помешали тайные козни и коварные происки, что вполне возможно. Отец и друзья покойного смиренно молят меня воззвать к Вам, чтобы Вы отложили судебное заседание, так как известно стало, что некие бессовестные люди стараются силою добиться того, чего им не удастся достичь честным путем. Поэтому я и

вынуждена вмешаться, как из любви к Вам, которой это касается ближе всего, так и для успокоения тех, кто неповинен в столь неслыханных злодеяниях, ибо даже если б Вы не ведали за собой вины, одного такого попустительства было бы достаточно, чтобы Вас лишили королевского сана и отдали на поругание черни. Но чем быть подвергнутой такому бесчестию, я бы пожелала Вам честно умереть».

Такой повторный выстрел в упор по нечистой совести должен был бы пробудить к жизни даже онемевшие, окаменелые чувства. Но нет никакой уверенности в том, что это предостережение, сделанное буквально в последнюю минуту, было своевременно получено Марией Стюарт. Ведь Босуэл начеку, этому сумасбродно смелому, неукротимому малому не страшен ни Бог, ни черт, а уж на английскую королеву ему и вовсе наплевать. Чрезвычайного посланца Елизаветы, прибывшего с ее письмом, задерживают у ворот клеветы Босуэла и не пропускают во дворец: королева-де поживает и не может его принять. В полном недоумении бродит гонец, привезший одной королеве письмо от другой, по улицам города, не зная, как быть. Наконец он попадает к Босуэлу и вручает ему письмо, и временщик тут же нагло вскрывает его, прочитывает на глазах у посланца и равнодушно сует в карман. Передал ли он письмо Марии Стюарт, неизвестно, а, впрочем, это и неважно. Порабощенная женщина давно уже ни в чем не перечит своему господину. Она даже, как потом говорили, позволила себе помахать Босуэлу из окна, когда тот в сопровождении своих конных головорезов отправился в Толбут, словно хотела пожелать заведомому убийце успеха в предстоящей комедии правосудия.

Но даже если Марию Стюарт миновало последнее предостережение Елизаветы, то отсюда не следует, что никто другой ее не предостерег. За три дня до суда к ней наведалься ее сводный брат Меррей; уезжая в длительное путешествие, он пришел проститься. У Меррея явилось внезапное желание

проехаться во Францию и Италию, «to see Venice and Milan»*. Мария Стюарт должна бы знать по неоднократному опыту, что столь поспешное исчезновение Меррея с политической арены предвещает перемену погоды, что он хочет своим демонстративным отсутствием заранее опротестовать позорную пародию на суд. Впрочем, Меррей и не скрывает истинной причины своего отъезда. Он рассказывает направо и налево, что пытался задержать Джеймса Балфура, как одного из главных участников убийства, но ему помешал Босуэл, всячески выгораживающий своих сообщников. А неделю спустя он открыто заявит в Лондоне испанскому послу де Сильва, что «считал оскорбительным для своей чести дальнейшее пребывание в стране, где подобные чудовищные злодеяния остаются безнаказанными». Кто говорит об этом так открыто, тот, верно, не станет таиться от сестры. И действительно, когда Мария Стюарт прощалась с братом, многие видели на ее глазах слезы. Однако она не находит в себе сил удержать Меррея. Она больше ни на что не находит в себе сил, с тех пор как телом и душой предалась Босуэлу. Она может только плыть по течению, безвольная игрушка в его руках, ибо королева в ней отдалась во власть пылающей и покоренной женщины.

Наглым вызовом начинается двенадцатого апреля судебная комедия, и таким же наглым вызовом кончается она. Босуэл отправляется в Толбут, в здание суда, словно в атаку — с мечом на боку, с кинжалом за поясом, окруженный своими присными — около четырех тысяч числом, по явно преувеличенному, впрочем, подсчету; Леноксу же на основании указа, давно уже сданного в архив, разрешено взять с собой при въезде в город не более шести провожатых. Уже в этом сказалась пристрастность королевы. Однако явиться в суд и сразу же наткнуться на ошестинившиеся клинки Ленокс не решает: зная, что Елизавета послала Марии Стюарт письмо с тре-

*Повидать Венецию и Милан (англ.).

бованием отложить процесс, и чувствуя за собой такую опору, он ограничивается тем, что посылает в Толбут одного из своих ленников для зачтения протеста. Отчасти запуганные, отчасти подкупленные землями, золотом и почестями, судьи с великим облегчением усматривают в неявке жалобщика удобный повод избавиться от неудобного судебного разбирательства. После якобы обстоятельного совещания (на самом деле все предрешиено заранее) Босуэлу единодушно выносятся оправдательный приговор — он-де непричастен «in any art and part of the said slaughter of the king»* — с постыдной, впрочем, ссылкой на «отсутствие обвинения». И этот шаткий приговор, которым ни один честный человек не удовлетворился бы, Босуэл превращает в свой триумф. Бряцая оружием, то и дело выхватывая меч из ножен и потрясая им в воздухе, разъезжает он по городу, громко вызывая на единоборство всякого, кто и теперь осмелится бросить ему обвинение в убийстве короля или хотя бы в пособничестве убийству.

И вот уже колесо с головокружительной быстротой мчится под уклон — в бездну. Смущенные обыватели потихоньку ропщут и сетуют на беспримерное попрание правосудия, а друзья Марии Стюарт только переглядываются с сокрушением (with sore hearts) и бессильно разводят руками. Эту безумную и остеречь нельзя. «Больно было видеть, — пишет лучший ее друг Мелвил, — как эта добрая государыня очертя голову несется навстречу гибели, и никто не может ни остеречь ее от опасности, ни удержать». Нет, Мария Стюарт никого не хочет слушать, ей не нужны никакие предостережения; охваченная темным соблазном, подмывающим на любое безрассудство, стремится она все вперед и вперед; не оглядываясь, не спрашивая, не слушая, мчится все дальше и дальше на свою погибель эта одержимая страстью менада.

Вскоре после того достопамятного дня, когда Босуэл бросил вызов городу, она наносит оскорбление всей стране, предоста-

* Ни делом, ни помышлением к указанному убийству короля (англ.).

вив этому закоренелому злодею высшую почесть, какой располагает Шотландия, — совершая свой торжественный выход в день открытия парламентской сессии, она поручает Босуэлу нести впереди нее национальные святыни — корону и скипетр. Теперь уже никто не сомневается, что тот самый Босуэл, который сегодня держит корону в своих руках, завтра возложит ее себе на голову. И в самом деле, Босуэл — и это каждый раз особенно восхищает нас в неукротимом кондотьере — не из тех, кто долго таится. Нагло, напористо и открыто добивается он заветной награды. Презрев стыд и совесть, заставляет он парламент «за выдающиеся заслуги», «for his great and manifold gud service», преподнести ему самый укрепленный замок страны — Данбар, и, благо лорды собрались все вместе и послушны его воле, он, взяв их за горло, вырывает у них и последнее: согласие на его брак с Марией Стюарт.

Вечером, по окончании парламентских занятий, Босуэл, как великий вельможа и военный диктатор, приглашает всю братию отужинать в таверне Эйнслея. После дружных возлияний, когда большинство перепилось — вспоминается знаменитая сцена из «Валленштейна», — он предлагает лордам подписать «бонд», по которому те обязуются не только защищать Босуэла от любого клеветника, но также рекомендовать одного благородного могущественного лорда, «noble puissant lord», в супруги королеве. Поскольку Босуэл признан невиновным всеми пэрами страны, а рука ее величества свободна, говорится в пресловутой грамоте, то ей, «ревнуя к общему благу, следовало бы снизойти до брака с одним из ее подданных, а именно с названным лордом». Они же «как перед Богом клянутся» поддержать указанного лорда и защитить его против всех, кто захочет помешать или воспрепятствовать этому браку, не щадя для этого ни крови своей, ни достояния.

Один-единственный из присутствующих пользуется наступившим после чтения замешательством, чтобы незаметно покинуть таверну; другие потому ли, что дом окружен вооруженными приспешниками Босуэла, или потому, что про себя

они решили при первом же удобном случае отступить от подневольной присяги, подмахнули грамоту. Они знают: что написано пером, прекрасно смывается кровью. А потому никто особенно не задумывается: что значит для этой братии какой-то росчерк пера! Все подписываются и продолжают пировать и бражничать, а пуще всех веселится Босуэл. Наконец-то желанный приз у него в руках и он у цели. Еще несколько недель — и то, что кажется нам в «Гамлете» небывальщиной, поэтической гиперболой, становится здесь действительностью: королева, «еще и башмаков не износив, в которых прах сопровождала мужа», идет к алтарю с его убийцей. Quos deus perdere vult...

Г Л А В А Х I V

ПУТЬ БЕЗЫСХОДНЫЙ

С апреля по июнь 1567 года

Невольно, по мере того как трагедия «Босуэл», нарастая, стремится к своей высшей точке, нам, словно по какому-то внутреннему принуждению, все снова и снова вспоминается Шекспир. Уже внешнее сюжетное сходство этой трагедии с «Гамлетом» неоспоримо. И тут и там — король, вероломно убранный с дороги любовником жены, и тут и там — вдова, с бесстыдной поспешностью устремляющаяся к венцу с убийцей мужа, и тут и там — неугасающее действие сил, рожденных убийством, которое труднее скрыть и от которого труднее скрыться, чем было совершить его. Уже одно это сходство поражает. Однако еще сильнее, еще неодолимее воздействует на чувство поразительная аналогия многих сцен шекспировской шотландской трагедии с исторической.

Шекспировский «Макбет», сознательно или бессознательно, сотворен из атмосферы драмы «Мария Стюарт»; то, что волей поэта произошло в Дунсинанском замке, на самом деле не так давно происходило в Холируде. И тут и там то же одиночество после содеянного, тот же тяжкий душевный

мрак, те же овечьи жутью пиршества, на которых гости не смеют отдаться веселью и откуда они втихомолку бегут один за другим, между тем как черные вороны несчастья, зловеще каркая, кружат над домом. Порой не скажешь: Мария ли Стюарт ночами блуждает по дому в помрачении разума, не ведая сна, смертельно терзаемая совестью, или же то леди Макбет, пытающаяся смыть невидимые пятна с обгаренных кровью рук? То ли Босуэл перед нами, то ли Макбет, все решительнее и непримиримее, все дерзновеннее и отважнее противостоящий ненависти всей страны и в то же время знающий, что все его мужество бесплодно и что смертному не одолеть бессмертных духов. И здесь и там — страсть женщины как движущее начало и мужчина как исполнитель, но особенно здесь и там схожа атмосфера, гнетущая тяжесть, нависшая над заблудшими, замученными душами, мужчиной и женщиной, что прикованы друг к другу одним и тем же преступлением и увлекают один другого в пагубную бездну. Никогда в мировой истории и мировой литературе психология преступления и таинственно тяготеющая над убийцей власть убиенного не проявлялись так блистательно, как в обеих шотландских трагедиях, из коих одна была сочинена, а другая реально пережита.

Это сходство, эта поразительная аналогия только ли случайны? Или же должно признать, что в шекспировском творении реально пережитая трагедия Марии Стюарт нашла свое поэтическое и философское истолкование? Впечатления детства неугасимо властвуют над душой поэта, и таинственно преображает гений ранние впечатления в вечную, непреходящую действительность. Одно несомненно: Шекспиру были известны события, происшедшие в Холирудском замке. Все его детство в английском захолустье было овечно рассказами и легендами о романтической королеве, которой безрассудная страсть стоила страны и престола, и теперь, в наказание, ее постоянно перевозят из одного английского замка в другой. Он, верно, совсем недавно прибыл в Лондон, этот юноша —

лишь наполовину мужчина, но уже вполне поэт, — когда по всему городу трезвонили колокола, ликуя оттого, что великая противница Елизаветы наконец-то сложила голову на плахе и что Дарнлей увлек за собой в могилу неверную жену. Когда же впоследствии в Голиншедовой хронике он натолкнулся на повесть о сумрачном короле Шотландском, быть может, вспыхнувшее воспоминание о трагической гибели Марии Стюарт таинственным образом связало обе эти темы в творческой лаборатории поэта? Никто не может утверждать с уверенностью, но никто не может и отрицать, что трагедия Шекспира была обусловлена той, реально пережитой трагедией. Но лишь тот, кто прочитал и прочувствовал «Макбета», сможет полностью понять Марию Стюарт тех, холирудских дней, невыразимые муки сильной души, которой самое дерзновенное ее деяние оказалось не под силу.

Но что особенно поражает нас в обеих трагедиях, как вымышленной, так и реально пережитой, это полная аналогия в том, как меняются под влиянием содеянного обе героини — Мария Стюарт и леди Макбет. Леди Макбет вначале — преданная, пылкая, энергичная натура, с сильной волей и пламенным честолюбием. Она грезит о величии своего супруга, и эта строка из памятного сонета Марии Стюарт могла быть написана ее рукой: «Pour luy je veux rechercher la grandeur...»

Основной стимул преступления — в ее честолюбии, и она действует хитро и решительно, пока дело — лишь тень ее желаний, лишь замысел и план, пока алая горячая кровь не обагрила ей руки, не запятнала душу. Льстивыми речами, как и Мария Стюарт, завлекшая Дарнлея в Керк о'Филд, зазывает она Дункана в опочивальню, где его ждет отточенный клинок. Но сразу же после содеянного она уже другая, ее силы исчерпаны, мужество сломлено. Огнем сжигает совесть ее живую плоть, с остановившимся взором, безумная, бродит она по замку, внушая друзьям ужас, а себе — отвращение. Неутолимая жажда разъедает ее измученный мозг — жажда все забыть, ни о чем не думать, ничего не знать, жажда небытия.

Но такова же и Мария Стюарт после убийства Дарнлея. С ней происходит перемена, внезапное превращение, даже черты ее лица так несхожи с прежними, что Друри, соглядатай Елизаветы, доносит в Лондон: «Никогда еще не было видно, чтобы за такой короткий срок и не будучи больной женщина так изменилась внешне, как изменилась королева». Ничто больше не напоминает в ней ту жизнерадостную, разумную, общительную, уверенную в себе женщину, какой все знали ее лишь за несколько недель до этих событий. Она уединяется, прячется, замыкается в себе. Быть может, подобно Макбету и леди Макбет, она все еще надеется, что мир промолчит, если молчать будет она, и что черная волна милосердно пронесется над ее головой. Но по мере того, как все настойчивее звучат голоса и требуют ответа; по мере того, как ночами на улицах Эдинбурга, под самыми ее окнами, все громче выкликают имена убийц; по мере того, как Ленокс, отец убитого, ее недруг Елизавета, ее друг Битон, как весь мир восстает против нее, требуя суда и справедливости, — рассудок ее мутится.

Она знает: нужно что-то сделать, чтобы скрыть содеянное, оправдаться. Но не находит сил для убедительного ответа, не находит умного обманного слова. Точно в глубоком гипнотическом сне, слышит она голоса из Лондона, Парижа, Мадрида, Рима, они обращаются к ней, увещают, остерегают, но она не в силах воспрянуть, она слышит эти зовы лишь как заживо погребенный слышит шаги идущих по земле, — бессильно, беспомощно, из глубины отчаяния. Она знает: надо разыграть безутешную вдову, отчаявшуюся супругу, надо иступленно рыдать и вопить, чтобы мир поверил ее невинности. Но в горле у нее пересохло, она не в силах заговорить, не в силах больше притворяться. Неделя тянется за неделей, и наконец она чувствует: больше ей этого не вынести.

Подобно тому как загнанная лань с мужеством отчаяния поворачивается и бросается на преследователей, подобно тому как Макбет, стремясь защитить себя, громоздит все новые убийства на убийства, взывающие о мщении, так и Мария

Стюарт вырывается наконец из сковавшего ее оцепенения. Ей уже все равно, что подумает мир, все равно — разумно или безрассудно она поступает. Лишь бы не эта онемелость, лишь бы что-то делать, двигаться все вперед и вперед, все быстрее и быстрее, бежать от этих голосов, убеждающих и угрожающих. Лишь бы вперед и вперед, не задерживаться на месте и не думать, а то как бы не пришлось сознаться себе самой, что никакая мудрость ее уже не спасет. Одна из тайн нашей души заключена в том, что на короткий срок быстрое движение заглушает в нас страх; словно возница, который, слыша, что мост под ним гнется и трещит, все шибче нахлестывает лошадей, ибо знает, что лишь сумасшедшая езда может его спасти, так и Мария Стюарт во всю мочь гонит вороного коня своей судьбы, чтобы задавить последние сомнения, растоптать любое прекословие. Только бы не думать, только бы не знать, не видеть — все дальше и дальше в дебри безумия! Лучше страшный конец, чем бесконечный страх! Таков непреложный закон: как камень падает тем быстрее, чем глубже скатывается в бездну, так и заблудшая душа без памяти торопится вперед, зная, что кругом безысходность.

Ни один из поступков Марии Стюарт в недели, следующие за убийством, не поддается объяснению доводами разума, а единственно лишь душевным затмением на почве безмерного страха. Даже в своем неистовстве не могла она не понимать, что честь ее навеки загублена и утрачена, что вся Шотландия, вся Европа увидит в браке, заключенном спустя лишь несколько недель после убийства, да еще с убийцей ее супруга, надругательство над законом и добрыми нравами. Достаточно было бы любовникам затаиться и выждать год-другой, и все эти обстоятельства, возможно, позабылись бы. При искусной дипломатической подготовке можно было бы тысячу объяснений придумать, почему именно Босуэла избрала она в супруги. И только одно неизбежно грозило столкнуть Марию Стюарт в бездну гибели — решишь она кощунственно нарушить траур и бросить вызов всему миру, с преступной торопливо-

стью возложив корону убитого на голову убийцы. Но именно к этому стремится Мария Стюарт в своем постыдном нетерпении.

Для столь необъяснимого поведения обычно разумной и тактичной женщины существует одно лишь объяснение: у Марии Стюарт нет выхода. По-видимому, ей нельзя ждать, что-то мешает ей ждать, так как всякое ожидание, всякая проволочка грозит разоблачить перед миром то, чего ни одна душа еще не подозревает. И нет иного объяснения для такого безоглядного бегства в брак с Босуэлом, как то — последующие события подтвердят эту догадку, — что несчастная уже знала о своей беременности. Но ведь не сына Генри Дарнлея, не королевского отпрыска носит она под сердцем, а плод запретной, преступной любви. Однако королеве Шотландской не подобает произвести на свет внебрачного младенца, да еще при обстоятельствах, что огненными письменами вещают на всех стенах о ее вине или соучастии. Ибо с непреложной ясностью вышло бы наружу, каким забавам предавалась она со своим возлюбленным в дни траура; ведь каждый может сосчитать, вступила ли Мария Стюарт — и то и другое одинаково зазорно! — в предосудительную связь с Босуэлом до убийства Дарнлея или сразу же после него. Только поторопившись узаконить рождение ребенка, может она спасти его честь, а отчасти и собственную. Ведь если его появление на свет застанет ее супругой Босуэла, слишком ранние роды не так бросятся в глаза, да и рядом будет человек, который даст ребенку свое имя и отстоит его права. А потому каждый месяц, каждая неделя проволочки — непоправимо упущенное время.

Быть может, ей кажется — ужасная альтернатива! — что чудовищное решение взять в мужья убийцу своего мужа все же менее позорно, чем родить внебрачного ребенка и этим открыто признать свой грех. Только допустив как некую вероятность такое неумолимое вмешательство природы, ее элементарных законов, можно как-то понять противоестественное поведение Марии Стюарт в течение этих недель — все

прочие домыслы искусственны и лишь затемняют картину ее душевного состояния. Только приняв в соображение этот страх — страх, который миллионы женщин всех времен узнали на собственном опыте, который и самых честных и смелых не раз приводил к превратным и преступным решениям, — мучительный страх перед тем, как бы непрошенная беременность не раскрыла тайны, — можно уяснить себе, что заставляло потрясенную женщину так торопиться. Только это, единственно это соображение придает какой-то смысл бессмысленной спешке, одновременно открывая взгляду всю глупину трагедии этой несчастной.

Страшная, убийственная ситуация, сам дьявол не выдумал бы более ужасной. Время не ждет, время, поскольку королева знает, что беременна, вынуждает ее торопиться, а с другой стороны, именно торопливость навлекает на нее подозрение. Как королева Шотландии, как вдова, как женщина, дорожащая своей честью и доброй славой и знающая, что вся страна, весь европейский мир глаз с нее не сводят, Мария Стюарт и думать не должна о супруге с такой сомнительной, ужасной репутацией, как у Босуэла. Но беспомощная женщина, попавшая в безвыходное положение, она в нем одном видит спасителя. Она и не должна выходить за него замуж и должна непременно. А чтобы мир не угадал истинной причины ее поступка, надо было изобрести другую, от нее не зависящую причину в объяснение этой безумной горячки. Надо было изобрести такой предлог, который сообщил бы смысл невысказанному с точки зрения морали и закона поступку, — предлог, который сделал бы брак Марии Стюарт печальной необходимостью.

Однако что может заставить королеву заключить столь неравный брак, снизить до человека столь скромного ранга? Кодекс чести того времени лишь в одном случае допускал такую уступку: если женщина насильственно обесчещена, виновник обязан был женитьбой восстановить ее честь. Только как оскорбленная женщина могла бы Мария Стюарт с некото-

рым правом отважиться на этот союз, только тогда можно было бы внушить народу, что она подчинилась неизбежности.

Единственно лишь безысходное отчаяние могло породить такой фантастический план. Только полнейший сумбур в голове мог привести к такому сумбурному решению. Даже Мария Стюарт, столь отважная и решительная в критические минуты, отступает в ужасе, когда Босуэл предлагает ей разыграть этот трагический фарс. «Лучше мне умереть, я чувствую, все кончится ужасно», — пишет эта мученица. Но что бы ни говорили о Босуэле моралисты, он верен себе в своей великолепной отваге отчаянного сорвиголовы. То, что ему предстоит разыграть перед всей Европой роль отпетого негодяя, насильника, посягнувшего на честь своей королевы, разбойника с большой дороги, цинично презирающего добропорядочность и закон, нимало его не смущает. Да хоть бы перед ним распахнулись врата ада, не такой он человек, чтобы остановиться на полдороге, когда на карту поставлена корона!

Нет опасности, перед которой он отступил бы, — невольно вспомнишь моцартова Дон Жуана, его дерзновенную выходку, когда он приглашает каменного командора откусать с ним. Рядом с Босуэлом трясется Лепорелло — его шурин Хантлей, согласившийся за взятку в виде кое-каких церковных владений благословить развод Босуэла со своей сестрой. При мысли о столь рискованной комедии душа у трусоватого рыцаря уходит в пятки, и он бросается к королеве, пытаясь ее отговорить. Но Босуэла не тревожит потеря еще одного союзника, после того как он бросил вызов всему миру: не пугает его и то, что план увоза, по-видимому, кем-то выдан — согладаятай Елизаветы доносит о нем в Лондон накануне назначенного срока; ему безразлично, будет похищение принято за чистую монету или нет, лишь бы оно привело его к цели — стать королем. Он делает все, что ни вздумает, не боится ничего на свете, и у него еще хватает силы увлечь за собой свою противящуюся жертву.

Ибо, как опять-таки показывают письма из ларца, судорожно восстает какое-то внутреннее чутье Марии Стюарт против железной воли ее господина. Явственно говорит ей предчувствие, что напрасен и этот новый обман, что им не удастся никого обмануть, кроме самих себя. Но, послушная раба, она и на этот раз безропотно подчиняется Босуэлу. Так же покорно, как недавно она помогала ему увезти Дарнлея из Глазго, так и теперь с тяжелым сердцем помогает она «увезти» самое себя, и вся комедия согласованного «похищения» разыгрывается как по нотам.

Двадцать первого апреля, спустя несколько дней после вынужденного оправдания Босуэла на суде дворян и «награждения» его парламентом, — двадцать первого апреля, еще и двух суток не прошло, как Босуэл в харчевне Энслея выманил у лордов согласие на свой брак с королевой, и ровно девять лет минуло, как она полуребенком была обвенчана с французским дофином, — Мария Стюарт, доселе не слишком заботливая мамаша, вдруг изъявляет горячее желание проведать своего сыночка в замке Стирлинг. Недоверчиво встречает ее граф Мар, официальный опекун наследника, — до него, видимо, дошли темные слухи. Только в присутствии других женщин дозволено Марии Стюарт встретиться с сыном — верно, лорды страшатся, как бы она не завладела младенцем и не выдала его Босуэлу: всем уже ясно, что эта женщина готова выполнить любое, хотя бы и преступное приказание своего тирана. В сопровождении нескольких всадников, в том числе Мэйтленда и Хантлея, конечно, во все посвященных, возвращается королева в Эдинбург. Но в шести милях от города из засады выскакивает большой конный отряд во главе с Босуэлом и «нападает» на королевский кортеж. Дело, разумеется, обходится миром: «во избежание кровопролития» Мария Стюарт запрещает своим спутникам оказать сопротивление. Достаточно Босуэлу схватить за повод ее коня, как королева добровольно «сдается в плен» — позволяет увезти себя в сладостное заточение в замке Динбар. Какому-то переусердствовавшему капитану,

который, собрав подмогу, разлетелся было освободить ее, дают понять, что в его услугах не нуждаются, а взятых в плен Мэйтленда и Хантлея наилюбезнейшим образом отпускают по домам. Никто не пострадал, все с миром отправляются восвояси, и только королева остается в плену у возлюбленного «насильника».

Больше недели «жертва» делит ложе похитителя, а между тем в Эдинбурге с величайшей поспешностью и не щадя затрат обстряпывают дело о разводе Босуэла с его законной супругой — сначала в протестантском суде под весьма шатким предлогом, будто Босуэл нарушил супружескую верность, согрешив со служанкой, а затем и в католическом, — судьи с запозданием спохватились, что Босуэл состоит со своей женой Джейн Гордон в каком-то отдаленном родстве. Но вот благополучно завершена и эта темная сделка. Пришло время объявить миру, что Босуэл, как дерзкий разбойник с большой дороги, напал на бедную королеву и в своей необузданной похоти надругался над ней, и теперь только брак с человеком, овладевшим ею против воли, может восстановить поруганную честь королевы Шотландской.

Однако «похищение» сработано чересчур уж топорно: никто всерьез не верит, что над королевой Шотландии «учинено насилие», и даже испанский посланник, наиболее из всех благожелательный, доносит в Мадрид, что все это чистейшая уловка.

Но как ни странно, именно те, кому обман особенно ясен, притворяются, будто они убеждены в факте насилия. Лорды, тем временем подписавшие новый «бонд» на предмет полного свержения Босуэла, отваживаются почти на остроумную каверзу: они принимают версию о похищении королевы со всей подобающей серьезностью. Внезапно преисполняясь трогательной верности, они заявляют с великим возмущением, что государыня их страны «насильственно содержится в заточении, сие же есть величайшее надругательство над честью Шотландии». С необычным единомыслием договариваются

они вырвать беззащитную овечку из пасти злого волка Босуэла. Наконец-то они обрели желанный повод напасть на грозного диктатора из-за угла под флагом ультрапатриотизма. Наспех сговариваются они «избавить» Марию Стюарт от Босуэла и этим помешать свадьбе, которую сами еще неделю назад поощряли.

Разумеется, для Марии Стюарт не может быть худшей услуги, чем это внезапное и назойливое попечение лордов, вознамерившихся вырвать ее из когтей «насильника». Тем самым у нее выбиты из рук карты, которые она смешала с таким хитрым расчетом. И так как она отнюдь не хочет быть «избавленной» от Босуэла, а, наоборот, хочет навек с ним соединиться, то ей приходится по возможности свести на нет выдумку, будто он ее обесчестил. Если еще вчера она усиленно чернила Босуэла, то сегодня не знает, как его обелить. Весь фарс теряет, таким образом, всякий смысл. Чтобы уберечь своего обольстителя от суда и расправы, она выгораживает его со всеми увертками заправского адвоката. «Поначалу с ней, правда, обошлись несколько странно, зато уж потом — как нельзя лучше, и у нее нет оснований жаловаться. А так как не было рядом никого, кто бы мог прийти ей на помощь, то она «была вынуждена умерить свое первоначальное неудовольствие и здраво поразмыслить над сделанным предложением». Все постыднее становится положение женщины, запутавшейся в дебрях страсти. Последняя прикрывавшая ее пелена стыдливости разодрана в клочья, и, вырвавшись из чащи, стоит она обнаженная перед насмешкой всего мира.

Глубокое замешательство охватывает друзей Марии Стюарт, когда в первых числах мая они встречают свою высокочтимую королеву при ее возвращении в Эдинбург: Босуэл ведет коня под уздцы, а его солдаты в знак того, что она следует за ним по доброй воле, бросают свои копья наземь. Напрасно пытаются истинные доброжелатели Марии Стюарт и Шотландии предостеречь ослепленную. Французский посланник Дю Крок заявляет ей, что брак с Босуэлом — это конец дружбы с Францией; один из ее верных, лорд Херрис,

бросается к ее ногам, а испытанному Мелвилу, который еще в последнюю минуту старается помешать этому браку, приходится бежать от гнева Босуэла. С сокрушенным сердцем взирают они на то, как эта отважная, независимая женщина отдается на волю оголтелого авантюриста, и с тревогой предвидят, что в сумасбродном нетерпении соединиться с убийцей своего мужа она неминуемо утратит престол и честь.

Зато враги ее торжествуют. Сбылись во всем своем страшном значении мрачные пророчества Джона Нокса. Его преемник Джон Крэг отказывается вывесить в храме греховное оглашение; открыто называет он этот брак «*odious and slanderous before the world*»* и только тогда вступает в переговоры, когда Босуэл грозитя отправить его на виселицу. Марии Стюарт приходится все ниже и ниже клонить голову. Теперь, когда все знают, как она спешит со свадьбой, каждый бесстыдный вымогатель старается сорвать с нее побольше. Хантлей за хлопоты о разводе Босуэла получает доставшиеся короне церковные земли; католического епископа умамливают высокими титулами и назначениями; но самую тяжкую мзду налагает на нее протестантское духовенство. Суровым судьей, а не подданным выступает перед королевой и Босуэлом пастор, требующий от нее публичного самоуничижения: пусть она, католическая государыня, племянница Гизов, обвенчается и по реформатскому, еретическому, чину. Решившись на эту позорную уступку, Мария Стюарт теряет последнюю опору, единственный козырь, какой у нее оставался: лишается поддержки католической Европы, утрачивает благоволение папы, симпатии Испании и Франции. Теперь она одна против всех. Сбылись слова одного из ее сонетов:

Pour luy depuis j'ay mesprise l'honneur,
Ce qui nous peust seul pourvoir de bonheur.
Pour luy j'ay hazardè grandeur & conscience,
Pour luy tous mes parens j'ay quitte & amis.

*Презренным и позорным перед всем миром (англ.).

Я для него забыла честь мою —
Единственное счастье нашей жизни,
Ему я власть и совесть отдаю,
Я для него покинула семью,
Презренной стала в собственной отчизне.

Но нет средства помочь тому, кто сам себя отдал на закляние: бессмысленных жертв не приемлют боги.

История не помнит за многие столетия такой трагической свадьбы, как та, что имела место 15 мая 1567 года: все унижение Марии Стюарт, как в зеркале, отразилось в этой мрачной картине. Первый ее брак с французским дофином был заключен среди бела дня; то был день блистательного торжества. Десятки тысяч зрителей приветствовали юную королеву, вся знать стеклась из городов и весей; послы всех государств прибыли полюбоваться на то, как окруженная королевской фамилией и цветом рыцарства дофина торжественно шествует в Нотр-Дам. Мимо ликующих трибун, мимо восторженно машущих окон проследовала она в пышной процессии, и весь народ благоговейно и радостно взирал на нее. Уже вторая свадьба была куда скромнее. Не среди бела дня, а в сумерках рассвета, в шесть часов утра, соединил ее священник с правнуком Генриха VII. Однако же на торжество явилась вся знать, присутствовали послы, целые дни напролет шло пирование, Эдинбург веселился напропалую.

Эта же, третья свадьба — с Босуэлом (его еще второпях жалуют титулом герцога Оркнейского) — совершается тайком, словно преступление. В четыре часа утра — город еще спит, ночь нависла над крышами — несколько робких фигур незаметно прокрадываются в замковую часовню, ту самую — не прошло еще и трех месяцев, и королева еще не сняла свой траурный наряд, — где отпевали ее убитого супруга. Пусто на сей раз в часовне. Приглашено много гостей, но явилось оскорбительно мало, никому не хочется быть свидетелем того, как королева Шотландии наденет кольцо на руку, злодейски прикончившую Генри Дарнлея. Почти никто из лордов королев-

ства не счел нужным прийти и даже не удосужился извиниться, Меррей и Ленокс покинули страну, Мэйтленд и Хантлей — даже эти полуверные держатся поодаль, а единственный человек, которому она, истовая католичка, поверяла до сих пор свои тайные мысли, ее духовник, навсегда ее покинул: печально возвещает страж ее совести, что отныне считает ее своей утерянной овечкой.

Ни один человек, дорожащий честью, не хочет видеть, как убийца Дарнлея берет в супружество жену убиенного и как служитель Божий благословляет кощунственный союз. Напрасно умоляет Мария Стюарт французского посланника быть на свадьбе, чтобы придать торжеству хотя бы видимость блеска. Всегда столь обязательный друг, он наотрез отказывается прийти. Ведь его присутствие могут истолковать как соизволение Франции. «Еще подумают, — возражает он в свое оправдание, — что мой король как-то в этом замешан»; к тому же он не хочет признать в Босуэле супруга Марии Стюарт. Священник не служит обедни, молчит орган, обряд совершается с неприличной поспешностью. Вечеру слуги не осветили свечами зал, готовя его к танцам, не снарядили пиршественных столов. Никто с криками «Largesse, largesse!»* не швырял денег в народ, как это было на ее предыдущей свадьбе; холодная, пустая и сумрачная часовня напоминает гроб; угрюмо, словно плакальщики на похоронах, выстроились свидетели странного праздника. Свадебный кортеж не шествует через весь город по ликующим улицам: издрогнув в пустынной часовне, удаляются новобрачные во внутренние покои и прячутся за крепкие затворы.

Именно теперь, когда она у цели, к которой неслась, бросив поводья, не разбирая дороги, именно теперь в душе у Марии Стюарт происходит какой-то надлом. Исступленная ее мечта завладеть Босуэлом и удержать его — сбылась; лихорадочно ждала она, вперив глаза в одну точку, желанного часа соеди-

*Щедрость, щедрость! (фр.)

нения в обманчивой надежде, что его близость, его любовь победят страх. Но теперь, когда ее воспаленный взор не устремлен к одной цели, глаза ее прозревают; она оглядывается и видит вокруг себя пустоту, ничто. Даже между ним, безрас- судно любимым, и ею сразу же после женитьбы пошли нелады: всегда, когда двое вовлекают друг друга в гибель, начинаются упреки и взаимные обвинения.

Уже в трагический день свадьбы французский посол находит королеву обезумевшую, убитую горем. Еще не спустился вечер, а между супругами уже пролегла холодная тень. «Началось похмелье, — сообщает Дю Крок в Париж. — Когда в четверг Ее Величество прислала за мной, я сразу почувствовал, что между ними не все ладно. Чтобы отвести мне глаза, она сказала: если я нахожу ее печальной, то лишь потому, что она ничего уже не ждет от жизни и жаждет одной лишь смерти. Вчера из-за запертой двери, где они были одни с графом Босуэлом, вдруг раздались ее крики: пусть ей дадут нож, она хочет покончить с собой. Люди в соседней комнате, слышавшие эти вопли, выражали опасения, как бы она чего над собой не сотворила, — один только Бог в силах ей помочь». Ходят все новые слухи о раздорах между супругами. Босуэл, очевидно, смотрит на развод со своей юной красавицей женой как на пустую формальность и все ночи проводит с ней, а не с Марией Стюарт. «Со дня злополучной свадьбы, — сообщает посол в Париж несколько позднее, — Мария Стюарт не перестает стенать и лить слезы». Итак, не успела ослепленная женщина достигнуть того, чего так пламенно добивалась, как она уже знает, что все для нее потеряно и что даже смерть была бы избавлением от той пытки, на которую она себя обрекла.

Три недели длится этот горький медовый месяц — три недели неизбывного страха и агонии. Все старания новобрачных как-нибудь удержаться, спастись идут прахом. Босуэл на людях сугубо почтителен и нежен с королевой, он — сама преданность и уважение, но никакие слова и позы уже ничего не могут изменить; в сумрачном молчании взирает город на

преступную чету. Тщетно старается диктатор снискать любовь народа: он разыгрывает простодушного, доброго, благочестивого правителя; он посещает проповеди реформатских священников, однако протестантское духовенство держится так же враждебно, как и католическое. Он пишет смиренные письма Елизавете — она не внимлет. Он обращается в Париж — его не замечают. Мария Стюарт зовет своих лордов — те шагу не делают из Стирлинга. Она требует, чтобы ей вернули сына, — никакого ответа. Все затаилось, все зловеще безмолвствует вокруг обреченной пары. Босуэл для поднятия духа еще устраивает напоследок маскарад и водные игрища; он сам участвует в них, и королева с трибуны улыбается ему бледной улыбкой. В зеваках, как всегда, недостатка нет, но ликования не слышно. Какое-то оцепенение страха, какая-то мертвая неподвижность объяла страну, одно неосторожное движение — и грянет буря возмущения и гнева.

Однако Босуэл не из тех, кто обольщается сентиментальными иллюзиями. Опытный моряк, он чувствует в этой зловещей тишине предвестие бури. Как всегда решительный, он берется за приготовления. Он знает: в закладе его голова, и последнее слово в близком споре скажет оружие. Лихорадочно набирает он отовсюду конных и пеших ратников, чтобы достойно встретить нападение. С готовностью жертвует Мария Стюарт для его наемников все, чем она еще может пожертвовать: продает драгоценности, занимает где только можно и даже — позор для шотландской, оскорбление для английской королевы — отдает перелить недавно привезенную золотую купель — дар Елизаветы крестнику, — чтобы получить лишний десяток золотых монет и хоть немного продлить агонию.

Но от молчания лордов все больше веет грозой, свинцовые тучи обложили королевский замок, вот-вот ударит молния. Босуэлу слишком знакомо коварство его сотоварищей, чтобы доверять этому спокойствию; он знает: на него готовится вероломное нападение. И чтобы не ждать приступа в незащищенном Холируде, он седьмого июня, без малого три недели

спустя после бракосочетания, бежит в неприступную Бортуикскую крепость, поближе к своим верным. Туда же созывает Мария Стюарт на двенадцатое июня, очевидно, в последней попытке обратиться к народу, своих «*subjects, noblemen, knights, esquires, gentlemen and yeomen*»*, предлагая им явиться в полном вооружении, с шестидневным запасом довольствия; видимо, Босуэл замыслил молниеносным ударом разбить всю шайку своих врагов, прежде чем они соберутся с силами.

Но как раз это бегство из Холируда и придает лордам храбрости. С великой поспешностью подступают они к Эдинбургу и захватывают его, не встречая сопротивления. Подручный Босуэла, убийца Джеймс Балфур, торопясь отречься от своего сообщника, сдает врагу неприступный замок. Обеспечив себе таким образом тыл, две-три тысячи всадников могут спокойно ударить по Бортуику, чтобы захватить Босуэла еще до того, как он приведет войско в боевую готовность. Но Босуэл не дает взять себя голыми руками. Недолго думая, выскакивает он в окно и очертя голову мчится прочь, оставив королеву одну в Бортуикском замке. Лорды все еще не отваживаются обнажить оружие против своей монархини и только уговаривают ее порвать с ее погубителем Босуэлом. Однако злосчастная женщина по-прежнему телом и душой предана своему тирану; ночью, переодетая в мужское платье, она смело садится в седло и одна, без провожатых, кинув все на произвол судьбы, скачет в Данбар, чтобы с ним жить или умереть.

Некий многозначительный сигнал должен был бы подсказать королеве, что дело ее безнадежно потеряно. В день их бегства в Бортуикский замок внезапно исчезает «*without leave-taking*»** ее последний советник Мэйтленд Летингтонский, единственный, кто и в дни ослепления Марии Стюарт

* Подданных, дворян, рыцарей, эсквайров, джентльменов и йоменов (англ.).

** Не простясь (англ.).

относился к ней с известной благожелательностью. Сравнительно большой отрезок рокового пути пройден Мэйтлендом вместе с его госпожой; быть может, никто так усердно, как он, не помогал сплести удавку для Дарнлея. Но теперь и он учуял задувший встречный ветер и, как истый дипломат, всегда поворачивающий свой парус в сторону сильнейшего, а не бесильного, не хочет больше отстаивать безнадежное дело. Воспользовавшись суетой при переезде в Бортуик, он поворачивает коня и, незаметно отстав от королевского поезда, направляется в стан лордов. Последняя крыса бежит с тонущего корабля.

Но ничто уже не может испугать или остеречь неисправимую Марию Стюарт. Опасность, как всегда, лишь разжигает в этой изумительной женщине неукротимую отвагу, которая и самым сумасбродным ее выходкам сообщает какое-то романтическое очарование. Прискакав в Данбар в мужском платье, она не находит здесь ни королевского убора, ни лат, ни оружия. Неважно! Что ей теперь жеманство и придворный этикет! На войне как на войне! И Мария Стюарт, не задумываясь, занимает у бедной женщины одежду, какую носит простонародье: короткую клетчатую юбочку, kilt, красную блузу и бархатную шляпу; пусть у нее в этом одеянии неподобающий, не королевский вид — только бы скакать бок о бок с тем, кто для нее весь мир, с тех пор как она всего лишилась. Босуэл второпях строит свое разношерстное войско. Никто из рыцарей, дворян и лордов не явился на зов, страна уже не повинуетя своей королеве, и только двести наемных аркебузирова в качестве ударного отряда движутся на Эдинбург, а за ними тянется плохо вооруженная орда пограничных крестьян и горцев — в общем, человек тысяча с небольшим. Только неколебимая воля Босуэла, стремящегося опередить лордов, гонит их вперед. Босуэл знает: лишь безрассудная храбрость способна иной раз спасти то, что кажется рассудку полной безысходностью.

У Карберри-хилла, в шести милях от Эдинбурга, сходятся два полчища (полками их не назовешь). Численное превосходство на стороне королевского войска. Но ни один из лордов, ни один из этих великолепно снаряженных благородных всадников не становится под вызывающе развернутое знамя с королевским львом: кроме наемных аркебузирова, за Босуэлом следуют лишь кое-как вооруженные и не слишком воинственно настроенные люди его клана. А напротив, на расстоянии не более полумили, так близко, что Мария Стюарт различает знакомые лица своих противников, сверкающими шеренгами на чудо-конях выстроились воинственные лорды, радуясь предстоящему делу. Под странным они собрались знаменем, водрузив его как раз напротив королевского штандарта. На белом поле, распростертое под деревом, лежит тело убитого. Рядом на коленях дитя, плача, простирает ручонки к небу со словами: «Господи, к тебе взываю о суде и мести!» Тем самым лорды, еще недавно подстрекавшие Босуэла расправиться с Дарнлеем, хотят представить себя благородными мстителями, а также дать понять, что только против убийцы Дарнлея выступили они вооружась, а отнюдь не восстали против своей королевы.

Ярко и многоцветно полощутся на ветру оба знамени. Но ни там, ни здесь не чувствуется настоящего подъема. Ни одно из полчищ не делает попыток перейти в наступление через разделяющий их ручей; и те и другие будто чего-то ждут и только издали наблюдают друг за другом. Собранные впопыхах мужичье Босуэла не выказывает большого желания лечь костями за дело, ему чуждое и темное. Лорды все еще скованы нерешительностью. Не так это просто — с копьем и мечом открыто выступить против своей законной государыни. Одно дело — сострять добрый заговор и убрать неугодного короля, ибо всегда найдутся два-три бедняка, которых можно будет потом вздернуть, а самим торжественно умыть руки; подобные темные махинации никогда не тревожили совести лордов; но с поднятым забралом, среди бела дня ринуться на свою

монархиню — слишком это противоречило идее феодальной верности, все еще нерушимо владевшей умами.

От французского посланника Дю Крока — он появляется на поле брани в качестве нейтрального наблюдателя — не укрылось настроение обеих станов: не теряя времени, предлагает он повести переговоры. В лагере лордов выкидывают парламентарский флаг, и, радуясь лучезарному летнему дню, оба полчища располагаются бивуаком, каждое по свою сторону ручья. Всадники спешиваются, ратники сбрасывают с себя тяжелые доспехи, и все с удовольствием закусывают, а между тем Дю Крок с небольшим конным эскортом переправляется через ручей и поднимается на холм — в ставку королевы.

Поистине невиданная аудиенция! Королева, никогда не принимавшая французского посла иначе, как в драгоценной робе, под тронным балдахинном, сидит на камне в пестром «килте», короткая юбчонка не прикрывает колен. Но достоинство и неукротимая гордость у нее те же, что и в придворном наряде. Возбужденная, бледная, невыспавшаяся, она дает волю своему гневу. Словно чувствуя себя по-прежнему повелительницей страны, госпожой положения, она требует, чтобы лорды беспрекословно ей покорились. Сами же они вынесли Босуэлу оправдательный приговор, зачем же теперь обвиняют его в убийстве? Сами настаивали на этом браке, а ныне объявляют его преступным! Негодование Марии Стюарт законно, но не время ссылаться на закон, когда поднят меч войны. Пока посол ведет переговоры, подъезжает Босуэл. Посол приветствует его, однако руки не подает. Слово берет Босуэл. Он говорит ясно, без колебаний, в его смелом, открытом взоре ни тени страха; даже Дю Крок вынужден отдать должное безупречной выдержке этого головореза. «Признаться, — пишет он в своем сообщении, — он показался мне настоящим полководцем, так как говорил со мной с полным сознанием своего достоинства, как искусный и смелый воитель, умеющий вести полки в бой. Я не мог не восхищаться им, ибо он видел, что его противники настроены решительно, сам же он едва ли мог рассчитывать и

на половину своих людей. И все же он непоколебим». Босуэл предлагает решить дело поединком с любым из лордов равного ему ранга. Его дело правое, Бог, конечно, не оставит его. Даже в столь отчаянном положении сохраняет он свой обычный задор, предлагая Дю Кроку наблюдать поединок с одного из холмов: увлекательное будет зрелище! Но королева и слышать не хочет о поединке. Она все еще надеется, что лорды придут к ней с повинной, — неисправимый романтик, она, как всегда, лишена чувства действительности. Вскоре Дю Кроку становится ясна бесполезность его миссии; старый вельможа видит слезы на глазах у Марии Стюарт, он и рад бы ей помочь, но, пока она не откажется от Босуэла, ей нет спасения, а она не желает от него отказаться. Итак, до свидания! Откланявшись с отменной любезностью, он неспешно возвращается в стан лордов.

Время слов миновало, пора дать бой. Но солдаты мудрее своих полководцев. Они видят, что господа чинно беседуют, зачем же им, бедным горемыкам, убивать друг друга в такой погожий летний день? Все разбрелись кто куда; напрасно Мария Стюарт командует в атаку, видя в том единственное спасение, — люди больше ей не повинуются. Вся эта орда с бору по сосенке, уже шесть-семь часов пребывающая в праздности, постепенно рассыпается, и как только лорды замечают это, они посылают двести человек всадников отрезать Босуэлу и королеве отступление. Только теперь понимает Мария Стюарт, что им грозит, и, как истинно любящая женщина, думает не о себе, а только о своем возлюбленном Босуэле. Она знает: ни у одного из ее подданных не поднимется рука на нее, зато его они не пощадят, хотя бы уж затем, чтобы он не рассказал чего лишнего, что им, запоздалым мстителям за смерть Дарнлея, может пригодиться не по вкусу. Впервые за все эти годы ломает она свою гордость. Она посылает в лагерь лордов парламентаря с белым флагом просить начальника конного отряда Керколди Грейнджского, чтобы он прибыл к ней один, без провожатых.

Священный приказ королевского величества еще исполнен

магической, чудодейственной силы. Керколди Грейнджский останавливает своих всадников. Один, он переправляется на ту сторону и, прежде чем сказать что-либо, верноподданнически преклоняет колено. Он ставит последнее условие: пусть королева откажется от Босуэла и вместе с ними вернется в Эдинбург. Тогда Босуэла не станут преследовать — скатертью дорога!

Босуэл — изумительная сцена, изумительный актер! — стоит в молчании. Ни слова не говорит он Керколди, ни слова королеве, чтобы не повлиять на ее решение. Чувствуется, что он готов и один скакать навстречу двумстам всадникам, которые, стоя у подошвы холма и не выпуская поводьев из рук, только и ждут сигнала Керколди, его поднятого меча, чтобы ринуться на неприятельские линии. И лишь услышав, что королева дала согласие на предложение Керколди, Босуэл подходит и обнимает ее — в последний раз, но они еще этого не знают. Затем садится на коня и стремительно скачет прочь, сопровождаемый двумя слугами. Горячий сон кончился. Наступает окончательное, жестокое пробуждение.

Страшное, беспощадное пробуждение! Лорды обещали Марии Стюарт отвезти ее в Эдинбург с подобающими почестями, и таково было, по-видимому, их первоначальное намерение. Но едва униженная женщина в своей жалкой, запыленной одежде приближается к толпе наемников, как огненной змейкой вспыхивает насмешка. Пока железный кулак Босуэла защищал королеву, народный гнев не смел ее коснуться. Но теперь она беззащитна, и ненависть дерзко и бесцеремонно поднимает голову. Королева капитулировавшая не внушает уважения мятежным солдатам. Все сильнее напирают они, сначала движимые любопытством, а затем и возмущением. «На костер шлюху!», «В огонь мужеубийцу!..» — раздаются исступленные крики. Тщетно Керколди колошматит их мечом: едва рассеявшись, озлобленные толпы собираются с новым ожесточением, и вот уж они, будто в триумфальном шествии, выступают впереди своей пленницы, неся в руках зна-

мя с изображением убитого супруга и молящего о мести дитяти.

Так с шести до десяти вечера, от Лангсайда до Эдинбурга, гонят они ее сквозь строй. Из каждого дома, из окружающих деревень прибывают все новые охотники посмотреть небывалое зрелище — полоненную королеву, и порой натиск любопытствующих так велик, что они прорывают цепи охраны, и солдаты вынуждены прокладывать себе дорогу в толпе; ни разу не изведала Мария Стюарт такого унижения, как в тот памятный день.

Однако эту гордую женщину можно унижить, но нельзя согнуть. Как рана начинает гореть лишь тогда, когда ее загрязнят, так Мария Стюарт чувствует свое унижение, лишь когда оно сдобрено насмешкой. Ее горячая кровь — кровь Стюартов, кровь Гизов — вскипает, и вместо того, чтобы мудро притвориться равнодушной, она вымещает свою обиду на лордах, призывая их к ответу за народную хулу. Словно разъяренная львица, набрасывается она на них, грозя, что прикажет их вздернуть, распять; схватив за руку лорда Линдсея, едущего рядом, она грозит: «Клянусь этой рукой, не сносить тебе головы!» Как всегда в минуты опасности, ее раздраженная отвага переходит в безумие. Открыто изливает она на лордов свою ненависть, свое презрение, вместо того чтобы мудро промолчать или трусливо заискивать перед ними.

Быть может, именно ее озлобление вызывает ответное озлобление лордов, быть может, их первоначальные намерения и не заходили так далеко. Ибо теперь, увидев, что им нечего надеяться на прощение, они делают все, чтобы эта строптивница почувствовала свою беззащитность. Вместо того чтобы доставить королеву в Холирудский замок, за стенами города, ее везут — и путь ее лежит через Керк о'Филд, достопамятное место злодеяния, — по главной городской улице, наводненной толпами зевак. Здесь, на Хай-стрит, ее приводят в дом профоса, словно затем, чтобы выставить к позорному столбу. Доступ туда закрыт, ни одна из ее дам или служанок не может

к ней проникнуть. И вот начинается ночь безысходного отчаяния. Королева уже много дней не раздевалась, с самого утра у нее маковой росинки во рту не было; то, что эта женщина перенесла с восхода до захода солнца, не поддается описанию; она потеряла королевство и возлюбленного. Под ее окнами, словно перед клеткой в зверинце, собирается гневный городской сброд, из толпы доносятся непристойные выкрики и площадная ругань. И только теперь, когда, по мнению лордов, она достаточно унижена, вступают с ней в переговоры. В сущности, от нее хотят немногого: лорды требуют, чтобы Мария Стюарт окончательно порвала с Босуэлом. Но за безнадежное дело эта своенравная женщина борется еще ожесточеннее, чем за то, что сулило бы ей самые радужные надежды. С презрением отвергает она это условие, и один из ее противников вынужден потом признать: «Никогда не доводилось мне видеть женщины более мужественной и неустрашимой, чем королева в эти минуты».

Но угрозы не помогают, и умнейший из лордов пытается действовать хитростью. Мэйтленд, ее испытанный и еще недавно преданный советник, обращается к более изощренным средствам. Играя на женской ревности и гордости, он рассказывает Марии Стюарт, — кто знает, где тут правда, а где ложь, разве поймешь у дипломата! — что Босуэл ее обманывает: он даже в дни их бракосочетания поддерживал нежные отношения с отставной женой и будто бы клялся ей, что она его настоящая супруга, а королева только наложница. Но Мария Стюарт давно уже не верит никому из этих обманщиков. Наветы Мэйтленда лишь усиливают ее раздражение, и Эдинбург становится свидетелем жестокого зрелища; он видит свою королеву за оконной решеткой: в изодранном платье, с обнаженной грудью и распущенными по плечам волосами, она, как безумная, вскочила на подоконник и, истерически рыдая, призывает народ спасти ее, так как вельможи заточили ее в тюрьму; и, невзирая на свою ненависть, народ потрясен ее страданиями.

Положение час от часу становится невыносимее. Лорды готовы бить отбой. Но они понимают, что чересчур далеко зашли и что путь к отступлению им отрезан. Отвезти Марию Стюарт в Холируд на правах королевы им уже кажется невозможным; но и оставить ее в доме профоса, среди возбужденной толпы, значило бы рисковать слишком многим: навлечь на себя гнев Елизаветы и чужеземных монархов. Единственного человека, у которого достало бы мужества и авторитета, чтобы принять какое-то решение, — Меррея — нет в стране, а без него лорды не в силах на что-либо отважиться. А потому решено на первых порах отвезти королеву в безопасное место, и в качестве такого избран замок Лохливен. Этот замок стоит посреди озера и со всех сторон отрезан от суши, а владеет им Маргарита Дуглас, мать Меррея, — вряд ли станет она мирволить дочери Марии де Гиз, женщины, отнявшей у нее Иакова V. Осторожности ради лорды избегают в выданной ими грамоте опасного слова «заточение»; королеву, гласит текст, подвергли домашнему аресту, чтобы помешать ей снестись с упомянутым графом Босуэлом или же стакнуться с людьми, кои желали бы защитить его от справедливого возмездия.

Это лишь полумера, паллиатив, рожденный страхом и нечистой совестью: восстание еще не решается объявить себя смутой, всю вину лорды валят на безжавшего Босуэла и свое тайное намерение — свергнуть Марию Стюарт с престола — прячут под общими рассуждениями и уклончивыми фразами. Чтобы обмануть народ, с нетерпением ждущий суда над «девкой» (whore) и казни, Марию Стюарт семнадцатого июня вечером увозят в Холируд; триста человек стражи охраняют королеву. Но едва лишь обыватели улеглись спать, как во дворе замка строится небольшой отряд, которому поручают отвезти ее в Лохливен, и до утренней зари длится печальная, одинокая скачка. В первом мерцании рассвета видит Мария Стюарт сверкающую гладь озера, а посреди него — сильно укрепленный, одинокий, неприступный замок, место ее заточения — кто знает, на сколько долгих лет! В лодке перевозят

ее на остров, и окованные железом ворота с лязгом захлопываются. Исполненная страсти и мрака баллада о Дарнлее и Босуэле приходит к концу: начинается скорбная и унылая песня причитальная о вечном заточении.

Г Л А В А Х V
НИЗЛОЖЕНИЕ
Лето 1567 года

С этого дня, с поворотного в ее судьбе семнадцатого июня, когда лорды засадили свою королеву в замок Лохливен за крепкие засовы и затворы, Мария Стюарт становится причиной непрекращающейся смуты и смятения в Европе. Ведь в ее лице встал перед веком новый, можно сказать, революционный вопрос неоглядного значения — о том, какие меры следует принять в отношении монарха, впавшего в непримиримый конфликт со своим народом и оказавшегося недостойным королевского венца. Вина здесь неоспоримо лежит на повелительнице: отдавшись на произвол легкомысленной страсти, Мария Стюарт создала невозможное, нетерпимое положение. Вопреки воле своего дворянства, народа и духовенства она избрала супругом человека, который не только был связан брачными узами, но и единодушно заклеямен общественным мнением как убийца шотландского короля. Презрев закон и добрые нравы, она и теперь отказывается признать этот безрассудный союз недействительным. Даже самые преданные ее друзья согласны между собой в том, что рядом с этим убийцей она не может дольше править Шотландией.

Но какие существуют средства принудить королеву либо расстаться с Босуэлом, либо отречься от престола в пользу сына? Ответ звучит ошеломляюще: да никаких. Государственные правомочия по отношению к монарху в то время равны нулю; народу еще не дозволено подвергать сомнению или порицанию действия своего властителя, всякая юрисдикция кончается у ступеней трона. Гражданское право не простира-

ется на особу короля, он за пределами и выше этого права. Как и священник, он рукоположен самим Господом Богом и ни передать, ни подарить свой сан никому не властен. Никто не вправе лишить помазанника Божия его высокого достоинства. С точки зрения абсолютизма, позволительнее отнять у монарха жизнь, нежели корону. Можно умертвить венценосца, но не свести его с престола, ибо применить к нему какие-то меры принуждения значило бы посягнуть на иерархический строй мироздания в целом. Мария Стюарт своим преступным браком поставила мир перед совершенно новой задачей. От того, как решится ее судьба, зависел не только единичный конфликт, но и умозрительный принцип, основа целого мировоззрения.

Потому-то так судорожно ищут лорды — в меру доступной им учтивости, конечно, — ищут путей уладить дело полюбовно. Даже сейчас, из далей столетий, ясно чувствуется трепет, какой внушало им собственное деяние, — шутка ли, посадить свою повелительницу под замок! — и на первых порах для Марии Стюарт не отрезана возможность возвращения, стоит ей лишь объявить свой брак с Босуэлом незаконным и тем признать свою ошибку. Правда, ее популярность и авторитет изрядно пошатнулись, а все же она могла бы на более или менее почетных условиях вернуться в Холируд и со временем избрать себе достойного супруга. Но у Марии Стюарт еще не открылись глаза. По-прежнему слепо веря в свою непогрешимость, она не хочет понять, что все эти непрерывные скандалы — Шателляр, Риччо, Дарнлей, Босуэл — навлекли на нее обвинение в пагубном легкомыслии. Даже самую ничтожную уступку отвергает она как недостойную. Против всей страны, против всего света защищает она Босуэла, заявляя, что не может от него отказаться, так как иначе дитя, которое она носит, родится бастардом. Она все еще парит в облаках — неисправимый романтик, она не хочет считаться с действительностью. Но это своеволие, которое можно при желании назвать и нелепым и великолепным, с необходимостью вызывает к жизни насильственные меры, какие и были к ней при-

менены, вплоть до той, значение которой еще скажется в веках: ибо не только она, а и кровный ее внук Карл I головой заплатит за свое притязание на неограниченный княжеский произвол.

Но на первых порах, во всяком случае, она еще может рассчитывать на некоторую помощь. Ведь такой конфликт между государыней и народом виден издали, и ее собратьям и единомышленникам, европейским монархам, он не безразличен; особенно решительно на сторону своей давней противницы становится Елизавета. Многие усматривают непоследовательность и недобросовестность в том, что Елизавета вдруг так энергично вступает за соперницу. А между тем поведение Елизаветы и последовательно, и логично, и ясно. Став на сторону Марии Стюарт, она отнюдь не хочет выгородить — и эту разницу нужно всячески подчеркнуть — ни лично Марию Стюарт, ни женщину, ни все ее неблагоприятное и более чем сомнительное поведение. Лишь за королеву вступается она как королева, за чисто умозрительную идею неприкосновенности царственных прав, тем самым отстаивая и собственное дело.

Елизавета далеко не уверена в лояльности своего дворянства и потому не может потерпеть, чтобы в соседней стране был безнаказанно подан пример крамолы, когда мятежные подданные поднимают оружие против законной государыни, хватают ее и сажают под замок. В противоположность Сесилу, который охотно выручил бы протестантских лордов, она полна решимости вновь привести к послушанию этих мятежников, посягнувших на королевский суверенитет, — в лице Марии Стюарт она защищает собственные позиции. И мы, в порядке исключения, склонны ей верить, когда она заявляет, что преисполнена глубокого участия к узнице. Нимало не медля, обещает она свергнутой королеве поддержать ее породственному, хоть и не отказывает себе в удовольствии язвительно поставить на вид оступившейся женщине ее вину.

С нарочитой ясностью отделяет она свою личную точку зрения от государственной. «Madame, — пишет она, — отно-

сительно дружбы всегда существовало мнение, что счастье приносит друзей, а несчастье их проверяет; и так как пришло время на деле доказать нашу дружбу, мы, исходя из наших собственных интересов, а также из участия к Вам, сочли за должное засвидетельствовать в этих кратких словах нашу дружбу... Madame, скажу, не обвиняясь, Вы немало огорчили нас, выказав Вашим замужеством столь прискорбный недостаток сдержанности, и нам пришлось убедиться, что никто из Ваших друзей в мире не одобряет Ваших поступков; утаить это значило бы просто солгать Вам. Вы не могли бы ужаснее замарать свою честь, чем выйдя с такой поспешностью за человека, не только известного всем с самой худшей стороны, но к тому же обвиняемого молвой в убийстве Вашего супруга; немудрено, что Вы навлекли на себя обвинение в соучастии, хотя мы всемерно уповаем, что оно не соответствует истине. И каким же опасностям Вы подвергли себя, сочетавшись с ним при живой жене, — ведь ни по божеским, ни по человеческим законам Вы не можете почитаться его настоящей женой, и дети Ваши не будут почитаться рожденными в законе! Таким образом, Вы ясно видите, как мы мыслим о Вашем браке и, к великому сожалению, иначе мыслить не можем, какие бы убедительные доводы ни приводил Ваш посланец, склоняя нас на Вашу сторону. Мы предпочли бы, чтобы после смерти мужа первой Вашей заботой было схватить и казнить убийц. Если б это было сделано — что в случае столь ясном не представляло никакой трудности, — мы на многие стороны Вашего брака закрыли бы глаза. Но, поскольку этого не произошло, мы можем лишь, во имя дружбы к Вам и уз крови, связывающих нас как с Вами, так и с Вашим почившим супругом, заверить, что мы готовы приложить все наши силы и старания, чтобы достойно воздать за убийство, кто бы из Ваших подданных ни совершил его и сколь бы он ни был Вам близок».

Это ясные слова, острые и отточенные, как бритва, тут не приходится ни мудрить, ни гадать. Слова эти показывают, что Елизавета, через своих соглядатаев, а также по устным доне-

сениям Меррея лучше осведомленная о происшествии в Керк о'Филде, нежели пламенные апологеты Марии Стюарт много веков спустя, не питает никаких иллюзий насчет соучастия Марии Стюарт. Обвиняющим перстом указывает она на Босуэла как на убийцу. Характерно, что в своем дипломатическом послании она пользуется намеренно церемонным оборотом: она-де «всемерно уповаает», а не глубоко убеждена, что Мария Стюарт не замешана в убийстве. «Всемерно уповаю» — чересчур осторожное выражение, когда речь идет о столь страшном злодеянии, и при достаточно изощренном слухе вы улавливаете, что Елизавета ни в коем случае не поручилась бы за то, что Мария Стюарт невиновна, и только из солидарности хочет она как можно скорее потушить скандал. Однако чем сильнее порицает Елизавета поведение Марии Стюарт, тем упрямее отстаивает она — *sua res agitur** — ее достоинство властительницы. «Но чтобы утешить Вас в Вашем несчастье, о котором мы наслышаны, — продолжает она в том же многозначительном письме, — мы спешим заверить Вас, что сделаем все, что в наших силах и что почтем нужным, чтобы защитить Вашу честь и безопасность».

И Елизавета сдержала обещание. Она поручает своему посланнику самым энергичным образом опротестовать все меры, предпринятые бунтовщиками против Марии Стюарт; ясно дает она понять лордам, что, если они прибегнут к насилию, она не остановится и перед объявлением войны. В чрезвычайно резком по тону письме она предупреждает, чтобы они не осмелились предать суду помазанницу Божию. «Найдите мне в Священном писании, — пишет она, — место, дозволяющее подданным свести с престола своего государя. Где, в какой христианской монархии сыщется писанный закон, разрешающий подданным прикасаться к особе своего государя, лишать его свободы или вершить над ним суд?.. Мы не меньше лордов осуждаем убийство нашего августейшего кузена, а брак нашей

*Заботясь о своей выгоде (лат.).

сестры с Босуэлом несравненно больше огорчил нас, нежели любого из вас. Но вашего последующего обращения с королевой Шотландской мы не можем ни одобрить, ни стерпеть. Велением Божиим вы — подданные, а она — ваша госпожа, и вы не вправе приневоливать ее к ответу на ваши обвинения, ибо противно законам естества, чтобы ноги начальствовали над головой».

Однако Елизавета впервые наталкивается на открытое сопротивление лордов, как ни трудно было его ждать от тех, кто в большинстве своем уже годами тайно состоит у нее на жаловании. Убийство Риччо научило их, чего им ждать, если Мария Стюарт снова вернется к власти: никакие угрозы, никакие посулы не побудили ее до сих пор отказаться от Босуэла, а ее истошные проклятья во время обратной скачки в Эдинбург, когда в своем унижении она грозила им великими опалами, все еще зловеще звенят у них в ушах. Не для того убрали они с дороги сначала Риччо, потом Дарнлея, потом Босуэла, чтобы снова отдаться на милость безрассудной женщины; для них было бы куда удобнее возвести на престол ее сына — годовалое дитя: ребенок не станет ими помыкать, и на два десятилетия, пока несовершеннолетний король не войдет в возраст, они были бы неоспоримыми господами страны.

И все же лорды вряд ли нашли бы в себе мужество открыто восстать против своего денежного мешка — Елизаветы, если бы случай не дал им в руки поистине страшное, смертоносное оружие против Марии Стюарт. Спустя шесть дней после битвы при Карберри-хилле низкое предательство спешит преподнести им чрезвычайно радостную для них весть. Джеймс Балфур, правая рука Босуэла в убийстве Дарнлея, чувствует себя не по себе с тех пор, как задул встречный ветер, и он видит одну лишь возможность спасти свою шкуру — совершить новую подлость. Стремясь заручиться дружбой всемогущих лордов, он предает опального друга. Тайно приносит он лордам радостную весть, что бежавший Босуэл прислал в Эдинбург

слугу с поручением незаметно выкрасть из замка оставленный им ларец с важными бумагами. Слугу, по имени Далглиш, тут же хватают, и на дыбе, под страшными пытками, несчастный в смертном страхе выдает, где тайник. По его показаниям в замке, под одной из кроватей, находят драгоценный серебряный ларец — Франциск II во время оно подарил его своей супруге Марии Стюарт, а она, ничего не жалевшая для своего возлюбленного Босуэла, отдала ему вместе со всем остальным и заветный ларец.

В этом крепко запирающемся хитроумными замками сундучке временщик хранил свои личные бумаги, в том числе, очевидно, и обещание королевы выйти за него замуж, а также ее письма, наряду с другими документами, в частности и теми, что компрометировали лордов. Очевидно — ничего не может быть естественнее, — Босуэл побоялся захватить с собой столь важные бумаги, отправляясь в Бортуик, на бой с лордами. Он предпочел спрятать их в надежном месте, рассчитывая при удобном случае послать за ними верного слугу. Ведь и «бонд», которым он обменялся с лордами, и обещание Марии Стюарт стать его женой, и ее конфиденциальные письма могли в трудную минуту очень и очень ему пригодиться как для шантажа, так и для самозащиты; заручившись письменными уликами, он мог крепко держать в руках королеву, если бы эта ветреница пожелала от него отступить, а также и лордов, вздумай они обвинить его в убийстве. Едва почувствовав себя в безопасности, изгнанник должен был прежде всего подумать о том, как бы снова завладеть драгоценными уликами. Лордам, таким образом, вдвойне повезло с их счастливой находкой: теперь они могли втихомолку уничтожить все письменные доказательства собственной виновности и в то же время без всякого снисхождения использовать документы, свидетельствующие против королевы.

Одну лишь ночь главарь шайки граф Мортон хранит запретный ларец у себя, а уже на следующий день он созывает остальных лордов, среди них — факт, заслуживающий особого

упоминания, — также и католиков и друзей Марии Стюарт, и в их присутствии шкатулка вскрывается. Тут-то и обнаруживают знаменитые письма и сонеты, писанные ее рукой. Оставив даже в стороне вопрос о том, насколько ли отличались найденные оригиналы от напечатанных впоследствии текстов, мы можем утверждать с уверенностью, что содержание писем оказалось крайне неблагоприятным для Марии Стюарт; с этого часа поведение лордов меняется, они становятся увереннее, смелее, настойчивее. В минуту первого ликования, даже не дав себе времени снять копии с писем, не говоря уже о том, чтобы их подделать, они спешат раструбить радостную весть — шлют гонца к Меррею во Францию сообщить ему хотя бы общее содержание наиболее компрометирующего королевского письма. Они сносятся с французским послом, допрашивают с пристрастием слуг Босуэла, попавших к ним в руки, и записывают их показания; такое напористое, целеустремленное поведение было бы невозможным, если бы найденные бумаги не содержали достаточно убедительных улик преступного соучастия Марии Стюарт в убийстве. Положение королевы сразу же резко ухудшается.

Ибо найденные в столь критическую минуту письма неизменно укрепили позиции мятежников. Наконец-то они обрели для своего ослушания моральное оправдание, которого им так недоставало. До сих пор они цареубийство валили на одного Босуэла, в то же время остерегаясь слишком допекать беглеца из опасения, как бы он в ответ не разоблачил их как соучастников. Марии Стюарт вменялось в вину лишь то, что она вышла замуж за убийцу. Теперь же благодаря найденным письмам невинные агнцы внезапно «открывают», что королева и сама замешана в убийстве: ее неосторожные письменные признания дают этим завзятым циничным вымогателям верное средство привести ее к повиновению. Наконец-то в руках у них орудие, с помощью которого они вынудят ее «добровольно» отречься от престола в пользу сына, а станет отпираться — что ж, можно будет выдвинуть против нее гласное обвинение в прелюбодеянии и соучастии в убийстве.

Именно выдвинуть из-за чужого плеча, а не открыто с ним выступить. Ибо лорды прекрасно знают, что Елизавета не позволит им судить свою королеву. А потому они благоразумно ретируются на задний план и требуют открытого процесса предоставляют третьим лицам. Эту миссию — натравить против Марии Стюарт общественное мнение — с великой охотой берет на себя обуянный жестоким злорадством Джон Нокс. После убийства Риччо фанатичный проповедник из осторожности покинул страну. Теперь же, когда его мрачные пророчества насчет «кровавой Иезавели» и того, каких бед она натворит своим легкомыслием, не только сбылись, но даже превзошли все ожидания, он, облаченный в ризы пророка, возвращается в Эдинбург. И вот с амвона громогласно и отчетливо зазвучали призывы возбудить дело против грешной папистки; библический проповедник требует суда над королевой-прелюбодейкой. От воскресенья к воскресенью тон реформатских проповедников становится все наглее. Королеве так же мало простительно нарушение супружеской верности и убийство, кричат они ликующим толпам, как и последней простолюдинке. Ясно и недвусмысленно добиваются они казни Марии Стюарт, и это неустанное науськивание делает свое дело. Ненависть, брызжащая с церковных кафедр, вскоре изливается на улицу. Увлекаемое надеждой увидеть, как женщину, на которую оно взирало с робостью, волокут в покаянной одежде на эшафот, то самое простонародье, которое никогда еще в Шотландии не получало ни слова, ни голоса, требует гласного процесса, и особенно беснуются женщины, распаленные яростью против королевы. «The women were most furious and impudent against her, yet the men were bad enough»*. Каждая нищенка в Шотландии знает, что позорный столб и костер были бы ее уделом, если бы она так же безбоязненно отдалась преступной похоти, — так неужто позволить этой женщине, потому что она королева, безнаказанно блудить и убивать и

* Особенно ярились и бесчинствовали женщины, но и мужчины от них не отставали (англ.).

уйти от огненной смерти! Все неистовее звучит в стране клич: «На костер шлюху!» — «Burn the whore!» И, порядком струсив, докладывает английский посланник в Лондон: «Как бы эта трагедия не кончилась для королевы тем, чем началась она для итальянца Давида и для супруга королевы».

А лордам только того и нужно. Тяжелое орудие подкатили, и оно стоит наготове, чтобы вдребезги разнести всякое дальнейшее сопротивление Марии Стюарт «добровольному отречению». По требованию Джона Нокса уже готов обвинительный акт для публичного процесса: Марии Стюарт вменяется в вину «нарушение законов», а также — и тут с осторожностью подбирают слова — «предосудительное поведение в отношении Босуэла и других» («incontinece with Bothwell and others»). Если королева и сейчас не отречется от престола, можно будет огласить на суде найденные в ларце письма, прямо говорящие о сокрытии убийства, и тем довершить ее позор. Это вполне оправдало бы смуту перед всем миром. Изобличенную своей собственной рукой соучастницу убийства и распутницу не поддержит ни Елизавета, ни другие монархи.

Вооружась угрозой гласного трибунала, Мелвил и Линдсей едут двадцать пятого июля в Лохливен. Они везут с собой три изготовленных на пергаменте акта, кои Марии Стюарт надлежит подписать, если она хочет избежать позора публичного обвинения. Первый акт гласит, что, наскучив властью, она «рада» избавиться от тягот правления и что у нее нет ни склонности, ни сил их больше нести. Во втором она изъявляет согласие на коронование сына; в третьем не возражает против того, чтобы возложить регентство на ее сводного брата Меррея или другое достойное лицо.

Переговоры ведет Мелвил, из всех лордов по-человечески самый ей близкий. Он уже дважды приезжал в надежде уговорить ее расстаться с Босуэлом, кончить свару миром, но она отказалась внять ему под тем предлогом, что дитя, которое она носит под сердцем, не должно родиться на свет бастардом.

Однако сейчас, когда найдены письма, борьба идет не на жизнь, а на смерть. Сначала королева горячо противится. Она раздражается слезами, она клянется, что с жизнью простится скорее, чем с короной, и этой своей клятве она пребудет верна до последнего вздоха. Но Мелвил беспощаден; в самых черных красках живописует он то, что ей предстоит: оглашение писем, очная ставка с изловленными слугами Босуэла и, наконец, гласный суд — допрос и приговор. С содроганием видит Мария Стюарт, в какую трясиину позора завела ее собственная опрометчивость. Постепенно страх перед публичным унижением лишает ее мужества. После долгих колебаний, после неистовых взрывов гнева и отчаяния она сдается и подписывает все три документа.

Итак, полная договоренность. Но, как и всегда бывало с шотландскими «бондами», ни одна из сторон не считает себя связанной данным словом и присягой. Невзирая на обещание, лорды не преминут огласить в парламенте письма Марии Стюарт и растрезвонят о ее причастности к убийству всему миру, чтобы отрезать ей возможность отступления. Со своей стороны, и Мария Стюарт отнюдь не считает себя низложенной каким-то росчерком пера на клочке мертвого пергамента. Все, что придает нашему существованию смысл и цену — честь, верность, долг, — никогда не шло для нее в счет по сравнению с ее державными правами, неотъемлемыми для нее, как жизнь, как кровь, горячо струящаяся в ее жилах.

Несколькими днями позже совершается коронация малолетнего короля; народ вынужден довольствоваться более скромным зрелищем, чем оживленное аутодафе на городской площади. Церемония происходит в Стирлинге, лорд Этол несет корону, Мортон — скипетр, Гленкертн — меч, а за ними выступает Мар, держа на руках младенца, который отныне будет именоваться Иаковом VI Шотландским. И то, что обряд помазания совершает Джон Нокс, свидетельствует перед всем миром, что это дитя, этот вновь коронуемый король навсегда избавлен от тенет римского лжеучения. За воротами замка

ликует народ, празднично звонят колокола, по всей стране зажигают костры. На какое-то мгновение — увы! всегда лишь на мгновение — в Шотландии вновь воцаряется радость и мир.

А теперь, когда с трудной и неприятной работой покончено, ничто не мешает Меррею, этому актеру на выигрышные роли, вернуться домой триумфатором. Снова блестяще оправдала себя его коварная тактика — в минуту опасных поворотов отступить в тень. Он отсутствовал при убийстве Риччо, отсутствовал при убийстве Дарнлея, не замешан он и в мятеже против сестры; его верность не запятнана, на его руках нет крови. Все для мудро исчезнувшего со сцены сделало время. Так как он сумел расчетливо выждать, то теперь ему с почетом и без малейшего труда само падает в руки то, чего он втайне алкал. Единогласно предлагают ему, как самому разумному из лордов, взять на себя регентство.

Но Меррей, рожденный властвовать, поскольку он умеет властвовать собой, отнюдь не хватается за предложенную честь. Он слишком умен, чтобы принять ее как милость от людей, которыми ему должно повелевать. К тому же да никто не подумает, будто он, любящий и покорный брат, притязает на право, насильственно отнятое у его сестры. Нет, пусть она сама — психологически мастерский штрих — навяжет ему регентство: он жаждет полномочий и просьб от обеих сторон — как от восставших лордов, так и от низложенной королевы.

Сцена его приезда в Лохливен достойна пера великого драматурга. При виде сводного брата страдальца неудержимо бросается в его объятия. Наконец-то она обретет утешение, поддержку, дружбу, а главное — недостающий ей добрый совет. Но Меррей с нарочитым равнодушием взирает на ее волнение. Он уводит ее в спальню и сурово пробирает за все, что она натворила, ни единым словом не подавая надежды на снисхождение. Ошеломленная его холодностью, королева раздражается слезами, оправдывается, защищается. Но прокурор Меррей молчит, молчит и молчит с насупленным челом.

Чтобы поддержать в отчаявшейся женщине страх, он делает вид, будто в его молчании скрыта еще неведомая угроза.

На всю ночь оставляет Меррей сестру в этом чистилище страха; пагубный яд неуверенности, который он по капле влил в нее, должен сперва глубоко просочиться ей в душу. Беременная женщина, оторванная от мира — иноземным послан доступ к ней закрыт, — не знает, что ее ждет: гласное обвинение или суд, позор или смерть. Всю ночь не смыкает она глаз, и к утру силы ее сломлены. И тут Меррей начинает понемногу применять снисхождение. Осторожно намекает он, что если она откажется от попыток к бегству и всяких сношений с иностранными дворами, а главное — порвет с Босуэлом, быть может, еще удастся — он говорит это неуверенным тоном — спасти в глазах мира ее честь. Даже это мерцание надежды вливает жизнь в несчастную, отчаявшуюся женщину. Она бросается в объятия брата, просит, молит, пусть он возьмет на себя тяготы регентства. Тогда ее сын будет в полной сохранности, государство — в руках мудрого правителя, а сама она — в безопасности. Она молит и молит, и Меррей заставляет себя долго просить при свидетелях, покуда великодушно не соглашается принять из ее рук то, за чем он, собственно, явился. Он уходит довольный, оставляя успокоенную Марию Стюарт; теперь, когда она знает, что власть в руках ее брата, она тешит себя надеждой, что пресловутые письма останутся тайной и что честь ее спасена.

Но нет милости для бессильного. Как только Меррей берет бразды правления в свои жесткие руки, он прежде всего старается сделать возвращение сестры невозможным: как регент, он хочет морально прикончить неудобную конкурентку. Уже и речи нет о ее освобождении, напротив, все делается для того, чтобы задержать пленницу в ее узилище. Несмотря на данное Мерреем Елизавете, а также сестре обещание защитить ее честь, с его ведома и попущения пятнадцатого декабря в шотландском парламенте позорящие Марию Стюарт письма и сонеты извлекаются из серебряного ларца, зачитываются

вслух, сравниваются с другими документами и признаются подлинными. Четыре епископа, четырнадцать аббатов, двадцать графов, пятнадцать лордов и более тридцати мелкопоместных дворян, среди них немало близких друзей королевы, удостоверяют честью и присягой подлинность писем и сонетов, и ни один голос, даже из лагеря друзей — немаловажный факт, не выражает ни малейшего сомнения.

Так парламентское заседание превращается в трибунал, незримо стоит королева перед судом своих подданных. Все беззакония последних месяцев — смута, заточение, — едва лишь письма прочтены, узакониваются, и со всей ясностью заявляется, что королева заслужила свою кару, так как убийство ее супруга произошло с ее ведома и соизволения (*art and part*), «что доказано письмами, писанными ее рукой как до, так и после убийства и обращенными к Босуэлу, главному зачинщику и коноводу, а также позорным браком, в который она вступила вскоре после убийства». А чтобы весь мир узнал вину Марии Стюарт и дабы всем стало ведомо, что честные, добропорядочные лорды лишь из чисто моральных побуждений восстали против нее, иностранным дворам рассылаются копии писем; так Марию Стюарт перед всем миром объявляют отверженной и выжигают у нее на лбу клеймо позора. С алым знаком поношения на челе она уже не осмелится — так полагают Меррей и лорды — требовать себе корону.

Но Мария Стюарт столь прочно замурована в сознание своего королевского величия, что ни поношение, ни поругание не в силах ее смирить. Нет клейма, чувствует она, которое изуродовало бы лоб, носивший царственный обруч и помазанный елеем избранничества. Ни пред чьим приговором или приказом не склонит она головы, и чем больше заталкивают ее под ярмо бесславного прозябания, тем решительнее она противится. Такую волю не удержишь взаперти; она взрывает самые крепкие стены, сносит плотины. А если заковать ее в цепи, она будет потрясать ими так, что содрогнутся камни и сердца.

ПРОЩАНИЕ СО СВОБОДОЙ

С лета 1567 по лето 1568 года

Если сумрачные сцены трагедии о Босуэле потребовали бы для своей поэтической разработки гениальности Шекспира, то более мягкие, романтически взволнованные сцены эпилога, разыгравшегося в замке Лохливен, выпало воссоздать писателю, куда менее значительному, — Вальтеру Скотту. И все же душе того, кто прочел эту книгу в детстве, мальчиком, она говорит несравненно больше, нежели любая историческая правда, — ведь в иных редких, избранных случаях прекрасная легенда одерживает верх над действительностью. Как все мы юными, пылкими подростками любили эти сцены, как живо они запали нам в душу, как трогали наши сердца! Уже в самом материале заложены все элементы волнующей романтики: тут и суровые стражи, стерегущие невинную принцессу, и подлые клеветники, ее бесчестящие, и сама она, юная, сердечная, прекрасная, чудесно обращающая суровость врагов в добрые чувства, вдохновляющая мужские сердца на рыцарское служение. Но не только сюжет, романтично и сценическое оформление — угрюмый замок посреди живописного озера.

Принцесса может затуманенным взором любоваться с башни своей прекрасной Шотландией, нежным очарованием этого чудесного края с его лесами и горами, а где-то там, вдали, бушует Северное море. Все поэтические силы, скрытые в сердцах шотландцев, как бы кристаллизовались вокруг романтического эпизода из жизни их возлюбленной королевы, а когда такая легенда находит себе и совершенное воплощение, она глубоко и неотъемлемо проникает в кровь народа. В каждом поколении ее вновь пересказывают и вновь утверждают; точно неувядающее дерево, дает она что ни год все новые ростки; рядом с этой высокой истиной лежит в небрежении бумажная труха исторических фактов, ибо то, что однажды нашло прекрасное воплощение, живет и сохраняется в веках по праву всего прекрасного. И когда с годами к нам вместе со зрелостью

приходит недоверие и мы пытаемся за трогательной легендой нащупать истину, она представляется нам кощунственно трезвой, как стихотворение, пересказанное холодной, черствой прозой.

Но опасность легенды в том, что об истинно трагическом она умалчивает в угоду трогательному. Так и романтическая баллада о лохливленском заточении Марии Стюарт замалчивает истинное, сокровенное, подлинно человеческое ее горе. Вальтер Скотт упорно забывает рассказать, что его романтическая принцесса была в ту пору в тягости от убийцы своего мужа, а ведь в этом, в сущности, и заключалась величайшая ее душевная драма в те страшные месяцы унижения. Ведь ее ребенок, которого она носит во чреве, как и следует ожидать, родится до срока, любой хулиган сможет безжалостно вычислить по непреложному календарю природы, когда она стала физически принадлежать Босуэлу. Пусть день и час нам неизвестны, но произошло это в непозволительное с точки зрения права и морали время, когда любовь была равносильна супружеской измене или распутству — быть может, в дни траура по умершему супругу, — в Сетоне или во время ее прихотливых кочеваний из замка в замок, а может быть, и даже вернее, еще до этого, при жизни мужа, — и то и другое равно позорно. Мы лишь в том случае до конца постигнем душевные терзания отчаявшейся женщины, когда вспомним, что предстоящее ей рождение ребенка открыло бы миру с календарной точностью начало ее преступной страсти.

Однако покров так и не был сорван с этой тайны. Мы не знаем, как далеко зашла беременность Марии Стюарт к моменту ее появления в Лохливене, не знаем, когда она избавилась от снедавших ее страхов, ни того, родился ребенок живым или мертвым, ни сколько недель или месяцев было детищу недозволенной любви, когда его у нее забрали. Здесь все темно и зыбко, все свидетельства противоречат друг другу, ясно лишь, что у Марии Стюарт были достаточно веские основания скрывать дату своего материнства. Ни в одном письме, ни

единым словом — уже это подозрительно — не обмолвилась она никому о ребенке Босуэла. По официальному сообщению, составленному ее секретарем Нау при ее личном участии, она преждевременно произвела на свет нежизнеспособных близнецов — преждевременно: остается лишь предположить, что в этой преждевременности не было ничего случайного, недаром она взяла с собой в заточение своего аптекаря. По другой, столь же малодостоверной версии ребенок — девочка — родилась живой, была тайно увезена во Францию и там скончалась в женском монастыре, не зная о своем королевском происхождении. Но всякие догадки и предположения бессильны в этой недоступной исследованию области, действительные события на веки вечные сокрыты непроницаемой тьмой. Ключ к последней тайне Марии Стюарт заброшен на дно Лохливленского озера.

Уже то обстоятельство, что стражи Марии Стюарт помогли ей скрыть опасную тайну рождения — или преждевременных родов — незаконного ребенка, доказывает, что они отнюдь не были теми извергами, какими их — черным по черному — рисует романтическая легенда. Госпожа Лохливена, леди Дуглас, которой лорды доверили надзор за Марией Стюарт, тридцать лет назад была возлюбленной ее отца; шестерых детей родила она Иакову V — старшим был граф Меррей, — прежде чем вышла замуж за Дугласа Лохливленского, которому также родила семерых. Женщина, тринадцать раз познавшая муки деторождения и сама терзавшаяся тем, что первые ее дети рождены бастардами, могла больше, чем кто-либо, понять тревогу Марии Стюарт. Жестокость, в которой ее упрекают, по-видимому, ложь и напраслина; узницу, надо думать, приняли в Лохлиvene как почетную гостью. В ее распоряжении была целая анфилада комнат, привезенные из Холируда повар и аптекарь, а также четыре или пять приближенных женщин. Она пользовалась полной свободой в замке и как будто выезжала даже на охоту.

Если смотреть на вещи здраво, без романтического пристрастия, обращение с ней надо прямо назвать снисходительным. В самом деле — романтика заставляет нас забывать об этом, — женщина, решившаяся выйти замуж за убийцу своего мужа спустя три месяца после убийства, виновата по меньшей мере в преступном легкомыслии, и даже в наши дни суд помиловал бы соучастницу, разве лишь приняв во внимание такие смягчающие вину обстоятельства, как временное душевное расстройство или подчинение чужой воле. Словом, если королеву, своим скандальным поведением нарушившую мир в стране и восстановившую против себя всю Европу, на некоторое время принудили уйти на покой, то это было благом не только для страны, но и для самой королевы. В эти недели затворничества она наконец-то получает возможность успокоить взбудораженные, взвинченные нервы, восстановить нарушенное равновесие, укрепить подорванную Босуэлом волю; лохливенское заточение, в сущности, хотя бы на несколько месяцев избавило безрассудную женщину от самой большой опасности — от снедающей ее тревоги и нетерпения.

Поистине снисходительной карой за столько содеянных безумств должно назвать это романтическое заточение по сравнению с тем, что выпало на долю ее соучастника и возлюбленного. Не так мягко обошлась судьба с Босуэлом! На море и на суше, невзирая на обещание, преследует изгнанника разъяренная свора, голова его оценена в тысячу шотландских крон, и Босуэл знает — самый надежный друг в Шотландии выдаст и продаст его за эту награду. Но не так-то легко захватить удальца: он пытается собрать своих верных для последнего сопротивления, а потом бежит на Оркнейские острова, чтобы оттуда развязать войну с лордами. Меррей с флотилией из четырех кораблей высаживается на островах, и лишь с трудом ускользает гонимый от своих преследователей, отважившись в утлой скорлупке выйти в открытое море. Он попадает в шторм. С изодранными парусами держит курс суденышко, предназначенное для каботажного плавания, к бере-

гам Норвегии, где его захватывает датский военный корабль. Опасаясь выдачи, Босуэл хочет остаться неузнанным. Он берет у матроса платье — уж лучше сойти за пирата, чем за разыскиваемого короля Шотландии. Однако вскоре дознаются, кто он. Босуэла пересылают с места на место и в Дании даже отпускают на свободу; он уже радуется счастливому избавлению. Но тут лихого сердцеда настигает Немезида: положение его резко ухудшается, оттого что какая-то датчанка, которую он в свое время обольстил, пообещав на ней жениться, подала на него жалобу.

Между тем в Копенгагене дознались, какие ему вменяются преступления, и с этой минуты над его головой занесен топор. Дипломатические курьеры мчатся взад и вперед. Меррей требует его выдачи, особенно неистовствует Елизавета, которой важно заручиться свидетелем против Марии Стюарт. В свою очередь, французские родичи Марии Стюарт тайно хлопочут, чтобы датский король не выдал опасного свидетеля. Заточение Босуэла становится все более строгим, однако только тюрьма и защищает его от возмездия. Человек, который на поле брани не дрогнул бы и перед сотней врагов, должен каждый день со страхом ждать, что его в цепях пошлют на родину и после страшных пыток казнят как цареубийцу. Одна темница сменяется другой, все суровее и теснее его заключение, точно опасного зверя, держат узника за стенами и решетками, и вскоре он уже знает, что только смерть освободит его от оков.

В ужасающем одиночестве и бездействии проводит неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом этот сильный, брызжащий энергией человек, гроза врагов, кумир женщин; заживо гниет и разлагается исполинский сгусток жизненной энергии. Хуже пытки, хуже смерти для бесшабашного удальца, который только в переизбытке сил и в безбрежности свободы дышал полной грудью, который вихрем носился по полям во главе охоты, вел своих верных навстречу врагу, дарил любовь женщинам всех стран и познал все радости духа, — хуже пытки и смерти для него это жуткое праздное одиночество

среди холодных, немых, угрюмых стен, эта пустота уходящего времени, сокрушающая жизненную энергию. По рассказам, которым охотно веришь, он как бесноватый бился о железные прутья своей клетки и жалким безумцем кончил жизнь. Из всех многочисленных спутников, претерпевших ради Марии Стюарт пытку и смерть, на долю этого горячо любимого выпало самое долгое и страшное покаяние.

Но помнит ли еще Мария Стюарт о Босуэле? Действует ли и на расстоянии заклятие его воли или медленно и постепенно расступается огненный круг? Никто не знает. Как и многое другое в ее жизни, это осталось тайной. И только одному удивляешься. Едва встав после родов, едва сбросив с себя иго материнства, она уже вновь исполнена женского очарования, опять источает соблазн и тревогу. Опять — в третий раз — вовлекает она юное существо в орбиту своей судьбы.

Приходится все снова и снова с прискорбием повторять это: дошедшие до нас портреты Марии Стюарт, написанные большей частью посредственными мазилами, не позволяют нам заглянуть в ее душу. Со всех полотен глядит на нас с будничным безразличием милое, спокойное, приветливое лицо, но ни одно из них не передает того чувственного очарования, которое, несомненно, исходило от этой удивительной женщины. Надо полагать, она излучала какое-то особое обаяние женственности, ибо всюду, и даже среди врагов, приобретает она друзей. И невестой, и вдовой, на каждом троне и в каждом узилище умела она создать вокруг себя эту атмосферу сочувствия, так что самый воздух вокруг нее как бы пронизан теплом и лаской. Едва появившись в Лохлиvene, она сразу покорила молодого лорда Рутвена, одного из своих стражей; лорды вынуждены были убрать его. Но не успел Рутвен покинуть замок, как ею покорен другой юный лорд, Джордж Дуглас Лохливенский. Понадобилось лишь несколько недель, и сын ее тюремщицы готов на любые жертвы — во время ее побега он самый ревностный и преданный ее помощник.

Был ли он только помощником? Не был ли юный Дуглас

для нее чем-то большим в эти месяцы заточения? Осталась ли эта склонность рыцарственной и платонической? *Ignorabimus**. Во всяком случае, Мария Стюарт, не стесняясь, использует чувства молодого человека и не скупится на хитрость и обман. Кроме личного очарования, у королевы имеется еще и другая приманка: соблазн добиться вместе с ее рукой и власти магнетически действует на всех, кого она ни встречает на своем пути. Похоже, что Мария Стюарт — но тут можно отважиться лишь на догадку — поманила польщенную мать юного Дугласа возможностью брака, чтобы купить ее снисходительность, ибо постепенно охрана становится все более нерадивой, и Мария Стюарт может наконец приступить к делу, к которому устремлены все ее помыслы: к своему освобождению.

Первая попытка (25 марта), хоть и искусно подготовлена, терпит неудачу. Каждую неделю одна из прачек замка вместе с другими служанками переправляется в лодке на берег и обратно. Дуглас взялся уломать прачку, и она согласилась обменяться с королевой платьем. В грубой одежде служанки, под густым покрывалом, скрывающим ее черты, Мария Стюарт благополучно минует охрану у замковых ворот. Она садится в лодку, отплывающую к берегу, где ее поджидает с лошадьми Джордж Дуглас. Но тут одному из гребцов вздумалось пошутить со стройной прачкой, накинувшей на голову вуаль. Под предлогом, что он хочет поглядеть, какова она лицом, он пытается сорвать с нее вуаль, и Мария Стюарт в страхе хватается за нее своими узкими, белыми, нежными руками. И эта тонкая аристократическая рука с холеными пальчиками, какие трудно предположить у прачки, выдает ее. Гребцы всполошились и, хоть разгневанная королева приказывает им грести к противоположному берегу, поворачивают и отвозят ее обратно в тюрьму.

О случае этом немедленно доносят властям, и охрану узницы усиливают. Джорджу Дугласу запрещено появляться в

*Мы никогда не узнаем (*лат.*).

замке. Но это не мешает ему поселиться поблизости и поддерживать с королевой постоянную связь; как преданный гонец, он несет почтовую службу между ней и ее сторонниками. Ибо, сколь это ни странно, у королевы-узницы, объявленной вне закона и уличенной в убийстве, после года правления Меррея опять появились сторонники. Кое-кто из лордов, Сетоны и Хантлеи в первую очередь, отчасти из ненависти к Меррею, все время хранили верность Марии Стюарт. Но что особенно удивительно, самых рьяных приверженцев находит она в Гамильтонах, своих заклятых противниках. Дома Гамильтонов и Стюартов искони враждовали между собой. Гамильтоны — самый могущественный род после Стюартов — ревниво оспаривали у Стюартов корону для своего клана; теперь им представляется удобный случай, женив одного из своих сыновей на Марии Стюарт, возвести его на шотландский престол. Эти соображения заставляют их — ибо что политике до морали! — стать на сторону женщины, чьей казни за мужеубийство они требовали всего лишь несколько месяцев назад. Трудно предположить, что Мария Стюарт серьезно (или Босуэл уже забыл?) подумывала о том, чтобы выйти замуж за одного из Гамильтонов. Очевидно, она изъявила согласие из расчета, надеясь этим купить себе свободу. Джордж Дуглас, которому она тоже обещала свою руку — двойная игра отчаявшейся женщины, — служит ей посредником в этих переговорах, кроме того, он руководит всей операцией в целом. Второго мая приготовления закончены; и, как всегда в тех случаях, когда отвага призвана заменить осмотрительность, Мария Стюарт бестрепетно встречает неизвестность.

Побег этот необычайно романтичен, как и подобает романтической королеве. Мария Стюарт или Джордж Дуглас заручились в замке помощью мальчика Уильяма Дугласа, который служит здесь пажом, и сметливый, проворный подросток с честью выполнил свою задачу. По заведенному строгому порядку все ключи от Лохливенских ворот на время общего ужина кладутся для верности рядом с прибором коменданта,

а после ужина он уносит их с собой и прячет под изголовье. Даже за трапезой хочет он их иметь перед глазами. Так и сейчас тяжелая связка лежит перед ним, поблескивая металлом. Разнося блюда, смысленный пострел неприметно бросает на ключи салфетку, и, пользуясь тем, что общество за столом, изрядно приложившись к бутылкам, беззаботно беседует, он, убирая со стола, прихватывает с салфеткой и ключи. А потом все идет как по писаному. Мария Стюарт переодевается в платье одной из служанок, мальчик спешит вперед и, открывая дверь за дверью, тщательно запирает их снаружи, чтобы затруднить преследователям выход, а потом всю связку бросает в озеро. Он уже заранее сцепил все имеющиеся на острове лодки и выводит их за своей на середину озера: этим он отрезает дорогу погоне. После чего ему остается одно: в сумерках теплого майского вечера быстрыми ударами весел править к берегу, где их ждут Джордж Дуглас и лорд Сетон с пятьюдесятью всадниками. Королева немедля садится в седло и скачет всю ночь напролет к замку Гамильтонов. Едва она почувствовала себя на свободе, как в ней снова пробудилась ее обычная отвага.

Такова знаменитая баллада о побеге Марии Стюарт из омываемого волнами замка, побеге, который стал возможен благодаря преданности любящего юноши и самопожертвованию отрока; обо всем этом при случае можно прочитать у Вальтера Скотта, запечатлевшего этот эпизод во всей его романтичности. Летописцы смотрят на дело трезвее. По их мнению, суровая тюремщица леди Дуглас якобы больше была осведомлена о побеге, чем считала нужным показать и чем это вообще показывают, и всю эту прекрасную повесть она сочинила потом, чтобы объяснить, почему стража так кстати ослепла и проявила такую нерадивость. Но не стоит разрушать легенду, когда она так прекрасна. К чему гасить эту последнюю романтическую зорю в жизни Марии Стюарт? Ибо на горизонте уже сгущаются тени. Пора приключений приходит к концу. В последний раз эта молодая смелая женщина пробудила и познала любовь.

Спустя неделю у Марии Стюарт уже шеститысячное войско. Еще раз как будто готовы рассеяться тучи, снова воссияли на какое-то мгновение благосклонные звезды над ее головой. Не только Сетоны и Хантлеи — вернулись все старые ее сподвижники, не только клан Гамильтонов перешел под ее знамена, но и, как это ни удивительно, большая часть шотландской знати, восемь графов, девять епископов, восемнадцать дворян и более сотни баронов. Поистине странно — а впрочем, ничуть не странно, если вспомнить, что никто в Шотландии не может править самовластно, не восстановив против себя всю знать. Жесткая рука Меррея прихлалась лордам не по нраву. Лучше присмирившая, хоть и стократ виновная королева, нежели суровый регент. Да и за границей спешат поддержать освобожденную королеву. Французский посол явился к Марии Стюарт, чтобы засвидетельствовать ей, правомерной властительнице, свою лояльность. Елизавета послала нарочного выразить радость по поводу «счастливого избавления». Положение Марии Стюарт за год неволи значительно окрепло и прояснилось, опять ей выпала счастливая карта. Но, словно охваченная недобрым предчувствием, уклоняется шотландская королева, доселе такая мужественная и воинственная, от вооруженной схватки — она предпочла бы кончить дело миром; когда бы брат оставил ей хоть робкий глянец королевского величия, она, так много пережившая, охотно отдала б ему всю власть. Какая-то часть той энергии, которую крепила в ней железная воля Босуэла, надломилась — ближайшие дни это покажут; после пережитых тревог, забот и треволнений, после всей этой неистовой вражды она мечтает лишь об одном — о свободе, умиротворенности и покое.

Но Меррей и не думает хотя бы частично поступиться властью. Его честолюбие и честолюбие Марии Стюарт — дети одного отца, а тут нашлись и советчики, старающиеся закалить его решимость. В то время как Елизавета посылает Марии Стюарт поздравления, английский государственный канцлер Сесил, со своей стороны, всячески нажимает на Меррея,

требуя, чтобы он разделался наконец с Марией Стюарт и католической партией в Шотландии. И Меррей недолго раздумывает. Он знает: пока Мария Стюарт на свободе, в Шотландии не быть миру. Перед ним великий соблазн раз и навсегда расквитаться с лордами-смутьянами и преподать им памятный урок. С обычной своей энергией он быстро собирает войско, уступающее, правда, по численности противнику, но зато лучше управляемое и более дисциплинированное. Не дожидаясь подмоги, выступает он в направлении Глазго. И тринадцатого мая под Лангсайдом настает час окончательного расчета между королевой и регентом, между братом и сестрой, между одним Стюартом и другим.

Битва при Лангсайде была короткой, но решающей. Ни долгих колебаний, ни переговоров, как это было в битве при Карберри; в стремительной атаке налетает конница Марии Стюарт на неприятельские линии. Но Меррей хорошо выбрал позицию; еще до того, как вражеской кавалерии удастся штурмовать холм, она рассеяна жарким огнем, а потом смята и разгромлена в контратаке. Все кончено в каких-нибудь три четверти часа. Бросив все орудия и триста человек убитыми, последняя армия королевы обращается в беспорядочное бегство.

Мария Стюарт наблюдала сражение с высокого холма; увидев, что все потеряно, она сбегает вниз, садится на коня и с небольшим отрядом провожатых мчит во весь опор. Она больше не думает о сопротивлении, панический ужас охватил ее. Сломая голову, не разбирая дороги, несется она через пастбища и болота, по полям и лесам — и так без отдыха весь этот первый день, с одной мыслью: только бы спастись! «Я извела все, — напишет она позднее кардиналу Лотарингскому, — хулу и поношение, плен, голод, холод и палящий зной, бежала неведомо куда, проскакав девяносто две мили по бездорожью без отдыха и пищи. Спала на голой земле, пила прокисшее молоко, утоляла голод овсянкой, не видя куска хлеба. Три ночи провела я в глуши, одна, как сова, без женской помощи».

Такой, в освещении этих последних дней, отважной амазонкой, романтической героиней и осталась она в памяти народа. В Шотландии ныне забыты все ее слабости и безрассудства, прощены и оправданы все ее преступления, внушенные страстью. Живет лишь эта картина — кроткая пленница в уединенном замке и вторая — отважная всадница, которая, спасая свою свободу, скачет ночью на взмыленном коне, предпочитая тысячу раз умереть, чем трусливо и бесславно сдаться врагам. Уже трижды бежала она под покровом ночи — первый раз с Дарнлеем из Холируда, второй раз в мужской одежде к Босуэлу из замка Бортуик, в третий раз с Дугласом из Лохливена. Трижды в отчаянной, бешеной скачке спасала она свою корону и свободу. Теперь она спасает только свою жизнь.

На третий день после битвы при Лангсайде достигает Мария Стюарт Дандреннанского аббатства у самого моря. Здесь граница ее государства. До последнего рубежа своих владений бежала она, как затравленная лань. Для вчерашней королевы не найдется сегодня надежного прибежища во всей Шотландии; все пути назад ей отрезаны; в Эдинбурге ее ждет неумолимый Джон Нокс и снова — поношение черни, снова — ненависть духовенства, а возможно, позорный столб и костер. Ее последняя армия разбита, прахом пошли ее последние надежды. Настал трудный час выбора. Позади лежит утраченная страна, куда не ведет ни одна дорога, впереди — безбрежное море, ведущее во все страны мира. Она может уехать во Францию, может уехать в Англию, в Испанию. Во Франции она выросла, там у нее друзья и родичи и много еще тех, кто ей предан, — поэты, посвящавшие ей стихи, дворяне, провожавшие ее к французским берегам; эта страна уже однажды дарила ее гостеприимством, венчала пышностью и великолепием. Но именно потому, что ее знали там королевой во всем блеске земной славы, взнесенную превыше всякого величия, ей претит вернуться туда нищенкой, просительницей в жалких лохмотьях, с замаранной честью. Она не хочет видеть язвительную усмешку ненавистной итальянки Екатерины Медичи, не

хочет жить подачками или быть запертой в монастыре. Но и бежать к замороженному Филиппу в Испанию кажется ей унижительным; никогда этот ханжеский двор не простит ей, что с Босуэлом соединил ее протестантский пастор, что она стала под благословение еретика. Итак, остается один лишь выбор, вернее, не выбор, а неизбежность: направиться в Англию. Разве в самые беспросветные дни ее пленения не дошел до нее подбадривающий голос Елизаветы, заверявший, что она «в любое время найдет в английской королеве верную подругу»? Разве Елизавета не дала торжественную клятву восстановить ее на престоле? Разве не послала ей перстень — верный залог, с помощью которого она в любой час может воззвать к ее сестринским чувствам?

Но тот, чьей руки хоть однажды коснулось несчастье, всегда вытягивает неверный жребий. Впопыхах, как обычно при ответственных решениях, принимает Мария Стюарт это самое ответственное; не требуя никаких гарантий, она еще из Дандреннанского монастыря пишет Елизавете: «Разумеется, дорогая сестра, тебе известна большая часть моих злоключений. Но то, что сегодня заставляет меня писать тебе, произошло так недавно, что вряд ли успело коснуться твоего слуха. А потому я должна со всей краткостью сообщить, что те мои подданные, которым я особенно доверяла и которых облекла высшими почестями, подняли против меня оружие и недостойно со мной поступили. Всемогущему вершителю судеб угодно было освободить меня из жестокого заточения, в кое я была ввергнута. С тех пор, однако, я проиграла сражение и большинство моих верных погибло у меня на глазах. Ныне я изгнана из моего королевства и обретаюсь в столь тяжких бедствиях, что, кроме вседержителя, уповаю лишь на твое доброе сердце. А потому прошу тебя, милая сестрица, позволь мне предстать перед тобой, чтобы я могла рассказать тебе о моих злоключениях.

Я также молю Бога, да ниспошлет тебе благословение неба, а мне — кротость и утешение, которое я больше всего надеюсь

и молю получить из твоих рук. А в напоминание того, что позволяет мне довериться Англии, я посылаю ее королеве этот перстень, знак обещанной дружбы и помощи. Твоя любящая сестра Maria R*».

Второпях, словно не давая себе опомниться, набрасывает Мария Стюарт эти строки, от которых зависит все ее будущее. Потом она запечатывает в письмо перстень и передает то и другое верховому. Однако в письме не только перстень, но и ее судьба.

Итак, жребий брошен. Шестнадцатого мая Мария Стюарт садится в рыбацкий челн, пересекает Солуэйский залив и высаживается на английском берегу возле небольшого портового городка Карлайла. В этот роковой день ей нет еще двадцати пяти, а между тем жизнь для нее, в сущности, кончена. Все, чем судьба может в преизбытке одарить человека, она пережила и перестрадала, все вершины земные ею достигнуты, все глубины измерены. В столь ничтожный отрезок времени ценной величайшего душевного напряжения познала она все крайности жизни: двух мужей схоронила и утратила два королевства, побывала в тюрьме, заплуталась на черных путях преступления и все вновь всходила на ступени трона, на ступени алтаря, обуянная новой гордыней. Все эти недели, все эти годы она жила в огне, в таком ярком, полыхающем, всепожирающем пламени, что отблеск его светит нам и через столетия. И вот уже рассыпается и гаснет костер, все, что было в ней лучшего, в нем перегорело; от некогда ослепительного сияния остался лишь пепел и шлак. Тенью былой Марии Стюарт вступает она в сумерки своего существования.

* Maria Regina (лат.) — королева Мария.

БЕГЛЯНКЕ СВИВАЮТ ПЕТЛЮ

С 16 мая по 28 июня 1568 года

Известие, что Мария Стюарт высадилась в Англии, конечно, не на шутку встревожило Елизавету. Нечего и говорить, что непрощеная гостья ставила ее в крайне трудное положение. Правда, весь последний год она, как монархиня монархиню, из солидарности защищала Марию Стюарт от ее мятежных подданных. В прочувствованных посланиях — ведь бумага недорога, а изъяснения в дружбе легко стекают с дипломатического пера — заверяла она ее в своем участии, в своей преданности, своей любви. С пламенным — увы, чересчур пламенным — красноречием убеждала она шотландскую королеву рассчитывать на нее при любых обстоятельствах, как на преданную сестру. Но ни разу Елизавета не позвала Марию Стюарт в Англию, напротив, все эти годы она отклоняла всякую возможность личной встречи. И вдруг, как снег на голову, эта назойливая особа объявилась в Англии, в той самой Англии, на которую она еще недавно притязала в качестве единственной законной престолонаследницы. Прибыла самовольно, непрощеная и незванная, и с первого же слова ссылается на то самое обещание поддержки и дружбы, которое, как всякому ясно, имело чисто метафорический смысл. Во втором письме Мария Стюарт, даже не спрашивая, хочет того Елизавета или нет, требует свидания как своего неоспоримого права: «Прошу Вас возможно скорее выволить меня отсюда, ибо я обретаюсь в состоянии, недостойном не только королевы, но даже простой дворянки. Единственное, что я спасла, — это свою жизнь: ведь первый день мне пришлось шестьдесят миль скакать напрямиком через поля. Вы сами убедитесь в этом, когда, как я твердо верю, проникнетесь участием к моим безмерным невзгодам».

И участие, действительно, — первое чувство Елизаветы. Разумеется, ее гордость находит величайшее удовлетворение в том, что женщина, замышлявшая свергнуть ее с престола,

сама себя свергла — ей, Елизавете, и пальцем шевельнуть не пришлось. Пусть весь мир видит, как она поднимает горячку с колен и с высоты своего величия раскрывает ей объятия! Поэтому первое, правильное ее побуждение — великодушно призвать к себе беглянку. «Мне донесли, — пишет французский посланник, — что королева в коронном совете горячо заступилась за королеву Шотландскую и дала ясно понять, что намерена принять и почитать ее сообразно ее былому достоинству и величию, а не нынешнему положению». Со свойственным ей чувством ответственности перед историей Елизавета хочет остаться верна своему слову. Послушайся она этого непосредственного побуждения, не только жизнь Марии Стюарт, но и ее собственная честь была бы спасена.

Но Елизавета не одна. Рядом с ней стоит Сесил, человек с холодными, отливающими сталью глазами, политик, бесстрастно делающий ход за ходом на шахматной доске. Нервическая натура, болезненно отзывающаяся на малейшее дуновение ветра, Елизавета недаром избрала себе в советчики этого жестокого, трезвого, расчетливого дельца; недоступный поэзии и романтике, пуританин по характеру и темпераменту, он презирает в Марии Стюарт ее порывистость и страстность, убежденный протестант, он ненавидит католичку; а кроме того, судя по его личным записям, он с полным убеждением смотрит на нее как на соучастницу и пособницу в убийстве Дарнлея.

Не успела Елизавета расчувствоваться, как он останавливает ее участливо протянутую руку. Дальновидный политик, он понимает, в какие трудности вовлечет английское правительство возня с этой неугомонной особой, с этой интриганкой, которая уже много лет сеет смятение повсюду, где ни появится. Принять Марию Стюарт в Лондоне, оказав ей королевские почести, — значит признать ее права на Шотландию, а это наложит на Англию обязанность с оружием в руках и с полным кошельком выступить против лордов и Меррея. Но к этому у Сесила нет ни малейшей склонности, ведь сам же он подстрекал лордов к смуте. Для него Мария Стюарт — смер-

тельный враг протестантизма, главная опасность, угрожающая Англии, и ему нетрудно убедить в этом Елизавету; с неудовольствием внемлет английская королева его рассказам о том, как почтительно ее дворяне встретили шотландскую королеву на ее земле. Нортумберленд, наиболее могущественный из католических лордов, пригласил беглянку в свой замок; самый влиятельный из протестантских лордов, Норфолк, явился к ней с визитом. Все они явно очарованы пленницей, и, недоверчивая и до глупости тщеславная как женщина, Елизавета вскоре оставляет великодушную мысль призвать ко двору государыню, которая затмит ее своими личными качествами и будет для недовольных в ее стране желанной претенденткой на престол.

Итак, прошло всего несколько дней, а Елизавета уже избавилась от своих человеколюбивых побуждений и твердо решила не допускать Марию Стюарт ко двору, но в то же время не выпускать ее из страны. Елизавета, однако, не была бы Елизаветой, если бы она хоть в каком-нибудь вопросе выражалась ясно и действовала прямо. А между тем как в человеческих отношениях, так и в политике двусмысленность — величайшее зло, ибо она морочит людей и вносит в мир смятение. Но тут-то и берет свое начало великая и бесспорная вина Елизаветы перед Марией Стюарт. Сама судьба даровала ей победу, о которой она мечтала годами: ее соперница, слывшая зеркалом рыцарских доблестей, совершенно независимо от ее, Елизаветы, стараний выставлена к позорному столбу; королева, притязавшая на ее венец, потеряла свой собственный; женщина, в горделивом сознании своих наследных прав надменно ей противостоявшая, униженно просит у нее помощи. Когда б Елизавета хотела поступить как должно, у нее было бы две возможности. Она могла бы предоставить Марии Стюарт, как просительнице, право убежища, в котором Англия великодушно не отказывает изгнанникам, и этим морально поставила бы ее на колени. Или она могла бы из политических соображений запретить ей пребывание в стране. И то и другое было бы равно освящено законом. И только одно противоречит всем

законам земли и неба: привлечь к себе просящего, а потом насильственно задержать. Нет оправдания, нет снисхождения бессердечному коварству Елизаветы, тому, что, несмотря на ясно выраженное желание своей жертвы, она не позволила ей покинуть Англию, но всячески ее удерживала — хитростью и обманом, вероломными обещаниями и тайным насилием — и загнала этим коварным лишением свободы униженную, побежденную женщину гораздо дальше, чем сама намеревалась, — в гибельные дебри отчаяния и вины.

Это заведомое попрание прав в самой подлой, замаскированной форме навсегда останется темным пятном в личной биографии Елизаветы, его, пожалуй, даже труднее простить, чем последующий смертный приговор и казнь. Ведь для насильственного лишения свободы еще нет ни малейшего повода или основания. В самом деле, когда Наполеон — к этому доказательству от противного не раз обращались — бежал на борт «Беллерофонта» и там апеллировал к английскому праву убежища, Англия с полным основанием отвергла это притязание как патетический фарс. Оба государства, Франция и Англия, находились в состоянии открытой войны, и сам Наполеон командовал вражеской армией, не говоря уже о том, что он в течение четверти века только и ждал, как бы вцепиться Англии в горло.

Но Шотландия отнюдь не воюет с Англией, у них самые добрососедские отношения, Елизавета и Мария Стюарт искони именуют себя задушевными подругами и сестрами, и когда Мария Стюарт бежит к Елизавете, она может предъявить ей перстень, пресловутый «token», знак ее дружеского расположения, может сослаться на заявление Елизаветы, что «ни один человек на свете не выслушает ее с таким сочувственным вниманием». Она может также сослаться на то, что Елизавета предоставляла право убежища всем шотландским беглецам, что Меррей и Мортон, убийцы Риччо и убийцы Дарнлея, несмотря на свои преступления, находили в Англии приют. И, наконец, Мария Стюарт явилась не с притязаниями на английский трон, а лишь со скромной просьбой дозволить ей тихо

и мирно жить на английской земле, если же Елизавете это не угодно, не препятствовать ей отправиться дальше, во Францию.

И Елизавета, разумеется, прекрасно знает, что она не вправе задержать Марию Стюарт, знает это и Сесил, о чем свидетельствует его собственноручная запись на памятном листке (*Pro Regina Scotorum**). «Придется помочь ей, — пишет он, — ведь она явилась в Англию по доброй воле и доверясь королеве». Оба в глубине души отлично сознают, что нет у них и ниточки права, из которой можно было бы свить эту грубую веревку беззакония. Но зачем же существуют политики, если не для того, чтобы в самых трудных положениях находить увертки и лазейки, превращать «ничто» в «нечто» и «нечто» в «ничто»? Если нет оснований задержать беглянку, значит, надо их выдумать; если Мария Стюарт ничем не провинилась перед Елизаветой, значит, надо возвести на нее напраслину. Но все должно быть сделано шито-крыто, ведь мир не дремлет, и он следит. Надо втихомолку, крадучись, накинуть на птичку силок и затягивать все туже и туже, пока жертва не успела опомниться. Когда же она наконец (слишком поздно) начнет рваться на свободу, каждое резкое движение послужит ей к гибели.

Это запутывание и оплетание начинается со сплошных учтивостей. Двое самых видных вельмож Елизаветы — лорд Скруп и лорд Ноллис — со всей поспешностью (какое нежное внимание!) откомандировываются в Карлайл к Марии Стюарт в качестве почетных кавалеров. Однако подлинная их миссия столь же темна, сколь многообразна. Им доверено от лица Елизаветы приветствовать знатную гостью, изъявить свергнутой государыне сочувствие в ее невзгодах; им также поручено успокоить и утихомирить взволнованную женщину, чтобы она не слишком рано встревожилась и не воззвала о помощи к иностранным дворам. Но самое главное и существенное поручение дано им тайно, а оно предписывает строго охранять

*Касательно королевы Шотландской (*лат.*).

ту, что, по сути говоря, уже пленница, прекратить всякие посещения, конфисковать письма — недаром в тот же день в Карлайл направлены полсотни алебардиров. Кроме того, оным Скруппу и Ноллису велено каждое слово Марии Стюарт немедленно сообщать в Лондон. Там только и ждут малейшей ее оплошности, чтобы задним числом сфабриковать для уже состоявшегося пленения благовидный предлог.

Лорд Ноллис образцово справился со своей миссией тайного соглядатая, его искусному перу обязаны мы, пожалуй, самыми выразительными и живыми зарисовками характера Марии Стюарт. Знакомишься с ними и убеждаешься, что эта женщина в те редкие минуты, когда все ее душевные силы мобилизованы, вызывает поклонение и восхищение даже у очень умных мужчин. Сэр Фрэнсис Ноллис пишет Сесилу: «Что и говорить, это замечательная женщина, она не поддается на лесть, с ней можно обо всем говорить прямо, и она нимало не рассердится, лишь бы она была уверена в вашей порядочности». Он восхищается ее разумом и красноречием, отдает должное ее «редкому мужеству», ее «liberal heart» — сердечному обхождению. Не укрылась от него и ее неистовая гордость: «Более всего жаждет она победы, и по сравнению с этим высшим благом богатство и другие земные приманки кажутся ей презренными и мелкими». Нетрудно себе представить, с какими чувствами подозрительная Елизавета читала эти описания своей соперницы и как быстро отвердевали ее рука и сердце.

Но и у Марии Стюарт тонкий слух. Очень скоро она замечает, что ласковое участие и учтивые расшаркивания служат обоим эмиссарам ширмой и они потому рассыпаются перед ней мелким бесом, что хотят что-то скрыть. Исподволь, словно подавая ей горькое лекарство в приторном сиропе комплиментов, ей сообщают, что Елизавета не склонна ее принять, пока она не очистится от всех обвинений. Эту пустую отговорку изобрели тем временем в Лондоне, бессердечное, наглое намерение держать Марию Стюарт как можно дальше и взаперти прикрывают для приличия фиговым листком морали. Но либо

Мария Стюарт не замечает, либо притворяется, что не замечает, сколь вероломна эта проволочка. С горячностью заявляет она, что готова оправдаться — «но, разумеется, перед особой, которую я считаю равной себе по рождению, лишь перед королевой Английской». Чем скорее, тем лучше, нет, сию же минуту хочет она увидеть Елизавету, «доверчиво броситься в ее объятия». Настоятельно просит она, «не теряя времени, отвезти ее в Лондон, дабы она могла принести жалобу и защитить свою честь от клеветнических наветов». С радостью готова она предстать на суд Елизаветы, но, разумеется, только на ее суд.

Это как раз те слова, которые Елизавете хотелось услышать. Принципиальное согласие Марии Стюарт оправдаться дает Елизавете в руки первую зацепку для того, чтобы постепенно втянуть женщину, ищущую в ее стране гостеприимства, в судебное разбирательство. Конечно, необходима осторожность, этого нельзя сделать внезапным наскоком, чтобы и без того встревоженная жертва не переполошила до времени весь мир; перед решительной операцией по лишению Марии Стюарт чести надо сперва усыпить ее обещаниями, чтобы спокойно, не сопротивляясь, легла она под нож.

Итак, Елизавета пишет письмо, которое могло бы обмануть нас своим взволнованным тоном, если бы мы не знали, что советом министров давно принято решение о задержании беглянки. Отказ ее лично встретиться с Марией Стюарт словно обернут в вату. «Madame, — пишет она со змеиным лукавством, — лорд Херрис сообщил мне о Вашем желании оправдаться лично передо мной в тяготеющих на Вас обвинениях. О, Madame, нет на земле человека, который радовался бы Вашему оправданию больше, чем я. Никто охотнее меня не преклонит ухо к каждому ответу, помогающему восстановить Вашу честь. Но я не могу ради Вашего дела рисковать собственным престижем. Не стану скрывать от Вас, меня и так упрекают, будто я более склонна отстаивать Вашу невиновность, нежели раскрыть глаза на те деяния, в коих Ваши подданные Вас обвиняют». За этим коварным отказом следует, однако, еще более изощренная приманка. Торжественно ручается Елиза-

вета «своим королевским словом» — надо особенно подчеркнуть эти строки — в том, что «ни Ваши подданные, ни увещания моих советников не заставят меня требовать от Вас того, что могло бы причинить Вам зло или бесчестие». Все настойчивее, все красноречивее звучит письмо: «Вам кажется странным, что я уклоняюсь от встречи с Вами, но прошу Вас, поставьте себя на мое место. Если Вы очиститесь от обвинений, я приму Вас с подобающим почетом, до тех же пор это невозможно. Зато потом, клянусь создателем, вы не найдете человека, более к Вам расположенного, встреча с Вами — самая большая для меня радость».

Утешительные, теплые, мягкие, расслабляющие душу слова, но они прикрывают сухую, жесткую правду. Ибо посланцу, привезшему письмо, поручено наконец разъяснить Марии Стюарт, что ни о каком оправдании перед Елизаветой не может быть и речи, что имеется в виду настоящее судебное расследование шотландских событий, пусть пока еще под стыдливым названием «конференция».

Но от таких слов, как дознание, судебное расследование, приговор, гордость Марии Стюарт взвивается на дыбы, как от прикосновения раскаленного железа. «Нет у меня иного судьи, кроме предвечного, — вырывается у нее с гневными рыданиями, — и никто не вправе меня судить. Я знаю, кто я, и знаю все преимущества, принадлежащие моему сану. Я и в самом деле по собственному почину и со всем доверием предложила королеве, моей сестре, выступить судьей в моих делах. Однако как же это возможно, раз она отказывается меня принять?» С угрозой предрекает она (и дальнейшее подтвердит ее слова), что Елизавете не будет проку от того, что она задержала ее в своей стране. И тут она берется за перо. «Hélas Madame!* — восклицает она в волнении. — Где же это слышно, чтобы кто-нибудь укорил государя за то, что он преклонил свой слух к словам жалобщика, сетующего на бесчестное об-

* Увы, мадам! (фр.)

винение!.. Оставьте мысль, будто я прибыла в эту страну, спасая свою жизнь. Ни Шотландия, ни весь прочий мир от меня не отвернулись, а прибыла я сюда, чтобы отстоять свою честь и найти управу на ложных обвинителей моих, а не для того, чтобы отвечать им, как равным. Среди всех друзей избрала я Зас, ближайшую родственницу и лучшего друга (*perfaicte Amye*), чтобы бить Вам челом на моих хулителей, в надежде, что Вы честью для себя почтете восстановить добрую славу королевы». Не чаяла она, убегая из одной тюрьмы, быть задержанной «*quasi en un autre*»*. И запальчиво требует она того, чего ни один человек еще не мог добиться от Елизаветы, а именно — ясных, недвусмысленных поступков, либо помощи, либо свободы. Она готова *de bonne voglia*** оправдаться перед Елизаветой, но только не перед своими подданными на суде, разве что их приведут к ней со связанными руками. С полным сознанием лежащей на ней неотъемлемой благодати отказывается она быть поставленной на одну доску со своими подданными: лучше ей умереть.

Юридически под точку зрения Марии Стюарт не подкопаться. У королевы Английской нет суверенных прав в отношении королевы Шотландской; не ее дело — расследовать убийство, происшедшее в другой стране, вмешиваться в тяжбу чужеземной государыни с ее подданными. И Елизавета это прекрасно знает, потому-то она и удваивает льстивые старания выманить Марию Стюарт с ее укрепленных, неприступных позиций на зыбкую почву процесса. Нет, не как судья, а как сестра и подруга хочет она разобраться в злополучной тяжбе — ведь это единственное препятствие на пути к ее заветному желанию наконец-то встретиться со своей кузиной и вернуть ей престол.

Чтобы оттеснить Марию Стюарт с ее безопасной позиции, Елизавета не жалеет обещаний, делая вид, будто ни на минуту

* В некоем подобии другой (*фр.*).

** По доброй воле (*ит.*).

не сомневается в невинности той, кого так злобно оклеветали; разбирательству якобы подлежат не поступки Марии Стюарт, а крамола Меррея и прочих смутьянов. Ложь ложью погоняет: Елизавета клянется, что на дознании и речи не будет о том, что может коснуться чести Марии Стюарт («against her honour»), — дальнейшее покажет, как было выполнено это обещание. А главное, она заверяет посредников, что, чем бы дело ни кончилось, Мария Стюарт так или иначе останется королевой Шотландии. Но пока Елизавета дает эти клятвенные обещания, ее канцлер Сесил гнет свою линию. Желая успокоить Меррея и расположить его в пользу процесса, он клянется, что ни о каком восстановлении на троне его сводной сестры не может быть и речи, из чего следует, что чемодан с двойным дном не является политическим изобретением нашего века.

От Марии Стюарт не укрылись все эти закулисные плутни и подвохи. Если Елизавета не верит ей, то и у Марии Стюарт не осталось никаких иллюзий насчет истинных намерений ее любимой кузины. Она обороняется и противится, пишет то льстивые, то возмущенные письма, но в Лондоне уже не отпускают захлестнутую петлю, наоборот, ее стягивают все туже и туже. Для усиления психического воздействия принимают меры, должныствующие показать, что в случае сопротивления, спора или отказа там не остановятся и перед насилием. Мало-помалу ее лишают привычных удобств, не допускают к ней посетителей из Шотландии, разрешают выезжать не иначе как под эскортом из сотни всадников, пока однажды не огорошивает ее приказ оставить Карлайл, стоящий у открытого моря, где хотя бы взор ее свободно теряется вдаль и откуда однажды ее может увезти спасительное судно, и переехать в Йоркширское графство, в укрепленный Болтонский замок — «a very strong, very fair and very stately house»*.

Разумеется, и эту горькую пилюлю густо обмазывают паковой, острые когти все еще трусливо прячутся в бархатных

* Надежный, красивый, величественный дом (англ.).

рукавичках: Марию Стюарт уверяют, что лишь из нежного попечения, из желания иметь ее поближе и ускорить обмен письмами распорядилась Елизавета о переезде. В Болтоне у нее будет «больше радостей и свободы, там ее не достигнут происки врагов». Мария Стюарт не так наивна, чтобы поверить в эту гүрющую любовь, она все еще барахтается и борется, хоть и знает, что игра проиграна. Но что ей остается делать? В Шотландию нет возврата, во Францию путь ей заказан, а между тем положение ее день ото дня становится все более постыдным: она ест чужой хлеб, и даже платье Елизавета дарит ей со своего плеча. Совсем одна, оторванная от друзей, окруженная только подданными противницы, Мария Стюарт не в силах устоять: сопротивление ее становится все неувереннее.

И наконец, как правильно рассчитал Сесил, она совершает величайшую ошибку, которую с таким нетерпением подкарауливала Елизавета: в минуту душевной слабости она соглашается на судебное расследование. Изменив своей исходной точке зрения, заключающейся в том, что Елизавета не вправе ни судить ее, ни лишать свободы, что, как королева и гостя, она неподсудна чужеземному третейскому суду, Мария Стюарт совершает самую грубую, самую непростительную ошибку в своей жизни. Но Мария Стюарт способна лишь на короткие бурные вспышки мужества, вечно ей не хватает стойкости и выдержки, необходимых государыне. Чувствуя, что теряет почву под ногами, она все еще силится что-то спасти, ставит задним числом какие-то условия и, позволив выманить у себя согласие, хватается за руку, сталкивающую ее в бездну. «Нет ничего такого, — пишет она двадцать восьмого июня, — чего бы я не сделала по одному слову Вашему, так твердо уповаю я на Вашу честь и Вашу королевскую справедливость».

Но кто отдался на милость противника, тому не помогут ни просьбы, ни уговоры. У победителя свои права, и всегда они оборачиваются бесправием для побежденного. *Vae victis!**

*Горе побежденным! (лат.)

ПЕТЛЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ

С июля 1568 по январь 1569 года

Как только Мария Стюарт неосмотрительно дала исторгнуть у себя согласие на «нелицеприятное дознание», английское правительство пустило в ход все имеющиеся у него средства власти, чтобы сделать дознание лицеприятным. Если лордам разрешено явиться лично, во всеоружии обвинительного материала, то Марии Стюарт дозволено прислать лишь двух доверенных представителей; только на расстоянии и через посредников может она предъявить свои обвинения мятежным лордам, тогда как тем не возбраняется вопить во всеуслышание и втихомолку сговариваться — этим подвохом ее сразу же вынуждают от нападения перейти к обороне. Все обещания одно за другим летят под стол. Та самая Елизавета, которой совесть не позволяла встретиться с Марией Стюарт до окончания процесса, без колебаний принимает у себя мятежника Меррея. Никто и не думает о том, чтобы щадить «честь» шотландской королевы. Правда, намерение посадить ее на скамью подсудимых пока хранится в тайне — что скажут за границей! — и официально поддерживается версия, будто лордам надлежит «оправдаться» в поднятой смуте. Но лицемерно призывая к ответу лордов, английская королева, в сущности, ждет от них одного объяснения: почему они подняли оружие против своей королевы? А это значит, что им придется перевернуть всю историю убийства и тем самым обратить острие процесса против Марии Стюарт. Если обвинения будут веские, в Лондоне не замедлят подвести под арест Марии Стюарт юридическую базу, и необоснованное лишение свободы предстанет перед миром как обоснованное.

Однако псевдоразбирательство, именуемое конференцией — только с риском оскорбить правосудие можно назвать это судом, — превращается сегодня в комедию совсем иного сорта, чем желали бы Сесил и Елизавета. Хотя противников посадили за круглый стол, чтобы они предъявили друг другу

свои обвинения, ни та, ни другая сторона не обнаруживает большого желания побивать друг друга актами и фактами, и это, конечно, неспроста. Ибо обвинители и обвиняемые здесь — такова курьезная особенность этого процесса, — по сути дела, соучастники одного преступления: и тем и другим было бы приятнее молчаливо обойти неприглядные обстоятельства убийства Дарнлея, в котором равно замешана и та и другая сторона. Если Мортон, Мэйтленд и Меррей могут предъявить ларец с письмами и с полным правом обвинить Марию Стюарт в пособничестве или по меньшей мере в укрывательстве, то и Мария Стюарт может с таким же правом изобличить лордов: ведь они были во все посвящены и своим молчанием потакали убийству. Буде лорды вздумают положить на стол неблаговидные письма, как бы это не заставило Марию Стюарт, конечно же, знающую от Босуэла, кто из лордов обменялся с ним бондом, а может быть, имеющую в руках и самый бонд, сорвать маску с этих запоздалых воителей за своего короля. Отсюда естественное опасение наступить противнику на горло, отсюда и общий интерес — покончить грязное дело миром и не тревожить прах бедняги Дарнлея в его гробу. «Requiescat in pace!»* — благочестивый клич обеих сторон.

Так становится возможным нечто странное и весьма для Елизаветы неожиданное: при открытии судебного разбирательства Меррей ограничился обвинением Босуэла — он знает: опасный человек где-то за тридевять земель и не выдаст своих сообщников; но с редким тактом щадит он сестру. У шотландских баронов точно выскочило из памяти, что всего лишь год назад сами они на открытой парламентской сессии обвинили ее в пособничестве убийству. В общем, благородные рыцари не выезжают на арену с тем лихим молодечеством, на какое рассчитывал Сесил, не швыряют на судейский стол предосудительные письма, и — вторая, но не последняя осо-

* Да почиет в мире! (лат.)

бенность этой изобретательной комедии — английские комиссары тоже на редкость молчаливы и предпочитают меньше спрашивать. Лорду Нортгумберленду, как католику, Мария Стюарт, пожалуй, ближе, чем его королева, Елизавета; что же касается лорда Норфолка, то по личным мотивам, о которых мы еще услышим, он тоже клонит к мировой.

Вырисовываются уже и контуры намечаемого соглашения: Марии Стюарт будут возвращены титул и свобода, зато Меррей сохранит единственно для него важное — подлинную власть. Итак, вместо громов и молний, должных, по расчетам Елизаветы, морально уничтожить Марию Стюарт, — сплошное благорастворение воздушных. Идет задушевный разговор при закрытых дверях. Там, где предполагалось бурное обсуждение всяких актов и фактов, царит теплое, дружественное согласие. Проходит несколько дней, и — поистине странное разбирательство! — обвинители и обвиняемые, комиссары и судьи, забыв о полученных предписаниях и неожиданно найдя общий язык, готовы уже похоронить по первому разряду процесс, задуманный Елизаветой в качестве важнейшей государственной акции против Марии Стюарт.

Незаменимым посредником, идеальной свахой, которая, ног под собой не чуя, носится взад-вперед и улаживает дело, служит все тот же шотландский статс-секретарь Мэйтленд Летингтонский. В темной заварухе с Дарнлеем он выполнял самую темную роль, притом, как и подобает прирожденному дипломату, роль двуличную. Когда в Крэгмилере к Марии Стюарт явились лорды и стали предлагать, чтобы она развелась с Дарнлеем либо еще как-нибудь развязалась с ним, от общего их имени выступил Мэйтленд, и это он уронил туманное замечание о том, что Меррей «не станет придирааться». С другой стороны, это он налаживал ее брачный союз с Босуэлом, это он «случайно» оказался свидетелем пресловутого похищения и только в последнюю минуту перебежал к лордам. Если бы дошло до перестрелки между Марией Стюарт и лордами, не миновать бы ему очутиться в самом пекле. Потому-то

он и готов идти напролом и не остановится и перед самыми недозволенными средствами, лишь бы добиться поллюбовного соглашения.

Для начала он страшит Марию Стюарт, внушая ей, что, если она заартачится, лорды на все пойдут для своей защиты, а тогда не избыть ей сраму. И чтобы доказать ей, каким убийственным для ее чести орудием располагают лорды, он потихоньку поручает своей жене Мэри Флеминг снять копию с главной улики обвинения — с любовных писем и сонетов из ларца — и передать эту копию Марии Стюарт.

Тайная выдача Марии Стюарт еще неизвестного ей обвинительного материала, — конечно же, шахматный ход Мэйтленда против его коллег, не говоря уже о грубом нарушении процессуального права. Но и лорды не остаются в долгу и так же противно всем правилам передают «письма из ларца», так сказать, под судейским столом, Норфолку и другим английским комиссарам. Для Марии Стюарт это тяжелый афронт, ведь судьи, только что склонявшиеся к примирению сторон, теперь будут против нее восстановлены. В особенности Норфолк сражен удушливой вонью, которой неожиданно понесло из этого ящика Пандоры. Тотчас же сообщает он в Лондон — опять-таки в нарушение правил, но в этой удивительной тяжбе все идет шиворот-навыворот, — что «необузданная и грязная страсть, привязывавшая королеву к Босуэлу, ее отвращение к убитому супругу и участие в заговоре против его жизни так очевидны, что всякий порядочный и благо нравный человек содрогнется и с отвращением отпрянет от этого ужаса».

Недобрая весть для Марии Стюарт, зато чрезвычайно радостная для Елизаветы. Теперь она знает, какой убийственный для чести ее соперницы обвинительный материал может в любую минуту быть положен на стол, и не успокоится до тех пор, пока он не будет предан огласке. Чем больше Мария Стюарт склоняется к мировой, тем решительнее Елизавета требует публичного шельмования. Враждебная позиция Нор-

фолка, непритворное его возмущение, вызванное письмами из пресловутого ларца, по-видимому, обрекают игру Марии Стюарт на полную безнадежность.

Но как за игорным столом, так и в политике партия не считается безнадежной, покуда на руках у противников сохранилась хоть одна карта. В критическую минуту Мэйтленд выкидывает совсем уже головоломный номер. Он направляется к Норфолку, продолжительно беседует с ним один на один и — о диво! — вы ошеломлены, вы глазам своим не верите, читая источники: свершилось чудо, Савл обратился в Павла, возмущенный, негодующий Норфолк, судья, заранее восстановленный против подсудимой, стал ревностным ее защитником и доброжелателем. В ущерб своей повелительнице, добивающейся открытого разбирательства, он хлопочет об интересах шотландской королевы: он уговаривает ее не отказываться ни от своей короны, ни от прав на английский престол, он крепит ее волю, поднимает в ней дух. В то же время он отговаривает Меррея предъявлять письма, и — о диво! — у Меррея после укромной беседы с Норфолком тоже меняется настроение. Он стал кроток и покладист, в полном единодушии с Норфолком готов он валить все на Босуэла и всячески выгораживать Марию Стюарт; похоже, что за одну ночь погода изменилась, подул живительный теплый ветер, лед тронулся: еще денек-другой, и над этим странным судилищем воссияют весна и дружба.

Естественно, возникает вопрос: что же заставило Норфолка повернуть на сто восемьдесят градусов, что вынудило судью Елизаветы презреть ее волю и из противника Марии Стюарт сделаться ей лучшим другом? Первое, что приходит в голову, — это что Мэйтленд подкупил Норфолка. Но стоит взглянуться поближе, и это предположение отпадает. Норфолк — самый богатый вельможа Англии, его род лишь немногим уступает Тюдорам. Денег, потребных на его подкуп, нет не только у Мэйтленда, их не наскрести во всей нищей Шотландии. И все же, как обычно, первое чувство — самое правиль-

ное, Мэйтленду действительно удалось подкупить Норфолка. Он посулил молодому вдовцу то, чем можно прельстить и самого могущественного человека, а именно — еще большее могущество. Мэйтленд предложил герцогу руку королевы и, стало быть, наследственные права на английскую корону. От королевского же венца по-прежнему исходит магическая сила, которая и в труса вливает мужество и самого равнодушного делает честолюбцем, а самого рассудительного — глупцом. Теперь понятно, почему Норфолк, только вчера убеждавший Марию Стюарт отречься от своих королевских прав, сегодня так настойчиво советует ей их отстаивать. Он не прочь жениться на Марии Стюарт — единственно ради притязания, которое сразу ставит его на место тех самых Тюдоров, что приговорили к казни его отца и деда, обвинив их в предательстве. И можно ли вменить в вину сыну и внуку его измену королевской фамилии, которая расправилась с его собственной фамилией топором палача!

Разумеется, нам, людям с современными чувствами, кажется чудовищным, что тот самый человек, который только вчера приходил в ужас от Марии Стюарт, убийцы и прелюбодейки, и возмущался ее «грязными» любовными похождениями, вдруг вознамерился взять ее в супруги. И, конечно же, апологеты Марии Стюарт сюда-то и толкаются со своей гипотезой: Мэйтленд будто бы в том разговоре с глазу на глаз убедил Норфолка в невинности королевы, доказав ему, что письма подложные. Однако источники об этом умалчивают, да и Норфолк, спустя несколько недель, защищаясь перед Елизаветой, опять назовет Марию Стюарт убийцей. Было бы заведомым анахронизмом переносить наши моральные взгляды назад, в эпоху четырехсотлетней давности: ведь стоимость человеческой жизни на протяжении различных времен и широт — понятие далеко не безусловное; каждая эпоха оценивает ее по-разному; мораль всегда относительна.

Наш век гораздо терпимее к политическому убийству, чем девятнадцатый, но и шестнадцатый был не слишком щепетилен в этом вопросе. Моральная разборчивость и вообще-то

была чужда эпохе, которая черпала свои нравственные устои не в священном писании, а в учении Макиавелли: тот, кто в те времена рвался к трону, не слишком затруднял себя сентиментальными оглядками и не старался рассмотреть сквозь лупу, обагрены ли ступени трона пролитой кровью. В конце концов сцена в «Ричарде III», где королева отдает свою руку заведомому убийце ее мужа, написана современником, и зрители не находили ее маловероятной. Чтобы стать королем, убивали отца, изводили ядом брата, тысячи безвинных жертв ввергали в войну, людей не задумываясь устраняли, убирали с дороги; в Европе того времени вряд ли нашелся бы царствующий дом, который не знал бы за собой подобных преступлений.

Ради королевского венца четырнадцатилетние мальчишки женились на пятидесятилетних матронах, а незрелые отроковицы выходили за дряхлых дедушек; никто не спрашивал добродетели, красоты, достоинства и благонравия — женились на слабоумных, увечных и параличных, на сифилитиках, калеках и преступниках, — зачем же ждать какой-то особой щепетильности от тщеславного честолюбца Норфолка, когда молодая, красивая, пылкая государыня не прочь назвать его своим супругом? Ослепленный честолюбием, Норфолк не оглядывается на то, что сделала Мария Стюарт в прошлом, он больше занят тем, что она может для него сделать в будущем; этот болезненный недалекий человек мысленно уже видит себя в Вестминстере, на месте Елизаветы. Итак, дело внезапно приняло новый оборот: ловкие руки Мэйтленда ослабили петлю, в которой запуталась Мария Стюарт, и вместо ожидаемого сурового судьи она вдруг находит жениха и помощника.

Но недаром у Елизаветы чуткие наушники и неусыпный, склонный к подозрительности ум. «*Les princes ont des orcilles grandes, qui oyent loin et près*»*, — похвалилась она как-то французскому послу. По сотне незаметных признаков чувствует она, что в Йорке варятся какие-то подозрительные сна-

* У государей большие уши, они слышат все и вблизи и вдали (фр.).

добья — не будет ей от них проку. Первым делом призывает она к себе Норфолка и спрашивает с усмешкой, уж не затеял ли он жениться. Норфолк никакой не герой. Громко и отчетливо пропел евангельский петух: растерявшись, как уличенный в шалости мальчишка, новоявленный Петр — Норфолк тут же отрекается от Марии Стюарт, чьей руки он лишь вчера домогался. Все это ложь и клевета, никогда бы он не женился на распутнице и убийце. «Ложась спать, — говорит он с наигранным пафосом, — я хочу быть уверен, что под подушкой меня не ждет отравленный кинжал».

Елизавета себе на уме — что она знает, то знает: с гордостью скажет она потом: «*Ils m'ont cru si sotté, que je n'en sentirais rien*»*. Когда эта женщина в неудержимом гневѣ хватѣет за шиворот кого-либо из своих лизоблюдов, тот сразу же вытряхивает из рукава все свои секреты. Теперь она сама наведет порядок. По ее приказу сессия двадцать пятого ноября переносится из Йорка в Вестминстер, в *Camera Depicta*** . Здесь, в двух шагах от ее двери, под ее сверлящим взглядом, Мэйтленду труднее извернуться, чем в Йоркшире, в двух днях езды от Лондона, вдаль от ее стражи и шпионов. К тому же Елизавета в подкрепление комиссарам, не оправдавшим ее надежд, назначает других, более надежных людей, в первую очередь своего любимца Лестера.

Теперь, когда вожжи прибраны к ее крепким рукам, процесс идет в быстром темпе, не отклоняясь от указанной цели. Старому ее нахлебнику Меррею дан ясный и недвусмысленный наказ «защищаться» и к этому опасное напутствие — не отступать и перед «*extremity of odious accusation*»***, иначе говоря, не стесняясь, предъявить «письма из ларца» в доказательство того, что Мария Стюарт находилась с Босуэлом в прелюбодейственных отношениях. О торжественной клятве своей милой кузине, что на процессе не будет произнесено

* Они меня дураой считали, думали, я ни о чем не догадаюсь (*фр.*).

** Картинная галерея (*лат.*).

*** Самыми щекотливыми обвинениями (*англ.*).

ничего «against her honour», Елизавета и думать забыла. Лордам, однако, все еще не по себе. Они медлят и колеблются и вместо того, чтобы прямо предъявить письма, ограничиваются общими намеками. И так как открыто приказать им Елизавета не может, не рискуя выдать свою пристрастность, она пускается на еще большее лицемерие. Притворяясь, будто она свято уверена в невинности Марии Стюарт и видит одну лишь возможность восстановить ее честь — выяснить все до конца, она с нетерпением любящей сестры требует, чтобы ей были предъявлены все улики, дающие основание для «клеветы». Она домогается, чтобы письма и любовные сонеты были положены на судейский стол.

Под таким давлением лорды наконец уступают. Меррей еще в последнюю минуту разыгрывает комедию; симулируя сопротивление, он не сам кладет письма на стол, а, помахав ими, поспешно прячет, предоставляя секретарю «насильно» вырвать у него всю пачку. И вот, к вящему торжеству Елизаветы, письма на столе, их зачитывают вслух — сперва один раз, а назавтра, перед расширенной комиссией, и другой. Лорды, правда, в свое время клятвенно засвидетельствовали их подлинность, но Елизавете этого мало. Словно предвидя возращения защитников Марии Стюарт, которые спустя столетия провозгласят, что письма подложные, она приказывает в присутствии всей комиссии сравнить их самым тщательным образом с теми, которые шотландская королева писала ей своей рукой. Во время этого расследования представители Марии Стюарт покидают зал — еще один важный аргумент в пользу подлинности писем, — вполне резонно заявляя, что Елизавета не сдержала своего обещания, что не будет допущено ничего порочащего Марию Стюарт — «against her honour».

Но какая может быть речь о законности в этом самом незаконном из судебных разбирательств, на котором не позволено быть главной обвиняемой, тогда как обвинителям, таким, как Ленокс, никто не завязывает рта. Не успели представители Марии Стюарт хлопнуть дверью, как комиссары

единогласно выносят «предварительное постановление» о том, что Елизавете не подобает допускать к себе Марию Стюарт, пока та не очистится от всех обвинений. Елизавета добилась своего. Наконец-то сфабрикован предлог, который был ей до смерти нужен, чтобы с полным правом отвернуться от беглянки; теперь уже нетрудно измыслить основание, которое позволило бы и впредь содержать узницу «in honourable custody»* — более благоприличный, иносказательный оборот для одиозного слова «заточение». С торжеством воскликнет один из верных Елизаветы, архиепископ Паркер: «Наконец-то наша добрая королева держит волка за уши!»

«Предварительное» ошельмование сделало свое дело: опозоренной Марии Стюарт остается только, склонив голову и заголив шею, ждать приговора, словно удара топором. Можно уже официально заклеить ее именем убийцы и выдать Шотландии, а там Джон Нокс не знает пощады. Но в этот миг Елизавета подымлет руку, предупреждая смертельный удар. Неизменно, когда нужно принять последнее решение, доброе или злое, этой непостижимой женщине изменяет мужество. Великодушный ли то порыв человечности, отнюдь ей не чуждой, или же запоздалое раскаяние в том, что она нарушила свое королевское обещание пощадить честь Марии Стюарт? Дипломатический ли расчет или — нередкое у таких загадочных натур — хаотическое смешение самых противоречивых чувств — трудно сказать, но Елизавета снова отступает перед возможностью окончательно расправиться с противницей. Вместо того чтобы дать суду вынести суровый приговор, она откладывает решение и вступает с Марией Стюарт в переговоры. В душе Елизавета жаждет одного — чтобы эта упрямая, строптивая, неугомонная женщина оставила ее в покое, она хочет только принизить ее и усмирить; поэтому она подает Марии Стюарт мысль — еще до произнесения приговора опротестовать подлинность документов: кроме того, подсудимой

* В почетном затворе (англ.).

через третьих лиц сообщают, что в случае ее добровольного отречения ей будет вынесен оправдательный приговор и дозволено свободно проживать в Англии, где ей назначат государственный пенсион. В то же самое время ее страшат публичной казнью — все те же методы кнута и пряника, — и Ноллис, доверенный английского двора, доносит, что сделал все от него зависящее, дабы до смерти запугать узницу. Итак, опять угрозы и приманки — излюбленный метод Елизаветы.

Но ни угрозы, ни приманки уже не действуют на Марию Стюарт. Как всегда, обжигающее дыхание опасности только прищипывает ее мужество, а вместе с ним растет и ее самообладание. Она не хочет требовать пересмотра вопроса о подлинности документов. Пусть с запозданием, она поняла, в какую попалась ловушку, и, возвращаясь к своей исходной позиции, отказывается вести переговоры со своими подданными на равной ноге. Довольно ее королевского слова, оно одно должно перевесить все показания и документальные свидетельства врагов. Наотрез отказывается Мария Стюарт от предложенной сделки — ценой отречения купить себе милость судей, чьих полномочий она не признает. И, полная решимости, бросает она посредникам слова, верность которых докажет потом всей своей жизнью и смертью: «Ни слова о том, чтобы мне отказаться от моей короны! Чем согласиться, я предпочитаю умереть, но и последние слова мои будут словами королевы Шотландской».

Итак, запугать ее не удалось: половинчатым решениям Елизаветы противопоставила Мария Стюарт свое непреклонное решение. Опять Елизавета колеблется и, невзирая на позицию, занятую подсудимой, суд не отваживается на гласный приговор. Елизавета, как всегда и как мы не раз еще увидим, отступает перед последствиями своих желаний. В результате приговор звучит не так сокрушительно, как предполагалось вначале, но со всей предательской двусмысленностью и низостью, свойственной процессу в целом. Десятого января торже-

ственно выносятся хромающее на обе ноги определение, гласящее, что в действиях Меррея и его сторонников не усмотрено ничего противного чести и долгу. Это — полное оправдание мятежа, поднятого лордами. Куда двусмысленнее звучит реабилитация Марии Стюарт: лордам якобы не удалось привести достаточно убедительных улик, чтобы изменить доброе мнение королевы о ее сестре.

На первый взгляд это можно принять за реабилитацию подсудимой и за признание обвинения несостоятельным. Но отравленный наконечник стрелы засел в словах «*bepe sufficiently*». Это как бы намек, что улики были тяжкие и многообразные, но им не хватало той «полноты», какая единственно могла бы убедить столь добросердечную королеву, как Елизавета. А больше Сесилу для его планов ничего и не нужно: над Марией Стюарт по-прежнему висит подозрение, найден достаточный предлог, чтобы держать беззащитную женщину под замком. На данное время победила Елизавета.

Но это пиррова победа. Ибо пока Елизавета держит Марию Стюарт в заточении, в Англии существуют как бы две королевы, и доколе одна не умрет, в стране не будет мира. Беззаконие всегда рождает беспокойство, и нет проку в том, что добыто хитростью. В тот день, когда Елизавета отняла у Марии Стюарт свободу, она и себя лишила свободы. Обращаясь с ней, как с врагом, она и ей открывает дорогу для враждебных действий, преступив клятву, и ее благословляет на любое клятвопреступление, своей ложью оправдывает ее ложь. Годами будет Елизавета расплачиваться за то, что ослушалась первого, естественного своего побуждения. Слишком поздно придет к ней признание, что великодушие в этом случае было бы и мудростью. Незаметно заглохла бы в песках жизнь Марии Стюарт, если бы Елизавета после дешевой церемонии прохладного приема отпустила ее из Англии!

В самом деле, куда девалась бы та, что с презрением отпущена на все четыре стороны? Ни один судья, ни один поэт никогда бы уж за нее не заступился; с печатью зачумленной

на лбу после всех происшедших с ней скандалов, униженная великодушием Елизаветы, она бесцельно кочевала бы от двора к двору; путь в Шотландию ей преграждал Меррей, во Франции и Испании не слишком обрадовались бы приезду беспокойной гостьи. Быть может, по пылкости нрава она запуталась бы в новых любовных приключениях, быть может, последовала бы за Босуэлом в Данию. Имя ее затерялось бы в веках или в лучшем случае называлось бы без большого уважения, как имя королевы, сочетавшейся браком с убийцей своего мужа. И от этой-то неизвестной, жалкой доли спасла ее историческая несправедливость Елизаветы. Это Елизавета позаботилась о том, чтобы звезда Марии Стюарт воссияла в прежней славе, и, стараясь ее унижить, лишь возвысила, украсила низвергнутую мученическим венцом. Ни одно из ее собственных дел не превратило Марию Стюарт в такую легендарную фигуру, как причиненная ей несправедливость, и ничто не умалило в такой мере моральный престиж английской королевы, как то, что в решающий миг она упустила возможность проявить истинное великодушие.

Г Л А В А Х I X

ГОДЫ В ТЕНИ

1569—1584

Безнадежное занятие — рисовать пустоту, безуспешный труд — живописать однообразие. Заточение Марии Стюарт — это именно такое прозябание, унылая, беззвездная ночь. После того как ей вынесли приговор, горячий, размашистый ритм ее жизни надломился. Год за годом уходят, как в море волна за волной. То они всплещут чуть оживленнее, то снова ползут медлительно и вяло, но никогда уже не вскипит заветная глубина — ни полное счастье, ни страдание не даны одинокой. Лишенная событий и потому вдвойне бессмысленная, дремлет в полузабытьи эта когда-то столь жаркая судьба, мертвенным, медленным шагом проходят, уходят двадцать восьмой, двад-

цать девятый, тридцатый год этой жадной до жизни женщины. А там потянулся и новый десяток, такой же унылый и пустой. Тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый год — устаешь выписывать эти числа. Между тем их должно называть год за годом, чтобы восчувствовать всю томительность, всю изнуряющую, разъедающую томительность этой душевной агонии, ибо каждый год — сотни дней, а каждый день — энное количество часов, и ни один не оживлен подлинным волнением и радостью. А потом ей минуло сорок, и та, для которой наступил этот поворотный год, уже не молодая, а усталая и больная женщина; медленно крадутся сорок первый, сорок второй и сорок третий, и наконец если не люди, то сжалилась смерть и увела усталую душу из плена.

Кое-что меняется за эти годы, но лишь по мелочам, по пустякам. То Мария Стюарт здорова, то больна, иногда ее посетит надежда — одна на сотню разочарований, то с ней обращаются хуже, то лучше, от Елизаветы приходят то гневные, то ласковые письма, но в целом это все то же томительно корректное однообразие, все те же стертые четки бесцветных часов, попусту скользящие меж пальцев. Внешне меняются тюрьмы, королеву содержат под стражей то в Болтоне, то в Четсуорте, в Шеффилде, Татбери, Уингфилде и Фотерингее, однако разнятся лишь названия, разнятся камни и стены, все эти замки для нее как один, ибо все они скрывают от нее свободу. Со злобным постоянством вращаются вокруг этого тесного кружка по обширным, причудливым своим орбитам звезды, солнце и луна; ночь сменяется днем, тянутся месяцы и годы; рушатся империи и восстают из праха, короли приходят и уходят, женщины созревают, рожают детей и отцветают, за морями, за горами беспрерывно меняется мир. И только эта жизнь безнадежно глохнет в тени; отрезанная от корней и стебля, она больше не цветет и не плодоносит. Медленно иссушаемая ядом бессильной тоски, увядает молодость Марии Стюарт, проходит жизнь.

Однако, как ни странно это звучит, самым тяжелым в ее нескончаемом плену было то, что никогда он внешне не был особенно тяжел. Ибо грубому насилию противостоит гордый разум, из унижения он высекает ожесточение, душа растет в яростном протесте. И только перед пустотой она отступает, перед ее обескровливающим, разрушительным действием. Резиновую камеру, в стены которой нельзя барабанить кулаками, труднее вынести, чем каменное подземелье. Никакой бич, никакая брань так не жгут благородное сердце, как попрание свободы под низкие поклоны и подобострастное титулование. Нет насмешки, которая жалила бы сильнее, чем насмешка официальной учтивости. Но именно такое лживое уважение, не к страждущему человеку, а к его сану, становится мучительным уделом Марии Стюарт, именно эта подобострастная опека, прикрытый надзор, почетная стража (*honourable custody*), которая со шляпой в руке и раболепно опущенным взором следует за нею по пятам.

Все эти годы тюремщики ни на минуту не забывают, что Мария Стюарт — королева, ей предоставляется всевозможный комфорт, всевозможные маленькие свободы, только не одно, священное, наиболее важное жизненное благо — Свобода с большой буквы. Елизавета, ревниво оберегающая свой престиж гуманной властительницы, достаточно умна, чтобы не вымещать на сопернице былые обиды. О, она заботится о милой сестрице! Стоит Марии Стюарт заболеть, как из Лондона беспрестанно осведомляются о ее здоровье, Елизавета предлагает своего врача, она требует, чтобы пищу готовил кто-нибудь из личного штата Марии Стюарт: пусть хулители не ропщут под сурдинку, будто Елизавета пытается известить соперницу ядом, пусть не скулят, что она держит в заточении помазанницу Божию: она только настойчиво — с неотразимой настойчивостью — упростила шотландскую сестрицу погостить подольше в чудесных английских поместьях!

Разумеется, и проще и вернее было бы для Елизаветы запереть упрямыцу в Тауэр, чем устраивать ей роскошную и

расточительную жизнь по замкам. Но более искусенная в тонкой политике, чем ее министры, которые снова и снова рекомендуют ей эту грубую меру, Елизавета боится снискать одиозную славу ненавистницы. Она настаивает на своем: надо содержать Марию Стюарт, как королеву, но опутав ее шлейфом почтительности, сковав золотыми цепями. Скрепя сердце, фанатически скаредная Елизавета готова в этом единственном случае на расходы: со вздохом и скрежетом зубовным выбрасывает она пятьдесят два фунта в неделю на свое непрощеное гостеприимство — и так все долгие двадцать лет. А поскольку Мария Стюарт вдобавок получает из Франции изрядный пенсион в тысячу двести фунтов ежегодно, то ей истине голодать не приходится.

Она может жить в английских замках вполне на княжескую ногу. Ей не возбраняется водрузить в своем приемном зале балдахин с королевской короной: каждый посетитель видит с первого взгляда, что здесь живет королева, пусть и пленная. Ест она только на серебре, во всех покоях горят дорогие восковые свечи в серебряных канделябрах, полы устланы турецкими коврами — драгоценность по тому времени. У нее такая богатая утварь, что каждый раз, чтобы перевезти ее добро из одного замка в другой, требуются десятки возов четверней. Для личных услуг к Марии Стюарт приставлен целый рой статс-дам, горничных и камеристок: в лучшие времена ее окружает не менее пятидесяти человек, целый придворный штат в миниатюре — гофмейстеры, священники, врачи, секретари, казначеи, камердинеры, гардеробмейстеры, портные, обойщики, повара — штат, который скаредная хозяйка страны с отчаянной настойчивостью стремится сократить и за который ее пленница держится зубами.

Что никто не собирался гноить свергнутую монархию в сумрачно романтическом подземелье, доказывает уже выбор человека, который должен был стать ее постоянным стражем. Джордж Толбот, граф Шрусбери, мог по праву называться дворянином и джентльменом. А до июня 1569 года, когда Елизавета остановила на нем свой выбор, его можно было считать

и благополучным человеком. У него обширные владения в северных и средних графствах и девять собственных замков; как удельный князек, пребывает он в своих поместьях, вдали от шума истории, вдали от чинов и отличий. Чуждый политическому честолюбию, богатый вельможа, он живет своими интересами, довольный миром и собой. Борода его тронута серебром, он уже считает, что пора и на покой, как вдруг Елизавета взваливает на него пренеприятное поручение — охранять ее честолюбивую и ожесточенную многими неправдами соперницу. Его предшественник Ноллис вздохнул с облегчением, узнав, что Шрусбери должен сменить его на этом незавидном посту: «Как Бог свят, лучше любое наказание, чем возиться с таким каверзным делом».

Ибо почетное заточение, пресловутая «honourable custody» представляет крайне неблагоприятную задачу с весьма неясно обозначенными границами и правами: неизбежная двойственность такого поручения обязывает к исключительному такту. С одной стороны, Мария Стюарт как будто королева, с другой стороны, как будто и нет; формально она гостья, а по сути узница. А отсюда следует, что Шрусбери, как внимательный и учтивый хозяин дома, должен всячески ей угождать и в то же время, в качестве доверенного лица Елизаветы, во всем ее ограничивать. Он поставлен над королевой, но разговаривать с ней может, лишь преклонив колено; он должен ублажать свою гостью и в то же время неусыпно ее сторожить. Трудность этой задачи еще усугубляется его женой, которая свела в могилу трех мужей и теперь досаждаёт четвертому вечными сплетнями и наговорами — ибо она интригует то за, то против Елизаветы, то за, то против Марии Стюарт. Нелегко этому славному человеку лавировать между тремя разъяренными фуриями, из которых одной он подвластен, с другой связан узами брака, а к третьей прикован незримыми, но нерасторжимыми цепями: в сущности, бедняга Шрусбери все эти пятнадцать лет не столько тюремщик Марии Стюарт, сколько собрат по несчастью, такой же узник, как она; над ним так же

тяготеет таинственное проклятие, заключающееся в том, что эта женщина приносит зло каждому, кого встречает на своем тернистом пути.

Как же проводит Мария Стюарт эти пустые, бессмысленные годы? Очень тихо и беззаботно на первый взгляд. Со стороны глядя, круг ее дневных занятий ничем не отличается от обихода других знатных дам, годами безвыездно проживающих в своих феодальных поместьях. Будучи здорова, она часто выезжает на свою любимую охоту, разумеется, в сопровождении все той же зловещей «почетной стражи», или старается игрой в мяч и другими физическими упражнениями восстановить бодрость и свежесть своего уже несколько утомленного тела. У нее нет недостатка в обществе, то и дело наезжают соседи из окрестных замков почтить интересную узницу, ибо — нельзя ни на минуту упускать это из виду — эта женщина, хоть и лишенная власти, все же по праву ближайшая наследница престола и, буде с Елизаветой — все мы в руке Божьей — завтра что-нибудь случится, ее преемницей может оказаться Мария Стюарт. А потому все, кто поумней и подальновидней, и прежде всего ее постоянный страж Шрусбери, всячески стараются с ней ладить. Даже сердечные дружки Елизаветы, фавориты Хэтон и Лестер, предпочитают не сжигать кораблей и за спиной у своей покровительницы шлют письма и приветы ее ярой ненавистнице и сопернице: кто знает, не придется ли уже завтра, преклонив колени, выпрашивать у нее королевских милостей.

Хоть и запертая в своем сельском захолустье, Мария Стюарт знает все, что происходит как при дворе, так и во всем большом мире. А уж леди Шрусбери рассказывает ей и то, о чем бы ей лучше не знать, о многих интимных сторонах жизни Елизаветы. И отовсюду подземными путями приходят к узнице слова участия и одобрения. Словом, не как тесную, темную тюремную камеру надо себе представлять заточение Марии Стюарт, не как полное одиночество и оторванность от мира.

Зимними вечерами в замке музицируют; правда, юные поэты не слагают ей больше нежных мадригалов, как во времена Шателера, забыты и галантные «маски», которыми когда-то увлекались в Холируде; это нетерпеливое сердце уже не вмещает любви и страсти: вместе с юностью отходит пора увлечений. Из всех экзальтированных друзей она сохранила только маленького пажа Уильяма Дугласа, своего лохливленского спасителя, из всех приближенных мужчин — увы, среди них нет больше Босуэлов и Риччо — она чаще всего видится с врачом.

Мария Стюарт теперь то и дело хворает, у нее ревматизм и какие-то странные боли в боку. Ноги у нее иногда так распухают, что это надолго пригвождает ее к креслу, и она ищет исцеления на горячих водах; из-за недостатка живительных прогулок ее когда-то нежное, стройное тело постепенно становится дебелым и дряблым. Очень редко находит она в себе силы для смелых эскапад в привычном ей когда-то духе; безвозвратно миновали времена бешеной скачки по шотландским полям и лугам, времена увеселительных поездок из замка в замок. Чем дольше тянется ее заточение, тем охотнее ищет узница утешения в домашних занятиях. Одета в черное, как монахиня, она долгие часы просиживает за пальцами и своими точеными, все еще красивыми белыми руками вышивает те чудесные златотканые узоры, образцами которых мы еще и сегодня любуемся, или же углубляется в свои любимые книги. Не сохранилось преданий ни об одном ее увлечении за без малого двадцать лет. С тех пор как скрытый жар ее души не может излиться на любимого человека — на Босуэла, он ищет выхода в более умеренной и ровной привязанности к существам, никогда не обманывающим, — к животным. По просьбе Марии Стюарт ей доставляют из Франции самых умных и ласковых собак — спаниелей и легавых; она держит в комнате певчих птиц и возится с голубями, поливает цветы в саду и заботится о приближенных женщинах. Тот, кто знает ее лишь поверхностно, видит ее лишь наездами и не вникает глубоко, может и в самом деле вообразить, будто ее неукротимое чес-

толюбие, когда-то сотрясавшее мир, угасло, будто в ней утихли земные желания. Ибо часто — и с каждым годом все чаще — ходит эта понемногу стареющая женщина, окутанная реющим вдовьим покрывалом, к обедне, все чаще склоняется перед аналоем в своей часовне и только очень редко заносит стихи в свой молитвенник или на чистый листок бумаги. И это уже не пламенные сонеты, а слова благочестивого смирения и меланхолической отрешенности.

Que suis je hélas et quoy sert ma vie
Jen suis fors qun corps prive de coeur
Un ombre vayn un object de malheur
Qui na plus rien que de mourir en vie...

Чем стала я, зачем еще дышу?
Я тело без души, я тень былого.
Носимая по воле вихря злого,
У жизни только смерти я прошу.

Все больше укрепляется в таком наблюдателе впечатление, что многострадальная душа оставила попечение о мирской власти, что благочестиво и бестревожно ждет она одного — всепримирающей смерти.

Но не будем обманываться: все это — лишь притворство и маска. На самом деле это пламенное сердце, эта гордая королева живет одной лишь мечтой — вновь вернуть себе свободу и власть. Ни на минуту не склоняется она к мысли покорно принять свой жребий. Все это посиживание за пальцами, за книгами, мирные беседы и ленивые грезы наяву — лишь ширма для каждодневной кипучей деятельности — заговорщицкой. Неустанно, с первого дня своего заточения до последнего, плетет она заговоры и интриги, повсюду ее кабинет превращается в тайную политическую канцелярию, здесь день и ночь кипит работа. За закрытыми дверьми в обществе двух секретарей Мария Стюарт собственноручно набрасывает секретные обращения к послам — французскому, испанскому, папскому, а также к своим приверженцам в Шотландии и Нидерлан-

дах, в то же время, осторожности ради, забрасывая Елизавету умоляющими, успокаивающими, кроткими и возмущенными письмами, на которые та уже давно не отвечает. Неустанно под сотней личин спешат ее посланцы в Париж, Мадрид и обратно, постоянно придумываются пароли, изобретаются шифровальные коды — ежемесячно новые, — регулярно работает настоящая международная почта, связывая ее с врагами Елизаветы.

Все ее домочадцы — о чем Сесил прекрасно осведомлен, почему он и тщится сократить число ее оруженосцев, — представляют собой генеральный штаб, неустанно разрабатывающий все ту же операцию ее освобождения; все пять десятков ее слуг постоянно сносятся с окружающими деревнями, сами ходят в гости и принимают гостей, чтобы передавать и получать известия; все окружающее население под видом милостыни регулярно подкупается, и благодаря этой изощренной организации дипломатическая эстафетная почта безотказно работает до самого Парижа и Рима. Письма провозятся контрабандой в белье, книгах, выдолбленных тростях, в крышках футляров с драгоценностями и даже за амальгамой зеркал. Для того чтобы перехитрить Шрусбери, изобретаются все новые уловки, расшиваются подошвы и в них закладываются послания, писанные симпатическими чернилами, или же изготовляются парики и в букли заворачиваются бумажные папильотки. В книгах, которые Мария Стюарт выписывает из Парижа, подчеркиваются по известной системе буквы, так что в целом получается связный текст, а бумаги первостепенного значения проносит в подоле сутаны ее духовник.

Мария Стюарт, с юности возившаяся с тайнописью, искусно шифровавшая и расшифровывавшая письма, руководит всеми операциями, и эта увлекательная, азартная игра, путающая Елизавете карты, напрягает все душевные силы узницы, возмещая недостаток физических упражнений и других утех. Со свойственным ей пылким безрассудством отдается она заговорам и дипломатическим интригам, и в иные часы,

когда новые посулы и предложения из Мадрида, Парижа или Рима все новыми окольными путями достигают ее кельи, эта униженная монархиня может и вправду вообразить себя силой, чуть ли не средоточием всеевропейских интересов. И то, что Елизавета знает об этой угрозе и бессильна против такого упорства, то, что она, ее пленница, через головы надзирателей и стражей может руководить этой кампанией в тиши своей кельи и участвовать в решении судеб мира, пожалуй, единственная отрада, чудесно поддерживающая дух Марии Стюарт все эти долгие, беспросветные годы.

Удивления достойна эта непоколебимая энергия, эта скованная сила, и в то же время она потрясает нас своей тщетностью, ибо все, что бы Мария Стюарт ни придумала и ни предприняла, обречено на неудачу. Все эти многочисленные заговоры, которые она плетет неустанно, заранее обречены на поражение. Слишком неравны силы противников. Всегда слабее тот, кто борется в одиночку против целой организации. Мария Стюарт действует одна, в то время как за Елизаветой стоит все государство — канцлеры, советники, полицмейстеры, солдаты и шпионы, — не говоря уже о том, что из государственной канцелярии легче бороться, чем из тюремной камеры. У Сесила сколько угодно золота, сколько угодно средств обороны, он ничем не ограничен в своих действиях, тысячи глаз его тайных соглядатаев следят за одинокой неопытной женщиной. Полиция в те времена знала до мелочей чуть ли не все о каждом из трех миллионов граждан, составляющих население Англии; каждый чужеземец, высаживавшийся на английской земле, брался под надзор; в харчевни, тюрьмы, на прибывающие суда направлялись лазутчики, ко всем подозрительным лицам подсылались шпионы, а там, где эти полумеры оказывались недействительными, применялась самая действенная мера — пытка.

И превосходство коллективной силы немедленно дает себя знать. Самоотверженные друзья Марии Стюарт один за другим попадают в темные казематы Тауэра, а там на дыбе у них

исторгают полное признание и имена соучастников — и так, клещами палачей, в порошок размалывается заговор за заговором. А если Марии Стюарт порой удастся переслать свои письма и предложения через одно из иностранных посольств, то сколько нужно бесконечных недель, чтобы письмо доползло до Рима или Мадрида, сколько недель, чтобы в государственных канцеляриях собрались ответить, и опять-таки сколько недель, чтобы ответ дошел по назначению! И как ничтожна в результате эта помощь, как оскорбительно холодна для горячего, нетерпеливого сердца, которое ждет армад и армий, спешащих на выручку! Да и разве не естественно одинокому пленнику, все дни и ночи занятому мыслями о своей судьбе, воображать, что все его друзья в далеком деятельном мире только и заняты его особой?

Но тщетно старается Мария Стюарт представить свое освобождение неотложным делом всей контрреформации, первой и важнейшей спасательной акцией католической церкви: ее друзья только считают и жмутся и никак не могут между собой договориться. Армада не снаряжается в поход. Филипп II, главная опора Марии Стюарт, щедр на молитвы, но скуп на решения. Ему не улыбается вступить из-за пленницы в войну с сомнительным исходом, и он и папа отделяются тем, что посылают немного денег, чтобы было на что подкупить двух-трех искателей приключений для организации покушения или мятежа. Но как жалки эти попытки заговорщиков и как легко берут их на мушку неусыпные шпионы Уолсингема! Только несколько изувеченных, истерзанных трупов на лобном месте Тауэрхилла время от времени напоминают народу, что в уединенном замке все еще томится в заточении женщина, упрямо притязающая на то, что она единственная правомочная королева Англии, и все еще находятся глупцы или герои, готовые за нее пострадать.

Что все эти заговоры и интриги в конце концов приведут Марию Стюарт к гибели, что она, как всегда, опрометчивая, затеяла безнадежную игру, одна, из стен узилища, объявив

войну могущественнейшей властительнице мира, — давно ясно каждому современнику. Уже в 1572 году, после крушения заговора Ридольфи, ее шурин Карл IX заявил с досадой: «Эта дура несчастная до тех пор не успокоится, пока не свихнет себе шею. Она дождетя, что ее казнят. А все по собственной глупости, я просто не вижу, чем тут помочь». Такого жестокого суждения человека, который в Варфоломеевскую ночь отважился лишь на то, чтобы из защищенного окна подстреливать безоружных беглецов, человека, который понятия не имел ни о каком героизме. И, конечно же, с точки зрения расчетливой осторожности, Мария Стюарт поступила неразумно, избрав не более удобный, хоть и трусливый путь капитуляции, а очевидную безнадежность. Быть может, своевременно отказавшись от своих династических прав, она купила бы себе этим свободу, быть может, все эти годы ключ от тюрьмы находился у нее в руках. Надо было лишь покориться, лишь торжественно и добровольно отказаться от всяких притязаний на шотландский, на английский престол, и Англия, облегченно вздохнув, отпустила бы ее на свободу.

Не раз пыталась Елизавета — не из великодушия, разумеется, а из страха, так как обличающее присутствие опасной узницы преследовало ее кошмаром, — перебросить ей мостик для отступления; переговоры то и дело возобновлялись, и на достаточно справедливых условиях. Но Мария Стюарт считала, что лучше быть коронованной узницей, чем отставной королевой, и в первые же дни заточения Ноллис правильно оценил ее, сказав, что у нее достаточно мужества, чтобы бороться, пока есть хоть капля надежды. Чувство истинного величия подсказывало ей, как презренна была бы куцая свобода отставной королевы где-нибудь в захолустье и что только унижение возвеличит ее в истории. В тысячу раз сильнее, чем неволя, связывало ее данное слово, что никогда она не отречется и что самые последние ее слова будут словами королевы Шотландской.

Нелегко установить границу, отделяющую безрассудную

храбрость от безрассудства, ведь героизму всегда присуще безумие. Санчо Пансо превосходит Дон Кихота житейской мудростью, а Терсит с точки зрения *ratio** на голову выше Ахилла; но слова Гамлета о том, что стоит бороться и за былинку, когда задета честь, во все времена останутся мерилom истинно героической натуры.

Конечно, сопротивление Марии Стюарт при неизмеримом превосходстве сил противника вряд ли к чему-либо могло привести, а все же неверно называть его бессмысленным только потому, что оно оказалось безуспешным. Ибо все эти годы — и даже что ни год, то больше — эта, по-видимому, бессильная одинокая женщина именно благодаря своему неукротимому задору представляет огромную силу, и только потому, что она потрясает цепями, порой сотрясается вся Англия и сердце у Елизаветы уходит в пятки.

Мы искажаем историческую перспективу, когда с удобной позиции потомков оцениваем события, принимая в расчет и результаты. Легче легкого задним числом осуждать побежденного, отважившегося на бессмысленную борьбу. На самом деле окончательное решение в единоборстве обеих женщин все эти двадцать лет колеблется на чаше весов. Некоторые из заговоров, ставивших себе целью вернуть Марии Стюарт корону, при известной удаче могли стоять Елизавете жизни, а два-три раза меч просвистел над самой ее головой. Сначала выступает Нортумберленд, собравший вокруг себя католическое дворянство; весь Север в огне, и лишь с трудом удастся Елизавете овладеть положением. Затем следует еще более опасная интрига Норфолка. Лучшие представители английской знати, среди них ближайшие друзья Елизаветы, такие, как Лестер, поддерживают проект женитьбы Норфолка на шотландской королеве, которая, чтобы придать ему мужества — чего только не сделает она для победы! — пишет ему нежнейшие письма. Благодаря посредничеству флорентийца

*Рассудок (*лат.*).

Ридольфи готовится высадка испанских и французских войск, и если бы Норфолк, уже раньше своим трусливым отречением показавший, чего он стоит, не был тряпкой и если бы к тому же не помешали случайности фортуны — ветер, непогода, море и предательство, — дело приняло бы другой оборот, роли переменялись бы и в Вестминстере восседала бы Мария Стюарт, а Елизавета томилась бы в подземелье Тауэра или лежала бы в гробу.

Но и кровь Норфолка и жребий Нортумберленда, равно как и многих других, кто в эти годы сложил голову на плахе, не отпугивают последнего претендента: это дон Хуан Австрийский, внебрачный сын Карла V, сводный брат Филиппа II, победитель при Лепанто, идеальный рыцарь, первый воин христианского мира. Рожденный вне брака, он не может притязать на испанскую корону и стремится создать себе королевство в Тунисе, как вдруг ему представляется случай завладеть другой короной, шотландской, а вместе с ней и рукой державной узницы. Он вербует армию в Нидерландах, и освобождение, спасение уже близко, как вдруг — не везет Марии Стюарт с ее помощниками! — коварная болезнь настигает его и уносит в безвременную могилу. Никому из тех, кто домогался руки Марии Стюарт или бескорыстно служил ей, никогда не сопутствовало счастье.

Ибо, говоря непредвзято и честно, к этому в конце концов и сводится спор между Елизаветой и Марией Стюарт: Елизавете все эти годы не изменяло счастье, а Марии Стюарт — несчастье. Если мерить их сила с силой, характер с характером, то они почти равны. Но у каждой своя звезда. Все, что бы Мария Стюарт, потерпевшая поражение, преданная счастьем, ни предпринимала из своего заточения, терпит крах. Флотилии, посылаемые против Англии, разносит в щепки буря, ее посланцы теряются в пути, искатели ее руки умирают, друзьям в решительную минуту изменяет мужество, каждый, кто стремится ей помочь, сам роет себе могилу.

Поражают справедливостью слова Норфолка, сказанные

им на эшафоте: «Что бы она ни затевала и что бы для нее ни затевали другие, заранее обречено на неудачу». С самой встречи с Босуэлом ей изменило счастье. Тот, кто ее любит, обречен смерти, тот, кого любит она, пожнет одну горечь. Кто желает ей добра, приносит ей зло, кто ей служит, служит собственной гибели. Как черная магнитная гора в сказке притягивает корабли, так и ее судьба на пагубу людям притягивает чужие судьбы; вокруг Марии Стюарт постепенно складывается зловещая легенда — от нее будто бы исходит магия смерти. Но чем безнадежнее ее дело, тем неукротимее дух. Вместо того чтобы сломить, долгое сумрачное заточение лишь закалило ее сердце. И сама, по собственному почину, хоть и зная, что все напрасно, призывает она на свою голову неизбежную развязку.

Г Л А В А X X ПОСЛЕДНИЙ КРУГ 1584—1585

А годы идут и идут, недели, месяцы, годы, как облака, проносятся над этой неприкаянной головой, словно и не затрагивая ее. Но как ни незаметно, а время меняет человека и окружающий мир. Марии Стюарт пошел сороковой год — критический возраст для женщины, а она все еще узница, все еще томится в неволе. Незаметно подкрадывается старость, в волосах уже мелькает серебро, стройное тело расплывается, тяжелеет, черты успокоились, в них сквозит зрелость матроны, на всем существе лежит печать уныния, которое охотно ищет выхода в религии. Скоро — женщина глубоко чувствует это — время любви, время жизни уйдет без возврата; что не сбылось до сих пор, не сбудется вовек, наступил вечер, близка темная ночь. Давно не появлялось новых искателей ее руки, должно быть, никто уж и не явится: еще немного — и жизнь навсегда миновала. Так стоит ли ждать и ждать чуда освобождения, помощи равнодушного, колеблющегося мира? Все

сильней и сильней в эти закатные годы чувствуем мы, что страдальца пресытилась борьбой и склоняется к отречению и примирению. Все чаще выпадают минуты, когда она спрашивает себя: а не глупо ли зачахнуть без пользы, без любви, как выросший в тени цветок, не лучше ли дорогой ценой купить себе свободу, добровольно сняв корону с седеющей головы? На сороковом году все больше утомляет Марию Стюарт эта гнетущая, беспросветная жизнь, неукротимое властолюбие постепенно отпускает ее, уступая место кроткой, мистической воле к смерти. Должно быть, в один из таких часов она пишет на листке бумаги прочувствованные латинские строки — полужалобу, полумолитву:

O Domine Deus! speravi in Te
O care mi Jesu! nunc libera me
In dura catena, in misera poena, desidero Te;
Languendo, gemendo et genu flectendo
Adoro, imploro, ut liberes me.

Мое упование, Господь всеблагой!
Даруй мне свободу, будь кроток со мной.
Терзаясь в неволе, слабея от боли,
Я в мыслях с Тобой.
Упав на колени, сквозь слезы и пени
Тебя о свободе молю, всеблагой*.

Поскольку избавители мешкают и колеблются, взор ее обращается к Спасителю. Лучше умереть — лишь бы не эта пустота, эта неопределенность, это вечное ожидание, и надежда, и тоска, и неизбежное разочарование! Лишь бы конец — на радость или на горе, с победой или поражением! Борьба неудержимо близится к концу, потому что Мария Стюарт всем жаром своей души этот конец призывает.

Чем дольше тянется эта отчаянная, эта коварная и жестокая, эта величественная и упорная борьба, тем непримиримее стоят друг против друга обе застарелые противницы — Мария

*Перевод С. К. Анта.

Стюарт и Елизавета. Политика Елизаветы приносит ей успех за успехом. С Францией у нее заключен мир. Испания все еще не отваживается на войну, над всеми недовольными одержала она верх. И только один враг, смертельно опасный враг, все еще живет безнаказанно у нее в стране, одна эта побежденная женщина. Лишь устранив последнего недруга, может она почувствовать себя подлинной победительницей. Да и у Марии Стюарт не осталось для ненависти иного объекта, нежели Елизавета. Снова в минуту предельного отчаяния обращается она к своей родственнице, к данной ей роком сестре, с неодолимой страстностью взывая к ее человечности. «Нет у меня больше сил страдать, — воплем вырывается у нее в этом благородном послании, — и, умирая, я не могу не назвать тех, кто замыслил меня извести. Самых закоренелых злодеев в Ваших тюрьмах выслушивают, им называют имена их наветников и клеветников. Так почему же в этом отказывают мне, королеве, Вашей кузине и законной наследнице престола? Мне думается, что именно последнее обстоятельство и было до сей поры причиной лютой вражды... Но увы! У них нет больше необходимости меня мучить, ибо, честью клянусь, не нужно мне теперь иного царства, кроме царства небесного, в кое чувствую я себя готовою войти, ибо лишь в нем обрету конец тяготам моим и мучениям».

В последний раз со всем жаром неподдельной искренности закликает она Елизавету даровать ей все же свободу: «Честью и смертельными муками спасителя и избавителя нашего закликаю, смилуйтесь, дозвоьте мне оставить это государство и удалиться на покой куда-нибудь в укромное место; там усталое тело, изнуренное неизбывной печалью, обретет отдых, и ничто не помешает мне спокойно готовиться предстать перед всевышним, каждодневно призывающим меня к себе... Окажите мне эту милость еще до моей кончины, и душа моя, раз эта распря меж нами улажена, не будет вынуждена, освободившись от земных уз, принести свои жалобы творцу, указав на Вас, как на виновницу зла, причиненного мне здесь, на земле».

Но душераздирающий зов не тронул сердце Елизаветы, она остается нема, ни одного подбадривающего слова не находится у нее для страдальцы. И тогда Мария Стюарт стискивает зубы и кулаки. Отныне она знает одно только чувство — ледяную и пламенную, упорную и испепеляющую ненависть к этой женщине, и эта ненависть тем зорче и непримиримее нацелена именно на нее, единственную, что все ее другие враги и противники кончили земное существование, сами порешив друг друга. Как будто для того, чтобы таинственная магия смерти, исходящая от Марии Стюарт и поражающая всех, кто ее ненавидел или любил, проявилась со всей очевидностью, каждый, кто служил ей или враждовал с ней, кто боролся за или против нее, опередил ее в смерти.

Все те, кто свидетельствовал против нее в Йорке — Меррей и Мэйтленд, — умерли насильственной смертью, все, кто призван был ее судить — Нортумберленд и Норфолк, — сложили голову на плахе; все, кто сначала выступал против Дарнлея, а потом против Босуэла, убрали друг друга с дороги; предатели Керк о'Филда, Карбери и Лангсайда предали сами себя. Все эти своенравные шотландские бароны и графы — неистовая, опасная, честолюбивая свора — истребили друг друга. Поле битвы опустело. Не осталось никого на земле, кого бы ей должно было ненавидеть, кроме нее, Елизаветы. Великая борьба народов, ознаменовавшая два десятилетия, ныне свелась к единоборству. И в этом поединке женщины с женщиной не осталось места ни для каких переговоров. Это бой не на жизнь, а на смерть.

Для этого последнего боя, боя насмерть, Марии Стюарт нужно сделать последнее усилие. Еще одной, последней надежды должна она лишиться. Еще один удар должна принять в самое больное место, чтобы потом собраться с силами для последнего рывка. Ибо всегда к Марии Стюарт ее великолепное мужество, ее неукротимая отвага приходят в ту минуту, когда все потеряно или кажется потерянным. Всегда безвыходность пробуждает в ней героизм.

Последняя надежда, которую ей предстоит утратить, — надежда договориться с сыном. Ибо за гнетущие пустые годы, когда решительно ничего не происходило, когда она только и делала, что ждала и слушала, когда безостановочно бегут часы, словно песок, осыпающийся с полуразрушенной башни, за это нескончаемое время, которое так измотало и состарило ее, подросло дитя, ее кровный сын. Младенцем оставила она Иакова VI, уезжая из Стирлинга, когда Босуэл со своими всадниками захватил ее перед Эдинбургскими воротами и увлек навстречу гибели; за эти десять, пятнадцать, семнадцать лет бессознательное существо успело стать ребенком, мальчиком, юношей, почти мужчиной.

Иаков VI унаследовал немало черт своих родителей, хотя и в смешанной, стертой форме. Этот странноватый мальчик с неловким, неповоротливым языком, неуклюжим, тяжеловесным телом и нерешительной, робкой душой на первый взгляд производит впечатление не вполне нормального. Он избегает общества, трепещет при виде ножа, боится собак, груб и неловок в обращении. В нем не заметно ни изысканной грации, ни природного обаяния его матери, не выказывает он и артистических склонностей, ни музыка, ни танцы его не увлекают, не заметно в нем и таланта к легкой, непринужденной беседе. Зато у него способности к языкам и превосходная память, а там, где дело касается его личных интересов, он обнаруживает и ум и упорство. Роковым образом сказалась на его характере мелочная, низменная натура отца. Он унаследовал от Дарнлея его нетвердую волю, его нечестность и ненадежность. «Чего ждать от такого двуречивого малого!» — как-то в сердцах сказала о нем Елизавета; подобно Дарнлею, он поддается любому влиянию.

Сердцу этого черствого эгоиста неведомо благородство, все его поступки диктуются чисто внешним честолюбием, а его бесчувственное отношение к матери можно понять, только если отвлечься от представлений о сыновнем долге, сыновней преданности. Воспитанный заядлыми врагами Марии Стюарт,

имея преподавателем латыни Джорджа Бьюкенена, человека, написавшего на нее пресловутый пасквиль «Detectio»*, он, должно быть, только и слышал о пленнице, томящейся в заточении в соседней стране, что она помогла лишить жизни его отца, а теперь оспаривает право на престол у него самого, коронованного монарха. С раннего детства вдалбливают мальчику, что его мать, в сущности, чужая ему женщина, досадная помеха на пути его честолюбивых устремлений. И если в душе ребенка когда-либо жила мечта увидеть женщину, даровавшую ему жизнь, то английские и шотландские тюремщики зорко следили за тем, чтобы помешать малейшему сближению обоих пленников — Марии Стюарт, пленницы Елизаветы, и Иакова VI, пленника лордов и регента. Время от времени, всего несколько раз за много-много лет, обмениваются они письмами: Мария Стюарт посылает подарки, игрушки, а как-то раз даже забавную обезьянку, но и дары и письма обычно отвергаются, так как она упорно не признает за сыном прав на королевский титул, а лорды возвращают, как оскорбительные, письма, где Иаков именуется просто принцем. Мать и сын так и не выходят за пределы чисто официальных, холодных отношений, у обоих властолюбие заглушает голос крови, ибо она хочет быть единодержавной королевой Шотландии, а он — единодержавным королем.

Какое-то сближение становится возможным, когда Мария Стюарт отказывается от своего непримиримого отношения к факту коронования ее сына лордами и выражает готовность признать за ним некоторые права на корону. Разумеется, она и теперь не намерена отречься от королевского титула, и жить и умереть она хочет миропомазанницей с венцом на челе, но, чтобы купить себе свободу, готова делить его с сыном. Впервые мелькает у нее мысль о компромиссе. Пусть сын правит и зовется королем, лишь бы и ей позволили именоваться королевой, лишь бы на ее отречение был наведен стыдливый глянец сусальной позолоты!

* «Обличение» (лат.).

Постепенно завязываются тайные переговоры. Однако Иаков VI, на которого давят лорды, ведет их как расчетливый игрок. Без зазрения совести торгуется он одновременно с обеими сторонами, ходит Марией Стюарт под Елизавету, а Елизаветой под Марию Стюарт и ставит попеременно на обе религии, готовый отдать предпочтение той стороне, которая дороже заплатит, ибо для него это не вопрос чести: ему важно остаться королем Шотландии и в то же время обеспечить себе право на английский престол; он хочет наследовать не одной, а обоим женщинам. Он не прочь остаться протестантом, поскольку это ему выгодно, но склоняется и к католицизму, буде там лучше заплатят; мало того, семнадцатилетний юноша, чтобы обеспечить себе английскую корону, не отступает и перед вовсе уж неблагоприятной сделкой: он готов жениться на изрядно побитой молью Елизавете, даром что та на девять лет старше его матери и к тому же ее испытанная противница и соперница. Для Дарнлея-младшего эти переговоры — вопрос простого расчета, тогда как Мария Стюарт, все еще живущая иллюзиями и чуждая реальной жизни, пылает и трепещет, воодушевленная последней надеждой — путем соглашения с сыном вырваться на свободу и в то же время остаться королевой.

Но Елизавета сразу же бьет тревогу. Она боится, как бы мать с сыном не договорились. Не теряя ни минуты, вторгается она в еще не окрепшую пряжу переговоров. Знание людей подсказывает ей, чем взять неустойчивого юношу: игрой на его человеческих слабостях. Она посылает молодому королю, помешанному на охоте, отборных лошадей и собак. Она подкупает его советников и предлагает ему самому ежегодный пенсioen в пять тысяч фунтов, что при вечных недостатках у шотландского двора само по себе является решающим доводом; кроме того, она пускает в ход испытанную приманку — английское престолонаследие. Как и обычно, дело решают деньги. В то время как ничего не подозревающая Мария Стюарт продолжает дипломатическую игру на пустом месте, вку-

пе с папой и испанским королем строит воздушные замки насчет католической Шотландии, Иаков VI тишком подписывает договор с Елизаветой, где подробно изложено, что эта сделка принесет ему как в деньгах, так и в других благах, но где ни словом не упомянут, казалось бы, более чем уместный здесь пункт об освобождении его матери. Ни единой строчки о пленнице, совершенно ему безразличной, раз с нее больше ничего не возьмешь. Через голову матери, как будто ее и нет на свете, договаривается сын со злейшим ее врагом. Пусть женщина, даровавшая ему жизнь, теперь, когда от нее больше нечего ждать, оставит его в покое! Как только договор подписан и милый сынок разжился деньгами и собаками, он сразу же обрывает переговоры с матерью. Стоит ли церемониться с бессильной женщиной! По поручению его величества короля составляется строжайший рескрипт, где в грубо канцелярском тоне сообщается, что Мария Стюарт навсегда лишена титула и всех прав королевы Шотландской. Отняв у противницы державу, корону, власть и свободу, бездетная соперница отнимает у нее еще и последнее — сына. Наконец-то она окончательно отомщена.

Победа Елизаветы означает полный крах последних иллюзий Марии Стюарт. Вслед за мужем, вслед за братом, вслед за подданными от нее отвернулся сын, ее кровное дитя, и теперь она одна в целом мире. Ее разочарованию, ее возмущению нет границ. Отныне ей ни до кого дела нет. Ни с кем она больше считаться не будет! Раз сын от нее отрекся, что ж, и она отречется от сына. Раз он продал ее права на престол, она продаст его права. И она называет Иакова VI выродком, ослушником, неблагодарным, испорченным мальчишкой, она прокликает его и грозит, что по завещательному распоряжению лишит его не только шотландской короны, но и английских преемственных прав. Чем такому изменнику и еретику, пусть лучше престол Стюартов достанется чужому государю! С этим твердым решением она предлагает Филиппу II шотландские и английские преемственные права, если тот обеща-

ет бороться за ее освобождение и смирить Елизавету, убийцу всех ее надежд. Что ей теперь ее страна, ее сын! Лишь бы жить подольше, лишь бы вырваться на свободу и победить! Отныне она ничего не боится, и самые отчаянные решения ей не страшны. Кто все потерял, тому больше нечего терять.

Годами в измученной, униженной женщине накапливались гнев и озлобление. Годами надеялась она, торговалась, интриговала, злоумышляла и искала возможностей договориться. Ныне мера ее терпения переполнилась. Точно вырвавшееся на волю пламя, вспыхнула подавленная ненависть к мучительнице, узурпаторше, палачихе. Уже не только как королева на королеву — как женщина на женщину бросается Мария Стюарт на Елизавету, словно норовя выцарапать ей глаза. Поводом служит ничтожный инцидент: графиня Шрусбери, злобная истеричка и интриганка, под горячую руку обвинила Марию Стюарт в том, что у той амуры с ее супругом. Глупая бабья сплетня, разумеется, и сама графиня ей не верила, но Елизавета, не пропускавшая случая повредить доброй славе своей соперницы, постаралась, чтобы эта скандальная история дошла до иностранных дворов, так же как в свое время она разослала всем иностранным государям пасквиль Бьюкенена вместе с «письмами из ларца».

И тут Мария Стюарт взвилась на дыбы. Мало того, что у нее отняли власть, свободу, последнюю надежду и сына, надо еще коварно запятнать ее честь! Ее, которая живет в затворничестве монахиней, не зная ни радости, ни утех любви, хотя выставить на поругание как блудодейку, покушающуюся на святость семейного очага! Ее раненая гордость восстает и требует удовлетворения, и графиня Шрусбери на коленях отрекается от своей бесчестной лжи. Однако Марии Стюарт совершенно точно известно, кто воспользовался этой ложью, чтобы смешать ее с грязью; она почуяла предательскую руку противницы и на удар, из-за угла нанесенный ее чести, отвечает открытым ударом. Давно уже грызет ее злобное нетерпение, давно хочется ей как женщине женщине высказать этой якобы

девственной королеве, которая тщится слыть зеркалом добродетели, всю неприкрытую правду. И она пишет Елизавете письмо, будто бы затем, чтобы уведомить ее по дружбе, какую клевету и небывальщину распространяет графиня Шрусбери насчет ее частной жизни, на самом же деле, чтобы бросить в лицо «милой сестрице», что уж ей-то никак не пристало разгрызывать непорочную и порочить других.

В письме, дышащем лютой ненавистью, удар следует за ударом. Все слова жестокой правды, какие одна женщина может высказать другой, здесь высказываются вслух, все дурные черты Елизаветы высмеиваются ей в глаза, все ее женские секреты безжалостно выволакиваются на свет. Мария Стюарт сообщает Елизавете якобы «по дружбе», а на самом деле чтобы смертельно ее уязвить, что графиня Шрусбери говорит про нее, будто она так тщеславна и так высоко мнит о своей красоте, словно она сама царица небесная. Она, мол, ненасытно жадна до лестии и требует от своих потакателей, чтобы те постоянно ей кадили и превозносили ее до небес, сама же в припадке раздражения истязает своих придворных дам и горничных. Одной она будто бы сломала палец, другую, которая ей не угодила, прислуживая за столом, ударила ножом по руке.

Но все это лишь скромные нападки по сравнению с ужасными разоблачениями из интимной жизни Елизаветы. Графиня Шрусбери, по словам Марии Стюарт, уверяет, будто на ляжке у Елизаветы гнойная язва — намек на сифилическое наследие ее отца; она, мол, уже старуха и кончает носить крови, а все еще падка до мужчин. И не то чтобы она довольствовалась одним (графом Лестером), с которым спала несчетное число раз — «*infinies foys*», — она не пропускает ни одного случая потешить свою плоть и ни за что не откажется от своей свободы забавляться и получать удовольствие со все новыми и новыми любовниками — «*jamajs perdre la liberté de vous fayre l'amour et avoir vostre plésir toujours aveques nouveaulx amougeulx*». Среди ночи пробирается она в спальни мужчин в

одной рубашке и накидке, и эти приключения обходятся ей недешево. Мария Стюарт называет имена и приводит подробности. И, не щадя ненавистную, наносит ей жестокий удар в самое больное место. С насмешкой ставит она ей на вид (кстати, и Бен Джонсон открыто рассказывал об этом собутыльникам), что она, несомненно, не похожа на всех женщин, а потому глупости болтают все те, что притворно ждут ее предполагаемой свадьбы с герцогом Анжуйским, потому что этого быть не может. «Undubitablement vous n'estiez pas comme les autres femmes, et pour ce respect c'estoit follie á tous ceulx qu'affectoient vostre mariage avec le duc l'Anjou, d'aautant qu'il ne se pourroit accomplir». Да, пусть Елизавета знает, что ее ревниво оберегаемая тайна стала общим достоянием — тайна ее женского убожества, дозволяющего любострастие, но не длинную страсть, извращенную игру, но не полное обладание, тайна, навсегда лишаящая ее радостей королевского союза и материнства. Ни одна женщина на свете не говорила этой всесветной властительнице всю неприкрытую правду, как сказала эта узница из своего заточения: замороженная на двадцать лет ненависть, удушенный гнев и скованные силы вдруг берут свое — они вздыбливаются в яростном порыве, и удар разъяренной тигрицы метит в самое сердце мучительницы.

После такого неистового, дерзкого письма нечего и думать о примирении. Женщина, написавшая это письмо, и женщина, это письмо получившая, не могут больше дышать одним воздухом, жить в одной стране. *Nasta al cuchillo*, как говорят испанцы, война не на жизнь, а на смерть, бой на ножах — единственное, что им остается. После двадцатилетних неустанных упорных козней и вражды всемирно-историческая борьба Марии Стюарт и Елизаветы наконец достигла высшего накала, поистине можно сказать, что дело дошло до ножа. Контрреформация исчерпала все свои дипломатические средства, а до военных еще не добралась. В Испании по-прежнему

кропотливо и прилежно строят Армаду — несмотря на сокровища Индии, у этого злополучного двора всегда не хватает денег, не хватает решимости. Почему бы, думает Филипп Благочестивый, — как и Джон Нокс, он видит в физическом уничтожении неверного дело, угодное небу, — почему бы не избрать более дешевый способ — подкупить двух-трех убийц, которые без долгих сборов уберут с дороги Елизавету, опору еретиков? Век Макиавелли и его последователей не страдает излишней щепетильностью, когда речь идет о власти, а ведь здесь противостоят решения неоглядной важности — вера против веры, Юг против Севера: один-единственный удар кинжалом, нацеленный в сердце Елизаветы, может освободить мир от ереси.

Стоит политическим страстям накалиться добела, как рушатся все моральные и правовые преграды, исчезает последняя оглядка на порядочность и честь и даже убийство из-за угла выдается за жертвенное деяние. После отлучения Елизаветы в 1570 году, а в 1580-м — Вильгельма Оранского оба архисупостата католического мира объявлены вне закона, а с тех пор, как папа одобрил избиение шести тысяч человек, восславив Варфоломеевскую ночь как некое достохвальное деяние, каждому католику известно, что, устранив одного из этих заклятых врагов истинной веры, он совершит благородный подвиг. Достаточно смелого, верного удара кинжалом или меткого выстрела, как, выйдя из своего узилища, Мария Стюарт поднимется по ступенькам трона, и Англия с Шотландией объединятся в правой вере.

Когда так много поставлено на карту, недопустимо медлить и колебаться; без всякого зазрения испанское правительство ставит на повестку дня в качестве важнейшей своей политической задачи вероломное убийство Елизаветы; Мендоса, испанский посол, называет в депешах «убийство королевы» (killing the Queen) весьма желательной мерой; наместник Нидерландов герцог Альба полностью присоединяется к этому мнению, а властитель обоих миров Филипп II на докладной

записке о предполагаемом убийстве Елизаветы пишет: «С нами Бог!» Уже не на дипломатические комбинации и военные действия возлагаются надежды, а на клинок убийцы. И тут и там не стесняются в средствах; в Мадриде убийство Елизаветы одобрено Тайным советом и на него получено согласие короля; в Лондоне Сесил, Уолсингем и Лестер тоже единодушны в том, что с Марией Стюарт надо покончить насильственным образом. Никакие обходы и лазейки больше невозможны, давно просроченный счет можно погасить только кровью. Вопрос лишь в том, кто поспеет первым — реформация или контрреформация, Лондон или Мадрид, Мария ли Стюарт устранил Елизавету, Елизавета ли Марию Стюарт.

Г Л А В А Х Х I

ДЕЛО ИДЕТ К КОНЦУ

С сентября 1585 по август 1586 года

«Пора кончать!» — «The matter must come to an end!» — этой железной формулой, вырвавшейся в горячую минуту, министр Елизаветы выразил чувства всей страны. Ничто так не тяготит народ или человека, как долгая неуверенность. Убийство изувером-католиком второго вождя Реформации принца Оранского (в июне 1584 года) ясно показало Англии, кому предназначен следующий удар; заговор следует за заговором — пора наконец взяться за узницу, за эту опасную поджигательницу, которая сеет смуту и беспокойство! Пора «вырвать зло с корнем»!

В сентябре 1584 года протестантские лорды и чиновная знать собираются чуть ли не поголовно и на торжественной «ассоциации» (association) «честью и присягой обязуются перед всевечным Богом предать смерти всякого, кто примет участие в заговоре против Елизаветы», причем отвечать будет и «любой претендент, в чью пользу замышлялась измена». После чего парламент в «Акте о личной безопасности Ее Величества королевы» — «Act for the security of the Queens Royal

Person» — облакает это соборное определение в форму закона. Над всяким, кто примет участие в покушении на королеву или же — сугубо важный пункт — хотя бы в принципе с ним согласится, отныне занесен топор палача. Кроме того, постановлено, что «лица, обвиняемые в соучастии в заговоре против королевы, подлежат суду двадцати четырех заседателей по назначению короны».

Итак, Марии Стюарт сделано двойное предупреждение. Во-первых, в том, что на будущее королевский сан уже не помешает привлечь ее к публичному суду; во-вторых, что даже в случае успеха покушение на Елизавету ничего ей не даст, а только неминуемо приведет ее на плаху. Это звучит как последний сигнал фанфар, призывающий непокорную крепость к сдаче. В случае дальнейших колебаний пощады не будет. Отныне всякой недоговоренности и лицемерию между Елизаветой и Марией Стюарт конец, повеяло резким, суровым ветром. Наступила полная ясность.

О том, что время льстивых писем и льстивого притворства миновало и что борьба, растянувшаяся на десятилетия, вступает — *hasta al cuchillo* — в свой последний круг, когда никакие поблажки уже невозможны, Мария Стюарт и сама может судить по крутым мерам, которые против нее принимаются. Настороженный участившимися покушениями, английский двор решил прибрать Марию Стюарт к рукам, окончательно пресечь ее интриги и крамолу. Шрусбери, который в своем качестве джентльмена и большого вельможи был слишком снисходительным, «освобождается от должности»; слово «освобождается» — «released» звучит здесь в прямом смысле, он и в самом деле на коленях благодарит Елизавету за то, что она после пятнадцатилетних мытарств дает ему вольную. Место его занимает фанатик-протестант Эмиас Паулет. Только теперь Мария Стюарт может с полным основанием говорить о «servitude» — рабской неволе, ибо вместо прежнего доброго стража ей назначили жестокого тюремщика.

Эмиас Паулет, твердокаменный пуританин, один из тех

праведников, каких взыскует Библия, но Бог не приемлет, отнюдь не скрывает своих намерений превратить жизнь Марии Стюарт в сущий ад. С полным сознанием своего долга и даже с горделивой радостью берется он содержать свою узницу в строгости, лишить ее малейших послаблений. «Я не стану испрашивать снисхождения, — пишет он Елизавете, — если она тайными кознями вырвется из моих рук, ибо сие может произойти лишь при моем преступном попустительстве». С холодной и трезвой методичностью, как человек долга, берется он охранять и полностью обезвредить свою узницу, как будто это — дело его жизни, завещанное ему Господом Богом.

Отныне в его непреклонной душе живет одно честолюбивое стремление — стать тюремщиком не за страх, а за совесть; никакой соблазн не смутит этого Катона; ни разу у него не дрогнет сердце и набежавшая волна теплой человечности ни на миг не растопит его постную, ледяную мину. Для него бедная, усталая женщина не государыня, чьи несчастья внушают уважение, но единственно черный враг его королевы, за которым нужен глаз да глаз, ибо от него, как от антихриста правой веры, всего можно ожидать. В том, что здоровье ее расшатано и разбитые ревматизмом ноги делают ее тяжелой на подъем, он цинически усматривает «преимущество для стражей, ибо нечего бояться, что она от них сбежит».

Методично, пункт за пунктом, сам не нарадуясь на свою добросовестность, выполняет он обязанности надзирателя и с аккуратностью чиновника ежевечерне заносит свои наблюдения в особую книгу. И если всемирной истории и знакомы более жестокие, более злобные и несправедливые тюремщики, чем этот архиправедник, то вряд ли найдется среди них другой такой, кто сумел бы с подобным сладострастием превращать свои обязанности в источник чиновничьего восторга. Первым делом безжалостно засыпаются подземные каналы, которые все еще время от времени связывали узницу с внешним миром. Пятьдесят солдат день и ночь караулят подходы к замку; люди из ее свиты, до сих пор невозбранно навещавшие

соседние деревушки и передававшие по цепочке письменные и устные весточки, тоже лишены свободы передвижения. Только с особого разрешения и под конвоем дозволено им оставлять замок; раздача милостыни окрестным беднякам, которой регулярно занималась сама Мария Стюарт, объявлена под запретом: пронизательный Паулет с полным основанием заподозрил в этой благотворительности средство склонить бедных людей к выполнению крамольных поручений.

Одна суровая мера следует за другой. Белье, книги, любые посылки тщательно просматриваются, все усиливающийся надзор удушает переписку. Оба секретаря Марии Стюарт, Нау и Керль, вынуждены сидеть по своим комнатам сложа руки. Им больше не приходится писать и расшифровывать письма; ни из Лондона, ни из Шотландии, ни из Мадрида или Рима не просачивается ни одна весточка; ни капли надежды не проникает в одиночество всеми покинутой женщины. А вскоре Паулет отнимет у нее и последнюю радость: ее шестнадцать лошадей оставлены в Шеффилде — прошло время выездов на охоту и прогулок верхом. В этот последний год ее жизненное пространство совсем сузилось; при Эмиасе Паулете заточение Марии Стюарт все больше напоминает (темное предчувствие!) одиночную камеру, гроб.

Радея о чести Елизаветы, мы должны были бы пожелать ей более снисходительного стража для ее сестры-королевы. Но, заботясь о своей безопасности — как нам ни досадно признать это, — она не могла сыскать более надежного стража, чем этот холодный кальвинист. Образцово выполняет Паулет возложенную на него задачу отрезать Марию Стюарт от всего мира. Проходит месяц, и она герметически закупорена, живет словно под стеклянным колпаком, ни одна весть, ни одно слово снаружи не проникает под своды ее тюрьмы. Елизавета может быть спокойна и радоваться на своего доброго служаку, и она в самом деле прочувственно благодарит Эмиаса Паулета за его рвение: «Если бы Вы знали, мой добрый Эмиас, как я признательна Вам за Ваше неослабное усердие и безошибочные дей-

ствия, за Ваши разумные распоряжения и надежные меры при выполнении столь опасной и трудной задачи, это, наверно, облегчило бы Ваши заботы и порадовало Ваше сердце».

Однако, как ни странно, Сесил и Уолсингем, министры Елизаветы, не слишком благодарны дотошному Эмиасу Паулету («precise fellow») за его чрезмерное усердие. Полная изоляция пленницы вопреки всем ожиданиям путает их тайные планы. Много ли проку в том, что Мария Стюарт лишена возможности заниматься конспирацией? Паулет своим строгим режимом, в сущности, оберегает ее от ее собственной опрометчивости. Сесилу же и Уолсингему нужна не праведная Мария Стюарт, а неправедная. Им нужно, чтобы узница, в которой они склонны видеть источник постоянных волнений и заговоров в Англии, продолжала свою тайную игру и окончательно запуталась. Они считают, что «пора кончать», им нужен гласный суд над Марией Стюарт, нужен смертный приговор, нужна казнь. Им уже мало заточения. Для них не существует иной меры безопасности, как физическое уничтожение королевы Шотландской, а чтобы добиться этого, им нужно приложить не меньше усилий, стараясь заманить ее в инсценированный заговор, чем те, какие прилагает Паулет, стараясь оградить ее от всякой крамолы. Что им для этой цели требуется, — так это комплот против Елизаветы и явное, доказанное содействие Марии Стюарт преступному заговору.

Такой заговор против жизни Елизаветы сам по себе уже существует. Можно сказать, что он работает постоянно. Стараниями Филиппа II организован заговорщицкий центр. В Париже сидит Морган, тайный агент и доверенный Марии Стюарт, и на испанские деньги неустанно интригует, затевая всякие рискованные махинации против Англии и Елизаветы. Здесь постоянно вербуются молодежь и через посредство французских и испанских послов завязываются тайные сношения между недовольным католическим дворянством в Англии и государственными канцеляриями контрреформации.

Одного только Морган не знает, что Уолсингем, один из

самых способных и ничем не брезгующих министров полиции всех времен, подослал к нему под видом фанатичных католиков нескольких своих шпионов и что как раз те курьеры, которые у Моргана на особо хорошем счету, подкуплены Уолсингемом и состоят у него на жалованье. Что бы ни предпринималось для Марии Стюарт, неизменно становится известным в Англии еще до того, как задуманные планы приводятся в исполнение. Так и в конце 1585 года английскому государственному кабинету становится известным — кровь последних заговорщиков обгаряет эшафот, — что на жизнь Елизаветы снова готовится покушение. Уолсингем знает наперечет, знает поименно всех дворян-католиков в Англии, с которыми Морган ведет переговоры и кого он завербовал на сторону Марии Стюарт. Стоит ему взяться — и с помощью дыбы и пытки огнем он может своевременно раскрыть готовящийся заговор.

Однако методы этого рафинированного министра полиции куда изощреннее и глядит он куда дальше. Разумеется, он мог бы уже сейчас задушить заговор мановением руки. Но четвертовать нескольких зарвавшихся дворян или случайных авантюристов — какое это имеет политическое значение! Стоит ли срубить у гидры незатихающей крамолы пять-шесть голов, чтобы назавтра их выросло вдвое больше? *Carthaginem esse delendam** — вот девиз Сесиля и Уолсингема, они хотят «покончить» с самой Марией Стюарт, а поводом для этого должна послужить не наивная попытка освободить узницу, а разветвленный заговор в ее пользу, ставящий себе явно преступные цели. И вместо того, чтобы преждевременно, еще в зародыше раздавить так называемый заговор Бабингтона, Уолсингем прилагает все усилия, чтобы искусственно его укрепить: он убодряет его своей благосклонностью, подкармливает деньгами, поощряет мнимым небрежением. И только благодаря его искусству провокатора дилетантский комплот кучки захолю-

*Карфаген должен быть разрушен (*лат.*).

стных дворян, направленный против Елизаветы, превращается в знаменитый заговор Уолсингема, ставящий себе целью устранение Марии Стюарт.

Но для законного убийства Марии Стюарт с помощью парламентского параграфа надо было соблюсти три условия. Во-первых, добиться от заговорщиков, чтобы они решили убить Елизавету и чтобы это их решение было вполне доказуемо. Во-вторых, подвигнуть их на то, чтобы они прямо и недвусмысленно сообщили его Марии Стюарт. В-третьих — это самое трудное — выманить у Марии Стюарт прямое и недвусмысленное одобрение преступного плана, и притом в письменной форме. Зачем убивать невинную без достаточных улик? Это было бы не к чести Елизаветы. Лучше сделать ее виновной, лучше коварно сунуть ей в руку кинжал, которым она сама пронзит себе сердце.

Комплот английской государственной полиции против Марии Стюарт начинается с подлости: неожиданно меняется к лучшему ее тюремный режим. Уолсингему, конечно, не стоило труда убедить благочестивого пуританина Эмиаса Паулета, что куда целесообразнее вовлечь Марию Стюарт в заговор, чем оберегать ее от возможных соблазнов. Ибо Паулет внезапно меняет тактику в духе плана, придуманного главным штабом английской полиции. В один прекрасный день сей дотоле непреклонный цербер является к Марии Стюарт и самым обстоятельным образом докладывает ей, что из Татбери ее решено перевести в Чартли. Мария Стюарт, не способная проникнуть в интриги своих врагов, не в силах скрыть свою искреннюю радость. Татбери — мрачная крепость, более напоминающая тюрьму, чем замок. Чартли же лежит не только в открытой, живописной местности, но и в ближайшем соседстве — и сердце у Марии Стюарт бьется жарче при этой мысли — с поместьями дворян-католиков, с которыми она дружна и от которых может ждать помощи. Там ей вольнее будет выезжать на охоту и совершать прогулки верхом, там, может быть, удастся ей получить весточку из-за моря и хитростью и

мужеством завоевать то, в чем теперь единственная ее цель, — свободу.

А как-то утром Марию Стюарт ждет необычайный сюрприз. Она глазам своим не верит. Словно по мановению волшебной палочки, распалась темная власть Эмиаса Паулета. Пришло письмо, секретное, шифрованное письмо, первое после всех этих месяцев блокады. Какие же молодцы ее друзья, какие они сообразительные, расторопные, нашли-таки возможность обойти ее неусыпного стража! Она уже и не чаяла такой радости: не быть отрезанной от мира, снова чувствовать дружеский интерес, поддержку и участие, снова узнавать о планах и приготовлениях, которые предпринимаются для ее освобождения! Какой-то тайный инстинкт все же заставляет ее остерегаться, и она отвечает на письмо своего агента Моргана настойчивым предупреждением: «Смотрите не впутайтесь во что-нибудь такое, что Вам могут потом поставить в вину. Вы и без того на подозрении, не усугубляйте же его».

Но ее настороженность рассеивается, когда она узнает, какой ее друзья — на самом деле ее убийцы — изобрели остроумный способ беспрепятственно переправлять ей письма. Еженедельно из окрестной пивоварни доставляется на кухню королевы бочонок пива для слуг; по-видимому, ее друзьям удалось договориться с возницей, чтобы он опускал в наполненный бочонок закупоренную деревянную фляжку. В этот выдолбленный сосуд и прячут секретные письма, предназначенные для королевы. Связь работает безукоризненно, письма приходят и уходят с регулярностью почтовых отправок. Отныне «славный малый» («the honest man»), как явствует из писем, еженедельно доставляет в замок бочонок с драгоценным содержимым, дворецкий Марии Стюарт выуживает флягу, а потом с новым вложением опять опускает в бочку. Бравый возница смеется в кулак, ему эта контрабанда приносит двойной барыш: там его щедро награждают иноземные друзья Марии Стюарт, а здесь дворецкий платит ему за пиво вдвое против обычной цены.

Одного только Мария Стюарт не подозревает, что бравый возница за свои темные услуги предъявляет счет еще и в третьем месте, ибо ему, помимо прочих работодателей, платит и английская полиция. И Эмиас Паулет, разумеется, посвящен во все махинации. Дело в том, что пивную почту изобрели не друзья Марии Стюарт, а некий Гиффорд, шпион Уолсингема, выдавший себя Моргану и французскому посланнику за доверенное лицо Марии Стюарт; у министра полиции, таким образом, огромное преимущество: регулярная крамольная переписка Марии Стюарт осуществляется под наблюдением ее политических врагов. Каждое письмо, адресованное Марии Стюарт или написанное ею, перехватывается Гиффордом, которого Морган считает своим надежнейшим агентом; Томас Фелиппес, секретарь Уолсингема, сразу же расшифровывает письмо, снимает копию и, даже не дав ей просохнуть, тут же запечатывает и отправляет в Лондон. И только после этого письмо со всей поспешностью доставляется Марии Стюарт или во французское посольство, так что ни у кого из адресатов не возникает подозрения, и они продолжают переписываться.

Поистине чудовищная ситуация. Обе стороны радуются, что противник обманут. Мария Стюарт вздохнула полной грудью. Наконец-то она взяла верх над холодным, неприступным пуританином, который позволяет себе рыться в ее белье, кромсать подошвы ее башмаков, который сторожит ее каждый шаг и держит ее на привязи, как преступницу. Знал бы он, думает она с торжеством, что, невзирая на часовых, на все его крепкие затворы и хитрые выдумки, к ней еженедельно из Рима и Мадрида приходят важные письма, что ее агенты трудятся не покладая рук, что ей на выручку готовятся войска, флотилии, кинжалы! Порой она даже не дает себе труда скрыть радость, которая так и брызжет из ее глаз.

Эмиас Паулет иронически отмечает в своих записях, что здоровье и настроение его пленницы заметно улучшилось, с тех пор как душа ее вновь вкусила яд надежды. Да, смеяться пристало больше честному Эмиасу, и нетрудно представить

себе саркастическую улыбку на его холодных устах, когда он еженедельно наблюдает прибытие бравого возницы со свежей партией пива и следит, с каким проворством хлопотун дворецкий скатывает бочонок в темный подвал, чтобы там, вдали от посторонних глаз, выловить драгоценную флягу. Ибо то, что сейчас будет читать Мария Стюарт, давно уже прочитано английскими полицейскими.

В Лондоне Уолсингем и Сесил, посиживая в канцелярских креслах, изучают корреспонденцию Марии Стюарт, которая лежит перед ними в точных копиях. Они убеждаются из этих писем, что Мария Стюарт предлагает завещать Филиппу II Испанскому свои царственные права на шотландскую корону и на английское престолонаследие, если он будет бороться за ее освобождение, — такое письмо, думают они с довольной ухмылкой, не худо будет показать Иакову VI, чтобы не слишком горячился, когда за его матушку возьмутся. Они видят, что Мария Стюарт в письме, адресованном в Париж и писанном ее собственной нетерпеливой рукой, добивается высадки испанских войск. Что ж, и этот документик пригодится на процессе!

Но самого важного, самого необходимого, чего они ждут и без чего никакой суд невозможен, они, увы, в письмах не находят, а именно, что Мария Стюарт изъявляет согласие на готовящееся покушение на жизнь Елизаветы. Вожделенного параграфа она еще не нарушила — для того, чтобы смертоносная машина процесса заработала, все еще не хватает крошечного винтика, каким явился бы «consent» — ясно выраженное согласие Марии Стюарт на убийство Елизаветы. И чтобы добыть этот необходимый винтик, несравненный мастер своего дела Уолсингем, засучив рукава, берется за работу. Так возникает одна из самых невероятных, пусть и документально удостоверенных провокаций в мировой истории — мошеннический трюк Уолсингема, инсценировка, рассчитанная на то, чтобы запутать Марию Стюарт в сфабрикованное полицией преступление, так называемый заговор Бабингтона, на деле — заговор Уолсингема.

План Уолсингема был, по-видимому, мастерский план, за это говорит его успех. Но что в нем омерзительно донельзя и от чего даже сейчас, спустя столетия, нас пробирает дрожь гадливости, — это что Уолсингем для своих жульнических целей воспользовался самым святым человеческим чувством — доверчивостью юных романтических душ. Энтони Бабингтон, которого в Лондоне избрали орудием расправы над Марией Стюарт, достоин нашего восхищения и сочувствия, ибо лишь из самых благородных побуждений пожертвовал он жизнью и честью. Мелкопоместный дворянин из хорошей семьи, человек с достатком, он счастливо жил с женой и ребенком в своем поместье Личфилд близ Чартли — теперь мы понимаем, что заставило Уолсингема избрать замок Чартли для нового местожительства Марии Стюарт. Осведомители давно уже донесли своему шефу, что Бабингтон, ревностный католик, самоотверженный сторонник Марии Стюарт, не однажды помогал тайно переправлять ее письма, — ибо разве не священное право благородной юности проникаться жалостью и участием к трагической судьбе ближнего? Такой чистый сердцем идеалист, блаженный дурачок куда больше устраивает Уолсингема, нежели наемный шпион: ведь королева скорее такому поверит. Она знает: не из корысти этот честный и, может быть, слегка чудаковатый дворянин готов служить ей — и не по сердечной склонности.

Предание, будто Бабингтон еще юным пажом увидел Марию Стюарт в доме графа Шрусбери и в нее влюбился, надо отнести на счет романтического воображения биографов; очевидно, он никогда с Марией Стюарт не встречался и служил ей как бескорыстный рыцарь, как набожный католик, как энтузиаст, восхищенный опасными приключениями женщины, в которой он видел законную английскую королеву. Беззаботно, безрассудно и многословно, как это свойственно экспансивной юности, вербует он союзников среди друзей, и несколько дворян-католиков присоединяются к нему. В этом кругу энтузиастов, собирающихся для пылких бесед, выделя-

ются фанатически настроенный священник Боллард и некий Сэвидж, бесстрашный головорез; в остальном это безобидные, желторотые дворянчики, начитавшиеся Плутарха и смутно грезящие о геройских подвигах.

Однако вскоре среди этих честных мечтателей появляются новые фигуры, куда более решительные, чем Бабингтон и его друзья, по крайней мере они кажутся такими; в первую очередь тот самый Гиффорд, которого Елизавета за его услуги наградит впоследствии ежегодным пенсионом в сто фунтов. Этим молодцам представляется недостаточным освободить королеву-узницу. Очертя голову, с необыкновенной горячностью настаивают они на куда более опасном деянии — на убийстве Елизаветы, на устранении «узурпаторши».

Эти мужественные и безоглядно решительные друзья, конечно же, не кто иные, как полицейские наемники, агенты Уолсингема; бессовестный министр вкрапил их в кружок молодых идеалистов не только чтобы своевременно разузнавать их планы, но прежде всего, чтобы побудить фантазера Бабингтона зайти гораздо дальше, чем тот, в сущности, предполагал. Сам Бабингтон (все документы сходятся на этом) вначале замышлял только смелую вылазку — вместе с друзьями решительным ударом из Личфилда освободить Марию Стюарт из плена, воспользовавшись ее выездом на охоту или на прогулку; меньше всего эти политически экзальтированные, но гуманные по натуре люди помышляли о таком бесчеловечном поступке, как убийство.

Уолсингему, однако, мало похищения Марии Стюарт, оно еще не дает ему основания для приведения в действие нового параграфа. Ему для его темных целей нужно нечто большее — нужен заговор, настоящий заговор цареубийц. И он заставляет своих ловкачей, своих agents provocateurs* бить и бить в одну точку, покуда Бабингтон с друзьями не сдаются на их науськивания: они готовы подумать о столь необходимом Уол-

*Провокаторов (фр.).

сингему убийстве Елизаветы. Испанский посол, тесно связанный с заговорщиками, двенадцатого мая докладывает Филиппу II радостную весть: четыре дворянина-католика из лучших семейств, имеющих доступ ко двору, поклялись на распятии извести государыню ядом или кинжалом. Из чего можно заключить, что agents provocateurs поработали на славу. Наконец-то инсценированный Уолсингемом заговор полностью пущен в ход.

Но этим решена лишь первая часть задачи, которую ставил себе Уолсингем. Удавка укреплена только с одного конца, надо закрепить ее и с другого. Заговор против жизни Елизаветы составлен, но на очереди еще более сложная задача — втянуть в него Марию Стюарт, выманить у пленницы, ничего не знающей о зародившейся вокруг нее интриге, согласие по всей форме, «consent». И Уолсингем снова использует своих ищек. Он отправляет нарочных в Париж к Моргану, генеральному уполномоченному Филиппа II и Марии Стюарт, в постоянно действующий католический конспиративный центр — жаловаться на Бабингтона и компанию, будто бы те недостаточно рьяно берутся за дело. Они-де не спешат с убийством, таких ротозеев и слюнтяев свет не видывал. Не мешало бы пришпорить этих нерадивых и малодушных, подвигнуть их на выполнение священной задачи. Сделать это могла бы только Мария Стюарт, обратившись к ним с воодушевляющим словом. Достаточно Бабингтону увериться, что его высокочтимая королева одобряет убийство, как он от слов перейдет к делу. Для успешного выполнения великого замысла, по уверениям ищек, нужно, чтобы Морган склонил Марию Стюарт написать Бабингтону несколько воспламеняющих слов.

Морган колеблется. Можно подумать, что в минуту внезапного просветления он разгадал игру Уолсингема. Однако ищейки твердят свое: речь будто бы идет лишь о ничего не значащем обращении. Наконец Морган уступает, но, чтобы обезопасить себя от случайностей, он сам набрасывает для Марии Стюарт текст ее письма Бабингтону. И королева, все-

цело доверяющая своему агенту, слово в слово переписывает этот текст.

Итак, необходимая Уолсингему связь между Марией Стюарт и заговорщиками установлена. Некоторое время еще соблюдается осторожность, к которой призывал Морган, — первое письмо Марии Стюарт к юным прозелитам написано с большой теплотой, однако в самой общей и ни к чему не обязывающей форме. Уолсингему, однако, нужна неосторожность, нужны ясные признания и неприкрытое согласие, «соппент», на задуманное убийство. И по его знаку агенты опять берутся за заговорщиков. Гиффорд внушает злосчастному Бабингтону, что, поскольку Мария Стюарт так великодушно им доверилась, его прямой долг — с таким же доверием посвятить ее в свои планы. В столь опасном начинании, как покушение на Елизавету, нельзя действовать без согласия Марии Стюарт: ведь у них есть полная возможность без всякого риска через того же бравого возницу снести с узицей, условиться с ней обо всем и получить указания.

Блаженный дурачок Бабингтон, более отважный, чем расудительный, очертя голову ринулся в эту ловушку. Он отправляет своей *trés chère souvegaaine** пространное послание, где во всех подробностях рассказывает о своих планах. Пусть бедняжка порадуется, пусть узнает наперед, что час ее освобождения близок. С таким доверием, как будто ангелы незримиными путями перенесут его слова Марии Стюарт, и не подозревая, что сыщики и шпионы кровожадно сторожат каждое его слово, излагает несчастный глупец в пространном письме весь план готовящейся операции. Он сообщает, что сам с десятком молодых дворян и сотней подручных предпримет смелый набег на Чартли и увезет ее, а в то же время шестеро дворян, все надежные и верные друзья, преданные делу католицизма, совершат в Лондоне покушение на «узурпаторшу». Написанное с безрассудной прямотой послание говорит о пла-

* Дорогой государыне (фр.).

менной решимости и о полном понимании угрожающей заговорщикам опасности — его нельзя читать без глубокого волнения. Только холодное сердце, только зачерствелая душа могла бы оставить такое признание без ответа и одобрения во имя трусливой осторожности.

Но именно на горячности сердца, на не раз испытанной опрометчивости Марии Стюарт и строит свои расчеты Уолсингем. Если кровавый замысел Бабингтона не вызовет у нее возражений, значит, он у цели, значит, Мария Стюарт избавила его от лишних хлопот: не придется подсылать к ней тайных убийц. Она сама себе надела петлю на шею.

Роковое письмо отослано, шпион Гиффорд срочно доставил его в государственную канцелярию, где его тщательно расшифровали и сняли копию. По-видимому, никем не тронутое, оно затем проделывает свой обычный путь в пивной бочке. Десятого июля оно уже в руках у Марии Стюарт — и с не меньшим, чем она, волнением, два человека в Лондоне ждут, ответит ли она и что ответит, — Сесил и Уолсингем, вдохновители и коноводы этого заговора тайных убийц. Наступил момент наивысшего напряжения, та трепетная секунда, когда рыбка уже дергает за наживку. Проглотит она ее? Или ускользнет? Минута и в самом деле жестокая, а все же: мы можем порицать или, наоборот, хвалить политические методы Сесила и Уолсингема — неважно. Сколь ни гнусны средства, к которым прибегает Сесил, чтобы погубить Марию Стюарт, он государственный деятель и, так или иначе, служит идее: для него устранение заклятого врага протестантизма — насущная политическая необходимость. Что касается Уолсингема, то трудно требовать от министра полиции, чтобы он отказался от шпионажа и придерживался исключительно добропорядочных методов работы.

Ну, а Елизавета? Знает ли та, что всю жизнь, при любом своем решении со страхом оглядывалась на суд потомства, что здесь, за кулисами, сооружена такая адская машина, которая во сто крат коварнее и опаснее всякого эшафота? Совершают

ли ее ближайшие советники свои подлые махинации с ее ведома и одобрения? Какую роль — неизбежный вопрос — играла английская королева в подлом заговоре против своей соперницы?

Ответ напрашивается сам собой: двойную роль. У нас, правда, имеются все доказательства того, что Елизавета была в курсе происков Уолсингема, что с первой же минуты и до самого конца она шаг за шагом, пункт за пунктом терпела, одобряла, а возможно, и поощряла провокаторские махинации Сесила и Уолсингема; никогда суд истории не простит ей, что она видела все это и даже помогла коварно завлечь в ловушку доверенную ей узницу. И все же — приходится снова и снова повторять это — Елизавета не была бы Елизаветой, если бы все ее поступки были однозначны и прямолинейны. Способная на любую ложь, на любое предательство, эта самая примечательная из женщин отнюдь не была лишена совести, и никогда она прямолинейно не чуждалась благородных побуждений. Неизменно в критические минуты находит на нее великодушный стих.

Вот и на сей раз ее мучит совесть, что она прибегает к таким грязным методам, и в то самое время, как ее помощники оплетают Марию Стюарт своими сетями, она делает неожиданный ход в пользу обреченной жертвы. Она призывает к себе французского посланника, который руководит пересылкой писем из Чартли и обратно, не подозревая, что пользуется услугами платных клеветов Уолсингема. «Господин посланник, — заявляет она ему без экивоков. — Вы очень часто сносите с королевой Шотландской. Но, поверьте, я знаю все, что происходит в моем государстве. Я сама была узницей в то время, когда моя сестра уже сидела на троне, и мне хорошо известно, на какие хитрости пускаются узники, чтобы подкупать слуг и входить в тайные сношения с внешним миром». Этими словами Елизавета как бы успокоила свою совесть. Ясно и вразумительно остерегла она французского посла и Марию Стюарт. Она сказала столько, сколько могла сказать, не выдавая своих слуг. И если Мария Стюарт и теперь не

прекратит своих тайных сношений, то она, во всяком случае, может спокойно умыть руки: я остерегала ее еще и в последнюю минуту.

Однако Мария Стюарт не была бы Марией Стюарт, если бы она слушалась добрых советов, если бы она хоть когда-либо действовала осторожно и расчетливо. Правда, получение письма Бабингтона она поначалу подтверждает всего одной строчкой; по словам глубоко разочарованного посланца Сесила, она еще не открыла своего истинного отношения, «her very heart», к плану убийства. Она медлит, колеблется, не смея довериться незнакомым людям, а тут еще ее секретарь Нау настойчиво советует ей воздержаться от письменных сообщений на столь опасную тему. Но этот план так много обещает, этот зов так соблазнителен, что Мария Стюарт не в силах отказаться от своей роковой страсти к дипломатической игре и интригам. «Elles'est laisséeallerá l'accepter»*, — пишет Нау в тревоге. Три дня подряд сидит она, запершись с обоими секретарями, Нау и Керлем, в своем кабинете и подробно, по пунктам отвечает на каждое предложение. Семнадцатого июня, вскоре по получении письма Бабингтона, ее ответ готов и отсылается, как всегда, в пивном бочонке.

Но на сей раз злосчастное письмо далеко не уходит. Оно даже не следует обычным путем в Лондон, в государственную канцелярию, где расшифровывается тайная переписка Марии Стюарт. В своем нетерпении узнать результаты Сесил и Уолсингем откомандировали Фелиппеса, своего шифровальщика, прямехонько в Чартли, чтобы он тут же, на месте, так сказать, по горячим следам, познакомился с ответом. Волею судеб Мария Стюарт, выехав на прогулку в своей коляске, неожиданно встречает этого вестника смерти. Ей сразу же бросается в глаза незнакомец. Но, поскольку этот безобразный, конопатый малый (таким она описывает его в одном письме) с тихой улыбкой ей поклонился — ему, как видно, не удастся скрыть

* Она готова дать согласие (фр.).

свое злорадство, — отуманенной надеждами Марии Стюарт приходит в голову, что человек этот пробрался сюда, чтобы по поручению ее друзей произвести рекогносцировку местности для предстоящего побега.

На самом деле Фелиппес здесь для более зловещей рекогносцировки. Как только письмо вынуто из бочонка, он жадно на него набрасывается. Рыбка поймана, надо поскорее ее выпотрошить. Усердно разбирает он слово за словом. Сначала идут вступительные общие фразы. Мария Стюарт благодарит Бабингтона и, касаясь предполагаемого набега на Чартли, выдвигает три встречных предложения. Собственно, неплохая пожива для шпиона, но не это главное, решающее. И тут сердце Фелиппеса замирает от злобной радости: он дошел до места, где черным по белому стоит «consent» — то самое согласие, за которым Уолсингем охотится и которого домогается уже много месяцев, — согласие Марии Стюарт на убийство Елизаветы. Ибо на сообщение Бабингтона, что шесть молодых дворян берутся заколоть Елизавету в ее дворце, Мария Стюарт спокойно и деловито отвечает указанием: «Пусть тех шестерых дворян пошлют на это дело и позаботятся, чтобы, как только оно будет сделано, меня отсюда вызволили... еще до того, как весть о случившемся дойдет до моего стража».

Больше ничего не требовалось. Этим Мария Стюарт выдала «her very heart» — свое истинное отношение, она одобрила царубийство, и, стало быть, полицейский заговор Уолсингема достиг своей цели. Главари и их подручные, господа и слуги в восторге жмут друг другу грязные руки, которые вскоре обгалятся кровью. «Теперь у Вас довольно ее бумаг», — с торжеством пишет своему хозяину Уолсингему его креатура Фелиппес. Да и Эмиас Паулет в предвидении, что казнь жертвы вскоре освободит его от должности тюремщика, молитвенно воздевает руки. «Бог благословил мои труды, — пишет он, — я радуюсь, что он так наградил мою верную службу».

Теперь, когда райскую птицу загнали в силоч, Уолсингему, казалось бы, нечего мешкать. Его план удался, свое подлое

дельце он обстряпал; но он так уверен в победе, что может себе позволить гнусную радость денек-другой поиграть своими жертвами. Он не препятствует Бабингтону получить письмо Марии Стюарт (кстати, копию с него сняли); не вредно бы, думает Уолсингем, перехватить и ответ, это пополнит мое досье.

А между тем Бабингтон по какому-то признаку догадался, что чей-то недобрый глаз проник в его тайну. Внезапно отчаянный страх овладевает храбрецом, ибо даже у самого мужественного человека сдают нервы, когда он чувствует себя во власти темной, непостижимой силы. Точно затравленная крыса, мечется он туда-сюда. Нанимает лошадь и уезжает в провинцию, намереваясь бежать. Потом вдруг возвращается в Лондон и является — невольно вспоминаешь Достоевского — как раз к тому человеку, который играет его судьбой, к Уолсингему, — необъяснимое и все же вполне объяснимое бегство обезумевшего человека в объятия злейшего врага. Очевидно, он хочет выведать, имеются ли на его счет какие-нибудь подозрения. Холодный, равнодушный министр полиции ничем себя не выдает, спокойно отпускает он беглеца: пусть дурак еще в чем-нибудь попадетсЯ. Однако Бабингтон уже чувствует протянутые к нему в темноте руки. Второпях пишет он другу записку и находит, чтобы придать себе мужества, подлинно героические слова: «Уже готова огненная печь, где нашу веру подвергают испытанию». Одновременно в прощальном письме он успокаивает Марию Стюарт, просит ее не терять мужества.

Но у министра уже довольно улик, и он решительно захлопывает ловушку. Схвачен один из заговорщиков, и Бабингтон, узнав это, понимает, что все потеряно. Он предлагает своему другу Сэвджу последний, безумный шаг — не медля идти во дворец и заколоть Елизавету. Но уже поздно, сыщики Уолсингема преследуют их по пятам, и только благодаря отчаянной решимости беглецам удается ускользнуть в ту самую минуту, когда их пришли арестовать. Бежать, но куда? На

всех дорогах стоят заставы, во всех портах усиленный дозор, а у них ни денег, ни еды. Десять дней прячутся они в роше Сент-Джона — теперь она в сердце Лондона, а в то время была его окраиной, — десять дней ужаса и безысходного отчаяния. Немилосердно терзает их голод; наконец полное изнеможение гонит их к дому друга, и здесь им не отказывают в хлебе — последнем причастии, — но подоспевшие полицейские забирают их и в оковах ведут через весь город. В темном каземате Тауэра дожидаются пыток и приговора отважные юные энтузиасты, а над их головами по всему Лондону уже трезвонят колокола, торжествуя победу. Потешными огнями, пальбой и праздничными шествиями ознаменовывают лондонцы спасение Елизаветы, раскрытие заговора и гибель Марии Стюарт.

А между тем ничего не подозревающая узница замка Чартли после многих лет неизбывной тоски снова познает часы радостного возбуждения. Каждый нерв у нее напряжен. В любую минуту может примчаться всадник с вестью, что тот «desseing effectué»* — не нынче завтра ее, узницу, повезут в Лондон, в величественный замок; ей уже представляется в мечтах, как вся знать и горожане в пышных одеждах ждут ее у городских ворот, как ликующе звонят колокола. (Несчастной и невдомек, что на лондонских колокольнях и в самом деле звонят и гудят колокола, славя спасение Елизаветы.) Еще день-другой — и все будет завершено. Англия и Шотландия объединятся под ее скипетром, и католическая вера будет возвращена всему миру.

Ни один врач не знает такого живительного снадобья для усталого тела, для поникшей души, как надежда. С тех пор как Мария Стюарт, по-прежнему увлекающаяся, по-прежнему легковверная, мнит себя на пороге победы, она совершенно преобразилась. Какая-то новая бодрость, какая-то вторая молодость вдруг вселилась в нее, и та, что последние годы постоянно изнывала от слабости, та, что после получасовой прогул-

*План приведен в исполнение (фр.).

ки жаловалась на колотье в боку, на утомление и ревматические боли, снова с легкостью вскакивает в седло. Сама дивясь этому неожиданному обновлению, она пишет Моргану (в то время как над разговором уже занесена коса): «Благодарение Богу, он еще не слишком меня обездолил, я и сейчас достаточно владею арбалетом, чтобы сразить оленя, и попеваю на коне за гончими».

Поэтому как радостную неожиданность воспринимает она приглашение всегда такого неприветливого Эмиаса Паулета — этот олух-пуританин и не подозревает, думает она, как близок конец его палаческой карьеры, — отправиться восьмого августа на охоту в соседний замок, Тиксолл. Выезжают целой кавалькадой: ее гофмаршал, оба секретаря, ее врач — все сели на коней, а тут и Эмиас Паулет с несколькими офицерами стражи (сегодня он не в пример обычному доступен и общителен) присоединяются к веселой компании. Утро чудесное, теплое и сияющее, поля зеленеют ранними сочными всходами. Мария Стюарт шпорит коня, эта скачка и свист ветра в ушах рождают у нее благодатное ощущение жизни и свободы. Уже много недель, много месяцев не была она так молода, ни разу за все угрюмые годы не чувствовала себя такой веселой и бодрой, как в это чудесное утро. Все кажется ей прекрасным и легким; блажен тот, чье сердце открылено надеждой.

Перед воротами Тиксоллского парка бешеный аллур меняется, лошади переходят на размеренную рысь. И вдруг у Марии Стюарт горячо забилося сердце. Перед калиткой замка ждет большая группа всадников. Неужели — о благодатное утро! — это и в самом деле Бабингтон с товарищами? Неужто тайные обещания письма сбудутся до срока? Но странно: только один из ожидающих всадников отделяется от остальных, медленно и с необычайной торжественностью подъезжает он, снимает шляпу и кланяется: сэр Томас Джордж. И в следующую секунду Мария Стюарт чувствует, как сердце, только что бившееся у самого горла, проваливается куда-то в пустоту. Ибо сэр Томас Джордж сообщает ей в немногих словах, что

заговор Бабингтона открыт и ему поручено арестовать обоих ее секретарей.

Мария Стюарт не в силах ничего ответить. Любое «да», любое «нет», любой вопрос, любая жалоба могут ее выдать. Она еще, пожалуй, не угадывает всей опасности, но страшное подозрение охватывает ее, когда она видит, что Эмиас Паулет отнюдь не собирается везти ее обратно в Чартли. Только теперь понимает она, что означало это приглашение на охоту: ее решили выманить из дому, чтобы беспрепятственно произвести у нее обыск. Конечно же, у нее перерыли и пересмотрели все бумаги, конфисковали всю дипломатическую канцелярию, которой она руководила так открыто, с таким чувством суверенной безопасности, как если бы она все еще была властительницей, а не узницей в чужой стране. А впрочем, у нее будет достаточно, сверхдостаточно времени продумать все свои ошибки и упущения, ибо на семнадцать дней ее задерживают в Тиксолле, где она не может ни написать, ни получить ни единой строчки. Все ее тайны, она это знает, выданы, все надежды растоптаны. Опять она спустилась на ступеньку ниже — она уже не в плену, а на скамье подсудимых.

Мария Стюарт неузнаваема, когда семнадцать дней спустя возвращается в Чартли. Это уже не та женщина, которая с дротиком в руке во главе своих верных мчалась во весь опор на вздыбленном коне; медленно, в молчании, окруженная суровой стражей и врагами, въезжает она в ворота замка, усталая, обескураженная, постаревшая, отринув всякую надежду. Действительно ли она встревожилась, увидев, что все ее сундуки и шкафы вскрыты, а бумаги и письма исчезли без следа? Удивлена ли, что поредевшая кучка слуг встречает ее слезами отчаяния? Нет, она знает: все миновало, все прошло. И вдруг маленький эпизод скрашивает ей первые часы тупой безнадежности. Внизу, в людской, стонет женщина в родовых муках: это супруга Керля, ее преданного секретаря, которого уволокли в Лондон, чтобы он свидетельствовал против своей госпожи на ее погибель. Бедная женщина лежит одна, без

помощи врача и священника. И королева из братского сочувствия женщине и несчастной спешит вниз, чтобы оказать помощь лежащей в муках, и, за отсутствием священника, сама совершает над ребенком обряд крещения, даруя ему первое христианское напутствие при вступлении в мир.

Еще несколько дней проводит Мария Стюарт в ненавистном ей замке, а там приходит распоряжение перевезти ее в другой, где ее ждет еще более надежное, еще более глухое затворничество. Фотерингей зовется тот замок. Из многих замков, где Мария Стюарт побывала как гостья и как узница, в королевском величии и в рабском унижении, этот замок последний. Странствие ее приходит к концу, скоро беспокойная узнает покой.

А между тем эта безысходная трагедия кажется нам лишь благостным страданием по сравнению с жестокими муками, на которые обречены в те дни злосчастные молодые дворяне, положившие жизнь за Марию Стюарт. Но уж так повелось, что мировая история пишется с несправедливых, асоциальных позиций, ибо почти всегда она показывает горести властителей, торжество и падение сильных мира. Равнодушно проходит она мимо тех, кто прозябает во мраке, как будто пытки и истязания не так же терзают одно живое тело, как и другое.

Бабингтон и его девять товарищей — кто вспомнит, кто назовет их имена, меж тем как судьба королевы Шотландской увековечена на бесчисленных подмостках, в книгах и картинах! — испытывают в течение трех часов страшной пытки больше физических страданий, чем Мария Стюарт извела за все двадцать лет своих несчастий. По закону им, правда, полагалась лишь смерть на виселице, но зачинщики заговора считают это недостаточным для тех, кто поддался их науськиваниям. Вкупе с Сесилом и Уолсингемом сама Елизавета решает — еще одно темное пятно на ее совести, — что казнь Бабингтона и его товарищей должна с помощью особенно изощренной пытки превратиться в тысячекратную смерть. Шесте-

рых из этих юных, глубоко верующих энтузиастов — и среди них двух подростков, виноватых лишь в том, что они вынесли своему другу Бабингтону два-три ломтя хлеба, когда он, находясь в бегах, постучался, точно нищий, у их ворот, — сперва для вящей законности вешают на минутку и тут же еще живых вынимают из петли, чтобы вся дьявольская жестокость этого варварского века могла излиться на их трепетную, несказанно страдающую плоть.

С чудовищной методичностью приступают палачи к своей омерзительной работе. И так неспешно, так жестоко кромсают эти мясники тела своих трепетных жертв, что даже у подонков лондонской черни сдают нервы, и власти на другой день вынуждены сократить программу мучительств. Еще раз волны ужаса и крови захлестывают эшафот — а все ради женщины, которой была дана магическая, роковая власть, погибая, вовлекать в свою гибель все новые молодые жизни. Еще раз — но уже в последний! Великая пляска смерти, начавшаяся с Шателера, приходит к концу. Никто больше не явится, чтобы положить жизнь за ее мечту о власти и величии. Она сама теперь падет жертвой.

Г Л А В А X X I

ЕЛИЗАВЕТА ПРОТИВ ЕЛИЗАВЕТЫ

С августа 1586 по февраль 1587 года

Итак, цель достигнута: Марию Стюарт загнали в ловушку, она дала «согласие», она преступила закон. Елизавете, в сущности, не о чем больше хлопотать — за нее решает, за нее действует правосудие. Борьба, растянувшаяся на четверть столетия, пришла к концу. Елизавета победила, она могла бы торжествовать вместе с народом, который с радостными кликами валит по улицам, празднуя избавление своей монархини от смертельной опасности и победу протестантизма. Но неизменно к чаше ликования примешивается таинственная горечь.

Именно теперь, когда Елизавете остается довершить начатое, у нее дрожит рука. В тысячу раз легче было заманивать неосторожную жертву в западню, чем убить ее, вконец запутавшуюся, беспомощную. Пожелай Елизавета насильственно избавиться от неудобной пленницы, ей сотни раз представлялся случай сделать это незаметно. Тому уже пятнадцать лет, как парламент потребовал, чтобы Марии Стюарт топором было сделано последнее внушение, а Джон Нокс на смертном одре заклинал Елизавету: «Если не срубить дерево под самый корень, оно опять пустит ростки, и притом скорее, чем можно предположить». И неизменно она отвечала, что «не может убить птицу, прилетевшую к ней искать защиты от коршуна». Но теперь у нее нет иного выбора, как между помилованием и смертью; постоянно отодвигаемое, но неизбежное решение подступило к ней вплотную. Елизавете страшно, она знает, какими неизмеримо важными последствиями чреват произнесенный ею смертный приговор.

Нам сегодня, пожалуй, невозможно представить себе революционную значимость этого решения, которое должно было потрясти до основания по-прежнему незыблемую в то время иерархию мира. Отправить на эшафот помазанницу Божию значило показать все еще покорствующим народам Европы, что и монарх подлежит суду и казни, развеять миф о неприкосновенности его особы. От решения Елизаветы зависела не столько судьба смертного, сколько судьба идеи. На сотни лет вперед создан здесь прецедент — остережение всем земным царям о том, что венчанная на царство голова уже однажды скатилась с плеч на эшафоте. Казнь Карла I, правнука Стюартов, была бы невозможна без ссылки на этот прецедент, как невозможна была бы участь Людовика XVI и Марии Антуанетты без казни Карла I. Своим ясным взглядом, своим глубоким чувством ответственности в делах человеческих Елизавета угадывает всю бесповоротность своего решения, она колеблется, она трепещет, она уклоняется, она медлит и откладывает со дня на день. Снова — и куда ожесточеннее, чем рань-

ше, — спорят в ней разум и чувство, Елизавета спорит с Елизаветой. А зрелище человека, борющегося со своей совестью, всегда особенно нас потрясает.

Угнетенная этой дилеммой, в разладе с собой, Елизавета пытается в последний раз уклониться от неизбежного. Она уже не раз отталкивала от себя решение, а оно все вновь возвращается к ней в руки. И в этот последний час она опять пытается снять с себя ответственность, взвалить ее на плечи противницы. Она пишет узнице письмо (до нас не дошедшее), где предлагает ей принести чистосердечную повинную, как королева королеве, открыто сознаться в своем участии в заговоре, отдаться на ее личную волю, а не на приговор гласного суда.

Предложение Елизаветы — и в самом деле единственный возможный выход. Только оно могло бы еще избавить Марию Стюарт от унижительного публичного допроса, от судебного приговора и казни. Для Елизаветы же это вернейшая гарантия, какую она могла бы пожелать; заполучив в свои руки признание противницы, написанное ею самой, она могла бы держать неудобную претендентку в своего рода моральном плену. Марии Стюарт оставалось бы только мирно доживать где-нибудь в неизвестности, обезоруженной своим признанием, меж тем как Елизавета пребывала бы в зените и сиянии нерушимой славы. Роли были бы тем самым окончательно распределены, Елизавета и Мария Стюарт стояли бы в истории не рядом и не одна против другой — нет, виновная лежала бы во прахе перед своей милостивицей, спасенная от смерти — перед своей избавительницей.

Но Марии Стюарт уже не нужно спасение. Гордость всегда была ее вернейшей опорой, скорее она преклонит колени перед плахой, чем перед благодетельницей, лучше будет лгать, чем повиноваться, лучше погибнет, чем унижится. И Мария Стюарт гордо молчит на это предложение, которым ее хотят одновременно спасти и унижить. Она знает, что как повелительница она проиграла; только одно на земле еще в ее вла-

сти — доказать неправоту своей противницы Елизаветы. И так как при жизни она уже бессильна ей чем-нибудь досадить, то она хватается за последнюю возможность — представить Елизавету перед всем миром жестокосердной тиранкой, посрамить ее своей славной кончиной.

Мария Стюарт оттолкнула протянутую руку; Елизавета, на которую насаждают Сесил и Уолсингем, вынуждена стать на путь, который, в сущности, ей ненавистен. Чтобы придать предстоящему суду видимость законности, сначала созываются юристы короны, а юристы короны почти всегда выносят решение, угодное предержавшему венценосцу. Усердно ищут они в истории прецеденты — бывали ли когда случаи, чтобы королей судили обычным судом, дабы обвинительный акт не слишком явно противоречил традиции, не представлял собой некоего новшества. С трудом удастся наскрести несколько жалких примеров: тут и Кайетан, незначительный тетрарх времен Цезаря, и столь же мало кому известный Лициний, деверь Константина, и, наконец, Конрадин фон Гогенштауфен, а также Иоанна Неаполитанская — вот и весь перечень князей, которых, по сохранившимся сведениям, когда-либо казнили по приговору суда. В своем низкопоклонническом усердии юристы идут еще дальше: не к чему, говорят они, беспокоить для Марии Стюарт высший дворянский суд; поскольку «преступление» шотландской королевы совершено в Стаффордшире, по их авторитетному суждению, достаточно, чтобы подсудимая предстала перед обычным гражданским жюри графства.

Но судопроизводство на столь демократической основе отнюдь не устраивает Елизавету. Ей важна проформа, она хочет, чтобы внучка Тюдоров и дочь Стюартов была казнена, как подобает особе королевского ранга, со всеми регалиями и почестями, с надлежащей пышностью и помпой, со всем благолепием и благоговением, положенным государыне, а не по приговору каких-то мужланов и лавочников. В гневе напускается она на перестаравшихся судейских: «Поистине хорош

был бы суд для принцессы! Нет, чтобы пресечь подобные нелепые разговоры (как вынесение вердикта королеве двенадцатью горожанами), я считаю нужным передать столь важное дело на рассмотрение достаточного числа знатнейших дворян и судей нашего королевства. Ибо мы, государыни, подвизаемся на подмостках мира, на виду у всего мира». Она требует для Марии Стюарт королевского суда, королевской казни и королевского погребения и сзывает высокий суд из самых прославленных и знатных мужей нации.

Но Мария Стюарт не выказывает ни малейшей склонности явиться на допрос или на суд подданных своей сестры-королевы, хотя бы в их жилах текла самая голубая кровь Англии. «Что такое, — набрасывается она на эмиссара, которого допустила в свою комнату, не сделав, однако, ни шага к нему навстречу. — Или ваша госпожа не знает, что я рождена королевой? Неужто она думает, что я посрамлю свой сан, свое государство, славный род, от коего происхожу, сына, который мне наследует, всех королей и иноземных властителей, чьи права будут унижены в моем лице, согласившись на такое предложение? Нет! Никогда! Пусть горе согнуло меня — сердце у меня не гнется, оно не потерпит унижения».

Но таков закон: ни в счастье, ни в несчастье не меняется существенно характер человека. Мария Стюарт, как всегда, верна своим достоинствам, верна и своим ошибкам. Неизменно в критические минуты она проявляет душевное величие, но слишком беспечна, чтобы сохранить первоначальную твердость и не поддаться упорному нажиму. Как и в Йоркском процессе, она в конце концов под давлением отступает от позиций державного суверенитета и выпускает из рук единственное оружие, которого страшится ее противница. После долгой, упорной борьбы она соглашается дать объяснения посланцам Елизаветы.

Четырнадцатого августа парадный зал в замке Фотерингей являет торжественное зрелище. В глубине зала возвышается тронный балдахин над пышным креслом, которое в течение

всех этих трагических часов должно оставаться пустым. Пустое кресло, немой свидетель, как бы символизирует, что здесь, на этом суде, невидимо председательствует Елизавета, королева Английская, и что приговор будет вынесен сообразно ее воле и от ее имени. Направо и налево от возвышения расселись соответственно своему рангу все многочисленные члены суда; посреди помещения стоит стол для генерального прокурора, следственного судьи, судейских чиновников и писцов.

В зал, опираясь на руку гофмейстера, входит Мария Стюарт, как и всегда в эти годы, одетая во все черное. Войдя, она окидывает взглядом собрание и бросает презрительно: «Столько сведущих законников, и ни одного для меня!» После чего направляется к указанному ей креслу, стоящему шагах в пяти от балдахина, на несколько ступенек ниже пустого кресла. Этой тактической деталью намеренно подчеркнута так называемое *overlordship*, сюзеренное превосходство Англии, неизменно оспариваемое Шотландией. Но и на краю могилы протестует Мария Стюарт против подобного умаления своих прав. «Я королева, — заявляет она так, чтобы все слышали и восчувствовали, — и я была супругой французского короля, и мне надлежит сидеть выше».

Начинается суд. Так же, как в Йорке и Вестминстере, это инсценировка процесса, на которой попираются самые элементарные понятия законности. Снова главных свидетелей — тогда это были слуги Босуэла, теперь Бабингтон с товарищами — с более чем странной поспешностью казнят еще до процесса, и только их письменные показания, исторгнутые пыткой, лежат на судейском столе. И опять-таки, в нарушение процессуального права, даже те документальные улики, которые должны послужить основанием для обвинения, почему-то представлены не в оригиналах, а в копиях. С полным правом набрасывается Мария Стюарт на Уолсингема: «Как могу я быть уверена, что мои письма не подделаны для того, чтобы было основание меня казнить?»

Юридически здесь слабое место обвинения, и будь у Марии

Стюарт защитник, ему ничего бы не стоило опротестовать столь явное попрание ее прав. Но Мария Стюарт борется в одиночку, и, не зная английских законов, незнакомя с материалами обвинения, она роковым образом совершает ту же ошибку, которую в свое время совершила в Йорке и Вестминстере. Она не довольствуется тем, что оспаривает отдельные и вправду сомнительные пункты, нет, она отрицает все en bloc, оспаривает даже самое бесспорное. Сначала она заявляет, будто и не слышала ни о каком Бабингтоне, но уже на следующий день под тяжестью улик вынуждена признать то, что раньше оспаривала. Этим она подрывает свой моральный престиж, и когда в последнюю минуту она возвращается к своему исходному положению, заявляя, что как королева вправе требовать, чтобы верили ее королевскому слову, это уже никого не убеждает. Напрасно она взывает: «Я прибыла в эту страну, доверившись дружбе и слову королевы Английской, и вот, милорды, — сняв с руки перстень, она показывает его судьям, — вот знак благоволения и защиты, полученный мной от вашей королевы».

Однако судьи и не тщатся отстаивать вечное и безусловное право, а лишь свою повелительницу; они хотят мира в своей стране. Приговор давно предрешен, и когда двадцать восьмого октября судьи собираются в вестминстерской Звездной палате, только у одного из них — лорда Зуча — хватает мужества заявить, что его отнюдь не убедили в том, что Мария Стюарт злоумышляла против королевы Английской. Этим он лишает приговор его лучшего украшения — единодушия, но зато все остальные покорно признают вину подсудимой. И тогда садится писец и старательной вязью выводит на клочке пергамента, что «названная Мария Стюарт, притязающая на корону сего, английского государства, неоднократно измышляла сама и одобряла измышленные другими планы, ставящие себе целью извести или убить священную особу нашей владычицы, королевы Английской». Карой же за такое преступление — парламент заранее позаботился об этом — является смерть.

Отправить правосудие и вынести приговор было делом собравшихся дворян. Они признали вину обвиняемой и потребовали ее смерти. Но Елизавете, как королеве, присвоено еще и другое право, возвышающееся над земным, — высокое и священное, человеческое и великодушное право помилования, не смотря на признанную вину. Единственно от ее воли зависит отменить смертный приговор; итак, ненавистное решение снова возвращается к ней, к ней одной. От него не скроешься, не убежишь. Снова Елизавета противостоит Елизавете. И подобно тому, как в античной трагедии справа и слева от терзаемого совестью человека хоры сменяют друг друга в строфе и антистрофе, так в ушах ее звучат голоса, доносящиеся извне и изнутри, призывая одни — к жестокости, другие — к милосердию. Над ними же стоит судья наших земных деяний — история, неизменно хранящая молчание о живых и только по завершении их земного пути взвешивающая перед потомками дела умерших.

Голоса справа, безжалостные и явственные, неизменно твердят: смерть, смерть, смерть. Государственный канцлер, коронный совет, близкие друзья, лорды и горожане, весь народ видят одну только возможность добиться мира в стране и спокойствия для королевы — обезглавить Марию Стюарт. Парламент подает торжественную петицию: «Во имя религии, нами исповедуемой, во имя безопасности священной особы королевы и блага государства всеподданнейше просим скорейшего распоряжения Вашего Величества о том, чтобы огласили приговор, вынесенный королеве Шотландской, а также требуем, поелику это единственное известное нам средство обеспечить безопасность Вашего Величества, справедливой неотложной казни названной королевы».

Елизавете только на руку эти домогательства. Ведь она рвется доказать миру, что не она преследует Марию Стюарт, а что английский народ настаивает на приведении в исполнение смертного приговора. И чем громче, чем слышнее на расстоянии, чем очевиднее поднявшийся гомон, тем для нее луч-

ше. Ей представляется возможность исполнить «на подмостках мира» выигрышную арию добра и человечности, и, как опытная и умелая актриса, она использует эту возможность сполна. С волнением выслушала она красноречивое увещание парламента; смиренно благодарит она Бога, ниспославшего ей спасение; после чего она возвышает голос и, словно обращаясь куда-то в пространство, ко всему миру и к истории, снимает с себя всякую вину в участи, постигшей Марию Стюарт: «Хоть жизнь моя и подверглась жестокой опасности, больше всего, признаюсь, меня огорчило, что особа моего пола, равная мне по сану и рождению, к тому же близкая мне родственница, виновна в столь тяжких преступлениях. И так далека была от меня всякая злоба, что я сразу же, как раскрылись преступные против меня замыслы, тайно ей написала, что, если она доверится мне в письме и принесет чистосердечную повинную, все будет улажено келейно, без шума. Я писала это отнюдь не с тем, чтобы заманить ее в ловушку, — в то время мне было уже известно все, в чем она могла бы предо мной повиниться. Но даже и теперь, когда дело зашло так далеко, я охотно простила бы ее, если бы она принесла полную повинную и никто бы от ее имени не стал больше предъявлять ко мне никаких претензий; от этого зависит не только моя жизнь, но и безопасность и благополучие моего государства. Ибо только ради вас и ради моего народа дорожу я еще жизнью». Открыто признается она, что немало колебаний вселяет в нее страх перед судом истории: «Ведь мы, государи, стоим как бы на подмостках, не защищенные от взглядов и любопытства всего мира. Малейшее пятнышко на нашем одеянии бросается в глаза, малейший изъян в наших делах сразу же заметен, и нам должно особенно пристально следить за тем, чтобы наши поступки всегда были честны и справедливы». Поэтому она просит парламент запастись терпением, если она еще помедлит с ответом, «ибо таков уж мой нрав — долго обдумывать дела даже куда менее важные, прежде чем прийти наконец к окончательному решению».

Честное это заявление или нет? И то и другое вместе; в Елизавете борются два желания: она и рада бы избавиться от своей противницы и в то же время хотела бы предстать перед миром в ореоле великодушия и всепрощения. Спустя двенадцать дней она снова обращается к лорду-канцлеру с запросом, нет ли возможности сохранить жизнь Марии Стюарт и вместе с тем гарантировать ее, Елизаветы, личную безопасность. И снова заверяет коронный совет, заверяет парламент, что иного выхода нет, по-прежнему стоят они на своем. И тогда слово опять берет Елизавета. Какая-то нотка правдивости и внутренней убежденности звучит на этот раз в ее признаниях. Чем-то настоящим, проникновенным веет от ее слов: «Я сегодня в большем затруднении, чем когда-либо, так как не знаю, говорить или молчать. Говорить и жаловаться было бы с моей стороны лицемерием, молчать — значило бы не отдать должного вашему рвению. Вас, разумеется, удивит мое недовольство, но, признаться, я лелеяла надежду, что будет найден какой-то иной выход для того, чтобы обеспечить вашу безопасность и мое благополучие... Поскольку же установлено, что мою безопасность нельзя обеспечить иначе, как ценой ее жизни, мне бесконечно грустно, ибо я, оказавшая милость стольким мятежникам, молчаливо прошедшая мимо стольких предательств, должна выказать жестокость в отношении столь великой государыни...» Чувствуется, что она уже склонна дать себя уговорить, если на нее будут насаждать и дальше. Но с присущими ей умом и двусмысленностью она не связывает себя никакими «да» или «нет», а заключает свою речь следующими словами: «Прошу вас, удовольствуйтесь на сей раз этим ответом без ответа. Я не оспариваю вашего мнения, мне понятны ваши доводы, я только прошу вас: примите мою благодарность, простите мне мои тайные сомнения и не обижайтесь на этот мой ответ без ответа».

Голоса справа прозвучали. Громко и явственно произнесли они: смерть, смерть, смерть. Но и голоса слева, голоса с той стороны, где сердце, становятся все красноречивее. Французский король шлет за море чрезвычайное посольство с увещанием помнить об общих интересах всех королей. Он напоминает Елизавете, что, оберегая неприкосновенность Марии Стюарт, она ограждает и свою неприкосновенность, что высший завет мудрого и благополучного правления в том, чтобы не проливать крови. Он напоминает о священном для каждого народа долге гостеприимства — пусть же Елизавета не погрешит против Господа, подняв руку на его помазанницу. И так как Елизавета с обычным лукавством отделяется полуобещаниями и туманными отговорками, тон иноземных послов становится все резче. То, что раньше было просьбой, перерастает во властное предостережение, в открытую угрозу. Но, умудренная знанием света, понаторевшая за двадцать пять лет правления во всех уловках политики, Елизавета обладает безошибочным слухом. Во всей этой патетической словесности она старается уловить одно: принесли ли послы в складках своей тоги полномочия прервать дипломатические отношения и объявить войну? И очень скоро убеждается, что за громогласными, крикливыми речами не слышно звона железа и что ни Генрих III, ни Филипп II серьезно не намерены обнажить меч, если топор палача снесет голову Марии Стюарт.

Равнодушным пожатием плеч отвечает она на дипломатические громы Франции и Испании. Куда больше искусства, разумеется, нужно, чтобы отвести другие упреки — упреки Шотландии. Кто-кто, а Иаков VI должен бы воспрепятствовать казни королевы Шотландской в чужой стране, это его священная обязанность: ведь кровь, которая прольется, — его собственная кровь, а женщина, которая будет предана смерти, — мать, даровавшая ему жизнь.

Однако сыновняя привязанность занимает не слишком много места в сердце Иакова VI. С тех пор как он стал нахлебником и союзником Елизаветы, мать, отказавшая ему в коро-

левском титуле, торжественно от него отрекшаяся и даже пытавшаяся передать его наследные права чужеземным королям, — эта мать только стоит у него на дороге. Едва услышав о раскрытии Бабингтонова заговора, он спешит поздравить Елизавету, а французскому послу, который докучает ему на любимой охоте требованиями пустить в ход все свое влияние в пользу матери, говорит с досадой: «Заварила кашу, пусть сама теперь расхлебывает» («Qu'il fallait qu'elle but la boisson qu'elle avait brassé»). Со всей прямотой заявляет он, что ему совершенно безразлично, «куда б ее ни засадили и сколько бы ни перевешали ее подлых слуг», ей-де «давно пора на покой, замаливать грехи».

Нет, все это нисколько его не касается; поначалу чуждый сентиментов сынок отказывается даже отправить посольство в Англию. И только по вынесении приговора, оскорбившего национальные чувства шотландцев, когда по всей стране прокатилась волна возмущения, оттого что чужеземка осмелилась посягнуть на жизнь шотландской королевы, Иаков спохватывается, что роль, которую он играет, слишком уж неблагоприятна, что дальше отмалчиваться неприлично и надо хотя бы для проформы что-то предпринять. Разумеется, он не заходит так далеко, как его парламент, требующий в случае казни немедленного денонсирования договора о союзе и даже объявления войны. Но все же садится за конторку, пишет резкие, возмущенные и угрожающие письма Уолсингему и снаряжает в Лондон посольство.

Елизавета, конечно, предвидела этот взрыв. Но она и тут прислушивается больше к полутонам. Депутация Иакова VI делится на две части. Одна, официальная, громко и внятно требует отмены смертного приговора. Она угрожает расторжением союза, она бряцает оружием, и шотландской знати, произносящей эти суровые речи в Лондоне, нельзя отказать в пафосе искренней убежденности. Но им и невдомек, что, пока они громко и грозно разговаривают в приемном зале, другой агент, личный представитель Иакова VI, прокравшись в при-

ватные апартаменты Елизаветы с черного хода, ставит там втихомолку другое требование, куда более близкое сердцу шотландского короля, нежели жизнь его матери, а именно требование признать его преемственные права на английский престол. По словам хорошо информированного французского посланника, тайному посреднику поручено заверить Елизавету, что если Иаков VI так неистово ей угрожает, то это делается лишь для поддержания его чести, а также приличия ради («for his honour and reputation»), и он просит ее не принимать эту демонстрацию в обиду («in ill part»), не рассматривать как недружественную акцию. Для Елизаветы это лишь подтверждение того, что она, разумеется, и раньше знала, а именно, что Иаков VI готов молча проглотить («to digest») казнь своей матери за одно лишь обещание — или полуобещание — английской короны.

И вот за кулисами начинается гнусный торг. Сын Марии Стюарт и ее противница, подсев друг к другу, доверительно шепчутся, впервые найдя общий язык, объединенные общими темными интересами — в душе оба хотят одного и того же, и оба прячут это от света. У обеих Мария Стюарт стоит на дороге, но обоим приходится делать вид, будто самая важная, самая священная, кровная их задача — спасти и оградить бедную узницу. Елизавета отнюдь не борется за жизнь данной ей роком сестры, а Иаков VI не борется за жизнь родившей его; обоим важно лишь соблюсти благопристойность «на подмостках мира». De facto* Иаков VI давно уже прозрачно намекнул, что даже в самом прискорбном случае он никаких претензий предъявлять не станет, и этим заранее отпустил Елизавете казнь своей матери. Еще до того, как чужеземка-противница послала узницу на смерть, сын узницы отдал ее на заклание.

Итак, ни Франция, ни Испания, ни Шотландия — Елизавета окончательно в этом уверилась — не станут вмешиваться, когда она решит подвести черту. И только один человек мог

* Фактически (лат.).

бы, пожалуй, еще спасти Марию Стюарт: сама Мария Стюарт. Попроси она о помиловании, Елизавета, возможно, этим бы удовлетворилась. В душе она только и ждет такого обращения, которое избавило бы ее от укоров совести. Все меры принимаются в эти дни для того, чтобы сломить гордость шотландской королевы.

Едва приговор вынесен, Елизавета посылает узнице полный его текст, а черствый, рассудительный и особенно внушающий омерзение своей въедливой добропорядочностью Эмиас Паулет пользуется этим для того, чтобы оскорбить осужденную на смерть, — для него она уже «бесславный труп» — «*une femme morte sans nulle dignité*». Впервые в ее присутствии забывает он снять шляпу — низкая, подленькая выходка лакея, в котором зрелище чужого несчастья рождает заносчивость, а не смирение; он велит ее челядинцам вынести тронный балдахин с шотландским гербом. Но верные слуги не повинуются тюремщику, а когда Паулет приказывает своим подчиненным сорвать балдахин, Мария Стюарт вешает распятие на том месте, где был укреплен шотландский герб, чтобы показать, что ее охраняет сила более могущественная, нежели Шотландия. На каждое мелкое оскорбление врагов у нее находится величественный жест. «Они угрозами хотят вырвать у меня мольбу о пощаде, — пишет она друзьям, — но я говорю им, что, уж если она обрекла меня смерти, пусть будет верна своей неправде до конца». Если Елизавета убьет ее, тем хуже для Елизаветы! Лучше смертью своей унижить противницу перед судом истории, чем позволить ей надеть маску кротости, увенчаться лаврами великодушия. Вместо того чтобы протестовать против приговора или просить о помиловании, Мария Стюарт с христианской кротостью благодарит творца за его попечение. Елизавете же отвечает с надменностью королевы:

«Madame, я от всего сердца благодарю Создателя за то, что он с помощью Ваших происков соблаговолил избавить меня от тягот томительного странствия, каким стала для меня жизнь. А потому я и не молю Вас продлить ее, достаточно я вкусила

ее горечь. Я только прошу (Вас, а не кого иного, так как знаю, что от Ваших министров, людей, занимающих самые высокие посты в Англии, мне нечего ждать милости) исполнить следующие мои просьбы: прежде всего я прошу, чтобы это тело, когда враги вдосталь упьются моей невинной кровью, было доставлено преданными слугами куда-нибудь на клочок освященной земли и там погребено — лучше всего во Францию, где покоятся останки возлюбленной моей матери, королевы; там это бедное тело, нигде не знавшее покоя, доколе нерасторжимые узы связывали его с душой, освободившись, найдет, наконец, успокоение. Далее, я прошу Ваше Величество ввиду опасений, какие внушает мне неистовство тех, на чей произвол Вы меня отдали, назначить казнь не где-нибудь в укромном месте, но на глазах у моих слуг и других очевидцев, дабы они могли потом свидетельствовать, что я осталась верна истинной церкви, и тем защитить мою кончину, мой последний вздох от лживых наветов, какие стали бы распространять мои недруги. И, наконец, прошу, чтобы слугам, верой и правдой служившим мне среди стольких испытаний и невзгод, было дозволено удалиться куда им вздумается и там беспрепятственно существовать на те крохи, какими сможет вознаградить их моя бедность.

Заклинаю Вас, Madame, памятью Генриха VII, нашего общего предка, а также королевским титулом, который я сохраняю и в смерти, не оставить втуне эти справедливые пожелания и поручиться мне в том Вашим собственноручно написанным словом. Ваша неизменно расположенная к Вам сестра и пленница Мария, королева».

Мы видим: сколь это ни странно и невероятно, в последние дни затянувшейся на десятилетия борьбы роли переменялись: с тех пор как Марии Стюарт вручен смертный приговор, в ней чувствуется новая уверенность и сила. Сердце ее не так трепещет, когда она читает свой смертный приговор, как трепещет рука у Елизаветы, когда ей предлагают этот приговор

подписать. Мария Стюарт не так страшится умереть, как Елизавета убить ее.

Быть может, она уверена в душе, что у Елизаветы не хватит мужества приказать палачу поднять руку на венчанную королеву, а быть может, это спокойствие — лишь маска; но даже такой пронырливый наблюдатель, как Эмиас Паулет, не улавливает в ней ни тени тревоги. Она ни о чем не спрашивает, ни на что не жалуется, не просит у стражей ни малейших поблажек. Не пытается она и вступить в тайные сношения с чужеземными друзьями; ее сопротивление, ее самозащита и самоутверждение кончились; сознательно препоручает она свою волю судьбе, творцу: пусть он решает.

Теперь она занята серьезными приготовлениями. Она составляет духовную и все свое земное достояние заранее раздает слугам; пишет королям и князьям мира, но уже не с тем, чтобы подвигнуть их на посылку армий и снаряжение войн, а дабы уверить, что она готова неколебимо принять смерть, умереть в католической вере и за католическую веру. Наконец-то на это беспокойное сердце сошел великий покой: страх и надежда, эти, по словам Гете, «злейшие враги рода человеческого», уже не властны над окрепшей душой. Так же как ее сестра по несчастью Мария Антуанетта, лишь перед лицом смерти осознает она свою истинную задачу. Понимание своей ответственности перед историей блистательно перевешивает в ней обычную беспечность; не мысль о помиловании поддерживает ее, а некое окрыляющее стремление, надежда, что последняя минута станет ее торжеством. Она знает, что только драматизм геройской кончины может искупить в глазах мира ее трагическую вину и что в этой жизни у нее осталась одна только возможная победа — достойная смерть.

И как антитеза уверенному, возвышенному спокойствию осужденной узницы замка Фотерингей — неуверенность, бешеная нервозность и гневная растерянность Елизаветы в Лондоне. Мария Стюарт уже решилась, а Елизавета только борется за решение. Никогда еще соперница не причиняла ей таких

страданий, как теперь, когда она всецело у нее в руках. В эти недели Елизавета теряет сон, целыми днями хранит она угрюмое молчание; чувствуется, что ее гвоздит неотступная, ненавистная мысль — подписать ли смертный приговор, приказать ли, чтобы его привели в исполнение?

Она бьется над этим вопросом, как Сизиф над своим камнем, а он снова всей тяжестью скатывается ей на грудь. Напрасно уговаривают ее министры — голос совести сильнее. Она отвергает все их предложения и требует новых. Сесил находит, что она «изменчива, как погода»: то хочет казни, то помилования, постоянно добивается от своих советников «какого-нибудь другого выхода», хоть и знает, что другого нет и быть не может. Ах, если бы все было совершенно помимо нее, само собой, без ее ведома, без ясно отданного приказа — не ею, а для нее! Все неудержимее гнетет ее страх перед ответственностью, неустанно взвешивает она плюсы и минусы столь неслыханного деяния и, к огорчению своих министров, откладывает решение со дня на день, прячась за двусмысленными, злобными, раздраженными и неясными отговорками, отодвигая его куда-то в неопределенность. «With weariness to talk, her Majesty left off all till a time I know not when»*, — жалуется Сесил, чей холодный, расчетливый ум не в силах понять эту потрясенную душу. Ибо, хоть Елизавета и приставила к Марии Стюарт жестокого тюремщика, сама она день и ночь во власти еще более неподкупного и жестокого стража — своей совести.

Три месяца, четыре месяца, пять месяцев, чуть ли не полгода тянется негласный спор Елизаветы с Елизаветой о том, чего слушаться — голоса разума или голоса человечности. При таком перенапряжении нервов естественно, что разрядка приходит внезапно, с неожиданностью взрыва.

В среду 1 февраля 1587 года второго государственного сек-

* Устав от этого разговора, Ее Величество отложила вопрос на неопределенное время (англ.).

ретаря Девисона (Уолсингем то ли заболел, то ли сказался больным) отыскивает в Гринвичском парке адмирал Хоуард и приказывает ему не медля идти к королеве, отнести ей на подпись смертный приговор Марии Стюарт. Девисон достает собственноручно заготовленную Сесилом бумагу и вместе с другими бумагами несет на подпись королеве. Но странно, великой актрисе Елизавете, видимо, уже опять не к спеху. Она притворяется безразличной, она болтает с Девисоном о посторонних предметах, она выглядывает в окно, любуясь ослепительным зимним пейзажем. И только потом, будто невзначай, спрашивает Девисона — неужто она уже не помнит, для чего велела ему явиться? — с чем он, собственно, к ней пришел. Девисон говорит, что принес на подпись бумаги, между прочим, и ту, про которую ему особо наказывал лорд Хоуард. Елизавета берет бумаги, но, Боже упаси, в них не заглядывает. Быстро подписывает она одну за другой — разумеется, и приговор Марии Стюарт. Должно быть, она намеревалась сделать вид, будто среди прочих бумаг невзначай подмахнула и ту, смертоносную.

Но тут настроение у этой непостоянной, как погода, женщины меняется, и уже в следующую минуту видно, что все предыдущее было чистейшим кривлянием, игрой: без всяких околичностей признается она Девисону, что лишь для того так долго оттягивала решение, чтобы все видели, с каким трудом оно ей дается. Ну, а теперь пусть отнесет подписанный приговор канцлеру и там скрепит большой государственной печатью — но только ни с кем ни слова лишнего, — после чего пусть вручит приказ лицу, назначенному для его исполнения. Поручение настолько ясное, что у Девисона нет ни малейшего основания усомниться в твердых намерениях его королевы. Видно, что Елизавета уже свыклась с неприятной мыслью, так обстоятельно и хладнокровно входит она во все детали. Казнь лучше назначить в большом зале Фотерингейского замка. Ни парадный двор, ни внутренний дворик для этого не подойдут. Она снова и снова напоминает Девисону, что приказ надо

держат в секрете. Когда после долгих колебаний человек, наконец, принимает решение, у него становится легче на душе. Так и у Елизаветы обретенная уверенность заметно поднимает настроение. Она явно повеселела и даже изволит шутить, говоря, что боится, как бы эта грустная весть не прикончила беднягу Уолсингема.

Девисон считает — да и всякий счел бы на его месте, — что вопрос исчерпан. Он откланивается и ретируется к двери. Но Елизавета ни на что не способна решиться и ничего не может довести до конца. Только Девисон дошел до порога, как она зовет его обратно; от ее веселого настроения, от настоящей или наигранной решимости не осталось и следа. Беспokoйно мерит она шагами комнату. Нет ли все же какого-нибудь другого выхода? Ведь члены Ассоциации (members of the Association) поклялись предать смерти всякого, кто так или иначе примет участие в готовящемся на нее покушении. О чем же думает в Фотерингее этот болван Эмиас Паулет и его помощник, ведь они тоже члены Ассоциации, разве не прямая их обязанность — взять все на себя и тем избавить ее, королеву, от марающей ее публичной казни? Пусть Уолсингем на всякий случай напишет этой паре и вразумит ее.

Бедняге Девисону становится не по себе. Безошибочное чутье подсказывает ему, что королева, едва сделав дело, спешит от него отмежеваться. Он уже, конечно, сожалеет, что такой важный разговор происходит без свидетелей. Но поделаться ничего не может. Ему дано ясное поручение. Поэтому он прежде всего идет в государственную канцелярию и просит скрепить приговор печатью, а затем направляется к Уолсингему, который тут же составляет на имя Эмиаса Паулета письмо в духе высказанных Елизаветой пожеланий. Королева, пишет Уолсингем, к сожалению, усматривает в службе своего испытанного слуги прискорбный недостаток рвения: ввиду угрожающей ее величеству опасности со стороны Марии Стюарт ему следовало бы давно подумать, как бы «самому и без нарочитых приказаний», своими средствами устранить узницу. Он

может с чистой совестью взять это на себя, ведь он дал клятву Ассоциации, а этим он снимет с королевы тяжелое бремя, ведь всем известно, как ей неприятно проливать кровь.

Письмо вряд ли успело добраться по назначению и, уж конечно, на него еще не поступало ответа, как в Гринвиче снова переменился ветер. На следующее утро, в четверг, посланец королевы приносит Девисону записку: если он еще не передал приговор канцлеру для скрепления печатью, пусть покамест воздержится до личной с ней беседы. Девисон со всех ног бросается к королеве и поясняет, что вчера тут же выполнил ее поручение и что смертный приговор скреплен печатью. Елизавета, по-видимому, недовольна. Но она молчит и не упрекает Девисона. А главное, двоедушная ни словом не заикается о том, что хотела бы вернуть злосчастный документ с печатью. Она только жалуется Девисону, что это бремя снова и снова валится ей на плечи. Беспokoйно шагает она из угла в угол. Девисон ждет и ждет какого-то решения, приказа, ясно-го и недвусмысленного пожелания. Но Елизавета внезапно покидает комнату, так ни о чем и не распорядившись.

И снова перед нами сцена шекспировского звучания, только Елизавета разыгрывает ее на глазах у одного-единственного зрителя; снова вспоминаем мы Ричарда III, как он жалуется Букингеми, что противник еще жив, и вместе с тем воздерживается от членораздельного приказа убить его. Тот же обиженный взгляд, что и у Ричарда III, недовольного тем, что его вассал и понимает и не хочет его понять, испепеляет злосчастного Девисона. Бедный писец чувствует, что почва под ним колеблется, и судорожно хватается за других: только бы одному не отвечать в этом деле всемирно-исторической важности. Он бросается к Хэтону, фавориту королевы, и рисует ему свое отчаянное положение: Елизавета повелела дать приговору законный ход, но видно по всему, что она потом отречется от своего двусмысленно отданного распоряжения. Хэтон слишком хорошо знает Елизавету, чтобы не разгадать ее двойную

игру, но и он не склонен ответить Девисону ясным «да» или «нет».

Все они, словно перебрасывая друг другу мяч, стараются свалить с себя ответственность: Елизавета — на Девисона, Девисон — на Хэтона, Хэтон, в свою очередь, спешит информировать государственного канцлера Сесила. Но и тот не хочет взять все на себя и созывает на следующий день нечто вроде тайного государственного совета. Приглашены только ближайšie друзья и доверенные советники королевы — Лестер, Хэтон и семеро других дворян; каждый из них по личному опыту знает, что на Елизавету нельзя положиться. Впервые вопрос здесь ставится с полной ясностью: все они согласны в том, что Елизавета, спасая свой моральный престиж, намерена остаться в стороне, чтобы обеспечить себе «алиби»; она хочет представить дело так, будто сообщение о свершившейся казни «застигло ее врасплох». И, стало быть, на обязанности ее верных — подыгрывать ей в этой комедии и словно бы против ее воли привести в исполнение то, чего она, в сущности, добивается. Само собой разумеется, такое кажущееся, а втайне призываемое ею превышение власти чревато величайшей ответственностью, а потому вся тяжесть подлинного или притворного гнева Елизаветы не должна пасть на кого-нибудь одного. Сесил и предлагает, чтобы все они сообща распорядились о казни о взяли на себя сообща всю ответственность. Лорду Кенту и лорду Шрусбери поручается проследить за исполнением приговора, а секретарь Бийл откомандировывается в Фотерингей с соответствующими полномочиями. Таким образом, мнимая вина раскладывается на десятерых членов государственного совета, который своим мнимым «превышением власти» наконец-то снимет «бремя» с плеч королевы.

Обычно Елизавета до крайности любопытна, это едва ли не основная ее черта. Вечно ей нужно знать — и притом немедленно — все, что происходит в орбите ее замка да и во всем королевстве. Но не странно ли: на сей раз ни у кого другого не спрашивает она, как обстоит дело с подписанным ею смерт-

ным приговором. В течение трех дней она ни разу не вспомнила об этом немаловажном обстоятельстве, оно как бы улетучилось из ее памяти, хотя уже многие месяцы она только им и занята. Кажется, будто она испила вод Леты, так бесследно выпало это дело из ее памяти. И даже на другое утро, в воскресенье, когда ей передают ответ Эмиаса Паулета на письмо Уолсингема, она не вспоминает о подписанном приговоре.

Ответ Эмиаса Паулета не слишком радует королеву. Верный страж сразу же раскусил, что за неблагодарную роль ему готовят. Он почувствовал, какая награда его ждет, если он возьмется устранить Марию Стюарт: королева публично объявит его убийцей и предаст суду. Нет, Эмиас Паулет не полагается на благодарность дома Тюдоров и не хочет быть козлом отпущения. Но, не осмеливаясь прямо послушаться своей королевы, умный пуританин предпочитает спрятаться за более высокую инстанцию — за Бога. Свой отказ он облакает в тогу напыщенной морали. «Сердце мое преисполнено горечи, — отвечает он с пафосом, — ибо, к великому моему сокрушению, я увидел день, когда мне, по желанию моей доброй повелительницы, предлагают свершить деяние, противное Богу и закону. Все мое земное достояние, моя служба и жизнь в руках Ее Величества, и я готов завтра же от них отказаться, если на то будет ее воля, так как обязан всем только ее доброте и снисхождению. Но сохрани меня Бог пасть так низко, покрыть несмываемым позором весь мой род, согласившись пролить кровь без благословения закона и официального приказа. Надеюсь, что Ваше Величество в своей неизменной милости примете мой всеподданнейший ответ с дружеским расположением».

Но Елизавета отнюдь не склонна принять с дружеским расположением ответ своего Эмиаса, которого еще недавно превозносила за его «неослабное усердие и безошибочные действия»; в гневе меряет она шагами комнату и ругательски ругает этих «чистоплюев, этих брезгливых недотрог» («dainty and precise fellows»); все они много обещают и ничего не делают. Паулет, негодует она, нарушил присягу; он подписал «Act

of Association», клялся послужить королеве, хотя бы и ценой своей жизни. Да мало ли есть людей, которые что угодно для нее сделают, некий Уингфилд, например! В подлинном или притворном гневе напускается она на беднягу Девисона — Уолсингем, хитрец такой, избрал лучшую участь, он сказался больным, — а тот, чудак, еще советует ей держаться законного пути. Люди поумнее его, отчитывает Девисона королева, думают иначе. С этим делом надо было давно кончить, позор для них для всех, что они тянут.

Девисон молчит. Он мог бы похвалиться, что делу уже давно дан ход. Но он чувствует, что только досадит королеве, если честно ей расскажет то, что она, по-видимому, сама знает, но о чем бесчестно умалчивает, а именно, что гонец со смертным приговором, скрепленным большой печатью, выехал в Фотерингей, а вместе с ним — некий приземистый, коренастый малый, которому предстоит обратиться к слову в дело, приказ — в кровь: палач города Лондона.

Г Л А В А Х Х I I I

«В МОЕМ КОНЦЕ МОЕ НАЧАЛО»

8 февраля 1587 года

«En ma fin est mon commencement» — когда-то Мария Стюарт вышила это еще не ясное ей в ту пору изречение на парчовом покрове. Теперь ее смутное предчувствие сбывается. Только трагическая смерть кладет истинное начало ее славе, только эта смерть в глазах будущих поколений искупит вину ее молодости, преобразит ее ошибки. Уже много недель, как твердо и обдуманно готовится осужденная к величайшему своему испытанию. Совсем еще юной королевой пришлось ей дважды видеть, как дворянин умирает под топором палача; рано поняла она, что ужас этого непоправимо бесчеловечного акта может быть преодолен лишь стоическим самообладанием. Весь мир и последующие поколения — Мария Стюарт это знает — будут взыскательно судить ее выдержку и осанку,

когда, первая из венчаных королей, она склонит голову на плаху; малейшая дрожь, малейшее колебание, предательская бледность были бы в столь решительную минуту изменой ее королевскому достоинству. Так в эти недели ожидания собирается она в тиши с душевными силами. Ни к чему в своей жизни эта горячая, неукротимая женщина не готовилась так обдуманно, так спокойно, как к своему смертному часу.

Вот отчего никто не заметил бы в ней ни тени удивления или испуга, когда во вторник седьмого февраля слуги докладывают ей о прибытии лордов Шрусбери и Кента вместе с несколькими членами магистрата. Предусмотрительно сзывает она своих ближних женщин, а также большую часть челядинцев. Только окружив себя верными слугами, принимает она это посольство. Она поминутно хочет иметь их рядом — пусть когда-нибудь поведают миру, что дочь Иакова V, дочь Марии Лотарингской, та, в чьих жилах течет кровь Стюартов и Тюдоров, нашла в себе силы мужественно и непреклонно вынести и самые тяжкие испытания. Шрусбери, под чьим кровом она провела без малого двадцать лет, склоняет перед ней седую голову. Голос его чуть дрожит, когда он объявляет, что Елизавете пришлось, вняв настойчивым требованиям своих подданных, повелеть привести приговор в исполнение. Мария Стюарт словно и не удивлена недоброй вестью; без малейших признаков волнения, зная, что каждый ее жест будет внесен в книгу истории, выслушивает она приговор, спокойно осеняет себя крестным знамением и говорит: «Хвала Господу за это известие, что вы мне приносите. Для меня нет вести более утешительной, ибо она сулит мне конец земных страданий и милость Господа, сподобившего меня умереть во славу его имени и его возлюбленной римско-католической церкви».

Ни единым словом не оспаривает она приговор. Она уже не хочет как королева бороться с несправедливостью, причиненной ей другой королевой, а лишь как христианка — возложить на себя свой крест; а быть может, в своем мученичестве она возлюбила последнее торжество, еще оставшееся ей в этой

жизни. Только две просьбы есть у нее: чтобы духовник напутствовал ее своим благословением и чтобы казнь не пришлось уже на следующее утро: ей хочется как следует обдумать свои последние распоряжения. Обе просьбы отвергнуты. Ей не нужен пастырь ложной веры, отвечает граф Кент, фанатичный протестант, зато он охотно пришлет ей священника реформатской церкви, чтобы тот наставил ее в истинной религии. Конечно, Мария Стюарт отказывается в этот великий час, когда она перед всем католическим миром намерена смертью своей постоять за свое исповедание, выслушивать от священника-еретика его рацеи насчет истинной веры. Менее жесток, чем это бестактное предложение обреченной жертве, отказ отсрочить ее казнь. Поскольку ей дается одна лишь ночь для всех приготовлений, немногие отпущенные ей часы так уплотнены, что страху и тревоге не остается места. Всегда — и в этом дар Бога человеку — умирающему тесно с временем.

Рассудительно и вдумчиво, качества, которых ей до сих пор — увы! — так недоставало, распределяет Мария Стюарт свои последние часы. Великая государыня, она и умереть хочет с истинным величием. Призвав на помощь свой безошибочный вкус, свою наследственную артистичность, свое врожденное мужество, не изменяющее ей и в самые опасные минуты, готовит Мария Стюарт свой уход — словно праздник, словно торжество, словно величественную церемонию. Ничего не оставляет она на волю случая, минуты, настроения — все проверяется на эффект, все оформляется по-королевски пышно и импозантно. Каждая деталь точно и обдуманно вписана, подобно волнующей или благоговейной строфе, в эпопею мученической кончины.

Несколько раньше обычного, чтобы спокойно написать необходимые письма и собраться с мыслями, приказывает она подать ужин и символически придает ему характер последней вечери. Откушав, она собирает вокруг себя домочадцев и просит налить ей вина. С глубокой серьезностью, но с просветленным челом поднимает она полную чашу над слугами, павши-

ми перед ней на колени. Она выпивает ее за их благополучие, а потом обращается к ним с речью, увещая хранить верность католической религии и жить между собой в мире. У каждого просит она — и это звучит как сцена из *vita sanctorum** — прощения за все обиды, которые вольно или невольно ему причинила. И лишь после этого дарит каждому любовно выбранный для него подарок — кольца и драгоценные камни, золотые цепи и кружева, изысканные вещицы, когда-то красившие и разнообразившие ее уходящую жизнь. На коленях, кто молча, кто плача, принимают они дары, и королева невольно растрогана горестной любовью своих слуг.

Наконец она поднимается и переходит в свою комнату, где на письменном столе уже горят восковые свечи. Ей еще много надо сделать с вечера до утра: перечитать духовную, распорядиться насчет приготовлений к завтрашнему трудному шествию и написать последние письма. В первом, наиболее проникновенном письме она просит своего духовника не спать эту ночь и молиться за нее; хоть он и находится за два-три покая в этом же замке, граф Кент — так безжалостен фанатизм — настрого запретил утешителю оставлять свою комнату, чтобы не дал он осужденной последнего «папистского» причастия. Затем королева пишет своим родичам — Генриху III и герцогу де Гизу; в этот последний час на душе у нее лежит забота, особенно делающая ей честь: с прекращением ее вдовьей пенсии домочадцы ее останутся без средств к существованию. И она просит короля Франции взять на себя обязательство выплатить все по ее завещанию и приказать служить обедни «за всехристианнейшую королеву, что идет на смерть, верная католической церкви и лишенная всякого земного достоинства». Филиппу II и папе она уже написала раньше. И лишь одной властительнице этого мира остается ей написать — Елизавете. Но ни единым словом не обратится к ней Мария Стюарт. Ей больше нечего у нее просить и не за что благодарить ее. Только

* Житий святых (лат.).

гордым молчанием может она еще устыдить своего старинного недруга, а также величием своей смерти.

Поздно за полночь ложится Мария Стюарт. Все, что ей должно было сделать в жизни, она сделала. Всего лишь несколько часов дозволено еще душе погостить в истомленном теле. Служанки на коленях забились в угол и молятся недвижимыми губами: они не хотят беспокоить спящую. Но Мария Стюарт не спит. Широко открытыми глазами смотрит она в великую ночь; только усталым членам дает она покой, чтобы с бестрепетным сердцем и сильной душой предстать наутро перед всемогущей смертью.

На многие торжества одевалась Мария Стюарт — на коронации и крестины, на свадьбы и рыцарские игрища, на прогулки, на войну и охоту, на приемы, балы и турниры, повсюду являясь в роскошных одеждах, зная, какой властью обладает на земле красота. Но никогда еще ни по какому поводу не одевалась она так обдуманно, как для величайшего часа своей судьбы — для смерти. Уже за много дней и недель продумала она, должно быть, достойный ритуал своей кончины, тщательно взвесив каждую деталь. Платье за платьем перебрала она, верно, весь свой гардероб в поисках наиболее достойного наряда для столь небывалого случая; можно подумать, что и как женщина в последней вспышке кокетства хотела она оставить на все времена пример того, каким венцом совершенства должна быть королева, идущая навстречу казни.

Два часа, с шести до восьми, одевают ее прислужницы. Не как бедная грешница в убогих лохмотьях хочет она взойти на плаху. Великолепный, праздничный наряд выбирает она для своего последнего выхода, самое строгое и изысканное платье из темно-коричневого бархата, отделанное куньим мехом, со стоячим белым воротником и пышно ниспадающими рукавами. Черный шелковый плащ обрамляет это гордое великолепие, а тяжелый шлейф так длинен, что Мелвил, ее гофмейстер, должен почтительно его поддерживать. Снежно-белое

вдовье покрывало овеивает ее с головы до ног. Омофоры* искусной работы и драгоценные четки заменяют ей светские украшения, белые сафьяновые башмачки ступают так неслышно, что звук ее шагов не нарушит бездыханную тишину в тот миг, когда она направится к эшафоту. Королева сама вынула из заветного ларя носовой платок, которым ей завяжут глаза, — прозрачное облачко тончайшего батиста, отделанное золотой каемкой, должно быть, ее собственной работы.

Каждая пряжка на ее платье выбрана с величайшим смыслом, каждая мелочь настроена на общее музыкальное звучание; предусмотрено и то, что ей придется на глазах у чужих мужчин скинуть перед плахой это темное великолепие. В предвидении последней кровавой минуты Мария Стюарт надела исподнее платье пунцового шелка и приказала изготовить длинные, за локоть, огненного цвета перчатки, чтобы кровь, брызнувшая из-под топора, не так резко выделялась на ее одеянии. Никогда еще осужденная на смерть узница не готовилась к казни с таким изощренным искусством и сознанием своего величия.

В восемь утра стучатся в дверь. Мария Стюарт не отвечает, она все еще стоит, преклонив колена, перед аналоем и читает отходную. Только кончив, поднимается она с колен, и на вторичный стук дверь открывают. Входит шериф с белым жезлом в руке — скоро его преломят — и говорит почтительно, с глубоким поклоном: «Madame, меня послали лорды, вас ждут». «Псйдемте», — говорит Мария Стюарт и готовится к выходу.

И вот начинается последнее шествие. Поддерживаемая справа и слева слугами, идет она, с натугой передвигая ревматические ноги. Втройне оградила она себя оружием веры от приступов внезапного страха: на шее у нее золотой крест, с пояса свисает связка отделанных дорогими камнями четок,

*Омофоры — часть архиерейского облачения. — *Примеч. ред.*

в руке меч благочестивых — распятие слоновой кости: пусть увидит мир, как умирает королева в католической вере и за католическую веру. Да забудет он, сколько прегрешений и безрассудств отягчают ее юность и что как соучастница предумышленного убийства предстанет она перед палачом. На все времена хочет она показать, что терпит муки за дело католицизма, обреченная жертва своих недругов-еретиков.

Не дальше чем до порога — как задумано и условлено — провожают и поддерживают ее преданные слуги. Ибо и виду не должно быть подано, будто они соучастники постыдного деяния, будто сами они ведут свою госпожу на эшафот. Лишь в ее покоях готовы они ей прислуживать, но не как подручные палача в час ее страшной смерти. От двери до подножия лестницы ее сопровождают двое подчиненных Эмиаса Паулета; только ее злейшие противники могут, как пособники величайшего преступления, повести венчанную королеву на эшафот. Внизу, у последней ступеньки, перед входом в большой зал, где состоится казнь, ждет коленопреклоненный Эндру Мелвил, ее гофмейстер; шотландский дворянин, он должен будет сообщить Иакову VI о свершившейся казни. Королева подняла его с колен и обняла. Ее радует присутствие этого верного свидетеля, оно укрепит в ней душевное спокойствие, которое она поклялась сохранить. И на слова Мелвила: «Мне выпала самая тяжкая в моей жизни обязанность сообщить о кончине моей августейшей госпожи» — она отвечает: «Напротив, радуйся, что конец моих испытаний близок. Только сообщи, что я умерла верная своей религии, истинной католичкой, истинной дочерью Шотландии, истинной дочерью королей. Да простит Бог тех, кто пожелал моей смерти. И скажи моему сыну, что никогда я не сделала ничего, что могло бы повредить ему, никогда ни в чем не поступилась нашими державными правами».

Сказав это, она обратилась к графам Шрусбери и Кенту с просьбой разрешить также ее ближним женщинам присутствовать при казни. Граф Кент возражает: женщины своими

воплями и плачем нарушат благочиние в зале и вызовут недовольство, ведь им непременно захочется омочить платки в крови королевы. Но Мария Стюарт твердо отстаивает свою последнюю волю. «Словом моим ручаюсь, — говорит она, — что они этого делать не станут. Я не мыслю, чтобы ваша госпожа отказала своей равной в том, чтобы ее женщины прислуживали ей до последней минуты. Не верю, чтобы она отдала подобное жестокое приказание. Даже будь я не столь высокого сана, она исполнила бы мою просьбу, а ведь я к тому же ее ближайшая родственница, внучка Генриха VII, вдовствующая королева Франции, венчанная на царство королева Шотландии».

Оба графа совещаются; наконец ей разрешают взять с собой четырех слуг и двух женщин. Мария Стюарт удовлетворяется этим. Сопровождаемая своими избранными и верными, а также Эндру Мелвиллом, несущим за ней шлейф, в предшествовании шерифа, Шрусбери и Кента входит она в парадный зал Фотерингейского замка.

Здесь всю ночь стучали топорами. Из помещения вынесены столы и стулья. В глубине его воздвигнут помост, покрытый черной холстиной, наподобие катафалка. Перед обитой черным колодой уже поставлена скамеечка с черной же подушкой, на нее королева преклонит колена, чтобы принять смертельный удар. Справа и слева почетные кресла дожидаются графов Шрусбери и Кента, уполномоченных Елизаветы, в то время как у стены, словно два бронзовых изваяния, застыли одетые в черный бархат и скрывшиеся под черными масками две безликие фигуры — палач и его подручный. На эту величественную в своей страшной простоте сцену могут взойти только жертва и ее палачи; зрители теснятся в глубине зала. Охраняемый Паулетом и его солдатами, там воздвигнут барьер, за которым сгрудилось человек двести дворян, сбжавшихся со всей округи, чтобы увидеть столь неслыханное, небывалое зрелище — казнь венценосной королевы. А перед запертыми дверями замка сотнями и сотнями голов чернеют толпы простого люда, привлеченного этой вестью: им вход запрещен.

Только дворянской крови дозволено видеть, как проливают королевскую кровь.

Спокойно входит Мария Стюарт в зал. Королева с первого своего дыхания, она еще ребенком научилась держаться по-королевски, и это высокое искусство не изменяет ей и в самые трудные минуты. С гордо поднятой головой она всходит на обе ступеньки эшафота. Так пятнадцати лет всходила она на трон Франции, так всходила на алтарные ступени в Реймсе. Так взошла бы она и на английский трон, если бы ее судьбой управляли другие звезды. Так же смиренно и вместе с тем горделиво преклоняла она колена бок о бок с французским королем, бок о бок с шотландским королем, чтобы принять благословение священника, как теперь склоняется под благословение смерти. Безучастно слушает она, как секретарь снова зачитывает приговор. Приветливо, почти радостно светится ее лицо — уж на что Уингфилд ее ненавидит, а и он в донесении Сесилу не может умолчать о том, что словам смертного приговора она внимала, будто благой вести.

Но ей еще предстоит жестокое испытание. Мария Стюарт стремится этот последний свой час облечь чистотой и величием; ярким факелом веры, великомученицей католических святцев хочет она воссиять миру. Протестантским же лордам важно не допустить, чтобы ее прощальный жест стал пламенным «верую» ревностной католички; еще и в последнюю минуту пытаются они мелкими злобными выходками умалить ее царственное достоинство. Не раз на коротком пути из внутренних покоев к месту казни она оглядывалась, ища среди присутствующих своего духовника, в надежде, что он хотя бы знаком отпустит ее прогрешения и благословит ее. Но тщетно. Ее духовнику запрещено выходить из своей комнаты. И вот, когда она уже приготовилась претерпеть казнь без духовного напутствия, на эшафоте появляется реформатский священник, доктор Флетчер из Питерсбороу — до последнего дыхания преследует ее беспощадная борьба между обеими религиями, отравившая ее юность, сломавшая ей жизнь.

Лордам, правда, хорошо известно троекратное заявление верующей католички Марии Стюарт, что лучше ей умереть без духовного утешения, чем принять его от священника-еретика. Но так же, как Мария Стюарт, стоя на эшафоте, хочет восславить свою религию, так и протестанты намерены почитать свою, они тоже взывают к Господу Богу. Под видом попечительной заботы о спасении ее души реформатский пастор заводит свою более чем посредственную sermon*, которую Мария Стюарт в своем нетерпении умереть то и дело прерывает. Три-четыре раза просит она доктора Флетчера не утруждать себя, она твердо прилежит римско-католической вере, за которую, по милости Господней, ей дано пострадать. Но попик одержим мелким тщеславием, что ему воля умирающей! Он тщательно вылизал свою sermon, в кои-то веки он удостоился такой избранной аудитории. Он знай бубнит свое, и тогда, не в силах прекратить это гнусное суесловие, Мария Стюарт прибегает к последнему средству: в одну руку, словно оружие, берет распятие, а в другую — молитвенник и, пав на колени, громко молится по-латыни, чтобы священными словами заглушить елейное словоизвержение.

Так, чем вместе обратиться к общему Богу, вознося молитвы за душу обреченной жертвы, борются друг с другом обе религии в двух шагах от плахи — ненависть, как всегда, сильнее, чем уважение к чужому несчастью. Шрусбери, Кент и с ними большая часть собрания молятся по-английски, а Мария Стюарт и ее домочадцы читают латинские молитвы. И только когда пастор умолкает и в зале водворяется тишина, Мария Стюарт уже по-английски произносит слово в защиту гонимой церкви Христовой. Она благодарит Бога за то, что страдания ее приходят к концу, громко возвещает, прижимая к груди распятие, что надеется на искупление кровью Спасителя, чей крест она держит в руке и за кого с радостью готова отдать свою кровь. Снова одержимый фанатик лорд Кент прерывает ее

*Проповедь (англ.).

молитву, требуя, что она оставила эти «popish trumperies» — папистские фокусы. Но умирающая уже далека всем земным распрям. Ни единым взглядом, ни единым словом не удостоивает она Кента и только говорит во всеуслышание, что от всего сердца простила она врагов, давно домогающихся ее крови, и просит Господа, чтобы он привел ее к истине.

Воцаряется тишина. Мария Стюарт знает, что теперь последует. Еще раз целует она распятие, осеняет себя крестным знамением и говорит: «О милосердный Иисус, руки твои, простерты здесь на кресте, обращены ко всему живому, осени же и меня своей любящей дланью и отпусти мне мои прегрешения. Аминь».

В средневековье много жестокости и насилия, но бездушным его не назовешь. В иных его обычаях отразилось такое глубокое сознание собственной бесчеловечности, какое недоступно нашему времени. В каждой казни, сколь бы зверской она ни была, посреди всех ужасов нет-нет да и мелькнет проблеск человеческого величия; так, прежде чем коснуться жертвы, чтобы убить или подвергнуть ее истязаниям, палач должен был просить у нее прощения за свое преступление против ее живой плоти. И сейчас палач и его подручный, скрытые под масками, склоняют колена перед Марией Стюарт и просят у нее прощения за то, что вынуждены уготовить ей смерть. И Мария Стюарт отвечает им: «Прощаю вас от всего сердца, ибо в смерти вижу я разрешение всех моих земных мук». И только тогда палач с подручным принимаются за приготовления.

Между тем обе женщины раздевают Марию Стюарт. Она сама помогает им снять с шеи цепь с «agnus dei»*. При этом руки у нее не дрожат, и, по словам посланца ее злейшего врага Сесила, она «так спешит, точно ей не терпится покинуть этот мир». Едва лишь черный плащ и темные одеяния падают с ее плеч, как под ними жарко вспыхивает пунцовое исподнее

* Божественный агнец (*лат.*). Отлитое из воска изображение ягненка, символизирующее Христа. — *Примеч. пер.*

платье, а когда прислужницы натягивают ей на руки огненные перчатки, перед зрителями словно всполыхнулось кроваво-красное пламя — великолепное, незабываемое зрелище. И вот начинается прощание. Королева обнимает прислужниц, просит их не причитать и не плакать навзрыд. И только тогда преклоняет она колена на подушку и громко, вслух читает псалом: «In te, domine, confido, ne confundar in aeternum»*.

А теперь ей осталось немного: уронить голову на колоду, которую она обвивает руками, как возлюбленная загробного жениха. До последней минуты верна Мария Стюарт королевскому величию. Ни в одном движении, ни в одном слове ее не проглядывает страх. Дочь Тюдоров, Стюартов и Гизов готовилась достойно умереть. Но что значит все человеческое достоинство и все наследованное и благоприобретенное самообладание перед лицом того чудовищного, что неотъемлемо от всякого убийства! Никогда — и в этом лгут все книги и реляции — казнь человеческого существа не может представлять собой чего-то романтически чистого и возвышенного. Смерть под секирой палача остается в любом случае страшным, омерзительным зрелищем, гнусной бойней. Сперва палач дал промах, первый его удар пришелся не по шее, а глухо стукнул по затылку — сдавленное хрипение, глухие стоны вырываются у страдальцы. Второй удар глубоко рассек шею, фонтаном брызнула кровь. И только третий удар отделил голову от туловища. И еще одна страшная подробность: когда палач хватается голову за волосы, чтобы показать ее зрителям, рука его удерживает только парик. Голова вываливается и, вся в крови, с грохотом, точно кегельный шар, катится по деревянному настилу. Когда же палач вторично наклоняется и высоко ее поднимает, все глядят в оцепенении: перед ними призрачное видение — стриженная седая голова старой женщины. На минуту ужас сковывает зрителей, все затаили дыхание, никто не

* На тебя, Господи, уповаю, да не постыжуся вовек (лат.). Псалом 71.

проронит ни слова. И только попик из Питерсбороу, наконец опомнившись, хрипло восклицает: «Да здравствует королева!»

Недвижным, мутным взором смотрит незнакомая восковая голова на дворян, которые, случись жребию выпасть иначе, были бы ей покорнейшими слугами и примерными подданными. Еще с четверть часа конвульсивно вздрагивают губы, нечеловеческим усилием подавившие страх земной твари; скрежещут стиснутые зубы. Щадя чувства зрителей, на обезглавленное тело и на голову Медузы поспешно набрасывают черное сукно. Среди мертвого молчания слуги торопятся унести свою мрачную ношу, но тут неожиданное происшествие рассеивает охвативший всех суеверный ужас. Ибо в ту минуту, когда палачи поднимают окровавленный труп, чтобы отнести в соседнюю комнату, где его набальзамируют, — под складками одежды что-то шевелится. Никем не замеченная любимая собачка королевы увязалась за ней и, словно страшась за судьбу своей госпожи, тесно к ней прильнула. Теперь она выскочила, залитая еще не просохшей кровью. Собачка лает, кусается, визжит, огрызается и не хочет отойти от трупа. Тщетно пытаются палачи оторвать ее насильно. Она не дается в руки, не сдается на уговоры, ожесточенно бросается на огромных черных извергов, которые так больно обожгли ее кровью возлюбленной госпожи. С большей страстью, чем родной сын, чем тысячи подданных, присягавших ей на верность, борется крошечное создание за свою госпожу.

ВОДЕВИЛЬ

1587—1603

На древнегреческом театре вослед сумрачной, торжественно разворачивающейся трагедии ставилась короткая шутовская драма, своего рода водевиль; подобный эпилог имеется и в драме Марии Стюарт. Утром восьмого февраля скатилась ее голова, а на другое утро весь Лондон уже знал о свершившейся

казни. Великое ликование охватило при этом известии всю страну. И если бы обычно столь чуткую на ухо повелительницу не одолела внезапная глухота, Елизавета, разумеется, не преминула бы спросить, какое торжество, не предусмотренное календарем, празднуют ее подданные столь ретиво. Но она мудро остерегается спрашивать: все плотнее и плотнее закутывается она в волшебный плащ неведения. Она хочет быть официально извещена о казни соперницы, хочет быть «поставлена перед свершившимся фактом».

Печальная обязанность нарушить мнимое неведение королевы сообщением о казни ее «дорогой сестрицы» выпадает Сесилу. С нелегкой душой берется он за дело. За двадцать лет службы на голову испытанного советника немало обрушилось бурь, как непритворных, вызванных царским гневом, так и притворных, вызванных государственно-политическими ображениями, а потому серьезный, спокойный человек призывает все свое хладнокровие, вступая в приемный зал королевы, чтобы официально известить ее о свершившейся казни. Но такой сцены, какая за этим разыгрывается, даже он не предвидел. Что такое? Кто-то осмелился без ее ведома, без ее прямого приказания обезглавить Марию Стюарт? Невозможно! Немыслимо! Никогда б она не решилась на столь ужасную меру — разве что в Англию вторгся бы неприятель. Ее советники обманули, предали ее, поступили с ней, как заправские мошенники. Как, осрамить ее перед всем миром, непоправимо запятнать ее имя, ее достоинство вероломным, коварным злодейством? Бедная, несчастная сестрица, — пасть жертвой такого постыдного недоразумения, такого низкого мошенничества! Елизавета вопит, рыдает, иступленно топает на седовласого министра. Целые ушаты сквернословия выливает она на него, — да как он смел, он и другие члены совета, без прямого ее указа привести в исполнение подписанный ею смертный приговор!

Сесил и его друзья ни минуты не сомневались, что Елизавета, стремясь свалить с себя ответственность за инспириро-

ванное ею самой «беззаконие», постарается истолковать его как «превышение власти» со стороны подчиненных. Однако они понимали, что от них только и ждут такого непослушания, и сговорились снять с королевы «бремя» ответственности. Такая отговорка, рассчитывали они, нужна Елизавете лишь для отвода глаз, в малом же аудиенц-зале, *sub rosa*, их даже поблагодарят за проявленную расторопность. Однако Елизавета так настроила себя на эту сцену, что вопреки или, вернее, помимо ее воли наигранный гнев переходит в настоящий и те громы, что сейчас раздражаются над низко склоненной головой Сесила, — это уже отнюдь не шумовые эффекты, а оглушительные раскаты неподдельной ярости, ураган оскорблений, проливной дождь поношений и издевательств. Дело доходит чуть не до рукоприкладства, Елизавета ругает старика площадными словами, хоть в отставку подавай, и в самом деле Сесилу за мнимое самоуправство на неопределенное время не велено являться ко двору.

Только теперь видно, как умно, как предусмотрительно поступил истинный подстрекатель Уолсингем, предпочтя в эти критические дни заболеть или сказаться больным. Зато на его заместителя, беднягу Девисона, изливается вся громкокипящая чаша высочайшего гнева. Он предназначен стать козлом отпущения, наглядным доказательством невинности Елизаветы. Никто не поручал ему, клянется Елизавета, передать Сесилу смертный приговор и скрепить его государственной печатью. Он действовал своей волей, против ее желаний и намерений, и его дерзкое самочинство привело к неисчислимым бедам. По ее приказу в Звездной палате возбуждено официальное дело против ослушного — на самом деле чересчур послушного — слуги; судебный приговор должен торжественно показать Европе, что Марии Стюарт отрубили голову единственно по вине этого негодяя и что Елизавете о том ничего известно не было. И разумеется, те сановники, что клялись по-братски разделить с ним ответственность, покидают сотоварища, попавшего в беду; им бы только свои мини-

стерские местечки и доходы спасти от громов и молний разбушевавшейся августейшей правительницы. Девисон, который в свое оправдание мог бы сослаться лишь на немые стены, видевшие, как Елизавета давала ему поручение, приговорен к уплате десяти тысяч фунтов, каких у него сроду не было, и посажен в тюрьму; потом ему втихомолку подбрасывают кое-какой пенсioen, но при жизни Елизаветы ему и думать нечего о возвращении ко двору; карьера его рухнула, жизнь изломана. Царедворцу опасно не угадывать тайных желаний своего властителя. Но иной раз куда опаснее чересчур хорошо их угадать.

Благочестивая легенда о невинности и полном неведении Елизаветы слишком грубо состряпана, чтобы импонировать современникам. И, может быть, один только человек задним числом уверовал в эту фантастическую версию: как ни странно, уверовала сама Елизавета. Ибо одним из самых примечательных свойств истеричных или склонных к истерии натур является способность не только к искусному обману, но и к самообману. Желаемое нередко принимается ими за действительное, и их свидетельские показания представляют порой самый добросовестный обман, а следовательно, и самый опасный.

Елизавета, очевидно, верит в свою искренность, когда клянется направо и налево, что ни делом, ни помышлением не виновна в казни Марии Стюарт. Действительно, одной половиной души она не желала этой казни, и теперь память, опираясь на это нежелание, постепенно вытесняет у нее сознание соучастия в казни, которой она все-таки втайне желала. Приступ гнева, овладевший ею при получении известия, которое она призывала в тиши, но не хотела услышать, не только заранее обработан, как для сцены, но в то же время — все двойственно в этой женщине — это искренний, честный гнев прежде всего на самое себя, зачем она не осталась верна своим лучшим побуждениям, а также искренний гнев на Сесила, зачем он вовлек ее в это злодеяние, а вместе с тем не оградил от ответственности.

Елизавета так истово внушила себе, что казнь произошла помимо ее воли, что в словах ее отныне слышится чуть ли не святая убежденность. Трудно не верить ей, когда в одежде скорби она, принимая французского посла, уверяет, что «не так смерть отца и не так смерть сестры глубоко ее огорчила», как сознание, что она, «бедная, слабая женщина, окружена врагами». Если бы члены государственного совета, сыгравшие с ней эту бесчестную шутку, не были ее долголетними слугами, всем бы им не миновать плахи. Сама она подписала приговор лишь для того, чтобы успокоить свой народ, но только высадка неприятельских войск на английских берегах могла бы заставить ее привести его в исполнение.

На этой же полуправде, полулжи, будто она не желала казни Марии Стюарт, стоит Елизавета и в собственноручном письме к Иакову VI. Снова заверяет она, что жестоко огорчена «трагической ошибкой», происшедшей без ее ведома и согласия («without her knowledge and consent»). Она призывает Бога в свидетели, что «неповинна в этом деле», что у нее и в мыслях не было предать Марию Стюарт казни («she never had thought to put the Queene your mother, to death»), хотя ее советники все уши ей об этом прожужжали. И, предвосхищая естественное обвинение в том, что Девисон только служит ей прикрытием, она горделиво заявляет, что никакие силы на земле не принудили бы ее свалить свое распоряжение на плечи исполнителя.

Но Иаков VI отнюдь не жаждет знать правду; ему важно одно: снять с себя подозрение, будто он спустил рукава защищал жизнь матери. Разумеется, как и Елизавете, ему не полагается сразу же возгласить «аминь» и «аллилуйя». Он должен соблюсти видимость удивления и возмущения. Он даже отваживается на внушительный жест — торжественно объявляет, что столь великое беззаконие не останется без отмщения. Посланцу Елизаветы воспрещено ступить на шотландскую землю, и за ее письмом в пограничный Берик послан верховой: пусть весь мир видит, что Иаков VI ощерил зубы на убийцу своей матери.

Однако лондонский кабинет давно уже изготовил эликсир, с помощью которого сын молчаливо «проглотит» весть о казни матери. Одновременно с письмом Елизаветы, рассчитанным на «подмостки мира», в Эдинбург следует и другое дипломатическое послание, в коем Уолсингем сообщает шотландскому канцлеру, что Иакову VI обеспечено преемство английского престола и что, следовательно, по той, темной, сделке ему заплачено сполна. Это сладкое питье оказывает на безутешного страдальца поистине волшебное действие. Иаков VI ни словом больше не заикается о денонсировании союзного договора. Его не беспокоит даже, что тело его матери лежит непогребенным где-то в закоулках церкви. Не протестует он и против того, что ее последняя воля — успокоиться во французской земле — грубо нарушается. Слово по волшебству, уверился он в невинности Елизаветы и с готовностью клюет на приманку «трагической ошибки». «Тем самым вы очищаете себя от вины в этом злополучном происшествии» («*ye purge youge self of one unhappy fact*»), — пишет он Елизавете и в качестве смиренного нахлебника желает английской королеве, чтобы ее «душевное благородство стало на веки вечные известно миру». Магическое обетование Елизаветы льет елей на бушующие волны его неудовольствия. Отныне между ним и женщиной, подписавшей смертный приговор его матери, устанавливается нерушимый мир и согласие.

У морали и у политики свои различные пути. Событие оценивается по-разному, смотря по тому, судим мы о нем с точки зрения человечности или с точки зрения политических преимуществ. Морально казнь Марии Стюарт нельзя простить и оправдать: противно всякому международному праву держать в мирное время в заточении королеву соседней страны, а потом тайно свить петлю и вероломно сунуть ей в руки... И все же нельзя отрицать, что с точки зрения государственно-политической устранение Марии Стюарт было для Англии благодетельной мерой. Ибо критерием в политике — увы! — служит не право, а успех. В случае с Марией Стюарт последу-

ющий успех оправдывает убийство, так как оно принесло Англии и ее королеве не беспокойство, а спокойствие.

Сесил и Уолсингем правильно расценили реальное положение вещей. Они знали, что другие государства побоятся возвысить голос против подлинно сильного правительства и станут трусливо смотреть сквозь пальцы на его насильнические действия и даже преступления. Они верно рассчитали, что мир не придет в волнение из-за этой казни; и в самом деле: фанфары мести во Франции и Шотландии внезапно умолкают. Генрих III отнюдь не рвет, как грозился, дипломатических отношений с Англией; еще меньше, чем когда надо было спасти живую Марию Стюарт, собирается он отправить за море хотя бы одного солдата. Он, правда, велит отслужить в Нотр-Дам пышную траурную мессу, и его поэты пишут несколько элегических строф в честь погибшей королевы. На этом вопрос о Марии Стюарт для Франции исчерпан и предан забвению. В шотландском парламенте слегка пошумели, Иаков VI облекся в траур; но проходит немного времени, и он уже снова выезжает на охоту на подаренных ему Елизаветой лошадях, с подаренными ему Елизаветой легавыми; по-прежнему он самый уживчивый сосед, какого когда-либо знавала Англия. И только тяжелодум Филипп Испанский спохватывается наконец и снаряжает свою Армаду. Но он одинок, а против него — счастье Елизаветы, неотъемлемое, как это всегда бывает со славными властителями, от ее величия. Еще до того, как доходит до боя, Армаду вдребезги разбивает шторм, а вместе с ней терпит крушение и давно вынашиваемый план наступления контрреформации.

Елизавета окончательно победила, да и Англия со смертью Марии Стюарт избавилась от величайшей угрозы. Времена обороны миновали, отныне ее флот будет бороздить океаны, направляясь к далеким землям и объединяя их в мировую империю. Множатся богатства Англии, последние годы царствования Елизаветы видят новый расцвет искусств. Никогда королевой так не восхищались, не любили ее и не поклонялись

ей, как после этого позорнейшего ее деяния. Из гранита жестокости и несправедливости воздвигаются великие государственные сооружения, неизменно фундаменты их скреплены кровью; в политике неправы только побежденные, неумолимой поступью шагает история через их трупы.

Однако сыну Марии Стюарт предстоит еще нешуточное испытание: не внезапным прыжком, как мечтал, взберется он на английский престол, не так скоро, как рассчитывал, получит обещанную мзду за свою продажную снисходительность. Ему придется — величайшая казнь для честолюбца — ждать, ждать и ждать. Пятнадцать лет, почти столько же, сколько мать его томилась в плену у Елизаветы, вынужден он в бездействии дремать в Эдинбурге и ждать, ждать, ждать, пока скипетр не выпадет из охладелых старушечьих рук. Брюзжащий, недовольный, сидит он в своих шотландских замках, выезжает часто на охоту, пишет трактаты на религиозные и политические темы, но все его дела сводятся к одному — к бесконечному, бесплодному и злобному ожиданию некоего известия из Лондона. А его все нет и нет.

Можно подумать, что кровь соперницы, пролившись, вдохнула в Елизавету новую жизнь. Все крепче становится она со смертью Марии Стюарт, все увереннее, все здоровее. Покончено с бессонными ночами, с укорами совести, которые так терзали ее все месяцы и годы нерешительности; все сглажено, смыто без следа спокойствием, дарованным ее стране, ее правлению. Ни один живущий не осмелится больше оспаривать ее корону, и даже смерти ревнивая женщина оказывает бешеное сопротивление, даже ей не отдает она короны. Семидесятилетняя старуха, цепкая и неподатливая, не хочет умирать, целыми днями блуждает она по дворцу, переходя из комнаты в комнату, нигде не находя покоя. Яростно и величественно сопротивляется она, не желая никому на свете уступить престол, за который так упорно и беспощадно боролась.

И все же час настает, наконец-то в жестоком единоборстве смерть одолевает неподатливую; но из легких еще вырывается

хрипение, все еще бьется, хоть тише и тише, старое неукротимое сердце. Под окном, с оседланной лошадьёю на поводу, посланец нетерпеливого шотландского наследника ждет условного знака. Некая придворная дама обещала, как только жизнь королевы оборвется, бросить ему из окна перстень. Проходят долгие часы. Посланец напрасно смотрит вверх; старая королева-девственница, отвергшая стольких искателей, все еще не подпускает к себе загробного жениха. Наконец двадцать четвертого марта зазвенело окно, торопливо высывается женская рука, сверху падает перстень. Гонец не медля садится на коня и два с половиной дня скачет без передышки в Эдинбург — эта скачка осталась памятной в веках. Так же как тридцать семь лет назад из Эдинбурга в Лондон гнал во весь опор лорд Мелвил, торопясь известить Елизавету, что Мария Стюарт родила сына, так теперь другой гонец спешит назад к сыну, чтобы сообщить, что смерть Елизаветы принесла ему вторую корону. Ибо Иаков VI Шотландский в этот час становится равно и королем Английским — наконец-то становится Иаковом I. В сыне Марии Стюарт обе короны соединились навсегда, злосчастная борьба многих поколений пришла к концу. Темные, извилистые пути избирает подчас история, но неизбежно исполняются ее разумные цели, неизменно историческая необходимость вступает в свои права.

Со вкусом располагается Иаков в Уайтхолле, которым так мечтала завладеть его мать. Наконец-то он избавился от вечного безденежья, наконец-то его честолюбие утолено; все его мысли теперь — о жизни в свое удовольствие, не о бессмертии. Он часто выезжает на охоту, он усердно посещает театр, где — единственная его заслуга — оказывает покровительство некоему Шекспиру и другим достойным стихотворцам. Тщедушный, бездарный, с ленцой, не обладающий ни душевными силами Елизаветы, ни мужеством и страстью своей романтической матери, управляет он объединенным наследием обеих враждовавших женщин; то, чего обе добивались со всем пламенным устремлением души и страсти, достается ему, умею-

щему терпеливо ждать, без борьбы, валится с неба. Но теперь, когда Англия и Шотландия объединены, должно предать забвению, что было время, когда королева Шотландская и королева Английская отравляли друг другу жизнь ненавистью и враждой. Уже нечего называть одну правой, а другую виноватой, смерть уравнила соперниц в их высоком сане. Те, что всю жизнь противостояли одна другой, могут спокойно почивать рядом. Иаков I приказывает взять прах его матери с погоста в Питерсбороу, где она лежит одна, словно отверженная, и при торжественном свете факелов перенести в Вестминстерское аббатство, в усыпальницу английских королей. Высеченное в камне ставится над могилой изображение Марии Стюарт, а неподалеку высеченное в камне стоит изображение Елизаветы. Старая вражда улеглась навек, ныне одна у другой не оспаривает больше прав и владений. И те, что в жизни упорно избегали друг друга и ни разу не глядели друг другу в глаза, ныне, как сестры, покоятся рядом во всеуравнивающем священном сне бессмертия.





ВЧЕРАШНИЙ МИР

Книга печатается с сокращениями



ВОСПОМИНАНИЯ ЕВРОПЕЙЦА

Такими время встретим мы,
какими нас оно застигнет.

Шекспир. Цимбелин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я никогда не придавал своей персоне столь большого значения, чтобы впасть в соблазн рассказывать другим историю моей жизни. Много должно было произойти — намного больше, чем обычно выпадает на долю одного лишь поколения, — событий, испытаний и катастроф, прежде чем я нашел в себе мужество начать книгу, в которой мое «я» главный герой или — лучше сказать — фокус. Ничто так не чуждо мне, как роль лектора, комментирующего диапозитивы; время само создает картины, я лишь подбираю к ним слова, и речь пойдет не столько о моей судьбе, сколько о судьбе целого поколения, отмеченного столь тяжелой участью, как едва ли какое другое в истории человечества. Каждый из нас, даже самый незначительный и незаметный, потрясен до самых глубин души почти непрерывными вулканическими содроганиями европейской почвы; один из многих, я не имею иных преимуществ, кроме единственного: как австриец, как еврей, как писатель, как гуманист и пацифист, я всегда оказывался именно там, где эти подземные толчки ощущались сильнее всего. Трижды они переворачивали мой дом и всю жизнь, отрывали меня от прошлого и швыряли с ураганной силой в пустоту, в столь прекрасно известное мне «никуда». Но я не жалуясь: человек, лишенный родины, обретает иную свободу; кто ничем не связан, может уже ни с чем не считаться. Таким образом, я надеюсь соблюсти по меньшей мере хотя бы главное условие любого достоверно-

го изображения эпохи — искренность и беспристрастность, ибо я оторван от всех корней и даже от самой земли, которая эти корни питала, — вот я каков теперь, чего не пожелаю никому другому.

Я родился в 1881 году, в большой и могучей империи, в монархии Габсбургов, но не стоит искать ее на карте: она стерта бесследно. Вырос в Вене, в этой двухтысячелетней наднациональной столице, и вынужден был покинуть ее как преступник, прежде чем она деградировала до немецкого провинциального города. Литературный труд мой на том языке, на котором я писал его, обращен в пепел именно в той стране, где миллионы читателей сделали мои книги своими друзьями. Таким образом, я не принадлежу более никому, я повсюду чужой, в лучшем случае гость; и большая моя родина — Европа — потеряна для меня с тех пор, как уже вторично она оказалась раздираема на части братоубийственной войной. Против своей воли я стал свидетелем ужасающего поражения разума и дичайшего за всю историю триумфа жестокости; никогда еще — я отмечаю это отнюдь не с гордостью, а со стыдом — ни одно поколение не претерпевало такого морального падения с такой духовной высоты, как наше. За короткий срок, пока у меня пробились и поседела борода, за эти полстолетия, произошло больше существенных преобразований и перемен, чем обычно за десять человеческих жизней, и это чувствует каждый из нас: невероятно много!

Настолько мое Сегодня отличается от любого из моих Вчера, мои взлеты от моих падений, что подчас мне кажется, будто я прожил не одну, а несколько совершенно не похожих друг на друга жизней. Поэтому всякий раз, когда я неосторожно роняю: «Моя жизнь», — я невольно спрашиваю себя: «Какая жизнь? Та, что была перед первой мировой войной, или та, что была перед второй, или теперешняя?» А потом снова ловлю себя на том, что говорю: «Мой дом», — и не знаю, какой из прежних имею в виду: в Бате ли, в Зальцбурге или родительский дом в Вене. Или я говорю: «У нас» — и вспоминаю с

испугом, что давно уже так же мало принадлежу к гражданам своей страны, как к англичанам или американцам; там я — отрезанный ломоть, а здесь — инородное тело; мир, в котором я вырос, и сегодняшний мир, и мир, существующий между ними, обособляются в моем сознании; это совершенно различные миры.

Всякий раз, когда я рассказываю молодым людям о событиях перед первой мировой войной, я замечаю по их недоуменным вопросам, что много из того, что для меня все еще существует, для них выглядит уже далекой историей или чем-то неправдоподобным. Но в глубине души я вынужден признать: между нашим настоящим и прошлым, недавним и далеким, разрушены все мосты. Да я и сам не могу не поразиться всему тому, что нам довелось испытать в пределах одной человеческой жизни — даже такой максимально неустроенной и стоящей перед угрозой уничтожения, — особенно когда сравниваю ее с жизнью моих предков.

Мой отец, мой дед — что видели они? Каждый из них прожил жизнь свою монотонно и однообразно. Всю, от начала до конца, без подъемов и падений, без потрясений и угроз, жизнь с ничтожными волнениями и незаметными переменами; в одном и том же ритме, размеренно и спокойно несла их волна времени от колыбели до могилы. Они жили в одной и той же стране, в одном и том же городе и даже почти постоянно в одном и том же доме; события, происходящие в мире, собственно говоря, приключались лишь в газетах, в дверь они не стучались. Правда, где-то и в те дни шла какая-нибудь война, но это была по нынешним масштабам, скорее, войнишка, и разыгрывалась-то она далеко-далеко, не слышны были пушки, и через полгода она угасала, забывалась, опавший лист истории, и снова начиналась прежняя, та же самая жизнь.

Для нас же возврата не было, ничего не оставалось от прежнего, ничто не возвращалось; нам выпала такая доля: испытать полной чашей то, что история обычно отпускает по глотку той или другой стране в тот или иной период. Во всяком случае, одно поколение переживало революцию, другое —

путч, третье — войну, четвертое — голод, пятое — инфляцию, а некоторые благословенные страны, благословенные поколения и вообще не знали ничего этого. Мы же, кому сегодня шестьдесят лет и кому, возможно, суждено еще сколько-то прожить, — чего мы только не видели, не выстрадали, чего не пережили! Мы пролистали каталог всех мыслимых катастроф, от корки до корки, — и все еще не дошли до последней страницы. Один только я был очевидцем двух величайших войн человечества и встретил каждую из них на разных фронтах: одну — на германском, другую — на антигерманском. До войны я познал высшую степень индивидуальной свободы и затем — самую низшую за несколько сотен лет; меня восхваляли и клеймили, я был свободен и подневолен, богат и беден. Все бледные кони Апокалипсиса пронеслись сквозь мою жизнь — революция и голод, инфляция и террор, эпидемии и эмиграция; на моих глазах росли и распространяли свое влияние такие массовые идеологии, как фашизм в Италии, национал-социализм в Германии, и прежде всего эта смертельная чума — национализм, который загубил расцвет нашей европейской культуры.

Я оказался беззащитным, бессильным свидетелем невероятного падения человечества в, казалось бы, уже давно забытые времена варварства с его преднамеренной и запрограммированной доктриной антигуманизма. Нам было предоставлено право — впервые за несколько столетий — вновь увидеть войны без объявления войны, концентрационные лагеря, истязания, массовые грабежи и бомбардировки беззащитных городов — все эти зверства, которых уже не знали последние пятьдесят поколений, а будущие, хотелось бы верить, больше не потерпят. Но, как ни парадоксально, я видел, что в то же самое время, когда наш мир в нравственном отношении был отброшен на тысячелетие назад, человечество добилось невероятных успехов в технике и науке, одним махом превзойдя все достигнутое за миллионы лет: покорение неба, мгновенная передача человеческого слова на другой конец земли и тем

самым преодолению пространства, расщепление атома, победа над коварнейшими болезнями, о чем вчера еще можно было только мечтать. Никогда ранее человечество не проявляло так сильно свою дьявольскую и свою богоподобную суть.

Я считаю своим долгом запечатлеть эту нашу напряженную, неимоверно насыщенную драматизмом жизнь, ибо — я повторяю — мы были свидетелями этих невероятных перемен, каждого из нас вынудили быть таким свидетелем. У нашего поколения не было возможности скрыться, бежать, как у прежних; благодаря новейшим средствам связи мы постоянно находились в гуще событий. Если бомбы разносили в щепки дома в Шанхае, мы у себя дома в Европе узнавали это раньше, чем раненых выносили из их жилищ. События, происходившие за океаном за тысячи миль от нас, представляли перед нами воочию на экране. Не было никакой защиты, никакого спасения от этих будоражающих известий, от этого соучастия во всем. Не было ни страны, куда можно было бы бежать, ни тишины, которую можно было бы купить, всегда и всюду нас доставала рука судьбы и насильно втягивала в свою нескончаемую игру.

Нужно было постоянно подчиняться требованиям государства, становиться добычей тупоумной политики, приспособливаться к самым фантастическим переменам, и, несмотря на отчаянное сопротивление, ты всегда был прикован к общей судьбе; неотвратимо она влекла за собой каждого. И тот, кто прошел сквозь это время или, более того, кого сквозь него прогнали, кого травили — мы знали мало передышек, — больше ощутил движение истории, чем кто-либо из его предков. И вот мы снова, в который раз, стоим на перепутье: позади — прошлое, впереди — неизвестность. И вовсе не случайно свой рассказ о прошлом я завершаю конкретной датой. Ибо тот сентябрьский день 1939 года подводит окончательную черту под эпохой, которая нас, шестидесятилетних, сформировала и воспитала. Но если мы нашим свидетельством передадим следующему поколению хотя бы осколок того, что ранее составляло правду, то мы трудились не совсем напрасно.

Сознаю, что обстоятельства, в которых я пытаюсь писать мои воспоминания, столь типичные для нашего времени, мало благоприятствуют решению этой задачи. Я пишу в разгар войны, на чужбине и без всего того, что могло бы помочь моей памяти. У меня под рукой в моем гостиничном номере нет ни одного экземпляра моих книг, нет черновиков, писем друзей. Негде о чем бы то ни было справиться, потому что во всем мире почтовая связь между странами или прервана, или затруднена цензурой. Мы все живем так же разобщенно, как сотни лет тому назад, до того, как были изобретены пароход и железная дорога, самолет и почта. От всего моего прошлого, таким образом, у меня не осталось ничего, кроме того, что я ношу в своей памяти. Все остальное для меня сейчас недостижимо или потеряно. Но полезному умению не оплакивать потери наше поколение давно научилось, и, возможно, утрата документальности и деталей обернется для моей книги даже достоинством, ибо я рассматриваю нашу память не как некий инструмент, который что-то случайно задерживает, а что-то случайно утрачивает, но как силу, которая сознательно упорядочивает и мудро исключает. Все, что забывается, по сути дела, давно уже обречено на забвение. И лишь то, что сохранилось в душе, имеет какую-то ценность и для других. Так предоставлю же слово воспоминаниям — пусть они говорят вместо меня и отразят как в зеркале мою жизнь, прежде чем она потонет во мраке!

МИР НАДЕЖНОСТИ

...В мире, в тишине растем до срока,
Но однажды — в жизнь бросают нас:
Сотни тысяч волн объемлет око,
Новизну приносит каждый час,
Неспокойно чувство, тень живая
Дразнит, обольщает на лету, —
Ощущенья гаснут, уплывая
В пеструю мирскую суету*.

Гёте

Когда я пытаюсь найти надлежащее определение для той эпохи, что предшествовала первой мировой войне и в которую я вырос, мне кажется, что точнее всего было бы сказать так: это был золотой век надежности. Все в нашей почти тысяче-летней австрийской монархии, казалось, рассчитано на вечность, и государство — высший гарант этого постоянства. Права, которые оно обеспечивало своим гражданам, были закреплены парламентом, этим свободно избранным представителем народа, а каждая обязанность строго регламентирована. Наша валюта, австрийская крона, имела хождение в чистом золоте, что гарантировало ее устойчивость. Каждый знал, сколько он имеет и сколько ему полагается, что разрешено, а что запрещено. Все имело свою норму, свой определенный размер и вес. Кто владел состоянием, мог точно подсчитать свой годовой доход, любой чиновник и офицер — с такой же точностью высчитать по календарю, когда он получит повышение и когда выйдет на пенсию. Бюджет каждой семьи четко предусматривал, сколько придется потратить на жилье и на питание, на летний отдых и на развлечения; кроме того, неуклонно откладывалась небольшая сумма про черный день, на болезнь и врача. Кто имел дом, рассматривал его как надежное пристанище для детей и внуков, земля и профессия наследовались из поколения в поколение, и в то время, когда младенец лежал еще в колыбели, в копилку или сберегательную кассу поме-

*Перевод Е. Витковского.

щали первый скромный взнос для его жизненного пути, маленький «резерв» на будущее.

Все в этой обширной империи прочно и незыблемо стояло на своих местах, а над всем — старый кайзер; и все знали (или надеялись): если ему суждено умереть, то придет другой, и ничего не изменится в благоустроенном порядке. Никто не верил в войны, в революции и перевороты. Все радикальное, все насильственное казалось уже невозможным в эру благоразумия. Это чувство надежности было наиболее желанным достоянием миллионов, всеобщим жизненным идеалом. Лишь с этой надежностью жизнь считалась стоящей, и все более широкие слои населения добивались своей доли этого бесценного сокровища. Первыми обрели ее в силу своего положения богачи, но постепенно к ней получили доступ и более широкие круги; столетие надежности стало золотым веком страхового дела. Дом страховался от огня и ограбления, поле — от града и дождя, тело — от несчастных случаев и болезней; на склоне лет приобретали пожизненную ренту; девочкам в колыбель клали страховой полис — на приданое. В конечном счете объединились и рабочие, они завоевали себе достаточный заработок и больничные кассы; прислуга откладывала деньги на обеспечение старости и заранее делала взносы в страховую кассу на собственное погребение. Лишь тот, кто мог спокойно смотреть в будущее, с легким сердцем наслаждался настоящим.

В этой умирительной убежденности, что можно обнести себя частоколом, не оставив лазейки для какого бы то ни было вторжения судьбы, таилась, при всей практичности и умеренности, изрядная толика опасного тщеславия. Девятнадцатое столетие в своем либеральном идеализме было искренне убеждено, что находится на прямом и верном пути к «лучшему из миров». Презрительно и свысока взирало оно на прежние эпохи с их войнами, голодом и смутами как на время, когда человечество было еще несовершеннолетним и недостаточно просвещенным. Теперь, казалось, счет шел на какие-то деся-

тилетия, оставшиеся до той минуты, когда со злом и насилием будет покончено, и эта вера в нескончаемый, неудержимый «прогресс» имела для той эпохи поистине силу религии; в этот «прогресс» верили уже больше, чем в Библию, а его истинность, казалось, неопровержимо подтверждалась что ни день чудесами науки и техники.

И действительно, всеобщий подъем в конце этого мирного столетия становился все более заметным, все более быстрым, все более многообразным. На улицах по ночам вместо тусклых огней зажигались электрические лампы, витрины центральных магазинов распространяли свой манящий, ранее неведомый блеск вплоть до пригородов, и человек уже мог благодаря телефону общаться с другими людьми на расстоянии, он передвигался в не запряженных лошадьми вагонах на неслыханных скоростях и взмывал ввысь, осуществив мечту Икара. Комфорт проникал из дворцов в доходные дома; теперь воду не надо было таскать из колодца или канала, тратить силы, растапливая печь; повсюду воцарилась гигиена, исчезла грязь. С тех пор как спорт закалил тела людей, они становились красивее, сильнее, здоровее; все реже встречались на улицах уроды и калеки; и все эти чудеса совершила наука, этот ангел-хранитель прогресса.

Общественное устройство тоже не стояло на месте: из года в год отдельная личность получала новые права, отношение властей становилось все более мягким и гуманным, и даже проблема проблем — бедность широких масс — не казалась больше непреодолимой. Все более широким кругам предоставлялось избирательное право и тем самым возможность открыто защищать свои интересы; социологи и профессора дискутировали, предлагая рецепты, как сделать пролетариат более здоровым и даже более счастливым, — удивительно ли, что это столетие купалось в лучах собственной славы и каждое минувшее десятилетие рассматривало лишь как очередную ступень, пройденную прогрессом? В такие рецидивы варварства, как войны между народами Европы, верили столь же

мало, как в ведъм и привидения; наши отцы были убеждены в прочности связующей силы терпимости и дружелюбия. Они искренне полагали, что границы и разногласия между нациями и вероисповеданиями постепенно сотрутся во всеобщем человеколюбии, а стало быть, всему человечеству суждены мир и безопасность — эти высшие блага.

Нам, живущим сегодня, давно изъясшим из своего словаря как архаизм слово «безопасность», ничего не стоит посмеяться над оптимистической иллюзией того прекраснодушного в своем ослеплении поколения, полагавшего, что технический прогресс человечества неминуемо и одновременно приводит к прогрессу нравственному. Мы, научившиеся в новом столетии не удивляться никакому проявлению коллективного варварства, мы, ожидающие от каждого грядущего дня еще более страшного злодеяния, чем то, что случилось вчера, с гораздо большим сомнением относимся к возможности морального возрождения человечества. Мы вынуждены признать правоту Фрейда, видевшего, что наша культура лишь тонкий слой, который в любой момент может быть смят и прорван разрушительными силами, клокающими под ним; нам пришлось постепенно привыкать жить, не имея почвы под ногами, не зная прав, свободы и безопасности.

Что касается наших взглядов на жизнь, то мы давно уже отвергли религию наших отцов, их веру в быстрый и постоянный прогресс гуманности; банальным представляется нам, жестоко наученным горьким опытом, их близорукий оптимизм перед лицом катастрофы, которая одним-единственным ударом перечеркнула тысячелетние завоевания гуманистов. Но даже если это была иллюзия, то все же чудесная и благородная, более человеческая и живительная, чем сегодняшние идеалы, и в нее наши отцы верили. И что-то в глубине души, несмотря на весь опыт и разочарование, мешает полностью от нее отрешиться. То, что человек выпитал с материнским молоком, остается в его крови навсегда. И вопреки всему тому, что каждый день мне приходится слышать, всему, что и сам я, и

мои многочисленные друзья по несчастью познали путем унижений и испытаний, я не могу до конца отречься от идеалов моей юности, от веры, что когда-нибудь опять, несмотря ни на что, настанет светлый день. Даже в бездне ужаса, из которой мы выбираемся ощупью, впотьмах, с растерянной и измученной душой, я снова и снова подымаю глаза к тем звездам, которые светили над моим детством, и утешаюсь унаследованной от предков верой, что этот кошмар когда-нибудь окажется лишь сбоем в вечном движении Вперед и Вперед.

Сегодня, когда страшная буря развеяла в прах эти иллюзии, мы поняли окончательно, что мир надежности был воздушным замком. И все же мои родители жили в нем как за каменной стеной. Ни разу никакая буря, даже порыв ветра не потревожили их теплое, уютное существование; правда, у них имелся дополнительный заслон: они были состоятельными людьми и постепенно становились все богаче, а это по тем временам служило надежным укрытием. Их образ жизни представляется мне до такой степени типичным, что, рассказывая об их безмятежном и незаметном существовании, я, собственно, не открываю ничего нового: точно так же, как мои родители, в тот век гарантированных ценностей в Вене жили десять или двадцать тысяч семей.

Семья моего отца происходила из Моравии. Еврейские общины жили там в небольших деревушках, в добром согласии с крестьянами и мелкой буржуазией; здесь не знали ни забитости, ни лстивой изворотливости галицийских, восточных евреев. Сильные и суровые благодаря жизни в деревне, они уверенно и достойно шли своим путем, как тамошние крестьяне — по полю. Вовремя избавившись от всего ортодоксально-религиозного, они были страстными сторонниками религии времени — «прогресса», и в эту политическую эру либерализма поставляли самых достойных депутатов в парламент. Если из родных мест они переселялись в Вену, то с поразительной быстротой приобщались к более высокой сфере культуры; их личный успех органически сочетался со всеобщим подъемом

того времени. И в этом смысле наша семья была более чем типична.

Мой дед со стороны отца занимался сбытом мануфактурных изделий. Во второй половине столетия в Австрии началось развитие промышленности. Благодаря различным усовершенствованиям ткацкие и прядильные станки, завозимые из Англии, невероятно удешевили производство тканей, прежде вырабатывавшихся вручную, и еврейские коммерсанты с их деловой сметкой, с их международной осведомленностью были первыми в Австрии, кто понял необходимость и прибыльность перехода на промышленное производство. На незначительные в большинстве случаев капиталы они основали те наспех построенные, поначалу использовавшие лишь энергию рек фабрики, которые постепенно выросли в мощную, простершуюся по всей Австрии и на Балканах богемскую текстильную промышленность. И если дед мой, как типичный представитель начального этапа этого процесса, служил лишь посредником в сбыте готовой продукции, то мой отец уже без колебаний шагнул в новое время, основав на тридцатом году жизни небольшую ткацкую фабрику в Северной Богемии, из которой он затем не спеша, за несколько лет, создал солидное предприятие.

Такой осторожный способ роста, несмотря на соблазнительно благоприятную конъюнктуру, был более чем в духе того времени. И этот способ соответствовал, кроме того, еще очень сдержанной и совсем неалчной натуре моего отца, который впитал в себя кредо той эпохи: «Safety first»*. Ему было важнее владеть «солидным» — и это тоже ходовое словечко того времени — предприятием, основанным на собственном капитале, чем расширять свое дело при помощи банковских кредитов и ипотек. То, что в течение всей его жизни никто никогда не видел его имени ни в долговой книге, ни на векселе, а только на странице дебета, причем, разумеется, в самом

* Безопасность прежде всего (англ.).

солидном кредитном учреждении, в банке Ротшильда, было для него главным предметом гордости. Любой доход, связанный хотя бы с минимальным риском, был для него неприемлем, и за всю свою жизнь он никогда не участвовал в чужом деле. И если тем не менее он постоянно становился все богаче, то отнюдь не за счет дерзких спекуляций или случайных удач, а благодаря тому, что держался благоразумного правила того времени, когда тратили лишь скромную часть прибыли и, следовательно, могли более значительную долю из года в год прибавлять к основному капиталу.

Как и большинство людей его поколения, мой отец считал бы отчаянным мотом того, кто беспечно транжирил деньги, «не думая о будущем», и это также ходовое выражение той эпохи. И благодаря такому регулярному накоплению прибылей в ту эпоху процветания, да при том, что государство еще не покушалось урвать даже от самых крупных прибылей более чем несколько процентов, тогда как государственные предприятия облагались тяжелыми налогами, крупные состояния росли как бы сами собой. Но этот пассивный способ оправдывал себя; в ту пору, не в пример временам инфляции, экономного человека не обкрадывали, а делового не обсчитывали; не спекулянты, а именно самые сдержанные дельцы оказывались в выигрыше.

Благодаря своей приверженности этой универсальной методе мой отец мог уже к пятидесяти годам считаться очень состоятельным человеком даже и по международным меркам. Но на образе жизни нашей семьи быстрый рост состояния сказывался очень незначительно. Понемногу стали позволять себе небольшие прихоти: переселились в квартиру побольше; весной для послеобеденных прогулок брали напрокат автомобиль; ездили в спальном вагоне второго класса, и лишь на пятидесятом году жизни отец позволил себе роскошь поехать с матерью зимой на месяц в Ниццу. В общем и целом линия поведения — быть богатым, а не слыть — оставалась неизменной; будучи уже миллионером, мой отец никогда не курил

заграничных сигар, предпочитая, как император Франц Иосиф, дешевую «Вирджинию», обыкновенную «Трабуко», а в карты играл лишь по минимальной ставке. В своей благополучной, но замкнутой жизни он неуклонно придерживался умеренности. Несомненно более одаренный и образованный, чем большинство его коллег, — он прекрасно играл на рояле, писал ясно и хорошо, говорил по-французски и по-английски, — он неуклонно избегал любых наград, любых почетных должностей, за всю свою жизнь не принял ни одного звания, ни единого поста, хотя ему, как крупному промышленнику, их предлагали не раз. Никогда ни у кого ничего не просить, никогда не понуждать себя к «пожалуйста» или к «спасибо» — эта затаенная гордость значила для него больше, чем все показное.

В жизни каждого неминуемо наступает время, когда в своем внутреннем облике он узнает черты отца. Тяга к замкнутому, неизвестному образу жизни теперь с каждым годом начинает все резче проявляться во мне, как бы разительно она ни противоречила моей профессии, которая хочешь не хочешь делает твое имя и тебя самого в той или иной степени известными. Но из-за той же скрытной гордости я всегда отклонял любую форму внешнего почитания, не принял ни единой награды, ни одного титула, ни поста президента в каком-либо союзе, никогда не входил ни в одну академию, комитет, жюри; даже сидеть на банкете для меня наказание, и от одной мысли, что надо кого-то о чем-либо попросить — даже если просить приходится не за себя, — у меня отнимается язык. Я знаю, насколько несовременны подобные ограничения в мире, где свободу можно сохранить лишь благодаря хитрости и бегству и где, как мудро сказал старик Гёте, «ордена и титулы спасают иных в толчее от тумачков». Но это живет во мне мой отец, это присущая ему скрытая гордыня заставляет меня устраниваться, и я не должен противиться, ибо ему я обязан тем, что, быть может, воспринимаю как свое единственное богатство: чувством внутренней свободы.

Моя мать, ее девичья фамилия Бреттауэр, была из иной, более интернациональной среды. Она родилась в Анконе, в Южной Италии, итальянский, наравне с немецким, был языком ее детства; всегда, когда она говорила с моей бабушкой или своей сестрой о чем-либо, что не следовало знать прислуге, она переходила на итальянский. Ризотто и редкие еще в ту пору артишоки, а также другие особенности южной кухни были знакомы мне с раннего детства, и когда я позднее приезжал в Италию, то с первой минуты чувствовал себя там как дома. Но семья матери была отнюдь не итальянской, а сугубо интернациональной: Бреттауэры, которые испокон веку занимались банковским делом, разбрелись (по примеру крупных еврейских банкирских семейств, но, естественно, в масштабах гораздо более скромных) из Высокого Эмса, небольшого местечка на швейцарской границе, по всему свету. Одни отправились в Санкт-Галлен, другие — в Вену и Париж, мой дедушка — в Италию, дядя — в Нью-Йорк, и международные связи дали им больше блеска, больший кругозор и к тому же некое семейное высокомерие. В этой семье уже не было мелких торговцев или маклеров, сплошь банкиры, директора, профессора, адвокаты и врачи, каждый говорил на нескольких языках, и я вспоминаю, с какой непринужденностью за столом у моей тетушки в Париже переходили с одного языка на другой. Это была семья, которая серьезно «заботилась о себе», и когда девушка из числа менее состоятельных родственников оказывалась на выданье, то всей семьей собирали ей приличное приданое, лишь бы предотвратить «мезальянс». Моего отца, правда, уважали как крупного промышленника, но моя мать, хотя и связанная с ним счастливым браком, никогда не потерпела бы, чтобы его родню ставили на одну ступень с ее. Эта гордость выходцев из «приличной» семьи у всех Бреттауэров была неискоренима, и когда в дальнейшем кто-нибудь из них желал высказать мне особое расположение, он снисходительно произносил: «Ты ведь настоящий Бреттауэр», и это звучало как: «Ты выбрал правильный путь».

Этот аристократизм, который самозванно присваивали себе некоторые еврейские семейства, с самого детства то забавлял, то раздражал моего брата и меня. Мы то и дело слышали, что это «благородные» люди, а те — «неблагородные», у каждого нашего приятеля выясняли происхождение вплоть до десятого колена, а также происхождение капитала у его родни. Это постоянное разграничение, которое и составляло главный предмет любого разговора в семье и в обществе, казалось нам в те времена в высшей степени смешным и снобистским.

Едва ли в каком-либо другом городе Европы тяга к культуре была столь страстной, как в Вене. Именно потому, что Австрия уже несколько столетий не имела политических амбиций, не знала особых удач в своих военных походах, национальная гордость сильнее всего проявилась в желании главенствовать в искусстве. От старой империи Габсбургов, которая некогда господствовала в Европе, давно уже отпали важнейшие и наиболее значительные провинции — немецкие, итальянские, фландрские и валлонские; нетронутой в своем прежнем блеске осталась столица — оплот двора, хранительница тысячелетней традиции. Римляне заложили этот город как цитадель, как форпост, чтобы защитить латинскую цивилизацию от варваров, и более чем тысячу лет спустя об эти стены разбилась движением османов на Запад. Здесь промчались Нибелунги, здесь над миром воссияла бессмертная плеяда музыкантов: Глюк, Гайдн и Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс и Иоганн Штраус; здесь сходились все течения европейской культуры; при дворе, у аристократов, в народе немецкое было кровно связано со славянским, венгерским, испанским, итальянским, французским, фландрским, и в том-то и состоял истинный гений этого города музыки, чтобы гармонично соединить все эти контрасты в Новое и Своеобразное, в Австрийское, в Венское. Готовый воспринять и наделенный особым даром к восприимчивости, этот город притягивал к себе самые полярные силы, разряжал, высвобождал, сочетал их; славно было жить здесь, в этой атмосфере духовной благожелатель-

ности, и стихийно каждый гражданин этого города воспитывался наднационально, как космополит, как гражданин мира.

Это искусство выравнивания, тонких музыкальных переходов явно проступало уже во внешнем облике города. Медленно, разрастаясь за столетия, органично расширяясь из сердцевины, он со своими двумя миллионами был достаточно населен, чтобы даровать всем блага и все многообразие большого города, и все же не стал настолько гигантским, чтобы оторваться от природы, как Лондон или Нью-Йорк. Последние дома города отражались в мощном течении Дуная или смотрели на широкую равнину, терялись в садах и полях или же взбирались вверх по пологим холмам, по последним обрамленным зелеными лесами отрогам Альп; и трудно было определить, где природа, а где город, одно растворялось в другом без противодействия и противоречия. В центре же, в свою очередь, ощущалось, что город рос, словно дерево, наращивая кольцо за кольцом; а вместо древнего крепостного вала самое срединное, самое главное ядро опоясывала Рингштрассе с ее парадными зданиями. В срединной части старые дворцы двора и аристократов говорили языком окаменевшей истории: здесь, у Лихновских, играл Бетховен, здесь, у Эстергази, гостил Гайдн, здесь, в старом университете, впервые прозвучало «Сотворение мира» Гайдна. Гофбург видел поколения императоров, Шёнбрунн — Наполеона, в соборе Стефана объединенные христианские князья колена преклоненно возносили благодарственную молитву за спасение Европы от турок, университет видел в своих стенах бесчисленных светил науки.

Здесь же гордо и пышно поднялась освещенными авеню и ослепительными магазинами новая архитектура. Но и тут старое враждовало с новым ничуть не сильнее, чем обработанный камень с нетронутой природой. Было чудесно жить здесь, в этом городе, который радушно принимал все чужое и охотно отдавал свое; в его легком, подобно парижскому, окрыляющем веселостью воздухе было более чем естественно наслаждаться жизнью. Да, Вена была городом наслаждений; но что же такое

культура, если не извлечение из грубой материи жизни самого тонкого, самого нежного, самого хрупкого — с помощью искусства и любви?

Будучи гурманом в кулинарии, исключительно заботясь о хорошем вине, терпком, свежем пиве, пышных мучных изделиях и тортах, этот город притяжал и на более тонкие наслаждения. Музицировать, танцевать, играть в театре, беседовать, вести себя деликатно, с тактом — все это культивировалось здесь как особое искусство. В жизни каждого, как и в обществе в целом, первостепенное значение имели не войны, не политика, не коммерция; первый взгляд среднего гражданина Вены в газету каждое утро был обращен не к статье о дебатах в парламенте или событиях в мире, а к репертуару театра, который в общественной жизни играл необычайно важную по сравнению с другими городами роль.

Ибо императорский театр, «Бургтеатр», для венца, для австрийца был отнюдь не просто сцена, на которой актеры играли спектакли; это был микроскоп, отражавший макрокосм, это было зеркало, в котором общество рассматривало себя самое как единственно верное «*cortigiano*»^{*} хорошего вкуса. В придворном актере зритель видел образец того, как надлежит одеваться, входить в комнату, как вести беседу, какие слова следует употреблять воспитанному человеку и каких следует избегать; сцена, кроме места развлечения, была слышимым и зримым пособием по хорошему тону, правильному произношению, и нимб благоговения, словно на иконе, окружал все, что имело хотя бы отдаленное отношение к придворному театру.

Премьер-министр, богатейший магнат могли ходить по улицам Вены, не привлекая к себе ничьего внимания; но придворного актера, оперную певицу узнавали любая продавщица и кучер; с гордостью рассказывали мы, мальчишки, друг другу, если нам посчастливилось увидеть кого-то из них (чьи

^{*}Придворный (*ит.*).

фотографии, чьи автографы собирал каждый), и этот почти религиозный культ распространялся даже на их окружение: парикмахер Зонненталя, кучер Йозефа Кайнца были почитаемыми людьми, которым в глубине души завидовали; многие франты гордились тем, что одеваются у того же портного. Юбилей или похороны известного актера становились событием, которое затмевало все политические события.

Постановка в «Бургтеатре» была заветной мечтой каждого венского писателя, потому что, помимо потомственного дворянства, давала еще целый ряд привилегий: бесплатные билеты пожизненно, приглашения на все официальные мероприятия; вы становились прямо-таки гостем в доме императора, и я еще помню ту торжественность, с какой происходило мое собственное посвящение. Утром директор «Бургтеатра» пригласил меня к себе в кабинет, чтобы поздравить и сообщить, что мою драму приняли в «Бургтеатр»; когда я вечером пришел домой, то нашел у себя его визитную карточку. Он мне, двадцатипятилетнему, нанес положенный ответный визит: став автором, пишушим для императорской сцены, я тем самым становился «gentleman», с которым директору кайзеровского учреждения надлежало обходиться *au pair**.

А все, что происходило в театре, касалось всех, даже тех, кто вообще не имел к нему отношения. Я припоминаю, например, эпизод моей ранней юности, когда наша кухарка однажды вбежала в комнату с глазами, полными слез: ей только что рассказали, что Шарлотта Вольтер — знаменитейшая актриса «Бургтеатра» — скончалась. Самое забавное в этом диковинном трауре заключалось, естественно, в том, что эта старая полуграмотная кухарка ни разу не была в «Бургтеатре» и никогда не видела Вольтер ни на сцене, ни в жизни; но великая национальная актриса была в Вене всеобщим достоянием в такой степени, что даже непричастный к театру воспринимал ее смерть как катастрофу.

* На равных (фр.).

Утрата любимого певца или деятеля искусства неизбежно повергала нацию в траур. Когда было решено снести «старый» «Бургтеатр», в котором впервые прозвучала «Свадьба Фигаро» Моцарта, все венское общество явилось в него как на похороны, торжественно и взволнованно; едва упал занавес, как все бросились на сцену, чтобы принести домой хотя бы щепку тех подмостков, на которых творили любимые артисты, и во многих домах даже десятилетия спустя можно было видеть эти реликвии, сберегаемые в дорогих шкатулках, точно в соборах — обломки святого креста.

Мы сами поступали немногим разумнее, когда сносили Безендорфский зал. Сам по себе этот маленький концертный зал, который предназначался исключительно для камерной музыки, представлял собой обычное, малоинтересное в художественном отношении сооружение — бывшая школа верховой езды князя Лихтенштейна, лишь с помощью отделки деревом непритязательно приспособленная для музыкальных целей. Но у него был резонанс старинной скрипки, для любителей музыки он был священным местом, потому что тут выступали Шопен и Брамс, Лист и Рубинштейн, потому что многие из знаменитых квартетов впервые прозвучали здесь. И вот он должен был уступить новому, специально построенному зданию; это было непостижимо для нас, переживших здесь незабываемые часы. Когда отзвучали последние такты Бетховена, исполненные квартетом Розе вдохновеннее, чем когда-либо, никто не покинул своих мест. Мы шумели и аплодировали, некоторые женщины всхлипывали, никто не хотел смириться с тем, что это прощание. В зале погасили люстры, чтобы заставить нас уйти. Ни один из четырехсот или пятисот фанатиков не двинулся со своего места. Полчаса, час мы оставались на местах, словно своим присутствием могли спасти старое, свято чтимое помещение. А как мы, будучи студентами, с помощью петиций и демонстраций, статей боролись за то, чтобы не сносили дом, в котором умер Бетховен. Каждое из этих исторических зданий в Вене было словно частью души, которую вырывали из наших тел.

Этот фанатизм по отношению к искусству, и в частности к театральному, охватывал в Вене все сословия. Сама по себе Вена благодаря вековым традициям была, по сути дела, несомненно, разноголосым и в то же время — как я однажды писал — великолепно оркестрованным городом. Дирижерский пульт все еще помещался в доме императора. Императорский дворец был центром наднациональной монархии не только в пространственном смысле, но также и в культурном. Дворцы австрийской, польской, чешской, венгерской аристократии как бы образовывали вокруг этого замка второе кольцо. Затем шло «хорошее общество», состоявшее из мелкого дворянства, высших чиновников, промышленников и «старых семейств», за ним — бюргеры и пролетариат. Все эти сословия жили каждое в своем кольце и даже в своих районах: высшая аристократия — в своих дворцах в центре города, дипломаты — в третьем районе, промышленники и купцы — вблизи Рингштрассе, бюргеры — в центральных районах, от второго до девятого, пролетариат — во внешнем кольце; но все соприкасались в театре и на больших торжествах, как, например, на Празднике цветов, когда триста тысяч человек в Пратере восторженно приветствовали великолепно украшенный цветами кортеж экипажей «верхних десяти тысяч».

В Вене все, что источало цвет или музыку, становилось поводом к празднику: религиозные шествия, подобно празднику тела Христова, военные парады, «бургмузыка», даже похороны собирали воодушевленные толпы народа; «красивые похороны» с пышной кавалькадой и множеством провожающих — и в этом выражалось честолюбие всякого истинного венца: даже свою смерть истинный венец обращал в веселое зрелище. В этой восприимчивости ко всему пестрому, громкому, праздничному, в этом наслаждении зрелищем как формой игры и отражения жизни, безразлично, на сцене или в реальном пространстве, весь город был един.

Над этой «театроманией» венцев, доходившей подчас в обычной жизни со всеми ее пересудами и сплетнями о знаме-

нитостях до гротеска, было совсем нетрудно подтрунивать, и наша австрийская инертность в политике, бесхозяйственность по сравнению с деловитостью соседнего немецкого государства и в самом деле отчасти могли быть приписаны этой страсти к развлечениям. Но в культурном отношении такая высокая оценка художественных событий продемонстрировала нечто единственное в своем роде — прежде всего, необычайное преклонение перед любым достижением в искусстве, затем, благодаря многовековой традиции, беспримерную чуткость к нему, а в конечном счете небывалый расцвет во всех областях культуры.

Лучше всего художнику работается там, где его ценят и даже переоценивают. Искусство всегда достигает высот там, где оно становится истинным делом всего народа. И так же как Флоренция, как Рим в эпоху Ренессанса притягивали к себе художников и делали их великими, ибо каждый из них чувствовал, что в его непрерывном соревновании со всеми горожанами ему непрестанно надо превосходить других и самого себя, так и в Вене музыканты и артисты понимали, что они значат для города. В венской опере, в венском «Бургтеатре» не прошла бы незамеченной ни одна фальшивая нота; всякое неверное вступление, всякое сокращение осуждались, и подобный контроль осуществлялся не только профессиональными критиками на премьерах, но изо дня в день бдительным и обостренным, благодаря привычке сравнивать, слухом всей публики. В то время как в политике, управлении, в обыденной жизни все вершилось довольно спокойно и по отношению к любым недочетам были снисходительны, а к любому промаху терпимы, к произведениям искусства подходили без скидок: здесь дело шло о чести города. Каждому певцу, каждому артисту, каждому музыканту постоянно приходилось работать на пределе, иначе бы от него отвернулись.

Стать любимцем Вены было прекрасно, но оставаться им — трудно: снижение уровня не прощалось. И этот неустанный и безжалостный контроль побуждал каждого художника

в Вене к высшим достижениям и держал все искусства на высшем уровне. Каждый из нас вынес из тех лет молодости строгий, бескомпромиссный подход к творчеству. Кому в опере при Густаве Малере довелось познакомиться с его суровойшей в мельчайших деталях дисциплиной, а в филармонии — понять, что такое органичный сплав вдохновения с педантизмом, тот теперь редко бывает полностью удовлетворен театральной или музыкальной постановкой. Но вместе с тем мы научились быть строгими также и по отношению к самим себе во всех областях творчества; целью для нас было достижение верха совершенства, что будущим творцам искусства прививалось далеко не во всех городах мира.

Но и глубоко в народе коренилось знание нужного ритма и уровня, ибо и маленький человек, сидевший за рюмкой, требовал от музыкантов такой же хорошей музыки, как от хозяина — вина; люди знали абсолютно точно, какой военный оркестр в Пратере играет с наивысшим «шиком»: «немецкие мастера» или венгры; те, кто жил в Вене, вдыхали, так сказать, вместе с воздухом чувство ритма. У нас, писателей, оно выразилось в особом чекане прозы, но точно так же проникло и в общество, и в повседневную жизнь. Венец без чувства прекрасного, без чувства формы был невыносим в так называемом хорошем обществе, но даже в низших сословиях и последний бедняк проникался неким чувством красоты, почерпнутым из самой природы, из атмосферы радостных человеческих отношений; без этой любви к культуре, без чувства одновременного наслаждения и контроля по отношению к этому благостному излишеству жизни невозможно было быть истинным венцем...

* * *

За последнее столетие искусство в Австрии лишилось своих былых традиционных покровителей и защитников: императорского дома и аристократии. Если в восемнадцатом веке Мария Терезия упрашивала Глюка обучать музыке своих дочерей, Иосиф II со знанием дела разбирал с Моцартом его

оперы, Леопольд III сам сочинял музыку, то последующие императоры, Франц II и Фердинанд, уже не проявляли никакого интереса к произведениям искусства, а наш император Франц Иосиф, который за все свои восемьдесят лет не прочел ни единой книги, кроме армейского устава, обнаружил даже явную антипатию к музыке. И на высшую аристократию теперь надежда была плоха; прошли те прекрасные времена, когда Эстергази давали приют Гайдну, Лобковицы, Кинские и Вальдштейны состязались за право первого исполнения Бетховена в своих дворцах, а графиня Тун бросалась на колени перед великим чародеем, чтобы тот не забирал из Оперы «Фиделио». Уже Вагнер, Брамс, Иоганн Штраус и Хуго Вольф не находили у них ни малейшей поддержки... Но гений Вены — специфически музыкальный и всегда был таковым, он приводил к гармонии все народы, все языковые контрасты, его культура — синтез всех западных культур; кто жил и творил там, чувствовал себя свободным от косности и предубеждений. Нигде не ощущал я себя европейцем с такой легкостью — и знаю: главным образом этому городу, который еще во времена Марка Аврелия защищал римскую, универсальную культуру, я обязан тем, что с детства любил идею содружества как главную идею моей жизни.

* * *

Хорошо, легко и беззаботно жилось в той старой Вене, и северяне-немцы смотрели довольно раздраженно и презрительно на нас, соседей по Дунаю, которые, вместо того чтобы быть «усердными» и придерживаться строгого порядка, жили на широкую ногу, любили поесть, радовались праздникам и театру, да к тому же писали отличную музыку. Вместо немецкого трудолюбия, которое в конце концов отравило и испакостило жизнь всем другим народам, вместо этого корыстного стремления опережать всех и вся, в Вене любили неспешно посидеть, обстоятельно поговорить и каждому — с несколько, быть может, небрежной обходительностью, но без всякой за-

висти, — каждому дать свой шанс. «Живи и дай жить другим» — таков был всеобщий венский принцип, который сегодня кажется мне более гуманным, чем все категорические императивы, и он беспрепятственно пробивал себе дорогу повсюду.

Бедные и богатые, чехи и немцы, евреи и христиане, не смотря на взаимное подтрунивание, мирно уживались бок о бок, и даже политические и социальные движения были лишены той ужасающей агрессивности, которая проникла в кровообращение времени лишь как ядовитый осадок от первой мировой войны. В старой Вене враждовали еще по-рыцарски, и те же самые депутаты, что перебранивались между собой в газетах, в парламенте, после своих цицероновских речей дружески сидели вместе за пивом или кофе и говорили друг другу «ты»; даже когда Луэгер, лидер антисемитской партии, стал бургомистром, это никоим образом не отразилось на личном общении, и что касается лично меня, то я должен признать, что ни в школе, ни в университете, ни в литературе никогда не испытывал никаких притеснений как еврей. Ненависть страны к стране, народа к народу, семьи к семье еще не набрасывалась на человека ежедневно из газет, она еще не разобщала ни людей, ни нации; стадное и массовое чувство не играло еще столь отвратительно грандиозной роли в общественной жизни, как сегодня: свобода в частной деятельности и поведении — сегодня едва ли воображаемая — считалась еще естественной; в терпимости еще не усматривали — как сегодня — мягкотелость и слабоволие, ее даже восхваляли как этическую силу.

Ибо век, в котором я родился и был воспитан, не был веком страстей. Это был упорядоченный мир, с четким социальным расслоением и плавными переходами, мир без суеты. Ритм новых скоростей — от станков, автомобиля, телефона, радио, самолета — пока не захватил человека, и время и возраст измерялись еще по-старому. Люди жили гораздо безмятежнее, и когда я пытаюсь воскресить в памяти, как выглядели взрослые, которые окружали мое детство, то мне задним чис-

лом бросается в глаза, что многие были не по возрасту полными. Мой отец, мой дядя, мои учителя, продавцы в магазинах, музыканты филармонии в сорок лет были тучными, «солидными» мужами. Они ходили степенно, они говорили размеренно и поглаживали в разговоре холеную, частенько уже с проседью бороду. Но седые волосы были только лишним доказательством солидности: «почтенный» человек сознательно воздерживался от жестикуляции и порывистых движений, как от чего-то неприличного. Не могу припомнить, чтобы даже во времена моей ранней юности, когда моему отцу не было еще сорока, он хотя бы раз быстро взбежал или спустился по лестнице или вообще сделал что-нибудь с явной поспешностью.

Спешка считалась не только невоспитанностью, она и в самом деле была излишней, ибо в этом буржуазном устойчивом мире с его бесчисленными страховками и прочными тылами никогда ничего не происходило неожиданно; какие бы катастрофы ни случались вне Австрии, на окраинах мира, ни одна из них не проникала сквозь прочно возведенную стену «надежной» жизни. Ни англо-бурская, ни русско-японская, ни даже война на Балканах ни на йоту не проникали в жизнь моих родителей. Они пролистывали газетные сообщения о битвах точно так же равнодушно, как спортивную рубрику.

И действительно, какое дело им было до того, что происходило за пределами Австрии? Что это меняло в их жизни? В их Австрии в ту пору затишья не было никаких государственных переворотов, никаких внезапных крушений ценностей; если акции на бирже иной раз падали на четыре или на пять процентов, то это уже называли «крахом» и, наморщив лоб, всерьез говорили о «катастрофе». Жаловались больше по привычке, чем всерьез, на якобы высокие налоги, которые на самом деле по сравнению с налогами послевоенного времени выглядели лишь как жалкая подачка государству. Тщательно составляли завещание, желая понадежнее предохранить внуков и правнуков от любых имущественных потерь, словно каким-то невидимым векселем ограждая себя от вечных стихий, а сами

жили беспечно и холили свои крохотные тревоги, словно послушных домашних животных, которых, в сущности, никто не боится. Поэтому всякий раз, когда случай дает мне в руки старую газету тех дней и я читаю взволнованные статьи о выборах в совет общины, когда я пытаюсь припомнить пьесы в «Бургтеатре» с их мелкими проблемками или непомерную страстность наших юношеских дискуссий о вещах в принципе пустячных, я не могу не улыбнуться. Насколько ничтожными были все эти заботы, как безоблачно то время! Им досталось лучшее, поколению моих родителей, дедушек и бабушек, оно прожило тихо, прямо и ясно свою жизнь от начала до конца.

И все же я не знаю, завидую ли я им, ибо жизнь тускло тлела словно бы в стороне от всех подлинных огорчений, невзгод и ударов судьбы, от всех кризисов и проблем, которые заставляют сжиматься наши сердца, но в то же время так величественно возвышают! Окутанные уютом, богатством и комфортом, они почти не имели понятия о том, какой нерутиной, полной драматизма может быть жизнь, о том, что она — вечный экспромт и нескончаемое крушение: в своем трогательном либерализме и оптимизме как далеки они были от мысли, что каждый следующий день, который брезжит за окном, может вдребезги разбить ее. Даже в самые черные ночи им не могло бы присниться, насколько опасным может стать человек и сколько скрыто в нем сил, чтобы справиться с опасностью и преодолеть испытания.

Мы, гонимые сквозь все водовороты жизни, мы, со всеми корнями оторванные от нашей почвы, мы, всякий раз начинавшие сначала, когда нас загоняли в тупик, мы, жертвы и вместе с тем орудия неведомых мистических сил, мы, для кого комфорт стал легендой, а безопасность — детской мечтой, — мы прочувствовали напряжение от полюса до полюса, а трепет вечной новизны — каждой клеткой нашего тела. Каждый час нашей жизни был связан с судьбами мира. Страдая и радуясь, мы жили во времени и истории в рамках гораздо больших, чем наша собственная ничтожная жизнь, как она ни стремилась

замкнуться в себе. Поэтому каждый из нас в отдельности, в том числе и самый безвестный, знает сегодня о жизни в тысячу раз больше, чем самые мудрые из наших предков. Но ничего не давалось нам даром: мы заплатили за все сполна и с лихвой.

ШКОЛА В ПРОШЛОМ СТОЛЕТИИ

В том, что после начальной школы меня отправили в гимназию, не было ничего удивительного. Каждая состоятельная семья, хотя бы из соображений престижа, настойчиво стремилась к тому, чтобы дать сыновьям «образование»: их заставляли учить французский и английский, знакомили с музыкой, для них приглашали сначала гувернанток, а затем домашних учителей. Но лишь так называемое «классическое» образование, открывавшее дорогу в университет, принималось всерьез в те времена «просвещенного» либерализма: репутация каждой «приличной» семьи требовала, чтобы хоть один из сыновей именовался доктором каких-нибудь наук. А путь до университета был долгим и отнюдь не легким. Пять лет в начальной школе да восемь в гимназии, изволь каждый день пять-шесть часов отсидеть за партой, а в остальное время корпиться над домашними заданиями по геометрии, физике и прочим школьным предметам, а также зубри — это помимо школы, для «общего развития», — как «живые» языки (французский, английский, итальянский), так и древние — латынь и греческий, всего, стало быть, пять языков. Этого было более чем достаточно, чтобы на физическое развитие, спорт и прогулки, не говоря уже о развлечениях и удовольствиях, времени не оставалось.

Смутно помнится, как лет семи нам пришлось разучить и петь хором какую-то песенку о «веселом и счастливом» детстве. Я и сейчас слышу мелодию этой примитивно-односложной песенки, но слова ее и тогда уже с трудом сходили с моих губ и уж менее всего проникали в мое сердце. Потому что, если говорить честно, все мои школьные годы — это сплошная,

безысходная, все возрастающая тоска и нестерпимое желание избавиться от каждодневного ярма. Не могу припомнить, чтобы я когда-нибудь был «весел и счастлив» в этом размеренном, бессердечном и бездуховном школьном распорядке, который основательно отравлял нам прекраснейшую, самую беспечную пору жизни, и, признаюсь, по сей день не могу побороть зависти, когда вижу, насколько счастливее, свободнее, самостоятельнее протекает детство в новом столетии. Я не верю своим глазам, наблюдая, как сегодняшние дети непринужденно и почти *au pair* беседуют со своими учителями, как они охотно, не испытывая постоянного чувства неполноценности (не то что мы в свое время), спешат в школу, как они открыто выражают и в школе и дома свои самые сокровенные помыслы и желания юных, пытливых душ — свободные, самостоятельные, естественные существа, — а мы, едва переступив порог ненавистного здания, сразу же должны были вбирать голову в плечи, чтобы не стукнуться лбом о незримое иго. Школа была для нас воплощением насилия, мучений, скуки, местом, в котором необходимо поглощать точно отмеренными порциями «знания, которые знать не стоит», схоластические или поданные схоластически сведения, которые мы воспринимали как что-то не имеющее ни малейшего отношения ни к реальной действительности, ни к нашим личным интересам. Это было тупое, унылое учение не для жизни, а ради самого учения, которое нам навязывала старая педагогика. И единственным по-настоящему волнующим, счастливым моментом, за который я должен благодарить школу, стал тот день, когда я навсегда захлопнул за собой ее двери.

Не то, чтобы наши австрийские школы были плохи сами по себе. Напротив, так называемая учебная программа была тщательно разработана на основе столетнего опыта, и при творческом к ней подходе она могла бы стать плодотворной основой довольно универсального образования. Но именно эта педантичная заданность и черствый схематизм делали наши школьные уроки ужасающе унылыми и неживыми — бездуш-

ная обучающая машина никогда не настраивалась на личность, а лишь оценками «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» показывала, насколько ученик соответствовал требованиям учебной программы. Понятно, что эта нелюбовь к человеку, это холодное обезличивание и казарменное обращение не могли вызвать в нас ничего, кроме озлобления. Нам надо было вызубрить урок, и учителя проверяли, как мы его вызубрили; но ни один учитель за все восемь лет ни разу не спросил, что мы сами хотели бы изучать; именно этой стимулирующей поддержки, о которой втайне мечтает каждый юноша, нам не хватало.

Эта безысходность сказывалась даже на внешнем облике гимназического здания — типичной постройке целевого назначения, сооруженной лет этак пятьдесят тому назад на скорую руку, дешево и сердито. Эта «учебная казарма» с холодными, плохо побеленными стенами, низкими потолками в классах (ни единой картинки, ничего, что радовало бы глаз), с уборными, от которых разило на все здание, чем-то походила на старую дешевую гостиницу, которой уже пользовалось множество людей и которой такое же множество так же безропотно и безучастно еще воспользуется; и по сей день я не в силах забыть спертый дух, присущий этому зданию, как и всем австрийским административным учреждениям, который у нас называли «казенный», — этот запах натопленных, переполненных, никогда как следует не проветриваемых помещений, который пропитал сначала одежду, а затем и душу.

Сидели по двое, как невольники на галерах, за низкими деревянными партами, которые искривляли позвоночник, и сидели до тех пор, пока не затекали ноги; зимой над нашими учебниками трепетал голубоватый свет открытой газовой горелки, а с наступлением лета окна тотчас же занавешивались, дабы мечтательный взгляд не смог восхититься маленьким квадратом голубого неба. То столетие еще не открыло, что юные неокрепшие организмы нуждаются в движении и в воздухе. Десятиминутную перемену в холодном, узком коридоре

считали достаточной; дважды в неделю нас водили в спортивный зал, чтобы там при наглухо закрытых окнах бессмысленно топтаться на дощатом полу, с которого при каждом шаге вздымались на целый метр облака пыли; воздавая должное гигиене, государство таким способом осуществляло принцип «Mens sana in corpore sano»*. Даже через много лет, проходя мимо этого угрюмого здания, я чувствовал облегчение при мысли, что мне не нужно больше посещать этот застенок нашей юности; когда по случаю пятидесятилетия этого августейшего заведения было организовано торжество и меня, как бывшего отличника, попросили произнести парадную речь в присутствии министра и бургомистра, я вежливо отказался. Мне не за что было благодарить эту школу, и любое слово в этом духе обернулось бы ложью.

Но учителя наши были не виноваты в том, что это учреждение работало вхолостую. Они не были ни добрыми, ни злыми, ни тиранами, но, конечно, и не товарищами, всегда готовыми прийти на помощь, а скорее бедолагами, рабски привязанными к схеме, к предписанной свыше учебной программе; они должны были выполнять свое «задание», как мы свое, — это мы явственно ощущали, — и как мы были счастливы, когда после полудня раздавался звонок, который дарил свободу как нам, так и им. К нам они не питали ни любви, ни ненависти — да и с какой стати, ведь они о нас ровным счетом ничего не знали, лишь очень немногих называя по имени; ведь, согласно тогдашней методе обучения, ничто не касалось их, помимо того, сколько ошибок сделал тот или иной ученик в последней работе.

Они сидели наверху, за кафедрой, а мы внизу, они спрашивали, а мы отвечали, иной связи между нами не было. Ибо между учителем и учеником, между кафедрой и партией, зримым верхом и зримым низом находился невидимый барьер «авторитета», исключавший любой контакт. И если бы учи-

* В здоровом теле здоровый дух (лат.).

тель решил рассматривать ученика как личность, которая требует особого подхода, и взялся бы, как это нынче принято, дать его «героис», то есть его характеристику, то по тогдашним временам он бы намного превысил и свои обязанности, и свои полномочия; более того — любая неофициальная беседа считалась опасной для его авторитета, ведь она поставила бы нас, учеников, чуть ли не на один уровень с ним, наставником. Ничто для меня не является лучшим показателем отсутствия какой бы то ни было духовной и подлинной связи между нашими учителями и нами, чем то, что я перезабыл все имена их и лица. С фотографической резкостью запечатлела моя память до сих пор образ кафедры и классного журнала, в который мы норовили заглянуть, потому что в нем были наши оценки; я вижу небольшую красную записную книжку, в которую заносились предварительные замечания, и короткий черный карандаш, проставлявший цифры, вижу свои собственные тетради и учительские поправки в них, сделанные красными чернилами, но я не вижу ни одного лица — быть может, оттого, что перед учителем мы всегда стояли с опущенными или невидящими глазами.

Это недовольство школой не было некоей моей личной настроенностью; не могу вспомнить ни одного из своих друзей, кто не чувствовал бы с отвращением, как это унылое однообразие тормозит лучшие наши устремления и интересы, подавляет их. И лишь гораздо позднее мне стало ясно, что этот сухой и бездушный метод воспитания молодежи отражал не столько равнодушное отношение государства, сколько определенную — разумеется, тщательно скрываемую — установку. Окружавший нас мир, все свои помыслы сосредоточивший исключительно на фетише самосохранения, не любил молодежи, более того — относился к молодежи подозрительно.

Кичившееся своим неуклонным «прогрессом», своим порядком, буржуазное общество провозглашало умеренность и солидность единственной истинной добродетелью человека во всех сферах жизни; рекомендовалось воздерживаться от лю-

бой поспешности в нашем продвижении вперед. Австрия во главе с ее старым императором, управляемая старыми министрами, была старым государством, которое надеялось сохранить свое положение в Европе без каких-либо усилий, исключительно неприятием любых радикальных изменений; молодые люди, всегда стихийно жаждущие скорых и коренных перемен, считались поэтому сомнительным элементом, который следует как можно дольше придерживать. И следовательно, не было никаких оснований для того, чтобы делать нам наши гимназические годы приятными; все стадии роста мы должны были преодолевать терпеливым выжиданием.

Из-за этого постоянного одергивания возрастные ступени приобретали совершенно другую значимость, чем сегодня. С восемнадцатилетним гимназистом обращались как с ребенком, его наказывали, когда заставляли где-нибудь с сигаретой, ему надлежало покорно поднимать руку, если по естественной надобности требовалось покинуть парту; но и мужчина в тридцать лет считался неоперившимся; и даже сорокалетнего еще не признавали достаточно зрелым для ответственной должности. Когда — поразительное исключение! — Густав Малер в свои тридцать восемь лет был назначен директором Королевской оперы, по всей Вене прошли испуганный ропот и удивление: подумать только, первый институт искусств доверили «такому молодому человеку» (никто не помнил, что Моцарт в тридцать шесть, а Шуберт в тридцать один год уже закончили свой жизненный путь). Подозрение, что каждый молодой человек «недостаточно устойчив», чувствовалось тогда во всех кругах. Мой отец никогда не принял бы молодого человека в свое дело, и тому, кто, на свою беду, выглядел слишком молодо, повсюду приходилось преодолевать недоверие. Вещь немислимая сегодня: на любом поприще молодость являлась недостатком, а старость — достоинством. Если сегодня, в нашем совершенно изверившемся мире, сорокалетние делают все, чтобы выглядеть тридцатилетними, а шестидесятилетние — сорокалетними, если сегодня молодость, энергич-

ность, активность и самоуверенность задают тон, то в ту эпоху солидности каждый, кто хотел выдвинуться, должен был использовать любую маскировку, чтобы выглядеть старше. Газеты рекламировали средства для ускоренного роста бороды; двадцатичетырех- или двадцатипятилетние молодые врачи, которые только-только сдали экзамен, отращивали окладистые бороды и носили, даже когда в этом не было необходимости, золотые очки, лишь бы у своих первых пациентов создать впечатление «опытности». Длинный черный сюртук, солидная походка, еще лучше легкая полнота — вот что помогало создать иллюзию зрелости, и честолюбие побуждало хотя бы внешне отречься от подозреваемого в несолидности возраста; чтобы нас не принимали за гимназистов, мы уже с шестого класса вместо ранцев носили папки. Все, что теперь представляется нам в людях достойным зависти: свежесть, уверенность в себе, немногословность, пытливость, юношеский оптимизм, считалось в то ценившее только «солидность» время подозрительным.

Лишь имея в виду эту странную установку, можно понять, что государство использовало школу как орудие для поддержания своего авторитета. Нас прежде всего надо было воспитать так, чтобы все существующее мы почитали совершенным, мнение учителя — непогрешимым, слово отца — неоспоримым, государственные институты — идеальными и бессмертными. Второй основной принцип той педагогики, который действовал и в семье, был направлен на то, чтобы молодым людям жилось бы не слишком сладко. Прежде чем получить какие-нибудь права, они должны были осознать, что у них есть обязанности, и прежде всего обязанность беспрекословно повиноваться. С самого начала нам внушалось, что мы, ничего еще в жизни не свершившие и никакого опыта не обретшие, должны быть благодарны уже за то, что нам предоставлено, и не иметь никаких поползновений что-либо просить или требовать.

Этот нелепый метод запугивания в наше время применялся

с самого раннего детства. Прислуга и неумные матери грозили трех-четырёхлетним детям, что позовут полицейского, если дети не перестанут плохо вести себя. В гимназические годы, когда мы приносили домой плохую отметку по какому-нибудь второстепенному предмету, нам угрожали, что заберут нас из школы и заставят учиться ремеслу — самая страшная угроза, которая только существовала в кругу буржуазии: деградация до пролетариата, — а если молодые люди, движимые страстным стремлением к знаниям, искали у взрослых ответа на самые насущные вопросы, то их останавливали высокомерным «Этого ты еще не поймешь». И этот метод использовался повсеместно: дома, в школе и в государственных учреждениях.

Молодому человеку не уставали внушать, что он еще не «созрел», что он ничего не смыслит, что ему надлежит слушать и все принимать на веру, но самому никогда не высказываться, а тем более возражать. По этой причине и страдалец-учитель, который восседал наверху за кафедрой, должен был оставаться для нас неприступным идеалом, укрощающей все наши мысли и чувства «учебной программой». А каково нам в гимназии: хорошо ли, плохо ли, — это никого не волновало. Фактически миссия учителя тогда сводилась к тому, чтобы по возможности приспособить нас к заведенному порядку, не повысив нашу энергию, а обуздав ее и обезличив.

Подобное психологическое или, скорее, антипсихологическое давление на молодежь может воздействовать двояко: либо парализующе, либо стимулирующе. Сколько «комплексов неполноценности» породил этот абсурдный метод воспитания, можно узнать из отчетов психоаналитиков; быть может, не случайно этот комплекс открыли именно те люди, которые сами прошли сквозь наши старые австрийские школы. Лично я благодарен этому давлению за рано проявившуюся страсть к свободе, едва ли известную в такой крайней форме нынешней молодежи, и за ненависть к любому диктату, ко всякому вещанию «сверху вниз», сопутствовавшую мне всю мою жизнь.

Многие годы эта неприязнь к любой категоричности и догматизму была у меня просто произвольной, и я уже стал забывать ее истоки. Но когда однажды во время одной из моих лекционных поездок внезапно выяснилось, что я должен выступать в огромной университетской аудитории с кафедры, с возвышения, в то время как слушатели будут сидеть внизу, на скамьях, — как мы, покорные и безмолвные ученики, — меня вдруг охватило чувство неловкости. Я вспомнил, как в школьные годы страдал от этого отчуждения, диктаторского, доктринерского вещания сверху вниз, и мной овладел страх, что, выступая с кафедры, я буду производить такое же обезличенное, казенное впечатление, как в свое время наши учителя на нас; из-за этого обстоятельства это выступление стало самым неудачным в моей жизни.

* * *

До четырнадцати или пятнадцати лет мы с грехом пополам довольствовались гимназией. Подтрунивали над учителями, с холодной любознательностью учили уроки. Но вот наступил час, когда школа нам окончательно опротивела и стала помехой. Незаметно свершился странный феномен: мы, вступившие в гимназию десятилетними мальчиками, за первые же четыре года духовно обогнали ее. Мы интуитивно чувствовали, что ничему существенному здесь не научимся, а предметы, которые нас интересовали, мы знали даже лучше наших бедных учителей, которые после студенческих лет не открыли по собственной воле ни одной книги. И другое противоречие с каждым днем становилось все явственнее: на скамьях, где мы сидели — вернее, просиживали брюки, — мы не слышали ничего нового или такого, что представлялось бы нам достойным внимания, а за окном был город, полный всяких соблазнов, город с его театрами, музеями, книжными магазинами, университетом, музыкой, где каждый новый день приносил разные неожиданности. И наша неутоленная жажда знаний, духовная, художественная, ненасытная пытливость, не нахо-

дившая в школе никакой пищи, страстно потянулась навстречу всему тому, что происходило за пределами гимназии. Сначала интерес к искусству, литературе, музыке обнаружили в себе двое или трое из нас, затем дюжина и наконец почти все.

Ибо восторженность у молодых людей словно инфекционное заболевание. Она передается в классе от одного к другому, как корь или скарлатина, и неофиты с детским тщеславным честолюбием, подгоняя друг друга, стремятся как можно быстрее превзойти остальных своими познаниями. Какое направление примет эта страсть — отчасти дело случая; появится в классе собиратель почтовых марок, и вот уже набирается добрая дюжина подобных же глупцов; если трое бредят балеринами, то и остальные будут ежедневно толкаться у входа в оперный театр. Три года после нашего шел класс, который весь одержим был футболом, а до того был класс, который увлекался социализмом и Толстым. То, что мой выпуск случайно оказался союзом фанатиков искусства, возможно, стало решающим для всей моей жизни.

Само по себе увлечение театром, литературой и искусством было в Вене совершенно естественным: культурным событиям венские газеты отводили особое место; повсюду, куда ни приди, взрослые обсуждали оперные или драматические постановки, в витринах всех канцелярских магазинов были выставлены портреты знаменитых артистов; спорт еще считался грубым занятием, которого гимназист должен был сторониться, а кинематограф с его идолами для масс еще не был изобретен. И дома можно было не опасаться противодействия: театр и литература считались «невинными увлечениями» в противоположность карточной игре или донжуанству. Мой отец, как и другие венцы его поколения, в молодости тоже грезил театром и с тем же восторгом принимал постановку «Лоэнгрина» под руководством Рихарда Вагнера, как мы — премьеры Рихарда Штрауса и Герхарта Гауптмана. Само собой разумеется, что мы, гимназисты, стекались на каждую премьеру; иначе как ты будешь выглядеть в глазах более счастливых

одноклассников, если на следующее утро в школе не сумеешь рассказать о каждой подробности...

Если бы учителя наши не были так равнодушны к нам, то они бы заметили, что по какому-то мистическому совпадению ровно в полдень перед каждой премьерой — а мы вынуждены были занимать очередь уже в три часа, чтобы получить единственно доступные нам входные билеты, — две трети учеников заболели. Будь они повнимательней, то могли бы обнаружить еще, что под обложками наших латинских грамматик лежат стихи Рильке, а в тетради по математике переписываются замечательные стихи из одолженных книг. Каждый день мы придумывали все новые уловки, чтобы скучные школьные уроки использовать для чтения; в то время как учитель нудно рассказывал нам о «наивной и сентиментальной» поэзии Шиллера, мы под партой читали Ницше и Стриндберга, о существовании которых бравый старикан даже не подозревал.

Нами, словно лихорадка, овладела страсть все знать, докопаться до всего, что происходит в искусстве и науке; после обеда мы пробирались в студенческой гуще в университет послушать лекции; мы посещали выставки, даже ходили в анатомический театр, чтобы присутствовать на вскрытии. Всюду и во все мы совали свой нос. Проникали на репетиции филармонического оркестра, копались в книгах у букинистов, ежедневно отыскивали новинки в витринах книжных магазинов. Но главное — читали, читали все, что попадет под руку. Читали все, что могли раздобыть в библиотеках или друг у друга. А основные новости мы узнавали в нашем «просветительском центре» — кафе.

Чтобы понять это, необходимо знать, что венское кафе представляло собой заведение особого рода, которое невозможно сравнить ни с каким другим в целом мире. В сущности, это своеобразный демократический клуб, где кто угодно, потратив гроши на чашечку дешевого кофе, может сидеть часами, спорить, писать, играть в карты, получать почту, просматривать любые газеты и журналы. В каждом мало-мальски

приличном венском кафе имелись комплекты всех венских газет, и не только венских, но и немецких, а также французских, английских, итальянских, американских; получали здесь и крупнейшие литературные и художественные журналы мира, «Меркюр де Франс» не реже, чем «Нойе рундшау», «Студио» и «Берлингтон-мэгэзин». Таким образом, мы из первых рук узнавали обо всем, что происходило в мире, о каждой новой книге, о каждой премьере, где бы она ни состоялась, и сравнивали критические отзывы во всех газетах; ничто, быть может, так не способствовало бурной интеллектуальной жизни и осведомленности австрийца в международных делах, как то, что в кафе он мог так всесторонне ознакомиться с событиями в мире и тут же обсудить их в кругу друзей.

Мы ежедневно просиживали там часами, и ничто не ускользало от нас. Ибо благодаря общности наших интересов мы следили за *orbis pictus** событий в мире искусства не двумя, а двадцатью или сорока глазами; что пропустил один, высмотрел другой; в нашем неумемном познании нового и новейшего мы по-детски хвастливо и с почти спортивным азартом стремились обставить один другого и прямо-таки ревновали друг друга к сенсациям. Когда, например, при обсуждении тогда еще запрещенного Ницше кто-то из нас вдруг заявлял с нарочитым превосходством: «А ведь в идее эгоизма Кьеркегора куда больше заложено», мы тотчас лишались покоя. «Кто такой Кьеркегор, о котором Х. знает, а мы нет?» На следующий день мы бросались в библиотеку, чтобы раздобыть книги этого давно забытого датского философа, ибо не знать чего-то, что знал другой, было стыдно; первооткрытие именно последнего, самого нового, самого экстравагантного, необычного, чего еще никто — а прежде всего официальная литературная критика наших добропорядочных изданий — не раскусил, — это было нашей страстью (которой я лично предавался еще долгие годы).

*Здесь: калейдоскоп (*лат.*).

Знать надлежало именно то, что еще не признано, нашу особую приязнь вызывало лишь труднодоступное, вычурное, своеобразное и неповторимое; поэтому самое загадочное, самое далекое от нашей жизни не могло укрыться от нашей коллективной неизбывной пытливости. Стефан Георге и Рильке, к примеру, в нашу гимназическую пору издавались тиражом двести-триста экземпляров, из которых максимум три или четыре нашли дорогу в Вену; ни один книготорговец не мог их предложить, ни один из официальных критиков ни разу не упомянул имя Рильке. Но мы каким-то чудом знали каждую его строку.

Безусые, неоперившиеся юнцы, днями просиживавшие за школьной партой, действительно составляли идеальную публику, о которой может только мечтать молодой поэт, — любознательную, критически настроенную, способную восхищаться. Ибо наш энтузиазм был беспределен: во время уроков, по пути в школу и из школы, в кафе, в театре, на прогулке мы, подростки, годами только и говорили что о книгах, картинах, музыке, философии; звездой на нашем небосводе был всякий, кто привлекал внимание публики, будь то актер или дирижер, писатель или журналист. Я чуть не испугался, когда, годы спустя, нашел у Бальзака такие слова о его молодости: «*Les gens célèbres étaient pour moi comme des dieux qui ne parlaient pas, ne marchaient pas, ne mangeaient pas comme les autres hommes*»*. Ибо точно так же чувствовали и мы.

Увидеть на улице Густава Малера было событием, которое на следующее утро гордо преподносилось друзьям как личный триумф, а когда однажды меня, мальчика, представили Иоганнесу Брамсу и он дружески похлопал меня по плечу, несколько дней голова у меня шла кругом. В свои двенадцать лет я, правда, не совсем точно представлял, что именно создал Брамс, но сама его слава, флюиды творчества оказывали по-

* Великие люди были для меня богами, которые не разговаривали, не ходили и не ели, подобно простым смертным (фр.).

трясающее воздействие. Премьера Герхарта Гауптмана в «Бургтеатре» переполюшила, еще за несколько дней до начала репетиций, весь наш класс; мы вертелись рядом с актерами и статистами, чтобы первыми — раньше всех остальных! — узнать сюжет пьесы и состав исполнителей; мы стриглись (не боюсь говорить и о наших глупостях) у парикмахера из «Бургтеатра», чтобы разведать что-нибудь о наших любимых актерах, а одного ученика из младшего класса особенно обхаживали только потому, что его дядя служил осветителем в оперном театре и мы благодаря ему иногда контрабандой проникали на репетиции, где, оказавшись за кулисами, испытывали страх почище того, который чувствовал Данте, вступая в священные круги рая. Настолько мощно действовало на нас притяжение славы, что, и преломленная сквозь самые отдаленные грани, она вызывала в нас благоговение; бедная старушка казалась нам сверхчеловеческим существом только потому, что она приходилась внучатой племянницей Францу Шуберту, и на улице мы с почтением глядели вслед даже камердинеру Йозефа Кайнца, потому что он имел счастье находиться рядом с любимейшим и гениальнейшим артистом.

* * *

Я знаю, конечно, сколько в этом всеядном энтузиазме таилось нелепости, сколько простого обезьянничанья, сколько элементарного желания перещеголять всех, сколько детского честолюбия почувствовать себя, благодаря увлечению искусством, высокомерно презирающим пошлое окружение родственников и учителей. Но еще и сегодня я поражаюсь, как много мы, молодые люди, знали благодаря этой всепоглощающей страсти к литературе, как рано, благодаря этим нескончаемым спорам и скрупулезному анализу, мы обрели способность критически мыслить. В семнадцать лет я не только был знаком с каждым стихотворением Бодлера или Уолта Уитмена, но и знал многие наизусть, я думаю, что за всю остальную жизнь не читал так много, как в эти школьные и университет-

ские годы. Имена, которые получили всеобщее признание лишь десятилетие спустя, для нас были совершенно привычны, и даже самое незначительное задерживалось в памяти, поскольку добывалось с трудом.

Однажды я рассказал моему уважаемому другу Полю Валери, сколько же лет моему литературному знакомству с ним: еще тридцать лет назад я читал его стихи и любил их. Валери дружески улыбнулся мне: «Не фантазируйте, дорогой друг! Мои стихи появились лишь в 1916 году». Но затем он поразился, когда я до мельчайших подробностей описал ему обложку небольшого литературного журнала, в котором мы в 1898 году прочли его первые стихи. «Но ведь их едва ли кто-нибудь знал в Париже, — воскликнул он удивленно, — как же вы смогли раздобыть их в Вене?» «Точно так же, как вы, будучи гимназистом, раздобыли в вашем провинциальном городе стихи Малларме, которые официальной литературе тоже не были известны», — отвечал я. И он согласился со мной: «Молодые люди открывают для себя поэтов, потому что хотят их открыть».

Мы в самом деле чуяли ветер, прежде чем он пересекал границу, потому что всюду совали свой нос. Мы находили новое, потому что желали нового, потому что испытывали голод по отношению к тому, что принадлежало нам, и только нам, а не миру наших отцов, окружавшему нас. Молодые, подобно некоторым животным, способны предчувствовать перемену погоды, и вот наше поколение, гораздо раньше, чем наши учителя и университеты, ощутило, что вместе с уходящим столетием кончается что-то и в воззрениях на искусство, что начинается революция или по меньшей мере переоценка ценностей. Добрые солидные мастера эпохи наших отцов — Готфрид Келлер в прозе, Ибсен в драме, Иоганнес Брамс в музыке, Лейбль в живописи, Эдуард фон Гартман в философии, — на наш взгляд, несли в себе всю размеренность мира надежности; несмотря на свой технический, свой нравственный уровень, они нас больше не интересовали. Мы инстинк-

тивно чувствовали, что их холодный, хорошо темперированный ритм чужд нашей беспокойной крови и уже не гармонирует с ускоренным ритмом времени.

На счастье, как раз в Вене жил самый прозорливый ум молодого поколения немцев, Герман Бар, который неукротимо и страстно отстаивал все новое и непривычное: с его помощью в Вене был открыт «Сецессион», в котором выставляли парижских импрессионистов и пуантилистов, норвежца Мунка, бельгийца Ропса и прочих новаторов; тем самым была открыта дорога их непризнанным предшественникам — Грюневальду, Греко и Гойе. Вдруг, благодаря Мусоргскому, Дебюсси, Штраусу и Шёнбергу, мы научились не только видеть, но и слышать по-новому новые ритмы и тембры в музыке; в литературу с Золя, Стриндбергом и Гауптманом пришел реализм, с Достоевским — славянский демонизм, с Верхарном, Рембо, Малларме — неизвестная ранее одухотворенность и изысканность лирического поэтического искусства. Ницше взорвал философию, появилась более смелая, более свободная архитектура, которая ратовала за простоту и целесообразность.

Старый удобный порядок вдруг был нарушен, его нормы «эстетически прекрасного», до сих пор считавшиеся непогрешимыми, были поставлены под сомнение, и в то время как официальные критики наших «солидных» буржуазных газет, зачастую приходя в ужас от дерзких экспериментов, бранными словами «декадентский» или «анархистский» пытались остановить неудержимое течение, мы, молодые люди, с восторгом бросались в прибой там, где он бурлил яростнее всего. У нас было такое чувство, что началось время для нас, наше время, когда наконец вступает в свои права молодежь. Таким образом, наша беспокойно ищущая и неумная страсть вдруг приобрела смысл: мы, молодые люди, со школьной скамьи могли участвовать в этих неистовых и часто жестоких битвах за новое искусство. Где бы ни ставился эксперимент, будь то премьеры Ведекинда или чтение новых стихов, мы непременно

были тут как тут со всей силой не только наших душ, но и рук; сам видел, как на премьерe одного из ранних атональных произведений Арнольда Шёнберга, когда какой-то господин яростно зашипел и свистнул, мой друг Бушбек выдал ему столь же яростную затрещину; повсюду мы были застрельщиками и авангардом нового искусства только потому, что оно было новым, потому, что пыталось изменить мир для нас, чей черед жить наступил. Мы чувствовали: *nostra res agitur**.

Но было и еще кое-что, безгранично интересовавшее и привлекательное для нас в этом искусстве: оно было почти без исключений искусством молодых. В поколении наших отцов поэт или музыкант завоевывал признание лишь в том случае, если «оправдывал» себя, если прибивался к спокойному, солидному течению буржуазного вкуса. Все, кого нас учили почитать, держали себя респектабельно. Они — Вильбрандт, Эберс, Феликс Дан, Пауль Гейзе, Ленбах, все эти давно забытые ныне любимцы того времени, — носили красивые, с проседью бороды поверх поэтических бархатных блуз. Они фотографировались с вдохновенным взглядом, всегда в «достойных» и «поэтических» позах, они вели себя как придворные советники и сановники и, соответственно, любили ордена. Молодые же поэты, художники или музыканты в лучшем случае аттестовались как «многообещающие таланты», а заслуженное признание откладывалось до лучших времен. Та осмотрительная эпоха не любила преждевременно одаривать благосклонностью тех, кто не зарекомендовал себя долголетним «солидным» творчеством.

Новые поэты, музыканты, художники были все молоды: Герхарт Гауптман, внезапно всплывший из полной неизвестности, в тридцать лет покорила немецкую сцену, а Стефан Георге и Райнер Мария Рильке, оба двадцати трех лет от роду — раньше, стало быть, чем достигли по австрийским законам совершеннолетия, — обрели литературную славу и фанатич-

* Дело касается нас (*лат.*).

ных приверженцев. В нашем родном городе за какую-нибудь ночь возникла группа «Молодая Вена»: Артур Шницлер, Герман Бар, Петер Альтенберг — это они утонченностью всех художественных средств впервые смогли придать самобытной австрийской культуре европейское значение. Но была одна личность, более всех других чаровавшая, искушавшая, возбуждавшая и вдохновлявшая нас, был удивительный и единственный феномен Гуго фон Гофманстала: в облике чуть ли не ровесника наша молодежь увидела воплощение не только своих высочайших чаяний, но и абсолютного поэтического совершенства.



Явление юного Гофманстала было и будет одним из великих чудес раннего совершенства; я не знаю в мировой литературе ни одного примера, чтобы в столь юном возрасте кто-либо, кроме Китса и Рембо, с таким безупречным мастерством владел языком, достигал таких высот возвышенной трепетности, так насыщал поэтической субстанцией самую случайную строку, как этот блистательный гений, который уже на шестнадцатом или семнадцатом году жизни своими неповторимыми стихами и до сих пор еще не превзойденной прозой навечно вписал свое имя в анналы немецкого языка. Его яркий дебют и ранняя зрелость были чудом, какое едва ли повторяется в судьбе одного поколения. Вот почему те, кто впервые узнал о нем, дивились неправдоподобному его появлению как чему-то сверхъестественному.

Герман Бар рассказывал мне, как был потрясен, когда получил для своего журнала не откуда-нибудь, а из самой Вены сочинение «какого-то Лориса» — печататься под своим именем гимназистам не разрешалось; среди корреспонденций со всего света ему никогда еще не встречалось произведение, в котором такие сокровища мысли передавались бы столь трепетно благородным языком и вместе с тем так легко и непринужденно. «Что за «Лорис», кто этот неизвестный?» — спра-

шивал он себя. Несомненно, немолодой человек, который годами в безмолвии накапливал познания и в таинственном затворничестве претворял нежнейшую эссенцию языка в почти чувственную магию. И такой мыслитель, столь взысканный природой поэт живет в этом же городе, и он о нем никогда не слышал! Бар тотчас написал незнакомцу и условился о встрече в кафе — знаменитом кафе Гринштайдля, резиденции молодой литературы. Неожиданно к его столу легким, быстрым шагом подошел стройный, еще безусый гимназист в коротких подростковых брюках и отрывисто произнес высоким ломающимся голосом: «Гофмансталь! Я и есть Лорис». Даже годы спустя Бар волновался, рассказывая о том, как он был ошеломлен. Сначала он не захотел поверить. Подобным искусством, подобной широтой и глубиной видения, таким паразитическим знанием жизни владеет гимназист, который еще и не начал ее!

И почти то же самое мне рассказывал Артур Шницлер. В ту пору он еще был врачом, поскольку первые литературные успехи не гарантировали ему прожиточного минимума; но он уж считался главой «Молодой Вены», и еще более молодые часто обращались к нему за советом и оценкой. Где-то в гостях он познакомился с долговязым юношей-гимназистом, который обращал на себя внимание своим быстрым умом, и, когда этот гимназист попросил позволения прочитать ему небольшую пьесу в стихах, он охотно пригласил его к себе в свою холостяцкую квартиру, не питая, впрочем, особых надежд: пьеса гимназиста, сентиментальная или псевдоклассическая, только и всего, подумал он. И пригласил нескольких друзей. Гофмансталь явился в своих коротких подростковых брюках весьма взволнованный и смущенный и начал читать. «Через несколько минут, — рассказывал Шницлер, — мы все обратились в слух и с удивлением обменивались почти испуганными взглядами. Стихов подобного совершенства, подобной безупречной пластики, подобной музыкальной проникновенности мы никогда не слышали ни от одного живущего, да едва ли и

верили, что после Гёте такое возможно. Но еще более поразительным, чем неповторимое (и с тех пор в немецком языке никем не достигнутое) мастерство формы, было знание мира, которое у мальчика, целыми днями просиживавшего за партой, могло исходить лишь из непостижимой интуиции. Когда Гофмансталь закончил, все продолжали молчать». «У меня, — говорил Шницлер, — было такое чувство, что я впервые в жизни встретился с прирожденным гением, и никогда с тех пор я не испытывал такой определенной уверенности».

Тот, кто подобным образом начал в шестнадцать — вернее, не начал, а достиг совершенства в самом начале, — должен был стать вровень с Гёте и Шекспиром. И действительно, казалось, что совершенству нет предела: за этой первой стихотворной драмой («Вчера») последовал грандиозный фрагмент из «Смерти Тициана», в котором немецкий язык поднялся до итальянского благозвучия, а затем пошли стихи, каждый из которых сам по себе был для нас событием, — и сегодня, спустя десятилетия, я помню их наизусть слово в слово, — появились маленькие драмы и те сочинения, которые волшебным соединили богатство знания, безупречное понимание искусства, широту мировоззрения — необозримое пространство, сверхъестественным образом сжатое на нескольких десятках страниц; все, что писал этот гимназист, а потом студент университета, было как искрящийся изнутри кристалл, темный и сверкающий одновременно. Поэзия, проза покорялись его рукам, как ароматный пчелиный воск, любое поэтическое произведение каким-то неповторимым чудом получало свой верный размер, ни на стопу длиннее или короче; всегда ощущалось, что по этим дорогам в неведомое его загадочно ведет нечто стихийное, нечто непостижимое.

Насколько завораживал нас, воспитанных на почитании духовных ценностей, такой феномен, я едва ли в состоянии передать. Ибо что может приводить молодежь в больший восторг, чем сознание, что рядом с тобой, бок о бок, среди таких же, как ты, живой, неповторимый, чистый, возвышенный по-

эт, чем возможность взглянуть на того, кого воображал себе всегда лишь в облике Гёльдерлина, Леопарди или Китса, недостижимым, полумечтой, полувидением? Поэтому я так отчетливо помню тот день, когда впервые увидел Гофмансталя *in persona*. Мне было шестнадцать лет, и, так как мы с неизбывным вниманием следили за всем, что бы ни делал наш неподражаемый кумир, меня чрезвычайно взволновало не приметное сообщение в газете о том, что в Клубе ученых состоится его доклад о Гёте (мы не могли себе представить, что такой гений выступает в такой скромной обстановке); в нашем гимназическом преклонении мы считали, что самый большой зал будет переполнен, если сам Гофмансталь снисходит до появления на публике. И это событие снова подтвердило мне, насколько мы, зеленые гимназисты, опережали широкую публику и официальную критику в нашей оценке, в нашей — и не только в этом случае — оправдавшей себя чуткости ко всему нетленному; в зале набралось человек сто — сто двадцать, так что при всем моем нетерпении все же не стоило приходить за полчаса до начала, чтобы обеспечить себе место.

Некоторое время мы ждали, как вдруг между рядами к сцене прошел стройный, скромно одетый молодой человек и так внезапно заговорил, что у меня едва ли было время хорошо разглядеть его. Гофмансталь благодаря своим мягким, еще не оформившимся усам и своей гибкой фигуре выглядел еще моложе, чем я ожидал. Его по-итальянски смуглое лицо с острым профилем казалось нервно напряженным, и этому впечатлению способствовало беспокойное выражение его бархатно-темных очень близоруких глаз; он заговорил сразу, словно пловец, бросившийся в знакомый поток, и чем дольше он говорил, тем свободнее становились его жесты, увереннее осанка; и стоило ему оказаться в родной стихии, как начальная скованность (а это я не раз отмечал позднее и в частных беседах) сменилась изумительной легкостью и окрыленным вдохновением. Лишь вначале я еще замечал, что голос его некрасив, подчас очень близок к фальцету и легко срывается,

но вот речь свободно вознесла нас так высоко, что мы уже не слышали голоса и почти не воспринимали лица. Он говорил без конспекта, быть может, без продуманного плана, но каждая фраза благодаря этому его природному чувству формы имела совершенную законченность. Ослепительно разворачивались самые смелые антитезы, чтобы затем разрешиться ясной и неожиданной формулировкой. Невольно возникало чувство, что все услышанное есть лишь случайная частичка неизмеримого целого, что он, вдохновенно паря в высочайших сферах, может говорить так часами, не обедняя себя и не снижая своего уровня.

В последующие годы и в частных беседах я ощущал волшебную силу этого «первооткрывателя раскатистого песнопения и искрометного мастерского диалога», как о нем отозвался Стефан Георге; он был беспокоен, разнообразен, чувствителен, не защищен от любого движения воздуха, часто угрюм и неприветлив в личном общении, и сблизиться с ним было нелегко. Однако, когда его начинало что-то интересовать, он срабатывал, как запальное устройство: единым порывом, подобным взлету ракеты, огненной и стремительной, он возносил любую дискуссию на известную *ему одному и ему одному* доступную орбиту. Пожалуй, только с Валери, мыслящим более сдержанно, более прозрачно, да еще с неистовым Кейзерлингом мне доводилось беседовать на таком интеллектуальном уровне, как с Гофмансталем. В эти поистине вдохновенные мгновения его демонических прозрений все становилось предметно близким: каждая книга, которую он прочел, каждая виденная им картина, каждый ландшафт; одна метафора соединялась с другой так же естественно, как рука с рукой, и вдруг над предполагаемым горизонтом как бы поднимался занавес и открывалась неведомая перспектива. На той лекции, как и позднее при личных встречах, я действительно ощущал *flatus** — живительное, окрыляющее воздействие ни

* Дуновение, веяние (*лат.*).

с чем не соизмеримой величины, чего-то такого, что невозможно постичь разумом.

В определенном смысле Гофмансталь никогда уже не смог превзойти неповторимое изначальное чудо, каким он был с шестнадцати примерно до двадцати четырех лет. Я не менее восхищаюсь некоторыми его поздними произведениями, великолепными сочинениями, фрагментом «Андреас», этим torso*, быть может, прекраснейшего романа на немецком языке, и отдельными героями его драм, но при усилившемся пристрастии к реалистическому театру и к интересам своего времени, при всей мудрости и размахе его планов нечто от сомнамбулической точности, от чистого вдохновения тех первых юношеских созданий, а стало быть, от упоения и экстаза нашей собственной юности ушло навсегда. Таинственное наитие, свойственное несовершеннолетним, подсказывало нам, что это чудо нашей юности неповторимо и невозвратно.

* * *

Бальзак несравненным образом показал, как пример Наполеона наэлектризовал во Франции целое поколение. Слепительное превращение маленького лейтенанта Бонапарта во властелина мира означало для него не только триумф личности, но и победу молодости. Оказалось, что не обязательно родиться принцем или князем, чтобы достичь власти, что можно происходить из относительно неродовитой или даже бедной семьи и все же в двадцать четыре года стать генералом, в тридцать — повелителем Франции, а вскоре — почти всего мира, и этот неповторимый успех отрывал сотни людей от их скромных занятий и провинциальных городов — пример лейтенанта Бонапарта кружил головы всей молодежи. Он заразил их чрезмерным честолюбием; он создал генералов великой армии, героев и выскочек *Comédie Humaine***.

Молодежь всегда увлекает за собой один-единственный мо-

* Здесь: фрагмент, отрывок (*ит.*).

** Человеческой комедии (*фр.*).

лодой человек, в какой бы области он ни достиг недостижимого, самым фактом своего успеха. В этом смысле пример Гофмансталя и Рильке давал нам, еще более юным, невероятный стимул для нашей еще не перебродившей энергии. Не надеясь на то, что хоть один из нас может повторить чудо Гофмансталя, мы все же находили поддержку в самом факте его существования. Оно доказывало непосредственно, зримо, что и в наше время, в нашем городе, среди нас возможно появление поэта. Его отец, директор банка, в конце концов, происходил из той же еврейской буржуазной среды, как и мы; гений вырос в таком же, как и мы, доме, с такой же мебелью и такой же сословной моралью, ходил в такую же стерильную гимназию, учился по тем же учебникам и просидел восемь лет за такой же партией, столь же нетерпеливый, как и мы, столь же преданный всем духовным ценностям; и надо же, в то самое время, когда он протирал на этих партах брюки и топтался в гимнастическом зале, своим взлетом в безграничное ему удалось преодолеть узость этого мирка, города и семьи. В определенном смысле Гофмансталь доказал нам *ad oculus**, что и в нашем возрасте и даже в атмосфере застенка австрийской гимназии и в самом деле можно создавать поэзию, и поэзию истинную. И более того, можно — невероятный соблазн для юной души! — печататься и стать знаменитостью, хотя в школе тебя считают еще недорослем, не стоящим внимания.

Рильке, напротив, подавал пример другого рода, уравновешивая исключительность Гофмансталя. Ибо соперничать с Гофмансталем даже самому дерзновенному из нас показалось бы кощунством. Мы знали: он — неподражаемое чудо ранней зрелости, которое не может повториться, и, когда мы, шестнадцатилетние, сравнивали наши стихи со стихами нашего кумира, написанными в том же возрасте, нас передергивало от стыда: мы чувствовали ничтожность наших знаний рядом с этим гимназистом, на орлиных крыльях воспарившим в ду-

* Воочию (лат.).

ховный космос. Рильке, хотя он начал писать стихи и публиковаться так же рано, в семнадцать или восемнадцать лет, был совсем другим. Эти ранние стихи Рильке по сравнению со стихами Гофмансталя, да и без сравнения, были незрелыми, детскими и наивными, в них только при снисходительном отношении можно было обнаружить золотые крупы таланта. Лишь со временем, к двадцати двум — двадцати трем годам, этот прекрасный, бесконечно любимый нами поэт стал складываться как личность; это было для нас невероятным утешением. Не обязательно, значит, быть таким, как Гофмансталь, сложившимся уже в гимназии, можно, подобно Рильке, искать, пробовать, расти, совершенствоваться. Не следует сразу отступать только потому, что написанное тобой недостаточно хорошо, незрело, негармонично, можно попытаться повторить в себе вместо чуда Гофмансталя более скромный, более естественный взлет Рильке.

А то, что мы рано начали писать или сочинять, музицировать или декламировать, было вполне естественно; любое пассивное увлечение не свойственно молодежи, потому что она не только воспринимает впечатления, но и плодотворно отзывается на них. Любить театр означает для молодых, по меньшей мере, мечтать о том, чтобы самим творить в театре или для театра. Восторженное восхищение талантом во всех его проявлениях неминуемо ведет к тому, чтобы заглянуть в себя самого: не отыщется ли отпечаток или задатки избранничества в еще не прояснившейся душе? Так и вышло, что в нашем классе под влиянием венской атмосферы и особенностей эпохи влечение к художественному творчеству стало прямо-таки эпидемическим.

Каждый искал в себе талант и пытался развить его. Четверо или пятеро из нас хотели стать актерами. Они подражали голосам артистов «Бургтеатра», без усталости читали и декламировали, тайно брали уроки актерского мастерства, разыгрывали на переменах целые сцены из классиков, а товарищи составляли заинтересованную, но строгую публику. Двое или

трое были великолепно подготовлены в музыкальном отношении, но еще не решили, станут ли они композиторами, исполнителями или дирижерами; им я благодарен за первое знакомство с новой музыкой, которая на программных концертах филармонического оркестра еще не звучала, — а они, в свою очередь, получали от нас тексты для своих песен и хоров. Еще один одноклассник — сын знаменитого в то время салонного художника — заполнял на уроках наши тетради портретами будущих гениев.

Но гораздо сильнее было увлечение литературой. Благодаря взаимному стремлению к скорейшему совершенству и постоянной взаимной детальной критике уровень, которого мы достигли к семнадцати годам, намного превосходил дилетантский, а у некоторых действительно приближался к подлинному творчеству, что подтверждалось хотя бы тем, что наши произведения принимались не только сомнительными провинциальными изданиями, но и ведущими иллюстрированными журналами новой волны, печатались и — это убедительнейшее доказательство — даже оплачивались. Один из приятелей, которого я почитал гением, блистал на первой странице в «Пане», великолепном иллюстрированном журнале, рядом с Демелем и Рильке; другой, А.М., под псевдонимом Август Элер нашел ход в самый недоступный, самый эклектичный из всех толстых немецких журналов, в «Блеттер фюр ди кунст», куда Стефан Георге допускал лишь узкий избранный круг. Третий, вдохновленный примером Гофмансталя, писал драму о Наполеоне; четвертый развивал новую эстетическую теорию и писал многообещающие сонеты; я нашел пристанище в «Гезельшафт» — ведущем модернистском журнале и в «Цукунфт» Максимилиана Хардена, играющем значительную роль в политической и культурной жизни Германии еженедельнике.

Оглядываясь сегодня назад, со всей объективностью должен отметить, что объем наших знаний, совершенство литературной техники, художественный уровень были для сем-

надцатилетних поистине поразительны и возможны лишь благодаря вдохновляющему примеру фантастически ранней зрелости Гофмансталя, который побуждал нас, желавших хоть в чем-нибудь преуспеть перед другими, к крайнему напряжению всех сил. Мы владели всеми искусными приемами, самыми смелыми средствами выразительности языка, не раз и не два мы испробовали технику каждой стихотворной формы, все стили, от пиндарической выпренности до безыскусного слога народной песни; в ежедневном обмене своей продукцией мы указывали друг другу малейшие погрешности и обсуждали каждый метрический нюанс. В то время как наши бравые учителя, еще ничего не подозревая, красными чернилами вставляли в наши школьные сочинения недостающие запятые, мы критиковали друг друга с такой строгостью, знанием дела и основательностью, как ни один из официальных литературных столпов наших крупных ежедневных изданий, разбирая классические шедевры; в последние школьные годы благодаря нашей одержимости мы оставили далеко позади многоопытных и известных критиков — и в смысле профессионального кругозора, и по части литературного мастерства.

Это правдивое изображение нашей ранней литературной зрелости может создать впечатление, что мы были каким-то особенным классом вундеркиндов. Отнюдь. В десятке соседних венских школ того времени можно было наблюдать тот же феномен не меньшей одержимости и ранних дарований. Случайностью это быть не могло. Сказывалась особая счастливая атмосфера, обусловленная художественным «гумусом» города, время политического затишья — то стечение обстоятельств, когда на рубеже веков возникает новая духовная и литературная ориентация, которая органически соединилась в нас с внутренней потребностью творить, что, собственно говоря, почти обязательно на этом жизненном этапе.

В пору созревания любовь к поэзии или тяга к сочинительству приходят к каждому молодому человеку, но в большинстве случаев лишь мимолетным порывом, и редко подобное

влечение не проходит с юностью, ведь оно само — эманация юности. Из пяти «актеров» нашего класса никто так и не попал на сцену настоящего театра, поэты «Пана» или «Блеттер фюр ди кунст» после того первого, поразительного взлета выдохлись и превратились в ограниченных адвокатов или чиновников, которые сегодня, возможно, с грустью или иронией посмеиваются над своими давнишними притязаниями; я единственный, в ком творческая страсть не иссякла и для кого она стала смыслом и содержанием всей жизни. Но с какой благодарностью вспоминаю я о нашем братстве! Как оно помогло мне! Как рано эти пылкие споры, эта борьба за первенство, это общее восхищение и критика помогли мне набить руку и обострили чувства, какую широкую перспективу духовного космоса открыли, как окрыленно возвысили нас всех над скудостью и угрюмостью нашей школы!

«Ты, благодатное искусство, в минуты тяжкие...» — всегда, когда звучит бессмертная песня Шуберта, я воочию представляю нас поникшими на наших жалких партах и вижу, как мы возвращаемся домой — с сияющими глазами, читаем стихи наизусть, страстно спорим о них, забыв обо всем на свете, воистину «погруженные в лучший мир».

Подобная одержимость искусством, такая чрезмерная переоценка эстетического, разумеется, не могли не сказаться на других интересах, присущих нашему возрасту. И если сегодня я спрошу себя, когда мы, до предела загруженные школьными и частными уроками, находили время читать все эти книги, то станет ясно, что в основном это делалось за счет сна и, стало быть, в ущерб нашему физическому самочувствию. Хотя каждое утро мне надо было вставать ровно в семь, я никогда не откладывал книгу раньше часа или двух ночи — скверная привычка, которая, между прочим, с тех пор укрепилась во мне: как бы ни было поздно, я должен еще час или два перед сном почитать. Так, не могу припомнить, чтобы меня не выпроваживали в школу в последнюю минуту — всегда невыспавшегося, наскоро умытого, заглатывающего на ходу бутер-

брод; неудивительно, что при всей нашей интеллектуальности мы выглядели худосочными и зелеными, как незрелые фрукты, да, кроме того, неряшливо одетыми. Ведь каждый геллер наших карманных денег уходил на театр, концерты и книги, и вообще мы вовсе не стремились к тому, чтобы нравиться девушкам, — наши притязания шли гораздо дальше. Прогулка с девушкой казалась нам потерянным временем, так как мы в нашей интеллектуальной заносчивости считали противоположный пол духовно неполноценным и не желали растрачивать свое драгоценное время на глупую болтовню.

Сегодняшнему молодому человеку будет нелегко понять, до какой степени мы игнорировали и даже презирали все, что связано со спортом. Разумеется, волна увлечения спортом в прошлом столетии еще не докатилась из Англии до нашего континента. Не было еще стадионов, где сотысячная толпа ревет от восторга, когда один боксер наносит другому удар в челюсть; газеты еще не посылали корреспондентов, чтобы те с Гомеровым вдохновением посвящали хоккейному матчу целые полосы. Бои на ринге, атлетические союзы, рекорды штангистов считались в наше время уделом лишь окраин, где мясники и грузчики составляли постоянную публику; один только конный спорт, как более аристократический, более благородный, привлекал несколько раз в году на бега «высшее общество», но отнюдь не нас, кому всякое занятие спортом казалось пустой тратой времени. В тринадцать лет, когда я заразился этой интеллектуально-литературной инфекцией, я перестал кататься на коньках и тратил на книги все деньги, выдаваемые родителями на уроки танцев, в восемнадцать я еще не умел ни плавать, ни играть в теннис; и по сей день я не умею ездить на велосипеде, управлять машиной, а в разговоре о спорте любой десятилетний малыш способен посрамить меня. И ныне, в 1941 году, я не постигаю разницы между бейсболом и футболом, между хоккеем и водным поло, а спортивный раздел газеты с его непонятными цифрами кажется мне написанным по-китайски. По отношению ко всем рекордам

скорости и выносливости я непоколебимо придерживаюсь точки зрения персидского шаха, который, когда его вздумали пригласить на дерби, сказал по-восточному мудро: «Зачем? Я же знаю, что одна лошадь способна обогнать другую. Какая — мне безразлично».

Игры мы презирали не меньше, чем физическую культуру: зряшное времяпрепровождение; разве что шахматы удостаивались нашего внимания, потому что требовали усилий ума; и даже — что еще более дико — нас, хотя мы чувствовали себя настоящими или, во всяком случае, будущими поэтами, мало волновала природа. В свои двадцать лет я почти не знал прекрасных окрестностей Вены; лучшие и даже самые жаркие летние дни, когда город становится безлюдным, имели для нас особую привлекательность, потому что тогда мы получали в нашем кафе газеты и журналы гораздо быстрее и в большем количестве.

Мне потребовались годы и десятилетия, чтобы чем-то уравновесить эту по-детски неумную одержимость и некоторым образом компенсировать неизбежное отставание в физическом развитии. Но в целом я никогда не раскаивался в этом фанатизме, этом всепоглощающем стремлении видеть и чувствовать. Оно отравило мою кровь страстью к духовному, от которой я не хотел бы избавиться, и все, что я прочел и запомнил, основано на прочном фундаменте тех лет. То, что недобрал в мускулатуре, можно потом наверстать, но тяга к духовным высотам, восприимчивость души развиваются только в эти решающие годы становления, и лишь тот, кто рано научился раскрывать свою душу, способен позднее вобрать в нее целый мир.

* * *

Вызревание в искусстве чего-то нового, чего-то дерзкого, более проблематичного, более новаторского, чем то, что устраивало наших родителей и нашу среду, стало основным содержанием нашей юности. Но, захваченные одной стороной действительности, мы не заметили, что преобразования в об-

ласти эстетики были лишь следствием и предвестием гораздо более значительных перемен, которым суждено было потрясти мир наших отцов, мир надежности, и в конце концов его разрушить. Необычайная перегруппировка сил совершалась в нашей старой, сонной Австрии. Широкие массы, в течение десятилетий безмолвно и безропотно позволявшие либеральной буржуазии повелевать ими, вдруг взволновались, стали объединяться и заявлять о своих правах. Именно в последнее десятилетие в затишье размеренной жизни, точно ураган, ворвалась политика. Новый век мечтал о новом порядке, о новой эпохе.

Первым из крупных массовых движений в Австрии стало социалистическое. До этого так называемое «всеобщее выборное право» принадлежало только состоятельным людям, тем, кто обладал определенным капиталом. Избранные этим классом адвокаты и землевладельцы, однако, честно и искренне полагали, что в парламенте являются депутатами и представителями народа. Они были очень горды своей образованностью, а подчас — и такое бывало — и учеными степенями; они заботились о званиях, о манерах и хорошей дикции; поэтому заседания парламента напоминали дискуссионные вечера в благородном клубе. Благодаря своей либеральной вере в достижение идеального прогресса путем терпимости и благоразумия эти буржуазные демократы были непритворно убеждены, что мелкими уступками и постепенными реформами самым наилучшим способом можно способствовать благу всех подданных. Но они совершенно забыли, что представляют лишь пятьдесят или сто тысяч состоятельных людей, а не сотни тысяч и миллионы, населяющие страну. Между тем машина завертелась и на промышленных предприятиях объединила ранее разобщенных рабочих; под руководством видного деятеля, доктора Виктора Адлера, в Австрии образовалась социалистическая партия, требовавшая для всех всеобщего и равного избирательного права; и едва это требование удовлетворили — или, скорее, вынуждены были удовлетворить, —

как стало очевидным, насколько непрочным, хотя и неопенимым, направлением был либерализм. Из политической жизни общества исчезла благожелательность, открыто столкнулись разные интересы, началась борьба.

Я еще помню тот день моего раннего детства, который стал поворотным в решительном подъеме социалистического движения; рабочие, чтобы впервые наглядно показать свою силу и мощь, призвали объявить Первое мая праздником трудящихся масс и единой колонной направиться в Пратер, и именно по главной аллее, этой прекрасной широкой каштановой аллее, где обычно в этот день на карнавальном гулянье останавливались лишь кареты и экипажи аристократии и богатых горожан. Ужас парализовал при этом известии добропорядочное либеральное бюргерство. Слово «социалист» имело тогда в Германии и Австрии несколько кровавый и террористический оттенок, как до этого слово «якобинец», а позднее — «большевик»; сначала никто не хотел верить, что этот красный сброд пройдет от окраин до центра, не поджигая домов, не мародерствуя и не совершая других гнусностей. Повсюду распространилась паника.

В районе Пратерштрассе расположилась вся городская полиция и полиция пригородов, военные части находились в повышенной боевой готовности. Ни один фиакр, ни один экипаж не отважился приблизиться к Пратеру, торговцы спустили железные жалюзи на магазинах, и я вспоминаю, что родители нам, детям, наистрожайше запретили в этот кошмарный день, грозящий спалить Вену дотла, появляться на улице. Но ничего не произошло. Рабочие колонной по четыре человека в ряд с образцовой дисциплиной шли в сопровождении жен и детей в Пратер, у каждого в петлице, словно партийный знак, была красная гвоздика. Они шли и пели «Интернационал», а дети, впервые попав в «благородную аллею», сразу же среди этой прекрасной зелени запели свои беспечные школьные песни. Никого не обругали, не избили, никто не сжимал кулаков. Дружелюбно посмеивались полицейские,

солдаты вторили им. После такого безупречного поведения буржуазии было уже невозможно и далее поносить рабочих как «революционную банду», все кончилось — как всегда в старой доброй Австрии — обоюдными уступками; еще не была внедрена нынешняя система избияния дубинками и убийств, еще был жив (пожалуй, уже несколько поблекший) идеал гуманности даже у лидеров партий.

Вскоре после красной гвоздики появился другой партийный знак, другой цветок в петлице — белая гвоздика, эмблема принадлежности к христианско-социалистической партии (разве не замечательно, что в ту пору партийными значками были еще цветы, а не сапоги с отворотами и не черепа?). Христианско-социалистическая партия была в основном партией мелкой буржуазии, в противовес партии пролетарской, и, по сути, так же как и пролетарская, возникла в результате победы машины над ручным трудом. Ибо машина, дававшая рабочим (благодаря скоплению больших масс на фабриках) власть и улучшение положения, одновременно угрожала гибелью мелким ремесленникам. Крупные торговые дома и промышленное производство несли разорение среднему сословию и мелким ремесленникам-кустарям. Этим недовольством воспользовался ловкий и популярный лидер доктор Карл Луэгер и с помощью лозунга «Надо помочь маленькому человеку» увлек за собой всю мелкую буржуазию и рассерженное среднее сословие, зависть которого по отношению к богатым значительно уступала страху скатиться в ряды пролетариата. Это была та же запуганная прослойка, какую собрал вокруг себя позднее Адольф Гитлер.

Но вот явился на свет и третий цветок, синий василек, любимый цветок Бисмарка и символ немецкой национальной партии, которая — только тогда этого еще не понимали — с убойной силой осознанно стремилась к перевороту, к разрушению австрийской монархии, чтобы под прусским и протестантским началом создать — уже привидевшуюся Гитлеру — Великую Германию. В то время как христианско-социалисти-

ческая партия упрочила свои позиции в Вене и в деревне, социалистическая — в промышленных центрах, национал-немецкая имела своих приверженцев почти исключительно в пограничных районах Богемии и Альп; она компенсировала свою малочисленность дикой агрессивностью и безмерной жестокостью. Несколько их депутатов стали бичом (в былом смысле), позором австрийского парламента; в их идеях, в их методах Гитлер (также австриец из пограничного района) имеет свои истоки. У Георга Шёнерера он заимствовал призыв «Прочь от Рима!», следуя которому по-немецки организовано тысячи германских националистов назло императору и клиру перешли из католичества в протестантизм, от него перенял антисемитскую расовую теорию («Все свинство — в расе», — говорил его знаменитый прототип), а также использование беспощадного, все сметающего на своем пути штурмового отряда и тем самым принцип, с помощью которого маленькая террористическая группа запугивает далеко превосходящее по численности, но гуманно-пассивное большинство.

То, что для национал-социализма делали штурмовики, разгоняя дубинками собрания, нападая по ночам на идейных противников и избивая их до полусмерти, немецким националистам в Австрии обеспечивали студенты, которые под защитой университетской неприкосновенности учиняли беспрецедентные боины и по первому свистку готовы были по-военному четко маршировать при всякой политической акции. Корпоранты, так называемые «бурши», с рассеченными лицами, упившиеся и бездушные, легко врываются в актовЫй зал, потому что у прочих студентов были только повязки и фуражки, а эти были вооружены тяжеленными дубинками; беспрестанно провоцируя, они избивали то славянских, то еврейских, то католических, итальянских студентов и изгоняли беззащитных из университета. Во время каждого такого «променада» (так назывались те субботние вылазки) текла кровь. Полиция, которая благодаря старинной привилегии университе-

та не имела права вступить в университетский двор, должна была безучастно наблюдать извне, как там бушевали эти трусливые погромщики, и ограничивалась лишь тем, что подбирала истекающих кровью потерпевших, которых хулиганы просто сбрасывали с лестницы.

Там, где крохотная, но горластая партия немецких националистов в Австрии желала чего-нибудь добиться, она всегда высылала вперед штурмовые студенческие отряды; когда граф Бадени с согласия императора и парламента издал закон о языках, который должен был способствовать миру между национальностями Австрии и, возможно, мог бы продлить существование монархии еще на десятилетия, эта горстка молодых парней заняла Рингштрассе. Пришлось вмешаться кавалерии, пошли в ход сабли и пули. Но столь велико было в ту трагически слабую и трогательно гуманную либеральную эру отвращение к любому насилию и любому кровопролитию, что правительство отступило и не решилось на террор против немецких националистов. Премьер-министр подал в отставку, и исключительно лояльный закон о языках был отменен. Вторжение жестокости в политику могло отметить свой первый успех. Все расселины и трещины между нациями и классами, которые с трудом замазывало время компромиссов, разверзлись и стали пропастями и безднами. В то последнее десятилетие перед новым столетием в Австрии уже началась война всех против всех.

Однако мы, молодые люди, с головой ушедшие в наши литературные амбиции, мало обращали внимания на опасные изменения в нашей стране: мы знали лишь книги и картины. У нас не было ни малейшего интереса к политическим и социальным проблемам: что значили все эти резкие перепалки в нашей жизни? Город приходил в волнение от выборов, а мы шли в библиотеки. Массы восставали, а мы писали и обсуждали стихи. Мы не видели огненных знаков на стене, мы беспечно вкушали, как во время оно царь Валтасар, от всех изысканных яств искусства, не видя впереди опасности. И лишь когда

через десятилетия обрушились стены и нам на голову рухнула крыша, мы осознали, что фундамент давно уже подточен и вместе с новым веком начался закат индивидуальной свободы в Европе.

ЗАРЯ ЭРОСА

За восемь лет средней школы в жизни каждого из нас произошло значительное событие: из десятилетних детей мы постепенно превратились в шестнадцатилетних, семнадцатилетних, восемнадцатилетних созревших юношей, и природа стала заявлять о своих правах. Это пробуждение представляется исключительно личной проблемой, которую каждый взрослеющий человек должен решать самостоятельно и которая на первый взгляд отнюдь не предназначена для публичного обсуждения. Но для нашего поколения тот кризис вышел за пределы своих границ. Он совпал одновременно с пробуждением в другом смысле, ибо научил нас впервые критически оценивать тот общественный строй, в котором мы выросли, и его устои. Дети и даже молодые люди в основном готовы вначале относиться с уважением к законам общества. Но они подчиняются их нормам лишь до тех пор, пока видят, что они неукоснительно соблюдаются и всеми другими. Одна лишь фальшивая нота у учителей или родителей неминуемо заставляет молодого человека с подозрением и, стало быть, более пронизательно смотреть на все окружение. И нам понадобилось немного, чтобы обнаружить, что все те авторитеты, в которые мы до сих пор верили, — школа, семья и общественная мораль — во всем, что относилось к сексуальности, вели себя до странного ханжески — и даже более того: что они и от нас требовали здесь скрытности и притворства.

Ибо об этих вещах тридцать—сорок лет тому назад думали иначе, чем в наши дни. Быть может, ни в какой области общественной жизни не произошло (по ряду причин: женская эмансипация, фрейдовский психоанализ, спорт и физическая

культура, самостоятельность молодежи) в течение жизни лишь одного поколения таких коренных перемен, как в отношениях между полами. Когда пытаешься определить особенность буржуазной морали девятнадцатого столетия, которая, в сущности, была викторианской, и сравнить с сегодняшними, более свободными и более естественными, нравами, то ближе всего к истине было бы сказать, что та эпоха трусливо уходила от проблемы сексуальности из чувства неуверенности в себе.

Прежние, еще неподдельные религиозные времена, в частности строго пуританские, решали задачу проще. Преисполненные искренней убежденностью, что чувственное желание есть происки сатаны, а волнение плоти — распутство и грех, авторитеты средневековья лишь подступили к проблеме и строжайшими запретами (особенно в кальвинистской Женеве — под страхом смерти) утвердили свою жестокую мораль. Напротив, у нашей терпимой, давно уже не верующей в дьявола и вряд ли еще верующей в Бога эпохи не достало решимости на столь радикальную анафему, она воспринимала сексуальность как стихийное, а потому тревожное явление, которое невозможно было включить в нравственность и нельзя было признать при свете дня, потому что всякая форма свободной, внебрачной любви противоречила буржуазному «приличию». И вот для устранения этого противоречия та эпоха пошла на необычный компромисс. Она ограничила свою мораль тем, что хотя и не запрещала молодому человеку отправлять свою *vita sexualis*^{*}, но требовала, чтобы этим непристойным делом он занимался по мере возможности незаметно. Если уж сексуальность нельзя было устранить из мира природы, то она хотя бы не должна быть видимой в мире нравственности. Было, следовательно, заключено молчаливое соглашение не обсуждать этот досадный комплекс ни в школе, ни в семье, ни в обществе и подавлять все, что может напомнить о его наличии.

Школа и церковь, светское общество и правосудие, газета,

* Половую жизнь (*лат.*).

книга, мораль упорно избегали всякого упоминания проблемы, и к ним постыдным образом примкнула даже наука, чьей непосредственной задачей должен был сразу стать непредвзятый подход ко всем проблемам этой *naturalia sunt turpia**. Но и она капитулировала под предлогом, что подобные скабрзные темы науки недостойны. И сколько ни просматривай книг того времени, философских, юридических и даже медицинских, всюду видишь, как авторы, словно по сговору, со страхом уходят от всякого обсуждения. Когда ученые-правоведы на своих конгрессах обсуждали способы более гуманного отношения к заключенным и моральный ущерб, наносимый пребыванием в исправительных заведениях, они боязливо обходили эту проблему. И психиатры, хотя во многих случаях им было совершенно ясно происхождение некоторых истерических заболеваний, не решались сознаться в истинном положении вещей, и у Фрейда можно найти упоминание, что даже его почтенный учитель Шарко признался ему ненароком, что, хотя он и знает настоящую *causa*** , никогда, однако, публично не оглашал ее.

Менее всего могла в ту пору так называемая «изящная» литература отважиться на правдивое изображение, потому что ей в качестве удельного владения отведено было лишь эстетически прекрасное. В то время как в былые века писатель не боялся рисовать честную и исчерпывающую картину культуры своего времени, в то время как у Дефо, у аббата Прево, у Филдинга и Ретифа де ла Бретонна встречаешь еще не искаженные изображения действительности, эта эпоха считала, что имеет право лишь на показ «целомудренного» и «возвышенного», а не непристойного и низкого. Поэтому в литературе девятнадцатого века обо всех блужданиях, опасностях и сомнениях молодежи большого города едва ли находишь и мимолетное упоминание. Даже если писатель отважно отме-

* Сообразная с законами природы непристойность (*лат.*).

** Причина, основание (*лат.*).

чал существование проституции, то полагал, что обязан облагородить ее, и причисывал героиню под «даму с камелиями».

Итак, перед нами странное явление: если современный молодой человек, чтобы узнать, как боролась за жизнь молодежь предыдущих поколений, откроет романы даже самых больших мастеров того времени, произведения Диккенса и Теккерея, Готфрида Келлера и Бьёрнсона, он — если не говорить о Толстом и Достоевском, которые, будучи русскими, стояли за гранью европейского псевдоидеализма, — найдет исключительно приукрашенное и темперированное изображение событий, потому что все это поколение было ограничено в своей творческой свободе велением времени. И ничто не обнаруживает более явно крайнюю нетерпимость этой патриархальной морали и ее сегодня уже непередаваемую атмосферу, чем то, что и этой литературной сдержанности было недостаточно. Можно ли постигнуть, за что такой исключительно беспристрастный роман, как «Мадам Бовари», был публично запрещен французским судом как безнравственный? Поверят ли, что во времена моей молодости романы Золя считались порнографическими или что такой добропорядочный классик повествовательной прозы, как Томас Гарди, вызвал бурю негодования в Англии и в Америке? Какими бы сдержанными они ни были, эти книги уже слишком много поведали об истинном положении дел.

И в этом тлетворном, густо насыщенном парфюмерией воздухе мы росли. Эта лживая и лицемерная мораль недомолвок как кошмар довлела над нашей юностью, а так как в результате всеобщего заговора умолчания отсутствуют подлинные литературные и культурно-исторические документы, не так-то просто реконструировать то, что кажется уже неправдоподобным. Оттолкнуться, правда, есть от чего, достаточно лишь взглянуть на моду, ибо мода целого столетия, дающая наглядное представление о вкусах времени, невольно разоблачает также и его мораль.

И действительно, не назовешь случайным то, что сегодня,

в 1940 году, когда в кино на экране появляются женщины и мужчины в костюмах образца 1900 года, публика в любом городе, в любой деревне Европы или Америки дружно разражается неудержимым хохотом. Над этими странными фигурами вчерашнего дня, как над карикатурами, смеются даже самые несведущие люди — смеются над неестественно, неудобно, негигиенично, непрактично разряженными глупцами; даже нам, кто еще помнит своих матерей, теток или подруг в этих нелепых одеяниях, тем, кто сами в детстве ходили в точно таких же смешных облачениях, кажется каким-то дурным сном, чтобы подобному дурацкому наряду безоговорочно могло подчиниться целое поколение.

Уже мужская мода: высокие крахмальные воротнички, «отцеубийцы», которые делали невозможным любое свободное движение, черные, повиливающие хвостом сковывающие фраки и напоминающие печные трубы цилиндры — вызывает веселье, но каково же было тогдашней «даме» в ее обременительном, неестественном, любой деталью насилующем естество наряде! Талия перетянута, как у осы, корсетом из жесткого китового уса, нижняя часть тела, в свою очередь, широко раздута громадным колоколом, шея скрыта до подбородка, а ноги — до пят, волосы вздымаются бесчисленными локонами и завитками под величественно покачивающимся шляпным сооружением, на руки даже в самое жаркое лето натянуты перчатки... Сегодня это ископаемое, «дама», несмотря на благоухание, которое она распространяла, несмотря на украшения, которыми она была обременена, и на дорогие кружева, рюши и серьги, производит впечатление беспомощного, достойного жалости существа. С первого взгляда ясно, что женщина, закованная в броню подобного туалета, как рыцарь в доспехи, не могла уже больше свободно, легко и грациозно двигаться, что каждое движение, каждый жест и в итоге все ее поведение в таком костюме должны были стать искусственными, неестественными, противоестественными.

Уже сам облик «дамы» — не говоря о светском воспита-

нии, — одевание и раздевание представляли хлопотную процедуру, которая была просто невозможна без чужой помощи. Сначала надо было сзади от талии до шеи застегнуть бесконечные крючки и петли, совместными усилиями прислуги затянуть корсет, а длинные волосы — напоминая молодым людям, что тридцать лет тому назад все женщины Европы, кроме нескольких десятков русских студенток, отращивали волосы до пояса, — завить при помощи щипцов и уложить локонами, пригладить щеткой, расчесать, и пока парикмахер, приглашаемый ежедневно, шпиговал ее уймой булавок, шпилек и гребней, на нее натягивали множество нижних юбок, жилеточек, жакетов и блузок, под которыми, как в луковице под шелухой, окончательно исчезали следы ее женской индивидуальности.

Но в этой бессмыслице был свой резон. Линии женского тела при помощи этих манипуляций скрадывались настолько основательно, что жених за свадебным столом не имел ни малейшего представления, какой уродилась его спутница жизни — стройной или сутулой, полной или тощей, какие у нее ноги — короткие и кривые или стройные; это «нравственное» время отнюдь не считало предосудительным, если для соответствия всеобщему идеалу красоты приходилось пускаться на обман, подделывая волосы или грудь и другие части тела. Чтобы выглядеть настоящей «дамой», женщина должна была всеми силами скрывать свои натуральные формы; по сути дела, мода послушно следовала основному принципу все той же моральной тенденции времени, главной заботой которого были маскировка и сокрытие.

Но эта премудрая мораль совершенно забыла, что, если перед чертом захлопнуть дверь, он все равно влезет в окно. Наш теперешний, более искушенный, взгляд сразу подмечает в этих нарядах — которые всемерно стремились убрать малейший намек на наготу и естественность — отнюдь не благоприятность их, а, напротив, до неприличия откровенное подчеркивание половых различий. В наше время юноша и девушка, оба высокие и стройные, с чистыми лицами и с короткой

стрижкой, внешне похожи друг на друга, и уже одно это располагает их к товариществу; зато в ту эпоху все было по-другому. Мужчины носили напоказ длинные бороды или, на худой конец, закручивали мощные усы как издавна видимый признак мужественности, в то время как женский корсет делал вызывающе приметным такой специфический «атрибут», как грудь. Так называемый сильный пол резко отличался от слабого также и осанкой; от мужчины требовалось, чтобы он выглядел решительным, по-рыцарски благородным и дерзким, от женщины — казаться робкой, скромной и недоступной: охотник и добыча, а не равный и равная.

Из-за этой утрированной поляризации во внешнем облике должно было усилиться и внутреннее, эротическое напряжение между полюсами, и таким образом общество того времени добилось своей лицемерной манерой скрывать и умалчивать как раз обратного тому, к чему стремилось. Ибо, поскольку оно в своем нескончаемом страхе и ханжестве постоянно выслеживало во всех сферах жизни — в литературе, искусстве, одежде — безнравственность, чтобы пресечь ее проявления, оно было вынуждено тем самым непрерывно помышлять о безнравственности. Поскольку оно непрерывно расследовало, что могло бы быть неприличным, оно находилось в неизбывном состоянии надзирательства; во всем «приличию» мерещилась тогда смертельная опасность — в любом жесте, в любом слове. Возможно, сегодня еще и поверят, что в то время считалось предосудительным, если женщина для занятий спортом или для игр надевала брюки. Но как сделать понятным то нездоровое жеманство, из-за которого не дозволялось, чтобы с ее уст сорвалось само слово «брюки»? Она должна была, если уж нельзя было обойтись без упоминания столь низкого и опасного предмета, как мужские брюки, произносить «костюм для ног» или специально придуманное уклончивое обозначение «невыразимые».

Чтобы, к примеру, двое молодых людей одного круга, но разных полов без присмотра предприняли загородную прогулку

ку — такое было совершенно немыслимо, или, более того, первой была мысль, что при этом должно что-нибудь «случиться». Подобное совместное времяпрепровождение было допустимо лишь в том случае, если молодых людей неотступно сопровождали какие-нибудь надзирающие лица, матери или гувернантки. Молодые девушки даже в самое жаркое лето не могли играть в теннис в коротких платьях, а уж тем более с голыми руками; случись такое, был бы скандал; а если порядочная женщина клала в обществе ногу на ногу, то «мораль» находила это ужасающе безнравственным — ведь из-под подола могла бы выглянуть щиколотка.

Даже явлениям природы, даже солнцу, воде и воздуху, не было позволено прикасаться к обнаженной коже женщины. В море они передвигались с трудом в тяжелых костюмах, одетые с ног до головы; в пансионах и монастырях девушкам полагалось (чтобы забыть, что у них есть тело) даже обычную ванну принимать в длинных белых рубашках. И совсем это не сказка и не преувеличение, что женщины доживали до старости и никто, кроме акушерок, супруга да еще тех, кто впоследствии обмывал их мертвые тела, не видел ни линии их плеча, ни колена.

Все это сегодня, через сорок лет, представляется небылицей или комическим преувеличением. Но тем не менее этот страх перед всем телесным и естественным проник из высших сословий в гущу народа с быстротой массового психоза. Разве можно себе сегодня представить, что на рубеже веков, когда первые женщины отваживались сесть на велосипед или при верховой езде в мужское седло, крестьяне швыряли в смельчаков камнями? Что в то время, когда я еще ходил в школу, венские газеты целые полосы отводили дискуссиям о вызывающе безнравственном новшестве: балерины придворной оперы танцевали без трико? Что, когда Айседора Дункан в своих подлинно классических танцах впервые показала из-под белой, к счастью, ниспадавшей до пола туники вместо обычных шелковых туфель голые ступни, это стало невероятной сенсацией?

Теперь представим себе юношей, которые созревают в эту пору неусыпного внимания, — какими смешными должны были им казаться эти опасения за приличие, которому вечно что-то грозит, как только они поняли, что покрывало морали, которое тайком хотели набросить на все эти вещи, само-то изрядно потерто и в нем полно прорех и дыр. В конце концов, нельзя ведь было избежать того, чтобы кто-то из пятидесяти гимназистов встретил своего учителя в одном из тех темных закоулков или случайно в кругу семьи подслушал, что та или другая весьма уважаемая особа сама не без греха. И действительно, ничто не повышало и не обостряло нашего любопытства в такой степени, как эти шитые белыми нитками способы утаивания; и поскольку естественному не давали развиваться свободно и открыто, то любопытство открывало для себя подземные и в большинстве случаев не очень чистые источники. У молодежи всех сословий из-за этого подавления чувств ощущалось подспудное перевозбуждение, которое выражалось по-детски беспомощно.

Наряду с придворным театром, которому надлежало выражать идеалы времени со всем его благородством и незапятнанной чистотой, имелись театры и кабаре, которые служили исключительно заурядной пошлости; повсюду подавленное влечение теми или иными путями пробивалось наружу. Таким образом, в конечном счете по сути своей то поколение, которому было ханжески отказано в любом разъяснении, в любом непринужденном общении полов, оказалось в тысячу раз более предрасположенным к эротике, чем сегодняшняя молодежь с ее более высокой свободой любви. Ибо лишь то, в чем отказано, вызывает страстное влечение, лишь запретное вызывает желание; и чем меньше видят глаза, чем меньше слышат уши, тем больше работает воображение. Чем меньше воздуха, света и солнца допускали к телу, тем большая истома застилала разум. В итоге давление общества на молодежь вместо более высокой нравственности воспитало в нас лишь недоверие и ожесточение против всех и вся. С первого дня нашего

пробуждения мы инстинктивно чувствовали, что своим умолчанием и утаиванием эта бесчестная мораль пыталась отнять у нас то, что по праву принадлежало нашему возрасту, и что она принесла в жертву давно отжившей условности наше стремление к правде.

* * *

Эта «общественная мораль», которая, с одной стороны, допускала *privatim** наличие сексуальности и ее естественных проявлений, а с другой — ни за что не желала признать это публично, была, таким образом, вдвойне лживой. Ибо если на поведение молодых мужчин она один глаз закрывала, а другим даже подбадривающе подмигивала («пусть обточит себе рога», говорили тогда на добродушно подтрунивающем семейном жаргоне), то по отношению к женщине она трусливо закрывала оба глаза и притворялась слепой. Что мужчина чувствует влечение и имеет на это право — это должна была молча признать даже условность. Но то, что влечение может в той же мере овладеть и женщиной, что жизнь на земле для своих вечных целей нуждается также в женской полярности, — прямо признать это означало бы разрушить само понятие «святости женщины». И в результате до Фрейда было общепризнанной аксиомой, что существо женского пола не может иметь никаких телесных желаний, пока они не разбужены мужчиной, а это, разумеется, было допустимо лишь в браке.

Но так как воздух — особенно в Вене — даже и в те моральные времена был полон опасных эротических микробов, то девушке из хорошего дома следовало со дня рождения до того дня, когда она шла со своим супругом к алтарю, жить в совершенно стерильной обстановке. Чтобы обезопасить молодых девушек, их ни на мгновение не оставляли одних. У каждой была гувернантка, которой надлежало следить за тем, чтобы девушка, упаси Господи, не ступила и шага за порог без при-

* Частным образом, для себя (*лат.*).

смотря; девушек доставляли в школу, в танцкласс, на уроки музыки под охраной и точно так же забирали оттуда. Каждая книга, которую они читали, просматривалась, а главное — молодых девушек постоянно занимали, чтобы отвлечь от возможных опасных мыслей. Они должны были учиться играть на рояле, петь и рисовать, знать иностранные языки, историю искусства и литературы, их учили и переучивали. Но при этом, стараясь, насколько это возможно, «передать» их обществу столь образованными и прекрасно воспитанными, одновременно с опаской заботились о том, чтобы относительно естества они пребывали в непостижимом неведении.

Девушке из хорошей семьи ни в коем случае не подобало иметь представление об анатомии мужского тела, о том, как рождаются дети, ибо ангел должен был вступать в брак не только телесно нетронутым, но также и совершенно «чистым» духовно. «Хорошо воспитана» — эти слова применительно к юной девушке в ту пору означали «далека от жизни»; и это незнание жизни у женщин того времени иногда продолжалось до конца их дней. Еще и поныне меня потешает курьезная история с моей теткой, которая в первую брачную ночь возвратилась в родительский дом и категорически заявила, что ни за что не желает видеть этого ужасного человека, за которого ее выдали замуж; он ненормальный, он настоящий садист, ибо предпринял серьезнейшую попытку раздеть ее, и лишь с трудом ей удалось спастись от этого явно нездорового поползновения.

Но я не могу не сказать и о том, что, с другой стороны, это неведение придавало тогдашним молодым девушкам некую таинственную прелесть. Эти неоперившиеся создания догадывались, что подле и вне их собственного мира существует другой, о котором они ничего не знают и не смеют ничего знать, и это делало их любопытными, тоскующими, мечтательными и привлекательно беспомощными. Когда их приветствовали на улице, они краснели, — найдутся ли еще в наше время юные девушки, умеющие краснеть? Когда они остава-

лись наедине друг с другом, они шушукались и без конца хихикали, точно слегка хмельные. Полные ожидания всего того неизвестного, от чего их отрешили, они представляли себе жизнь романтически, но в то же время испытывали стыдливость, что кто-нибудь вдруг обнаружит, как сильно их тело жаждет ласки, о которой они не знали ничего определенного.

Какое-то смятение постоянно определяло их поведение. Они ходили иначе, чем современные девушки, тело которых знакомо со спортом, которые легко и непринужденно чувствуют себя среди молодых мужчин, как равные среди равных; уже за тысячу шагов можно было в ту пору по походке и по манерам отличить молодую девушку от женщины, которая уже познала мужчину. Они были больше девушками, чем сегодняшние девушки, и меньше женщинами, своей необычайной хрупкостью подобные тепличным растениям, которые тянутся вверх под стеклом в искусственно подогретой атмосфере и защищены от любого неприятного дуновения: умело взращенный плод воспитания и культуры.

Но такой и хотело видеть общество молодую девушку: наивной и непосвященной, хорошо воспитанной и ничего не подозревающей, любопытной и стыдливой, неуверенной и непрактичной и в силу этого оторванного от жизни воспитания с самого начала предопределенной к тому, чтобы в браке безропотно подчиняться мужчине. Мораль, казалось, защищает ее как символ своего сокровеннейшего идеала, как знак женственности, девственности, невинности. И подумаешь, какая трагедия, если одна из таких молодых девушек упускала свое время, если в двадцать пять, в тридцать лет она еще не была замужем! Ибо условность безжалостно требовала и от тридцатилетней девицы, чтобы она во имя семьи и морали свято блюла это состояние неискушенности, бесстрастности и простодушия, которые давно уже не соответствовали ее возрасту. Но тогда хрупкий образ трансформировался в резкую и жестокую карикатуру. Незамужняя девушка становилась «засидевшейся» девицей, засидевшаяся девица — «старой девой»,

над которой изошрялись в пошлых насмешках юмористические журналы.

Кто сегодня откроет старый выпуск «Флигенде блеттер» или какого-либо иного тогдашнего юмористического издания, тот с ужасом обнаружит в каждом номере самые глупые издевки над стареющими девицами, которые, с расстроенными нервами, все же не знают, как скрыть свою естественную потребность в любви. Вместо того чтобы признать трагедию этих жертв общества, которые ради семьи и своей репутации должны были подавлять в себе естественные стремления к любви и материнству, над ними издевались с непониманием, которое в нас ныне вызывает лишь чувство гадливости. Но общество всегда наиболее жестоко с теми, кто выдает его тайну о том, что его лицемерное отношение к природе ведет к преступлению.

* * *

Если буржуазная условность с трудом пыталась тогда поддержать фикцию, будто женщина из «хороших кругов» лишена влечений и не смеет иметь их, пока она не выдана замуж, — любое отклонение делало ее «аморальной личностью», парией семьи, — то у молодого мужчины все же были вынуждены признать наличие подобных стремлений. Так как на практике невозможно было помешать молодым людям вести *vita sexualis*, то ограничивались скромным пожеланием: они должны справлять свои недостойные удовольствия *extra muros** священной морали. Как города под чисто прибранными улицами с их красивыми роскошными магазинами и элегантными бульварами скрывают подземную канализацию, куда отводится грязь клоак, так вся сексуальная жизнь молодежи должна была проходить незаметно под моральной поверхностью «общества». Каким опасностям при этом подвергался молодой человек и в какие сферы попадал, было безразлично: и школа и семья боязливо забывали просветить его в этом отношении.

Встречались, конечно, кое-где в последние годы прошлого

*За пределами (лат.).

столетия иные предусмотрительные или, как тогда говорили, «просвещенно мыслящие» отцы, которые, как только у сыновей пробивался на подбородке первый пушок, пытались наставить их на путь истинный. Тогда призывался домашний врач, который как бы случайно приглашал молодого человека в кабинет, тщательно протирал очки, прежде чем начать лекцию об опасности венерических заболеваний, и молодому человеку, который обычно к этому моменту уже давно знал, что к чему, настоятельно рекомендовалось быть сдержанным и не упускать из виду определенных мер предосторожности. Другие отцы применяли еще одно необычное средство: они нанимали смазливую горничную, которой выпадала честь просветить молодого человека практически. Дескать, пускай лучше он освободится от этого докучливого бремени под собственной крышей: так и приличия соблюдались, и, кроме того, исключалась опасность, что юноша попадет в руки какой-нибудь «прелестницы». И только один способ решительно отвергался в любом случае: какой бы то ни было откровенный разговор.

И какие же возможности открывались для молодого человека буржуазного общества? Во всех других так называемых низших сословиях проблемы тут не было. В деревне батрак уже в семнадцать лет ложился с батрачкой, и возможных последствий никто не боялся: в большинстве наших альпийских деревень число внебрачных детей намного превысило число законных. Рабочий, прежде чем жениться, жил со своей подругой в так называемом «диком», неофициальном браке. У ордоксальных евреев Галиции семнадцатилетнему, то есть едва созревшему, юноше выбирали невесту, и в сорок лет он уже мог быть дедушкой. Лишь в нашем буржуазном обществе все шло шиворот-навыворот: ранний брак осужден; ни один отец семейства не доверил бы свою дочь двадцатидвухлетнему или двадцатилетнему молодому человеку, ибо подобного юнца не считали еще достаточно зрелым. Здесь также обнажалось лицемерие, ибо буржуазный календарь отнюдь не совпадал с календарем природы. Для общества молодой человек созрел лишь тогда, когда он достигал «социального положе-

ния», то есть где-то к двадцати пяти или двадцати шести годам, а для природы — лет в шестнадцать-семнадцать. Так создавался искусственный разрыв в шесть, восемь или десять лет между зрелостью сексуальной и социальной, и в эти годы молодому человеку самому следовало позаботиться о своих «делах» или развлечениях.

Возможностей для этого эпоха предоставляла не так уж много. Лишь единицы, очень богатые молодые люди, могли позволить себе роскошь «содержать» любовницу, то есть снимать ей квартиру и заботиться о ее материальном благополучии. Точно так же лишь совсем немногим счастливчикам выпадало на долю осуществить тогдашний литературный образчик любви — единственное, что разрешалось изображать в романах, — связь с замужней женщиной. Прочие довольствовались продавщицами и официантками, что приносило мало внутреннего удовлетворения. Ибо в те времена, до эмансипации женщины и ее активного самостоятельного участия в общественной жизни, лишь девушки из среды беднейшего пролетариата обладали достаточной свободой для таких мимолетных отношений без серьезных брачных намерений. Плохо одетые, усталые после двенадцатичасового, грошово оплачиваемого трудового дня, неухоженные (ванна по тем временам была доступна лишь богатым) и выросшие в тесном мирке, они стояли настолько ниже своих возлюбленных, что те сами в большинстве случаев остерегались показываться с ними на людях. Правда, на этот случай предусмотрительная условность предприняла свои особые меры: существовали так называемые кабинеты *Chambres Separees*, где можно было с девушкой поужинать незамеченным; а все остальное происходило в маленьких гостиницах, которые для того и существовали в темных переулках. Но все эти встречи были быстротечны и не очень-то отрадны, это был скорее секс, чем эрос. Еще, пожалуй, имелась возможность завести связь с одной из тех «амфибий», что лишь наполовину принадлежали к обществу, — с актрисой, танцовщицей, художницей, единственными «эмансипированными» женщинами того времени. Но в основном

эротическая жизнь вне брака держалась на проституции; эта последняя представляла собой как бы фундамент, на котором высилось, сверкая безупречным фасадом, пышное здание буржуазного общества.

* * *

О невероятном распространении проституции в Европе до мировой войны нынешнее поколение уже едва ли имеет представление. Сегодня на улицах большого города проститутка встречается так же редко, как карета на мостовой, но в ту пору тротуары были до такой степени забиты продажными женщинами, что труднее было от них скрыться, чем найти их. К этому прибавьте еще множество «закрытых домов», ночные рестораны, кабаре, танцзалы с их танцовщицами и певичками, бары с девицами, подбивающими раскошелиться. Женский товар в ту пору открыто предлагался по любой цене и в любой час, и, чтобы купить себе женщину на четверть часа, на час или ночь, мужчина тратил не больше времени и труда, чем на пачку сигарет или газету. Ничто, я полагаю, не подтверждает так сильно большую чистоплотность и естественность нынешних форм жизни и любви, чем тот факт, что современная молодежь сочла возможным и почти само собой разумеющимся обходиться без этого некогда безусловно необходимого социального института и что не полиция, не законы вытеснили проституцию из нашего мира, что этот трагический продукт псевдоморали сам (с некоторыми оговорками) сошел на нет в связи с падением спроса.

Официальная позиция государства и его морали в данном скользком вопросе никогда не была чересчур уступчивой. С точки зрения морали никто не осмелился бы открыто признать за женщиной право на «самопродажу», но с гигиенической точки зрения без проституции, поскольку она давала отток докучливой внебрачной сексуальности, обойтись было невозможно. И вот авторитеты пытались помочь себе двусмысленностью, проведя разграничение между скрытой проституцией, с которой государство боролось как с аморальной и опас-

ной, и проституцией легальной, которая обеспечивалась своего рода промысловым свидетельством и облагалась государственным налогом. Девушка, которая решалась стать проституткой, получала от полиции специальное разрешение, а также — в качестве удостоверения — билет. Став на учет в полиции, обязавшись дважды в неделю показываться врачам, она приобретала право сдавать внаем свое тело по любой сходной цене.

Проституция признавалась такой же профессией, как и любая другая, но (тут-то и являлась на сцену мораль!) все же не до конца. Так, например, если проститутка продавала мужчине свой товар, то есть свое тело, а он, купив ее, отказывался от оговоренной платы, то она не могла подать на него в суд. В этом случае требование ее сразу, *ob turpem causam*^{*}, как гласил закон, становилось аморальным и не подлежало его защите.

Уже по таким частностям ощущалась двойственность взгляда, который, с одной стороны, предоставлял всем этим женщинам разрешенный государством промысел, но, однако, каждую из них ставил, как парию, вне общества. Но хуже всего было то, что все эти ограничения относились лишь к бедным сословиям. Балерина, которую всякий мужчина в Вене мог в любое время получить за двести крон с таким же успехом, как уличную девку за две кроны, в промысловом свидетельстве, ясное дело, не нуждалась; дам полусвета даже упоминали в газетных отчетах среди видных персон, присутствовавших на бегах или дерби, потому что они были составной частью этого «общества». Точно так же по ту сторону закона стояли некоторые из самых благородных посредниц, которые обеспечивали двор, аристократию и богатую буржуазию роскошным товаром; во всех прочих случаях сводничество каралось суровым тюремным наказанием. Наказания, безжалостный контроль и общественное порицание имели силу лишь для многотысячной армии, которая призвана была

^{*}По причине неприличия (*лат.*).

своими телами и своими униженными душами защитить старый и давно уже подточенный взгляд на мораль.

Все это необходимо отметить в правдивой картине времени. Ибо часто, когда я беседую с молодыми приятелями послевоенного поколения, мне лишь с трудом удается доказать, что наша молодость была уж никак не лучше, чем у них. Правда, мы более безмятежно могли предаваться нашему искусству, нашим духовным интересам, в личной жизни быть более независимыми, полнее выявлять свою индивидуальность. Мы могли жить более космополитично, весь мир был открыт нам. Мы могли путешествовать без паспорта и визы, куда нам заблагорассудится, никто не экзаменовал нас на убеждения, происхождение, расу и религию. Мы на практике — я отнюдь не отрицаю этого — имели несравненно больше индивидуальной свободы и не только ее ценили, но и пользовались ею. Но как хорошо однажды заметил Фридрих Хеббель: «То у нас нет вина, то бокала». Редко одному поколению дано и то и другое; если мораль предоставляет человеку свободу, то его притесняет государство. Если государство оставляет ему свободу, то его пытается закабалить мораль. Мы лучше и больше знали мир, но современная молодежь живет более интенсивно и больше пользуется благами молодости. Когда я вижу сегодня молодых людей, возвращающихся из школ, из колледжей с веселыми лицами, когда я вижу юношей и девушек вместе, в свободном, беспечном товариществе, без ложной робости и стыда, в учебе, спорте и игре, когда они мчатся на лыжах по снегу или свободно состязаются, как в античные времена, в бассейнах или вдвоем мчатся в автомобиле за город, соединенные близостью во всех формах здоровой неомраченной жизни, без всякого внутреннего или внешнего бремени, тогда всякий раз мне кажется, что между ними и нами, теми, кто вынужден был, чтобы беречь любовь или предаваться ей, всегда искать тень и укрытие, лежит не сорок, а тысяча лет.

С искренней радостью я вижу, какая невероятная революция нравов свершилась в пользу молодежи, сколько свободы в

любви и в жизни завоевала она и насколько поздоровела физически и духовно благодаря этой свободе; женщины, с тех пор как им разрешено свободно показывать свои формы, кажутся мне красивее, их походка — тверже, их взгляд — радостнее, их речь — менее натянутой. Какая иная уверенность присуща сегодня этой новой молодежи, которой никому не надо отчитываться в своих делах и поведении, только себе и своему чувству личной ответственности; молодежи, которая вышла из-под надзора матерей, и отцов, и теток, и учителей и давно даже не допускает мысли обо всех этих страхах, препятствиях и препонах, которыми было затруднено наше развитие; которая больше ничего не знает об ухищрениях, недомолвках, с какими нам приходилось нечестными путями, словно запретное, отвоевывать то, что она с полным основанием воспринимает как свое право?

Счастливо наслаждается она своим возрастом, вдохновенно, со свежестью, легкостью и беспечностью, которые присущи ему. Но самым большим счастьем кажется мне то, что она не должна лгать ни другим, ни себе самой, ей дозволено быть честной по отношению к ее естественным чувствам и желаниям. Возможно, что из-за легкости, с которой сегодняшние молодые люди идут по жизни, им чуточку недостает того преклонения перед духовностью, что окрыляло нашу молодость. Может быть, из-за того, что им так легко брать и давать, ими в любви утрачено что-то, что нам казалось особенно драгоценным и пленительным, — некая тайная стесненность застенчивости и стыдливости, некая нега нежности. Возможно, они даже не предполагают, насколько сладок может быть запретный плод. Но все это кажется мне незначительным по сравнению хотя бы уже с той раскрепощающей переменой, что нынешняя молодежь свободна от страха и скованности и сполна наслаждается тем, в чем нам в те годы было отказано: чувством независимости и уверенности в себе.

Наконец настал долгожданный момент, когда вместе с последним годом минувшего столетия мы захлопнули за собой двери ненавистой гимназии. После сданного с трудом выпускного экзамена — ибо что знали мы по математике, физике и всем этим отвлеченным материям? — нас, одетых по этому случаю в черные парадные сюртуки, напутствовал проникновенной речью директор гимназии. Теперь мы взрослые и верой и правдой должны послужить нашему отечеству. Тем самым был положен конец и восьмилетней дружбе: мало кого из моих «согалерников» довелось мне встречать с той поры. Большинство поступило в университет, и с завистью глядели на нас те, кто должен был довольствоваться другой участью.

Ибо университет в те давно минувшие времена имел еще особый романтический ореол; студентам немецких государств гарантировались особые права, дававшие юному «академику» большие преимущества перед остальными сверстниками; подобные архаические привилегии, вероятно, мало известны в других странах, а потому их абсурдность требует пояснений. Наши университеты в большинстве своем были основаны еще в средние века, то есть в то время, когда занятие науками считалось делом незаурядным, и чтобы привлечь молодых людей к учебе, им давали определенные преимущественные сословные права. Средневековые странствующие студенты не подлежали обычному суду, их не смели «беспокоить» на лекциях филеры, они носили особую одежду, имели право безнаказанно участвовать в дуэлях и признавались замкнутой кастой со своими нравами и пороками. Но по мере демократизации общественной жизни, когда все другие средневековые гильдии и цехи распались, во всей Европе было утрачено привилегированное положение «академиков»; лишь в Германии и немецкой Австрии, где классовое сознание всегда брало верх над демократическим, студенты упорно держались за эти дав-

* Полнота жизни (*лат.*).

но уже ставшие бессмысленными привилегии и возводили их даже в особый студенческий кодекс.

Немецкий студент гражданскую и личную честь дополнял еще особого рода студенческой «честью»: тот, кто его обидел, должен был дать ему «сатисфакцию» — это значит встретиться с противником с оружием в руках на дуэли, если тот оказывался «достойным» сатисфакции. Но достойным поединка, опять-таки по этой своеобразной чванливой оценке, был не какой-нибудь купец или банкир, а лишь человек с университетским образованием или со степенью и офицер — никто другой из миллионов не мог быть удостоен высокой чести скрестить клинок с безусым глупым молокососом. С другой стороны, чтобы прослыть настоящим студентом, надо было доказать свое мужество — это значит как можно чаще драться на дуэли и даже носить на лице отметины этих героических дел — шрамы; гладкие щеки и несломанный нос были недостойны настоящего немецкого студента.

Таким образом, студенты-корпоранты, то есть такие, кто принадлежал к союзу, имевшему свой цвет, чтобы иметь возможность участвовать в очередных «побоищах», были вынуждены постоянно сталкивать друг с другом совершенно миролюбивых студентов и офицеров. В «союзах» каждый новый студент овладевал на практике самым главным и почетным делом, и помимо того, посвящался в обычаи студенческой корпорации. Каждую «лису», то есть новичка, прикрепляли к корпоранту, которому он должен был рабски повиноваться и который за это учил его уму-разуму и всем искусствам, а именно: пьянствовать до рвоты, осушать залпом тяжеленную кружку пива до последней капли, чтобы тем самым доказать, что он не «слабак», или хором горланить по ночам студенческие песни и дразнить полицию. Все это считалось «мужским», «студенческим», «немецким», и, когда по субботам корпоранты со своими развевающимися флагами, в пестрых беретах и с лентами выходили на свой «променад», эти примитивные, беспутные и заносчивые молокососы чувствовали себя истин-

ными представителями золотой молодежи. С презрением, сверху вниз, взирали они на «чернь», которая не в состоянии была по достоинству оценить и отдать должное их университетской культуре и германской мужественности.

Для недавнего провинциального гимназиста, который прибыл в Вену зеленым юнцом, этот вид молодцеватой и «веселой студенческой жизни» мог, вероятно, казаться высшим воплощением всякой романтики. Десятилетиями потом разглядывали пожилые нотариусы и врачи, взаправду растроганные до слез, развешанные в их комнате крест-накрест сабли и другие предметы гордости, высокомерно они носили свои шрамы как символ «академического сословия». На нас же, напротив, все это убогое и грубое буйство действовало только отталкивающе, и, когда нам встречалась одна из этих расцвеченных лентами орд, мы благоразумно исчезали за углом; ибо нам, для кого личная свобода была превыше всего, эта тяга к насилию и одновременно преклонение перед силой являли самым очевидным образом наихудшее и опаснейшее в немецком характере.

Кроме того, мы знали, что за этой искусственно мумифицированной романтикой скрываются очень тонко рассчитанные практические цели, так как принадлежность к «боевой» корпорации обеспечивала каждому члену протекцию «старых заправил» этого союза по службе и облегчала последующую карьеру. Из боннской студенческой корпорации «Боруссия» самый прямой путь вел в германскую дипломатию, от католических союзов в Австрии — к теплым местечкам господствующей христианско-социалистической партии, и большинство этих «героев» знали наверняка, что их цветные ленты в последствии окупят все их потери в знаниях и что парочка шрамов на лбу может оказаться для них при поступлении на службу более полезной, чем содержание самого лба. Уже сам вид этих нахрапистых вооруженных банд, этих изуродованных и наглых физиономий омрачил мне посещение университетских аудиторий; и многие по-настоящему жаж-

душие знаний студенты направлялись в университетскую библиотеку не через парадный вход, а через неприметную заднюю дверь, чтобы избежать любого столкновения с этими злобными молодчиками.

* * *

То, что мне предстоит учиться в университете, давно уже было решено на семейном совете. Но на каком факультете? Тут родители предоставили мне свободу выбора. Старший брат уже вошел в дела отцовского предприятия, стало быть, другой сын мог не спешить с этим. В конце концов, речь шла лишь о том, чтобы поддержать семейную репутацию титулом доктора, безразлично каких наук. И как ни странно, но выбор был безразличен и мне. Разумеется, меня, всей душой давно уже преданного литературе, не интересовала ни одна из преподававшихся наук, у меня даже было тайное, не утраченное и по сей день недоверие к любым академическим занятиям.

Для меня высказывание Эмерсона о том, что хорошие книги заменяют лучший университет, остается непреложным, и я и сейчас убежден, что можно стать блестящим философом, историком, филологом, юристом и еще неизвестно кем, вовсе не посещая университет и даже гимназию. Великое множество раз находил я жизненное подтверждение тому, что букинисты часто знают книги лучше, чем профессора, антиквары понимают больше, чем ученые-искусствоведы, что львиная доля важных гипотез и открытий во всех областях делается специалистами. Насколько практичными, удобными и полезными университетские занятия могут быть для людей со средними способностями, настолько излишними кажутся они мне для творческих натур, для которых могут стать даже тормозом. Поэтому в таком университете, как наш венский, с его шестью или семью тысячами студентов, в котором уже из-за этого невозможен был плодотворный личный контакт между преподавателями и учениками и который, кроме того, в силу непомерной приверженности традициям отставал от своего

времени, я не видел ни одного человека, который смог бы увлечь меня своей наукой.

Таким образом, основным критерием моего выбора стало не столько то, какой предмет может заинтересовать меня больше всего, сколько, напротив, какой будет для меня менее обременителен и предоставит максимум времени и свободы для моих личных увлечений. В конце концов я избрал философию — или, скорее, «чистую» философию, как это у нас называлось по традиции, — и действительно не по зову сердца, ибо мои способности к чисто абстрактному мышлению более чем скромны. Мысли появляются у меня, отталкиваясь исключительно от конкретных предметов, событий и образов; все чисто теоретическое и метафизическое для меня непостижимо. Во всяком случае, материал для изучения был здесь сравнительно невелик, а посещения лекций и семинаров по «чистой» философии можно было избежать проще всего. Единственно, что требовалось, так это в конце восьмого семестра подготовить диссертацию и сдать несколько экзаменов. Таким образом, я с самого начала наметил, как распределить время: три года вообще не думать об учебе в университете! Затем, в оставшийся последний год, с полным напряжением сил одолеть всю эту схоластику и быстро накропать диссертацию! В таком случае университет давал мне то, чего я единственно от него желал: несколько лет полной свободы для жизни и для литературных начинаний: *universitas vitae*.

Оглядываясь назад, я могу вспомнить лишь немного таких счастливых моментов, как начало этой университетской жизни без университета. Я был молод, а потому у меня не было чувства ответственности за то, чтобы доводить дело до конца. Я был достаточно независим, в сутках было двадцать четыре часа, и все они принадлежали мне. Я мог читать и работать и делать что хочу, не давая ни в чем никому отчета, туча академического экзамена еще не застилала чистый горизонт, ибо такими долгими кажутся в девятнадцать лет три года и так замечательно и насыщено, с такими неожиданностями и подарками можно их прожить!

Первое, с чего я начал, — я стал отбирать — как полагал, беспощадным образом — свои стихи. Не стыжусь признаться, что мне, недавнему девятнадцатилетнему гимназисту, самым сладким ароматом на земле, слаще масел ширазской розы, казался в ту пору запах типографской краски; любая публикация стихотворения придавала моему, очень слабому от природы, чувству уверенности в себе новый прилив сил. Не пора ли мне сделать решающий шаг и попытаться издать целую книжку? Все решила поддержка моих друзей, которые верили в меня больше, чем я сам. Довольно бесстрашно я послал рукопись как раз в то издательство, которое тогда было самым репрезентативным для немецкой поэзии, — Шустера и Леффлера, издателей Лилиенкрона, Демеля, Бирбаума, Момберта — того целого поколения, которое одновременно с Рильке и Гофмансталем создало новую немецкую поэзию. И — о, чудо! — одно за другим последовали те незабываемо счастливые мгновения, которые больше никогда не повторяются в жизни писателя даже после величайших успехов: я получил письмо со штампом издательства и с трепетом держал его в руках, не решаясь открыть. Наступила секунда, когда, сдерживая дыхание, я прочел, что издательство готово опубликовать книгу и что оно даже оговаривает право на дальнейшие публикации. Прибыла бандероль с первыми верстками, которую я вскрыл с безграничным волнением, чтобы увидеть литературный набор, гранки, как бы эмбриональный облик книги, а затем, через несколько недель, саму книгу, первые экземпляры, которыми не уставал любоваться, трогать их, сравнивать еще, и еще, и еще. А затем — беготня по книжным магазинам: выставлена ли книга уже в витрине и в центре ли магазина она красуется или скромно прячется в уголке. А затем — ожидание писем, первых критических отзывов, первого отклика из неизвестности, из непредугадываемого — все то напряжение, волнение, воодушевление, из-за чего я втайне завидую каждому молодому человеку, который отправляет в мир свою первую книгу.

Но этот мой восторг был лишь влюбленностью в первый миг, а ни в коем случае не самодовольством. Как я сам вскоре оценил эти стихи, ясно уже из того, что я не только не переиздал «Серебряные струны» (это название того забытого первенца), но и не взял из них ни одного стихотворения в свое «Избранное». Это были стихи неопределенных предчувствий и неосознанных переживаний, возникшие не на основе личного опыта, а из книжных страстей. Тем не менее в них была определенная музыкальность и достаточное чувство формы, чтобы быть замеченными в кругу любителей, и я не мог пожаловаться на недостаток поддержки. Лилиенкрон и Демель, в ту пору видные лирические поэты, выразили девятнадцатилетнему сердечное и почти товарищеское признание. Рильке, так пылко мной обожествляемый, прислал мне в ответ на «столь прекрасную книгу» подарочное издание своих ранних стихов с «благодарственным посвящением», которое я, как одно из самых дорогих воспоминаний своей юности, вывез из обломков Австрии в Англию (где эта книга теперь?). Слово призрака, напоминала она мне, что этому дружескому дару Рильке — первому из многих — уже сорок лет и что знакомый почерк приветствует меня из царства теней. Но самой непредвиденной неожиданностью было, однако, то, что Макс Регер, наряду с Рихардом Штраусом крупнейший в то время композитор, обратился ко мне за разрешением положить на музыку шесть стихотворений из этой книги; как часто с тех пор слышал я то или иное из них в концертах — мои собственные, давно мной самим забытые и затерянные стихи, пронесенные братским искусством мастера сквозь время.

* * *

Это непредвиденное одобрение, сопровождаемое критическими статьями, толкнуло меня на шаг, на который при моем неизлечимом неверии в себя я никогда — или по меньшей мере так скоро — не решился бы. Еще в гимназии кроме стихов я опубликовал несколько небольших новелл и эссе в литератур-

ных журналах «модерна», не отваживаясь, однако, предложить ни один из этих опусов крупной, многотиражной газете. В Вене имелся, собственно, лишь один печатный орган высокого ранга — «Нойе фрайе пресе», которая благодаря своей объективности, своей известности и культурному и политическому уровню значила для всей австро-венгерской монархии примерно то же, что «Таймс» для английского мира или «Тан» для французского; ни одна из германских газет не заботилась о столь высоком уровне публикуемых материалов.

Издатель «Нойе фрайе пресе», Мориц Бенедикт, человек необыкновенного организаторского таланта и неутомимый труженик, вкладывал всю свою прямо-таки фантастическую энергию в то, чтобы превзойти все немецкие газеты в области литературы и искусства. Если он чего-то хотел от какого-нибудь именитого автора, тому, не считаясь с расходами, посылались одна за другой десять и двадцать телеграмм, заранее соглашались на любой гонорар; праздничные номера к Рождеству и Новому году представляли собой целые тома с величайшими именами современности: Анатоль Франс, Герхарт Гауптман, Ибсен, Золя, Стриндберг и Шоу встречались в таких случаях в этой газете, которая сделала неизмеримо много для литературной ориентации целого города, всей страны. Конечно же, «прогрессивная» и либеральная по направлению, серьезная, но в то же время осторожная в своих оценках, эта газета наилучшим образом соответствовала культурному уровню старой Австрии.

Этот «храм прогресса» имел одну особую святыню, так называемый «Фельетон», который, как и крупные парижские дневные газеты «Тан» и «Журнал де деба», публиковал в «подвале» серьезнейшие и совершеннейшие критические статьи о поэзии, музыке, театре и искусстве, в явном отмежевании от скоротечной политики и злобы дня. Выступать здесь имели право лишь авторитеты, давно себя утвердившие. В эту святыню могли привести лишь основательность суждений, многоопытность и совершенство формы. Людвиг Шпейдель, мастер

малых форм, Эдуард Ханслик, писавшие там о театре и музыке, имели такой же «папский» авторитет, как Сент-Бёв в Париже, в его «Понедельниках», они решали для Вены успех произведения, театральной пьесы, книги и тем самым часто — человека. Каждая из таких статей на целый день становилась предметом бесед в просвещенных кругах: статьи обсуждались, критиковались, ими восхищались или возмущались, и, если вдруг среди давно почитаемых признанных «фельетонистов» всплывало новое имя, это становилось событием. Из молодого поколения только Гофмансталь нашел туда вход несколькими из его блестящих сочинений; обычно же молодые авторы должны были довольствоваться тем, что их прятали в конце литературного раздела. Тот, кто печатался на первой странице, увековечивал свое имя для Вены в мраморе.

Как я нашел смелость предложить небольшую работу «Нойе фрайе прессе», оракулу моих отцов и приюту избранников, мне до сих пор не совсем понятно. Но, в конце концов, ничего более страшного, чем отказ, произойти не могло. Редактор «Фельетона» принимал только раз в неделю с двух до трех часов, так как из-за постоянных посещений известных литераторов у штатных сотрудников для работы с пришельцами оставалось совсем мало времени. Не без сердцебиения поднялся я по маленькой винтовой лестнице в редакцию и попросил доложить о себе. Через несколько минут секретарь вернулся, сказав, что господин редактор просит, — и я вошел в узкую, тесную комнату.

— Что вы принесли?

Я сказал, что охотно предложил бы небольшую прозаическую работу, и передал рукопись. Он взглянул на титульный лист, пролистал вплоть до последней страницы, чтобы узнать объем, затем еще глубже откинулся в кресле. И, к моему удивлению (этого я не ожидал), я увидел, что он тут же начал читать рукопись. Он читал внимательно, страницу за страницей, не поднимая глаз. Прочитав последний лист, он неспешно сложил рукопись, вложил ее, все еще не глядя на меня, акку-

ратно в конверт и синим карандашом сделал на нем какую-то пометку. Лишь после того, как этими таинственными манипуляциями он достаточно долго продержал меня в напряжении, он поднял на меня тяжелый, хмурый взгляд и произнес с намеренной замедленной торжественностью: «Я рад сообщить вам, что ваша прекрасная работа принята в отдел критики «Нойе фрайе прессе». Словно Наполеон приколол на поле брани орден Почетного легиона молодому сержанту.

Сам по себе этот эпизод кажется незначительным. Но надо быть венцем, и венцем того поколения, чтобы понять, какой взлет означало это признание.

Огромное значение победное вхождение в «Фельетон» «Нойе фрайе прессе» имело для моей личной жизни. Благодаря ему я приобрел неожиданный авторитет в собственной семье. Родители мои мало интересовались литературой и суждения о ней не имели; для них, как и для всей венской буржуазии, важным было лишь то, что там хвалили, остальное им было безразлично. То, что печаталось в «Фельетоне», являлось для них непререкаемым авторитетом, ибо тот, кто мог выступить там со своим мнением, уже тем самым вызывал уважение. И вот представим теперь себе такую семью, члены которой ежедневно со вниманием и глубоким почтением устремляют свой взгляд на эту одну страницу своей газеты и однажды утром, не веря своим глазам, обнаруживают, что довольно неопрятному девятнадцатилетнему юнцу, сидящему рядом за столом, отнюдь не блещущему в школе, писанину которого они воспринимают со снисхождением, как «неопасное» баловство (это, во всяком случае, лучше, чем игра в карты или флирт с легкомысленными девицами), предоставлено в этом ответственном издании, наряду с известными и опытными мужами, слово для выражения им своего мнения (дома до сих пор не очень-то почитаемого). Если бы я оказался автором прекраснейших стихов Китса, Гёльдерлина или Шелли, то и это не произвело бы такого крутого поворота; когда я приходил в театр, друг другу показывали этого загадочного

Вениамина*, который чудесным образом проник в святой заповедник почтеннейших и достойнейших. А так как я стал печататься в «Фельетоне» часто и почти регулярно, то вскоре мне начала грозить опасность стать уважаемой местной знаменитостью; но этой опасности я, к счастью, вовремя избежал, поразив как-то утром родителей известием, что следующего семестра намерен учиться в Берлине. А моя семья изрядно почитала меня — или, скорее, «Нойе фрайе прессе», в золотой тени которой я пребывал, — и даже слишком, чтобы не удовлетворить мое желание.

* * *

Разумеется, я и не думал «учиться» в Берлине. Там за семестр я, как и в Вене, побывал в университете лишь дважды: первый раз, чтобы записаться на курс лекций, а во второй, чтобы получить зачет за их мнимое посещение. Я искал в Берлине не профессоров и не их лекций, а еще более высокую, более полную свободу. В Вене я невольно был привязан к среде. Литераторы, с которыми я общался, почти все происходили из той же буржуазной среды, что и я; в тесном городе, где каждый знал о каждом, я неизбежно оставался сыном из «порядочной» семьи, и я устал от так называемого «хорошего общества»; мне даже в один прекрасный день захотелось откровенно «плохого» общества — непринужденной, неконтролируемой формы существования. Я и не удосужился заглянуть в расписание, кто преподает в Берлине философию; мне достаточно было знать, что «новая» литература там развивается более энергично, более бурно, чем у нас, что там можно встретить Демеля и других поэтов молодого поколения, что там непрестанно возникают журналы, кабаре, театры — одним словом, что там, как говорят венцы, «что-то происходит».

Действительно, я приехал в Берлин в очень интересный

* Вениамин — библейский персонаж, сын Иакова, пользовавшийся особой любовью отца. В переносном значении — счастливчик, баловень судьбы. — *Примеч. пер.*

исторический момент. С 1870 года, когда он из довольно захолустной, небольшой и совсем небогатой столицы Пруссии стал резиденцией германского кайзера, заурядный город на Шпрее начал бурно развиваться. Но на долю Берлина еще не выпало главенство в художественной и культурной областях: Мюнхен с его художниками и поэтами считался подлинным центром искусства, дрезденская опера диктовала моду в музыке, столичные города притягивали к себе способных людей, и прежде всего Вена, с ее столетней традицией, средоточием духовных сил, ее прямо-таки врожденным талантом, все еще намного превосходила Берлин. Однако в последние годы, в связи с быстрым экономическим подъемом Германии, положение начало меняться. В Берлин потянулись представители крупных концернов, состоятельные семьи, и новое богатство, соединенное с отчаянной дерзостью, открыло здесь архитектуре и театру большие возможности, чем в любом другом крупном немецком городе. Под покровительством кайзера Вильгельма музеи разрослись, театр нашел образцового руководителя в лице Отто Брама, и именно то, что здесь отсутствовали коренные традиции, многовековая культура, толкало молодежь на дерзания. Ибо традиция всегда означает и тормоз. Вена, привязанная к старому, обожевляющая свое прошлое, оказалась осторожной и выжидающей по отношению к молодым людям и дерзким экспериментам. В Берлине же, развивающемся бурно и своеобразно, искали новое. Таким образом, было естественно, что молодые люди со всей империи и даже из Австрии устремились в Берлин, где наиболее талантливые были по справедливости вознаграждены: венцу Максу Рейнхардту пришлось бы в Вене терпеливо ждать два десятилетия, чтобы достичь положения, которое в Берлине он завоевал за два года.

Я прибыл в Берлин как раз в период его превращения из затрапезной столицы в мировой город. Первое впечатление после сытой и унаследованной от великих предков красоты Вены было разочаровывающим: решительное смещение на

запад, где должно было развернуться новое строительство, в противовес довольно пошлым кварталам Тиргартена, только начиналось; и еще не застроенная Фридрихштрассе и Лейпцигерштрассе с ее несуразной парадностью составляли центр города. До пригородов — Вильмесдорфа, Николасзее, Штеглица — можно было с трудом добраться лишь трамваем, а поездка к озерам с их строгой красотой в то время требовала организации чуть ли не экспедиции. Кроме старой Унтер-ден-Линден, настоящего центра не было, а элегантность в силу исконной прусской экономности вообще отсутствовала. Женщины ходили в театр в самодельных, безвкусно сшитых платьях, повсюду недоставало легкого, непринужденного, расточительного размаха, который в Вене, как и в Париже, умеет создать очаровательное излишество из дешевого ничего.

Во всем чувствовалась фридрихианская, скупая домовитость: кофе был жидким и плохим, потому что сэкономили каждое зернышко, еда безвкусной, без сока и силы. Повсюду вместо нашей музыкальной круговерти царили чистота и строгий, аккуратный порядок. Ничто для меня, например, не было более показательным, чем противоположность между моими венской и берлинской хозяйками. Венская была бойкой болтливой женщиной и все содержала не в лучшем виде, легкомысленно забывая то об одном, то о другом, но всегда была готова помочь чем только могла. Берлинка была корректной и все содержала в безукоризненном состоянии; но в первом же месячном счете я нашел учтенной ровным, четким почерком каждую мелкую услугу, которую она оказала: три пфеннига за то, что пришила к брюкам пуговицу, двадцать пфеннигов за то, что удалила со стола чернильное пятно, пока наконец под мощной подводящей все ее усилия чертой не получилась суммища в 67 пфеннигов. Я сначала посмеялся над этим; но интересно, что сам через несколько дней поддался этому педантичному, мучительному прусскому пристрастию к порядку и в первый и в последний раз в моей жизни вел точную запись всех расходов.

От венских друзей я получил множество рекомендательных писем. Но ни одним не воспользовался. Ведь подлинным смыслом моей эскапады было бегство от любой обеспеченной и буржуазной обстановки, для того чтобы жить раскованно, рассчитывая на себя самого. Я стремился к тому, чтобы познать людей, к которым нашел бы путь благодаря своим литературным успехам, и по возможности интересных людей; в конце концов, мы ведь читали «Сцены из жизни богемы», а кто из двадцатилетних не хотел бы пережить похожее.

Такой пестрый и случайный круг людей мне не пришлось искать долго. Еще будучи в Вене, я сотрудничал в ведущем органе берлинского «модерна», который почти иронично назывался «Die Gesellschaft»*, и руководил им Людвиг Якововски. Этот молодой поэт незадолго до своей ранней смерти создал союз с соблазнительным для молодежи названием — «Die Kommenden»**, который собирался раз в неделю на нижнем этаже кафетерия на Ноллендорфплац. В этом построенном на манер «Клозери де Лиль»*** огромном круглом зале собиралась самая разношерстная публика, поэты и архитекторы, просто снобы и журналисты, юные девицы, выдававшие себя за художниц или ваятельниц, русские студенты и белокурые скандинавки, которые хотели усовершенствоваться в немецком языке. Да и сама Германия имела здесь представителей из всех своих провинций: крепко скроенных вестфальцев, простодушных баварцев, силезских евреев, — все они спорили и шумели, бурно и непринужденно. Время от времени читались стихи и пьесы, но главным для нас было взаимное общение.

Среди этих молодых людей, которые намеренно выглядели «богемно», трогательно, словно Санта-Клаус, выделялся старый человек с седой бородой, — всеми уважаемый и любимый истинный поэт и истинная богема Петер Хилле. Этот семиде-

* «Общество» (нем.).

** «Грядущие» (нем.).

*** Ресторан в центре Парижа. — Примеч. пер.

сятилетний старик с голубыми собачьими глазами глядел добродушно и доверчиво на удивительное сборище молодых людей, всегда укутанный в свой старый плащ, который скрывал вконец изношенный костюм и грязную рубашку; всякий раз, охотно уступая нашему натиску, он вынимал из кармана пиджака измятую рукопись и читал свои стихи. Стихи были неравноценные, скорее, импровизация лирического гения, только написанные слишком поспешно, случайно. Он писал их в трамвае или в кафе карандашом, потом забывал про них и с трудом мог разобрать строки на смятых, в пятнах листках. Денег у него никогда не было, но он и не беспокоился о них, ночевал в гостях то у одного, то у другого, и в его отрешенности от мира, его абсолютном бескорыстии было столько потрясающе истинного! Никто не знал, когда и как этот добрый леший попал в большой город Берлин и что он здесь искал. Он совсем ничего не хотел: ни славы, ни известности, ни почестей — и благодаря своей поэтической сказочности был беспечней и свободней всех тех, кого я встречал позднее. Вокруг него галдели и старались перекричать друг друга завзятые спорщики; он только вслушивался, ни с кем не споря, иногда дружески поднимал бокал в чью-нибудь сторону, но в разговор не вступал. Было такое чувство, что даже во время самого дикого гама в его всклокоченной и поникшей голове продолжается поиск рифм и слов, которые роятся и ускользают от него.

Непосредственное и детское, что исходило от этого наивного поэта — который даже в Германии ныне уже почти забыт, — быть может, чисто эмоционально, отвлекало мое внимание от законно избранного председателя, хотя это был человек, чьи мысли и слова определили жизненный путь множества людей. В нем, в Рудольфе Штейнере, основателе антропософии, чьи последователи позднее создали великолепные школы и академии для распространения его учения, я встретил человека, на которого судьба возложила миссию стать проводником миллионов. В его темных глазах была гипнотическая сила, и я лучше и более критично слушал Штейнера,

когда не смотрел на него, ибо его аскетически-сухощавый, отмеченный духовной страстностью облик, пожалуй, способен был покорять не только женщин.

В то время Рудольф Штейнер еще не подошел вплотную к своему учению, он сам еще был в поисках и сомнениях; иногда он комментировал учение о цвете Гёте, образ которого в его интерпретации более походил на Фауста, на Парацельса. Речи его захватывали, ибо образован он был поразительно — и особенно по сравнению с нами, занятыми исключительно литературой, — замечательно многосторонне; после его лекций и нескольких душевных бесед я всегда возвращался домой и воодушевленный, и несколько подавленный. Тем не менее, когда я спрашиваю себя, предвидел ли я тогда, что философские и этические воззрения этого молодого человека окажут столь огромное влияние на массы, я, к стыду своему, должен ответить отрицательно. Я ожидал от его пытливого ума великого вклада в науку и нисколько не удивился бы, если бы ему удалось совершить крупное открытие в биологии; но когда, спустя многие годы, в Дорнахе я увидел грандиозный Гётеанум — эту «школу мудрости», эту платоновскую академию «антропософии», которую учредили его ученики, — я был скорее разочарован тем, что его влияние реализовалось таким практическим, отчасти даже банальным образом.

Я не беру на себя смелость выносить суждение об антропософии, ибо мне и до сего дня не совсем ясно, чего она добивается и к чему стремится; я даже думаю, что по сути своей ее соблазнительное воздействие связано не с идеей, а с притягательной личностью Рудольфа Штейнера. Как бы то ни было, встретить человека подобной магнетической силы именно тогда, на той ранней ступени его развития, когда он держался более молодого, дружески-непринужденно и без всяких предвзятостей, было для меня неоценимым выигрышем. Его фантастически обширные и в то же время глубокие знания показали мне, что истинный университет (а нам-то с нашим гимназическим высокомерием казалось, что он уже позади) — это

не поверхностная начитанность, не словесные баталии, но многолетний и упорный труд.

Человек в пору особой, молодой впечатлительности, когда дружба завязывается легко, а социальные и политические различия существенной роли не играют, самое главное получает скорее от своих сверстников, чем от зрелых людей. Снова я ощутил — но теперь на более высокой и более «интернациональной» ступени, чем в гимназии, — насколько плодотворен коллективный энтузиазм. В то время как мои венские друзья почти все происходили из буржуазии, молодые люди этого нового мне мира были выходцами из самых разных слоев — верхних, нижних: один прусский аристократ, сын гамбургского судовладельца другой, третий из вестфальского крестьянского рода; я вдруг оказался среди людей, где была и настоящая бедность с рваным платьем и стоптанными туфлями, следовательно, в такой среде, с которой в Вене я никогда не соприкасался. Я сидел за одним столом с настоящими пьяницами и наркоманами, я пожимал — очень гордо — руку одному довольно известному отбывшему наказание авантюристу (который позднее опубликовал свои мемуары и таким образом оказался среди нас, литераторов). Все, чему я почти не верил в реалистических романах, толклось и обитало в маленьких пивных и кафе, куда меня ввели, и, чем хуже была репутация какого-нибудь человека, тем более сильным было мое желание познакомиться с ее носителем лично.

Этот особый интерес или любопытство к опасным людям, между прочим, сопровождали меня всю жизнь; даже в годы, когда пристало быть уже более разборчивым, мои друзья часто возмущались, с какими-де аморальными, сомнительными и по-настоящему компрометирующими людьми я общаюсь. Возможно, именно добропорядочность той среды, из которой я происходил, и тот факт, что я до определенной степени сам ощущал тяжесть комплекса «благополучия», делали притягательными всех, кто к своей жизни, своему времени, своим деньгам, своему здоровью, своему добру имени относились

расточительно и чуть ли не с презрением, этих людей страсти, этих мономанов чистого бытия без цели; быть может, в моих романах и новеллах заметно влечение ко всем ярким и необузданным натурам.

К этому добавлялась привлекательность экзотического, иноземного; почти каждый, уступая натиску моего любопытства, преподносил мне подарок из иного мира. Молодой человек из России переводил мне прекраснейшие места в ту пору еще неизвестных в Германии «Братьев Карамазовых», молодая шведка познакомила меня с картинами Мунка; я слонялся по мастерским художников (разумеется, плохих), знакомясь с их техникой; мистик отвел меня в спиритический кружок — многолико и пестро воспринимал я жизнь и не мог насытиться. Жажда впечатлений, проявлявшаяся в гимназии лишь в «чистых» формах, в стихе, рифме и слове, перебросилась теперь на людей: с раннего утра до глубокой ночи я встречался в Берлине все с новыми и разными людьми, воодушевленный, разочарованный, подчас обманутый ими. Думаю, за десять лет я не получал столько от духовного общения, как за один этот короткий семестр в Берлине — первый семестр полнейшей свободы.



То, что это невероятное многообразие впечатлений должно было стать сильнейшим побуждением к творчеству, казалось мне само собой разумеющимся. В действительности же случилось наоборот: моя уверенность в себе, столь возросшая в гимназическую пору благодаря духовной экзальтированности, заметно поубавилась. Через четыре месяца после публикации сборника стихов я уже не понимал, откуда набрался смелости издать эту незрелую книгу; теперь я воспринимал эти стихи как добротное, искусное, отчасти даже достойное внимания изделие художественного ремесла, возникшее от тщеславного умения играть формой, но слишком сентиментальное. Точно так же с начала соприкосновения с этой действительностью

ощутил я в своих первых рассказах аромат надушенной бумаги; написанные при абсолютном незнании реальности, они использовали чью-то чужую, некогда заимствованную технику. Романом, доведенным до конца и привезенным в Берлин, чтобы осчастливить издателя, вскоре была истоплена печь, ибо моя вера в основательность моих гимназических познаний о жизни была вконец подорвана этим первым соприкосновением с жизнью настоящей.

У меня было такое чувство, словно в гимназии меня пересядили двумя классами ниже. Действительно, после первой книги стихов я сделал перерыв в шесть лет, прежде чем опубликовать вторую, и лишь через три или четыре года опубликовал первую книгу прозы; последовав совету Демеля, которому я и по сей день благодарен за это, я использовал свое время для переводов, что и теперь считаю лучшей возможностью для молодого поэта глубже и более творчески осознать дух родного языка. Я перевел стихи Бодлера, кое-что из Верлена, Китса, Уильяма Морриса, небольшую драму Шарля ван Лерберга и роман Лемонье, «*pour me faire la main*»*. Именно благодаря тому, что любой иностранный язык присущими только ему оборотами создает поначалу трудности для перевода, он требует выражений такой силы, которые обычно без поиска не даются, и эта упорная борьба за постижение самого существенного в иностранном языке и столь же пластичное перенесение в язык родной всегда доставляли мне особое эстетическое наслаждение. Поэтому эта скромная и, собственно говоря, неблагодарная работа, требующая терпения и выдержки — добродетелей, которыми в гимназии по легкомыслию и беспечности я пренебрегал, — стала мне особенно дорога, ибо в этом скромном содействии высокому искусству я впервые ощутил уверенность, что делаю нечто действительно нужное, что оправдывает мое существование.

* Чтобы набить руку (фр.).

Мой путь на ближайшие годы стал мне теперь ясен: как можно больше повидать, многому научиться и только после этого браться за дело! Не вступать в мир с незрелыми публикациями, а сначала познать все его тайны! Берлин со всеми соблазнами еще более усилил мою жажду. И я оглядывался вокруг, выбирая, в какую страну совершить путешествие летом. Мой выбор пал на Бельгию. В этой стране в начале нового века произошел настолько бурный художественный подъем, что в каком-то отношении она даже превзошла Францию. Кнопф, Ропс — в живописи, Константин Менье и Минне — в скульптуре, Ван дер Вельде — в декоративно-прикладном искусстве, Метерлинк, Экхуд, Лемонье — в поэзии придали новые силы европейскому искусству. Но больше всего меня привлекал Эмиль Верхарн, ибо его лирика указывала совершенно новый путь; я открыл его в ту пору, когда он в Германии был еще совершенно неизвестен (официальная литература путала его долго с Верленом, так же как она смешивала Роллана с Ростаном), некоторым образом *privatim**. А когда любишь кого-нибудь один — любишь вдвое сильнее.

Быть может, здесь требуется небольшое пояснение. Наша эпоха живет слишком быстро и слишком разнообразно, чтобы иметь хорошую память, и я не уверен, значит ли что-нибудь и поныне имя Эмиля Верхарна. Верхарн первым из поэтов, писавших по-французски, попытался дать Европе то, что Уолт Уитмен — Америке: познание современности, познание будущего. Он полюбил современный мир и стремился завоевать его для поэзии. В то время как другим представлялось, будто машины злы, города уродливы, современность — непотична, его вдохновляло каждое новое изобретение, каждое техническое достижение, и он сознательно культивировал свой восторг, чтобы в этой страсти ощущать себя более силь-

*Для себя (лат.).

ным. Начав с коротких стихотворений, он перешел к грандиозным, стремительным гимнам. «Admirez vous les uns les autres»* стало обращением к народам Европы. Весь оптимизм нашего поколения, этот давно уже непонятный при теперешней ужасной деградации оптимизм, впервые нашел у него поэтическое воплощение, и некоторые из лучших его стихотворений долго еще будут свидетельствовать о том, каким являлись тогда нашей мечте Европа и человечество.

Собственно, я и приехал в Брюссель для того, чтобы познакомиться с Верхарном. Но Камиль Лемонье, этот мужественный, несправедливо забытый в наши дни поэт, чей роман «Самец» я перевел на немецкий, с сожалением сказал мне, что Верхарн лишь изредка наезжает в Брюссель из своей деревушки, а теперь его нет в городе. Чтобы как-то компенсировать мое разочарование, он самым сердечным образом свел меня с другими деятелями бельгийского искусства. Так, я повидал старейшего мастера Константина Менье, этого смелого и могучего скульптора, певца труда; а после него Ван дер Стаппена, имя которого сегодня в истории искусств почти стерлось. А как приветлив был этот невысокий, толстощекий фламандец и как сердечно принимали меня, молодого человека, он и его крупная, высокая, веселая жена-голландка! Он показал мне свои работы, мы долго беседовали в тот ясный полдень об искусстве и литературе, и доброта этой четы вскоре заставила меня забыть свою робость. Я откровенно поведал им о своем огорчении: в Брюсселе мне недостает именно того, ради кого я, собственно, приехал, — Верхарна.

Не сказал ли я что-нибудь лишнее? Может быть, я сказал глупость. Во всяком случае, Ван дер Стаппен и его жена заулыбались, переглядываясь украдкой. Я заметил, что мои слова навели их на какую-то мысль. Почувствовав себя неловко, я стал откланиваться, но они не отпустили меня — следовало непременно остаться победать. И все та же лукавая усмешка в глазах у обоих. Я понял, что если за всем этим и кроется

* Восхищайтесь друг другом (фр.).

какая-то загадка, то приятная, и с готовностью отказался от запланированной поездки в Ватерлоо.

Скоро наступил полдень, и вот мы уже сидели в столовой — она находилась, как во всех бельгийских домах, на первом этаже, — а из гостиной сквозь цветные стекла просматривалась улица, как вдруг за окном выросла резко очерченная тень. В цветное стекло постучали, коротко прозвенел звонок. «Le voila!»* — воскликнула жена Ван дер Стаппена и поднялась. Я не знал, кого она имеет в виду, но дверь уже открылась, и тяжелым, богатырским шагом вошел он — Верхарн. Я сразу узнал его давно знакомое мне по фотографии лицо. Верхарн часто бывал здесь в гостях, и, когда Ван Стаппены услышали, что я тщетно ищу его повсюду, они безмолвно условились сделать мне сюрприз. И вот он, посмеиваясь над удавшейся шуткой, стоит передо мной. В первый раз я ощутил крепкое пожатие его нервной руки, впервые увидел его ясный, добрый взгляд. Он пришел заряженный, как всегда, — в равной мере впечатлениями и энергией. И, жадно принявшись за еду, сразу же стал рассказывать. Он побывал у друзей и в галерее и все еще находился под впечатлением.

Откуда бы он ни пришел, он всегда был чем-нибудь взволнован, и это воодушевление стало для него святой привычкой; словно пламя срывалось с его губ, а сказанное он умел великолепно подкрепить резким жестом. С первого же слова он проникал в людские души, потому что был совершенно открыт, доступен всему новому, все принимал и был готов на жертву для любого и каждого. Он открывался перед человеком до самой своей сокровенной сути, и в тот первый час знакомства я испытал на себе благотворный неодолимый натиск его личности, как сотни раз впоследствии покорялся ему вместе с другими людьми. Он еще ничего не знал обо мне, но уже доверял только потому, что слышал, как мне близко его творчество.

После обеда меня ожидал еще один приятный сюрприз. Ван

* Вот и он! (фр.)

дер Стаппен по просьбе Верхарна давно уже работал над бюстом поэта. И как раз сегодня предстоял последний сеанс. Мое присутствие, сказал Ван дер Стаппен, как нельзя кстати, нужно занять беседой слишком беспокойную модель, пока та будет позировать, — чтобы лицо выглядело оживленным. И вот в течение двух часов я внимательно вглядывался в это лицо, в это незабываемое лицо. Высокий лоб, густо изборожденный морщинами трудных лет, над ним копна вьющихся каштановых волос, резкие очертания обветренных загорелых скул, словно каменный подбородок и над узким ртом — густые висячие усы à la Верцингеториг. Тревожное беспокойство таилось в руках — узких, цепких, тонких и все же крупных руках, на которых под прозрачной кожей сильно пульсировали вены. Волевой мощью дышали широкие крестьянские плечи, на которых нервная костистая голова казалась чуть ли не маленькой; лишь при ходьбе заметной становилась его сила. Теперь, глядя на этот бюст — никогда Ван дер Стаппену не удавалось создать ничего лучшего, — я понимаю, насколько он похож и насколько верно он схватывает суть поэта. Он — свидетельство поэтического величия, памятник непреходящей силы.



За эти три часа я полюбил этого человека на всю мою жизнь. В его натуре была уверенность, которая ни на минуту не переходила в самодовольство. Он не гнался за деньгами, охотно жил в глуши, лишь бы не писать на потребу нынешнего часа или дня. Он устоял перед опаснейшим искушением — перед славой, когда та наконец пришла к нему в зените жизни. Он остался открытым, не знающим опасений, не подверженным тщеславию, свободным, радостным, восторженным человеком; находясь с ним рядом, я ощущал в себе частицу его воли к жизни.

И вот он, точно такой, каким я представлял его и видел в мечтах, стоял передо мной наяву. И в первый же час нашего знакомства я принял решение: служить этому человеку и его делу. Решение было отчаянным, так как этот творец гимнов в

честь Европы был тогда в этой самой Европе мало известен и я знал заранее, что перевод его монументальной поэзии и трех его поэтических драм отнимет у моего собственного творчества два или три года. Но, решившись отдать все свои силы, время и страсть служению чужому труду, я получил зато нравственный стимул и оказался в выигрыше. Мои неопределенные искания и эксперименты обрели теперь смысл.

И если бы мне сегодня пришлось давать совет молодому писателю, который не определил еще своего пути, я бы постарался направить его на то, чтобы он попробовал переложить или перевести какое-нибудь значительное произведение. Подвижническое служение плодотворней для начинающего, чем собственное творчество, и ничто из того, что пожертвовано другому, не потеряно.

* * *

За два года, которые я посвятил переводам поэтических произведений Верхарна и сочинению биографической книги о нем, я много путешествовал — в частности, для чтения публичных лекций. И был неожиданно вознагражден за свой на первый взгляд неблагодарный труд: друзья Верхарна за границей обратили на меня внимание, а вскоре они стали и моими друзьями. Так, однажды ко мне пришла Эллен Кей — эта удивительная шведка, с несравненной смелостью отстаивавшая в те нелегкие времена эмансипацию женщин; в своей книге «Век ребенка» она, задолго до Фрейда, рассказала о том, как хрупок душевный мир подростка; благодаря ей я получил в Италии доступ в поэтический кружок Джовани Чены, а в норвежце Юхане Бойэре обрел большого друга. Георг Брандес, всемирно известный специалист по истории литературы, доверившись моему отзыву, сделал имя Верхарна более известным в Германии, чем на его родине. Кайнц, величайший актер, а также Моисси читали со сцены его стихи в моих переводах. Макс Рейнхардт поставил «Монастырь» Верхарна на немецкой сцене: мне было чем гордиться.

Но тут наступило время вспомнить, что я взял на себя еще

одно обязательство. Мне надо было закончить свою университетскую карьеру и привезти домой титул доктора философии. Предстояло за пару месяцев перевернуть весь академический материал, который более прилежные студенты с отвращением пережевывали почти четыре года; вместе с Эрвином Гвидо Кольбенхайером, наперсником моих юношеских литературных увлечений (который, вероятно, сейчас не любит об этом вспоминать, став в гитлеровской Германии одним из официозных поэтов и академиком), мы зубрили ночи напролет. Но экзамен оказался несложным. Добряк профессор, достаточно хорошо знавший о моей литературной работе, чтобы не терзать меня всякой чепухой, в частной предварительной беседе сказал улыбаясь: «Вам ведь не хочется экзаменоваться по формальной логике?» — и переключился на те проблемы, в которых, как он знал, я ориентировался уверенно. Это был первый и, надо полагать, последний случай, чтобы я выдержал экзамен на «отлично». Итак, я обрел внешнюю свободу и всю жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, отдал борьбе, которая в наше время становится все более тяжелой, — борьбе за то, чтобы отстоять и свободу внутреннюю.

ГОРОД ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ — ПАРИЖ

В подарок на первый же год обретенной свободы я решил преподнести себе Париж. Дважды побывав в этом непостижимом городе, я был знаком с ним лишь поверхностно; я знал, что тот, кому довелось в молодости провести здесь хотя бы год, пронесит сквозь всю свою жизнь несравненную память о счастье. Нигде юность не находит такой гармонии разбуженных чувств с окружающим миром, как в этом городе, который раскрывается перед каждым, но которого никому не познать до конца.

Я отлично знаю, что этого Парижа — окрыленного и окрыляющего радостью, Парижа моей юности — больше нет; ему, быть может, никогда уже не вернуть чудесной беззаботности:

самая жестокая на земле рука властно отметила его огненным тавром. Как раз когда я начинал писать эти строки, германские армии, германские танки серой массой термитов надвигались на него, чтобы вытравить из этого гармонического творения божественную игру красок, блаженную легкость, нетленное совершенство.

И вот — свершилось: флаг со свастикой развевается на Эйфелевой башне, черные колонны штурмовиков печатают наглый шаг по наполеоновским Елисейским полям, и я вижу из своего далека, как за стенами домов замирают сердца, как мрачнют вчера еще такие беспечные парижане, когда завоеватели, грохоча сапогами, входят в их уютные бистро и кафе.

Едва ли когда-нибудь личное горе так трогало меня, приводило в такое отчаяние, так потрясало, как падение этого города, наделенного, как никакой другой, даром приносить счастье любому, кто соприкоснулся с ним. Суждено ли ему еще когда-нибудь дать потомкам то же, что дал он нам: мудрейший урок, великолепнейший пример того, как сочетать свободу и творческий труд, быть щедрым ко всем, не скудея душой, а приумножая свои богатства.

Я знаю, знаю: сегодня страдает не только Париж; пройдут десятилетия, прежде чем остальная Европа станет такой же, какой была до первой мировой войны. С тех пор тучи уже не уходили с европейского, некогда такого ясного горизонта; горечь и недоверие — страны к стране, человека к человеку — отравляют израненное тело Европы. И сколько бы социальных и технических достижений ни дала эта четверть века между двумя мировыми войнами, а все же нет в нашей маленькой Европе ни одного народа, который не понес бы неисчислимых утрат в своем жизнелюбии, в своем добродушии.

Можно было бы часами рассказывать, какими доверчивыми, какими по-детски веселыми, даже в самой горькой бедности, были раньше люди Италии, как смеялись и танцевали они в своих трактирах, как едко вышучивали свое никудышное

governo* , а теперь им приходится уныло маршировать, задрав подбородок и проклиная в душе все на свете. Разве можно еще представить себе австрийца таким легкомысленно-добродушным увальнем, кротко и благочестиво полагающимся на императорское величество и на всевышнего, который сотворил жизнь такой отрадной? Все народы чувствуют лишь, что над их жизнью нависла чужая тень, огромная и тяжелая. Но мы — те, кто еще застал мир личной свободы, — мы знаем и можем засвидетельствовать, что было время, когда Европа безмятежно наслаждалась калейдоскопической игрой красок. И нас потрясает этот поблекший, угасший, порабощенный и перевернутый вверх дном мир, каким он стал в безумии самоистребления.

Но все-таки нигде нельзя было изведать простую и вместе с тем таинственно-мудрую беспечность бытия счастливей, чем в Париже, торжественно утверждавшем ее красотой своих силуэтов, мягким климатом, обилием традиций и дыханием старины. Каждый из нас, молодых, причастился этой легкости и тем самым привнес что-то свое; китайцы и скандинавы, испанцы и греки, бразильцы и канадцы — никто не чувствовал себя чужаком на берегах Сены. Не было принуждения, можно было говорить, думать, смеяться и негодовать, как хочешь, каждый жил, как ему нравилось: на людях или в тишине, расточительно или скромно, по-барски или по-студенчески — все оттенки допускались, удовлетворялись все запросы.

Здесь были изысканные рестораны со всеми чудесами кулинарии, с винами по двести-триста франков за бутылку, с безбожно дорогими коньяками времен Маренго и Ватерлоо; но почти столь же отменно можно было угоститься в любом *marchand de vin*** за первым же углом. В набитых битком студенческих кафе Латинского квартала вы за пару су получали, кроме сочного бифштекса и всевозможных аппетитных

* Правительство (*ит.*).

** Кабачке (*фр.*).

приправ к нему, еще и вино — красное или белое — и огромный, восхитительный на вид батон.

Одевались как душе угодно: студенты щеголяли на бульваре Сен-Мишель в кокетливых беретах; «garins»*, в свою очередь, отличались широченными шляпами и романтичными бархатными куртками; рабочие беспечно бродили по самым аристократическим бульварам в своих синих блузах, иной раз — закатав рукава; няньки — в бретонских чепцах с широкой складкой, виноторговцы — в передниках.

Вовсе не так уж непременно требовалось наступить четырнадцатому июля, чтобы далеко за полночь прямо на улице начались танцы, и полицейский улыбался молодым парочкам: ведь улица принадлежала всем! Никто никого не стеснялся; элегантнейшие девушки не считали зазорным отправиться в ближайшую мебелирашку, «petit hotel», рука об руку с черным, как смола, негром или узкоглазым китайцем — кто считался в Париже с такими страшными впоследствии жупелами, как раса, сословие, происхождение? Бродили, разговаривали, жили с теми, кто нравился, все остальное не имело значения.

Ах, надо было знать Берлин, чтобы по-настоящему любить Париж; нужно было отведать добровольного немецкого лакейства, с присущими Германии непреодолимыми социальными барьерами и болезненным сословным тщеславием: офицерская жена не «зналась» с женой учителя, а та — с женой торговца, а эта, само собой, — с женой рабочего. А у Парижа в крови еще бродили заветы революции, пролетарий считал себя таким же свободным и полноправным гражданином, как и его работодатель, официант в кафе запросто пожимал руку генералу в лампасах, добродетельные буржуазки не воротили нос от проститутки, живущей по соседству: они каждый день болтали с ней на лестнице, а их дети дарили ей цветы.

Я видел однажды, как в фешенебельный ресторан Ларю, что у церкви Святой Мадлен, ввалились прямо с крестин нормандские крестьяне в своих деревенских нарядах; они грома-

* Студенты Академии художеств (фр.).

хали грубыми башмаками, а напомажены были так, что запах проникал и на кухню. Они разговаривали громко и становились все шумней, чем больше пили, и бесцеремонно шлепали своих толстых жен. Их нисколько не смущало, что они, простые крестьяне, деревенщина, сидят меж блестящих фраков и изысканных туалетов; и безукоризненно выбритый официант не важничал, как это было бы в Германии или Англии: он прислуживал гостям из захолустья так же безупречно вежливо, как министрам и князьям, а метрдотелю даже нравилось приветствовать подгулявших клиентов с особым радушием.

Париж не разбирал, где верх, где низ, противоречия мирно уживались в нем; шикарные улицы переходили в трущобы, и повсюду жилось равно весело и беспечно. В предместьях играли уличные музыканты, из окон доносилось пение мидинеток*, в воздухе звенел смех или ликующий зов. А если где-нибудь и побранились двое извозчиков, то после ссоры они обменивались рукопожатием и пропускали по стаканчику вина, закусывая — это стоило гроши — парочкой устриц. Не было натянутой чопорности. Интрижку было одинаково легко завязать и оборвать, каждый находил, что искал, каждому доставалась веселая и не слишком строгая подружка.

Ах, до чего же легко, до чего славно жилось в Париже, особенно молодым! Каждая прогулка была и удовольствием и уроком — ведь все было доступно: можно зайти к букинисту и порыться с четверть часика в книгах, не боясь хозяйского брюзжания и воркотни. Можно было пройтись по небольшим выставкам или всласть потолкаться в магазинчиках *bric-à-brac***, было чем поживиться на торгах в отеле Друо; в садах можно было поболтать с гувернантками; выбравшись на прогулку, трудно было оставаться безучастным: улица затягивала непрестанной, калейдоскопической сменой впечатлений. А кто устал, мог присесть на террасе любого из десяти тысяч

* Белошвейки. — *Примеч. пер.*

** Антикварные вещицы, старинные безделушки (*фр.*).

кафе и написать письмо — бумага выдавалась бесплатно — и притом стать жертвой уличных торговцев, предлагавших всякую всячину. Трудно было лишь оставаться дома или идти домой, особенно весной, когда над Сеной переливался мягкий серебристый свет, зеленели на бульварах деревья, а молодые девушки все как одна прикалывали к платью по букетику фиалок за одно су; но, в сущности в Париже для хорошего настроения не так уж обязательна весна.

Город в ту пору, когда я узнал его, еще не был связан метро и автомобилями в единое целое; главным средством передвижения служили вместительные омнибусы, влекомые могучими взмысленными тяжеловозами. И разумеется, чтобы открыть для себя Париж, не было места удобнее, чем на имперiale такой колымаги или в открытой коляске — они тоже не очень-то спешили. Но проехать от Монмартра на Монпарнас считалось по тем временам хотя и маленьким, а путешествием, и я, памятуя о бережливости парижских буржуа, вполне допускал, что есть еще на *rive droite** люди, никогда не бывавшие на *rive gauche*** , и дети, гулявшие в Люксембургском саду, не видели ни Тюильри, ни Монсо.

Настоящий парижанин охотно оставался *chez soi**** , в своей квартире; в недрах большого Парижа он создавал свой собственный — маленький, и потому каждый округ был самобытным и даже суверенным. Иностранцу, таким образом, приходилось выбирать — где бросить якорь. Латинский квартал не привлекал меня больше. Туда я устремился двадцатилетним, в один из прежних кратких наездов, прямо с вокзала; в первый же вечер я уже был в «Кафе Вашет» и благоговейно просил показать мне место, где сидел Верлен, и мраморный стол, по которому он, опьянев, со злобой колотил тяжелой тростью, чтобы внушить окружающим почтение. В его честь я, трезвенник, пропустил рюмочку абсента; зеленая бур-

* Правый берег (фр.).

** Левый берег (фр.).

*** У себя дома (фр.).

да не понравилась мне, но я полагал, что молодость и преклонение перед французскими лириками обязывают меня поддерживать ритуал Латинского квартала; больше всего мне хотелось в то время жить в мансарде, на пятом этаже, неподалеку от Сорбонны (этого требовало чувство стиля), чтобы по-настоящему усвоить «истинный» дух Латинского квартала, каким я знал его по книгам.

В двадцать пять лет я, напротив, уже не был столь наивно романтичен, студенческий квартал казался мне слишком космополитическим, не парижским. А главное — теперь я хотел выбрать себе постоянную квартиру уже не ради литературных реминисценций, а чтобы иметь возможность как следует заниматься своим делом. Сориентировался я моментально. Элегантный Париж, Елисейские поля абсолютно не годились; квартал вокруг «Кафе де ла Пэ» — где встречались богатые балканские туристы и никто, кроме официантов, не говорил по-французски — и подавно не подходил. Меня больше привлекали укрышшиеся в тени колоколен и монастырских стен улицы вокруг Сен-Сюльпис, на которых любили останавливаться и Рильке, и Сюарес; охотнее всего я поселился бы на островке Сен-Луи, чтобы обе половины Парижа — право- и левобережная — были под боком.

Но в первую же неделю мне удалось, гуляя, набрести на кое-что еще получше. Медленно проходя по галереям Пале-Рояля, я обнаружил, что построенный в восемнадцатом веке внутри этого огромного четырехугольника роскошный дворец принца Эгалите превратился в небольшой, несколько старомодный отель. Я попросил показать мне одну из комнат и с восхищением отметил, что она выходит в сад Пале-Рояля, который с наступлением темноты закрывается. Тогда городской гул слышится неясно и мерно, как беспокойный прибой с далекого берега, статуи блестят в лунном свете, а по утрам ветер доносит пряный аромат овощей с расположенного вблизи Центрального рынка. В этом четырехугольнике Пале-Рояля жили в XVIII и XIX веках поэты и государственные деяте-

ли, прямо напротив стоял дом, в котором так часто бывали Бальзак и Виктор Гюго, одолевая сотню узких ступеней до мансарды столь любимой мною поэтессы — Марселины Деборд-Вальмор; там сияло мрамором возвышение, с которого Камиль Демулен призвал народ к штурму Бастилии; там была потайная дверь, из-за которой бедный маленький лейтенант Бонапарт отыскивал среди прогуливающих не слишком-то благовидных дам свою будущую покровительницу. История Франции глядела тут из каждого камня; а кроме того, на другой стороне улицы располагалась Национальная библиотека, где я проводил первую половину дня, а рядом картины Лувра, рядом бульвары с людским потоком; наконец-то я был там, куда стремился, там, где вот уже много столетий горячо и ровно билось сердце Франции, — я был в святой святынь Парижа. Помню, как однажды навестил меня Андре Жид и, пораженный тем, что в самом центре Парижа такая тишина, сказал: «Надо же, именно чужестранцы открывают нам самые красивые уголки в нашем собственном городе». И в самом деле — нигде не нашел бы я более «парижского» и в то же время более уединенного места для работы, чем этот романтический уголок в сокровеннейшей сердцевине самого живого города в мире.

* * *

Сколько бродил я по улицам в те времена, сколько нетерпения было в моих поисках! Мне ведь мало было Парижа 1904 года, я стремился душой к Парижу Генриха Четвертого и Людовика Четырнадцатого, к Парижу наполеоновскому и революционному, к Парижу Ретифа де ла Бретонна и Бальзака, Золя и Шарля Луи Филиппа, мне нужны были все его улицы, образы и события. Во Франции я всякий раз убеждался в том, с какой силой увековечивает свой народ великая и устремленная к правде литература; благодаря искусству поэтов, романистов, историков, исследователей нравов я духовно сроднился с Парижем задолго до того, как увидел его собственными

глазами. Все это ожило при встрече, и созерцание превратилось, по сути, в узнавание, в ту радость греческого «анагносиса», которую Аристотель прославляет как самое великое и таинственное из всех эстетических наслаждений. Но все же ни народ, ни город не узнаешь до конца, в их тайная тайных не проникнешь через их книги или даже самое усердное созерцание, а только через лучших их людей. Только в духовной дружбе с современниками получаешь представление о действительных связях между народом и страной; а наблюдение со стороны дает лишь искаженную и скороспелую картину.

Мне дана была такая дружба, самая теплая, — с Леоном Базальжеттом. Близость к Верхарну — дважды в неделю я навещал его в Сен-Клу — уберегла меня от сомнительной компании художников и литераторов со всех концов света, которые, подобно большинству иностранцев, обосновались в «Кафе дю Дом» и вели, по сути, тот же образ жизни, что и у себя в Мюнхене, Риме или Берлине. А с Верхарном я, напротив, бывал у тех художников и поэтов, которые посреди соблазнов и страстей этого города жили и трудились в творческой тишине, каждый как бы на своем уединенном островке; я застал еще мастерскую Ренуара и лучших его учеников.

Со стороны жизнь этих импрессионистов, за работы которых платят сегодня десятки тысяч долларов, ничем не отличалась от быта ремесленников или рантье; небольшой домик с пристройкой, в которой помещалась мастерская, — и никакой театральщины, ничего такого, что бьет в глаза, как в Мюнхене у Ленбаха и других знаменитостей на их виллах в ложноклассическом стиле.

Поэты, с которыми мне вскоре удалось сойтись, жили так же скромно, как и живописцы. Они по большей части занимали незначительные государственные должности, не требовавшие особого рвения; разумный обычай раздавать небогатым поэтам и писателям тихие синектуры шел от большого внимания к духовным ценностям, свойственного всей Франции — снизу доверху, и оправдывал себя на протяжении многих лет;

писателей назначали, например, библиотекарями в Морское министерство или Сенат. Это давало небольшое содержание и не отнимало много сил: сенаторы прибегали к услугам библиотеки чрезвычайно редко и счастливый обладатель теплого местечка мог спокойно сочинять стихи прямо на службе, в тихом старом сенатском дворце, глядя в окно на Люксембургский сад и не помышляя о гонораре.

Скромного заработка хватало на жизнь. Иные были врачами, как позднее Дюамель и Дюртен, держали художественный магазин, как Шарль Вильдрак, или преподавали в гимназиях, как Жюль Ромен и Жан-Ришар Блок, служили в агентстве Гавас, как Поль Валери, или в издательствах. Но никто в отличие от их преемников, развращенных кино и высокими тиражами, не притязал на то, чтобы сразу же устроиться в жизни исключительно в качестве художника.

От своих маленьких должностей, исправляемых без всякого честолюбия, поэты хотели только одного — мало-мальски обеспеченного существования, которое дало бы возможность заниматься любимым делом.

Поэтому они могли себе позволить не сотрудничать с крупными продажными парижскими газетами, бесплатно писать для своих небольших журналов, содержание которых всегда было связано с материальными жертвами, и не огорчаться из-за того, что их произведения исполнялись только в маленьких литературных театрах, а имена поначалу были известны лишь узкому кругу: о Клоделе, Пегги, о Роллане, о Сюаресе и Валери знала весьма немногочисленная элита.

Они одни не спешили в этом торопливом и деловом городе. Тихо жить и тихо работать для тихого кружка вдали от «foir sur la place»* было для них важнее, чем пробиваться вверх, и они не считали зазорным вести по-мещански ограниченную жизнь, с тем чтобы в искусстве мыслить свободно и смело. Их жены стряпали и вели хозяйство; все было очень просто и

* Житейской суеты (фр.).

потому особенно мило на дружеских вечерах. Сидели на дешевых соломенных креслах за столом, наспех застланном клетчатой скатертью — ничуть не шикарней, чем у монтера — соседа по этажу, — но чувствовали себя свободно и непринужденно.

У них не было телефонов, пишущих машинок, секретарей, они обходились без технических ухищрений, так же как и без аппарата рекламы, они писали свои книги от руки, как тысячу лет назад, и даже в крупных издательствах, таких, как «Меркюр де Франс», не было обычая диктовать и не водилось всякой техники. Расходы на рекламу и представительство были неизвестны; все эти молодые французские поэты жили, как и весь народ, для радости — разумеется, в одухотворенной ее форме, — творческой радости, которую дает труд.

Насколько не отвечали эти новообретенные друзья и жизнь, которую они вели, тому представлению о французском поэте, которое создали Бурже и другие беллетристы эпохи, в чьих глазах салон был целым миром! А как «проучили» меня их жены, разрушив воспринятый нами из книг, злоумышленно искаженный образ француженки — этакой светской дамы, занятой лишь интрижками, мотовством и заботами о своей внешности. Я не видывал более домовитых хозяек, чем там, в братском кружке: экономные, скромные, жизнерадостные даже в самых стесненных обстоятельствах, они творили чудеса на крохотных плитках и заботились о детях, живя при этом духовной жизнью своих мужей! Лишь тот, кто был принят в этих кружках как друг, как «камрад», — лишь тот знает настоящую Францию.

Что касается Леона Базальжетта, лучшего из моих друзей, чье имя обходится несправедливым молчанием в большинстве работ о новой французской литературе, то его необычная роль в центре этой поэтической плеяды определялась тем, что все свои творческие силы он расходовал исключительно на чужие произведения, отдавая без остатка свою кипучую энергию людям, которых любил.

Это был истинный «камрад», и в его лице я узнавал воочию

чистый тип жертвенного человека, всей душой преданного тому, что он считал единственной целью своей жизни: содействовать распространению наиболее значительных ценностей времени — и вовсе не ради славы первооткрывателя или мецената. Его кипучий энтузиазм был просто-напросто естественной потребностью его нравственного сознания. Несмотря на свою почти военную выправку, он был ярый антимилицарист, в его обращении проглядывала сердечность непоказного дружелюбия. В любой момент готовый прийти на помощь, дать совет, непоколебимо честный, пунктуальный, как часы, он принимал близко к сердцу все, что касалось другого, и никогда не заботился о своих собственных интересах. И время и деньги он ни во что не ставил, если дело касалось друга, а друзья были у него повсюду в мире — небольшая кучка избранных. Десять лет потратил он на то, чтобы познакомить французов с Уолтом Уитменом, сделав перевод собрания его стихов и фундаментальную биографию. Цель его жизни заключалась в том, чтобы силой примера этого свободного, влюбленного в жизнь человека расширить духовные горизонты своего народа, сделать своих соотечественников мужественнее и добрей: лучший из французов, он был самым страстным интернационалистом.

Вскоре мы сблизились по-братски: ведь обоим нам была чужда национальная ограниченность, оба любили бескорыстно и беззаветно помогать другим и считали альфой и омегой жизни духовную независимость. В его лице мне впервые предстала «неофициальная» Франция; когда позже я прочитал у Роллана про Оливье и его немецкого друга Жана-Кристофа, мне едва ли не показалось, что описаны наши отношения! Но самое прекрасное, самое незабываемое для меня в нашей дружбе было то, что ей беспрестанно приходилось преодолевать некое щекотливое препятствие, неколебимость которого при обычных условиях не могла бы не помешать откровенной и сердечной близости между двумя писателями.

Сей щекотливый пункт состоял в том, что Базальжетт с

присущей ему исключительной честностью самым решительным образом отвергал все, что я писал в те годы.

Он любил меня как человека, он всячески поощрял мою преданность Верхарну. Всякий раз, как я приезжал в Париж, он неизменно оказывался на вокзале и первый приветствовал меня; если мне требовалась помощь, он был тут как тут; по всем существенным вопросам мы сходились с ним ближе, чем родные братья. Но собственных моих работ он совершенно не признавал. Он был знаком с моими стихами и прозой в переводах Анри Гильбо и отвергал их резко и напрямик.

Он сурово выговаривал мне, что все это, дескать, не имеет никакой связи с действительностью, что это литература эзотерическая, а он такую литературу терпеть не мог и досадовал, что именно я пишу подобное. Предельно честный с самим собой, он и в этом пункте не шел, даже ради простой вежливости, ни на какие уступки. Например, когда, став редактором одного журнала, он обратился ко мне за помощью, то это значило, что я должен подыскать ему в Германии дельных сотрудников, то есть доставить материалы получше моих собственных; у меня же, ближайшего своего друга, он упорно не просил и не брал ни строки, хотя в то же время из преданной дружбы самоотверженно и совершенно бесплатно редактировал для какого-то издательства текст французского перевода одной из моих книг.

То, что наша братская дружба за целых десять лет не ослабевала из-за этого курьезного обстоятельства ни на час, сделало ее еще более драгоценной для меня. И никогда ничья похвала не радовала меня так, как одобрение Базальжетта, когда во время мировой войны я, покончив с прежним, сам пришел к форме лирического повествования. Ведь я знал, что его «да» моим новым произведениям было таким же честным, каким в течение десятилетия было его бескомпромиссное «нет».

Если я заношу на парижскую страницу дорогое мне имя Райнера Марии Рильке, хотя он был немецким поэтом, то это потому, что чаще и охотнее всего я общался с ним в Париже и облик его видится мне, как на старинных картинах, всегда на фоне этого города, любимого им, как никакой другой. И когда сегодня я вспоминаю о нем и о других мастерах золотокованого слова, когда на память приходят эти славные имена, озарившие мою юность отблеском недостижимых созвездий, то неотвратимо напрашивается грустный вопрос: возможно ли существование таких чистых, всецело погруженных в лирику поэтов в наше нынешнее время суеты и всеобщей растерянности? Не вымерло ли племя, которое в их лице я оплакиваю с любовью, этот род, не имеющий прямых наследников в наши открытые всем ветрам дни, — поэтов, не требовавших ничего от окружающей жизни: ни признания толпы, ни почестей, ни титулов, ни выгод — и жаждавших только одного — кропотливо и страстно нанизывать строфу к строфе, чтобы каждая строчка дышала музыкой, сверкала красками, пылала образами?

В гуще наших шумных будней эти добровольные отшельники обыденности образовали свой цех или, скорее, монашеский орден, и во всей вселенной не было для них ничего важнее, чем тот хотя и нежный, но пробивающийся сквозь шум времени звук, с которым рифма, присоединяясь к другим, пробуждает несказанный душевный порыв: тише влекомого ветром листа, он тем не менее отдается в самых дальних сердцах.

Но сколь знаменательно было для нас, молодых, существование людей, настолько верных себе, каким примером для нас была всепоглощающая любовь этих жрецов и ревнителей языка к преображенному слову, к слову, которое служило не текущему моменту и периодическим изданиям, но непреходящему и вечному.

Глядя на них, я испытывал нечто похожее на стыд: так

тихо, неприметно они жили — кто по-крестьянски, в деревне, кто на какой-нибудь мелкой должности, а кто и скитаясь по свету, как *passionate pilgrim** — известные лишь немногим, но тем сильнее любимые этими немногими. Один из них жил в Германии, другой — во Франции, третий — в Италии, и все же отчизна была у них одна, потому что существовали они исключительно в стихе, и, сурово отрешаясь от всего эфемерного, они превращали, создавая произведения искусства, свою собственную жизнь в произведение искусства.

Снова и снова восхищаюсь я тем, что нашей молодости дарованы были такие поэты без страха и упрека. Но поэтому я и спрашиваю себя снова и снова в какой-то подспудной тревоге: а в наши времена, при новом жизненном укладе, губительном для творческой сосредоточенности, беспощадно изгоняющем человека из этого последнего его убежища, как лесной пожар выгоняет зверей из самых глубоких нор, возможны ли теперь такие души, всецело посвятившие себя лирическому искусству?

Правда, я знаю, что феномен поэта вновь и вновь является в определенные времена, и утешительная сентенция Гёте в его плаче по лорду Байрону пребудет истинной всегда: «...ибо природа вновь их повторяет, как повторяла уже много раз». Вновь и вновь, щедро повторяясь, будут рождаться такие поэты, ибо рано или поздно бессмертие приносит этот дар также и эпохе, вовсе его не заслуживающей. Но разве не таково как раз наше время, которое никому — даже самому чистому, самому далекому от жизни — не дает тишины, той тишины ожидания, созревания, осмысления и накапливания сил, какую еще повелось вкусить европейским поэтам в довоенные времена, когда люди были добрее и жили спокойнее?

Я не знаю, как расценивают сегодня всех этих поэтов. Валери, Верхарн, Рильке, Пасколи, Франсис Жамм — что значат они для поколения, у которого в ушах вместо этой

*Ревностный пилигрим (англ.).

нежной музыки годами стоял грохот мельничного колеса пропаганды и которое дважды оглушал гром пушек? Я знаю лишь — и считаю долгом с благодарностью сказать об этом, — сколь многому научило и как возвысило нас бытие людей, служивших идеалу совершенства в уже механизмирующемся мире. И, оглядываясь на свою жизнь, я не нахожу в ней более ценного достояния, чем близость с некоторыми из них, давшая мне возможность присоединить к преклонению перед ними длительную дружбу.

Никто из них, пожалуй, не жил тише, таинственнее, неприметнее, чем Рильке. Но это не было преднамеренное, натужное, укутанное в сутану одиночество, вроде того, какое воспевал в Германии Стефан Георге; тишина словно бы сама ширилась вокруг него, куда бы он ни шел и где бы ни находился. Поскольку он чуждался всякой шумихи, даже своей славы — этой «суммы всех недоразумений, которые собираются вокруг моего имени», как сам он однажды прекрасно сказал, — то набегающая волна любопытства захлестывала лишь его имя, никогда не касаясь личности.

Трудно было застать Рильке дома. У него не было ни постоянного адреса, по которому можно было бы его разыскать, ни квартиры, ни службы. Он всегда был в пути, и никто, включая его самого, не знал заранее, куда он направится. Его бесконечно чувствительной и податливой душе любое твердое решение, всякий план и предупреждение были в тягость. Поэтому лишь случайные встречи с ним удавались.

Стоишь, бывало, в итальянской галерее и вдруг замечаешь тихую дружескую улыбку — не сразу и сообразишь чью. Уже затем узнаешь его голубые глаза, которые, когда он на кого-нибудь глядел, освещали изнутри его лицо, в общем-то неприметное.

Самым таинственным в нем была именно неприметность. Должно быть, тысячи людей прошли мимо этого молодого человека с чуть-чуть меланхолически опущенными светлыми усами и немного славянским, ничем не примечательным ли-

цом, — прошли, не подозревая, что это поэт, и притом один из величайших в нашем столетии; лишь при близком общении открывалась его особенность: невероятная сдержанность. В комнату, где собралось общество, он входил так беззвучно, что едва ли кто замечал его. Потом он сидел, тихонько прислушиваясь, изредка произвольно вскидывая голову, когда что-нибудь его занимало, и если сам вступал в разговор, то делал это как-то бесстрастно, не повышая голоса. Рассказывал он непринужденно и просто, словно мать — ребенку, и так же любовно, как сказку; одно удовольствие было слушать, какой красочной и значительной становится в его устах любая, даже самая малоинтересная тема. Но едва он замечал, что оказался в центре общего внимания, как тут же резко замолкал и снова превращался в молчаливого и внимательного слушателя.

В каждом движении, в каждом жесте он был сама деликатность; даже когда он смеялся, это был только еле слышный звук. У него была потребность жить вполголоса, и поэтому больше всего раздражал его шум, а в области чувств — любое проявление несдержанности. «Меня утомляют люди, которые с кровью выхаркивают свои ощущения, — сказал он как-то, — потому и русских я могу принимать лишь небольшими дозами, как ликер». Порядок, чистота, покой были для него такой же физической потребностью, как и внешняя сдержанность. Необходимость ехать в переполненном трамвае, сидеть в шумном ресторане выбивала его из колеи на целые часы.

Он не выносил ничего вульгарного, и в его одежде, хоть жил он и небогато, всегда были заметны продуманность, опрятность и вкус. Она всегда была обдуманной и поэтичным шедевром соразмерности, но не без крошечной, сугубо индивидуальной черточки, пустика (вроде тонкого серебряного браслетика на руке), которым он втайне гордился. Чувство эстетической законченности, симметрии вносил он в самое интимное и личное. Однажды я, будучи у него дома, наблюдал за тем, как поэт, собираясь в дорогу — мою помощь он вполне резонно отклонил за ненадобностью, — укладывал чемодан.

Это была мозаичная кладка: каждая вещь по отдельности бережно опускалась на предназначенное место; и я посчитал бы святотатством разрушить жестом помощи этот красочный пазьянс.

Это чувство изящного, присущее ему от рождения, проявлялось у него в самых незначительных мелочах: стихи он писал только на самой лучшей бумаге каллиграфическим круглым почерком, так что расстояние от строки до строки было как линейкой отмерено; и для самого рядового письма он точно так же брал самую лучшую бумагу, и округлым, ровным, без помарок был его почерк, и соблюдались те же безукоризненные промежутки. Никогда, даже в самой большой спешке, он не позволял себе зачеркнуть слово, и всякий раз, когда фраза или оборот казались ему недостаточно отделанными, он с удивительным терпением переписывал набело все письмо. Он не допускал, чтобы из его рук вышло нечто незавершенное.

Его сдержанность в соединении с внутренней собранностью покоряли каждого, кто знал его близко. Как самого Рильке невозможно представить себе несдержанным, так и среди окружающих не было никого, чья бесцеремонность или тщеславие не тонули бы в излучаемой им трепетной тишине. Ибо в его манере держаться была удивительная благотворная нравственная сила. После любого продолжительного разговора с ним человек часами или даже целыми днями бывал нетерпим ко всему вульгарному.

Правда, с другой стороны, эта постоянная душевная сдержанность, это нежелание раскрыться до конца скоро ставили предел всякой чрезмерной сердечности; думаю, лишь немногие могут похвастаться тем, что были друзьями Рильке. В шеститомнике его писем это обращение почти не встречается, а братски-доверительным «ты» он, кажется, едва ли кого удостоил со школьных лет. Подпустить кого-нибудь или что-нибудь слишком близко к себе было для него, при его чрезвычайной чувствительности, невыносимо; а больше всего было не-

приятно ему все сугубо мужское. Разговаривать с женщинами ему было легче. Им он писал много и охотно и в их присутствии чувствовал себя гораздо непринужденнее. Возможно, ему нравился высокий тембр женских голосов: неблагозвучные голоса причиняли ему настоящее страдание.

Так и вижу его беседующим с высокопоставленным аристократом: весь съежился, плечи мучительно напряжены, а глаза потуплены, чтобы не выдать, какое сильное физическое страдание он испытывал от неприятного фальцета. Но как хорошо бывало с ним, когда он был расположен к человеку. Тогда его душевная доброта, оставаясь скупой на слова и жесты, проникала, как согревающее, целительное излучение, до самого сердца.

В Париже, городе, который так располагает к откровенности, обычно робкий и сдержанный Рильке словно раскрывал свою душу, возможно, потому, что здесь еще не знали его произведений, его имени и он, живя инкогнито, чувствовал себя все свободнее и счастливее.

Я бывал у него там на двух квартирах, где он снимал комнату. И та и другая комнаты были простые, без украшений, но благодаря его вкусу тотчас приобретали отпечаток изящества, уюта. Лишь бы дом был не громадный, с шумными соседями, а постариннее, такой, где хоть и меньше удобств, но зато можно устроиться по-своему; а уж внутри он, при его домовитости, любую комнату мог обставить толково и в соответствии со своими привычками. Вещей у него было немного, но в вазе всегда пламенели цветы — то ли женщины дарили, то ли сам он с любовью приносил. На полках всегда пестрели книги, красиво переплетенные или тщательно обернутые в бумагу; книги он любил как бессловесных тварей. На письменном столе в идеальном порядке были разложены карандаши и ручки, образуя линию, прямую, как свеча; чистая бумага лежала аккуратной стопкой; русская икона, католическое распятие — как мне кажется, они сопутствовали ему во всех странствиях — сообщали рабочему месту легкое сходство с алтарем,

хотя религиозность Рильке не была связана ни с какой определенной догмой.

Чувствовалось, что каждая мелочь тщательно продумана и любовно оберегается. Одолжив ему книгу, вы получали ее обратно, завернутую без единой морщинки в шелковистую бумагу и перевязанную, точно праздничный подарок, цветной лентой; я не забыл, как он принес мне, словно драгоценный дар, рукопись своей «Песни о любви и смерти», и по сей день храню ленту, которой она была перевязана.

Но лучше всего было бродить с Рильке по Парижу — с глаз точно спадала пелена, и в самом неприметном вы прозревали особый смысл; он не упускал ни одной мелочи и даже вывески, если они казались ему ритмически звучными, охотно читал вслух; узнавать этот город, изучать Париж вдоль и поперек, вплоть до последних, самых укромных уголков, — это было его страстью, чуть ли не единственной, насколько я мог заметить.

Однажды, когда мы встретились у общих друзей, я рассказал ему, что вчера случайно попал на старое кладбище Пикпюс, где упокоены последние жертвы гильотины, в том числе Андре Шенье; я описал ему эту маленькую, трогательную лужайку с разбросанными тут и там могилами, — лужайку, на которую редко заглядывают иностранцы, и рассказал, что на обратном пути я увидел на одной из улиц открытую дверь, а за ней монастырский двор и монахинь, должно быть бегиннок*, безмолвно бродивших по кругу с четками в руках, словно в блаженном сне.

Это был один из немногих случаев, когда я видел, как этот столь тихий и такой выдержанный человек проявил нетерпение: он должен увидеть это — могилу Андре Шенье и монастырь. Не отведу ли я его туда? Мы отправились на следующий же день. В каком-то благоговейном безмолвии он стоял перед

*Бегинки — члены полумонастырских религиозных женских обществ, которые не были связаны обетом, им позволялось в любое время вернуться к мирской жизни и даже вступать в браки. — *Примеч. пер.*

этой одинокой могилой, которую он назвал «самой лирической в Париже». Но на обратном пути та монастырская дверь оказалась запертой.

И тут я имел возможность убедиться в его тихом упорстве, которым он пользовался в жизни с не меньшим мастерством, чем в своих произведениях. «Подождем», — сказал он. И, слегка наклонив голову, стал так, чтобы заглянуть за ворота, когда они откроются. Прождали мы, вероятно, минут двадцать. Потом по улице прошла монахиня и позвонила у входа. «Сейчас», — прошептал он тихо и взволнованно. Однако сестра заметила его настороженное внимание — я ведь говорил, что от него исходили какие-то флюиды, — подошла к нему и спросила, кого он ждет. Он улыбнулся своей мягкой, обезоруживающей улыбкой и чистосердечно признался, что очень хотел посмотреть монастырскую галерею. Ей очень жаль, улыбнулась в ответ монахиня, но впустить его она не может. Все же она посоветовала ему пройти в расположенный по соседству домик садовника, из верхних окон которого хорошо виден двор. Таким образом, и это удалось ему, как многое другое. Много раз еще пересекались наши пути, но когда я думаю о Рильке, то вижу его в Париже, до черного дня которого ему не суждено было дожить.

* * *

Люди такого масштаба были подарком судьбы для начинающего; но мне еще предстоял самый главный урок, такой, что запоминается на всю жизнь. Помог случай. Как-то у Верхарна я разговорился с историком искусства, который сетовал на то, что прошли времена великих произведений живописи и скульптуры. Я горячо возражал. Разве нет у нас Родена, который не уступает в величии гениям прошлого? Я стал называть его произведения, и дискуссия, как водится, перешла в жаркий спор. Верхарн улыбался. «Собственно говоря, тому, кто так любит Родена, следовало бы с ним познакомиться, —

сказал он наконец. — Завтра я буду у него в его парижской мастерской. Если ты не против, пойдем вместе».

Не против ли я? На радостях я не мог заснуть. Но при виде Родена язык перестал мне повиноваться. Я не мог вымолвить ни слова и стоял среди статуй, точно сам превратился в одну из них.

Странно: казалось, ему нравится мое смущение, во всяком случае, прощаясь, старик спросил меня, не хочу ли я взглянуть на его ателье в Медоне, где он в основном работает, и даже пригласил к обеду.

Я получил первый урок: великие люди — всегда самые добрые. Второй: в жизни они почти всегда самые простые. У человека, чья слава наполняла мир, чьи произведения были детально, до последнего штриха известны современникам, словно ближайшие друзья, — у этого человека обед был такой же простой, как у обыкновенного крестьянина: кусок сочного мяса, пара маслин и много фруктов да еще крепкое домашнее вино. Оно придало мне мужества, к концу обеда я уже разговаривал с этим старым человеком и его женой так, словно мы были знакомы много лет.

Отобедав, мы прошли в мастерскую. Это был огромный зал, вместивший авторские копии самых значительных его работ, между которыми стояли и лежали сотни драгоценных мелких этюдов: плечо, рука, конская грива, женское ухо — все это по большей части в гипсе; я и сегодня еще помню некоторые из этих этюдов, сделанных им для себя, ради упражнения, и я мог бы часами рассказывать об этом одном часе.

Наконец мастер подвел меня к постаменту, на котором стояло укрытое мокрым полотном его последнее произведение — женский портрет. Грубыми, в морщинах, крестьянскими руками он сдернул ткань и отступил. «Поразительно!» — невольно вырвалось у меня, и тут же я устыдился своей банальности. Но он, разглядывая свое создание с бесстрастным спокойствием, в котором нельзя было найти ни капли тщеславия, только пробурчал довольно: «Вы так считаете?» Постоял

в нерешительности. «Вот только здесь, у плеча... Минутку!» Он сбросил куртку, натянул белый халат, взял шпатель и уверенным движением пригладил у плеча мягкую, дышащую, словно живую, кожу женщины. Снова отступил. «И тут еще», — бормотал он. Неуловимое прикосновение — и снова чудо.

Теперь он не говорил. Он подходил вплотную и отступал, разглядывал фигуру в зеркале, бурчал что-то невнятное, перedefывал, исправлял. В его глазах, таких приветливых, рассеянных, когда он сидел за столом, вспыхивали огоньки, он казался выше и моложе. Он работал, работал и работал со всей страстью и силой своего могучего, грузного тела; пол скрипел всякий раз, когда он стремительно приближался или отступал. Но он не слышал этого. Он не замечал, что за его спиной молча, затаив дыхание, как замороженный, стоял юноша, вне себя от счастья, что ему дано увидеть, как работает столь несравненный мастер. Он совершенно забыл обо мне. Я для него не существовал. Реальностью здесь для него была только скульптура, только его создание да еще далекий, бесплотный образ абсолютного совершенства.

Я уже не помню, сколько это продолжалось — четверть часа, полчаса. Великие мгновения всегда находятся за чертой времени. Роден был так сосредоточен, так погружен в работу, что и гром небесный не отвлек бы его. Жесты становились все более резкими, чуть ли не гневными; точно одержимый лихорадкой, он работал все быстрее и быстрее. Но вот руки замедлили свои движения. Должно быть, признали: им больше нечего делать. Раз, другой, третий отходил он от статуи, уже не притрагиваясь к ней. Потом что-то пробормотал себе в бороду и заботливо, как укрывают шалью плечи любимой женщины, натянул полотно. Он вздохнул глубоко, с облегчением. Кажется, тело его вновь наливается тяжестью. Огонь погас.

И тут случилось непостижимое: он снял халат, снова надел куртку и собрался уходить. Он совсем забыл про меня за этот час предельной сосредоточенности. Он не помнил, что сам же

привел в мастерскую некоего молодого человека, который стоял за его спиной, потрясенный, с комом в горле, неподвижный, как его статуи.

Он подошел к двери. Собираясь ее закрыть, вдруг увидел меня и вперился чуть ли не зло: что это за молодой незнакомец проник в его мастерскую? Но уже в следующее мгновение он все вспомнил и подошел ко мне почти сконфуженный. «Извините, месье», — начал было он. Но я не дал ему продолжать. Я только благодарно пожал ему руку: охотнее всего я поцеловал бы ее. В этот час мне открылась вечная тайна всякого великого искусства и, пожалуй, всякого земного свершения: концентрация, сосредоточенность всех сил, всех чувств, самоотрешенность художника и его отрешенность от мира. Я получил урок на всю жизнь.

* * *

Я намеревался отправиться из Парижа в Лондон в конце мая. Но пришлось ускорить отъезд на две недели, так как по непредвиденным обстоятельствам в моей чудесной квартире стало беспокойно. Произошел курьезный эпизод, который меня весьма позабавил и вместе с тем дал поучительную возможность познакомиться с образом мыслей самых разных слоев французского общества.

На Троицу я на два дня отлучился из Парижа, чтобы полюбоваться великолепным Шартрским собором, которого я еще не видел. Когда во вторник утром, возвратившись в свой гостиничный номер, я захотел переодеться, моего чемодана, который все эти три месяца преспокойно стоял в углу, не оказалось на месте. Я спустился вниз к хозяину отельчика — невысокому, тучному, румяному марсельцу, который днем по очереди со своей женой восседал на месте портье и с которым я часто перекидывался веселой шуткой, а то и сражался в его любимый триктрак в кафе напротив. Он сразу ужасно разволновался и, стукнув кулаком по столу, злобно прорычал таинственные слова: «Так вот оно что!»

В спешке натягивая пиджак — он, как всегда, был в рубашке с закатанными рукавами, — он растолковывал мне положение дел, и, чтобы сделать понятным дальнейшее, надо, вероятно, сперва напомнить об одной особенности парижских домов и гостиниц.

В маленьких парижских гостиницах, как и в большинстве частных домов, ключей не водится: консьерж, то есть привратник, как только позвонят с улицы, отпирает дверь с помощью автоматики, сидя в привратницкой. В небольших гостиницах и домах хозяин (или консьерж) не остается на всю ночь в привратницкой, а дверь отпирает нажатием кнопки прямо из супружеской кровати — как правило, в полудреме; тот, кто уходит из дома, должен крикнуть: «Отоприте, пожалуйста!», равно и каждый, кто приходит, обязан назваться, так что теоретически никто из чужих пробраться в дом не может.

Так вот, в два часа ночи кто-то позвонил у входа гостиницы, назвался именем, похожим на имя одного из постояльцев, и снял с доски единственный висевший там ключ. Вообще-то церберу надлежало установить через дверное стекло личность позднего посетителя, но, очевидно, хозяина слишком клонило в сон. Однако через час, когда кто-то снова, теперь уже изнутри, крикнул: «Отоприте, пожалуйста!», желая покинуть дом, то хозяину, уже открывшему дверь, показалось странным, что человек выходит на улицу в третьем часу ночи. Он поднялся, обнаружил, выглянув в переулок, что человек ушел с чемоданом, и как был, в пижаме и шлепанцах, последовал за подозрительным типом. Но как только он увидел, что тот вошел в маленькую гостиницу на Рю-де-пти-шамп, расположенную за углом, то подозрение в грабеже, естественно, отпало, и он спокойно улегся снова в постель.

Взволнованный своей ошибкой, он кинулся вместе со мной прямо в ближайший полицейский участок. Тотчас было установлено, что мой чемодан действительно находится в гостинице на Рю-де-пти-шамп, а вора нет — очевидно, вышел в какой-нибудь бар поблизости, чтобы выпить с утра кофе. Двое

детективов подстерегали злоумышленника в привратницкой; когда через полчаса он как ни в чем не бывало вернулся, его немедленно арестовали.

И вот нам с хозяином пришлось отправиться в полицию, чтобы присутствовать при составлении протокола. Нас провели в кабинет супрефекта — невероятно тучного, усатого, симпатичного, добродушного господина, сидевшего в расстегнутом мундире за столом, заваленным бумагами, находящимися в страшном беспорядке. Кабинет пропах табаком, и большая бутылка вина, стоявшая на столе, свидетельствовала, что хозяин отнюдь не принадлежит к числу суровых и аскетичных служителей святой Эрмандады.

По его приказу сначала внесли чемодан; мне надлежало установить, не пропало ли что-нибудь. Единственным предметом, представляющим ценность, был аккредитив на две тысячи франков, изрядно-таки обглоданный за те месяцы, что я провел в Париже; но, само собой, никто, кроме меня, не мог бы им воспользоваться; и в самом деле: он лежал нетронутый на дне. Записав в протокол, что чемодан я признаю своим и ничего из него не пропало, чиновник приказал привести похитителя, наружность которого интересовала меня ничуть не меньше.

Мое любопытство было удовлетворено. Бедняга вошел меж двух здоровенных сержантов, рядом с которыми его плюгавость производила особенно комичное впечатление: довольно потрепанный, без воротничка, с маленькими висячими усиками и мрачной, со следами явного недоедания, крысиной мордочкой. Это был, если можно так выразиться, плохой вор, что подтверждалось и его примитивной методой, и тем, что он, прихватив чемодан, не убрался тем же утром отсюда подальше. Он стоял перед полицейским чиновником, опустив глаза, чуть вздрагивая, точно его знобило, и мне, стыдно признаться, не только было жаль его, но я даже чувствовал к нему какую-то симпатию. И этот сочувственный интерес еще усилился, когда один из полицейских торжественно разложил на большом столе вещи, найденные при обыске.

Едва ли можно представить более странную коллекцию: очень грязный и рваный носовой платок, с десятков музыкально бренчащих ключей и разнокалиберных отмычек, насаженных на кольцо, потертый бумажник — и, к счастью, никакого оружия, что доказывало по крайней мере, что вор действовал хотя и со знанием дела, но мирным образом.

Бумажник обследовали на наших глазах. Результат был неожиданный. Не то чтобы там хранились тысячи или, скажем, сотни франков — там не было ни единой банкноты, но зато не менее двадцати семи фотографий сильно декольтированных известных танцовщиц и актрис, а также три или четыре порнографические открытки, что отводило подозрение в других кражах и уличало этого тощего, унылого парня разве только в том, что он был страстным поклонником красоты и хотел бы привлечь к себе на грудь — хотя бы на фотографиях — недосыгаемых для него звезд парижского театрального мира. Хотя супрефект рассматривал фотографии со строгим видом, от меня не укрылось, что эта удивительная для мелкого воришки страсть к коллекционированию забавляет и его.

А моя симпатия к этому несчастному злоумышленнику благодаря его эстетическим наклонностям еще усилилась, и, когда чиновник, торжественно взяв ручку, спросил меня, желаю ли я *de porter plainte*, то есть подать на преступника в суд, я ответил быстрым и категорическим «нет».

У нас, как и во многих странах, обвинение против преступника возбуждается *ex officio*, то есть государство берет дело правосудия в свои руки; а вот во Франции потерпевшему предоставляется выбор: возбуждать дело или отступить. Мне лично такая юридическая концепция представляется более справедливой, чем каноническое право. Ведь она дает возможность простить другому причиненное зло, а вот в Германии, например, если женщина в порыве ревности ранила своего возлюбленного из револьвера, то никакие мольбы пострадавшего не спасут ее от суда. В дело вмешивается государство, женщину насильно разлучают с мужчиной, который,

быть может, узнав силу ее страсти, любит ее еще больше, и бросают в тюрьму, тогда как во Франции оба, примирившись, возвращаются рука об руку домой, и делу конец.

Едва я успел произнести свое решительное «нет», как произошло три события. Тощий человек, стоявший между полицейскими, внезапно выпрямился и посмотрел на меня с невыразимой благодарностью. Супрефект удовлетворенно отложил ручку: видно, ему мой отказ пришелся по душе, так как избавлял от дальнейшей писанины. Но мой хозяин реагировал совсем иначе. Побагровев до корней волос, он накинулся на меня с криком, что я не должен так поступать, что надо покончить с этим отребьем, что я понятия не имею, сколько вреда от этих типов. Порядочному человеку ни днем, ни ночью нет покоя от этих подонков, им нельзя давать спуска: сегодня отпустишь одного, а завтра явится целая сотня.

Все его честность и добропорядочность в соединении с мелочной мстительностью мещанина, ущемленного в своих деловых интересах, взбунтовались в нем; напомнив о причиненных ему хлопотах, он грубо, чуть ли не с угрозой, потребовал, чтобы я взял свои слова обратно.

Но я остался непоколебим. «Чемодан я получил назад, — отрезал я, — стало быть, дело кончено. Еще ни разу в жизни я ни на кого не подавал в суд и сегодня с большим аппетитом съем за обедом свой бифштекс, если буду знать, что из-за меня никто не сел на тюремную похлебку».

Хозяин мой возражал все ожесточеннее, а когда чиновник заявил, что решать должен не он, а я, и раз у меня претензий нет, то дело кончено, он резко повернулся и ушел в ярости, громко хлопнув дверью. Супрефект поднялся, усмехнувшись вслед рассвирепевшему хозяину, и с молчаливым одобрением пожал мне руку. Тем самым процедура была завершена, и я уже взялся было за свой чемодан, чтобы отнести его домой. Но тут произошло что-то странное. Вор поспешно подошел ко мне с униженным видом. «О нет, месье, — сказал он, — я отнесу его к вам».

И в сопровождении благодарного вора с чемоданом я прошествовал обратно к моей гостинице по тем же четырем улицам. Казалось бы, тут и счастливый конец истории, начавшейся так неприятно. Но она имела своим следствием два события, наступившие сразу, одно за другим, — события, которым я благодарен за поучительный вклад в мои познания о психологии французов.

Когда на следующий день я зашел к Верхарну, он встретил меня ехидной улыбкой. «Ну и странные же вещи приключаются с тобой у нас в Париже, — сказал он шутливо. — А я и не подозревал, что ты такой невероятный богач». Я не сразу понял, о чем идет речь. Он подал мне газету — и впрямь: там было сенсационное сообщение о вчерашнем инциденте, но, само собой, он был расписан так, что я с трудом узнавал действительные факты среди романтических домыслов. Там с незаурядным журналистским искусством рассказывалось о том, как в одной из центральных гостиниц был похищен чемодан, набитый драгоценностями, а также с аккредитивом на двадцать тысяч франков (две тысячи за ночь удесятерились) и другими уникальными вещами (на самом деле это были рубашки и галстуки), принадлежащими знатному иностранцу (знатным я стал, чтобы выглядеть интереснее). На первых порах казалось, что следов не найти, ибо грабитель орудовал невероятно тонко и, судя по всему, превосходно знал все ходы и выходы. Но окружной супрефект, мсье такой-то, «со свойственной ему энергией и проницательностью» тотчас принял меры. По его звонку все парижские гостиницы и пансионаты были самым тщательным образом обследованы всего за какой-нибудь час, и это распоряжение, исполненное с обычной точностью, в кратчайший срок привело к аресту злоумышленника. Начальник полиции не замедлил выразить образцовому чиновнику особую благодарность за превосходное выполнение служебного долга, ибо тот своей расторопностью и проницательностью лишний раз блестяще доказал, как хорошо поставлено дело в парижской полиции.

Правды в этом репортаже, разумеется, не было ни на грош; образцовому чиновнику не пришлось ни на миг оторваться от письменного стола, вора вместе с чемоданом мы доставили ему готовеньким, прямо на дом. Но он использовал эту счастлившую возможность, чтобы получить известность.

Если, таким образом, и для вора, и для полицейского начальства история закончилась удачно, то обо мне этого ни в коем случае не скажешь. Ибо с тех пор мой хозяин, прежде такой приветливый, делал все, чтобы отравить мне дальнейшее пребывание в гостинице. Спускаясь по лестнице, я учтиво здоровался с его супругой; она не отвечала и оскорбленно отводила от меня свой добродетельный взор. Коридорный теперь прибирал в комнате только для виду, письма странным образом пропадали. В соседних магазинах, даже в табачной лавке, где обычно со мной обращались как с настоящим знатоком, поскольку покупал я помногу, — даже там меня встречали холодно. Уязвленная мещанская мораль не только дома, но и целого переулка, да и всей округи, ополчилась на меня за то, что я «покрывал» вора. И в конце концов мне больше ничего не оставалось делать, как убраться восвояси вместе со спасенным чемоданом, и я с позором покинул уютную гостиницу, словно сам был преступником.

* * *

Оказаться после Парижа в Лондоне — все равно что из полуденной жары вступить в прохладную тень: в первое мгновение пробирает озноб, но зрение и прочие чувства быстро привыкают. Я заранее положил себе пробывать в Англии два-три месяца: разве поймешь наш мир и разберешься в его механике, не зная страны, которая вот уже не одно столетие диктует этому миру свои законы. Я рассчитывал также подшлифовать мой заржавленный английский (беглым он, между прочим, так никогда и не стал), усердно практикуясь и общаясь с людьми.

Из этого, к сожалению, ничего не вышло; у меня — как и у всех нас, приезжих с континента, — литературных знако-

мых на том берегу пролива было мало, а слушая разговоры о придворных новостях, скачках и увеселениях, которые велись за завтраком в гостиной нашего маленького пансиона, я чувствовал себя полнейшим профаном. Я не мог вникнуть в беседы о политике: мне ведь и в голову не приходило, что когда говорят о каком-то Джо, то речь идет о Чемберлене, и лордов тоже называют только по именам; кокни лондонских кучеров долгое время опять-таки был для меня китайской грамотой. Таким образом, я продвигался вперед не так быстро, как предполагал. Я попробовал поднабраться хорошего произношения у проповедников в церквах, побывал на двух или трех судебных заседаниях, посещал театры, слушая правильную английскую речь, — но здесь трудно было отыскать ту общительность, приветливость и веселье, которые так щедро излучал Париж.

Я не нашел никого, с кем бы мог поговорить о самых важных для меня вещах; тем англичанам, которые симпатизировали мне, я, опять-таки из-за моего безграничного равнодушия к спорту, политике и всему, что их обычно занимало, казался, вероятно, довольно неотесанным и нудным собеседником. Нигде не удалось мне найти внутреннюю связь с какими-нибудь людьми, с определенной средой. Таким образом, девять десятых лондонского времени я провел за работой в своей комнате или в Британском музее.

На первых порах я, разумеется, честно попытался испробовать метод прогулок. За неделю я рысцой обегал весь Лондон, так что ступни горели. Как прилежный ученик, я осмотрел все достопримечательности «по Бедекеру»*: от паноптикума мадам Тюссо до парламента; я выучился пить эль и сменил парижские сигареты на принятую здесь трубку, стремился приноровиться к сотне мелочей, однако не достиг подлинного взаимопонимания — ни в обществе, ни в литературе, — а тот,

* «Бедекер» — немецкая книготорговая и книгоиздательская фирма, специализирующаяся на выпуске путеводителей по странам мира. Ее название стало синонимом хорошего путеводителя. — *Примеч. пер.*

кто наблюдает Англию только со стороны, проходит мимо главного — как в Сити проходишь мимо могущественных фирм, замечая с улицы всего только хорошо начищенную стереотипную медную дощечку. Попав в клуб, я не знал, чем заняться; вид глубоких кожаных кресел, как и вся обстановка, располагал к какой-то душевной лени, потому что в отличие от других я не был подготовлен к этой мудрой расслабленности ни напряженной работой, ни спортом. Этот город решительно отторгал от себя фланера, праздного соглядатая, поскольку тот был незнаком с высоким и всеобщим искусством приумножения миллионных капиталов, в то время как Париж мирно принимал его в общую радушную сутолоку.

Я лишь потом понял, в чем заключался мой просчет: мне следовало на эти два месяца найти себе в Лондоне какое-нибудь занятие — наняться в какую-нибудь контору или в газету секретарем, и тогда я по крайней мере проник бы в жизнь англичан хоть чуть-чуть поглубже. А в качестве стороннего наблюдателя мне довелось узнать немного, и только спустя годы, во время войны, я получил представление о настоящей Англии.

Из английских поэтов я виделся только с Артуром Саймонсом. Он, в свою очередь, помог мне получить приглашение к У. Б. Йитсу, чьи стихи я очень любил и единственно ради удовольствия перевел часть из его великолепной стихотворной драмы «Тени на воде».

Я не знал, что предстоит вечер поэзии; приглашен был узкий круг избранных, мы довольно тесно уселись в небольшой комнате, кое-кто на табуретках или даже на полу. Наконец Йитс зажег возле черного (или покрытого черным) пюпитра две огромные, в руку толщиной, алтарные свечи и приступил к чтению. Весь остальной свет в комнате потушили, так что энергичная голова в черных локонах рельефно обрисовывалась мерцанием свечей. Йитс читал медленно, мелодичным густым голосом, нигде не впадая в декламацию, каждая рифма получала свой полный металлический вес.

Было красиво. Было и впрямь торжественно. Мешала мне только претенциозность оформления: черное монашеское одеяние, придававшее Йитсу сходство со священником, мерцающие толстых восковых свечей, от которых, как мне кажется, разносился немного пряный аромат; из-за этого литературное наслаждение — и в этом была для меня прелесть новизны — стало скорее славословием стиху, чем обыкновенным чтением. И невольно я вспомнил, как читал свои стихи Верхарн: в рубашке с засученными рукавами, чтобы свободней было отбивать нервными руками ритм, без помпы и театральщины; или как Рильке порой брал книгу и читал несколько стихотворений, просто, ясно, в тихой службе слову.

Это был первый «театрализованный» поэтический вечер, на котором я присутствовал, и, хотя, несмотря на любовь к произведениям Йитса, меня несколько коробило это священнодействие, гость у него тогда был все-таки благодарный.

Но поэт, которого мне по-настоящему довелось открыть для себя в Лондоне, не принадлежал к числу живых, это был уже порядком позабытый в то время Уильям Блейк, одинокий и загадочный гений, который еще и сегодня привлекает меня соединением безыскусности и высокого совершенства. Один из моих друзей посоветовал мне сходить в отдел редких книг Британского музея, которым руководил в то время Лоренс Биньон, и посмотреть красочно иллюстрированные книги: «Европу», «Америку», «Книгу Иова», которые стали сегодня библиографической редкостью, и я был словно зачарован ими.

Впервые открылась мне одна из тех таинственных натур, которые, сами не зная своего пути, проносятся на крыльях мечты сквозь дремучие дебри фантазии; дни и недели пытался я пробраться глубже в лабиринт этой наивной и вместе с тем демонической души и передать некоторые стихотворения Блейка на немецком языке. Мне страстно хотелось иметь хотя бы страничку с его автографом, и мечта эта казалась несбыточной. Но вот однажды мой друг Арчибальд Г. Б. Рассел, который был уже в те времена лучшим знатоком Блейка,

рассказал, что на организованной им выставке продается один из «фантастических портретов» — «Король Джон» — по его (и моему) мнению, самый прекрасный карандашный рисунок мастера. «Он никогда вам не надоест», — предсказал Рассел и оказался прав. Из всех моих книг и картин лишь этот рисунок сопровождал меня более тридцати лет, и как часто магически притягивающие глаза этого сумасшедшего короля смотрели на меня со стены; из всего утраченного и оставленного мной имущества этот рисунок — то, чего мне в моих скитаниях недостает больше всего. Гений Англии, который я так усердно — и напрасно — пытался постичь на городских улицах, открылся мне внезапно в поистине астральном облике Блейка. И моя столь безмерная любовь к этому миру стала еще богаче.

ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ К САМОМУ СЕБЕ

Париж, Англия, Италия, Испания, Бельгия, Голландия — все эти увлекательные странствия по белу свету были не только приятны, но и во многом плодотворны. И все же человеку нужна — лишь теперь, став скитальцем уже не по доброй воле, а спасаясь от погони, я ощутил это в полной мере, — человеку нужна исходная точка, откуда отправляешься в путь и куда возвращаешься вновь и вновь. За годы, прошедшие с окончания школы, составила небольшая библиотека, набралось картин и памятных безделушек; рукописи накапливались толстыми пачками, и нельзя же было повсюду таскать за собой эту поклажу в чемоданах.

И вот я присмотрел себе в Вене небольшую квартиру, но это был не домашний кров в полном смысле слова, а всего лишь *ried-à-terre**, как в таких случаях метко говорят французы. Дело в том, что вплоть до первой мировой войны я подчинял свою жизнь необъяснимому ощущению неокончателности всего, что я делал. За что бы я ни брался, я твердил себе, что

*Временное пристанище; букв.: место, куда можно поставить ногу (фр.).

все это еще не то, не настоящее, это касалось и моих произведений, которые я рассматривал лишь как пробу пера, и — равным образом — тех женщин, с которыми был близок. Поэтому я прожил мою молодость, не связывая себя серьезными обязательствами, беззаботно пробуя свои силы, вкушая радости жизни. Уже достигнув тех лет, когда другие давно женились, обзавелись детьми и чинами и, не щадя себя, выбивались из последних сил, я все еще считал себя молодым человеком, дебютантом, новичком, у которого впереди времени сколько угодно, и уклонялся от какого бы то ни было определенного выбора.

Подобно тому, как свою работу я рассматривал лишь как подготовку к «настоящему делу», как визитную карточку, которая извещает литературу о моем существовании, так и квартира моя пока что означала только, что у меня появился адрес, не больше. Я специально выбрал маленькую и в пригороде, чтобы высокая плата не стесняла моей свободы. Я не покупал слишком хорошей мебели, потому что не хотел ее «жалеть», как мои родители, в доме которых на каждое кресло полагался чехол, снимавшийся только с приходом гостей. Я сознательно стремился не засиживаться в Вене подолгу, чтобы избежать сентиментальной привязанности к одному определенному месту. Эта «самодисциплина неприкаянности» долгие годы казалась мне ошибкой, но впоследствии, когда судьба несколько раз сгоняла меня с обжитого места и все, что составляло мой быт, рушилось на моих глазах, таинственное чувство «неприкаянности» очень мне помогало. Рано изведенное, оно облегчало мне любую потерю, любое расставание.

* * *

На этой первой квартире мне довелось разместить не так уж много сокровищ. Но уже украшали стену тот самый, купленный в Лондоне рисунок Блейка и одно из прекраснейших стихотворений Гёте, написанное его порывистым легким почерком, — в те времена это была жемчужина моей коллекции

автографов, начатой еще в гимназии. В ту пору погоня за автографами поэтов, актеров, певцов была в нашей литературной группе таким же повальным увлечением, как и сочинительство; но если большинство рассталось с этим вместе со стихоплетством сразу же после окончания школы, то моя страсть к следам земного существования великих мастеров искусства усилилась и в то же время углубилась.

Просто подписи меня уже не интересовали, какой бы мировой известностью или признанием ни пользовался подписавшийся, я искал теперь черновики или наброски литературных или музыкальных произведений, потому что больше всего меня занимала — и в биографическом, и в психологическом плане — проблема возникновения произведений искусства. Непостижимая секунда, когда стих, мелодия, еще неведомые миру, только что схваченные интуицией гения, переступают порог небытия и, ложась записью на бумаге, начинают свой земной путь, — где еще можно услышать и почувствовать ее, как не в перепаханных битвой, издерганных судорогой или возникших в едином душевном порыве черновиках мастеров? Я недостаточно знаю о художнике, если передо мной только его шедевр, и присоединяюсь к мнению Гёте: для того чтобы понять великие творения, нужно рассматривать их не только в законченной форме, но и в становлении.

Но бетховенский первый набросок с грубыми, нетерпеливыми штрихами, чудовищным хаосом начатых и брошенных мотивов, с творческим неистовством демонически переполненной души — неистовством, сжатым в нескольких карандашных линиях, — волнует меня еще и чисто зрительно, возбуждает физически — так сильно мое душевное волнение при виде этих линий; я могу часами зачарованно и влюбленно разглядывать лист с этими иероглифами, как другие — законченную картину. Корректурный лист с правкой Бальзака, где почти каждая фраза разорвана, каждая строка перерыта и поля черны от вычерков, значков, вписанных слов, позволяет мне осязать извержение человеческого Везувия; а когда я

впервые вижу рукопись, первую земную форму стихотворения, которое любил на протяжении десятилетий, меня охватывает почтительно-религиозное чувство — я едва осмеливаюсь прикоснуться к ней.

К гордости от обладания несколькими такими листами добавился почти спортивный азарт — раздобывать их, охотиться за ними на аукционах или в каталогах; сколькими напряженными часами обязан я этой охоте, сколькими волнующими случаями! То опоздал на день, то известная вещь оказалась подделкой, а то вдруг новое чудо: у меня была небольшая рукопись Моцарта, но радость обладания омрачалась тем, что одной нотной строки не доставало. И вот эта полоска, отрезанная пятьдесят или сто лет назад вандалом-обожателем, внезапно всплывает на аукционе в Стокгольме, и можно снова представить арию точно такой, как написал ее Моцарт за полтора века до нас.

Тогдашних моих литературных доходов не хватало еще, конечно, на крупные приобретения, но каждый коллекционер знает, насколько больше радости доставляет вещь, если ради нее пришлось отказать себе в других радостях. Кроме того, я обложил данью всех моих друзей-писателей. Роллан отдал мне том «Жана-Кристофа», Рильке — самое известное свое произведение: «Песнь о любви и смерти», Клодель — «Благовещение», Горький — большой очерк, Фрейд — монографию; все они знали, что ни один музей не сохранял их рукописей с большей любовью. Сколько их развеяно сегодня по ветру вместе с прочими, меньшими радостями!

* * *

О том, что в одном со мной пригородном доме, хотя и не у меня в шкафу, скрывался удивительнейший и ценнейший литературно-музейный экспонат, я узнал только впоследствии, благодаря случайности. Этажом выше, в такой же точно скромной квартире, жила седовласая старая дева, учительница музыки; как-то на лестнице она самым любезным образом

заговорила со мной: как ее тяготит, что я вынужден в часы моей работы быть невольным слушателем ее уроков, и она надеется, что неумелые упражнения учениц не слишком отвлекают меня. В ходе разговора выяснилось, что она живет с матерью — та полуслепа, уже почти не выходит из комнаты, — и вот эта восьмидесятилетняя женщина оказалась ни больше ни меньше как дочерью Фогеля — личного врача Гёте, и в 1830 году Оттилия фон Гёте* в присутствии самого Гёте стала ее крестной.

У меня слегка закружилась голова — в 1910 году на земле еще жил человек, на котором некогда покоился божественный взор Гёте! Мне вообще было свойственно особое чувство преклонения перед любимыми приметами земного пребывания гения, и, кроме автографов, я собирал реликвии, какие удавалось раздобыть; одна из комнат моего дома в более поздние времена, в моей «второй жизни», была, можно сказать, культовым помещением. Здесь стоял письменный стол Бетховена и маленькая шкатулка для денег, из которой он, лежа в постели, отсчитывал помертвелой уже, дрожащей рукой гроши служанке; здесь был лист из его приходно-расходной книги и локон его уже седых волос. Гусиное перо Гёте я годами хранил под стеклом, чтобы не поддаваться искушению взять его в собственную недостойную руку.

Но разве можно было сравнивать эти все-таки безгласные вещи с человеком, с дышащим, живым существом, на которое когда-то внимательно и любовно глядел темный круглый глаз самого Гёте, — этим дряхлым, бранным существом последняя тонкая нить, готовая в любой момент оборваться, связывала веймарский Олимп со случайным пригородным домом на Кохгассе, 8.

Я испросил позволения посетить госпожу Демелиус; я встретил у старой дамы радушный и теплый прием, и в квартире у нее я нашел кое-какие вещи из обихода бессмертного,

* Оттилия фон Гёте — жена сына Гёте, Августа. — *Примеч. пер.*

подаренные хозяйке внучкой Гёте — подругой ее детства: то была пара канделябров со стола Гёте и тому подобные достопримечательности из дома на Фрауэнплане в Веймаре.

Но разве не было чудом само существование этой старой дамы с морщинистым ртом, в чепце а-ля бидермейер на поредевших серых волосах, охотно рассказывавшей о своей юности, о первых пятнадцати годах жизни, проведенных в доме на Фрауэнплане, который тогда еще не был музеем, и как она сохраняла вещи неприкосновенными с того часа, когда величайший немецкий поэт навсегда покинул свой дом и мир? Как все старые люди, эту пору своей юности она помнила отчетливее всего; трогательно возмущалась она Обществом изучения Гёте, которое допустило чудовищную бестактность, «уже сейчас» опубликовав любовные письма Оттилии фон Гёте.

«Уже сейчас» — ах, она и забыла, что Оттилии вот уже полвека нет в живых! Для нее любимица Гёте все еще была здесь и оставалась молодой, для нее реальностью были вещи, давно ставшие для нас глубокой стариной и легендой! При ней я всегда чувствовал себя в призрачной атмосфере. В этом каменном доме жили, говорили по телефону, горел электрический свет, диктовали на машинку письма, — а я, поднявшись на двадцать две ступеньки, удалялся в другое столетие и пребывал в священной сени гётевского мира.

Впоследствии я еще много раз встречал женщин, чьи седые головы возносились к миру героев и олимпийцев: Козиму Вагнер, дочь Листа, — сухую, строгую, но великолепную в патетических жестах; Элизабет Фёрстер, сестру Ницше, — изящную, миниатюрную, кокетливую; Ольгу Моно — дочь Александра Герцена, которая ребенком часто сиживала на коленях у Толстого; я слышал, как Георг Брандес, уже в старости, рассказывал о своих встречах с Уолтом Уитменом, Флобером и Диккенсом, а Рихард Штраус — о том, как он впервые увидел Рихарда Вагнера. Но ничто не тронуло меня в такой степени, как лик этой старухи, последней оставшейся в живых из тех, на кого глядели еще глаза Гёте. И возможно, что теперь

уже я и сам являюсь последним, кто может сегодня сказать: я знал человека, на главе которого с нежностью покоилась какое-то мгновение рука самого Гёте.

* * *

Наконец пристанище на время между разъездами было найдено. Важнее, однако, был другой кров, обретенный в ту же пору, — издательство, которое в течение целых тридцати лет привечало меня и давало приют моим произведениям. Такой выбор в жизни автора является решающим, и я не мог бы сделать лучшего.

За несколько лет до того литературный дилетант — из самых просвещенных — решил пустить свое богатство не на конюшню для скаковых лошадей, а на культурное начинание. Альфред Вальтер Хаймель, сам поэт весьма посредственный, решился основать в Германии, где издательское дело, как и повсюду, велось преимущественно на коммерческой основе, такое издательство, которое, не гонясь за материальной выгодой и даже готовое на постоянные убытки, сделало бы мерилом для публикации не доходность, а внутреннее содержание произведения. Развлекательная литература исключалась, какую бы прибыль она ни давала, зато здесь предоставлялось убежище всему утонченному и труднодоступному (по форме и содержанию). Отбирать для издания исключительно произведения, отмеченные стремлением к высокой артистичности, и столь же артистично подавать их читателю — таков был девиз этого издательства, единственного в своем роде и поначалу рассчитанного только на тесный круг подлинных знатоков, издательства, которое в стремлении к гордому одиночеству называлось «Инзель», а позднее — «Инзель-ферлаг»*.

Ни одна книга не выпускалась в чисто коммерческих целях, и полиграфическая техника была направлена на то, чтобы оформить каждое произведение в соответствии с его внутренними достоинствами. Обложка, формат, шрифт, бумага

*Издательство «Остров» (нем.).

всякий раз подбирались заново; даже рекламные проспекты, как и почтовая бумага, в этом издательстве были предметом щепетильной неусыпной заботы. Я, например, не припомню за тридцать лет ни одной опечатки в какой-либо из моих книг или переправленной строки в письме этого издательства: все, до последней мелочи, должно было служить эталоном.

Издательство «Инзель» выпустило собрания лирики Гофмансталя и Рильке, и это с самого начала определило высокий уровень требований к издаваемому. Поэтому можно себе представить, как я был рад, как гордился, удостоившись в двадцать шесть лет постоянного гражданства на этом «острове». Принадлежность к нему означала в глазах окружающих переход в более высокий литературный ранг, а для меня — повышенную ответственность. Тот, кто вступал в этот избранный круг, должен был подчиняться жесткой самодисциплине, ни в коем случае не позволяя себе ни литературного легкомыслия, ни журналистской суетливости, ибо марка издательства «Инзель» была — сперва для тысяч, а потом и для сотен тысяч читателей — гарантией не только полиграфического совершенства, но и высоких литературных достоинств книги.

И какое же счастье для автора молодым набрести на молодое издательство и вместе с ним набирать силу; лишь подобный совместный расцвет создает, собственно, органичные отношения между автором, его трудом и миром. Вскоре меня с руководителем издательства «Инзель», профессором Киппенбергом, связала сердечная дружба, укреплявшаяся сродством наших коллекционерских увлечений, ибо гётевская коллекция Киппенберга росла наперегонки с моим собранием автографов и превратилась в самую значительную из всех, какие когда-либо удавалось собрать частным лицам.

Его советы, а иногда и предостережения были для меня очень ценны, а я, в свою очередь, используя свои связи с иностранными писателями, не раз подсказывал ему новые идеи: так, «Библиотека издательства «Инзель», миллионами экземпляров воздвигшая словно бы мировой город вокруг пер-

воначальной «башни из слоновой кости» и сделавшая «Ин-зель» самым представительным издательством, возникла по моему предложению.

Спустя тридцать лет обнаружилось, что мы уже не то, чем были вначале: скромное издательское предприятие стало одним из самых крупных и популярных в Германии. И действительно, понадобились мировая катастрофа и грубейшее насилие над законом, чтобы расторгнуть эти взаимно необходимые и счастливые узы. Должен признаться, что мне легче было покинуть отчий дом и отчизну, чем больше не видеть столь знакомую марку издательства на моих книгах.



Итак — путь был открыт. Я начал печататься до неприличия рано и все же втайне был убежден, что в свои двадцать шесть еще не создал ничего стоящего. Самое прекрасное, что мне дали годы молодости — общение и дружба с лучшими мастерами культуры того времени, — странно действовало на меня, угрожая сокращая мою творческую продуктивность. Я слишком хорошо научился распознавать подлинные ценности, это лишало меня уверенности. Из-за этого малодушия все, что я до тех пор опубликовал, кроме переводов, ограничивалось малыми формами — новеллами и стихами; взяться за роман у меня еще долго не хватало духу (потребовалось еще чуть ли не тридцать лет). На несколько более крупную вещь я впервые замахнулся в драматическом жанре, и с этой первой попытки я стал испытывать сильное искушение, поддаться которому меня склоняли многие благоприятные знамения.

Летом 1905 или 1906 года я написал пьесу; как того и требовал дух времени, это была стихотворная драма и притом в античном стиле. Называлась она «Терсит». О том, как я сегодня расцениваю эту вещь, не устаревшую лишь со стороны формы, лучше всяких слов говорит тот факт, что я ее — как почти все мои книги, написанные в возрасте до тридцати двух лет, — ни разу не переиздавал. Тем не менее в этой драме

сказалась уже определенная черта моего душевного склада — никогда не принимать сторону так называемых «героев» и всегда находить трагическое только в побежденном. Поверженный судьбой — вот кто привлекает меня в моих новеллах, а в биографиях — образ того, чья правота торжествует не в реальном пространстве успеха, а лишь в нравственном смысле: Эразм, а не Лютер, Мария Стюарт, а не Елизавета, Кастельо, а не Кальвин; вот и тогда я тоже взял в герои не Ахилла, а ничтожнейшего из его противников — Терсита, предпочел страдающего человека тому, чья сила и воля причиняют страдания другим.

Закончив драму, я не показал ее ни одному актеру, даже из числа моих друзей: я был достаточно опытен и знал, что белый пятистопный ямб и греческие костюмы, будь автором драмы хоть сам Софокл или Шекспир, не сделают сбора на нынешней сцене. Лишь для проформы я разослал несколько экземпляров в крупные театры, а потом начисто забыл об этом.

И зато как же я был удивлен, получив месяца через три письмо, где на конверте значилось: «Берлинский королевский театр!» «Что нужно от меня прусскому государственному театру?» — подумал я. К моему изумлению, директор театра Людвиг Барнай, в прошлом один из величайших немецких актеров, сообщал, что пьеса произвела на него сильнейшее впечатление, к тому же она особенно хороша тем, что роль Ахилла — как раз то, что давно уже разыскивает Адальберт Матковски, и потому Берлинский королевский драматический театр просит меня предоставить ему право первой постановки.

Я чуть с ума не сошел от радости. У немцев было в те времена два великих актера: Адальберт Матковски и Йозеф Кайнц; первый был северянин, несравненный в своей первобытной мощи и захватывающей страстности; другой, Йозеф Кайнц, был наш, венец, прославившийся благодаря своему душевному изяществу и неповторимой дикции — искусству

певучей и звучной речи. И вот Матковски должен был воплотить моего героя, читать мои стихи, самый солидный столичный театр Германской империи брал мою драму под свое покровительство — небывалая карьера драматурга открывалась передо мной, не искавшим ее.

Но с тех пор я научился не спешить радоваться постановке, пока не поднимется занавес. Правда, репетиции действительно пошли одна за другой, и друзья уверяли меня, что никогда Матковски не был столь великолепен, столь мужествен, как читая мои стихи на этих репетициях. Я заказал уже место до Берлина в спальном вагоне, и тут в последнюю минуту пришла телеграмма: спектакль отложен из-за болезни Матковски. Я посчитал это отговоркой из тех, что идут обычно в ход, когда театр не может сдержать слово. Но через неделю газеты сообщили, что Матковски умер. Последним, что произнес со сцены этот волшебник слова, были мои стихи.

«Все кончено, — сказал я себе. — Не судьба».

Правда, теперь на эту пьесу претендовали два других придворных театра — Дрезденский и Кассельский; но в глубине души мне было все равно. После Матковски я не мог себе представить никакого другого Ахилла. Но вот до меня дошла еще более поразительная новость: как-то утром меня разбудил один из моих друзей, его прислал Йозеф Кайнц, который случайно наткнулся на пьесу и нашел в ней роль себе по вкусу — не Ахилла, которого хотел сыграть Матковски, а Терсита, его трагического антипода. Кайнц передал, что он тотчас же вступит в переговоры с «Бургтеатром». Тогдашний директор «Бургтеатра» Шлентер прибыл в свое время из Берлина, где успел зарекомендовать себя как горячий сторонник господствовавшего там реализма, и театром руководил (к большой досаде венцев) как правоверный реалист; он тотчас написал мне, что видит, чем интересна моя драма, но не уверен, что успех переживет премьеру.

С этим все, опять сказал я себе: ведь я-то с давних пор скептически относился и к себе самому, и к своему литератур-

ному труду. Кайнц, напротив, был рассержен. Он тотчас пригласил меня к себе; впервые я увидел вблизи кумира своей юности (в гимназии мы готовы были целовать ему руки и ноги): пружинистая фигура, одухотворенное лицо, озаренное прекрасными темными глазами, — и это в пятьдесят лет! Слушать, как он говорит, было наслаждением. Даже в житейском разговоре каждое слово было строжайшим образом очерчено, каждый согласный звук отшлифован до блеска, каждый гласный взмывал ввысь полно и ясно; еще и сегодня, стоит мне прочесть иной стих, который он декламировал, — и в моих ушах звучит голос Кайнца с присущими ему выразительностью, совершенным ритмом, героическим порывом; никогда больше не доводилось мне с таким удовольствием слушать немецкую речь.

И вот — только подумать! — этот человек, которому я поклонялся как божеству, извинялся передо мной, юношей, за то, что ему не удалось осуществить постановку моей пьесы. Но мы не будем больше терять друг друга из виду, обнадежил он меня. Собственно, у него ко мне просьба — я чуть не улыбнулся: у Кайнца ко мне просьба! — и вот какая: у него сейчас много гастрольных поездок, и для них приготовлены две одноактные пьесы. А третьей — нет, а ему хотелось бы маленькую пьесу, желательно в стихах, а лучше всего — с одним из тех лирических каскадов, которые он, единственный на немецкой сцене, умел благодаря своей грандиозной технике речи на одном дыхании обрушить с хрустальным звоном в замерший зал. Не написал бы я ему такую одноактную пьесу? Я обещал попытаться.

Как говорит Гёте, порой и музу можно подчинить своей воле. Я набросал одноактную пьесу «Комедиант поневоле» — легкую как пух, в духе рококо, с двумя вмонтированными большими лирико-драматическими монологами. Непроизвольно я каждое слово писал как бы под его диктовку, изо всех сил стараясь постичь личность Кайнца и даже уловить его речевую манеру; так эта случайная работа стала одной из тех

удач, которые приходят не от мастерства, а только в минуту вдохновения.

Через три недели я показал Кайнцу получерновой набросок с одной уже вмонтированной «арией». Кайнц искренне воодушевился. Монолог он тотчас прочел вслух дважды — во второй раз уже с незабываемым совершенством. Он с явным нетерпением спросил, сколько мне еще понадобится времени. Месяц. Прекрасно! Это то, что надо! Сейчас он на пару недель уезжает на гастроли в Германию, а как только вернется, сразу надо начать репетиции, потому что эту пьесу следует поставить в «Бургтеатре». А кроме того, это он мне обещает: куда бы он ни отправился, он включит ее в свой репертуар, потому что она ему впору, словно перчатка. «Как перчатка!» Он все снова и снова повторял это слово, трижды сердечно пожимая мне руку.

А он действительно еще до своего отъезда переполошил «Бургтеатр», так что мне позвонил сам директор, просил показать ему пьесу хотя бы в черновике и мгновенно одобрил ее заранее. Кайнц уже раздал роли актерам. Снова казалось, что при малой ставке сделана главная игра — «Бургтеатр», гордость нашего города, а в «Бургтеатре» еще наряду с Дузе величайший актер современности в моей пьесе: не слишком ли много для начинающего? Теперь оставалось только единственное опасение, чтобы Кайнц не изменил своего мнения о готовой пьесе, но это было столь маловероятно! Как бы то ни было, сейчас проявлял нетерпение я.

Наконец я прочел в газете, что Йозеф Кайнц вернулся с гастролей. Из вежливости я выждал два дня, считая неудобным беспокоить его сразу же по приезде. На третий день я все же решился и вручил свою визитную карточку портье отеля «Захер», моему хорошему знакомому: «Передайте господину Кайнцу, актеру императорского театра!» Старик удивленно уставился на меня сквозь стекла пенсне: «А разве вы, господин доктор, не знаете?...» Нет, я ничего не знал. «Его же увезли сегодня поутру в санаторий». Только тут я узнал, что Кайнц

вернулся тяжелобольным, во время гастролей он, героически преодолевая ужаснейшую боль, в последний раз играл свои великие роли перед ничего не подозревающей публикой.

На следующий день его оперировали по поводу рака. Газетные бюллетени еще позволяли надеяться на его выздоровление, и я навестил его в больнице. Он лежал ослабевший и измученный, его темные глаза на осунувшемся лице казались еще больше, и я испугался: над вечно юным, исключительно подвижным ртом впервые обозначилась снежная седина усов — я видел старого, умирающего человека. Он скорбно улыбнулся мне: «Даст ли Бог сыграть в нашей пьесе? Это помогло бы мне выздороветь!» Но спустя несколько недель мы стояли у его гроба.

* * *

Легко понять дурные предчувствия, связанные с моими дальнейшими занятиями драматургией, и опасения, с тех пор тревожившие меня всякий раз, как только я передавал какому-либо театру новую пьесу. То, что оба величайших актера Германии умерли, читая напоследок мои стихи, сделало меня — не стыжусь признаться — суеверным. Лишь несколько лет спустя я решился написать пьесу, и, когда новый директор «Бургтеатра» Альфред Бергер, превосходный знаток театра и мастер сценической речи, тут же принял ее, я чуть ли не со страхом принялся изучать список назначенных актеров, пока не вздохнул, как это ни странно, с облегчением: «Слава Богу, ни одной знаменитости!» Року не на кого было обрушиться.

И тем не менее случилось невероятное. В тревоге за актеров я позабыл о директоре, Альфреде Бергере, который сам взялся руководить постановкой моей трагедии «Дом у моря» и уже набросал режиссерскую разработку. Так вот: за две недели до начала репетиций он умер. Стало быть, проклятие, словно тяготевшее над моими драматическими произведениями, еще не утратило силу; даже когда через десять с лишком

лет «Иеремия», а после мировой войны «Вольпоне» шествовали по сцене на всевозможных языках, мне было неспокойно.

И в 1931 году, закончив новую пьесу — «Агнец бедняка», — я поступился своими интересами.

На другой день после того, как я отослал рукопись моему другу Александру Моисси, от него пришла телеграмма: он просил оставить за ним главную роль при первой постановке.

Моисси, принеший со своей итальянской родины такое чувственное благозвучие языка, какого не знала до него немецкая сцена, был в то время единственным достойным преемником Йозефа Кайнца. Обаятельный, умный, живой человек, к тому же добрейший и восторженнейший, он привносил в каждое произведение частицу своего личного обаяния, лучшего кандидата на роль я и желать не мог. И все же, когда он вызвался играть ее, воспоминание о Матковски и Кайнце ожило во мне, и я отказал Моисси под каким-то предлогом, не открывая ему настоящей причины. Я знал, что он унаследовал от Кайнца так называемый перстень Иффланда — по давней традиции величайший актер Германии передавал его как эстафету лучшему из своих преемников. А что, если он под конец унаследует и судьбу Кайнца? Во всяком случае, что касалось меня, то я не хотел в третий раз быть вестником рока для величайшего немецкого актера нашей эпохи.

Так из суеверия и любви к нему я отказался от идеального исполнения, которое едва ли не решило бы судьбу моей пьесы. Без вины виноватый, я все еще не выпутался из сетей чужого рока.

Я отдаю себе отчет в том, что в этом месте моя история становится подозрительно сверхъестественной. Ну хорошо, Матковски и Кайнец — тут, вероятно, дело объясняется несчастливим стечением обстоятельств. Но при чем здесь Моисси, ведь я не дал ему роли и драм больше не писал.

Это произошло так: много лет спустя (тут мое повествование забегаает вперед), летом 1935 года, я преспокойно жил в Цюрихе, как вдруг получил от Александра Моисси телеграм-

му из Милана — он прибывал в Цюрих вечером, специально для встречи со мной, и просил ждать его непременно. Странно, подумал я. Что за спешка — у меня ведь нет новой пьесы, и вот уже много лет, как я охладел к театру. Но ждал я его, разумеется, с радостью, потому что в самом деле любил как брата этого пылкого, сердечного человека.

Он бросился ко мне, едва вышел из вагона, по итальянскому обычаю мы обнялись, и прямо в машине по дороге с вокзала Моисси, стораю от нетерпения, как это умел делать только он, стал рассказывать мне, что я могу для него сделать. У него ко мне просьба, огромная просьба. Пиранделло оказал ему особую честь, передав для премьеры свою новую пьесу. Причем премьеры будет не простая, а мирового значения: пьесу поставят в Вене на немецком языке. В первый раз итальянский писатель такого масштаба уступает право первой постановки иностранцам, и даже Парижу он его не решился доверить.

Пиранделло боится, что в переводе музыкальность и зыбкий ритм его прозы будут утрачены. Ему очень хотелось бы, чтобы пьесу перевел на немецкий не какой-нибудь случайный человек, а именно я, чье языковое мастерство он давно уже ценит. Разумеется, Пиранделло постеснялся просить меня тратить время на переводы! И вот он, Моисси, взялся передать мне просьбу Пиранделло.

Я и в самом деле уже много лет не занимался переводами. Но я слишком высоко ценил Пиранделло, с которым у меня было несколько теплых встреч, чтобы огорчать его отказом, а самое главное — мне предоставлялась приятная возможность оказать услугу такому близкому другу, как Моисси.

На одну или две недели я оторвался от своей работы; несколько недель спустя в Вене была объявлена международная премьеры (которую по политическим мотивам особенно раздували) пьесы Пиранделло в моем переводе. Пиранделло сам намеревался приехать, а поскольку в ту пору Муссолини провозгласил себя покровителем Австрии, то все официальные круги во главе с канцлером объявили о своем присутствии.

Вечер должен был одновременно стать политической демонстрацией итало-австрийской дружбы (в действительности — протектората Италии над Австрией).

В те дни, когда должны были начаться первые репетиции, я случайно оказался в Вене. Я предвкушал встречу с Пиранделло, мне было все-таки любопытно, как зазвучат слова моего перевода в музыке речи Моисси. Но мистическим образом через четверть века повторилось все то же. Открыв рано утром газету, я прочел, что Моисси приехал из Швейцарии с тяжелым гриппом и в связи с его болезнью репетиции переносятся. Грипп, подумал я, это не может быть опасно. Но когда я шел к гостинице (слава Богу, успокаивал я сам себя, не гостиница «Захер», а «Гранд-отель»!), чтобы навестить больного друга, сердце мое билось учащенно, и воспоминание о напрасном визите к Кайнцу ожило во мне. И с величайшим актером эпохи все опять — в который раз! — произошло точно так же, как более четверти века назад. К Моисси меня уже не допустили: у него началась агония. Спустя два дня вместо репетиции я стоял у его гроба, как стоял у гроба Кайнца.



Упомянув о том, как в последний раз исполнилось мистическое проклятие, тяготевшее над моими театральными опытами, я забежал вперед. Разумеется, в этом совпадении я вижу всего лишь случайность. Но несомненно, что в свое время смерть Матковски и так быстро следовавшая за ней смерть Кайнца решительно определили направление моей жизни.

Если бы тогда, в мои двадцать шесть, Матковски в Берлине, а Кайнц в Вене поставили мои первые драмы, то благодаря их искусству, которое могло обеспечить успех самой слабой пьесе, я быстрее, и, вероятно, незаслуженно, получил бы широкую известность, но зато потерял бы годы медленной учебы и познания мира.

В то время мне, понятно, казалось, что меня преследует судьба — ведь театр с самого начала предлагал мне такие

соблазнительные возможности, о которых я и мечтать не смел, чтобы в последний момент безжалостно отнять их.

Однако лишь в молодые годы отождествляешь судьбу и случай. Потом мы начинаем понимать, что наш жизненный путь предопределен изнутри; и каким бы извилистым и бессмысленно неподвластным нашей воле он ни казался, а все же в конечном счете он всегда ведет нас к нашей незримой цели.

ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕВРОПЫ

Может быть, время тогда шло быстрее, чем сегодня, когда оно переполнено событиями, которые меняют нашу жизнь снаружи и изнутри? Или те последние годы моей молодости накануне первой европейской войны представляются мне лишь потому довольно туманно, что прошли они в непрерывной работе? Я писал, печатался, в Германии и за ее пределами уже немного знали мое имя, у меня были почитатели и — что еще больше говорит об определенной оригинальности — противники; мне были открыты все крупные газеты империи, мне больше не нужно было предлагать свои произведения — ко мне обращались за ними. Но в душе я ни в коем случае не обольщаюсь относительно того, что было создано мной: все написанное в те годы ныне утратило свое значение; все наши притязания, наши разочарования и обиды тех дней кажутся мне сегодня по-лилипутски мелкими. Масштабы настоящего дня заставили изменить наше видение. Начни я эту книгу несколько лет тому назад, я рассказал бы в ней о беседах с Герхартом Гауптманом, с Артуром Шницлером, Демелем, Пиранделло, Вассерманом, Шоломом Ашем и Анатолем Франсом (последняя была довольно забавной, ибо старый мэтр потчевал нас весьма пикантными историями, но с неподражаемой серьезностью и неопишущим изяществом).

Я мог бы рассказать о больших премьерах — Десятой симфонии Густава Малера в Мюнхене, «Кавалера роз» в Дрездене, о Карсавиной и Нижинском, ибо, будучи довольно любо-

знательным гостем, я был свидетелем многих «исторических» художественных событий. Но все, что не имеет уже связей с проблемами современности, оказывается несостоятельным перед нашим строгим критерием самого насущного. И давно уже те столпы моей юности, которые направили мой взгляд на литературу, кажутся мне менее значимыми, чем те, кто обратили его к действительности.

К ним в первую очередь относился человек, которому предназначено было попытаться выправить судьбу германской империи в один из самых ее трагических периодов и которого сразил первый смертельный выстрел национал-социалистов, за одиннадцать лет до захвата власти Гитлером: Вальтер Ратенау. Наши дружеские связи были давние и сердечные; начались они удивительным образом. Одним из первых людей, кого я должен благодарить за дружескую поддержку, когда мне было всего девятнадцать лет, был Максимилиан Харден, чей еженедельник «Цукунфт» в последние десятилетия вильгельмовской империи играл важную роль; Харден, вовлеченный в политику самим Бисмарком, который охотно использовал его как рупор или громоотвод, свергал министров, выступил со скандальным разоблачением Ойленбурга, заставлял каждую неделю в ожидании очередных нападков и разоблачений дрожать кайзеровский дворец; но все же личным пристрастием Хардена оставались театр и литература. И вот как-то в «Цукунфт» появилась подборка афоризмов, подписанная псевдонимом, которого я уже не помню, обративших мое внимание своим самобытным остроумием и лаконичностью. Будучи постоянным автором, я написал Хардену: «Кто этот новый талант? Давно я не читал столь великолепно отточенных афоризмов».

Ответ пришел не от Хардена, а от человека, подписавшегося «Вальтер Ратенау», который, как я узнал из его письма и из другого источника, был не кто иной, как сын всемогущего директора берлинской электрокомпании, крупный предприниматель, член наблюдательных советов бесчисленных акци-

онерных обществ, выражаясь словами Жан Поля, один из новых немецких коммерсантов «из высшего света». Он писал, что сердечно благодарит меня за мое письмо, явившееся первым откликом на его первый опыт в литературе. Будучи лет на десять старше меня, он открыто признался мне в своих сомнениях относительно того, стоит ли ему публиковать книгу своих мыслей и афоризмов. Ведь он, в конце концов, дилетант, и сферой его деятельности до сих пор была экономика.

Я искренне его подбодрил, между нами завязалась переписка, так что в свой очередной приезд в Берлин я позвонил ему. Как бы пребывавший в нерешительности голос ответил: «Ах, это вы. Но, к сожалению, завтра рано утром, в шесть, я уезжаю в Южную Африку...» Я прервал: «В таком случае, разумеется, увидимся в следующий раз». Но голос продолжал в неспешном раздумье: «Нет, погодите... минутку... После обеда все занято совещаниями... Вечером мне надо в министерство, после чего еще ужин в клубе... Но вот в одиннадцать пятнадцать — не могли бы вы прийти ко мне?» Я согласился. Мы проговорили до двух часов ночи. В шесть утра он уехал — как я узнал позднее, по поручению германского кайзера — в Юго-Западную Африку.

Я привожу эту деталь потому, что она исключительно характерна для Ратенау. Этот по горло занятый человек всегда находил время. Я видел его в тяжелейшие дни войны и незадолго до конференции в Локарно, а за несколько дней до его убийства я даже ехал с ним в том самом автомобиле, в котором его застрелили, по той же улице. Его дни были расписаны до последней минуты, и тем не менее он в любой момент без всякого усилия мог переключиться с одного дела на другое, мозг его — инструмент такой точности и реакции, какого я не встречал ни у кого, — всегда был в состоянии готовности. Он говорил быстро, словно считывал с невидимого листа, и тем не менее каждая отдельная мысль звучала так образно и ясно, что его речь — будь она застенографирована — дала бы совершенно готовый материал для печати. Так же уверенно, как

по-немецки, он говорил по-французски, по-английски, по-итальянски; память никогда его не подводила, никогда ни по какому вопросу ему не требовалось специальной подготовки. Беседуя с ним, человек чувствовал себя недалеким, необразованным, подавленным его спокойной аналитичностью и объективной деловитостью.

Но в этом ослепляющем блеске, в этой хрустальной ясности было нечто такое, от чего становилось не по себе, как от изысканнейшей мебели и прекраснейших картин в его доме. В нем словно был скрыт гениальный механизм, жилище напоминало музей, а в его феодальном замке королевы Луизы в Бранденбурге человека подавлял идеальный порядок, четкость и чистота. Нечто прозрачное, как стекло, а потому лишенное субстанции, было в его мышлении; редко я чувствовал трагичность судьбы сильнее, чем в этом человеке, в котором за видимым превосходством скрывались глубокое беспокойство и неуверенность. Другие мои друзья, например, Верхарн, Эллен Кей, Базальжетт, и на десятую долю не были столь умны, ни на сотую — так универсальны, не знали настолько жизнь, как он; но они были уверены в себе.

В Ратенау, при всем его необъятном уме, всегда чувствовалось отсутствие почвы под ногами. Он унаследовал от отца такую власть, какую даже трудно вообразить, и все же не хотел быть его наследником, он был коммерсантом, а хотел быть художником, он владел миллионами, а тянулся к социалистам, чувствовал себя евреем, но не сторонился христианства. Он мыслил интернационально, а боготворил пруссачество, мечтал о народной демократии, а сам всякий раз почитал за честь быть принятым кайзером Вильгельмом, слабости и тщеславие которого он проницательно видел до мельчайших подробностей, потакая, однако, собственному тщеславию. Таким образом, вся его непрерывная деятельность была, возможно, лишь своеобразным опиумом, которым он пытался унять внутреннюю нервозность и скрасить одиночество, присутствующее его натуре. Лишь в решающий момент, когда после

поражения германских армий на его долю выпала труднейшая историческая задача возрождения государства из хаоса разрухи, все его огромные потенциальные способности словно по волшебству слились воедино. И он получил то признание, которое соответствовало его гению, посвятив всю свою жизнь одной-единственной цели — спасению Европы.

* * *

Кроме несомненного расширения кругозора благодаря беседам, которые по духовному богатству можно сравнить, пожалуй, лишь с общением с Гофмансталем, Валери и графом Кейзерлингом, пробуждения интереса к самой действительности, я обязан Ратенау также и впервые возникшим желанием отправиться за пределы Европы. «Вы не сможете понять Англию, пока вы знаете только сам остров, — сказал он мне, — да и наш континент тоже, пока хотя бы раз не выедете за его пределы. Вы — свободный человек, используйте же свободу! Литература — отличное занятие, потому что она не требует спешки. Годом раньше, годом позже — не имеет значения для настоящей книги. Почему бы вам не съездить в Индию или Америку?» Этот совет, данный мимоходом, глубоко запал мне в душу, и я сразу же решил ему последовать.

Индия оказала на мою душу более тревожащее и более удручающее впечатление, чем я предполагал. Я был потрясен бедственным положением живущих впроголодь людей, безотрадной отрешенностью в угрюмых взглядах, тягостным однообразием ландшафта, а прежде всего разительным разделением классов и народностей, почувствовать которое мне довелось уже на судне.

На нашем корабле путешествовали две прелестные девушки, черноглазые и стройные, прекрасно образованные и с хорошими манерами, скромные и элегантные. В первый же день мне бросилось в глаза, что они держатся поодаль, словно их отделяет некий невидимый мне барьер. Они не появлялись на танцах, не принимали участия в разговорах, а сидели в сто-

роне, читая английские или французские книги. Лишь на второй или третий день я понял, что дело было не в них, избегавших английского общества, а в тех, кто сторонился «halfcasts»*, хотя эти прелестные девочки были дочерьми крупного персидского предпринимателя и француженки. В пансионе в Лозанне, в finishing-school в Англии они два или три года чувствовали себя совершенно равноправными; но на корабле в Индию вновь тотчас же проявилась эта холодная, невидимая, но оттого не менее жестокая форма общественного презрения. Впервые я увидел расовую чуму, которая для нашего века стала более роковой, чем настоящая чума в прошлые столетия.

Подобный эпизод с самого начала обострил мое внимание. Не без стыда я пользовался — давно исчезнувшим по нашей собственной вине — преклонением перед европейцем как перед неким белым богом, которого во время его путешествий, например, восхождения на пик Адама на Цейлоне, неотступно сопровождало от двенадцати до четырнадцати слуг — меньше было бы просто ниже его «достоинства». Я все время думал о том, что в грядущие десятилетия и столетия необходимо устранить такое абсурдное положение, о котором мы в нашей воображающей себя благополучной Европе вообще не имели никакого представления.

Благодаря этим наблюдениям я увидел Индию не в розовом свете, подобно Пьеру Лоти, как нечто «романтическое», а как предостережение; и причиной тому были не прекрасные храмы, древние дворцы или виды Гималаев, давшие в этом путешествии исключительно много для моего духовного развития, а люди, которых я узнал, — люди другого склада и образа жизни, чем те, которые обычно встречались писателю в Европе.

Тот, кто в те времена, когда деньги тратились более умеренно и когда еще и в помине не было увеселительных турне

*Человек смешанной расы (англ.).

Кука, выезжал за пределы Европы, был почти всегда среди людей своего круга и положения личностью неординарной: если уж торговец, то не какой-нибудь мелкий лавочник, а крупный предприниматель, если врач — то настоящий исследователь, если авантюрист — то из рода конквистадоров, щедрый, решительный, и даже если писатель — то человек с более высокими духовными запросами. За долгие дни и ночи путешествия, которые в ту пору еще не заполняло радио своей трескотней, я в общении с этим иным типом людей узнал о том, что движет нашим миром, больше, чем из сотен книг. Степень удаления от родины меняет и наше отношение к ней. На иные мелочи, которые ранее занимали меня сверх меры, я после моего возвращения стал смотреть именно как на мелочи, а наша Европа уже не казалась мне вечным центром всей Вселенной.



Один из тех, с кем свело меня путешествие по Индии, оказал на историю нашего времени непредвиденно значительное, хотя и не сразу обнаружившееся влияние: на пути из Калькутты в Центральную Индию и на речном судне вверх по Иравади я часами общался с Карлом Хаусхофером и его женой: он в качестве военного атташе направлялся в Японию. Этот высокий, сухопарый человек с узким лицом и острым орлиным носом дал мне возможность познакомиться с характерными чертами и внутренним миром офицера германского генерального штаба. Я, разумеется, и раньше время от времени общался в Вене с военными — приветливыми, любезными и даже веселыми молодыми людьми, — которые, будучи в основном выходцами из семей несостоятельных, форму надели не по своей воле, а лишь из желания поправить материальное положение. Хаусхофер, напротив, — это чувствовалось сразу — происходил из высококультурной, добропорядочной буржуазной семьи — его отец опубликовал довольно много стихов и был, если не ошибаюсь, профессором университе-

та, — и его образование не ограничивалось сведениями из военных наук, а было в отличие от образования многих офицеров всесторонним. Получив задание изучить на месте театр военных действий русско-японской войны, он, как и его жена, настолько овладел японским языком, что свободно мог читать даже японскую поэзию.

На примере Хаусхофера я вновь убедился, что любая наука, в том числе и военная, воспринимаемая широко, непременно должна выходить за пределы узкой специализации и соприкасаться со всеми другими науками. На судне он работал весь день, с помощью полевого бинокля изучал каждую деталь ландшафта, вел дневник или делал рабочие записи, учил язык; редко я видел его без книги в руках. Тонкий, наблюдательный человек, он был прекрасным рассказчиком; я многое узнал от него о загадке Востока и, возвратившись домой, еще долго поддерживал дружеские отношения с семьей Хаусхофер: мы переписывались и навещали друг друга в Зальцбурге и Мюнхене. Тяжелая болезнь легких, продержавшая его целый год в Давосе и Арозе, способствовала его уходу из армии в науку; поправившись, он в мировую войну занял командный пост. Во время поражения и послевоенного хаоса я часто думал о нем с большой симпатией; нетрудно представить, как он, долгие годы трудившийся в своем затворничестве над усилением германского могущества, а может быть, и всей военной машины Германии, должен был страдать, видя Японию, где приобрел много друзей, рядом с торжествующими противниками.

Вскоре обнаружилось, что он был одним из первых, кто настойчиво и планомерно помышлял о возрождении германской мощи. Он издавал журнал геополитики, и, как это часто бывало, я не осознал далеко идущего смысла этого нового движения в его начальной стадии. Я искренне полагал, что речь идет лишь о том, чтобы выявить соотношение сил в ходе развития наций, и даже выражение «жизненное пространство» народов, которое он, кажется мне, сформулировал пер-

вый, я понимал в шпенглеровском смысле — лишь как относительную, за века изменяющуюся энергию, свойственную в каждый временной период той или иной нации.

Весьма правильным казалось мне также требование Хаусхофера более внимательно изучать национальные особенности народов с целью выработки надежных научных взглядов на эту область, так как считал, что такие исследования должны служить исключительно тенденциям сближения народов; возможно — не берусь утверждать это, — первоначальное намерение Хаусхофера и в самом деле не было связано с политикой. Во всяком случае, я читал его книги (в которых, между прочим, он однажды процитировал меня) с большим интересом и без всякого недоверия, слышал от непредубежденных лиц лестные отзывы о его лекциях как о чрезвычайно полезных, и никто не предполагал, что его идеи могут служить новой политике силы и агрессии и лишь в новой форме призваны идеологически обосновать старые притязания на «Великую Германию».

Но однажды, когда я в Мюнхене при случае упомянул его имя, кто-то сказал само собой разумеющимся тоном: «Ах, друг Гитлера». Я не мог этому поверить. Во-первых, жена Хаусхофера была далеко не чистой расы, и его сыновья, очень одаренные и симпатичные, едва ли оказались бы состоятельными с точки зрения нюрнбергского закона о евреях^{*}; кроме того, я не видел ничего общего между высокообразованным, широко мыслящим ученым и грубым агитатором, одержимым немецким национализмом в самой фантастической и самой страшной его форме. Но одним из последователей Хаусхофера был Рудольф Гесс, и эта связь была установлена им; Гитлер сам по себе был малоспособен к усвоению новых идей, однако с самого начала он обладал инстинктом усваивать все, что могло служить достижению им его

^{*} Речь идет о нюрнбергских законах от 15 сентября 1935 г., по которым евреи переставали пользоваться основными правами граждан «рейха». — *Примеч. пер.*

целей; поэтому «геополитика» для него означала и полностью исчерпывалась политикой национал-социалистов, и он пользовался ее услугами лишь настолько, насколько это могло отвечать его замыслам.

Подведение идеологической и псевдоморальной базы под свое домогательство власти всегда было характерным приемом национал-социалистов, а благодаря понятию «жизненного пространства» он наконец обрел «философское» обоснование для своих откровенно агрессивных устремлений — формулу, кажущуюся бесхитростной из-за возможности трактовать ее как угодно, в случае успеха способную оправдать любую аннексию и любой произвол этической и национальной необходимостью.

Так что этот мой давний попутчик, который — не знаю, сознательно ли и по доброй ли воле, — стал родоначальником первоначально ориентированной лишь на достижение национального единства и чистоты расы роковой для мира гитлеровской трактовки проблемы, которая впоследствии у гитлеровцев с помощью теории «жизненного пространства» привела к созданию лозунга: «Сегодня нам принадлежит Германия, завтра — весь мир», — наглядный пример того, что всего лишь одно высказывание, благодаря имманентной силе слова, может воплотиться в дело и злой рок; так ранее высказывания энциклопедистов о господстве «разума» породили свою противоположность — террор и массовый психоз.

Сам Хаусхофер в партии нацистов, насколько мне известно, никогда не занимал видного положения, возможно, даже никогда и не состоял в ней; я в нем отнюдь не вижу, как нынешние скорые на приговор журналисты, демонического «серого кардинала», который, скрытый за кулисами, вынашивает опаснейшие планы и суфлирует их фюреру. Однако не подлежит никакому сомнению, что вольно или невольно эти идеи, которые больше, чем советы самых оголтелых советчиков Гитлера, способствовали превращению агрессивной политики нацизма из узкого национализма в универсальный,

принадлежали ему; лишь потомки более документированно, чем можем сделать это мы, современники, дадут его личности верную историческую оценку.

* * *

За этим первым путешествием через океан последовало через некоторое время второе — в Америку. Целью его тоже было желание повидать мир и, насколько возможно, частицу того будущего, которое нас ожидало; я действительно думаю, что был одним из очень немногих писателей, кто пересек океан не для того, чтобы обделать свои дела или, как иные борзописцы, ловко нагреть руки на Америке, а с единственной целью — проверить довольно смутное представление о новом континенте.

Это мое представление — я не стыжусь об этом сказать — было довольно романтичным. Америка для меня была страной Уолта Уитмена, нового ритма, грядущего мирового братства; еще раз прочел я, прежде чем отправиться за океан, первоизданные и, словно водопад, низвергающиеся с высоты длинные строки «Самегардо» и ступил, стало быть, в Манхэттен с открытым сердцем вместо обычного высокомерия европейца. Я еще помню, что своим первым долгом почел спросить у портье в гостинице о могиле Уолта Уитмена, которую хотел посетить, чем вызвал у бедного итальянца сильное замешательство. Он этого имени даже не слышал.

Первое впечатление было потрясающим, хотя Нью-Йорк не имел еще той опьяняющей ночной красоты, как ныне. Еще не было переливающихся каскадов света на Таймс-сквер и искусственного звездного неба над городом, которое по ночам миллиардами электрических звезд посылает свет звездам настоящего неба. Панорама города, да и движение на улицах были лишены сегодняшнего размаха, новая архитектура еще очень робко проявлялась лишь в отдельных высотных зданиях; витрины магазинов не были оформлены так многообразно и с таким вкусом. Но взгляд с Бруклинского моста, мерно

покачивавшегося от движения, на порт или прогулка в каменных ущельях авеню становились открытием и волнующим событием, которое, должен признаться, через два или три дня уступало место другому пронзительному чувству: чувству крайнего одиночества.

Мне нечего было делать в Нью-Йорке, а ничем не занятый человек был тут более неприкаянным в ту пору, чем где бы то ни было. После того как через два или три дня я самым добросовестным образом изучил музеи и важнейшие достопримечательности, я слонялся туда и обратно, словно судно без руля, по ледящим, продуваемым улицам. В конце концов это чувство бесцельности моего хождения стало настолько сильным, что мне пришлось преодолевать его с помощью одной нехитрой затеи. Я придумал игру: бродя здесь один-одинешенек, внушил себе, будто я один из бесчисленных переселенцев, которые не знают, что им предпринять, и что у меня в кармане всего семь долларов. Делай то, что приходилось делать им. Представь себе, что уже через три дня ты должен начать зарабатывать себе на хлеб. Присмотрись, с чего здесь начинают пришельцы, не имеющие связей и друзей, как им удастся быстро найти себе заработок?

И я стал ходить от одного бюро по найму к другому и изучать объявления. Тут искали пекаря, там — временного секретаря, которому надлежало знать французский и итальянский, здесь — помощника в книжный магазин: для моего двойника это уже был какой-то шанс. И я взобрался по железной витой лестнице на третий этаж — поинтересоваться заработком и сопоставил его, в свою очередь, с газетными объявлениями о ценах на жилье в Бронксе.

Благодаря этому «поиску места» я сразу же, в первые дни, узнал об Америке больше, чем за все последующие недели, когда уже как турист комфортабельно путешествовал по Филадельфии, Бостону, Балтимору, Чикаго, проведя немного времени в Бостоне у Чарлза Леффлера, положившего на музыку несколько моих стихотворений, а остальное время — всегда один.

Лишь однажды полнейшая анонимность моего существования была неожиданно прервана. Я еще ясно помню тот миг. Я брел в Филадельфии по широкой авеню; остановился перед большим книжным магазином, надеясь хотя бы по именам авторов увидеть что-нибудь знакомое, уже известное мне. Вдруг я вздрогнул. В витрине этого магазина внизу слева стояли шесть или семь немецких книг, и в глаза мне бросилось мое собственное имя на обложке одной из них. Я стоял, глядя словно зачарованный, и думал. Частичка моего «я», блуждающего так анонимно и, по всей видимости, бесцельно по этим чужим улицам, никому не известного, никем не узнаваемого, оказывается, уже находилась здесь до меня: книготорговцу потребовалось вписать мое имя в бланк заказов, чтобы эта книга десять дней плыла сюда через океан. На какое-то мгновение меня покинуло чувство заброшенности, и когда два года тому назад я снова побывал в Филадельфии, то невольно искал ту же витрину.

Добраться до Сан-Франциско — Голливуд в ту пору еще не придумали — у меня уже не было сил. И все же, хотя и в другом месте, мне удалось бросить взгляд на столь притягательный Тихий океан, который манил меня к себе еще с детства, когда я прочитал о первых кругосветных путешествиях на парусниках, и с места, которого сегодня уже нет, которое никогда больше не увидит глаз смертного, — с последних насыпей в ту пору еще строившегося Панамского канала.

Через Бермуды и Гаити я прибыл туда на маленьком судне — ведь наше поэтическое поколение, воспитанное на Верхарне, к техническим чудесам своего времени относилось с таким же восхищением, как наши предки к древней римской скульптуре. Зрелище было незабываемое: вычерпанное машинами, оранжевое, как охра, слепящее глаза даже сквозь темные очки ложе канала — дьявольское наваждение — пронизанное миллионами и миллиардами москитов, жертвы которых бесконечными рядами покоились на кладбище. Сколько людей погибло здесь, на этой стройке, которую начала

Европа, а заканчивать пришлось Америке! И вот только теперь, после тридцати лет катастроф и разочарований, она обрела плоть. Еще несколько месяцев заключительных работ на шлюзах, а затем нажатие пальца на электрическую кнопку — и воды двух океанов навсегда соединятся; одним из последних в ту пору, с отчетливым ощущением важности исторического момента, я видел их пока еще разделенными. Это было доброе прощание с Америкой — этот взгляд на ее величайшее творческое деяние.

БЛЕСК И ТЕНИ НАД ЕВРОПОЙ

И вот я прожил десять лет в новом веке, повидал Индию, часть Америки и Африки; с новой, осознанной радостью вновь увидел я нашу Европу. Никогда не любил я так сильно наш Старый Свет, как в эти годы накануне первой мировой войны, никогда так не надеялся на единство Европы, никогда не верил в ее будущее так, как в ту пору, когда нам мерещилась заря новой эры. А на самом деле это было зарево уже приближающегося мирового пожара.

Вероятно, сегодняшнему, выросшему среди катастроф, спадов и кризисов поколению, для которого война стала бытом и чуть ли не повседневностью, трудно представить это доверие к миру, одушевлявшее нас, молодежь, с самого начала нового века. За сорок мирных лет экономика окрепла, техника ускорила ритм жизни, научные открытия наполняли гордостью души современников; начался подъем, который во всех странах Европы был ощутим почти в равной мере. С каждым годом все красивее и многолюднее становились города, Берлин в 1905 году уже не походил на тот, который я знал в 1901-м: придворный город превратился в мировой, а Берлин 1910 года, в свою очередь, совершенно затмил и его!

Вена, Милан, Париж, Лондон, Амстердам при каждой новой встрече изумляли и восхищали; шире и великолепнее становились улицы, грандиознее — общественные здания, бо-

гаче и изящнее магазины. Уровень жизни возрастал, и это чувствовалось во всем; даже мы, писатели, замечали это по тиражам, которые за десятилетие выросли в три, пять, десять раз. Новые театры, библиотеки, музеи возникали повсюду; такие удобства, как ванна и телефон, бывшие доселе привилегией избранных, проникали в быт мелкой буржуазии, да и пролетариат, с тех пор как рабочий день был сокращен, заявлял о себе, требуя хотя бы малой доли в благах и удобствах жизни.

Все шло вперед. Выигрывал тот, кто рисковал. Кто покупал дом, редкую книгу, картину, видел, как они повышаются в цене; чем смелее, чем безрассуднее затевалось предприятие, тем вернее оно окупалось. И оттого на мир снизошла упоительная беззаботность, ибо что же могло прервать этот подъем, остановить взлет, черпавший в самом себе все новые силы? Никогда Европа не бывала сильнее, богаче, прекраснее, никогда не верила она так глубоко в свое прекрасное будущее; никто, кроме двух-трех ветхих старцев, не оплакивал, как прежде, «доброе старое время».

Не только города, но и люди становились красивее и здоровее — благодаря спорту, лучшему питанию, сокращению рабочего дня и углубившейся связи с природой. Зима перестала быть тоскливым временем, которое убивают, скучая за карточным столом в трактире или томясь в душных комнатах; иные открыли для себя зиму в горах — вино профильтрованного солнца, нектар для легких, радостно бегущую по жилам кровь. А горы, озера, море стали уже не такими далекими, как когда-то. Велосипед, автомобиль, электрифицированные дороги сократили расстояния и дали миру новое ощущение пространства.

По воскресеньям тысячи и десятки тысяч людей устремлялись на лыжах и санях со снежных круч; повсюду возникали бассейны и дворцы спорта. В бассейнах как раз и можно было наглядно изучать перемены; если в годы моей молодости настоящему статный человек бросался в глаза на фоне тол-

стых загривков, отвислых животов и впалых ребер, то теперь, следуя античным образцам, соревновались между собой гибкие, распрямленные спортом тела.

По воскресеньям уже никто, кроме последних бедняков, не оставался дома; все молодые люди путешествовали, взбирались на скалы или участвовали в состязаниях во всевозможных видах спорта; отпуск проводили не за городом и даже не в Зальцкаммергуте, как это было принято у моих родителей, — людей одолевал интерес к миру: повсюду ли он одинаково прекрасен; раньше за границу выезжали только избранные, теперь банковские клерки и мелкие ремесленники предпринимали путешествия в Италию, во Францию. Путешествовать стало дешевле, стало удобнее, но главное — люди почувствовали себя увереннее, в них появилась небывалая отвага, они стали смелее в странствиях, безрассуднее в жизни; более того, мелочной расчетливости стали стыдиться.

Целое поколение решило выглядеть моложе; в противоположность нашим отцам каждый гордился своей молодостью; вдруг исчезли бороды — сначала у молодых, затем их примеру последовали старшие, дабы не казаться совсем уж стариками. Молодость, свежесть, никакого жеманства — таков был девиз. Женщины сбросили корсеты, стягивавшие стан, они отказались от зонтов и вуалей, уже не страшась ни солнца, ни воздуха; они укорачивали юбки, чтобы удобнее было играть в теннис, и не стеснялись показывать свои стройные ноги.

Мода становилась все естественнее; мужчины носили бриджи, женщины отваживались ездить верхом, люди не сидели взаперти, они больше не прятались друг от друга. Мир стал не только прекраснее, но и свободнее.

То было здоровье, уверенность в своих силах нового, пришедшего после нас поколения, завоевавшего свободу также и в поведении. На прогулку или на спортплощадку девушки ходили теперь без гувернанток, в компании молодых людей, не скрывая своих товарищеских отношений и не опасаясь за свою девичью честь; они уже не были боязливы и чопорны, они знали, чего хотят, а чего — нет.

Выйдя из-под неусыпного родительского надзора, самостоятельно зарабатывая себе на жизнь службой, они отвоевали право самим определять свою судьбу. Благодаря этим новым, более здоровым и свободным, взаимоотношениям полов заметно пошла на убыль проституция — единственный род любви, официально разрешенный в прежнем мире. Все реже встречалась в бассейнах деревянная перегородка, непреодолимо разделявшая мужскую и дамскую купальни: ни женщины, ни мужчины уже не стыдились обнаженного тела; в это десятилетие было отвоевано больше свободы, непринужденности, непосредственности, чем за весь прошедший век.

Изменился и самый ритм жизни. Год — чего только не случалось теперь на протяжении одного года! Одно изобретение, открытие сменялось другим, тут же становившимся, в свою очередь, всеобщим достоянием; впервые нации ощущали свою сплоченность, когда дело касалось общих интересов. В день, когда Цеппелин отправился в свой первый полет, я случайно, проездом в Бельгию, оказался в Страсбурге, где воздухоплаватель при шумном ликовании толпы облетел вокруг собора, словно отдавая честь тысячелетнему творению. А вечером, когда я был уже в Бельгии, у Верхарна, пришло известие, что воздушный корабль разбился в Эхтердингене. На глазах у Верхарна появились слезы, он ужасно расстроился.

Казалось бы, что ему, бельгийцу, до катастрофы в Германии? Но, как европеец, как сын своего времени, он воспринимал победу над стихиями как общее дело и общее испытание. Мы в Вене так ликовали, когда Блерио перелетел через Ла-Манш, словно он был героем нашей родины; от гордости за ежечасно обгоняющие друг друга триумфы нашей техники, нашей науки впервые возникало чувство европейской общности, европейское национальное сознание.

Сколь бессмысленны, говорили мы себе, наши границы, если любой самолет шутя перелетает через них; сколь провинциальны, сколь искусственны, сколь несовместимы с духом нашего времени, которое так жаждет сплоченности и мирово-

го братства, все эти таможенные барьеры и пограничная стража!

Этот взлет чувства был не менее замечателен, чем взлет аэропланов; мне жаль каждого, чьи годы молодости пришлось не на эти последние годы взаимодоверия в Европе, ибо воздух, в котором мы живем, не мертвый и не пустой, он несет в себе порыв и ритм времени. Он неощутимо вливает их в наши жилы, наполняет ум и сердце. В эти годы каждый из нас черпал силы в общем порыве, основывал веру в себя на коллективной уверенности. Вероятно, мы тогда не понимали еще — ведь люди обычно неблагодарны, — как могуча, как надежна была несущая нас волна. Однако лишь тот, кто пережил эту эпоху всеобщего доверия, знает, какое падение и затмение наступило вслед за ней.

* * *

Великолепен был этот добрый мир силы, стучавший в наши сердца со всех концов Европы. Но мы и не подозревали, что в нашем благополучии таилась опасность. Ветер гордой уверенности, шумевший тогда над Европой, нес и тучи. Возможно, подъем был слишком стремителен, государства и города усилились чересчур поспешно, а сила всегда искушает как людей, так и государства пустить ее в ход, а то и злоупотребить ею. Франция была богата. Но ей было мало этого, ей подавай еще новую колонию, хотя и в прежних не хватало людей; и вот Марокко чуть не стало поводом к войне. Италия зарилась на Киренаику, Австрия аннексировала Боснию. Сербия и Болгария стали достаточно сильны для борьбы с Турцией, а обделенная Германия уже занесла свою хищную лапу для яростного удара.

Повсюду избыточная кровь бросалась государствам в головы. Добрая воля к сплочению внутренних сил переходила, подобно эпидемии, в захватнический азарт. Французские промышленники, получавшие отличный доход, старались вытеснить немецких, которые тоже как сыр в масле катались,

ибо те и другие, и Крупп и Шнейдер-Крёзо, хотели производить больше пушек. Гамбургское пароходство с его громадными дивидендами конкурировало с Саутгемптонским, венгерские фермеры — с сербскими, одни концерны — с другими, всех, по ту и по эту сторону, охватила золотая лихорадка, чудовищное «давай-давай».

Когда сегодня, размышляя спокойно, задаешься вопросом, отчего Европа в 1914 году низверглась в войну, то не находишь ни одной сколько-нибудь разумной причины, даже повода. Дело было отнюдь не в идеях и едва ли — в небольших приграничных территориях; я не могу найти другого объяснения, кроме этого переизбытка силы — трагического порождения внутреннего динамизма, накопленного за сорок мирных лет и искавшего разрядки в насилии.

Каждая страна вдруг пожелала стать могущественной, забывая, что другие хотят того же; каждому хотелось пожить еще чем-нибудь за чужой счет. А хуже всего было то, что нас обманывало как раз милое нашим сердцам чувство — всеобщий оптимизм, ибо каждый верил, что в последнюю минуту противник все же струсит, и наши дипломаты наперебой начали блефовать. Раза четыре-пять — под Агадиром, в балканской войне, в Албании — дело так и ограничилось игрой; но все теснее, все грознее сплачивались большие коалиции. В Германии в мирное время был введен военный налог, во Франции увеличен срок воинской службы; в конце концов избыток силы должен был разрядиться, и погода на Балканах уже указывала, откуда надвигаются на Европу тучи.

Еще не было паники, но было постоянное и жгучее тайное беспокойство; всякий раз, когда на Балканах раздавались выстрелы, нами овладевало дурное предчувствие. Неужели и впрямь война угрожала разразиться над нами, без нашего ведома и спроса? Медленно — слишком медленно, слишком робко, как мы теперь знаем! — собирались противодействующие силы. Была социалистическая партия — миллионы людей по ту и по эту сторону границы, — программа которой отри-

цала войну; были влиятельные католические группировки во главе с папой и несколько концернов с разветвленными международными интересами; была горстка здравомыслящих политических деятелей, противившихся тайному подстрекательству.

И мы, писатели, тоже стояли в ряду противников войны — правда, как и всегда, каждый сам по себе, не было ни сплоченности, ни твердости. Интеллигенты в своем большинстве держались, к сожалению, с пассивным безразличием: ведь мы были оптимистами и проблема войны со всеми ее моральными последствиями еще совсем не задевала нашего сознания — ни в одном из крупных произведений тогдашних кумиров не найти ни критического взгляда на вещи, ни горячего предостережения. Достаточно, казалось нам, и того, что мы мыслим по-европейски и общаемся, не признавая границ, что мы в нашей сфере, воздействующей — правда, лишь опосредованно — на современность, сознаем себя носителями мирного взаимопонимания и духовного братства поверх языковых и государственных барьеров. Новое поколение было сильнее всех предано этой европейской идее. В Париже я увидел, что вокруг моего друга Базальжетта сплотилась группа молодых людей, которые в отличие от старшего поколения осуждали любые проявления национальной ограниченности и агрессивного империализма.

Жюль Ромен, который написал впоследствии великие стихи о воюющей Европе, Жорж Дюамель, Шарль Вильдрак, Дюртен, Рене Аркос, Жан Ришар Блок, объединенные сперва в «Аббатство», а затем в «Свободное усилие» («Effort libre»), были страстными поборниками грядущего европейского сообщества; как показали огненные испытания войны, ничто не могло сломить их отвращения ко всяческому милитаризму — Франция редко являла миру более смелую, одаренную, доблестную молодежь.

В Германии таким был Верфель с его «Другом человечества», Рене Шикеле, сообщивший теме сплочения народов силь-

нейший лирический акцент; оказавшийся по воле судьбы (он был эльзасец) меж двух наций, Верфель страстно способствовал взаимопониманию; из Италии нас дружески приветствовал Борджезе, слова сочувствия шли из скандинавских и славянских стран.

«Приезжайте-ка к нам как-нибудь! — писал мне большой русский писатель. — Покажите панславистам, которые желают втянуть нас в войну, что вы в Австрии не хотите ее». Ах, мы все любили наше время, которое несло нас на своих крыльях, мы любили Европу!

Но эта простодушная вера в разум, в то, что он в последний час воспрепятствует безумию, — только она и была нашей виной. Конечно, мы недостаточно бдительно вглядывались в огненные знаки на стене. Но разве не в том суть подлинной молодости, что она легковерна, а не подозрительна? Мы полагались на Жореса, на социалистический интернационализм, мы верили, что железнодорожники скорее взорвут пути, чем позволят отправить на фронт как пушечное мясо своих товарищей; мы надеялись на женщин, которые не отдадут Молоху своих сыновей и мужей; мы были убеждены, что духовные, моральные силы Европы восторжествуют в самый последний момент.

Наш общий идеализм, наш оптимизм, подогретый успехами прогресса, привели к тому, что мы проглядели общую опасность и пренебрегли ею. А кроме того, нам не хватало организатора, который объединил бы наличные силы вокруг общей цели. Среди нас был всего один прорицатель, один-единственный провидец; однако — что самое примечательное — он жил бок о бок с нами, а мы долгое время не знали о нем, об этом человеке, которому сама судьба указала быть нашим вождем.

Мне посчастливилось, что я, уже в последний час, открыл его для себя, а открыть его было трудно, ибо в Париже он жил в стороне от «foire sur la place»*. Если кто-нибудь возьмется написать добросовестную историю французской литературы

* Житейской суеты (фр.).

двадцатого века, то не сможет обойти молчанием тот поразительный факт, что парижские газеты, расточая похвалы всевозможным поэтам и знаменитостям, три самых главных имени оставили неизвестными или же упоминали вне связи с их настоящим делом.

С 1900 по 1914 год ни в «Фигаро», ни в «Матэн» я не прочитал ни строчки о Поле Валери как поэте; Марсель Пруст слыл светским щеголем, Ромен Роллан — сведушим музыковедом; каждому из них было чуть ли не под пятьдесят, когда первый робкий луч славы упал на их имена, а свой великий труд они вершили во тьме, в самом любознательном, самом одухотворенном городе мира.

* * *

Я своевременно открыл для себя Ромена Роллана лишь благодаря случаю. Во Флоренции русская женщина-скульптор пригласила меня к чаю, чтобы показать мне свои работы и заодно использовать меня в качестве модели. Я явился ровно к четырем, забыв, что она — русская, а стало быть, понятия не имеет о времени и пунктуальности. Старушка, которая, как я слышал, была кормилицей еще у ее матери, провела меня в мастерскую, где художественнее всего был беспорядок, и попросила обождать. Вокруг стояли всего четыре скульптуры, я осмотрел их за две минуты. Чтобы не терять времени, я взял какую-то книгу, вернее, одну из валявшихся там брошюр в коричневых обложках. Название было «Двухнедельные тетради», и я вспомнил, что вроде бы слышал его в Париже. Но кто же мог уследить за всеми этими журнальчиками, которые по всей стране возникали и снова исчезали, словно эфемерные цветы духа?

Перелистав произведение Ромена Роллана, я начал читать со все возрастающим интересом и удивлением. Откуда этот француз так знал Германию? Вскоре я почувствовал благодарность к славной русской скульпторше за ее непунктуальность. Когда она наконец появилась, первый мой вопрос был: «Кто

этот Ромен Роллан?» Она не могла дать точных сведений; и только раздобыв другие части «Жана-Кристофа» (последние еще писались), я понял: вот наконец произведение, которое служит не одной, а всем европейским нациям, их сплочению; вот человек, поэт, который привел в действие все моральные силы: сознательную любовь и честное стремление к знанию, беспристрастность продуманных, отстаившихся оценок и окрыляющую веру в связующую миссию искусства.

Пока мы разбрасывались на мелкие манифестации, он тихо и терпеливо погрузился в труд, чтобы показать народы друг другу с таких сторон, где они — каждый по-своему — были особенно привлекательны; роман, законченный им, был первым сознательно общеевропейским романом, первым решительным призывом к единству, более действенным, чем гимн Верхарна, более проникновенным, чем все памфлеты и протесты, ибо он нашел доступ к широким массам; то самое, на что мы все неосознанно надеялись, чего страстно желали, было совершено в тишине.

В Париже я первым делом стал разузнавать о нем, памятуя слова Гёте: «Он сам учился, он может нас учить». Я расспросил о нем друзей. Верхарн припомнил, что какая-то драма, как будто «Волки», шла в социалистическом «Народном театре». Базальжетт, со своей стороны, слышал, что Роллан — музыковед и написал книжечку о Бетховене; в каталоге Национальной библиотеки я отыскал дюжину работ о старинной и современной музыке, семь или восемь драм, все они печатались в мелких издательствах или в «Двухнедельных тетрадах». Наконец, чтобы положить начало знакомству, я послал ему одну из моих книг. Вскоре пришло письмо с приглашением, и вот завязалась дружба, которая, подобно дружбе с Фрейдом и Верхарном, стала самой плодотворной в моей жизни, а в иные часы даже путеводной.

Красные дни в календаре жизни светятся сильнее, чем обыкновенные. Вот и этот первый визит я еще помню с необычайной ясностью. Поднявшись на пятый этаж по узкой винтовой лестнице неприметного дома неподалеку от бульвара Монпарнас, я уже перед дверью услышал особенную тишину; шум бульвара едва ли не заглушался ветром, который разгуливал под окнами меж деревьев старого монастырского сада. Роллан отворил мне и провел в небольшую, до потолка уставленную книгами гостиную; впервые взглянул я в его незабываемые сияющие голубые глаза, самые ясные и самые добрые глаза, которые я когда-либо видел у человека, в эти глаза, меняющие при разговоре цвет и блеск под влиянием глубочайшего чувства, обведенные тенями в час печали, вдруг углубляющиеся при раздумье, искрящиеся в возбуждении, в эти зрачки между несколько усталыми, слегка покрасневшими от чтения и бессонницы краями век, в глаза, способные осчастливить светом замечательного дружелюбия.

Украдкой я разглядывал его. Очень высокий, хорошо сложенный, он при ходьбе слегка сутулился, будто бесчисленные часы, проведенные за письменным столом, согнули его спину; резкие черты лица и сильная бледность придавали ему болезненный вид. Говорил он очень тихим голосом, да и вообще берег себя сверх всякой меры: он почти не выходил на улицу, не пил и не курил, избегал всяческого физического усилия, но впоследствии мне довелось с восхищением открыть, какая необычайная выдержка таилась в этом аскетическом теле, какая работа духа скрывалась под этой кажущейся слабостью.

Он часами писал за маленьким, заваленным бумагами столом, читал часами в постели, никогда не позволяя своему утомленному телу расслабиться сном более чем на четыре-пять часов; мне не забыть, как чудесно играл он на рояле — ударяя по клавишам мягко, ласкающими движениями рук, точно не извлекал звуки, а выманивал их. Ни один виртуоз — а я слышал игру Макса Регера, Бузони, Бруно Вальтера в

самом узком кругу — не давал мне пережить с такой силой чувство непосредственного общения с любимыми мастерами.

Многообразие его знаний приводило в смущение: весь обратившись в одно читающее око, он был как дома в литературе, философии, истории, в проблемах всех стран и времен. В музыке он знал каждый такт; самые незначительные произведения Галуппи, Телемана, а также музыкантов шестого и седьмого разряда были ему знакомы; при этом он принимал близко к сердцу любое событие современности.

В этой монашески скромной келье, как в камере-обскуре, отражался весь мир. Роллан был близок с великими людьми своего времени: ученик Ренана, он бывал у Вагнера, дружил с Жоресом; Толстой прислал ему знаменитое письмо, которое по достоинству может быть оценено как «человеческий документ».

Я почувствовал — а это чувство всегда делает меня счастливым — его человеческое, моральное превосходство, внутреннюю свободу, не ведающую тщеславия, свободу как естественное условие существования сильной души. С первого же взгляда я угадал в нем человека, который в решающий час станет совестью Европы.

Мы говорили о «Жане-Кристофе». Роллан объяснил мне, что ставил здесь перед собой тройную задачу: попытаться заплатить долг благодарности по отношению к музыке; выступить в защиту европейского единства и призвать народы опамтоваться. Теперь каждый из нас должен действовать — каждый на своем месте, в своей стране, на своем языке.

Пришло время удвоить и утроить бдительность. Силы, разжигающие ненависть, по своей низменной природе стремительнее и агрессивнее, чем миролюбивые; к тому же в отличие от нас они заинтересованы в войне материально, а это всегда делает человека неразборчивым в средствах. Безумие уже перешло к действиям, и борьба с ним даже важнее, чем наше искусство. «Оно может утешать нас, одиночек, — говорил он мне, — но с действительностью оно ничего поделать не может».

Это было в 1913 году. И это был первый разговор, из которого я уяснил, что наш долг — не сидеть сложа руки перед угрозой войны в Европе; и в тот решающий момент ничто не давало Роллану такого огромного морального превосходства над всеми остальными, как то, что он заранее готовил себя к тяжким духовным испытаниям.

И мы в своем кругу что-то сделали, я многое перевел, чтобы показать, какие поэты у наших соседей, в 1912 году я сопровождал Верхарна в поэтическом турне по всей Германии, которое вылилось в знаменательную демонстрацию германо-французского сплочения: в Гамбурге Верхарн и Демель, величайший французский лирик и великий немецкий поэт, заключили друг друга в объятия на глазах у публики. Я заинтересовал Рейнхардта новой драмой Верхарна; никогда еще наше сотрудничество не было столь сердечным, интенсивным, живым: и порой, в минуты энтузиазма, мы тешили себя иллюзией, будто указали миру путь к истинному спасению.

Но мир мало трогали подобные литературные манифестации, он шел своим собственным, неправым путем. Незримые миру столкновения порождали электрические заряды, то и дело с треском проскакивала искра — цабернский инцидент*, албанский кризис, некстати взятое интервью, — всякий раз одна лишь искра, но каждая из них могла бы привести к взрыву накопившегося пороха.

Особенно в Австрии ощущали мы, что находимся в центре беспокойной зоны. В 1910 году император Франц Иосиф отметил свое восьмидесятилетие. Дни этого старца, ставшего уже символом, были сочтены, и повсюду распространилась уверенность, что после его кончины процесс распада тысячелетней монархии станет неудержимым. Внутри возростали наци-

* Цабернский инцидент — столкновение между германскими военными властями и жителями эльзасского городка Цаберн, поводом для которого послужило оскорбление эльзасских солдат младшим офицером прусского полка, расквартированного в этом городе. — *Примеч. пер.*

ональные трения, извне Италия, Сербия, Румыния и даже — в определенном смысле — Германия ждали возможности принять участие в разделе империи. Война на Балканах, где Крупп и Шнейдер-Крёзо испытывали боевые качества своих пушек на чужом «человеческом материале» (впоследствии немцы и итальянцы опробовали свои самолеты в гражданской войне в Испании), все больше втягивала нас в водоворот. Люди то и дело вздрагивали, но тут же снова вздыхали с облегчением: «На этот раз обошлось. И надо надеяться, что навсегда».

* * *

Опыт подсказывает, что реконструировать факты той или иной эпохи в тысячу раз легче, чем ее духовную атмосферу. Она проявляется не во внешних событиях, а, скорее, в мелких, частных эпизодах, подобных тому, который мне хотелось бы здесь привести.

Честно говоря, в то время я не думал о войне. Но было два случая, когда она привиделась мне — как бы сном наяву, и я пробуждался в холодном поту, с замирающим сердцем. В первый раз это было связано с «делом Редля».

С полковником Редлем, героем одной из запутаннейших шпионских драм, лично у меня было только шапочное знакомство. Он жил через квартал от меня. Однажды в кафе мой друг, прокурор Т., представил меня почтенному, располагающей наружности господину, курившему сигару, и с тех пор мы при встрече раскланивались друг с другом. Но лишь впоследствии мне открылось, что вся наша жизнь окутана тайной и как мало мы знаем о людях, живущих бок о бок с нами. Этот полковник, выглядевший заурядным, добросовестным австрийским служакой, был доверенным лицом наследника престола; ему было поручено ответственнейшее дело: руководить армейской секретной службой и бороться с военной разведкой противника.

И вот стало известно, что в 1912 году, во время балканского военного кризиса, когда Россия и Австрия готовились к войне

друг с другом, важнейший секретный документ австрийской армии — «Стратегический план» — был продан в Россию; в случае войны это могло привести к беспримерной катастрофе, поскольку русские заранее узнали каждый возможный шаг, всю тактику наступления австрийской армии. В связи с этим предательством паника в кругах, близких к генеральному штабу, поднялась страшная; полковнику Редлю в качестве главного специалиста надлежало разоблачить предателя, а ведь искать его следовало только в самом узком кругу высших офицеров. Министерство внутренних дел со своей стороны, не слишком полагаясь на расторопность военных властей, явило типичный пример сугубой ведомственной междоусобицы: не уведомив генеральный штаб о своем намерении провести самостоятельное расследование, оно, помимо всего прочего, дало полиции указание, не взирая на тайну переписки, вскрывать все письма из-за границы, адресованные до востребования.

И вот однажды в некое почтовое отделение поступило письмо с русской пограничной станции Подволочная, адресованное до востребования на девиз «Бал-маскарад»; когда его вскрыли, то не обнаружили ни листочка почтовой бумаги, зато в конверте было не то шесть, не то восемь новеньких австрийских банкнот, достоинством в тысячу крон каждая. Об этой подозрительной находке тотчас известили полицейское управление, и там распорядились посадить к окошку почты детектива, чтобы сразу же арестовать того, кто потребует это подозрительное письмо.

В какой-то момент трагедия стала оборачиваться венским водевилем. Перед обеденным перерывом явился некий господин и потребовал письмо под девизом «Бал-маскарад». Почтовый чиновник немедленно подал детективу тайный знак. Но детектив как раз в это время отправился пропустить утреннюю рюмочку, а когда он возвратился, удалось лишь установить, что незнакомец взял фиакр и уехал в неизвестном направлении.

Однако вскоре начался второй акт венской комедии. В то

время кучер фиакра, этого фешенебельного, элегантного пароконного экипажа, почитал себя слишком важной персоной, чтобы собственноручно мыть свою карету. Для этого на каждой стоянке имелся так называемый «мойщик», в обязанности которого входило задавать корм лошадям и мыть экипаж. Так вот, этот мойщик, к счастью, запомнил номер фиакра, который только что отъехал; через пятнадцать минут все полицейские участки были подняты по тревоге, и кучера нашли. Он описал внешность господина, который вышел у того самого кафе «Кайзергоф», где я встречал обычно полковника Редля; кроме того, благодаря счастливой случайности в карете нашли перочинный ножик, с помощью которого незнакомец вскрыл конверт. Детективы тотчас помчались в «Кайзергоф».

Тем временем господин, о котором они спрашивали, снова исчез. Но официанты в один голос заявили, что этот господин не кто иной, как полковник Редль, и он только что уехал к себе в гостиницу Кломзера. Детектив остолбенел. Тайна была разгадана. Полковник Редль, главный руководитель австрийской военной разведки, в то же время был платным агентом русского генерального штаба. Он выдавал не только тайны и стратегические планы; сразу стало ясно, почему за последний год были один за другим арестованы и осуждены все разведчики, посланные им в Россию.

Начались бешеные телефонные звонки, пока не удалось связаться с начальником австрийского генерального штаба Конрадом фон Гетцендорфом. Очевидец этой сцены рассказывал мне, что тот после первых же слов побелел как полотно. Телефонные переговоры — теперь уже с Гофбургом — продолжались, шли бесконечные совещания. Что предпринять? Полиция со своей стороны заранее позаботилась о том, чтобы полковник Редль не ускользнул. Когда он снова вознамерился выйти из гостиницы Кломзера и заговорил было с портье, сыщик, незаметно подойдя к нему, показал перочинный ножик и вежливо спросил: «Не забыл ли господин этот ножик в фиакре?» В эту секунду Редль понял, что он погиб. Куда бы он

ни направлялся, он повсюду встречал хорошо знакомые лица следовавших за ним агентов тайной полиции, а когда он возвратился в гостиницу, то в его комнату вошли двое офицеров и положили перед ним револьвер. Ибо тем временем в Гофбурге было решено покончить без шума с этим делом, столь позорным для австрийской армии.

Оба офицера дежурили у дверей комнаты Редля в гостинице Кломзера до двух часов ночи. И лишь тогда изнутри послышался выстрел.

На следующий день в вечерних газетах появился скупой некролог в связи со скоропостижной кончиной заслуженного офицера полковника Редля. Но слишком много лиц было вовлечено в расследование, чтобы тайну удалось сохранить. Открывались все новые и новые подробности, во многом разъяснявшие подоплеку дела. Полковник Редль, о чем не знал никто из его начальников и друзей, был склонен к гомосексуализму и много лет находился во власти шантажистов, которые в конце концов вынудили его совершить этот отчаянный шаг. Трепет ужаса прошел по армии. Все понимали, что случись война — и один этот человек обошелся бы в сотни тысяч жизней, а страна по его милости оказалась бы на краю гибели; только тогда мы в Австрии осознали, что мировая война еще в прошлом году дышала нам в затылок.

* * *

Впервые тогда у меня сжало горло от ужаса. На следующий день я случайно встретил Берту фон Зутнер, великолепную и великодушную современную Кассандру. Аристократка из самых родовитых, она еще в ранней юности видела в окрестностях своего фамильного замка в Богемии ужасы войны 1866 года.

Всю свою жизнь она посвятила одному: предотвратить новую войну, вообще покончить с войной. Она написала роман «Долой оружие», имевший огромный успех, организовывала бесчисленные встречи пацифистов, но главная ее победа была

одержана над Альфредом Нобелем, изобретателем динамита; она пробудила в нем раскаяние, и, чтобы искупить зло, причиненное его открытием, он учредил Нобелевскую премию за мир и международное взаимопонимание.

Она подошла ко мне в сильном волнении.

— Люди не понимают, что происходит, — на всю улицу кричала она, хотя обычно разговаривала тихо, благожелательно и ровно. — Это ведь была война, а они опять, в который уже раз, все от нас скрыли и держали под спудом. Почему вы, молодые люди, ничего не делаете? Вас это касается в первую очередь! Так защищайтесь, объединяйтесь! Не сваливайте все на нас, на двух-трех старух, которых никто и слушать не хочет.

Я рассказал ей, что собираюсь в Париж, может быть, там действительно удастся организовать массовое выступление. «Почему только может быть? — возмутилась она. — Положение сейчас хуже, чем когда-либо, ведь машина уже пущена в ход». Сам встревоженный, я с трудом сумел ее успокоить.

Но именно во Франции мне пришлось, в связи с другим, личным, обстоятельством, припомнить, как далеко заглядывала в будущее старая женщина, которую в Вене не воспринимали всерьез. Это был совсем незначительный эпизод, но на меня он произвел особое впечатление. Весной 1914 года я на несколько дней отправился с одной парижской приятельницей в Турень, чтобы посмотреть на могилу Леонардо да Винчи. Мы погуляли вдоль пологих и солнечных берегов Луары и к вечеру порядком устали. Поэтому в немного сонном городе Туре, в том самом, где я еще раньше поклонился дому, в котором родился Бальзак, мы решили отправиться в кинематограф.

Это был маленький пригородный кинематограф, ничуть не походивший на современные дворцы из стали и сверкающего стекла. Один-единственный, наспех оборудованный зал, заполненный простым людом: рабочими, солдатами, торговками — настоящим простонародьем, — которые преспокойно переговаривались и, несмотря на запрет, наполняли затхлый воздух голубыми клубами «Скаферлати» и «Капоралья».

На экране показали сперва «Новости со всего света». Гонки на шлюпках в Англии; люди переговаривались и смеялись. Последовал французский военный парад; зрители и тут не очень воодушевились. Но вот третий сюжет: «Визит императора Вильгельма в Вену к императору Францу Иосифу». Вдруг я увидел на экране хорошо знакомый перрон безобразного венского Западного вокзала и нескольких полицейских, ожидающих прибытия поезда. Колокол — и вот старый император Франц Иосиф, шагающий перед строем почетного караула навстречу своему гостю. Едва император — дряхлый господин с седыми бакенами — появился на экране и, согбенный, чуть прихрамывая, прошел перед строем, как люди из Тура беззлобно засмеялись. Затем — прибытие поезда, первый вагон, второй, третий... Открылась дверь салон-вагона, и вышел, выставив, как пики, усы, Вильгельм II в мундире австрийского генерала.

Стоило кайзеру Вильгельму появиться в кадре — и сразу в темноте начались дикий свист и топот. Все вокруг галдело и свистело, женщины, мужчины, дети неистовствовали, выкрикивали оскорбления, как будто им нанесли личную обиду. Добродушных обывателей Тура, ничего не знавших ни о мире, ни о политике, кроме того, о чем писали газеты, в одну секунду охватило безумие.

Я испугался. Испугался до смерти. Ибо я понял, как глубоко проник яд многолетней пропаганды ненависти, если даже здесь, в маленьком провинциальном городке, мирные обыватели и солдаты были до такой степени настроены против кайзера, против Германии, что мимолетный кадр на экране мог так разъярить их.

Это продолжалось всего несколько секунд. Затем кадры сменились, и, кажется, все было забыто. Люди смеялись до колик — крутили комическую ленту — и в восторге хлопали себя по коленкам, так что трещали стулья. Это были всего лишь считанные секунды, но они показали мне, как легко было бы в момент настоящего кризиса натравить народы друг

на друга вопреки всем попыткам пробудить взаимопонимание, невзирая на все наши усилия.

Вечер для меня был испорчен. Я не мог заснуть. Случись такое в Париже — это меня тоже встревожило бы, но не потрясло бы так. То, что ненависть столь глубоко, до самой провинции, укоренилась в добродушном, наивном народе, — это заставило меня содрогнуться от ужаса.

Я рассказал об этом инциденте друзьям; мало кто отнесся к нему серьезно: «Уж как только мы, французы, не потешались над толстой королевой Викторией, а через два года заключили с Англией союз. Ты не знаешь французов — политику они не принимают близко к сердцу».

Один Роллан взглянул на дело иначе: «Чем наивнее народ, тем легче его обмануть. С тех пор как избран Пуанкаре, дела стали плохи. В Петербург он поедет не для увеселительной прогулки».

Мы еще долго говорили о международном социалистическом конгрессе, который планировалось провести летом в Вене, но Роллан и тут был настроен более скептически, чем остальные. «Кто знает, многие ли выдержат, когда в один прекрасный день будут расклеены приказы о мобилизации? Нам выпало жить в эпоху массовых чувств, массовой истерии, силу которых на случай войны нельзя предугадать».

Но, как я уже говорил, моменты такой озабоченности улетали, точно паутина на ветру. Правда, мы время от времени думали о войне, но это было похоже на то, как порой вспоминаешь о смерти — вроде бы и возможной, но, скорее всего, далекой.

А Париж в те дни был невероятно прекрасен, и мы сами — слишком молоды и слишком счастливы. Я еще припоминаю прелестный фарс, придуманный Жюлем Роменом, чтобы для осмеяния «принца поэтов» короновать «принца мыслителей» — славного, несколько простоватого мужчину, которого студенты подвели к роденовской статуе перед Пантеоном. А вечером мы, как школяры, буйствовали на шутовском банкете.

те. Деревья стояли в цвету, источая нежный, сладостный аромат; кому хотелось размышлять о невероятном, глядя на такую красоту? Друзья были ближе, чем когда-либо, и число их во «вражеской» стране все росло, город жил так безмятежно, как никогда раньше, и каждый любил его в меру собственной беззаботности.

В эти дни я бродил с Верхарном по Руану — он должен был прочесть там лекцию. Ночью мы стояли у собора, башни которого волшебным сияли в лунном свете, — неужто эти хрупкие чудеса все еще принадлежат одной «отчизне», а не всем нам? На вокзале в самом Руане, на том месте, где ему суждено было спустя два года погибнуть под одной из воспетых им машин, мы простились. Он обнял меня. «Первого августа!..» Я обещал — ведь что ни год я приезжал к нему в загородный домик, чтобы в непосредственной близости от него переводить его новые стихи. Почему бы и в этом не приехать? И с остальными друзьями я простился тоже безмятежно, наспех, без сантиментов — так прощаются, покидая родной дом на пару недель.

У меня были четкие планы на ближайшие месяцы. Сперва уединиться где-нибудь в Австрии, в сельской местности, чтобы продолжить работу, посвященную Достоевскому, опубликованную лишь через пять лет, и завершить ею книгу «Три мастера», в которой три великих народа должны были раскрыться через своих величайших романистов. Затем — к Верхарну, ну а зимой, возможно, состоится давно задуманная поездка в Россию — там надо организовать группу содействия духовному взаимопониманию.

В том году, когда мне пошел тридцать второй, моему взору будущее рисовалось безмятежным и светлым; прекрасным, как восхитительный плод, исполненным смысла представлялся мне в это лучезарное лето мир. И я любил его за его настоящее и еще более — за его величественное будущее.

Но тут 28 июня 1914 года в Сараеве раздался выстрел, который за одну-единственную секунду разбил на тысячу ку-

сков, как пустой глиняный горшок, тот, казалось, надежный мир творческого разума, где мы воспитывались и выросли, — мир, давший нам приют.

ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ВОЙНЫ 1914 ГОДА

Лето 1914 года осталось бы в нашей памяти и без того бедствия, которое оно обрушило на Европу. Ибо редко доводилось мне изведать лето более неистовое, более ослепительное и, так и просится сказать, более летнее. Что ни день — голубое шелковое небо, мягкий, но не душный воздух, аромат и тепло трав, дремучие изобильные леса с их зеленеющей порослью; еще и поныне, произнося слово «лето», я невольно обращаюсь к тем июльским дням, которые провел тогда в Бадене под Веной. Я перебрался сюда, чтобы в этом маленьком романтическом городке, где предпочитал отдыхать летом Бетховен, целиком и полностью погрузиться на этот месяц в работу, а затем провести остаток лета у моего друга Верхарна в Бельгии, в его небольшом загородном доме.

В Бадене, чтобы насладиться природой, совсем не нужно было покидать этот маленький городок. Великолепный лес на холмах незаметно подступал вплотную к невысоким домам в стиле бидермейер, хранившим простоту и прелесть бетховенского времени. Повсюду здесь в кафе и ресторанах люди сидели на открытом воздухе, а при желании можно было смешаться с пестрой толпой отдыхающих, которые совершали свой моцион в курортном парке или скрывались от нескромных взоров на уединенных тропинках.

Уже накануне 29 июня, торжественно отмечаемого католической Австрией как день Петра и Павла, сюда понаехало много гостей из Вены. В светлых летних платьях, радостно и беззаботно, в курортном парке перекатывалась волна отдыхающих. День был ласковым; безоблачное небо над раскидистыми каштанами — подходящий денек, чтобы почувствовать себя счастливыми. Для взрослых и детей наступала пора вака-

ций, и этот первый летний праздник словно предварял все лето с его дурманящим воздухом, пышной зеленью и забвением всех повседневных хлопот. Я сидел тогда в стороне от толчеи курортного парка и читал. Но в то же время воспринимал и шелест листвы, и щебетанье птиц, и долетающую из глубины парка музыку. Я отчетливо различал мелодии, и это мне не мешало, ибо наш слух может настолько приспособливаться, что продолжительный шум или гул — суэта улицы, журчание ручья — через несколько минут перестают отвлекать наше внимание и, наоборот, лишь неожиданное нарушение ритма заставляет нас насторожиться.

Так и я непроизвольно прервал чтение, когда музыка вдруг прекратилась прямо в середине такта. Я не знал, что это за вещь, которую играл курортный оркестр. Просто почувствовал, что музыки внезапно не стало. Невольно я поднял глаза от книги. Толпа, медленно текшая единой светлой массой между деревьями, казалось, преобразилась; движение ее туда и обратно застыло. Очевидно, что-то произошло. Я встал и увидел, что оркестранты покидают музыкальный павильон. И это было странным, поскольку обычно концерт продолжался час и более. Должна была быть какая-то причина такого внезапного окончания концерта; подойдя ближе, я заметил, что взволнованные группы людей толпятся у музыкального павильона перед, очевидно, только что вывешенным сообщением. Как я незамедлительно выяснил, это было сообщение о том, что его королевское высочество, наследник престола Фердинанд, и его супруга, отправившиеся на маневры в Боснию, пали там жертвой злодейского политического убийства.

Все больше людей скапливалось вокруг этого извещения. Неожиданное известие передавалось от одного к другому. Но, по правде сказать, на лицах не заметно было особого потрясения или огорчения, ибо наследник трона отнюдь не был популярен.

Еще с раннего детства я помню о том другом дне, когда

кронпринца Рудольфа, единственного сына императора, нашли застрелившимся в Майерлинге. Тогда весь город был в крайнем волнении: чтобы взглянуть на гроб, установленный для торжественного прощания, столпилось невероятно много людей, искренне сочувствуя императору и испытывая потрясение оттого, что его единственный сын и наследник, на которого — прогрессивного и по-человечески исключительно приятного среди Габсбургов — возлагались самые большие надежды, почил в самом расцвете лет.

Францу Фердинанду, напротив, недоставало именно того, без чего в Австрии невозможна подлинная популярность: личного обаяния, человеческой привлекательности и внешней обходительности. Я часто наблюдал за ним в театре. Он сидел в своей ложе, могучий и широкий, не бросив ни одного дружелюбного взгляда в публику, ни разу не поддержав артистов искренними аплодисментами. Его никогда не видели улыбающимся, ни на одной фотографии не выглядел он естественным. У него не было никакого чувства музыки или чувства юмора, и так же неприветливо выглядела его жена.

Атмосфера вокруг этой пары была леденящая: знали, что у них не было друзей, знали, что старый император всей душой ненавидел Фердинанда, потому что тот не умел тактично скрывать свое нетерпение занять трон. Мое почти мистическое предчувствие, что от этого человека с затылком бульдога и неподвижными, холодными глазами следует ожидать какого-то несчастья, разделяли многие, и в народе сообщение о его убийстве поэтому не вызвало сколько-нибудь глубокого участия. Уже через два часа нельзя было обнаружить ни единого признака истинной скорби. Люди шутили и смеялись, в ресторанах снова допоздна играла музыка. Немало было в Австрии и таких, кто про себя с облегчением подумал, что смерть этого наследника старого императора открывает путь к престолу несравненно более популярному молодому эрцгерцогу Карлу.

На следующее утро газеты, разумеется, напечатали обширные некрологи и дали достойное выражение негодованию

по поводу преступления. Но ничто не намекало на то, что это событие будет использовано для политической акции против Сербии.

Для правящего дома эта смерть поначалу обернулась совсем иной заботой — заботой о церемониале погребения. Местом захоронения Франца Фердинанда, как наследника трона и к тому же погибшего при исполнении служебных обязанностей, естественно, должен был стать склеп капуцинов — историческое место захоронения Габсбургов. Однако Франц Фердинанд после долгих, жестоких схваток с императорской семьей женился на графине Котек, хотя и знатной аристократке, но по многовековому негласному закону Габсбургов все же ему не равне, и эрцгерцогини на больших церемониях настойчиво утверждали свое первенство перед супругой наследника трона, дети которой не имели права на наследство.

Придворное высокомерие распространилось и на покойницу. Как — в габсбургском императорском склепе погребать какую-то графиню Котек? Нет, этому не бывать! Началась чудовищная интрига; эрцгерцогини осаждали старого императора. В то время как двор официально требовал от народа глубокого траура, в Гофбурге отчаянно строили козни, и, как это водится, неправым оказался мертвый. Церемониймейстеры нашли выход, утверждая, что усопшая сама высказывала желание быть погребенной в Артштеттене, маленьком австрийском провинциальном местечке, и этой внешне уважительной уловки оказалось вполне достаточно, чтобы избежать публичного прощания с гробом покойной, траурного шествия и всех связанных с этим споров о первенстве. Гробы обоих убитых без лишнего шума были доставлены в Артштеттен и там захоронены.

Вена, чью вечную страсть к зрелищам лишили тем самым очередного повода, начала уже забывать трагическое происшествие. В конце концов в Австрии из-за насильственной смерти королевы Елизаветы, кронпринца и скандального бегства то одного, то другого члена императорского семейства

давно уже привыкли к той мысли, что старый император одиноко и стойко переживет свой дом танталовых мук. Еще несколько недель, и имя и образ Франца Фердинанда навсегда бы исчезли из истории.

Но тут, примерно через неделю, в газетах началась словесная перепалка; крещендо звучало слишком синхронно, чтобы быть случайным. Сербское правительство обвинялось в попустительстве и весьма прозрачно намекалось, что Австрия не должна оставлять без возмездия смерть своего — якобы столь любимого — наследника трона. Нельзя было отделаться от впечатления, что открыто готовится какая-то акция, но никто не помышлял о войне. Ни банки, ни предприятия, ни отдельные люди не изменили свои планы. Что нам до этих вечных распрей с Сербией, которые, как мы знали, в принципе возникли из-за нескольких торговых договоров, связанных с экспортом сербской свинины? Чемоданы были сложены для поездки к Верхарну в Бельгию, работа моя далеко продвинулась; что общего может иметь мертвый эрцгерцог в своем саркофаге с моей жизнью?

Лето было прекрасное и обещало стать еще прекраснее; мы все беспечно смотрели в будущее. Помню, как накануне отъезда я шел в Бадене с одним приятелем через виноградники и старый виноградарь сказал нам: «Такого лета, как это, давно уже мы не видели. Если оно простоит таким же, вино мы получим как никогда. Это лето люди запомнят надолго!»

Но он не знал, старый человек в своей голубой куртке винодела, какое страшное предсказание содержали его слова.

* * *

И в Ле-Коке, маленьком приморском курорте близ Остенде, где я хотел провести две недели, прежде чем, как и ежегодно, погостить в маленьком загородном доме Верхарна, царила та же беззаботность. Отпускники лежали на берегу под цветными тентами или купались, дети запускали воздушных змеев. Молодежь танцевала перед кафетериями на набережной.

Здесь мирно собирались представители самых разных наций, особенно часто звучала немецкая речь, ибо из года в год соседняя страна на Рейне охотнее всего посылала своих курортников на бельгийское побережье.

Единственное беспокойство доставляли разносчики газет — мальчишки, которые, желая поскорее их распродать, громко выкрикивали угрожающие заголовки парижских выпусков: «L'Autriche provoque la Russie», «L'Allemagne prépare la mobilisation»*. Было видно, как омрачались лица людей, когда они покупали газеты, но омрачались лишь на несколько минут. В конце концов, эти дипломатические конфликты были известны всем не первый год, но каждый раз в последний момент, прежде чем дело доходило до развязки, они счастливо улаживались. Так отчего же и на этот раз должно произойти иначе? Полчаса спустя эти люди уже снова, фыркая от удовольствия, плескались в воде, взмывали воздушные змеи, парили чайки, и солнце улыбалось светло и тепло над мирной страной.

Но скверные известия нагромождались и становились все более угрожающими. Сначала австрийский ультиматум Сербии, уклончивый ответ на него, обмен телеграммами между монархами, и наконец почти не скрываемые мобилизации. Мне было больше не усидеть в этом крохотном отдаленном местечке. По небольшой электрифицированной дороге я каждый день приезжал в Остенде, чтобы быть поближе к новостям; а они становились все более дурными. Еще купались люди, еще были полны гостиницы, по набережной еще толпами прогуливались смеющиеся, болтающие курортники. Между тем сюда вторглось уже нечто новое. На побережье вдруг появились бельгийские солдаты (где их обычно никогда не было); пулеметы — забавная особенность бельгийской армии — на маленьких тележках везли собаки.

Я сидел в кафе с несколькими бельгийскими друзьями,

*Австрия провоцирует Россию, Германия готовится к мобилизации (фр.).

молодым художником и поэтом Кроммелинком. Послеобеденное время мы провели у Джеймса Энсора, крупнейшего современного художника Бельгии, весьма странного отшельника, гораздо больше гордившегося маленькими, плохими польками и вальсами, которые он сочинял для военных оркестров, чем своими фантастическими, написанными мерцающими красками полотнами. Картины свои он показывал нам довольно неохотно, ибо, как это ни смешно, его угнетала мысль, что кому-то захочется купить одну из них. А он мечтал, как потом рассказывали, смеясь, мне друзья, продать их подороже, но в то же время и сохранить все у себя, ибо к своим картинам был привязан ничуть не меньше, чем к деньгам. Каждый раз, продав какую-нибудь из них, он несколько дней пребывал в полном отчаянии. Странными своими причудами этот гениальный Гарпагон развеселил нас; и, когда мимо снова потянулось такое вот войско с пулеметами, запряженными собаками, один из нас встал и погладил собаку, ужасно прогневив сопровождавшего офицера, который испугался, что, лаская военный объект, можно нанести урон престижу всей армии.

«К чему весь этот дурацкий маскарад?» — проворчал кто-то из друзей. Но другой взволнованно возразил: «Надо же принимать соответствующие меры на случай нападения немцев». «Исключено! — сказал я с искренней убежденностью, ибо в то старое время еще верили в святость договоров. — Если чему и суждено случиться, и немцы и французы уничтожат друг друга до последнего человека, то вы, бельгийцы, все равно выйдете из воды сухими!» Но наш пессимист не унимался. Это необходимо, твердил он, раз в Бельгии принимают подобные меры. Уже несколько лет ходили слухи о каком-то тайном плане германского генерального штаба в случае войны вторгнуться во Францию через Бельгию, несмотря на все подписанные договоры. Но я тоже не сдавался. Мне казалось совершенно абсурдным, что в то время, как тысячи и десятки тысяч немцев беспечно и радостно наслаждаются гостеприимством этой маленькой нейтральной страны, на границе может

стоять готовая к нападению армия. «Чепуха! — сказал я. — Вы можете повесить меня на этом фонаре, если немцы войдут в Бельгию!» Я и поныне должен благодарить моих друзей, что они не приняли мое пари.

А затем наступили последние, самые критические дни июля: каждый час — новое противоречивое известие, телеграммы кайзера Вильгельма царю, телеграммы царя кайзеру Вильгельму, объявление Австрией войны Сербии, убийство Жореса. Чувствовалось, что дело серьезно. Разом по побережью задул холодный ветер страха и подмел его начисто. Люди тысячами покидали гостиницы, беря штурмом поезда, даже неисправимые оптимисты начали срочно складывать чемоданы. И я тоже, едва услышав о том, что Австрия объявила войну Сербии, запасся билетом — и вовремя, ибо тот остендский экспресс стал последним поездом, ушедшим из Бельгии в Германию.

Мы стояли в проходах, взволнованные и полные нетерпения, все говорили наперебой. Никто не в состоянии был спокойно сидеть или читать, на каждой станции устремлялись наружу, чтобы скорее узнать новости, в глубине души надеясь, что чья-то решительная рука еще сможет сдержать освободившийся от пут рок. Все еще не верили в войну, а еще менее — во вторжение в Бельгию, не могли в это поверить, потому что не хотели верить в подобное безумство. Поезд медленно подходил к границе, мы миновали Вервир, бельгийскую пограничную станцию. Немецкие проводники поднялись в вагоны, через десять минут мы должны были быть на немецкой земле.

Но на полпути к Гербесталю, первой немецкой станции, поезд вдруг остановился в открытом поле. Мы столпились в проходах у окон. Что случилось? И тут я в темноте увидел, как один за другим идут встречные товарные поезда, открытые платформы, на которых под брезентом угадывались грозные силуэты пушек. У меня остановилось сердце. Это, должно быть, передовой отряд германской армии. Но, возможно, ус-

покаивал я себя, это всего лишь мера предосторожности, только угроза мобилизацией, а не сама мобилизация. Чем больше опасность, тем безграничнее и надежда. Наконец дали сигнал «путь свободен», поезд пошел дальше и прибыл на станцию Гербесталь. Одним прыжком я соскочил с подножки, чтобы скорее раздобыть газету и что-нибудь выяснить. Но вокзал был занят военными. Когда я попытался войти в зал ожидания, то дорогу перед закрытой дверью мне преградил служащий, седобородый и строгий: вход в вокзальное помещение воспрещен. Но за тщательно занавешенными стеклянными дверями я уже слышал тихое дребезжание и позвякивание сабель, глухой стук прикладов. Сомнений не было: невероятное уже шло полным ходом — германское вторжение в Бельгию вопреки всем международным договорам. Содрогаясь, я поднялся в вагон, чтобы ехать дальше, в Австрию. Теперь уже было бесспорно: да, я ехал навстречу войне.

* * *

Утром в Австрии! На каждой станции расклеены объявления, возвещавшие о всеобщей мобилизации. Поезда заполнялись призывниками, развевались знамена, гремела музыка, вся Вена была словно в угаре. Первый испуг от войны, которой никто не хотел: ни народ, ни правительства, — той войны, которая у дипломатов, ею игравших и блефовавших, против их собственной воли выскользнула из неловких рук, перешел в неожиданный энтузиазм. На улицах возникали шествия, повсюду вдруг поплыли знамена, ленты, музыка, ликуя, маршировали новобранцы, и лица их сияли, потому что восторженно приветствовали именно их, самых обыкновенных людей, которых обычно никто не замечает и не славит.

Правды ради надо признать, что в этом первом движении масс было нечто величественное, нечто захватывающее и даже соблазнительное, чему лишь с трудом можно было не поддаться. И несмотря на всю ненависть и отвращение к войне, мне не хотелось бы, чтобы из моей памяти ушли воспоминания об этих днях. Как никогда, тысячи и сотни тысяч людей чув-

ствовали то, что им надлежало бы чувствовать скорее в мирное время: что они составляют единое целое. Город в два миллиона, страна в почти пятьдесят миллионов считали в этот час, что переживают исторический момент, неповторимое мгновение и что каждый призван ввергнуть свое крохотное «я» в эту воспламененную массу, чтобы очиститься от всякого себялюбия.

Все различия сословий, языков, классов, религий были затоплены в это одно мгновение выплеснувшимся чувством братства. Незнакомые заговаривали друг с другом на улице, люди, годами избегавшие друг друга, пожимали руки, повсюду были оживленные лица. Каждый в отдельности переживал возвеличивание собственного «я», он уже больше не был изолированным человеком, как раньше, он был растворен в массе, он был народ, и его личность — личность, которую обычно не замечали, — обрела значимость. Мелкий почтовый служащий, который в иное время с утра до вечера сортировал письма, сортировал непрерывно с понедельника до субботы, писарь или сапожник вдруг получили романтическую возможность: каждый мог стать героем; всякого, кто носил форму, остающиеся в тылу уже заранее величали именно этим романтическим словом, а женщины перевозносили их по-своему, признавали ту неведомую силу, которая подняла их над обыденностью; даже скорбящие матери, испытывающие страх женщины стыдились обнаружить свои более чем естественные чувства.

Но, может быть, в этом дурмане проявлялась еще более глубокая, более таинственная сила. Так мощно, так внезапно обрушилась волна прибоев на человечество, что она, выплеснувшись на берег, повлекла за собой и темные, подспудные, первобытные стремления и инстинкты человека — то, что Фрейд, глядя в суть вещей, называл «отвращением к культуре», стремлением вырваться однажды из буржуазного мира законов и параграфов и дать выход древним инстинктам крови. Возможно, и эти темные силы способствовали тому дикому

упоению, в котором было смешано все: самоотверженность и опьянение, авантюризм и чистая доверчивость, древняя магия знамен и патриотических речей, — тому зловещему, едва ли передаваемому словами упоению миллионов, которое в какое-то мгновение дало яростный и чуть ли не главный толчок к величайшему преступлению нашего времени.

Нынешнее поколение, ставшее свидетелем начала только второй мировой войны, возможно, спрашивает себя: почему *мы* не пережили подобное? Почему в 1939 году массы больше не всколыхнулись в таком же воодушевлении, как в 1914-м? Почему они просто подчинились приказу — беспрекословно, молчаливо и обреченно? Разве здесь было не то же самое, разве речь не шла о вещах даже более важных, более святых, более высоких в этой современной нам войне, которая стала войной идей, а не просто войной за границы и колонии?

Ответ прост: потому что наш мир 1939 года уже не имел былой, по-детски наивной легковёрности, как тот — 1914 года. Тогда народ еще слепо доверял своим авторитетам; никто в Австрии не отважился бы подумать, что повсюду почитаемый отец страны император Франц Иосиф на двадцать четвертом году своего правления мог призвать свой народ без крайней на то необходимости, потребовать кровавых жертв, если бы империи не угрожали злые, коварные, преступные враги. Немцы, в свою очередь, прочитали телеграммы их кайзера к царю, в которых он ратовал за мир; благоговейное почитание «старших» начальников, министров, дипломатов, их пронизательности и честности было еще в крови маленького человека. Если уж дело дошло до войны, то это могло случиться лишь против воли их государственных деятелей: они не виноваты ни в чем, никто во всей стране не несет ни малейшей вины.

Следовательно, преступники, поджигатели войны должны были быть по ту сторону, в другой стране: мы вынуждены защищаться от подлого и коварного врага, который без всякой причины «напал» на мирную Австрию и Германию.

В 1939 году, напротив, эта почти религиозная вера в честность или по меньшей мере в особые достоинства собственного правительства исчезла во всей Европе. Дипломатию презирали с той поры, когда с горечью убедились, что в Версале она не использовала возможность достижения длительного мира; народы слишком хорошо помнили, как бессовестно их обманули обещаниями разоружения и устранения тайной дипломатии. В принципе в 1939 году ни одному государственному деятелю не было доверия и никто легкомысленно не вверял им свою судьбу. Самый последний французский мусорщик издевался над Даладье, в Англии со времен Мюнхена — «peace for our time!»* — исчезло всякое доверие к идеям Чемберлена о мире, в Италии, в Германии массы со страхом смотрели на Муссолини и Гитлера: куда он нас снова погонит? Ведь отсидеться было невозможно: речь шла об отечестве — и солдаты брали винтовку, а женщины расставались со своими детьми, но теперь уже без былой непреклонной веры, что жертва необходима. Повиновались, но не ликовали. Шли на фронт, но больше не мечтали стать героями; уже и народы, и отдельные люди осознали, что они всего лишь жертвы либо самой заурядной политической глупости, либо непостижимой и злой силы рока.

И потом, что знали в 1914 году о войне после почти полувекowego мира широкие массы? Они ее не видели, они навряд ли когда-нибудь думали о ней. Она была легендой, и именно отдаленность сделала ее героической и романтической. Люди все еще представляли себе ее по школьным хрестоматиям и картинам в галереях: стремительные атаки кавалеристов в красочных мундирах; если уж смерть, то от пули прямо в сердце, вся военная кампания — сплошной победный марш.

«На Рождество мы будем дома», — со смехом кричали в августе 1914 года своим матерям новобранцы. Кто в деревне и городе помнил еще о «настоящей» войне? В лучшем случае несколько стариков, которые в 1866 году воевали с Пруссией,

* Мир нашему времени! (англ.)

ныншним союзником, да и война была скоротечной, почти бескровной, давней, поход на три недели без особых жертв, даже устать не успели. Стремительная вылазка в романтику, дерзкое мужское приключение — так рисовалась война 1914 года простому человеку; молодые люди даже искренне опасались, что могут пропустить столь волнующее приключение, поэтому они пылко припадали к знаменам, поэтому ликовали и пели в поездах, которые везли их на бойню; бурно и судорожно устремлялась красная кровавая река по венам всей империи.

А поколение 1939 года с войной было уже знакомо. Оно уже не обманывалось. Оно знало, что война — это не романтика, а варварство. Что длится она годы и годы, это непоправимое зло жизни. Оно знало, что не разряженными дубовыми венками и пестрыми лентами они устремятся в атаку на врага, а неделями будут прозябать в окопах или казармах, что могут быть разорваны и изувечены на расстоянии, ни разу не глянув врагу в глаза. Заранее знали из газет и фильмов о новых чудовищных технических способах уничтожения, знали, что любая война 1939 года из-за ее бездушной механизации будет в тысячу раз более подлой, более жестокой и более бесчеловечной, чем все прежние войны человечества.

Никто из поколения 1939 года не верил больше в благословенную Господом справедливость войны, и больше того: уже не верили даже в справедливость и продолжительность мира, который она должна была принести. Ибо слишком хорошо еще помнили все разочарования, которые принесла последняя: обнищание вместо обогащения, ожесточение вместо удовлетворения, голод, инфляцию, мятежи, потерю гражданских свобод, закабаление государством, выматывающую нервы неуверенность, недоверие всех ко всем.

В этом состояло различие. Война 1939 года имела духовный смысл, речь шла о свободе, о сохранении моральных ценностей; а борьба за идею делает человека твердым и решительным. Войне 1914 года, напротив, неведомо было истинное

положение вещей, она служила химере, иллюзии о лучшем, более справедливом, более безмятежном мире. А лишь иллюзия, незнание делает счастливым. Поэтому опьяненными, бурно выражая свою радость, шли тогда навстречу бойне жертвы, украшенные гирляндами цветов и с дубовой листвой на касках, и улицы бурлили и были освещены, как во время праздника.

* * *

То, что я сам не подвергся этому внезапному дурману патриотизма, я отношу отнюдь не за счет особой трезвости или зоркости, а опыта предшествующей своей жизни. Еще за два дня до того я был в «неприятельском стане» и тем самым мог убедиться, что жители Бельгии были такими же мирными и беспечными, как мои соотечественники. Кроме того, я слишком долго жил космополитично, чтобы вдруг, за одну ночь, возненавидеть целый мир, который был таким же моим, как и моя родина. Я уже многие годы не доверял политике и как раз в последнее время в бесчисленных разговорах с моими французскими и итальянскими друзьями обсуждал всю бессмыслицу войны. Я был, следовательно, определенным образом вакцинирован недоверием против инфекции патриотического воодушевления и подготовлен, насколько возможно, против первого приступа этой лихорадки, я был полон решимости отстаивать свое убеждение о необходимости целостности Европы вопреки братоубийственной войне, вызванной неумелыми дипломатами и хищными военными промышленниками.

В глубине души, таким образом, я уверенно чувствовал себя гражданином мира; труднее было избрать правильное поведение как гражданину государства. Хотя мне было уже тридцать два года, я до того не имел никаких воинских обязанностей, так как на всех освидетельствованиях признавался негодным, чему в свое время был чрезвычайно рад. Ибо, в первых, эта отставка сберегла мне год жизни, который пришлось бы убить на тупую муштру, кроме того, мне казалось

преступным анахронизмом — в двадцатом столетии упражняться в овладении орудиями умерщвления.

Самым верным для человека моих убеждений было бы объявить себя во время войны «conscientious objector»*, что в Австрии (в противоположность Англии) грозило самыми тяжелыми наказаниями и потребовало бы стойкости души настоящего мученика. Но моей натуре — я не стыжусь открыто признать этот недостаток — не свойственно героическое. Мне всегда было присуще во всех опасных ситуациях уклончивое поведение, и не только в этом случае я должен, возможно, принять обвинение в нерешительности, которое так часто предъявляли моему уважаемому учителю в другом столетии — Эразму Роттердамскому.

С другой стороны, в такое время относительно молодому человеку было невыносимо ждать, пока тебя не извлекут на свет Божий и не упекут в этакое место, где тебе будет совсем уж тошно. Поэтому я подыскивал занятие, которое приносило бы определенную пользу, но не отнимало бы без остатка все время, и то, что один из моих друзей был высшим офицером в военном архиве, помогло мне получить там место. Я должен был работать в библиотеке, где мог быть полезен своим знанием языков, или редактировать некоторые предназначенные для общественности материалы — деятельность, разумеется, не слишком доблестная, что я охотно признаю, но все же такая, которая мне лично показалась более подходящей, чем вонзать русскому крестьянину штык в кишки. Однако решающим было то обстоятельство, что у меня оставалось время после эгой не очень обременительной службы для той работы, которая была для меня в этой войне наиважнейшей: способствовать будущему взаимопониманию.

Более трудным оказалось мое положение среди моих венских друзей. Мало знавшие Европу, безоговорочно принимавшие лишь все немецкое, большинство наших поэтов считали,

* Стронником противоположных убеждений (*лат.*).

что поступают правильнее всего, усиливая воодушевление масс и поэтическими призывами или научными трудами подводя фундамент под мнимые достоинства войны. Почти все немецкие писатели, во главе с Гауптманом и Демелем, считали своим долгом, точно во времена древних германцев, расплять до иступления, по примеру бардов, атакующих воинов песнями и рунами. Дюжинами, словно ливень, лились стихи, в которых рифмовались «беды» и «победы», «сражемье» и «пораженье», «сметь» и «смерть». Торжественно клялись писатели, что никогда в будущем не будут иметь ничего общего ни с французами, ни с англичанами в области культуры, и даже больше: они буквально в одну ночь решили, что ни английской, ни французской культуры вообще никогда не существовало. Вся их культура ничтожна и ничего не стоит по сравнению с немецкой основательностью, немецким искусством и немецким характером.

Еще хуже обстояло с учеными. Философы не нашли ничего умнее, как объявить войну «железной купелью», которая благотворно воздействует на силы народа. Им на помощь спешили врачи, которые столь рьяно расхваливали свои протезы, что даже возникало желание ампутировать себе здоровую ногу и заменить ее таким вот искусственным штативом. Жрецы всех вероисповеданий тоже не желали оставаться в стороне и влились в общий хор; иногда казалось, что перед тобой беснующаяся толпа, хотя это были те же самые люди, чьим разумом, чьей творческой энергией, чьими поступками мы восхищались еще неделю, месяц тому назад.

Самым потрясающим в этом безумстве было, однако, то, что большинство этих людей были искренни. Многие слишком старые или немощные для воинской службы считали, что должны внести свой вклад. Всем, что они создали, они обязаны языку, а значит — народу. Таким образом, они желали служить своему народу словом и дать ему услышать то, что он желал слышать: что в этой борьбе правда только на его стороне, а неправда на другой, что Германия победит, а неприятель

потерпит позорное поражение, совершенно не подозревая, что тем самым они предают истинное назначение поэта — быть хранителем и защитником всего человеческого в человеке. Когда туман воодушевления рассеялся, некоторые, разумеется, вскоре ощутили на языке горький привкус своего собственного слова. Но в те первые месяцы больше всего слушали тех, кто драл глотку шибче других, а они голосили и горланили в диком хоре по ту и другую сторону.

Самым типичным, самым ошеломляющим примером такого неподдельного и в то же время безрассудного экстаза был для меня Лиссауэр. Я его хорошо знал. Он писал небольшие, немногословные, строгие стихи и при этом был добродушнейшим человеком, какого только можно себе представить. И по сей день помню, с каким трудом я сдержал улыбку, когда он пожаловал ко мне впервые. По его предельно сжатым, по-немецки крепким стихам я невольно представлял себе этого поэта стройным, подтянутым молодым человеком. Но вот в мою комнату вкатился круглый, как бочонок, добродушное лицо над двойным подбородком с ямочкой, коротышка, распираемый бьющими в нем ключом энтузиазмом и честолюбием, буквально захлебывающийся словами, одержимый стихами и исполненный решимости сокрушить любые силы, которые могли бы помешать ему опять и опять цитировать и читать свои вирши. При всем комизме его все же нельзя было не полюбить: он был добр, отзывчив и беспредельно предан своему искусству.

Он происходил из состоятельной немецкой семьи, учился в гимназии Фридриха Вильгельма в Берлине и был, возможно, самым прусским из всех ассимилировавшихся в Пруссии евреев, каких я знал. Он не говорил ни на каком другом языке, он никогда не выезжал за границу. Германия была для него миром, и чем больше немецкого было в чем-то, тем больше оно его вдохновляло. Йорк, и Лютер, и Штейн были его героями, война за освобождение Германии — его любимой темой, Бах — его музыкальным Богом; он играл его великолепно,

несмотря на свои маленькие, короткие, некрасивые, толстые пальцы. Никто не знал немецкую литературу лучше, никто более, чем он, не был влюблен в немецкий язык, более им очарован; как многие евреи, чьи семьи влились в немецкую культуру сравнительно недавно, он верил в Германию больше, чем самый ортодоксальный немец.

А когда разразилась война, первое, что он сделал, — поспешил в казармы, чтобы записаться добровольцем. И могу себе представить хохот фельдфебелей и ефрейторов, когда эта туча, пыхтя, взбиралась по лестнице. Они его тотчас отправили обратно. Лиссауэр был в отчаянии, тогда он решил служить Германии хотя бы стихами. Все, что сообщали немецкие газеты и оперативные сводки главного командования, для него было чистой правдой. На его страну напали, а самый ужасный преступник (совсем в духе инсценировки на Вильгельмштрассе) — это подлый лорд Грей, английский министр иностранных дел. Свое убеждение, что Англия — главный виновник в этой войне против Германии, он выразил в стихотворение «Гимн ненависти к Англии» — у меня его нет перед собой, — которое в суровых, немногословных, впечатляющих стихах поднимало ненависть до вечной клятвы никогда не простить Англии ее «преступления».

Роковым образом вскоре стало очевидным, как легко орудовать ненавистью (этот тучный одуроченный маленький еврей Лиссауэр предшествовал в этом Гитлеру). Стихотворение угодило словно бомба в склад с боеприпасами. Никогда, может быть, ни одно стихотворение — даже «Стража на Рейне» — не обошло с такой быстротой всю Германию, как этот пресловутый «Гимн ненависти к Англии». Кайзер был воодушевлен и удостоил Лиссауэра Красным орденом Орла, стихотворение перепечатали все газеты, в школах учителя читали его вслух детям, офицеры декламировали его перед строем солдат — до тех пор, пока каждый не выучил наизусть эту литанию ненависти. Но это было еще не все. Маленькое стихотворение, положенное на музыку и предназначенное для хора, исполня-

лось в театрах; среди семидесяти миллионов немцев вскоре не было ни одного человека, кто бы не знал «Гимн ненависти к Англии» от первой до последней строки, и вскоре — разумеется, с меньшим воодушевлением — его знал весь мир.

За одну ночь Эрнст Лиссауэр обрел самую громкую славу, какую обретал в этой войне поэт, — правда, славу, которая обожгла его, как Нессова одежда. Ибо едва война закончилась и дельцы снова пожелали торговать, а политики договориться друг с другом, было предпринято все возможное, чтобы отречься от этого стихотворения, которое призывало к вечной вражде с Англией. И чтобы свалить вину с себя, бедного «Ненависть-Лиссауэра» выставили на позор как единственного виновника безумной истерии, которую в действительности в 1914 году разделяли все от мала до велика. В 1919 году от него демонстративно отвернулся всякий, кто в 1914-м его восхвалял. Газеты больше не печатали его стихов; когда он появлялся среди собратьев по перу, наступала напряженная тишина. Впоследствии этот отверженный был изгнан Гитлером из Германии, к которой он был привязан всеми фибрами души, и умер забытым — трагическая жертва одного стихотворения, которое вознесло его так высоко лишь для того, чтобы затем так низко опустить и уничтожить.

* * *

Все они были подобны Лиссауэру. Они искренне полагали, что действуют честно, — поэты, профессора, эти неожиданные тогдашние патриоты; я не отрицаю этого. Но уже в самое ближайшее время стало очевидным, какое ужасное несчастье повлекло за собой восхваление ими войны и их оргии ненависти. Все воюющие народы и без того в 1914 году находились в состоянии крайнего возмущения, самые страшные слухи незамедлительно подтверждались, верили в самую абсурдную ложь. Сотни людей в Германии клялись, что собственными глазами незадолго до начала войны видели груженные золотом автомобили, которые направлялись из Франции в Россию;

сказки — которые всегда во время любой войны появляются на третий или четвертый день — о выколотых глазах и отрубленных руках заполнили газеты.

Да, они, те, кто, ничего не подозревая, передавали дальше подобную ложь, не ведали, что этот трюк с обвинением вражеских солдат во всех мыслимых жестокостях является таким же военным снаряжением, как боеприпасы и самолеты, и что он всегда, в любой войне, извлекается из арсеналов сразу же, в первые дни. Войну невозможно согласовать с разумом и справедливостью. Ей требуются взвинченные чувства, ей требуется порыв для соблюдения своих интересов и возбуждения ненависти к врагу.

Но в самой человеческой природе заложено, что сильные чувства невозможно поддерживать до бесконечности — ни в отдельном индивиде, ни в народе, — и это известно военной машине. Ей требуется поэтому искусственное разжигание страстей, постоянный «допинг», и служить этому кнуту — с чистой или запятнанной совестью, искренне или только следуя профессиональному долгу — должна интеллигенция, поэты, писатели, журналисты. Они ударили в барабан ненависти и били в него что есть мочи, пока у каждого нормального человека не лопались в ушах перепонки, не сжималось сердце. Почти все они — в Германии, во Франции, в Италии, в России, в Бельгии — покорно служили «военной пропаганде» и тем самым массовому психозу и массовой ненависти, вместо того чтобы это безумство преодолеть.

Последствия были губительные. В ту пору, когда пропаганда в мирное время еще не успела себя дискредитировать, люди, несмотря на нескончаемые разочарования, еще считали, что все, что напечатано, правда. И таким образом чистый, прекрасный, жертвенный энтузиазм первых дней постепенно превращался в оргию самых низменных и самых нелепых чувств.

Францию и Англию «завоевывали» в Вене и Берлине, на Рингштрассе и на Фридрихштрассе, что было значительно

проще. На магазинах должны были исчезнуть английские, французские надписи, даже монастырь «К ангельским девам» вынужден был переменить название, потому что народ негодовал, не подозревая, что «ангельские» предполагало ангелов, а не англосаксов. Наивные деловые люди наклеивали на конверты марки со словами «Господь, покарай Англию!», светские дамы клялись, что, пока живы, не вымолвят ни единого слова по-французски. Шекспир был изъят из немецкого театра, Моцарт и Вагнер — из французских, английских музыкальных залов, немецкие профессора объявляли Данте германцем, французские — Бетховена — бельгийцем, бездумно реквизируя духовное наследие из вражеских стран, как зерно или руду. Не довольствуясь тем, что ежедневно тысячи мирных граждан этих стран убивали друг друга на фронте, в тылах вражеских стран поносили и порочили взаимно их великих мертвецов, которые уже сотни лет тихо покоились в своих могилах.

Помешательство становилось все более диким. Кухарка, которая никогда не выезжала за пределы своего города и после школы никогда не открывала никакого атласа, верила, что Австрии не прожить без Зандшака (крохотное пограничное местечко в Боснии). Извозчики спорили на улице, какую контрибуцию наложат на Францию: пятьдесят миллиардов или сто, не представляя себе, что такое миллиард. Не было города или человека, которые бы не поддались этой ужасающей ненависти. Священники проповедовали с амвона, социал-демократы, которые за месяц до того заклеямили милитаризм как величайшее преступление, теперь витийствовали, где могли, еще больше других, чтобы не прослыть, по выражению кайзера Вильгельма, «странствующими подмастерьями без отечества». Это была война наивного (ничего не подозревавшего) поколения, и именно неподорванная вера народов в правоту своего дела стала величайшей опасностью.

Постепенно в эти первые недели войны 1914 года стало невозможным разумно разговаривать с кем бы то ни было. Самые миролюбивые, самые добродушные как одержимые жаждали крови. Друзья, которых я знал как убежденных индивидуалистов и даже идейных анархистов, буквально за ночь превратились в фанатичных патриотов, а из патриотов — в ненасытных аннексионистов. Каждый разговор заканчивался или глупой фразой, вроде «Кто не умеет ненавидеть, тот не умеет по-настоящему любить», или грубыми подозрениями. Давние приятели, с которыми я никогда не ссорился, довольно грубо заявляли, что я больше не австриец, мне следует перейти на сторону Франции или Бельгии. Да, они даже осторожно намекали, что подобный взгляд на войну как на преступление, собственно говоря, следовало бы довести до сведения властей, ибо «пораженцы» — красивое слово было изобретено как раз во Франции — самые тяжкие преступники против отечества.

Оставалось одно: замкнуться в себе и молчать, пока других лихорадит и в них бурлят страсти. Это было нелегко. Ибо даже в эмиграции — чего я отведал предостаточно — не так тяжело жить, как *одному* в своей стране. В Вене я отдалился от моих старых друзей, искать новых сейчас было не время. Только с Райнером Марией Рильке я иногда мог разговаривать со всей откровенностью. Его даже удалось пристроить в тихую заводь нашего военного архива, ибо было немислимо, чтобы он, с его сверхчувствительностью, у которого грязь, запах, шум вызывали неподдельную физическую дурноту, тоже сделался солдатом.

Не могу не улыбнуться, вспоминая его в форме. Как-то в мою дверь постучали. Нерешительно вошел солдат. В следующее мгновение я ахнул. Рильке — Райнер Мария Рильке — в военном облачении. Он выглядел таким трогательно-неловким, стесненным узким воротом формы, терялся от одной мысли, что должен, прищелкивая каблучками, отдавать честь каждому офицеру. А так как он, при своей неутомимой тяге к

совершенству, стремился и эти ничтожные формальности устава исполнять образцово, он находился в состоянии постоянной растерянности. «Я, — сказал он мне своим тихим голосом, — ненавижу военную форму еще с училища. Я думал, что навсегда избавился от нее. А теперь вот снова, почти в сорок лет!»

К счастью, нашлись люди, готовые прийти на помощь и защитить его, и благодаря доброжелательному медицинскому освидетельствованию его вскоре уволили вчистую. Он еще раз пришел в мою комнату, чтобы проститься — теперь уже снова в гражданском платье, — так и хочется сказать: им повезло — настолько непередаваемо бесшумно он всегда входил. Он хотел поблагодарить меня за то, что я через Роллана пытался спасти его библиотеку, конфискованную в Париже. Впервые он уже не выглядел молодым, казалось, будто думы об ужасах войны иссушили его. «За границу, — сказал он, — если бы только можно было за границу! Война — всегда тюрьма». И он ушел. А я снова остался совсем один.

Через несколько недель я, решившись не поддаться этому опасному массовому психозу, перебрался в деревенское предместье, чтобы в разгар войны начать мою личную войну: борьбу против того, чтобы разум был предан временному безумию толпы.

БОРЬБА ЗА ДУХОВНОЕ БРАТСТВО

Уединение само по себе помочь не могло. Обстановка оставалась удручающей. И вследствие этого я сделал вывод, что одного пассивного поведения, неучастия в этом разгуле поношения противника недостаточно. В конце концов, писатель для того и владеет словом, чтобы даже в условиях цензуры все же суметь выразить свои взгляды. И я попытался. Написал статью, озаглавленную «Зарубежным друзьям», где, прямо и резко отмежевавшись от фанфар ненависти, призвал даже при отсутствии связи хранить верность всем друзьям за границей, чтобы потом при первой возможности вместе с ними способст-

воватъ возрожденію европейской культуры. Я отправил ее в самую популярную немецкую газету. К моему удивленію, «Берлинер тагеблатт», не колеблясь, напечатала ее без всяких искаженій. Лишь одно-единственное место — «кому бы ни довелось победить» — стало жертвой цензуры, поскольку даже малейшее сомнѣніе в том, что именно Германия выйдет победителем из этой мировой войны, было в ту пору крамольно. Но и с такой поправкой эта статья вызвала немало негодующих писемъ сверхпатриотов: они не понимали, как это в такое время можно иметь что-то общее с нашими вероломными врагами. Меня это не очень-то задевало. За всю свою жизнь я никогда не пытался обращать другихъ людей в свою веру. Мне достаточно было того, что я мог исповѣдовать ее, и исповѣдовать ее гласно.

Две недели спустя, когда я уже почти забыл об этой статьѣ, я обнаружилъ отмеченное штемпелемъ цензуры письмо со швейцарской маркой, и по хорошо знакомому почерку сразу же узналъ руку Ромена Роллана. Он, вероятно, прочел статью, поскольку писалъ: «Non, je ne quitterai jamais mes amis»*. Я сразу же понялъ, что эти несколько строкъ — попытка прошупать, возможна ли в условіях войны переписка с австрийскимъ другомъ. Я тотчасъ отвѣтилъ ему. С тех пор мы писали друг другу регулярно, и эта наша переписка продолжалась затемъ свыше двадцати пяти летъ, пока вторая мировая война — еще более бесчеловечная, чем первая, — не прервала всякую связь между странами.

Это письмо — один из счастливейшихъ моментовъ моей жизни: словно бѣлый голубь, прибыло оно с ковчега рычащего, топчущего, свирепого зверья. Теперь я не чувствовалъ себя одинокимъ, я вновь — наконецъ — былъ связанъ с единомышленниками. Духовные силы Роллана, превосходящіе мои, сделали и меня более сильнымъ. Ибо и черезъ границы я зналъ, какъ замечательно Ролланъ проявляетъ на деле свою человечность.

Он нашелъ единственно правильный путь, который в подо-

* Нет, я никогда не покину своихъ друзей (фр.).

бные времена обязан избирать для себя художник: не участвовать в разрушении, убийстве, а — следуя прекрасному примеру Уолта Уитмена, который был санитаром во время Гражданской войны в США, — содействовать оказанию помощи и милосердию. Живя в Швейцарии, в Женеве, где он оказался, когда разразилась война, и освобожденный по состоянию здоровья от всякой воинской обязанности, Роллан сразу же отдается работе в Красном Кресте и изо дня в день в переполненных помещениях работает над поразительным произведением, за которое я позднее попытался во всеуслышание высказать ему благодарность статьей «Сердце Европы».

После кровопролитных сражений первых недель всякая связь была прервана, в воюющих странах родные не знали, погиб ли их сын, брат, отец, только пропал без вести или попал в плен и где об этом узнать, поскольку на получение известий от «врага» надеяться было нечего. И Красный Крест взял на себя задачу посреди всех этих ужасов и жестокосердия снять с людей хотя бы самое жестокое страдание: мучительную, как пытка, неизвестность о судьбах любимых людей, переправляя из враждующих стран письма пленных на родину.

Разумеется, созданная за десятилетия до того организация не была рассчитана на такие масштабы, исчисляемые в миллионах; ежедневно, ежечасно число добровольных помощников должно было расти, ибо каждый час мучительного ожидания для родных означал вечность. В конце 1914 года каждый день приносил уже тридцать тысяч писем; в результате в тесном Musée-Rath* в Женеве теснились тысяча двести человек, чтобы обработать ежедневную почту и на нее ответить. И тут же среди них трудился, вместо того чтобы эгоистично заниматься исключительно своим литературным делом, самый человечный среди писателей — Ромен Роллан.

Но он не забывал и о другом своем долге — долге художника — высказать свои убеждения, даже если они войдут в противоречие с господствующим в его стране настроением, да и с

*Музей живописи (фр.).

настроением всего ведущего войну мира. Уже осенью 1914 года, когда большинство писателей старались превзойти друг друга оскорблениями, он написал ту памятную исповедь «Над схваткой», в которой, выступив против духовной вражды между народами, требовал от художника справедливости и человечности даже в разгар войны, — ту работу, которая, как никакая другая в то время, вызвала полемику и повлекла за собой целую литературу «за» и «против».

Ибо это положительно отличало первую мировую войну от второй: слово тогда еще имело силу. Оно еще не было забито насмерть организованной ложью, «пропагандой», люди внимали печатному слову, они ловили его. В то время как в 1939 году ни одно выступление поэта ни с добрыми, ни со злыми помыслами не оказало ни малейшего воздействия, как и по сей день ни одна книга, брошюра, статья, стихотворение не затронули самое сокровенное в массах или хотя бы повлияли на сознание, в 1914 году стихотворение в четырнадцать строк, подобное «Гимну ненависти» Лиссауэра или недалекому заявлению «93 представителей немецкой интеллигенции», а с другой стороны, такая статья в восемь страниц, как «Над схваткой» Роллана, такой роман, как «Огонь» Барбюса, способны были стать событием. Моральная совесть мира не была еще истощена и выхолощена, как сегодня, она моментально откликалась на любую явную ложь, на всякое нарушение прав народов и гуманности всей силой многовековой убежденности.

Нарушение международного права, подобное вторжению войск Германии в нейтральную Бельгию, которое ныне, когда Гитлер возвел ложь в порядок вещей, а антигуманность в закон, едва ли осуждается всерьез, в ту пору могло еще всколыхнуть мир от края до края. Расстрел сестры милосердия Кэвелл, торпедирование «Лузитании» имели для Германии, в связи со вспышкой всеобщего и единодушного возмущения, более тяжкие последствия, чем проигранное сражение.

Голос поэта, голос писателя не были голосами вопиющего в пустыне в то время, когда слух и душа еще не были затопле-

ны беспрестанно переливающимися из пустого в порожнее радиоволнами; напротив: стихийное выступление большого поэта оказывало в тысячу раз большее воздействие, чем все официальные речи государственных мужей, о которых было известно, что как тактики и политики они ведут себя соответственно текущему моменту и в лучшем случае довольствуются лишь полуправдой. Вот почему к поэту как к достойному примеру гражданина с чистой совестью то поколение — позднее столь разочарованное — относилось с гораздо большим доверием.

И, зная об этом авторитете поэтов, армия и государственные учреждения пытались вовлечь в свою подстрекательскую деятельность всех лучших представителей интеллигенции: они должны были разьяснять, доказывать, подтверждать, клятвенно свидетельствовать, что вся несправедливость, все зло гнездятся на той стороне, вся справедливость, вся правда присущи лишь их народу. С Ролланом им это не удалось. Он видел свою задачу не в том, чтобы еще более сгущать и без того душную от ненависти, перенасыщенную всеми подстрекательскими средствами атмосферу, а напротив — очищать ее.

Кто сегодня перечитает восемь страниц этой знаменитой статьи «Над схваткой», не сможет, вероятно, уже представить неизмеримое ее воздействие; все, что утверждал в ней Роллан, если читать не по горячим следам, есть не более чем самая обыденная обыденность. Но эти слова прозвучали в пору массового духовного помешательства, которое сегодня едва ли возможно представить.

Когда появилась эта статья, французские сверхпатриоты истошно завопили, словно по недосмотру схватились за раскаленное железо. Уже на следующее утро от Роллана отвернулись его старшие коллеги, книготорговцы не отваживались больше выставлять в витринах «Жана-Кристофа», военные власти, нуждавшиеся для подбадривания солдат в ненависти, вынашивали уже меры против него, одна за другой появлялись брошюры с аргументацией: «Ce qu'on donne pendant la guerre

à l'humanité est volé a là patrie»*. Но как всегда, вопли лишь подтверждали, что удар попал в самую точку. Дискуссию о поведении в условиях войны способного мыслить человека нельзя было больше сдерживать, проблема неотвратимо была поставлена перед каждым.

* * *

Ничто в этих моих воспоминаниях не вызывает во мне большего сожаления, чем то, что мне недоступны письма Роллана тех лет; мысль о том, что в этом новом всемирном потоке они могут быть уничтожены, гложет меня, словно чувство вины. Ибо, как бы сильно я ни любил его книги, я более чем уверен, что впоследствии именно письма будут считать самым прекрасным и гуманным, что создано его большим сердцем и его страстным разумом. Написанные в безграничном потрясении сострадающей души, в состоянии горького бессилия другу по ту сторону границы, следовательно, официально «врагу», они представляют собой, возможно, самые впечатляющие духовные свидетельства времени, когда взаимопонимание требовало невероятного напряжения сил, а верность собственным убеждениям — колоссального мужества.

В этой нашей дружеской переписке выкристаллизовалась позитивная инициатива: Роллан предлагал попытаться пригласить в Швейцарию виднейших деятелей культуры всех народов на всеобщую конференцию, чтобы прийти к единой и более приемлемой линии поведения, а при возможности даже обратиться к мировой общественности с призывом добиваться взаимопонимания. Находясь в Швейцарии, он хотел взять на себя приглашение французских и иностранных деятелей культуры, я из Австрии должен был прозондировать тех наших немецких писателей и ученых, которые еще не скомпрометировали себя публичной пропагандой ненависти.

Я тотчас взялся за дело. Крупнейшим и самым именитым

*То, что дают во время войны человечеству, украдено у родины (фр.).

немецким писателем был тогда Герхарт Гауптман. Чтобы облегчить ему согласие или отказ, я не стал обращаться к нему прямо. Поэтому я написал нашему общему другу Вальтеру Ратенау, чтобы тот доверительно переговорил с Гауптманом. Ратенау отказался — с ведома Гауптмана или без оного, я так и не узнал: сейчас, дескать, еще не то время, чтобы устанавливать духовный мир. На том, собственно, все и кончилось, ибо Томас Манн в то время находился в другом лагере и только что в статье о Фридрихе Великом поддержал официальную позицию Германии; Рильке, о котором я знал, что он на нашей стороне, принципиально отказался от всякой публичной и совместной акции; Демель, бывший социалист, подписывал свои письма с мальчишеской патриотической гордостью как «лейтенант Демель», что же касается Гофмансталя и Якоба Вассермана, то личные встречи убедили меня, что на них нечего рассчитывать. Таким образом, с немецкой стороны надеяться особо было не на кого; и у Роллана во Франции дела шли немногим лучше. В 1914—1915 годах было слишком рано: для тех, кто находился в тылу, война была еще слишком далека. Мы оставались в одиночестве.

Одни, и все-таки не совсем одни. Кое-чего мы уже добились благодаря нашей переписке: определился тот предположительный круг людей, на которых, мы знали, можно было рассчитывать и которые в нейтральных или ведущих войну странах думали так же, как мы; мы обращали внимание на книги, статьи, брошюры друг друга, был обеспечен некий центр притяжения, к которому — сначала колеблясь, но затем все увереннее, под все более ощутимым давлением времени — прибавлялись новые элементы. Сознание того, что находишься не в абсолютном вакууме, придавало мне силы чаще писать статьи, чтобы по ответам и откликам открывать всех тех разобщенных и затаившихся сочувствующих нам. Во всяком случае, я мог воспользоваться крупнейшими газетами Германии и Австрии и тем самым — важной сферой влияния; особого противодействия со стороны властей можно было не опасаться, так как я никогда не вторгался в текущую политику.

Под влиянием либерального духа уважение к литературе было еще очень велико, и когда я перечитываю статьи, которые мне в ту пору удалось контрабандно протащить в печать для самой широкой общественности, то не могу отказать австрийским военным чиновникам в уважении за их великодушие; я мог снова в разгар мировой войны с воодушевлением прославлять основательницу пацифизма Берту фон Зутнер, которая заклеила войну как преступление из преступлений, и в австрийской газете подробно рассказать об «Огне» Барбюса.

Излагая самым широким кругам столь противоречащие военному времени мнения, мы должны были, разумеется, выработать определенную технику. Чтобы в статье об «Огне» рассказать об ужасах войны и безразличии тыла, в Австрии, конечно, приходилось акцентировать страдания французского пехотинца, но сотни писем с нашего фронта говорили мне, насколько хорошо осознавали свою собственную участь австрийцы. Или, чтобы изложить свои взгляды, мы избирали такое средство, как мнимые нападки друг на друга. Так, в «Меркюр де Франс» один из моих друзей полемизировал с моей статьей «Зарубежным друзьям»; но, перепечатав ее в переводе, якобы в запале полемики, всю до последнего слова, он благополучно контрабандно протащил ее во французскую прессу, так что каждый мог (как и было предусмотрено) прочитать ее там.

Подобные опознавательные знаки, словно мигающие сигналы, шли туда и обратно. Насколько хорошо понимали их те, для кого они были предназначены, показал мне позднее маленький эпизод. Когда в мае 1915 года Италия объявила войну Австрии, своему прежнему союзнику, у нас всколыхнулась волна ненависти. Осыпали бранью все итальянское. И тут случайно вышли в свет воспоминания молодого итальянца эпохи Рисорджименто, по имени Карл Поэрио, который рассказывал о своей встрече с Гёте. И чтобы в разгар этого всплеска ненависти показать, что итальянцы издавна имели прочные связи с нашей культурой, я преднамеренно написал

статью «Итальянец у Гёте», а так как книга предварялась статьей Бенедетто Кроче, то я воспользовался случаем, чтобы в нескольких словах выразить Кроче глубокое уважение.

Слова восхищения итальянцу в Австрии в то время, когда нельзя было признавать заслуги ни одного поэта или ученого вражеской страны, означали, само собой разумеется, явную демонстрацию, и ее понимали и за границей. Кроче, который в ту пору в Италии был министром, позднее рассказал мне однажды, как чиновник министерства, который немецкого сам не знал, несколько обескураженно сообщил ему, что в «главной» газете противника что-то напечатано против него (ибо представить себе, что упоминание может быть иным, не только враждебным, он просто не мог). Кроче потребовал «Нойе фрайе прессе», а затем на славу повеселился, вместо оскорблений обнаружив в ней выражение почтения.



Я отнюдь не склонен переоценивать эти маленькие, разрозненные попытки. Само собой, на ход событий они не оказали ни малейшего влияния. Но помогли нам самим — и некоторым безвестным читателям. Они ослабили ужасную отчужденность, внутреннее отчаяние, которое испытывал действительно по-человечески чувствующий человек двадцатого столетия, а сегодня, двадцать пять лет спустя, испытывает снова, столь же беспомощный перед превосходящей силой, и, боюсь, даже больше. Уже тогда я в полной мере осознавал, что не в состоянии свалить с себя этими маленькими протестами и уловками главное бремя; постепенно во мне начал созревать план книги, в которой я смог бы выразить не только частично, но и в целом все мое отношение ко времени и людям, к катастрофе и войне.

Но для изображения войны в художественном обобщении мне недоставало самого главного: я ее не видел. Уже почти год я сидел в надежном пристанище у своего бюро, а где-то в невидимой дали происходило «главное», подлинное, самое чу-

довищное. Возможность побывать на фронте предоставлялась мне много раз, трижды крупные газеты предлагали мне отправиться в действующую армию в качестве их корреспондента. Но всякий репортаж по заданию обязывал бы подавать войну в исключительно положительном и патриотическом духе, а я поклялся себе — обет, который я выдержал и в 1940 году, — никогда не писать ни слова, одобряющего войну или унижающего другой народ. Теперь же случайно представилась иная возможность.

В результате крупного австро-германского наступления 1915 года под Тарнувом русская линия обороны была прорвана, а одним массированным ударом были заняты Галиция и Польша. Военный архив тут же решил собрать для своей библиотеки оригиналы всех русских прокламаций и объявлений на оккупированной Австрией территории, прежде чем их сорут или уничтожат. Полковник, который случайно знал о моем увлечении коллекционера, поинтересовался, не хотел бы я заняться этим; я немедленно согласился, и мне было выдано удостоверение, так что я, не завися ни от каких местных властей и не подчиняясь какому-либо ведомству или начальству, мог следовать любым военным поездом и свободно передвигаться, куда захочу, что потом приводило к самым неожиданным результатам: ведь офицером я не был, а на моей фельдфебельской форме никаких особых знаков отличия не имелось. Когда я предъявлял мой таинственный документ, это вызывало особое уважение, ибо фронтовые офицеры и чиновники подозревали, что я, должно быть, какой-нибудь переодетый офицер генерального штаба или вообще выполняю сугубо секретное задание. Так как к тому же я избегал офицерского общества и останавливался исключительно в гостиницах, я сверх того получал преимущество находиться вне сложного военного механизма и без всякого «сопровождения» осматривать все, что захочу.

Основное мое поручение по сбору прокламаций не слишком обременяло меня. Всякий раз, когда я прибывал в какой-

нибудь из галицийских городов, в Тарнув, Дрогобыч, Лемберг, там на вокзале толкалось несколько евреев, так называемых «факторов», профессией которых было доставать все, чего только не пожелает клиент: достаточно было сказать одному из этих универсальных дельцов, что мне нужны прокламации и объявления периода власти русских, как фактор бежал, словно гончая, и передавал задание загадочными путями десяткам унтер-факторов; через три часа у меня, не сделавшего и шага, был материал во всей полноте.

Благодаря такой замечательной организации у меня оставалось время увидеть многое, и я многое увидел. Я видел прежде всего ужасающую нищету мирных жителей, в глазах которых застыл ужас пережитого. Я никогда не предполагал подобной нищеты у евреев гетто, которые ютились по восемь — двенадцать человек в подвалах или в помещениях на уровне земли.

И в первый раз я увидел «врага». В Тарнуве я натолкнулся на колонну пленных русских солдат. Они сидели на земле в большом квадрате, обнесенном забором, курили и переговаривались под охраной двух или трех десятков пожилых, в большинстве бородатых тирольских ополченцев, которые были так же оборванны и неухожены, как пленные, и очень мало походили на хорошо выбритых, в форме с иголки, подтянутых солдат, какими они же выглядели на фотографиях в наших иллюстрированных изданиях. Вид у охраны был далеко не воинственный и отнюдь не драконовский.

Пленные не выказывали ни малейшего намерения к бегству, а австрийские ополченцы ни малейшего желания нести охрану как полагается. Они мирно сидели с пленными, и как раз то, что они, не зная чужого языка, не могли понять друг друга, доставляло обеим сторонам исключительное веселье. Обменивались сигаретами, смеялись, глядя друг на друга. Вот тирольский ополченец достает из очень старого и потертого бумажника фотографии своей жены и своих детей и показывает их «врагам», которые те — один за другим — разгляды-

вают и спрашивают на пальцах, три или четыре года этому ребенку. У меня было непреодолимое чувство, что эти совсем простые люди воспринимают войну гораздо правильнее, чем наши университетские профессора и писатели, а именно как несчастье, которое на них обрушилось и от которого они никак не могли уберечься, и что каждый попавший в эту беду становился своего рода братом.

Понимание этого служило мне утешением на всем пути по разрушенным городам с разграбленными магазинами, мебель из которых валялась на улицах, как сломанные конечности и вывороченные внутренности. И возделанные поля между очагами войны вселяли в меня надежду, что через несколько лет все эти разрушения исчезнут. Разумеется, тогда я еще не мог предвидеть, что точно так же быстро, как следы войны с лица земли, исчезнут из памяти людей и ее ужасы.

По существу, с ужасами войны в первые дни я еще не сталкивался; их обличье превзошло затем мои худшие опасения. Так как регулярного пассажирского движения почти не было, я ездил на открытой артиллерийской платформе, сидя на передке пушки, и в одном из тех вагонов для скота, где люди, уставшие до смерти, спали в невероятном густом зловонии, вповалку, и, в то время как их везли на бойню, сами были подобны убойному скоту.

Но самым ужасным были санитарные поезда, которыми мне пришлось пользоваться дважды или трижды. Боже, как мало походили они на те хорошо освещенные, стерильные санитарные поезда, на фоне которых в начале войны в платье сестер милосердия фотографировались эрцгерцогини и благородные дамы! Те, что мне, содрогаясь, пришлось увидеть, состояли из обыкновенных товарных вагонов, с узкими щелями для воздуха вместо окон, освещенных внутри коптящими керосиновыми лампами. Рядами вплотную стояли примитивные нары, и все они были заняты стонущими, потными, мертвенно-бледными людьми, которые хрипели от недостатка воздуха и густого запаха экскрементов и йодоформа. Солда-

ты-санитары скорее бродили, чем ходили, — настолько были переутомлены; не было и следа от белоснежного постельного белья с тех фотографий. Прикрытые давно пропитанными кровью грубошерстными одеялами, люди лежали на соломе или жестких нарах, и в каждом таком вагоне среди стонущих и умирающих было уже по два или по три покойника.

Я разговаривал с врачом, который, как он мне признался, был, оказывается, стоматологом из маленького венгерского городка и уже много лет не имел хирургической практики. Он был в отчаянии. Он заранее телеграфировал на семь станций, сказал он мне, по поводу морфия. Все уже израсходовано, и у него не хватит даже ваты и свежих бинтов до будапештского госпиталя, который будет только через двадцать часов. Он попросил меня помочь ему, так как его люди падали от усталости. Я попытался, как мог, но сумел быть ему полезным лишь тем, что выбегал на каждой станции и помогал принести несколько ведер воды, плохой, грязной воды, предназначенной, собственно, только для локомотивов, но теперь даже эта вода была словно бальзам — необходима для мытья людей и пола от постоянно капающей на него крови.

Ко всему этому для солдат из самых разных стран, угодивших в этот гроб на колесах, прибавлялась еще одна особая трудность — из-за вавилонского смешения языков. Ни врач, ни санитары не знали славянских языков; единственным, кто здесь хоть как-то мог быть полезен, был седовласый священник, который — пребывая в таком же отчаянии, как врач из-за отсутствия морфия, — в свою очередь, взволнованно жаловался, что не может исполнять свой святой долг, ибо у него нет масла для последнего причастия. За всю свою жизнь он не причащал так много людей, как за этот последний месяц. И от него я услышал слова, которые никогда затем не забывал, произнесенные с жесткой, горькой интонацией: «Мне уже шестьдесят семь лет, и я многое видел. Но я считал невозможным подобное преступление человечества».

Тот санитарный поезд, которым я возвращался, прибыл в Будапешт ранним утром. Я тотчас поехал в гостиницу, чтобы первым делом выспаться; единственным местом для сидения в том поезде был мой чемодан. Переутомившись в пути, я проспал примерно до одиннадцати часов, затем быстро оделся, чтобы позавтракать. Но уже после нескольких первых шагов у меня возникло чувство, что мне следует протереть глаза, не снится ли мне все это. Стоял один из тех ясных дней, когда утром еще весна, а в полдень уже лето, и Будапешт был так красив и беспечен, как никогда. Женщины в белых платьях прогуливались под руку с офицерами, которые вдруг показались мне словно офицерами другой армии по сравнению с теми, которых я видел только позавчера, только вчера.

В одежде, во рту, в носу еще стоял запах йода из вчерашнего поезда с ранеными, а я видел, как они покупают букетики фиалок и галантно преподносят их дамам, как по улицам разъезжают шикарные автомобили с безукоризненно выбритыми и одетыми господами. И все это в восьми или десяти часах езды скорым поездом от фронта! Но имел ли я право обвинять этих людей? По существу, разве это не в порядке вещей, что они живут и хотят радоваться жизни? Что они, может быть, именно потому поспешно хватались за все — за несколько хороших платьев, за последние счастливые часы, — что чувствовали грозящую всему опасность! Именно увидев, какое хрупкое, легко разрушаемое существо — человек, у которого крохотный кусочек свинца за тысячную долю секунды может отнять без остатка жизнь со всеми ее воспоминаниями и волнениями, я понимал, что такой полдень собирал тысячи оживленных людей у сверкающей реки потому, что они, быть может, с возросшей силой жаждали видеть солнце, чувствовать свою плоть, собственную кровь, собственную жизнь.

Я почти уже примирился с тем, что сначала меня испугало. Но здесь, к несчастью, услужливый официант принес мне

венскую газету. Я попытался ее читать; и тут мной овладело отвращение, смешанное с яростью. В газете были напечатаны все эти фразы о нестигаемой воле к победе, о незначительных потерях наших войск и огромных — противника; она набросилась здесь на меня — наглая, огромная и бесстыжая ложь войны! Нет, виноваты не эти бесцельно и беззаботно прогуливающиеся здесь люди, но исключительно те, кто своим словом подстрекает к войне. Но виноваты и мы, раз не обратили против них наше слово.

* * *

Лишь теперь я получил настоящий импульс: надо воевать против войны! Внутренняя готовность созрела во мне, чтобы начать, недоставало лишь этого последнего, наглядного подтверждения моего предчувствия. Я распознал врага, против которого мне следовало бороться, — ложное геройство, охотно обрекающее на страдания и смерть других, дешевый оптимизм бессовестных пророков, как политических, так и военных, которые, безответственно предрекая победу, продлевают бойню, а за ними — хор, который они наняли, все эти «фразеры войны», как их окрестил Верфель в своем прекрасном стихотворении. Кто выражал сомнение, тот мешал им в их «патриотическом деле»; кто предостерегал, над тем они насмеялись как над пессимистом; кто выступал против войны, от которой они сами не страдали, тех они клеймили предателями.

Всякий раз и во все времена это была все та же свора, которая осторожных называла трусами, человеческих — хлюпиками, чтобы потом самим впасть в растерянность в час катастрофы, которую они с легким сердцем навлекли своими заклинаниями. Это была все та же свора, — та же, что насмеялась над Кассандрой в Трое, Иеремией в Иерусалиме, и никогда я не понимал трагизм и величие этих фигур так, как в эти слишком похожие часы.

С самого начала я не верил в «победу» и лишь одно знал наверняка: даже если ее можно добыть неисчислимыми жерт-

вами, она не оправдывает эти жертвы. Но среди моих друзей я с подобным предостережением всегда оставался один, а устрашающий победный клич до первого выстрела, дележ добычи до первого сражения заставляли меня часто сомневаться, в здравом ли рассудке я сам среди всех этих умников или же, наоборот, единственный трезвый человек посреди их разгула. Таким образом, для меня стало вполне естественным изображение в драматической форме моего собственного, трагического положения «пораженца» — это слово придумали, чтобы тем, кто стремился к пониманию, приписать стремление к поражению.

Я избрал в качестве символа фигуру Иереми, пророка. Однако руководствовался я отнюдь не желанием написать «пацифистскую» пьесу, воплотить в слово и стих азбучную истину, что мир лучше войны, а стремлением показать, что тот, кого презирают как слабого, трусливого в период воодушевления, в пору поражения по большей части оказывается единственным, кто выдерживает и преодолевает тяжесть этого поражения. С первой моей пьесы — «Герсит» — меня снова и снова занимала проблема духовного превосходства побежденного. Меня всегда привлекало изображение внутреннего очерствения, которое вызывает в человеке любая форма власти, духовное обнищание, которое влечет за собой всякая победа у целых народов, и этим силам противопоставить будоражащую, болезненно и безмерно бередящую душу силу поражения.

В разгар войны, в то время как другие, преждевременно ликуя, предрекали друг другу неминуемую победу, я уже бросился в самую глубокую пропасть катастрофы и искал из нее путь наверх. Эта драма стала первой из моих книг, которую я ценил. Теперь я знаю: без всего того, что я, сочувствуя и предчувствуя, выстрадал тогда, во время войны, я бы остался писателем, каким был до войны, «приятно-трогательным», как говорят о музыке, но никогда не берущим за живое, захватывающим, проникающим до самых глубин. Теперь, в первый раз, у меня было ощущение, что я говорю одновременно и от

своего имени, и от имени времени. Пытаясь помочь другим, я в ту пору помог и себе: моему самому личному, самому интимному произведению, наряду с «Эразмом», который помог мне преодолеть подобный кризис в 1934 году, в дни Гитлера. Работая над этими трагедиями, я уже не страдал так тяжело от трагедии времени.

В громкий успех этого произведения я не верил ни мгновения. Из-за соединения столь многих начал: пророческого, пацифистского, еврейского, — из-за хоральных форм заключительных сцен, которые выливаются в гимн побежденного своей судьбе, размер этой пьесы перерос обычный размер драмы в такой степени, что полная постановка потребовала бы, собственно, два, а то и три театральных вечера. К тому же — каким образом могла бы появиться на немецкой сцене пьеса, которая изображала поражение и даже прославляла его, в то время как газеты ежедневно трубили: «Победить или погибнуть!» Я должен был бы считать чудом, если бы книга увидела свет; но и на худой конец, если бы это не произошло, она должна была помочь мне самому пережить тяжелейшее время. В поэтическом диалоге я высказал все, о чем должен был умалчивать в разговорах с людьми. Я сбросил груз, который лежал у меня на душе, и стал самим собой; в тот час, когда все во мне было одним сплошным «нет» своему времени, я нашел «да» для самого себя.

В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ

Весной 1917 года, когда моя трагедия «Иеремия» вышла отдельной книгой, меня ожидал сюрприз. Я сознавал, что написал ее в самое неподходящее время и должен поэтому ожидать соответствующее неприятие. Но произошло как раз обратное. Двадцать тысяч экземпляров книги были распроданы мгновенно, цифра фантастическая для пьесы; не только единомышленники, например, Ромен Роллан, публично одобрили ее, но и те, кто до того разделяли, скорее, противоположные взгляды, например, Ратенау и Рихард Демель. Директора

театров, которым пьеса даже не предлагалась — о ее постановке в Германии в разгар войны нечего было и думать, — обращались ко мне с просьбой закрепить за ними право на ее первую постановку в мирное время; даже сторонники продолжения войны вели себя более сдержанно и почтительно. Я ожидал всего, только не этого.

Что случилось? Да ничего, кроме того, что война длилась уже целых два с половиной года: время подействовало отрезвляюще. После ужасного кровопролития на полях сражений возбуждение начало угасать. Люди смотрели в лицо войне уже поостывшими, более трезвыми, чем в первые месяцы воодушевления, глазами. Прежнего единодушия не было, ибо никто уже ни в малейшей степени не верил в великое «нравственное очищение», столь восторженно провозглашенное философами и поэтами. Единство народа дало глубокую трещину; страна словно распалась на две отдельные территории: впереди — территория солдат, которые сражались и испытывали ужасные лишения, позади — территория оставшихся в тылу, тех, кто продолжал жить беспечно, кто заполнял театры, да еще зарабатывал на бедствиях других.

Фронт и тыл размежевывались друг от друга все более резко. В двери учреждений в сотнях масок прокрался бесстыдный протекционизм; знали, что кое-кто с помощью денег или солидных связей получает прибыльные поставки, в то время как недобитую половину крестьян и рабочих вновь и вновь загоняют в окопы. Каждый поэтому без зазрения совестимышлял лишь о себе. Из-за беззастенчивой спекуляции предметы первой необходимости с каждым днем дорожали, все сильнее сказывалась нехватка продовольствия, а над серым болотом массовой нищеты фосфоресцировала, словно болотные огни, вызывающая роскошь нажившихся на войне.

Горькое разочарование начало постепенно охватывать население — разуверялись в деньгах, которые все больше обесценивались, в генералах, офицерах, дипломатах, исчезла вера в любые официальные сообщения правительства и гене-

рального штаба, было утрачено доверие к газетам с их сообщениями, к самой войне, вера в необходимость ее. Следовательно, причиной, обусловившей неожиданный успех моей книги, были не ее художественные достоинства — просто я высказал то, о чем другие открыто говорить не осмеливались: об отвращении к войне, о неверии в победу.

Воплотить подобный замысел в живом звучащем слове на сцене было, разумеется, невозможно. Это неизбежно вызвало бы недовольство, и я полагал, что мне придется отказаться от надежды увидеть постановку этой первой антивоенной пьесы во время войны. Но тут я неожиданно получаю от директора цюрихского городского театра известие о том, что он намерен немедленно поставить у себя моего «Иеремию» и приглашает меня на премьеру. Тогда я упустил из памяти, что еще существует — как и в этой, второй войне — один крохотный, но драгоценный кусочек немецкой земли, которому даровано благо держаться в стороне, — демократическая страна, где слово оставалось пока свободным, а разум непомятым. Само собой, я тотчас же согласился.

На этом этапе, разумеется, от меня требовалось лишь принципиальное согласие, ибо оно предполагало разрешение на какое-то время оставить службу и страну. Но, к счастью, во всех воюющих странах имелся — в эту вторую войну вообще не учрежденный — отдел, который назывался «Пропаганда культуры». Всегда, чтобы сделать понятной разницу в духовной атмосфере первой и второй мировых войн, необходимо указывать на то, что тогда страны, вожди, кайзеры, короли, воспитанные на традициях гуманизма, безотчетно еще стыдились войны. Одна страна за другой отвергали как гнусную клевету обвинение в «милитаризме», более того, каждая стремилась показать, доказать, объяснить, продемонстрировать, что является «культурной нацией». В 1914 году агитировали за мир, который культуру ставил бы выше насилия, а к пропагандистским лозунгам вроде «*sacro egoismo*»* и «жизненного

* Священный эгоизм (*лат.*).

пространства» относился бы с отвращением как к безнравственным; ничего не отстаивали более упорно, чем признание общечеловеческих духовных творений.

Во всех нейтральных странах поэтому культурная жизнь была ключом. Германия посылала свои оркестры под руководством всемирно известных дирижеров в Швейцарию, в Голландию, в Швецию; Вена — свой филармонический оркестр; направлялись даже поэты, писатели, ученые, и не для того, чтобы прославлять военные подвиги или восхвалять политику захвата, но единственно для того, чтобы своими стихами, своими произведениями доказать, что немцы — не «варвары» и создают не только огнеметы или высокоэффективные отравляющие вещества, но также подлинные и значимые для Европы ценности.

В те дедовские времена 1914—1918 годов — я вынужден снова и снова это подчеркивать — мировая совесть была еще фактором, с которым считались; творцы прекрасного, высоко-нравственная часть нации представляли собой еще силу, оказывавшую свое воздействие, правительства еще стремились завоевать симпатии народа, а не расправлялись с людьми, как Германия 1939 года, дубинками бесчеловечного террора. Таким образом, положительный ответ на мое прошение об отпуске в Швейцарию на премьеру пьесы был вполне возможен; в худшем случае трудности могли возникнуть из-за того, что речь шла об антивоенной пьесе, в которой австриец — пусть даже в символической форме — предвосхищал возможное поражение. Я обратился к начальнику отдела министерства и изложил ему мою просьбу. К моему вящему удивлению, он сразу же поддержал ее, причем с необычной мотивировкой: «Ведь вы, слава Богу, никогда не принадлежали к бездумным глашатаям войны. Вот и сделайте там все возможное, чтобы поскорее покончить с нею». Через четыре дня я получил отпуск и иностранный паспорт.

Я был до некоторой степени обескуражен тем, что так откровенно высказал один из высших чиновников австрийского министерства в разгар войны. Но не посвященный в тайные ходы политики, я не предполагал, что в 1917 году, при новом императоре Карле, в высших правительственных кругах уже исподволь началось движение против диктата германской военщины, которая кровожадно продолжала вести Австрию на поводу своего оголтелого аннексионизма. В нашем генеральном штабе возмущались высокомерием Людендорфа, в ведомстве иностранных дел решительно протестовали против неограниченной подводной войны, которая сделала нашим врагом Америку, даже народ роптал по поводу «пруссского зазнайства». Все это выражалось пока лишь в осторожных намеках да якобы ненароком оброненных словах. Но вскоре мне привелось узнать еще больше и раньше других неожиданно соприкоснуться с одной из самых важных в ту пору политических тайн.

А произошло это так: по пути в Швейцарию я на два дня остановился в Зальцбурге, где приобрел себе дом, намереваясь жить здесь после войны. В этом городе имелся узкий круг ревностных католиков, двоим из которых суждено было, став канцлерами, сыграть важную роль в послевоенной истории Австрии — Генриху Ламмашу и Игнацу Зейпелю. Первый был одним из самых выдающихся правоведов своего времени и на Гаагских конференциях занимал место в президиуме, другому, Игнацу Зейпелю, католическому священнику необычайной эрудиции, предназначено было взять в свои руки руководство урезанной Австрией после падения австрийской империи и на этом посту блистательно подтвердить свой политический талант. Оба они были решительные пацифисты, ортодоксальные католики и истинные патриоты Австрии и как таковые ненавидели германский, прусский, протестантский милитаризм, который они считали несовместимым с традиционными идеалами Австрии и ее католической миссией.

Моя драма «Исеремия» нашла в этих религиозно-пацифистских кругах самую горячую поддержку, и надворный советник Ламмаш — Зейпель тогда находился в отъезде — пригласил меня к себе в Зальцбурге. Благородный старый ученый очень сердечно говорил со мной о моей книге: она облекает в плоть и кровь нашу австрийскую идею терпимости, и он твердо верит, что ее влияние выйдет далеко за пределы литературы. И к моему изумлению, он поведал мне, человеку, которого видел впервые, с откровенностью, говорившей о его личной смелости, что мы в Австрии находимся перед решающим поворотом. После выхода из войны России ни для Германии, если та пожелает отказаться от своих агрессивных планов, ни для Австрии нет больше серьезных препятствий для мира; этот момент нельзя упускать. Если пангерманская клика в Германии и дальше будет сопротивляться переговорам, то Австрии следует взять инициативу в свои руки и действовать самостоятельно.

Он намекнул мне, что молодой император Карл одобрил эти планы; возможно, уже в ближайшем будущем станут заметны результаты его личной политики. Все теперь зависит от того, хватит ли у Австрии решимости на претворение в жизнь вместо «победного мира», которого требует, невзирая ни на какие жертвы, германская военная партия, «мира соглашательского». В крайнем случае Австрии, прежде чем германский милитаризм вовлечет ее в катастрофу, необходимо будет выйти из союза. «Никто не может обвинить нас в измене, — сказал он твердо и решительно. — У нас более миллиона погибших. С нашей стороны достаточно и дел и жертв! Отныне ни одной человеческой жизни, ни единой для германского мирового господства!»

У меня перехватило дыхание. Обо всем этом мы не раз думали про себя, но ни у кого не доставало мужества сказать прямо: «Вовремя отречемся от немцев и их политики аннексий», ибо такое высказывание могло быть расценено как «предательство братьев по оружию». А здесь это говорил человек, который, как мне было известно, в Австрии пользовался дове-

рием императора, а за рубежом, в связи с его деятельностью в Гааге, самым высоким авторитетом, — говорил мне, чуть ли не постороннему, и с таким спокойствием и решительностью, что я сразу почувствовал, что идея о сепаратных переговорах Австрии давно уже находится не на стадии подготовки, а проводится в жизнь.

Идея была смелой: склонить Германию к переговорам угрозами о сепаратном мире или же, если это не поможет, такую угрозу осуществить; история подтверждает, что то было единственной, последней возможностью, которая в то время могла бы спасти австрийскую империю, монархию и, возможно, Европу. К сожалению, для претворения этой идеи в жизнь недостало первоначальной решимости. Император Карл действительно направил к Клемансо брата своей жены, принца Пармского, чтобы, без согласования с берлинским двором, провести о возможности мира, а быть может, начать и сами переговоры. Каким образом об этой тайной миссии проведала Германия, думаю, еще не до конца выяснено; роковым образом у императора Карла не хватило мужества открыто отстаивать свою позицию, то ли из-за того — как утверждают некоторые, — что Германия угрожала военным вторжением в Австрию, то ли потому, что он, как один из Габсбургов, страшился нарушить клятву и в решающий момент расторгнуть заключенный Францем Иосифом и столь обильно скрепленный кровью союз.

Во всяком случае, на пост премьер-министра он призвал не Ламмаша или Зейпеля, католиков-интернационалистов, единственных, у кого достало бы духовных сил, следуя нравственным убеждениям, принять на себя «позор» откола от Германии, и это промедление императора Карла обернулось гибелью. Оба эти человека стали премьер-министрами уже в изувеченной австрийской республике, а не в старой империи Габсбургов, тогда же никто бы не был более способен отстоять перед миром эту мнимую несправедливость, чем эти значительные и авторитетные личности. Прямой угрозой разрыва

или самим разрывом Ламмаш спас бы не только существование Австрии, но и Германию от ее самой страшной беды — безудержного стремления к аннексии. Европа оказалась бы в лучшем положении, если бы план, о котором поведал мне тогда мудрый и глубоко религиозный человек, не был погублен инертностью и косностью.

* * *

На следующий день я продолжил свой путь и пересек швейцарскую границу. Трудно даже представить, что означал тогда переход из наглухо закрытой, недоедавшей воюющей страны в нейтральную. Всего несколько минут от одной станции до другой, но в первую же секунду тебя охватывало такое чувство, словно ты вдруг попал из затхлого, сперттого воздуха в крепкий, напоенный снегом, ты чувствовал своего рода опьянение, которое распространялось по всему телу. Через несколько лет, когда я из Австрии снова проезжал мимо этой станции Букс (название которой никогда не осталось бы у меня в памяти), у меня вновь на мгновение возникло ощущение этого долгожданного вздоха облегчения.

Ты не успел спрыгнуть с подножки, как в тебе всколыхнулось все то, о чем ты уже забыл, что раньше казалось таким привычным: здесь были налитые золотом апельсины, бананы, тут свободно лежали шоколад и ветчина, которые у нас можно было достать лишь из-под прилавка, хлеб и мясо здесь были без карточек — и пассажиры действительно набросились, как голодные звери, на эту недорогую роскошь. Тут был телеграф, почта, откуда можно было без всякой цензуры писать и телеграфировать во все концы света. Здесь лежали французские, итальянские, английские газеты, и их можно было безнаказанно купить, развернуть и читать. Здесь, на расстоянии пяти минут пути, запретное было разрешено, тогда как по ту сторону — запрещено разрешенное.

Благодаря такому тесному соседству особенно ощутимым становилось все безумство европейских войн; там, по ту сто-

рону границы, в маленьком городке, вывески магазинов которого можно было прочесть невооруженным глазом, из каждого дома, из всякого убежища выволакивали мужчин и отправляли на Украину или в Албанию, где бы они убивали или были убиты, — а здесь, на расстоянии пяти минут ходьбы, мужчины того же возраста мирно сидели со своими женами перед увитыми плющом домами и курили свои трубки; я невольно спросил себя, может быть, и рыбы в этой пограничной речушке на правой стороне ведут войну, а по левую сторону — нейтральны.

За одну ту секунду, в которую я пересек границу, я начал думать иначе, свободнее, чувствовать более взволнованно, поступать менее осмотрительно, и уже буквально на следующий день я испытал, насколько пребыванием в воюющей стране подорвано не только наше моральное состояние, но и физическое самочувствие: когда я в гостях у родственников после еды безмятежно выпил чашечку черного кофе, да еще к тому же выкурил гаванскую сигару, то в глазах все вдруг поплыло и у меня началось сильное сердцебиение. Мое тело, мои нервы после многих месяцев всяческих эрзацев оказались уже неспособны отведать настоящего кофе и хорошего табака; и тело тоже после ненормальных условий войны должно было приспособливаться к нормальным условиям мирной жизни.

Это опьянение, это приятное головокружение отражались и на настроении. Каждое дерево казалось мне красивее, каждая гора выше, каждый пейзаж радовал сильнее, ибо в охваченной войной стране мирный благоухающий луг предстает омраченному взору как вопиющее предательство природы, каждый багряный закат напоминает о пролитой крови; здесь, в нормальном состоянии мира, благородная отрешенность природы вновь обрела свою естественность, и я любил Швейцарию, как никогда раньше.

Всегда я с охотой ехал в эту небольшую, но замечательную и бесконечно многоликую страну. Никогда, однако, не осознавал я ее роли так сильно: швейцарская идея мирного сосу-

ществования наций на общей территории, эта мудрейшая максима, благодаря взаимному уважению и осуществленной на деле демократии рождающая братство вопреки языковым и национальным различиям, — какой пример для нашей совершенно свихнувшейся Европы! В течение столетий обитель мира и свободы, терпимая по отношению к любым убеждениям при неукоснительном сохранении самобытности, — сколь важным для нашего мира оказалось существование этого единственного наднационального государства!

По праву, думалось мне, эта страна благословенна красотой и одарена богатством. Нет, здесь ты не будешь чужим; свободный, независимый человек чувствовал себя в этот трагический для мира период здесь дома больше, чем в своем собственном отечестве. Часами бродил я по ночным улицам Цюриха и по берегу озера. Мирно светили огни. Люди здесь жили тихой, безбедной жизнью. Мне казалось, будто я вижу, что женщины за окнами в своих постелях не лежат без сна от дум о своих сыновьях; я не видел раненых, искалеченных, не видел молодых солдат, которых завтра-послезавтра должны погрузить в поезда, — здесь жизнь твоя казалась более осмысленной, в то время как в воюющей стране ты чувствовал смущение или даже вину за то, что еще цел и невредим.

Но самым главным для меня были не переговоры по поводу премьеры, не встречи со швейцарскими и зарубежными друзьями. Прежде всего я хотел увидеть Роллана, человека, о котором я знал, что это именно он сделал меня сильнее, зорче и решительнее, и я хотел поблагодарить его за то, что дала мне его поддержка, его дружба в дни жесточайшего душевного одиночества. Первым делом я должен был увидеть его, и я тотчас отправился в Женеву.

По существу, мы, как «враги», оказались теперь в довольно сложной ситуации. Правительствам воюющих стран, разумеется, было совсем не по вкусу, что между гражданами происходит на нейтральной территории личное общение. Но, с другой стороны, это нигде не запрещалось никаким законом. Не

имелось ни одной статьи, по которой за такое общение следовало бы наказание. Запрещено и приравнено к предательству было лишь деловое общение — «делка с врагом», — и, чтобы нас не смогли бы заподозрить и в малейшем нарушении этого запрета, мы избегали даже того, чтобы угоститься сигаретой у друзей, ибо, без сомнения, находились под непрерывным наблюдением бесчисленных агентов.

Чтобы избежать любого подозрения, будто мы чего-то опасаемся или у нас нечиста совесть, мы, друзья из разных стран, избрали простейший способ: ничего не скрывать. Мы писали друг другу не на условные адреса или *poste restante*^{*}, не пробирались друг к другу тайком по ночам, а вместе ходили по улицам и открыто сидели в кафе. Так, внизу, у портье в гостинице — сразу же по прибытии в Женеву, — я, записавшись полным именем, пожелал поговорить с господином Роменом Ролланом, чтобы и немецкой, и французской спецслужбам все упростить; они могли доложить, кто я и кого посетил; нам же, старым друзьям, разумеется, не к чему было избегать друг друга из-за того, что мы по воле судьбы принадлежим к двум разным народам, находящимся в данный момент в состоянии войны. Мы не считали себя обязанными участвовать в абсурде потому, что сам мир вел себя абсурдно.

И вот я наконец в его комнате — она мне показалась почти такой же, как в Париже. Здесь, как и там, стоял стол, заваленный книгами, и кресло. Гора журналов лежала на письменном столе, письма и бумаги, это была та же самая скромная и в то же время связанная со всем миром рабочая келья отшельника, дух которой везде, где бы он ни оказался, определялся складом его натуры. В первое мгновение я не мог найти слов для приветствия, мы подали друг другу лишь руки — первая французская рука, которую после долгих лет мне довелось пожать; Роллан был первым французом, с которым я говорил за последние три года, — но за эти три года мы сблизились еще

^{*} До востребования (фр.).

больше. Я говорил на чужом языке доверительнее и более открыто, чем с кем бы то ни было на родном дома.

Я прекрасно понимал, что друг, стоявший передо мной, — величайший человек современности, что он — чистая совесть Европы. Только теперь я мог оценить, как много он сделал и делает своей самоотверженной борьбой за взаимопонимание. Работая днем и ночью, всегда один, без помощников, без секретаря, он следил за всеми выступлениями во всех странах, переписывался с несметным количеством людей, которые просили у него совета в делах совести, исписывал каждый день много страниц своего дневника; как ни в ком из современников, в нем жила ответственность свидетеля исторического момента, и он понимал ее как долг отчитаться об этом времени перед грядущим. (Где они сегодня, те бесчисленные рукописные тома дневников, которые когда-нибудь дадут полное представление о всех нравственных и духовных коллизиях первой мировой войны?) В то же время он публиковал статьи, каждая из которых вызывала тогда международные отклики, работал над романом «Клерамбо»* — это было самоотвержение, беззаветное, беспрестанное, жертвенное самоотречение всей жизни ради безмерной ответственности, которую он взял на себя: действовать во время этого припадка безумия человечества безупречно и по-человечески справедливо даже в самой мелочи.

Он не оставлял без ответа ни одного письма, непрочитанной ни одну брошюру по проблемам современности; этот слабый, хрупкий человек, здоровью которого именно в ту пору грозила особая опасность, говоривший только тихо и постоянно перевозмогавший кашель, человек, который не мог выйти без накинутого шарфа и которому приходилось останавливаться после каждого быстрого шага, нашел в себе столько силы, сколько потребовало от него то невероятное время.

Ничто не могло поколебать его, никакая травля, никакое

*Роман Р. Роллана «Клерамбо» (1920) имеет подзаголовок «История одной свободной совести во время войны».

злопыхательство; бесстрашно и прозорливо вглядывался он во всемирное столпотворение. Здесь я встретил иной героизм — духовный, нравственный, словно памятник героизму в живом человеке; даже в моей книге о Роллане я сумел передать все это не в полной мере (ибо всегда трудно отдать должное живущим).

Насколько я был тогда потрясен и, если так можно сказать, «очищен», когда увидел его в этой крохотной комнате, из которой исходило во все стороны света невидимое, придающее силы излучение; это чувство осталось во мне надолго, и я знаю: распрямляющая спину, ободряющая сила, которую в ту пору излучал Роллан, один или почти один противостоявший бессмысленной ненависти миллионов, принадлежит к тем неуловимым явлениям, которые не поддаются никакому измерению или учету. Лишь мы, свидетели того времени, знаем, что значила тогда его деятельность, его личность и его беспримерная стойкость. Он стал хранителем совести обезумевшей Европы.

В беседах того вечера и последующих дней меня глубоко трогала его тихая грусть, которая окрашивала каждое его слово, та же печаль, которая звучала у Рильке, когда он говорил о войне. Он был полон горечи от действий политиканов, людей, которым для удовлетворения своего национального тщеславия было все еще недостаточно жертв. Но вместе с тем всегда ощущалось сострадание к несметному числу тех, кто страдал и умирал за «идею», которая им самим была непонятна и на самом деле была просто бессмыслицей. Он был полон решимости независимо, авторитетом собственной личности служить делу, которому он поклонялся, — сплочению народов. Так же как он не требовал ни от кого следования своим идеям, он отказывался от любого обязательства. Он признавал право всех на нравственную свободу и сам подавал пример в меру своих сил, оставаясь свободным и верным своему убеждению даже наперекор целому миру.

В Женеве в первый же вечер я познакомился с небольшой группой французов и других иностранцев, которые объединились вокруг двух небольших независимых газет: «Ля фэй» и «Демэн», — П. Ж. Жувом, Рене, Франсом Мазерелем. Мы сблизились с таким воодушевлением, какое обычно присуще молодости. Но инстинктивно мы чувствовали, что стоим на пороге совсем иной жизни. Большинство наших старых связей из-за «патриотического» ослепления прежних товарищей распалось. Нужны были новые друзья, а поскольку мы находились на одном «фронте», в одном идейном стане против общего врага, то стихийно между нами возникло некое страстное содружество; буквально через день мы настолько доверяли друг другу, словно были знакомы годы, и, как водится на фронте, обращались друг к другу по-братски на «ты».

Подвергаясь личной опасности, мы все — «we few, we happy few, we band of brothers»* — ощущали также беспрецедентную дерзость нашего совместного пребывания: мы знали, что в пяти часах пути отсюда каждый француз, который выследил немца и заколол его ударом штыка или разорвал на куски ручной гранатой, получал за это награду; что миллионы и там и тут мечтали лишь о том, чтобы уничтожить друг друга и стереть с лица земли, что газеты писали о «противнике» лишь с пеной ненависти у рта, в то время как мы, крохотная горстка среди многих миллионов, не только мирно сидели за одним столом, но и ощущали самое неподдельное, осознанное братство.

Мы знали, что тем самым противопоставляем себя всему официальному и приказному, мы знали, что, открыто заявляя о верности нашей дружбе, подвергали себя опасности, исходившей со стороны наших государств; но именно опасность нашего дерзновенного содружества приводила нас чуть ли не в восторг. Мы шли на риск и наслаждались ощущением этого

*Мы немногие счастливы, мы — союз братьев (англ.).

риска, ибо сам он придавал нашему протесту особый смысл. Так я (факт уникальный в этой войне) публично выступал вместе с П. Ж. Жувом в Цюрихе — он читал свои стихи по-французски, я отрывки из моей драмы «Иеремия» — по-немецки, — но, именно открыв свои карты, мы показали, что были честны в этой смелой игре.

Что об этом думали в наших консульствах и посольствах, нам было безразлично, даже если мы, подобно Кортесу, сжигали тем самым корабли для возвращения. Ибо до глубины души были проникнуты убеждением, что «предатели» не мы, а те, кто гуманистическое предназначение поэта готов в любую минуту предать.

А как самоотверженно они жили, эти молодые французы и бельгийцы! И среди них Франс Мазерель, который своими гравюрами на наших глазах, запечатлевая на дереве ужасы войны, создал непреходящую художественную память о войне — эти незабываемые черно-белые листы, по силе и страсти не уступающие даже «Desastros de la guerra»* Гойи. День и ночь неустанно резал этот мужественный человек фигуры и сцены на немом дереве; узкая комната и кухня накопили горы этих деревянных дощечек, но каждое утро «Ля фэй» публиковала какое-нибудь новое из его обвинений в рисунке, и каждый рисунок возлагал вину не на тот или другой народ, а на нашего общего врага — войну. Как мы мечтали, чтобы их можно было сбрасывать с самолетов вместо бомб, как листовки, над городами и окопами, эти без слов, без знания языка понятные каждому, даже самому непонятливому, гневные, ужасающие, клеймящие позором разоблачения; они — я убежден в этом — сократили бы время этой войны. Но, к сожалению, они появлялись лишь в небольшой газетке «Ля фэй», которая почти не была известна за пределами Женевы.

Все, что мы говорили и пытались предпринять, замыкалось в тесном швейцарском кружке и могло оказать влияние только тогда, когда уже было поздно. В душе мы не обольщались

* «Бедствия войны» (исп.).

относительно наших возможностей в борьбе против механизмов генеральных штабов и политических ведомств, и если нас не преследовали, то, скорее всего, потому, что мы, подавленные, как наше слово, скованные, как наша инициатива, не могли быть опасны. Но именно то, что мы знали, как мы малочисленны, как одиноки, сплачивало нас теснее — плечо к плечу, сердце к сердцу. Никогда впоследствии, в зрелые годы, я не наслаждался дружбой с такой полнотой, как тогда в Женеве, и эта дружба выдержала испытание временем.

* * *

С психологической и исторической точек зрения (но не с художественной) примечательнейшим явлением в этой группе был Анри Гильбо; в нем я более убедительно, чем в ком бы то ни было другом, видел подтверждение непреложного закона истории, гласящего, что в эпохи стремительных переворотов, в частности во время войны или революции, стойкость и отвага зачастую стоят больше, чем интеллектуальные достоинства, а пылкое гражданское мужество может быть более решающим, чем характер и твердость. Всегда, когда время стремительно летит вперед и обгоняет самое себя, натуры, которые способны без всяких колебаний броситься в волны, побеждают.

Гильбо, тщедушный, светловолосый человечек с колючими, бегающими серыми глазами и неплохо подвешенным языком, не был талантлив. Хотя именно он перевел лет за десять до того мои стихи на французский язык, я должен честно сказать, что его литературные способности были невелики. Выразительность его языка была вполне заурядна, знания неглубоки. Его сильной стороной была способность к полемике. По складу своего характера он относился к тем людям, которые всегда «против» — все равно против чего. Он чувствовал себя хорошо лишь тогда, когда мог сражаться со всеми, как настоящий гамен, и с ходу набрасываться на то, что превосходило его самого. До войны в Париже он то и дело — и это

несмотря на свою в общем добродушную натуру — напропалую полемизировал в литературе как с целыми направлениями, так и с отдельными лицами, затем подвизался во всех радикальных партиях, и ни одна из них не оказалась для него достаточно радикальной.

Но вот во время войны он как антимилитарист неожиданно обрел гигантского противника: мировую бойню. Нерешительность, трусость большинства и опять-таки его отвага, безрасудная смелость, с которой он бросился в бой, на какое-то мгновение сделали его в мире видным и даже незаменимым. Его влекло как раз то, что других отпугивало: опасность. И то, что он оказался намного бесстрашнее других, придало этому, по существу, незначительному литератору внезапную величину и возвысило его публицистические, его бойцовские способности — феномен, который можно обнаружить и в эпоху французской революции в судьбе дотоле невидных адвокатов и юристов жиронды.

В то время как другие молчали, в то время как и мы колебались и по каждому поводу тщательно взвешивали, что делать, а где и выждать, он решительно брался за дело, и неотъемлемой заслугой Гильбо останется то, что он руководил основанным им же, единственным во время первой мировой войны имевшим влияние, антивоенным журналом «Демэн» — тем документом, который, хотя бы постфактум, должен прочесть каждый, кто хочет по-настоящему понять духовные течения той эпохи. Он, отвечая нашим нуждам, явился центром интернациональной, наднациональной дискуссии в разгар войны. То, что за ним стоял Роллан, определило значение журнала, ибо благодаря моральному авторитету и связям писателя журнал мог привлечь к сотрудничеству в нем виднейших представителей Европы, Америки и Индии; с другой стороны, радикализм Гильбо вызвал доверие находившихся тогда в эмиграции русских революционеров.

Таким образом, в мире в течение года-полтора не было более интересного, более независимого журнала, и если бы он

пережил войну, то стал бы, возможно, определяющим по воздействию на общественное мнение. Одновременно Гильбо взял на себя в Швейцарии представительство радикальных французских групп правых, которых Клемансо жесткой рукой лишил возможности действовать. На знаменитых конгрессах в Кинтале и Циммервальде, где социалисты, верные интернационализму, отмежевались от неожиданных патриотов, он сыграл историческую роль; ни одного француза в парижских политических и военных кругах во время войны не опасались и не ненавидели так, как этого светловолосого чловека.

В конце концов французской контрразведке удалось устроить ему ловушку. В гостинице в Берне из комнаты немецкого агента были выкрадены листы промокательной и копировальной бумаги, которые доказывали, разумеется, не больше того, что германская разведка выписала несколько экземпляров «Демэн» — сам по себе безобидный факт, так как эти экземпляры, вероятнее всего, при немецкой дотошности, предназначались различным библиотекам и ведомствам. Но для Парижа это сочли достаточным поводом, чтобы объявить Гильбо купленным Германией агитатором и привлечь его к ответственности. Он был приговорен *in contumaciam** к смерти — более чем несправедливо, что, собственно, и подтверждает тот факт, что спустя десять лет этот приговор был отменен на кассационном процессе. Но вскоре, помимо этого, он из-за своей резкости и нетерпимости, постепенно становившихся опасными и для Роллана, и для нас всех, вступил в конфликт со швейцарскими властями, был арестован и заключен в тюрьму.

Но в действительности оказалось, что Гильбо был отнюдь не прирожденным вождем, а лишь, как многие поэты периода войны и политики революции, рыцарем на час; такие раздвоенные натуры после неожиданных взлетов в конце концов

*Заочно (лат.).

уходят в самих себя. Неизлечимый спорщик, он растратил свои способности на мелкие перебранки и склоки и постепенно испортил отношения даже с теми, кто уважал его смелость. Он кончил, когда все улеглось, как и начал: не заслуживающими внимания брошюрами и никчемными пререканиями; совсем безвестный, он вскоре после его помилования умер в каком-то уголке Парижа. Отважнейший и храбрейший в войне против войны, оказавшийся на высоте в свой час, имевший задатки к тому, чтобы стать одной из крупнейших фигур нашей эпохи, сегодня он полностью забыт, — и я, быть может, один из последних, кто вспоминает о нем с благодарностью за выступления его «Демэн» во время войны.

Из Женевы я через несколько дней возвратился в Цюрих, чтобы начать переговоры о постановке моей пьесы. Я давно любил этот город за его красивое расположение у озера в тени гор, за его благородную, немного консервативную культуру. Но в связи с тем, что мирная Швейцария оказалась между воюющими странами, Цюрих распростился со своей тишиной и в одну ночь стал важнейшим центром Европы, средоточием всех духовных течений, а также, разумеется, и всевозможных дельцов, спекулянтов, лазутчиков, пропагандистов, на которых местное население из-за этой неожиданной любви к их городу смотрело с весьма оправданным недоверием...

В ресторанах, кафе, трамваях, на улицах звучали все наречия. Повсюду встречались знакомые, приятные и неприятные, и ты попадал, хотел этого или нет, в водоворот живейших дискуссий. Ибо существование всех этих людей, волей судьбы всплывавших на поверхность, было связано с исходом войны: одни — выполнявшие задания своих правительств, преследуемые и объявленные вне закона — другие; но каждый из них был вырван из своей привычной жизни, брошен на волю случая, в неизвестность. Поскольку у всех них не было дома, они постоянно искали дружеского участия, и, не имея возможности влиять на военные и политические события, они день и ночь дискутировали, охваченные своего рода духовной лихорадкой, которая одновременно и бодрила, и утомляла.

И в самом деле, нелегко было воздержаться от желания говорить, после того как дома месяцы и годы держал рот на замке, тянуло писать, печататься, с тех пор как вновь обрел право свободы думать и высказываться; каждый в отдельности был возбужден до предела, и даже заурядные личности — как я показал это на примере Гильбо — становились интереснее, чем были до того или станут потом.

Здесь можно было встретить писателей и политиков всевозможных направлений и национальностей: Альфред Х. Фрид, лауреат Нобелевской премии, издавал здесь «Фриденсварте»; Фриц фон Унру, ранее прусский офицер, читал нам свои драмы; Леонард Франк написал волнующую книгу «Человек добр»; Андреас Лацко вызвал сенсацию своими «Людьми на войне»; Франц Верфель приехал сюда для выступления; я встречал в моем старом «Отеле Швердт», где в свое время останавливались Казанова и Гёте, людей всех национальностей. Я видел русских, которых затем сделала известными революция и настоящие имена которых я так никогда и не узнал; итальянцев — католических духовных лиц; непримиримых социалистов и сторонников германской военной партии; из швейцарцев нас поддерживали блистательный пастор Леонард Рагац и поэт Роберт Фаези. Во французском книжном магазине я встретил моего переводчика Поля Мориса, в концертном зале дирижера Оскара Фрида — все были здесь, заглядывали сюда проездом.

Можно было слышать все мнения, самые абсурдные и самые разумные; раздражаться и воодушевляться; основывались журналы, завязывались споры: противоречия сглаживались или усиливались; образовывались или распадались группы; никогда потом не встречалось мне более пестрое и более живое смешение людей и мнений в столь сложной и вместе с тем накаленной обстановке, чем в эти цюрихские дни, точнее сказать, ночи (ибо дискутировали, пока в кафе «Белвью» или кафе «Одеон» не гасили свет, после чего зачастую перебирались к кому-нибудь на квартиру).

Никто не замечал в этом обетованном краю всех его красот, гор, озер и их умиротворяющего покоя; жили газетами, сообщениями и слухами, мнениями и дискуссиями. И странно: война здесь духовно переживалась, по сути дела, интенсивнее, чем на воюющей родине, потому что проблема здесь как бы объективировалась и совершенно отрывалась от национальных интересов войны и мира. Ее рассматривали не с политической точки зрения, а с европейской, как ужасающее и гигантское событие, которому суждено изменить не только несколько пограничных линий на географической карте, но и будущее устройство нашего мира.

* * *

Наиболее привлекли мое внимание — словно меня уже коснулось предчувствие собственной будущей судьбы — люди без родины или, того хуже, те, кто вместо одного отечества имел два или три и по-настоящему не знал, какому они принадлежат. В углу кафе «Одеон» обычно в одиночестве сидел молодой человек с маленькой каштановой бородкой; острые темные глаза за чрезвычайно толстыми стеклами очков; мне сказали, что это очень талантливый английский писатель. Когда через несколько дней я познакомился с Джеймсом Джойсом, он резко отверг всякую принадлежность к Англии. Он — ирландец. Хотя он и пишет на английском языке, однако думает не на английском и не желает думать на английском. «Мне бы хотелось иметь язык, — сказал он мне тогда, — который стоит над всеми языками, язык, которому служат все другие. На английском я не могу выразить себя полностью, не придерживаясь тем самым какой-либо традиции».

Я это не совсем понимал, потому что не знал, что он уже тогда писал своего «Улисса»; он одолжил мне лишь свою книгу «Портрет художника в юности», единственный экземпляр, который у него был, и маленькую драму «Улисс в изгнании», которую я тогда даже хотел перевести, чтобы помочь ему. Чем больше я его узнавал, тем больше он поражал меня своим

фантастическим знанием языков; за этим круглым, крепко сбитым лбом, который при свете электричества светился, словно фарфоровый, были спрессованы все слова всех языков, и он играл ими по очереди самым блистательным образом. Однажды, когда он спросил меня, как бы я передал по-немецки одно мудрое предложение в «Портрете художника», мы попытались сделать это вместе на итальянском и французском; на одно слово он находил в каждом языке четыре или пять, включая диалектные формы, и знал все оттенки их значения до мельчайших нюансов.

Какая-то нескрываемая печаль почти не оставляла его, но я думаю, что это чувство было именно той силой, которая способствовала его духовным взлетам и творчеству. Его неприязнь к Дублину, к Англии, к определенным людям приняла в нем форму движущей силы, реализующейся в его писательском труде. Но он, казалось, лелеял этот свой ригоризм; никогда я не видел его смеющимся или просто веселым. Всегда он производил впечатление затаившейся мрачной силы, и когда я встречал его на улице — узкие губы плотно сжаты, и шаг всегда тороплив, словно он куда-то спешит, — то я еще сильнее, чем в наших беседах, ощущал стремление его природы защититься, внутренне изолироваться. И позднее я несколько не был удивлен, что именно он написал самое сиротливое, самое «обездоленное», словно метеорит, стремительно ворвавшееся в наше время произведение.

Другим таким сыном двух наций был Ферруччо Бузони, по рождению и воспитанию итальянец, по образу жизни — немец. С юношеских лет никого из виртуозов не любил я до такой степени. Когда он сидел за роялем, его глаза излучали чудесный, волшебный свет. Без всяких усилий его руки творили музыку неподражаемой красоты, а сам он, с его одухотворенным запрокинутым лицом, внимал поющей в нем мелодии. Своего рода просветление, казалось тогда, постоянно владеет им. Как часто в концертных залах я словно зачарованный смотрел на этот озаренный лик, в то время как звуки, вкрад-

чиво тревожащие и вместе с тем серебристо-чистые, проникали в самую душу.

И вот я увидел его снова: волосы его были седыми, а под его глазами залегли густые тени печали. «Какой стране я принадлежу? — спросил он меня однажды. — Внезапно пробудившись ночью, я знаю, что во сне говорил по-итальянски. А если затем пишу, то думаю немецкими словами». Его ученики были рассеяны по всему свету — «возможно, один теперь стреляет в другого», — а к главному своему произведению, опере «Доктор Фауст», он еще не отважился приступить, потому что чувствовал себя выбитым из колеи. Чтобы поднять дух, он написал маленькую, легкую, музыкальную одноактную оперу, но туча висела над его головой всю войну. Редко я слышал теперь его замечательный раскатистый, его аретинский смех, который раньше мне так нравился. А однажды я встретил его поздно ночью в зале вокзального ресторана; он один выпил две бутылки вина. Когда я проходил мимо, он окликнул меня. «Глушу! — сказал он, указывая на бутылки. — Пить нельзя! Но иногда необходимо себя именно оглушить, иначе не вынести этого. Музыка помогает не всегда, а вдохновение приходит в гости лишь в добрые часы».

Но тяжелее всего, однако, двойственность положения была для эльзасцев, а среди них опять-таки наиболее тяжелой для тех, кто, как Рене Шикеле, сердцем был привязан к Франции, а писал на немецком языке. Война ведь, собственно говоря, шла за их землю, и коса резала прямо посередине через самое сердце. Их хотели разодрать надвое, заставить признать своей хозяйкой или Германию, или Францию, но они ненавидели это «или — или», которое было для них неприемлемо. Они, как и мы все, хотели видеть Германию и Францию сестрами, хотели согласия вместо вражды, а потому страдали за ту и другую, желая благополучия обеим.

А тут еще множество неустойчивых, смешанных браков: англичанки, вышедшие замуж за немецких офицеров, французские матери австрийских дипломатов, семьи, в которых один сын воевал здесь, а другой — там и родители ждали писем

оттуда и отсюда; здесь — конфискация последнего имущества, там — лишение средств существования; и, чтобы избежать подозрения, которое их в равной мере преследовало и на старой и на новой родине, все эти расколотые семьи искали спасения в Швейцарии. Опасаясь скомпрометировать тех или других, они избегали говорить на каком-либо языке и прокрадывались повсюду, как тени, униженные, надломленные люди. Чем больше человек жил Европой, тем более жестоко карал его кулак, который раздробил ее.

* * *

Тем временем близилась премьера «Иеремии». Она прошла с большим успехом, а наушническое сообщение «Франкфуртер цайтунг» в Германии о том, что на ней присутствовали американский посланник и некоторые видные представители союзников, не очень меня беспокоило. Мы ощущали, что война, к этому моменту длившаяся уже три года, внутри воюющих стран былой поддержкой не пользовалась, и выступать против ее продолжения, вынуждаемого исключительно Людендорфом, было уже не столь опасно, как в первые часы угара. Окончательно все должно было решиться осенью 1918 года. Но я не хотел больше дожидаться этого в Цюрихе. Ибо постепенно я все более и более прозревал. В порыве воодушевления первых дней я ошибочно решил, что нашел в лице всех этих пацифистов и антимилитаристов истинных единомышленников, честных, решительных борцов за европейское взаимопонимание.

Вскоре я осознал, что среди тех, кто изображал себя беженцами и кто выдавал себя за героических мучеников идеи, были люди, стремящиеся следить за каждым и все вынюхивать, и некие темные личности, которые находились на службе немецкой разведки и ею оплачивались. Спокойная, солидная Швейцария оказалась, как это мог вскоре установить на собственном опыте всякий, подточенной подрывной деятельностью тайных агентов из обоих лагерей. Горничная, которая

опоразнивала мусорную корзину, телефонистка, официант, который обслуживал подозрительно медленно, состояли на службе той или иной стороны, часто даже один и тот же агент на службе у обеих сторон. Чемоданы таинственным образом открывались, промокательная бумага фотографировалась, письма исчезали по пути на почту или с нее; в холлах гостиниц навязчиво улыбались элегантные женщины; удивительно энергичные пацифисты, о которых мы никогда не слышали, вдруг объявлялись и приглашали подписать воззвание или бесцеремонно просили адреса «надежных» друзей. Один «социалист» предложил мне подозрительно большой гонорар за выступление в ла Шо-де-Фон* перед рабочими, которые об этом ничего не знали; постоянно надо было быть начеку.

Уже вскоре я заметил, как немногочисленны были те, на кого можно было положиться, а поскольку я не хотел, чтобы меня вовлекли в политику, я все более ограничивал свое общение. Но и у надежных друзей во мне вызвала скуку бесплодность бесконечных дискуссий и эта сортировка на радикалов, либералов, анархистов, большевиков и внепартийные группировки; впервые я вблизи увидел вечный тип псевдореволюционера, который чувствует себя в своей незначительности возвышенным благодаря только своему оппозиционному положению и цепляется за догму, потому что не имеет опоры в себе самом.

Остаться в этом болтливом скопище — значит окончательно запутаться самому, поддерживать ненадежные связи и подвергнуть опасности нравственную незапятнанность собственных убеждений. Поэтому я уединился. Фактически никто из этих кофейных заговорщиков не отваживался на заговор, из всех этих импровизированных мировых политиков ни один не способен был делать политику, когда это действительно стало необходимо. И когда наступили лучшие, послевоенные времена, они остались пребывать в своем мелочном, брюзжащем

* Рабочий район Цюриха. — *Примеч. пер.*

нигилизме, и лишь немногим художникам и после войны еще удалось создать значительные произведения.

Это бурное время делало их поэтами, спорщиками и политиками, и, как и всякая группа, которая своей общностью обязана сиюминутному стечению обстоятельств, а не выношенной идее, весь этот круг интересных, одаренных людей бесследно распался, как только не стало врага, с которым они боролись, — войны.

В качестве надежного пристанища я избрал — примерно в полудне пути от Цюриха — маленькую гостиницу в Рюшликоне, с холма которого открывалось все озеро и где-то в отдалении виднелись маленькие башни города. Здесь я мог видеть лишь тех, кого приглашал к себе сам, истинных друзей, и они приезжали: Роллан и Мазерель. Здесь я мог работать для себя и максимально использовать время, которое, как всегда, шло своим чередом.

Вступление Америки в войну убедило всех, у кого не помутнело зрение и не испортился слух от патриотических фраз, что немецкое поражение неотвратимо; когда германский кайзер вдруг объявил, что отныне намерен править «демократично», мы поняли: колокол пробил. Признаюсь открыто: мы, австрийцы и немцы, вопреки языковой, духовной общности, не могли дожидаться, чтобы неизбежное, когда оно уже стало неизбежным, свершилось скорее; и день, когда кайзер Вильгельм, поклявшийся бороться до последнего вздоха людей и лошадей, сбежал за границу, а Людендорф, который принес в жертву своему «победному миру» миллионы людей, в темных очках подался в Швецию, стал для нас днем надежды. Ибо мы верили — и весь мир тогда с нами, — что с этой войной пришел конец «всем войнам вообще»: хищник, который опустошает наш мир, усмирен и даже уничтожен. Мы верили в замечательную программу Вильсона, которая полностью совпадала с нашей, мы видели на Востоке неясный свет в те дни, когда русская революция, избегающая применения насилия, полная радужных надежд, праздновала свою победу. Мы были наивны, я знаю это. Но таковыми были не мы одни.

Кто пережил то время, тот помнит, что улицы всех городов звенели от ликования в превозношении Вильсона, как в первые дни мира. Ибо теперь появилась наконец на земле возможность для создания давно обещанного царства справедливости и братства, теперь или никогда решалась судьба единства Европы, о котором мы мечтали. Ад остался в прошлом. Что после него могло еще нас испугать? Наступала эра другого мира. А так как мы были молоды, мы говорили себе: это будет наш мир, мир, о котором мы мечтали, более добрый, более человечный мир.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АВСТРИЮ

С точки зрения логики самое безрассудное, что я мог предпринять после того, как германо-австрийское оружие было повержено, — это возвратиться в Австрию, которая теперь проступала на карте Европы жалкой, серой и безжизненной тенью Австро-Венгерской империи. Чехи, поляки, итальянцы, словаки вышли из ее состава; остался лишь обезображенный остов, кровоточащий из всех вен. Из шести или семи миллионов, которых заставляли называть себя «немецкими австрийцами», только одна столица вместила в себя два миллиона голодающих и замерзающих; предприятия, которые раньше обогащали страну, оказались на чужой территории; железные дороги превратились в жалкие останки; из национального банка изъяли золото, а взамен взвалили гигантский груз военного займа. Границы были еще не определены, так как мирная конференция только что началась; обязательства еще не установлены: не было ни муки, ни хлеба, ни угля, ни бензина; революция или какой-либо другой катастрофический исход казались неотвратимы.

По всем беспорным прогнозам, эта страна, искусственно созданная государствами-победителями, не могла существовать независимой и (все партии: социалистическая, клерикальная, национальная — твердили это в один голос) даже не

хотела самостоятельности. Впервые, насколько мне известно, за всю историю случился такой парадокс, чтобы к самостоятельности принуждали страну, которая бы упорно тому противилась. Австрия хотела объединения либо с прежними соседями, либо с исстари родственной Германией, но ни в коем случае не желала вести в таком изуродованном виде унижительное, попрошайническое существование. Соседние государства, напротив, не желали оставаться с подобной Австрией в экономическом союзе, отчасти потому, что считали ее нищей, отчасти опасаясь возвращения Габсбургов; с другой стороны, включению в побежденную Германию противились союзники, чтобы тем самым не усилить ее. В результате решили: немецкая республика Австрия должна существовать и дальше. Стране, которая не желала этого — явление уникальное в истории! — было приказано: «Существовать!»

Что побудило меня тогда, в самое скверное время, которое когда-либо переживала страна, вернуться в нее по своей воле, я и сам вряд ли могу теперь объяснить. Но мы, люди довоенного поколения, несмотря на все и вся имевшие более развитое чувство долга, считали, что в такой трудный час, как никогда, необходимы своему дому, своему отечеству. Мне представлялось это трусостью — пересидеть предстоявший трагический период, и я чувствовал — именно как автор «Иеремии», — что обязан своим словом помочь преодолеть поражение. Лишний во время войны, я казался себе теперь, после поражения, на своем месте, учитывая, что благодаря моим антивоенным выступлениям я приобрел определенный авторитет, в частности у молодежи. Даже если ты не в силах что-либо изменить, то по крайней мере испытаешь удовлетворение оттого, что делишь со всеми те тяготы, которые выпали на общую долю.

Поездка в Австрию требовала тогда подготовки, как для экспедиции на Северный полюс. Нужно было обзавестись теплыми вещами и шерстяным бельем, ибо было известно, что на той стороне нет угля, — а зима стояла на пороге. Надо было подновить подошвы на обуви, поскольку по ту сторону име-

лись лишь деревянные подметки. С собой брали столько продуктов и шоколада — чтобы не умереть с голоду, пока выдадут карточки на хлеб и жиры, — сколько позволит правительство Швейцарии. Багаж страховали настолько высоко, насколько было возможно, так как товарные вагоны грабили, а каждый башмак, каждая мелочь гардероба были невосполнимы. Какое-то мгновение я еще стоял в нерешительности на пограничной станции Букс, где более года назад испытал такое чувство облегчения, и спрашивал себя, не повернуть ли мне все же в последний момент обратно. Момент был, я чувствовал это, решающим в моей жизни. Но в конце концов я предпочел то, что было сложнее. Я снова оказался в вагоне.

* * *

За год до этого, оказавшись на швейцарской пограничной станции в Буксе, я пережил волнующую минуту. Теперь, при возвращении, мне предстояло пережить не менее памятный момент на австрийской, в Фельдкирхе. Только я вышел из вагона, как заметил необычное беспокойство пограничников и полицейских. Они почти не обращали на нас внимания и исполняли досмотр спустя рукава: очевидно, их занимало нечто более важное. И вот прозвучал колокол, который возвестил о приближении поезда с австрийской стороны. Полицейские стали в оцепление, все служащие высыпали из своих помещений, их жены, очевидно предупрежденные заранее, столпились на перроне; особенно мне запомнилась среди встречавших старая дама в черном, с двумя дочерьми, судя по манере держаться — аристократка. Она была явно взволнована и все время подносила к глазам платочек.

Медленно — лучше сказать, величаво — подошел необычного вида поезд, не обшарпанные, с потеками от дождей обычные пассажирские вагоны, а черные, широкие: салон-вагоны. Паровоз остановился. Заметное волнение прокатилось по рядам ожидающих, я все еще не знал, в связи с чем. И тут в зеркальной вагонной раме я увидел почти во весь рост импе-

ратора Карла, последнего императора Австрии, его одетую в черное супругу, королеву Циту. Я вздрогнул: последний император Австрии, наследник габсбургской династии, которая правила страной семьсот лет, покидает свою империю! Хотя он отказался от формального отречения, республика устроила ему проводы со всеми почестями или, скорее, вынудила его принять их. И вот высокий опечаленный человек стоит у окна и в последний раз смотрит на горы, дома, жителей своей страны. Это было историческое мгновение — тем более для того, кто вырос в старой империи, для кого первой песней в школе была песня об императоре, кто потом на военной службе присягал этому человеку, который здесь, в гражданской одежде, грустно всматривался в присягнувших на «послушание на суше, на воде и в воздухе».

Сколько раз я видел старого императора в давно уже ставшем легендарным костюме для больших торжеств, я видел его на парадной лестнице в Шёнбрунне, окруженным семьей и генералами в блестящих мундирах, когда его славили восемьдесят тысяч венских школьников, построенных на широком зеленом плацу, певших трогательным хором тонких голосов «Боже, храни» Гайдна. Я видел его на придворном балу, на представлениях в Theatre-Parc — в блестящей форме, и снова — в зеленой тирольской шляпе в Ишле едущим на охоту, я видел его с набожно склоненной головой на празднике тела Христова в шествии, идущем к собору Святого Стефана, — и катафалк в тот туманный, пасмурный зимний день, когда, в разгар войны, старика проводили на вечный покой в склеп капуцинов.

«Кайзер» — это слово было для нас воплощением всей власти, всего богатства, символом незыблемости Австрии, и мы уже с детства привыкли произносить эти два слога с благоговением. А теперь я видел наследника, последнего императора Австрии, изгнанником, покидавшим страну. Доблестная череда Габсбургов, которые из столетия в столетие передавали из рук в руки державу и корону, — она заканчивалась в эту минуту.

Все вокруг ощущали в этот момент историю, мировую историю. Жандармы, офицеры, солдаты казались смущенными и стыдливо смотрели в сторону, потому что они не знали, следует ли им оказывать прежние почести, женщины не отваживались поднять глаза, никто не говорил, и поэтому вдруг все услышали тихое всхлипывание старой женщины в трауре, которая Бог знает из какого далека явилась сюда, чтобы еще раз увидеть «своего» императора. Но вот начальник поезда подал сигнал. Каждый невольно вздрогнул, наступил неотвратимый момент. Паровоз тронулся резким толчком, словно и он совершал над собой насилие; поезд медленно удалялся. Служащие благоговейно смотрели ему вслед. Затем разошлись с тем подавленным видом, какой можно заметить на похоронах, по своим служебным местам. Только теперь, в это мгновение, почти тысячелетней монархии действительно пришел конец. Я знал, что Австрия уже другая, что мир, в который я направлялся, уже не тот.

* * *

Как только поезд исчез вдаль, нас попросили пересесть из стерильно чистых швейцарских вагонов в австрийские. Достаточно было лишь подняться в них, чтобы понять, что произошло с этой страной. Истощенные, голодные, изрядно пообносившиеся проводники, которые указывали места, едва волочили ноги; дырявые, протертые формы свисали с их поникших плеч. Кожаные ремни на оконных рамах были срезаны, поскольку каждый кусок кожи представлял ценность. По сиденьям тоже прошлись лихие лезвия и штыки; целые куски обивки были варварски срезаны каким-то вандалом, который для починки своих башмаков добывал кожу, где только мог.

Похищены были и пепельницы ради небольшого куска никеля и меди. В разбитые окна с резким осенним ветром залетали сажа и шлак скверного бурого угля, которым теперь топили паровозы; он закоптил пол и стены, но его чад хоть немного смягчал резкий запах йода, напоминавший о том, как

много больных и раненых перевезли во время войны эти остовы вагонов. В любом случае то, что поезд вообще двигался вперед, означало чудо — разумеется, замедленное: всякий раз, когда несмазанные колеса скрипели менее резко, мы уже опасались, что у изношенной машины откажет дыхание. Расстояние, которое обычно проходили за час, требовало теперь четыре, а то и пять; с сумерками мы погрузились в полную темень.

Электрические лампочки были разбиты или вывернуты, что-либо отыскать можно было лишь со спичками или на ощупь, а не замерзали мы лишь потому, что с самого начала сидели по шесть или восемь человек, тесно прижавшись друг к другу. Но на первой же станции втиснулись новые пассажиры, совсем измученные многочасовым ожиданием. Проходы забились полностью, люди, несмотря на холодную ночь, сидели даже на подножках, и каждый в страхе прижимал к себе свой багаж и узелок с продуктами; никто не отваживался в темноте хотя бы на минуту выпустить что-нибудь из рук. Из мирной жизни я сразу окунулся в ужас войны, которая, как ошибочно полагал, уже закончилась.

Перед Инсбруком паровоз вдруг захрипел и не смог одолеть небольшой подъем, несмотря на кряхтение и пыхтение. В темноте со своими дымящими фонарями беспокойно засновали служащие. Прошел час, пока на помощь не притащился еще один паровоз, но и тогда на то, чтобы поезд прибыл в Зальцбург, вместо семи часов понадобилось семнадцать. На всей станции — ни одного носильщика; наконец несколько оборванных солдат предложили тащить багаж до извозчика; но лошадь в упряжке была такой старой и голодной, что, казалось, ее поддерживали оглобли, и вряд ли она была способна тянуть повозку. Я усомнился, что это призрачное животное сможет сделать хоть шаг, если я погружу еще и свои чемоданы, и оставил их — разумеется, опасаясь, что никогда не увижу их снова, — на вокзале.

Во время войны я купил себе в Зальцбурге дом, ибо разрыв

с моими прежними друзьями из-за нашего противоположного отношения к войне заставил меня избегать проживания в больших городах, среди многолюдья; позднее моя работа только выигрывала от этого уединенного образа жизни. Зальцбург из всех австрийских маленьких городов казался мне наиболее подходящим благодаря не только своей живописности, но и географическому положению, потому что, находясь на краю Австрии, в двух с половиной часах по железной дороге от Мюнхена, в пяти часах от Вены, в десяти часах от Цюриха или Венеции и в двадцати от Парижа, он был отправным пунктом в Европу. Разумеется, в ту пору он еще не превратился в знаменитый своими фестивалями (и летом принимающий снобистский вид) город встреч «видных деятелей» (иначе я не избрал бы его местом для работы), а был старинным, сонным, романтическим городком на последнем склоне Альп, откуда горы и возвышенности постепенно переходят в Немецкую равнину. Небольшой лесистый холм, на котором я жил, был как бы последней затухающей волной этой гигантской горной гряды; путь наверх, недоступный для машин, был крестным путем в сотню ступеней трехсотлетней давности, но этот тяжкий труд вознаграждался сказочным видом с террасы на крыши и шпили многобашенного города.

Вдали панорама простиралась до прославленной цепи Альп (включая Соляную гору под Берхтесгаденом, где вскоре как раз напротив меня изволил поселиться никому не известный человек по имени Адольф Гитлер). Дом оказался столь же романтическим, сколь и непрактичным. В семнадцатом столетии маленький охотничий замок архиепископа, примыкавший к мощной крепостной стене, он в конце восемнадцатого был расширен: к нему с обеих сторон пристроили по комнате; великолепные старинные обои и разрисованный кегельный шар, которым кайзер Франц в 1807 году во время посещения Зальцбурга собственноручно сбивал в длинном проходе нашего дома кегли, вместе с несколькими старинными грамотами различных владельцев были вещественными доказательствами его, надо признать, славного прошлого.

То, что этот маленький замок — благодаря вытянутому фасаду он производил помпезное впечатление, имея, однако, не более девяти помещений, потому что не шел в глубину, — был старинным курьезом, очень восхищало позднее наших гостей; вместе с тем его историческое прошлое оборачивалось против нас. Мы нашли наш дом почти непригодным для проживания. В дождь в комнатах сразу появлялись протечки, после каждого снегопада в коридорах начиналось наводнение, а отремонтировать крышу как следует было невозможно: у плотников не было бревен для стропил, у кровельщиков — железа для водостока; с большим трудом заделали толем самые большие дыры, но, как только выпадал снег, надо было самому лезть на крышу, чтобы своевременно сбросить его оттуда лопатой. Телефон барахлил, так как в проводах вместо меди использовали сталь; поскольку помощников не было, то все приходилось тащить на гору самим.

Но больше всего донимал холод, так как угля не было во всей округе, поленья из садовых деревьев были сырыми и шипели, как змеи, вместо того чтобы гореть, и, потрескивая, плевались, вместо того чтобы греть. По необходимости мы перебивались торфом, который создавал хотя бы видимость тепла, но целых три месяца я писал, не вылезая из постели, посиневшими от холода руками, которые после каждой страницы, чтобы согреть, снова прятал под одеяло. Но даже это неприветливое пристанище необходимо было оттаивать, ибо ко всеобщей нехватке продуктов питания и топлива прибавился в тот катастрофический год еще и жилищный голод.

Четыре года в Австрии не строили, многие дома пришли в негодность, а тут еще стал прибывать бесчисленный поток демобилизованных солдат и освобожденных военнопленных, не имевших крова над головой, так что в каждую свободную комнату решено было вселять семью. Четырежды к нам навещались комиссии, но мы давно уже добровольно отдали две комнаты, а необходимость и холод нашего дома, вначале столь враждебные нам, теперь стали нашими помощниками: никто,

кроме нас, не хотел преодолевать сто ступеней, чтобы затем мерзнуть.

Всякий спуск в город был тогда чрезвычайным событием; впервые я смотрел в желтые и страшные глаза голода. Хлеб — черное месиво, имевшее вкус смолы и глины, кофе — пойло из обожженного ячменя, пиво — желтая водичка, шоколад — подкрашенный сахар, картофель — мороженный; многие, чтобы не забыть вкус мяса, разводили кроликов; в нашем саду какой-то парень пристрелил белочку для воскресной трапезы, а ухоженные собаки и кошки довольно редко возвращались с дальних прогулок. То, что предлагалось из тканей, в действительности было обработанной бумагой, эрзацем эрзаца; мужчины, едва таскавшие ноги, почти все были одеты в ношеную, в том числе русскую, военную форму, которую они доставали на складе или в госпитале, где в этой одежде умер уже не один человек; брюки, сшитые из старых мешков, были не редкость. Каждый шаг по улицам, где витрины выглядели разграбленными, штукатурка, как струпья, осыпалась с обветшалых домов, а изможденные люди из последних сил тащились на работу, вызывал отчаяние.

В деревне дела с питанием обстояли лучше; но при тотальном падении нравственности ни одному крестьянину и в голову не могло прийти отдавать свое масло, свои яйца, свое молоко по установленным законом «максимальным ценам». Он придерживал все, что мог, в закромах, выжидая, когда в его дом пожалуют выгодные покупатели. Вскоре возникла новая профессия, так называемые «мешочники». Безработные мужчины, прихватив один или два рюкзака, отправлялись по деревням, в наиболее богатые места добирались даже по железной дороге, чтобы недозволенным образом раздобыть продукты, которые затем перепродавались в городе в розницу в четыре-пять раз дороже.

Сначала крестьяне радовались уйме бумажных денег, которые в обмен за их масло и яйца посыпались дождем, и тому, что они тоже не лыком шиты. Но как только они, с туго

набитыми бумажниками, являлись в город, чтобы приобрести нужные вещи, то, к своему огорчению, обнаруживали, что, пока они за свои покупки запрашивали в пять раз дороже, цены на молоток, котелок, косу, которые они хотели купить, вырастали в двадцать или пятьдесят раз. Вскоре они стали ценить лишь промышленные изделия и требовали вещь за вещь, товар за товар; человечество, благополучно откатившееся рытвом окопов к пещерным временам, отменило и тысячетлетнее назначение денег и возвратилось к примитивному товарообмену.

По всей стране пошла удивительная торговля. Горожане тащили крестьянам в деревни то, без чего могли обойтись сами: китайские фарфоровые вазы и ковры, сабли и ружья, фотоаппараты и книги, лампы и украшения; так, попав в зальцбургский крестьянский дом, можно было, к своему удивлению, обнаружить индийского будду, уставившегося на тебя, или книжный шкаф в стиле рококо с французскими книгами в коже, которыми новые владельцы немало гордились. «Настоящая кожа! Франция!» — хвастались они, надув щеки. Вещи, но только не деньги, — вот что стало правилом. Иным приходилось снимать с пальца обручальное кольцо, а с живота кожаный ремень, чтобы этот живот набить.

В конце концов вмешались власти, чтобы пресечь торговлю из-под полы, которая на деле была выгодна лишь богатым; между провинциями устанавливались кордоны, чтобы отбирать товар у велосипедных и железнодорожных мешочников и передавать его в городские ведомства снабжения продовольствием. Мешочники ответили тем, что организовывали ночные перевозки по образцу Дикого Запада или подкупали инспекторов, у которых у самих дома были голодные дети; подчас дело доходило до настоящих сражений с револьверами и ножами, с которыми эти парни после четырехлетней фронтовой практики умели обращаться так же хорошо, как и по-военному искусно скрываться от погони. С каждой неделей хаос возрастал, население все сильнее роптало.

С каждым днем деньги обесценивались все больше. Сосед-

ние государства заменили старые австро-венгерские денежные знаки собственными, а крохотной Австрии предоставили возможность погасить главные долги старой «кроны». Первым признаком недоверия населения было исчезновение металлических денег, ибо кусочек меди или никеля по сравнению с просто разрисованной бумагой представлял собой все же «субстанцию». И хотя государство постоянно увеличивало выпуск искусственных денег в невероятных масштабах, чтобы, по рецепту Мефистофеля, сделать их как можно больше, но все же не поспевало за инфляцией; в результате каждый город, каждый поселок и в конечном итоге каждая деревня начали печатать свои «денежные суррогаты», которые в соседней деревне не признавали, а позднее, ввиду их бесполезности, просто выбрасывали. Экономист, который смог бы наглядно описать все эти этапы — сначала инфляцию в Австрии, а затем в Германии, — как мне кажется, по занимательности легко превзошел бы любой роман, ибо хаос принимал все более фантастические размеры.

Вскоре никто уже не знал, сколько что-либо стоит. Цены прыгали произвольно; коробок спичек стоил в магазине, который своевременно поднял цену, в двадцать раз больше, чем в другом магазине, где доверчивый владелец, ничего не подозревая, продавал свой товар еще по вчерашней цене, и в качестве вознаграждения за его честность его магазин очищали за час, ибо один сообщал другому и каждый бежал и покупал все, что имелось в продаже, независимо от того, нуждался он в этом или нет. Даже аквариумная рыбка или старый телескоп были все же «субстанцией», а каждому была нужна вещь, а не бумага.

Самым невероятным образом разрыв сказывался при найме жилища, ибо правительство для защиты съемщиков, составлявших огромную массу, и в ущерб домовладельцам запретило любое повышение цен. Вскоре в Австрии квартира средней величины стоила ее съемщикам за целый год меньше одного обеда; пять или десять лет вся Австрия, по сути дела

(ибо и в эти годы расторжение договоров было запрещено), прожила чуть ли не даром.

Из-за такого безумного хаоса положение с каждой неделей становилось все более абсурдным и безнравственным. Кто сорок лет копил, а потом патриотически вложил свои деньги в военный заем, превращался в нищего. У кого были долги, тот от них избавлялся. Кто жил только на продовольственные карточки, умирал с голоду; кто нагло плевал на все нравственные нормы, ел досыта. Кто умел дать взятку, преуспевал; кто спекулировал, получал прибыль. Кто торговал честно, тот разорялся; кто высчитывал все до копейки, того надудали. Не было никакой меры ценности, когда деньги таяли и улетучивались на глазах; не было никакой иной добродетели, кроме одной — быть ловким, изворотливым, безрассудным и уметь обуздать скачущего коня, не дав затоптать себя.

И в то время как австрийцы из-за резкого изменения цен потеряли всякое представление о них, некоторые иностранцы смекнули, что у нас можно неплохо пожить. Единственной ценностью, оставшейся стабильной за все три года инфляции, которая неудержимо развивалась, были иностранные деньги. Каждый, когда австрийские кроны расползались, словно студень под пальцами, хотел иметь швейцарские франки, американские доллары, и очень много иностранцев пользовались конъюнктурой, чтобы хоть что-то откромсать от бьющейся в конвульсиях умирающей австрийской кроны, Австрия была «открыта» и переживала роковой «сезон иностранцев». Все гостиницы в Вене были переполнены этими стервятниками; они скупали все, от зубной щетки до поместий, они опустошали частные коллекции и антикварные магазины, прежде чем владельцы в их бедственном положении замечали, как нагло они обворованы и ограблены.

Мелкие гостиничные портье из Швейцарии, стенографистки из Голландии жили в княжеских апартаментах отеля на Рингштрассе. И каким бы невероятным ни показался этот факт, я могу засвидетельствовать, что знаменитый отель-люкс «Европа» в Зальцбурге долгое время полностью занима-

ли английские безработные, которые благодаря достаточному английскому пособию по безработице имели здесь более дешевое жилье, чем в своих slums* дома. Все, что не было пришито и прибито, исчезало; постепенно весть о необычайной дешевизне жизни в Австрии разнеслась повсюду, новые алчные гости прибывали теперь из Швеции, из Франции, на центральных улицах Вены чаще говорили на итальянском, французском, турецком и румынском, чем на немецком. Даже Германия, где инфляция сначала проходила в более медленном темпе — правда, чтобы потом обогнать нашу в миллион раз, — использовала свою марку против трещавшей по швам кроны.

Зальцбург как пограничный город давал мне прекрасную возможность наблюдать эти ежедневные грабительские нашествия. Сотнями и тысячами из соседних мест прибывали сюда баварцы и рассеивались по всему городу. Они здесь заказывали себе костюмы, чинили машины, они шли в аптеки и к врачам, крупные фирмы из Мюнхена отправляли письма и телеграммы за границу из Австрии, чтобы извлечь выгоду из разницы в почтовом сборе. В конце концов по настоянию германского правительства был введен пограничный контроль для предотвращения того, чтобы предметы первой необходимости покупались не в более дешевом Зальцбурге, где за одну марку фактически получали семьдесят австрийских крон, а в местных магазинах, и на таможене решительно конфисковывалась любая сделанная в Австрии вещь.

Но один предмет торговли, который конфисковать не могли, пересекал границу свободно: пиво, находившееся уже в желудке. И любители пива из Баварии изо дня в день прикидывали по курсу, могут ли они выпить в Зальцбурге вследствие обесценивания кроны пять или шесть или десять литров пива за те деньги, за которые дома они получили бы лишь один. Более чудесной приманки придумать было невозможно, и вот с женами и детьми сюда из соседнего Фрейлассинга и

*Трущобах (англ.).

Рейхенхалля потянулись толпы, чтобы доставить себе удовольствие влить в себя столько пива, сколько позволит вместить желудок. Каждый вечер вокзал являл собой настоящее скопище пьяных, орущих, рыгающих, плюющих человеческих орд; иных, нагрузившихся чересчур, к вагонам доставляли прямо на тележках для багажа, прежде чем поезд, из которого раздавались крики и громкое пение, отбывал в свою страну.

Разумеется, они не предвидели, эти веселые баварцы, что скоро их ждет ужасный реванш. Ибо, когда крона стабилизировалась, а марка, напротив, в астрономических пропорциях упала, с этого же вокзала австрийцы отправлялись к ним, в Германию, чтобы, в свою очередь, дешево напиться, и то же представление началось во второй раз, только теперь в обратном направлении. Эта пивная война в разгар обеих инфляций относится к моим самым необычным воспоминаниям, ибо она, как в капле воды, отражает всю нелепость тех лет, быть может, ярче всего.

* * *

Поразительно, что сегодня я никак не могу вспомнить, как мы в те годы сводили концы с концами, как каждый австриец из раза в раз добывал тысячи и десятки тысяч крон, а немец потом — миллионы на хлеб насущный. Но самое невероятное заключалось в том, что они находились. Привыкли, приспособились к хаосу. Следуя логике, иностранец, не переживший того времени, когда яйцо в Австрии стоило столько же, сколько раньше роскошный автомобиль (а в Германии чуть позже за него платили четыре миллиарда марок — примерно то, во что раньше оценивали стоимость всех домов Большого Берлина), должен был представлять себе, что женщины в ту пору как сумасшедшие, с всклокоченными волосами носились по улицам, магазины стояли пустые, купить было абсолютно нечего, а уж театры и места увеселений, разумеется, пустовали.

Но удивительным образом все было как раз наоборот. Воля к жизни оказалась сильнее, чем неустойчивость денег. Посре-

ди финансового хаоса повседневная жизнь продолжалась почти по-прежнему. Если брать все в отдельности, то изменилось очень многое: богатые стали бедными, так как их деньги в банках, стоимость их облигаций государственного займа растаяли, спекулянты становились богатыми. Но маховик крутился, не заботясь о судьбе каждого в отдельности, все дальше, все в том же ритме; ничто не замирало: пекарь пек хлеб, сапожник тачал обувь, писатель писал книги, крестьянин возделывал землю; поезда отправлялись по расписанию, газета каждое утро в обычное время лежала под дверью, а места увеселений — бары, театры — были переполнены.

Ибо именно потому, что самое устойчивое всегда — деньги с каждым днем обесценивались, люди тем больше ценили истинные блага жизни: труд, любовь, дружбу, искусство и природу, — и все в разгар катастрофы жили интенсивней и напряженней, чем когда-либо; юноши и девушки отправлялись в горы и возвращались домой загорелыми, в танцевальных залах до глубокой ночи звучала музыка, повсюду открывались новые предприятия и магазины; о себе скажу, что я вряд ли когда-нибудь жил и работал более напряженно, чем в те годы. То, что мы ценили прежде, стало еще более ценным; никогда в Австрии не любили искусство больше, чем в те годы хаоса, потому что на примере вероломства денег познали, что лишь вечное в нас было по-настоящему устойчивым.

Никогда, например, не забуду оперный спектакль тех крайне тяжелых дней. По полутемным улицам приходилось пробираться на ощупь, ибо освещение из-за нехватки угля было недостаточным, место на галерке оплачивали пачкой банкнот, которых раньше хватило бы на годовой абонемент в ложе-люкс. Сидели в пальто, потому что зал не отапливался, и прижимались к соседу, чтобы согреться; и как мрачен, как бесцветен был этот зал, раньше сверкавший мундирами военных и дорогими нарядами дам! Никто не знал, пойдут ли спектакли и на будущей неделе, если обесценивание денег продолжится, а состава с углем не будет еще неделю; отчаяние

охватывало здесь вдвойне — в этой роскоши и королевском великолепии. У пюпитров сидели оркестранты, серые тени, и они, в их старых, потертых фраках, истощенные и измученные всеми лишениями, и мы сами были подобны призракам в ставшем призрачным зале. Но вот дирижер поднял палочку, занавес раздвинулся, и удивительно легко стало на душе.

Каждый певец, каждый музыкант отдавали себя целиком и полностью, ибо они чувствовали, что это, возможно, их последнее выступление в этом дорогом сердцу месте. И мы слушали и внимали, открытые, как никогда раньше, ибо это, возможно, было в последний раз. Так жили мы все, мы — тысячи, мы — сотни тысяч; каждый отдавал свои последние силы в эти недели и месяцы и годы, короткий период перед закатом. Никогда я не ощущал в окружающих и в себе самом волю к жизни так сильно, как тогда, когда речь шла о главном: о существовании, о том, чтобы выжить.

* * *

И все же я затруднился бы объяснить, каким образом уцелела тогда разграбленная, нищая, злосчастная Австрия. Справа, в Баварии, образовалась республика Советов, слева — Венгрия во главе с Бела Куном стала большевистской; еще и сегодня остается мне непонятным, почему революция не перекинулась в Австрию. Во взрывчатке воистину недостатка не было. По улицам бродили возвратившиеся домой солдаты, полуголодные и полураздетые, и со злобой глядели на вызывающую роскошь тех, кто нажился на войне и инфляции; в казармах уже стоял в боевой готовности батальон Красной гвардии, а противодействовать ему было некому.

Две сотни решительных людей могли бы в то время взять власть в свои руки в Вене и во всей Австрии. Но ничего серьезного не произошло. Один-единственный раз какая-то группа анархистов попыталась устроить переворот, который легко был подавлен четырьмя или пятью дюжинами вооруженных полицейских. Так чудо стало действительностью; эта отре-

занная от своих сырьевых источников, своих фабрик, своих угольных шахт, своих нефтяных промыслов, эта разграбленная страна с обесцененной, падающей словно лавина бумажной валютой продолжала существовать, — возможно, благодаря своей слабости, потому что люди были слишком немощны, слишком голодны, чтобы еще за что-то бороться; возможно, однако, также благодаря ее самой характерной, типично австрийской черте: ее врожденной терпимости. Так, две самые крупные партии, социал-демократическая и христианско-социалистическая, несмотря на их глубокие разногласия, в этот тяжелейший час создали единое правительство.

Каждая из них пошла навстречу другой, чтобы предотвратить еще более тяжкие последствия. Жизнь стала постепенно налаживаться, силы консолидировались, и, к нашему собственному удивлению, произошло невероятное: это увечное государство уцелело и позднее даже собиралось защищать свою независимость, когда явился Гитлер, чтобы отнять у этого славного, готового на жертвы и удивительно стойкого в лишениях народа его душу.

Но радикального переворота в политическом смысле удалось избежать лишь чисто внешне: подспудно в эти первые послевоенные годы происходила невиданная революция. Вместе с армией было разбито и еще кое-что: вера в непогрешимость авторитетов, в повиновении которым нас воспитывали. Неужто немцы будут и впредь восхищаться своим кайзером, который поклялся воевать «до последнего вздоха человека и лошади», а сам под покровом ночи бежал за границу, или своим генеральным штабом, своими политиками или поэтами, которые неустанно рифмовали «войны — страны», «беды — победы». Весь ужас обнаружился только теперь, когда в стране развеялся пороховой дым и стал явным урон, причиненный войной. Разве можно и дальше пользоваться моральным кодексом, позволявшим четыре года подряд убивать и грабить, называя это героизмом и аннексией? Разве может народ и далее верить обещаниям государства, которое аннулировало

все неугодные ему обязательства, данные гражданам? Ведь те же самые люди, та же камарилья стариков, так называемых «мудрейших», затмила нелепость войны своим еще более нелепым миром.

Все знают сегодня — а мы, немногие, знали еще тогда, — что этот мир был едва ли не *самой* большой моральной возможностью истории. Но старые генералы, старые государственные деятели, старые интересы разрезали и искромсали грандиозный черновой набросок на мелкие, ничтожные клочки бумаги. Великое, священное обещание, данное миллионам, что эта война будет последней, обещание, которое позволило отнять у разуверившихся, истощенных и отчаявшихся солдат их последние силы, было цинично принесено в жертву интересам военных промышленников и азарту политиканов, знавших, как благополучно спасти от мудрого и гуманного требования свою старую, роковую тактику тайных договоров и переговоров за закрытыми дверями.

Открыв глаза, мир обнаружил, что он обманут. Обмануты матери, которые принесли в жертву своих детей, обмануты солдаты, которые вернулись домой нищими, обмануты все те, кто мечтал о новом, более благополучном мире, а теперь увидел, что старая игра, ставкой в которой было наше существование, наше счастье, наше время, наше имущество, вновь начата теми же самыми или новыми авантюристами. Стоит ли удивляться, что новое поколение с недоверием и упреком смотрело на своих отцов, у которых сначала отняли победу, а затем мир? Которые все делали плохо, которые ничего не предусмотрели и ничего не умели рассчитать верно? Вполне понятно, что у нового поколения пропала всякая почтительность к старшим. Оно не верило больше родителям, политикам, учителям; любое постановление, любой призыв государства воспринимались с предубеждением.

Послевоенное поколение разом освободило себя от прежних норм поведения, отвернулось от всех традиций, решительно взяв свою судьбу в собственные руки, напроочь покон-

чив с прошлым и устремившись в будущее. С него должен начаться совершенно иной мир, совсем другие порядки во всех сферах жизни; и, само собой разумеется, все началось с диких крайностей. Со всеми и со всем, что не было связано с их поколением, было покончено. Вместо прежних путешествий с родителями двенадцатилетние, тринадцатилетние дети организованными и уже весьма хорошо просвещенными в сексуальном отношении стайками потянулись, словно «перелетные птицы», по стране до Италии и Северного моря. В школах по русскому образцу были введены ученические комитеты, которые следили за учителями, «учебная программа» низвергнута, ибо дети желали учить только то, что им нравилось.

Бунтовали против всякого действующего правила ради самого бунта, даже против самой природы, против извечной противоположности полов. Девушки подстригали себе волосы, и настолько коротко, чтобы по «мальчишеским головам» их нельзя было отличить от парней; молодые мужчины, в свою очередь, брились, чтобы казаться женственнее. И каждое такое проявление «самости» объявляло себя самым радикальным и революционным — в искусстве, разумеется, тоже. Новая живопись объявила все, что создали Рембрандт, Гольбейн и Веласкес, устаревшим и приступила к самым диким кубистским и сюрреалистическим экспериментам. Все то, что было понятно, отвергалось — мелодия в музыке, сходство в портрете, ясность в языке. Местоимения «этот, эта, это» были изъяты, синтаксис поставлен на голову, писали «бессвязно» и «задиристо», телеграфным стилем, яростными междометиями; любая литература, которая не была «актуальной», то есть не предавалась рассуждениям о политике, выбрасывалась на помойку. Музыка непременно выискивала новую тональность и синкопировала такты, архитектура выворачивала здания изнутри наружу, из танца исчез вальс, уступив место кубинским и негритянским ритмам; мода, все откровеннее оголяя тело, становилась все более нелепой; Гамлета играли в театре во фраке, в самых неожиданных постановках.

Во всех областях началась эра дичайшего экспериментирования, которая одним-единственным дерзким прыжком пыталась оставить позади все прежнее, созданное до нее, совершенное; и чем моложе, чем менее образованным был человек, тем более был он приемлем, так как не был связан никакой традицией, — наконец-то молодежь могла дать выход своей ярости против нашего родительского мира.

Но в этом опустошительном карнавале ничто не представлялось мне более трагикомическим, чем зрелище того, как многие интеллектуалы старшего поколения, в паническом страхе отстать и прослыть «несовременными», лихорадочно натягивали маску художественного буйства, неуклюже хромая, норовили пуститься по самым избитым окольным дорогам. Честные, славные, седобородые профессора академии покрывали свои прежние, обесцененные натюрморты символическими угольниками и кубами, потому что молодые устроители (повсюду теперь искали молодых, а еще лучше: самых молодых) выставили из галерей их картины как слишком «классические» и отправили их в запасники,

Писатели, которые десятилетиями писали простым, ясным немецким языком, покорно расчленяли фразы и упражнялись в «злободневности»; солидные прусские тайные советники читали с кафедр политэкономия, прежние придворные балерины, на три четверти голые, выбрасывая ножки, танцевали «Аппассионату» Бетховена и «Ночь преображения» Шёнберга. Повсюду старость стыдливо поспешала вслед за последней модой; тщеславие вдруг стало проявляться лишь в одном: в желании быть «молодым» и как можно скорее, учитывая то, что еще вчера было современным, придумать еще более современное, еще более радикальное и ранее неизвестное направление.

Что за дикое, анархическое, невероятное время — те годы, когда в Австрии и Германии, вместе с убывающей ценностью денег, стали шаткими все прочие ценности! Эпоха вдохновенного экстаза и дикого надувательства, беспрецедентная смесь

нетерпения и фанатизма. Все, что было экстравагантно и загадочно, переживало золотые времена: теософия, оккультизм, спиритизм, сомнамбулизм, антропософия, хиромантия, графология, индийская йога и парацельский мистицизм.

Все, что обещало острые, ранее неизвестные ощущения, любой из наркотиков: морфий, кокаин и героин — сбывалось нарасхват; в театральных пьесах кровосмешение и отцеубийство, в политике — резкое размежевание между сторонниками коммунизма или фашистами — вот единственно популярные темы; любая форма умеренного, напротив, обязательно отвергалась; но я не хотел бы утратить воспоминания об этом безжалостном времени — ни о роли его в моей собственной жизни, ни в развитии искусства.

Как всякая духовная революция, оно, безудержно наступая, первым же ударом очистило атмосферу от всего удушающе традиционного, разрядило напряжение многих лет и, несмотря на все, оставило от своих дерзких экспериментов плодотворные начинания. И как бы сильно ни отталкивали нас его крайности, мы не имеем права его поносить и высокомерно отвергать, ибо, по сути дела, это новое поколение пыталось сделать — пусть даже излишне запальчиво, слишком нетерпеливо — то, что наше поколение не сумело из осторожности и оторванности от жизни. По существу, они правильно чувствовали, что послевоенное время должно быть иным, чем предвоенное, а разве мы, старшие, не желали точно так же новой эпохи, лучшего мира до войны и во время нее?

Но и после войны мы, старшие, вновь обнаружили нашу неспособность вовремя противопоставить опасной неополитизации мира наднациональную организацию. Правда, еще во время мирных переговоров Анри Барбюс, которому его роман «Огонь» принес мировую известность, пытался примирить всех европейских деятелей искусства. «Кларте» («Трезвомыслящие») — так должна была называться эта группа, в которой объединились бы писатели и деятели искусства всех наций, присягнувшие противостоять любому подстрекательству народов.

Барбюс возложил на меня и Рене Шикеле совместное руководство немецкой группой — наиболее тяжелую часть задачи, ибо в Германии еще не улеглись страсти вокруг мирного договора в Версале. Было нереально заставить видных немцев стать выше узконациональных интересов, до тех пор пока Рейнская область, Саар и Майнцкий плацдарм оккупированы иностранными войсками. И тем не менее удалось бы создать организацию, как это позднее осуществил Голсуорси с Пен-клубом, если бы Барбюс не изменил свои взгляды. Поездка в Россию, где его с огромным воодушевлением встречали широкие массы народа, привела его к убеждению, что буржуазные и демократические государства не способны установить подлинное братство народов и что оно мыслимо лишь при коммунизме. Исподволь он пытался превратить «Кларте» в орудие классово-борьбы; мы, однако, были против радикализации. В итоге и этот сам по себе значительный проект был обречен на неудачу. Снова мы обнаружили несостоятельность в борьбе за духовную свободу из-за слишком большой любви к личной свободе и независимости.

В итоге оставалось только одно — тихо и в стороне от других делать свое дело. Для экспрессионистов и — если так можно выразиться — эксцессионистов я в мои тридцать шесть лет был отнесен уже к старшему, в сущности уже вымершему поколению, потому что отказался по-обезьяньи к ним подлаживаться. Мои прежние работы не нравились мне самому, я не переиздал ни одной книги моего «эстетского» периода. Нужно было начинать снова и переждать, пока нетерпеливая волна всех этих «измов» не откатится обратно, и для такого отступления весьма полезным оказалось отсутствие у меня личного тщеславия. Я начал большую серию «Строители мира», поскольку был уверен, что этим можно заниматься многие годы, я написал новеллы «Амок» и «Письмо незнакомки», отрешившись от всего и вся.

Постепенно жизнь в стране и в мире вокруг меня налаживалась, следовательно, и я не должен был медлить; прошло уже то время, когда я мог обманываться, что все, что я начи-

наю, только подготовительный этап. Полжизни уже было пройдено, возраст одних обещаний минул; ты должен их оправдать и на деле показать, на что ты способен, или окончательно признать себя побежденным.

СНОВА В МИРЕ

Три года — 1919, 1920, 1921, — три тяжелейших для Австрии послевоенных года, я прожил в Зальцбурге замкнуто — по правде говоря, оставив даже надежду снова когда-либо повидать мир. Послевоенная разруха, ненависть, которую вызывал за границей каждый немец или пишущий по-немецки, обесценивание нашей валюты — все было настолько катастрофичным, что пришлось смириться с мыслью о том, что придется всю свою жизнь безвыездно провести в тесных стенах родного дома. На деле, однако, все оказалось не так плачевно. Снова стали есть сытно. Можно было, ничего не опасаясь, работать за своим письменным столом. Ни грабежей, ни переворотов. Появился вкус к жизни. А что, если вновь вспомнить молодость и отправиться путешествовать?

О дальних путешествиях думать пока было рано. Но Италия находилась совсем близко, всего каких-нибудь восемь—десять часов пути. Может быть, рискнуть? В австрийцах видели там «заклятых врагов», хотя никто никогда не ощущал это лично на себе. Выходит, придется дать возможность друзьям от тебя отречься, пройти мимо них, не узнавая, чтобы не ставить их в неловкое положение? Я все же рискнул и в один прекрасный день пересек границу.

Вечером я прибыл в Верону и направился в гостиницу. Мне подали бланк для прописки, я заполнил его; портье прочитал листок и поразился, увидев в графе «национальность» «Austriaco». «Lei è Austriaco?» — спросил он. «Сейчас он мне укажет на дверь», — подумал я. Но когда я подтвердил, он чуть ли не возликовал. «Ah, che piacere! Finalmente!»* Это был

* «Вы — австриец?» — «Ах, какая радость! Наконец-то!» (ит.)

первый добрый знак и новое подтверждение ощущавшегося уже во время войны настроения, что вся пропаганда ненависти и травли породила лишь краткую умственную лихорадку, глубоко не затронув широкие массы Европы. Через четверть часа этот славный портье зашел в мою комнату, чтобы узнать, хорошо ли я устроился. Он был в восторге от моего итальянского, и мы расстались с сердечным рукопожатием.

На следующий день я был в Милане; снова увидел собор, медленно прошелся по галерее. Я радовался тому, что слышу музыку итальянской речи, уверенно ориентируюсь повсюду и воспринимаю незнакомое как что-то очень близкое. Проходя мимо большого здания, я обратил внимание на табличку «*Coggiere della Sera*». Вдруг я сообразил, что один из руководителей этой редакции — мой старый друг Д. А. Борджезе, в чьем обществе я — вместе с графом Кейзерлингом и Бенно Гейгером — провел в Берлине и Вене немало восхитительных вечеров. Один из лучших и самых страстных писателей Италии, имевший огромное влияние на молодежь, он, переведший «Страдания молодого Вертера» и будучи преданнейшим почитателем немецкой философии, во время войны занял резкую антигерманскую и антиавстрийскую позицию и, поддерживая Муссолини (с которым позднее разошелся), настаивал на войне. Всю войну сама мысль о том, что мой старый товарищ может оказаться среди самых непримиримых врагов, казалась мне невероятной; тем сильнее я захотел увидеть такого «врага». Но в то же время не хотелось доводить дело до того, чтобы мне указали на дверь. Поэтому я оставил для него свою визитную карточку, указав адрес отеля. Но не успел я спуститься по лестнице, как кто-то бросился вслед за мной; поразительно живое лицо сияло от радости — Борджезе; через пять минут мы говорили так же искренне, как прежде, а быть может, еще откровеннее. Он тоже извлек урок из войны, и, находясь на разных берегах, мы стали ближе друг другу, чем когда-либо ранее.

Так было повсюду. Во Флоренции на меня набросился на

улице старый друг Альберт Стринга, художник, и заключил в объятия так решительно и бесцеремонно, что моя жена, которая была со мной и не знала его, решила, что этот незнакомый бородач намерен покончить со мной. Все было как прежде — нет, еще сердечнее. Я вздохнул: война была похоронена. Война миновала.

Но она не миновала. Мы просто не знали этого. Нас всех подвела наша вера в добро, мы приняли нашу личную готовность за готовность целого мира. Но нам не следовало стыдиться нашего заблуждения, ибо не меньше, чем мы, заблуждались политики, экономисты, банкиры, которые, в свою очередь, в эти годы принимали обманчивую конъюнктуру за оздоровление, а усталость за умиротворение. На самом же деле война лишь переместилась из сферы национальной в социальную; и сразу же в первые дни я стал свидетелем сцены, глубинный смысл которой мне раскрылся намного позже.

О политической жизни в Италии мы, австрийцы, знали лишь то, что послевоенное разочарование способствовало укреплению левых социалистических и даже коммунистических тенденций. На каждой стене можно было видеть неровно написанные углем или мелом буквы «Viva Lenin».

Однако уже начали поговаривать о том, что некий Муссолини во время войны организовал какую-то новую группу. Но такие известия тогда никого не тревожили. Подумаешь, какая-то группировка! Такие в ту пору появились в каждой стране; они маршировали и в Прибалтике, в Рейнской области, в Баварии возникли нацистские организации, повсюду происходили демонстрации и путчи, которые, однако, почти всегда подавлялись. И никто не думал рассматривать этих «фашистов», которые вместо гарибальдийских красных рубашек завели черные, как существенный фактор будущего европейского развития.

Но в Венеции это слово вдруг наполнилось для меня конкретным содержанием. Я приехал в любимый город на лагунах из Милана во второй половине дня. Ни одного носильщика, ни

одной гондолы, лишь без дела стояли рабочие и служащие вокзала, руки демонстративно в карманах. Поскольку у меня было два тяжелых чемодана, я, оглядевшись в поисках помощи, спросил пожилого господина, где здесь можно найти носильщика. «Вы прибыли в плохой день, — ответил он с сочувствием. — Но теперь у нас подобные дни не редкость. Всеобщая забастовка». Я не знал, чем вызвана забастовка, но выяснять не стал. К подобным явлениям мы успели привыкнуть уже в Австрии, где к этому сильнодействующему средству нередко прибегали социал-демократы.

Таким образом, я с трудом сам тащил свои чемоданы дальше, пока не заметил, что из одного смежного канала мне поспешно и украдкой подает знак какой-то гондольер, к которому я и спустился вместе со своей поклажей. Проплыв мимо нескольких предназначенных штрейкбрехеру кулаков, мы через полчаса оказались в гостинице. По старой привычке я тотчас отправился на площадь Святого Марка. Она выглядела необычно заброшенной. Витрины большинства магазинов были задернуты, кафе пустовали, лишь множество рабочих отдельными группами стояли под аркадами, точно в ожидании чего-то необычного. Я тоже решил подождать.

И тут произошло следующее. Из соседнего переулка вышел маршем, точнее, вылетел в марш-броске отряд молодых людей, шагавших в четком строю, в ногу, слаженно певших какую-то песню, слова которой были мне не известны, — позднее я узнал, что это была «Джовинецца». И вот они уже, все так же в ногу, размахивая дубинками, стремительно протаранили превосходящую во сто раз толпу, прежде чем та опомнилась, чтобы дать отпор. Наглый подход этого маленького сплоченного отряда произошел так быстро, что все осознали, что имела место провокация, лишь когда он уже скрылся из виду. Возмущенные, собирались теперь рабочие вместе и сжимали кулаки, но было поздно. Маленький штурмовой отряд был уже далеко.

Увиденное своими глазами всегда убеждает сильнее. Тог-

да-то я впервые осознал, что этот мифический, неведомый мне фашизм есть нечто реальное, нечто искусно управляемое и что среди его приверженцев есть наглые, способные действовать юнцы. Теперь я уже не мог согласиться со своими старыми друзьями во Флоренции и Риме, которые презрительным пожатием плеч выражали свое отношение к этим молодчикам как к «наемной банде» и высмеивали их. Из любопытства я купил несколько номеров «Пополо д'Италия» и в резком, полатински кратком стиле Муссолини почувствовал ту же наглость, что и в том марш-броске через площадь Святого Марка. Разумеется, масштабов, которые приняло это движение уже через год, я не мог предвидеть. Но то, что здесь, как и повсюду, предстоит схватка, и то, что наш мир был далеко уже не тем миром, стало мне теперь ясно.

* * *

Для меня это послужило первым предупреждением о том, что в нашей Европе, под обманчиво спокойной поверхностью, прячутся опасные подводные течения. Второе предупреждение не заставило себя долго ждать. После своего недавнего успешного путешествия я решил поехать летом в Вестерланд, на немецкое Северное море. Для австрийца поездка в Германию в ту пору имела смысл. Марка по отношению к нашей искалеченной кроне в то время держалась еще уверенно, процесс оздоровления, казалось, шел полным ходом. Поезда ходили с точностью до минуты, гостиницы сверкали чистотой, повсюду вдоль железной дороги стояли новые дома, новые фабрики, везде был безукоризненно налаженный порядок, который презирали до войны, а в период разрухи вновь оценили.

Какое-то напряжение, конечно, висело в воздухе, ибо вся страна ждала, принесут ли переговоры в Генуе и Рапалло — первые переговоры, в которых Германия участвовала равноправно с недавними вражескими державами — столь желанное облегчение от военных тягот и пусть даже смутный при-

знак подлинного понимания. Возглавлял эти столь памятные для истории Европы переговоры не кто иной, как мой старый друг Ратенау. Его выдающийся организаторский талант замечательно проявился уже во время войны; буквально в первый час он определил самое слабое звено германской экономики, на которое позднее и пришелся смертельный удар: обеспечение сырьем, — и предусмотрительно централизовал всю экономику. И когда после войны потребовался дипломат, который — *au pair** с самыми умными и самыми опытными среди противников — смог бы противостоять им в качестве германского министра иностранных дел, выбор, естественно, пал на него.

Будучи в Берлине, я не без колебаний позвонил ему. Можно ли докучать человеку, когда он решает мировые проблемы? «Какая жалость, — сказал он мне по телефону, — сейчас мне и дружбу приходится приносить в жертву работе». Но с его исключительной способностью использовать каждую минуту, он тотчас изыскал возможность для встречи. Ему предстоит развезти по нескольким разным посольствам визитные карточки, а это от Груневальда займет полчаса на машине, и проще всего, если я найду к нему и эти полчаса мы побеседуем прямо в автомобиле. Действительно, его удивительная способность собраться, та поразительная легкость, с какой он переключался с одного дела на другое, были столь совершенны, что он мог вести разговор в автомобиле столь же ясно и обдуманно, как в своем кабинете. Я не хотел упускать возможность, и, мне думается, ему тоже хотелось выговориться перед человеком, политически нейтральным и связанным с ним многолетней дружбой.

Разговор затянулся, и я берусь утверждать, что Ратенау, который сам по себе отнюдь не был лишен честолюбия, вовсе не с легким сердцем и уж тем более без всяких амбиций принял портфель министра иностранных дел Германии. Он заранее

*Наравне (фр.).

знал, что задача пока неразрешима и он в лучшем случае может добиться лишь частичного успеха, нескольких незначительных уступок и что еще рано рассчитывать на подлинный мир и снисхождение. «Через десять лет, возможно, — сказал он мне, — при условии, что у всех дела будут плохи, а не только у нас одних. Сначала надо убрать из дипломатии стариков, а генералов оставить лишь в качестве безмолвных памятников на городских площадях». Наверно, нечасто случалось в истории, чтобы человек с таким скептицизмом и полный столь глубоких сомнений приступал к задаче, зная, что не он, а лишь время способно ее решить, и понимая, чем это грозит лично ему. После убийства Эрцбергера, взявшего на себя неприятную миссию заключения перемирия, от которой Людендорф предусмотрительно незаметно скрылся за границу, он уже не обманывался, что и его, идущего в авангарде борцов за всеобщее понимание, ожидает такая же участь. Но, холостой, бездетный и по складу характера глубоко одинокий, он считал, что ему нечего опасаться; и у меня не хватило решительности призвать его к осторожности.

То, что Ратенау сделал свое дело в Рапалло настолько хорошо, насколько это было возможно при сложившихся тогда обстоятельствах, — ныне исторический факт. Его блестящая способность быстро улавливать каждое благоприятное мгновение, его светскость и личный авторитет никогда не проявлялись более ярко. Но в стране уже сильны были группировки, которые знали, что лишь в том случае получают признание, если будут постоянно внушать побежденному народу, что он вовсе не побежден и что всякие переговоры и уступки есть предательство нации. Уже тогда эти тайные союзы были гораздо сильнее, чем это предполагали руководители республики, которые в своем понимании свободы были готовы предоставить ее любому, кто хотел навсегда уничтожить свободу Германии.

В городе, перед министерством, я распрощался с ним, не предполагая, что это было прощанием навсегда. А позже я

узнал по фотографиям, что улица, по которой мы ехали вместе, была той самой, где вскоре после этого убийцы подстерegli его в том же автомобиле; пожалуй, это чистая случайность, что я не стал свидетелем этой исторически роковой сцены. Так я еще более глубоко и зримо почувствовал трагическое событие, за которым последовала трагедия Германии, трагедия Европы.

В тот же день я был уже в Вестерланде; весело плескались в море тысячи курортников. Снова, как и в день сообщения об убийстве Франца Фердинанда, перед полетному беззаботными людьми играл оркестр, когда, словно белые буревестники, по аллее понеслись разносчики газет: «Вальтер Ратенау убит!»

Разразилась паника, и она потрясла весь рейх. Сразу упала марка, и продолжала безудержно падать, пока не дошла до фантастически сумасшедших чисел — миллиардов. Только теперь инфляция отмечала здесь свой шабаш ведьм, по сравнению с которым наша австрийская инфляция с ее невероятным соотношением один к пятнадцати тысячам казалась теперь всего лишь детской игрой. Чтобы рассказать о ней во всех подробностях, со всей ее абсурдностью, потребовалась бы целая книга, и эту книгу люди сегодняшнего дня восприняли бы как сказку. Были такие дни, когда утром газета стоила пятьдесят тысяч, а вечером — сто; кто хотел обменять иностранные деньги, оттягивал этот обмен на час-другой, ибо в четыре часа он получал во много раз больше, чем за шестьдесят минут перед тем.

Я послал, например, моему издателю рукопись, над которой работал целый год, и полагал себя обеспеченным, потребовав немедленной оплаты вперед за десять тысяч экземпляров; когда я получил перевод, он уже едва покрыл почтовые расходы на пересылку рукописи — неделю тому назад в трамвае платили миллионами, бумажные деньги развозились из имперского банка в другие его отделения на грузовиках, а через две недели банкноты в сто тысяч находили на помойке: их с презрением выбросил нищий. Шнурок от туфли стоил

больше, чем до того сам ботинок, нет, больше, чем роскошный магазин с двумя тысячами пар туфель; замена разбитого стекла больше, чем раньше весь дом; книга — чем до того типография с сотнями ее станков. За сто долларов можно было кварталами закупать семиэтажные дома на Курфюрстендам. Фабрики — в пересчете — стоили не больше, чем раньше какая-нибудь тележка.

Подростки, которые нашли в порту забытый ящик мыла, месяцами гоняли на машинах и жили как князья, продавая каждый день по одному куску, в то время как их родители, некогда богатые люди, перебивались чем только могли. Разносчики основывали банки и спекулировали валютами разных стран. Над всеми ними, на недостижимой высоте, стояла фигура крупного спекулянта Стиннеса. Пользуясь тем, что марка безудержно падала, он скупал все, что можно было купить: угольные шахты и суда, фабрики и пакеты акций, замки и поместья, — и все задаром, потому что любой вклад, любой долг превращался в нуль. Вскоре в его руках оказалась четверть Германии, и странное дело — им, словно гением, бурно восхищался народ, который в Германии всегда поклоняется видимому успеху.

На улицах тысячами стояли безработные и показывали кулаки сидевшим в роскошных автомобилях спекулянтам и иностранцам, которые покупали целые улицы, словно коробок спичек; каждый, едва умея читать и писать, продавал и перепродавал, наживался, хотя всех не оставляло тайное чувство, что все они обманывают себя и обмануты невидимой рукой, которая со знанием дела инспирировала этот хаос, чтобы освободить государство от его долгов и обязательств.

Мне кажется, я довольно основательно знаю историю общества, насколько мне известно, оно никогда не превращалось на столь длительный период в огромный сумасшедший дом. Менялись всякие представления о ценностях — и не только материальных; постановления правительства высмеивались и отвергались все традиции и нормы морали, Берлин превратился в сущий Вавилон. Бары, увеселительные заведения и рас-

пивочные росли как грибы. То, что мы видели в Австрии, оказалось лишь маленькой и робкой прелюдией этого шабаша ведьм, ибо немцы поставили с ног на голову всю свою кипучую энергию и весь свой педантизм.

Даже Рим Светония не знал таких оргий, как берлинские балы «трансвестистов», где сотни мужчин в дамских платьях, а женщины в мужском одеянии танцевали под покровительственным надзором полиции. Это сумасшествие как результат падения всех ценностей охватило как раз буржуазные, до тех пор непоколебимо устойчивые круги. Молодые девушки похвалялись своей извращенностью: в шестнадцать лет быть заподозренной в невинности считалось тогда в каждой берлинской школе позором, каждой хотелось поведать о своих похождениях, и чем более необычных, тем лучше. Но самым отвратительным в этой эротомании была ее ужасающая неестественность. В основе своей германская вакханалия, разразившаяся с инфляцией, была лишь слепым подражанием; по этим юным девушкам из хороших буржуазных семейств было видно, что куда охотнее они носили бы волосы просто на пробор, а не прилизанную мужскую прическу, охотнее копались бы ложечкой во взбитых сливках и ели бы пирожные, чем глотали крепкие напитки; по всему было заметно, что народу невыносима эта постоянная взвинченность, эта ежедневная беспощадная необходимость делать шпагат на канате инфляции и что вся уставшая от войны нация тоскует, собственно, лишь по порядку, покою, небольшой толике безопасности и гражданских прав. И в душе она отвергала республику не потому, что та хотя бы немного обузда свободу, а, напротив, потому, что слишком отпускала поводья.

Тот, кто пережил эти апокалипсические месяцы, эти годы, сам отторгнутый и ожесточенный, тот понимал: следует ждать ответного удара, ужаснейшей реакции. И, невидимые, ждали, усмехаясь, своего часа те, кто втянул немецкий народ в этот хаос: «Чем хуже в стране, тем лучше для нас». Они знали, что час их придет. Скорее вокруг Людендорфа, чем вокруг не

имевшего еще тогда власти Гитлера, уже совершенно открыто скапливались силы контрреволюции; офицеры, у которых отняли эполеты, организовывались в тайные союзы; обыватели, считавшие себя обманутыми, потому что пропали их накопления, тоже сплывались и были готовы откликнуться на любые призывы, лишь бы те обещали порядок.

Ничто не было для германской республики более пагубным, чем ее идеалистическая попытка оставить свободу всем, даже ее врагам. Ибо немецкий народ, народ порядка, не знал, что делать со своей свободой, и, полный нетерпения, уже выискивал тех, кто должен отнять ее у него.

Тот день, когда закончилась инфляция (это было в 1924 году), мог бы стать поворотным в истории. Вдруг словно ударил колокол, и вместо биллиона взвинченной марки вошла в оборот лишь одна-единственная новая марка, и все стало приходить в норму. В самом деле, мутная бурлящая пена со всей ее грязью и тиной вскоре отхлынула, бары, распивочные исчезли, условия нормализовались, каждый теперь мог подсчитать точно, сколько он выиграл, а сколько проиграл. Большинство, огромная масса проиграла. Но к ответу привлекались не те, по чьей вине произошла война, а те, кто, не ожидая за это никакой благодарности, самоотверженно взвалили на себя бремя нового порядка. Ничто не сделало немецкий народ — это надо усвоить хорошо — таким ожесточенным, таким яростно ненавидящим и таким подготовленным для Гитлера, как инфляция. Ибо война, какой бы убийственной она ни была, все же дарила часы ликования с колокольным звоном и победными фанфарами. И, по духу милитаристское государство, Германия чувствовала себя в связи с временными победами возвышенной в своей гордости, в то время как из-за инфляции она ощутила себя лишь вываленной в грязи, обманутой и униженной; целое поколение не забыло эти годы, не простило их германской республике и предпочло добровольно склонить голову перед своими палачами.

Но все это было еще впереди. Внешне в 1924 году дикая

фантасмагория, подобная пляске среди блуждающих огней, казалось, улеглась. Снова стало светло как днем и ясно, где вход, а где выход. И в этом укреплении порядка мы уже усматривали начало длительного периода спокойствия. И снова, в который раз, мы думали, что с войной покончено, — неизлечимые глупцы, какими мы были всегда. И хотя это была обманчивая мечта, она даровала нам все же десятилетие труда, надежды и даже безопасности.

* * *

Оглядываясь назад, видишь, что краткое десятилетие между 1924 и 1933 годами, с момента окончания инфляции в Германии и до захвата власти Гитлером, несмотря на все и вся, представляет собой передышку в веренице катастроф, свидетелями и жертвами которых наше поколение было с 1914 года. Не то чтобы за этот период не было никаких конфликтов, потрясений и кризисов (прежде всего экономический кризис 1929 года), но в течение этого десятилетия мир в Европе казался устойчивым, а это значило многое. Германию как равноправного члена приняли в Лигу Наций, займами содействовали ее экономическому подъему, а в действительности — ее тайному вооружению; Англия отказалась от своих претензий, а в Италии Австрию защищал Муссолини. Мир, казалось, снова желает лишь созидать.

Париж, Вена, Берлин, Нью-Йорк, Рим — города победителей и города побежденных — в равной мере становились красивее, самолет ускорил сообщение, оформление документов упростилось. Курс денег сделался устойчив; можно было посчитать, сколько получишь и сколько можно потратить, внимание уже не было приковано к внешним проблемам. Можно было снова работать, внутренне собраться, думать о духовных предметах. Можно было даже снова мечтать и тешить себя надеждами на единство Европы. В эти десять лет, краткий миг для истории, казалось, будто нашему много испытавшему поколению вновь дарована нормальная жизнь.

Для меня лично самым примечательным было то, что в те годы в мой дом милостиво пожаловал и обосновался гость — гость, которого я никогда не ждал, — успех. Разумеется, не очень пристойно упоминать о внешнем успехе своих книг, и в обычной ситуации я опустил бы и самое мимолетное упоминание, которое можно было бы истолковать как тщеславие или хвастовство. Но у меня есть на то особое право, и я даже вынужден не замалчивать данный факт моей жизни, ибо этот успех уже семь лет, с момента прихода Гитлера к власти, стал достоянием истории. Из сотен тысяч и даже миллионов моих книг, неизменно присутствовавших на полках книжных магазинов и многих домов, сегодня в Германии не сыскать ни одной; тот, у кого остался хотя бы один экземпляр, тщательно прячет его подальше, а в публичных библиотеках они хранятся в так называемых «шкафах для яда» — для тех немногих, кто пользуется ими с особого разрешения властей, в основном с целью «научного» поношения.

Ни читатели, ни друзья, которые мне писали, — никто из них давно уже не осмеливается указать на конверте мое объявленное преступным имя. Мало того, и во Франции, и в Италии, во всех в настоящее время поработанных странах, где книги мои — в переводе — принадлежали к самым читаемым, они по приказу Гитлера также ныне запрещены. Сегодня я как писатель, по выражению нашего Грильпарцера, стал одним из тех, кто «живой идет за своим собственным трупом»; все или почти все, что в течение сорока лет я создавал для всего человечества, раздавила эта тяжелая рука.

Таким образом, упоминая о своем «успехе», я говорю о том, что когда-то принадлежало мне, — так же как мой дом, мое отечество, мое достоинство, моя свобода, моя независимость; только имея в виду утрату всего этого, можно представить во всей глубине и неизбежности то падение, которое я, как и многие другие, столь же неповинные люди, испытал; поэтому я должен показать ту высоту, с которой оно последовало, беспрецедентность и неотвратимость уничтожения всего нашего литературного поколения.

Этот успех не ворвался в мой дом внезапно; он входил медленно, осторожно, но до тех пор, пока Гитлер не прогнал его от меня бичом своих постановлений, оставался постоянным и прочным. Он возрастал из года в год. Путь ему проложила первая же книга, которую я опубликовал после «Иеремии», — первый том моих «Строителей мира», трилогия «Три мастера»; экспрессионисты, активисты, экспериментаторы уже выдохлись, для терпеливых и упорных путь к массам был снова открыт. Мои новеллы «Амок» и «Письмо незнакомки» получили популярность, какой обычно пользовались лишь романы, их инсценировали, читали со сцены, экранизировали. Тираж маленькой книжечки «Звездные часы человечества» — ее читали во всех школах — за короткое время достиг в издательстве «Инзель» двухсот пятидесяти тысяч экземпляров.

За несколько лет мне удалось создать то, что, на мой взгляд, является для автора самым ценным проявлением успеха — содружество своих читателей, которые ждали каждую новую книгу, приобретали ее, верили в меня и доверие которых мне нельзя было обмануть. Постепенно их становилось все больше и больше; в Германии в первый день расходилось двадцать тысяч экземпляров каждой новой книги, прежде чем газеты успевали сообщить о ее появлении.

Иногда я пытался уклониться от успеха, но он буквально преследовал меня. Так, чтобы развлечь самого себя, я написал книгу — биографию Фуше; когда я отправил ее издателю, он сообщил мне, что тотчас издает десять тысяч экземпляров. Я срочно написал ему, убеждая не печатать так много. Фуше — фигура малоприятная, в книге нет ни одного любовного эпизода, такой книгой невозможно привлечь широкий круг читателей; для начала достаточно пяти тысяч. Всего через год в Германии было распродано пятьдесят тысяч экземпляров — в той самой Германии, которая сегодня не смеет прочесть ни одной моей строки. То же самое произошло — из-за моего почти патологического неверия в себя — с моей обработкой

«Вольпоне». Я хотел сделать версию в стихах, но написал все сцены — легко и свободно — за девять дней в прозе. Так как дрезденский «Гофтеатр», которому я был обязан премьерой моего первенца — «Терсита», именно в эти дни случайно заинтересовался моими новыми планами, я послал ему версию в прозе, предупредив: то, что я предлагаю, всего лишь первый набросок предполагаемого варианта в стихах. В ответ пришла телеграмма, чтобы я, ради Бога, ничего не менял; действительно, пьеса в этом виде прошла затем по сценам всего мира (в Нью-Йорке в «Гилдтиэтр» с Алфредом Лантом). Что бы я ни предпринимал в те годы, мне сопутствовал успех, и число немецких читателей все больше росло.

Так как в работе над биографией или эссе я всегда считал своим долгом выявить в чужих произведениях или исторических личностях причины их признания или непризнания современниками, то, размышляя над этим, не мог не спросить себя, что именно в моих книгах определило столь для меня неожиданный успех. В конечном счете это следствие присущего мне порока — того, что я являюсь нетерпеливым и темпераментным читателем. Всякое многословие, всякое суемудрие и неопределенная мечтательность, все нечеткое и неясное, всякое излишнее торможение действия романа, биографии, статьи раздражают меня. Лишь книга, которая целиком и полностью захватывает и читается залпом, заставляя затаить дыхание, доставляет мне удовольствие. Девять десятых всех книг, которые попадают в мои руки, я нахожу чрезмерно затянутыми, перегруженными излишними подробностями, пустыми диалогами и ненужными второстепенными персонажами, а потому недостаточно увлекательными, динамичными. Даже в самых знаменитых классических шедеврах мне мешают многие расплывчатые и затянутые места, и часто я предлагал издателям смелый план выпустить в виде опыта серией всю мировую литературу от Гомера через Бальзака и Достоевского до «Волшебной горы», основательно сократив в каждом конкретном случае все лишнее, тогда все эти произ-

ведения, несомненно имеющие непреходящее значение, могут быть восприняты и в наше время.

Эта антипатия ко всякой многоречивости и затянутости действия в чужих произведениях естественным образом должна была отразиться на моем собственном творчестве и «держать меня построже». Вообще я пишу легко и быстро, в первом наброске книги я даю перу полную свободу и записываю все, что подсказывает мне сердце. Точно так же в биографическом произведении: вначале я использую самые разнообразные документальные подробности, которыми только располагаю; в биографии, например в «Марии Антуанетте», я перепроверил каждый отдельный счет, чтобы представить ее личные расходы, просмотрел все газеты и памфлеты того времени, основательно изучил все протоколы процесса, вплоть до последней точки. Но в опубликованной книге из всего этого не осталось ни строки, ибо только по завершении первого, приблизительного наброска книги для меня, по сути дела, и начинается работа, работа по сокращению и увязке, работа, в которой отбрасывается версия за версией. Это непрестанное выбрасывание балласта за борт, постоянное уплотнение и прояснение внутренней архитектуры; в то время как многие не могут удержаться от соблазна рассказать о том, что они знают, и, держась за каждую удавшуюся строчку, хотят предстать намного шире и глубже, чем они есть на самом деле, мое честолюбие состоит в том, чтобы знать всегда больше того, что остается на поверхности.

Этот процесс уплотнения и тем самым усиления напряженности действия повторяется затем дважды и трижды в гранках; в конце концов это становится своего рода своеобразной охотой за еще одним предложением или хотя бы словом, отсутствие которых не уменьшит точность, но повысит динамичность повествования. В работе сокращение, пожалуй, доставляет мне наибольшее удовольствие. И я вспоминаю, как однажды, когда я поднялся из-за письменного стола особенно довольный и жена сказала, что, как ей кажется, сегодня мне

удалось нечто чрезвычайное, я гордо ответил: «Да, мне удалось вычеркнуть еще целый абзац и благодаря этому найти более динамичный переход».

Так что если иногда в моих книгах отмечают интенсивность развития действия, то это качество проистекает отнюдь не из природной пылкости или особой эмоциональности, а единственно из этого метода постоянного исключения всех излишних пауз и побочных шумов, и если я и признаю какое-нибудь писательское мастерство, то это умение расставаться с написанным, и я не сетую, когда из тысячи исписанных страниц восемьсот отправятся в корзину для мусора, а останутся только двести, очищенных от шелухи.

И если пытаться объяснить успех моих книг, речь должна идти о стремлении строго держаться в рамках малых жанров, ограничиваясь самым существенным, и я, чьи мысли с самого начала были связаны с Европой, с наднациональным, действительно почувствовал себя счастливым, когда появились и зарубежные издатели — французские, болгарские, армянские, португальские, аргентинские, норвежские, латышские, финские, китайские. Вскоре мне пришлось приобрести огромный стеллаж, чтобы разместить переводы моих книг, а как-то в статистическом отчете «Coopération Intellectuelle» Женевской Лиги Наций я прочел, что в настоящее время являюсь самым переводимым автором (но в силу своего характера счел это сообщение ложным).

Вскоре после этого прибыло письмо русского издательства, в котором оно предлагало мне издать полное собрание моих сочинений на русском языке и интересовалось, соглашусь ли я, чтобы предисловие к нему написал Максим Горький. Согласен ли я? Еще в школе читал я рассказы Горького из-под парты, уже многие годы любил его и восхищался им. Но мне и в голову не могло прийти, что он слышал обо мне, а тем более читал что-нибудь из моих книг и, уж конечно, то, что подобный мастер сочтет для себя возможным написать предисловие к моим произведениям.

А в один прекрасный день с рекомендациями — словно в них была необходимость — в моем зальцбургском доме появился американский издатель с предложением выпустить все мои произведения и публиковать их и в будущем. Это был Бенджамен Хюбш из «Викинг пресс», который с тех пор стал моим самым надежным другом и советчиком и, поскольку все, что у меня было, ныне втоптанно в грязь сапогами с подвернутыми голенищами Гитлером, предоставил мне последнее прибежище в слове, так как прежнее, родное, немецкое, европейское, я утратил.

* * *

Подобный внешний успех всегда опасен и может вскружить голову тому, кто больше привык полагаться на значительность замысла, чем на мастерство и результаты своего труда. Всякая известность сама по себе нарушает нормальное равновесие внутри личности. В обычном состоянии имя, которое носит человек, есть не больше чем обертка для сигары: просто этикетка, внешний, почти не обязательный атрибут, лишь условно связанный с его владельцем, его сущностью. Но в случае успеха это имя словно разбухает. Оно отрывается от человека, который его носит, и становится самовластью, силой, «вещью в себе», предметом торговли, капиталом и, наконец, силой, которая начинает довлеть над своим носителем, воздействовать на человека, который его носит.

Счастливые самонадеянные натуры имеют обыкновение неосознанно отождествлять себя с тем, что они делают. Титул, положение, орден и, как следствие этого, известность их имени способны укрепить их уверенность, углубить чувство собственного достоинства, заставляют их полагать, что им принадлежит особая роль в обществе, государстве и истории, и они невольно распускают хвост, чтобы оправдать сложившееся о них впечатление. Но тот, кто в силу своего характера относится к себе самому с недоверием, любой внешний успех воспри-

нимает как обязательство (насколько это возможно) и в столь нелегком случае оставаться самим собой.

Я вовсе не хочу сказать, что не радовался своему успеху. Напротив, я был счастлив, но лишь постольку, поскольку известность касалась моих книг, живших уже своей собственной жизнью, если не считать их призрачной связи с моим именем. Было трогательно, находясь в книжном магазине в Германии, вдруг увидеть, как, ни на кого не обращая внимания, входит маленький гимназист, требует «Звездные часы» и выкладывает за них свои считанные карманные деньги. Могло приятно тешить самолюбие, когда в спальном вагоне проводник брал паспорт и, увидев имя, возвращал его с большим почтением, или итальянский таможенник в благодарность за какую-нибудь книгу, которую он прочитал, милостиво отказывался от перетряхивания багажа.

Весьма приятны для автора и чисто внешние результаты его труда. Случайно я как-то приехал в Лейпциг как раз в тот день, когда шло печатание моей новой книги. Меня охватило необычайное волнение, когда я увидел, сколько человеческого труда связано с тем, что я написал на трехстах страницах бумаги за три или четыре месяца. Рабочие укладывали книги в огромные ящики, другие, отдуваясь, тащили их вниз к грузовикам, которые везли их к вагонам, идущим во все стороны света. Десятки девушек укладывали рядами листы бумаги, наборщики, переплетчики, экспедиторы, торговые агенты трудились с утра до ночи, и казалось, что этими книгами, сложенными в ряды, как кирпичи, можно было бы застроить приличную улицу.

И к материальной стороне дела я никогда не относился свысока. В начале пути я не осмеливался и подумать, что когда-нибудь смогу зарабатывать своими книгами деньги и даже существовать на доходы от них. Но вот они нежданно принесли немалые и все растущие суммы, которые, казалось, навсегда — кто мог предвидеть нынешние времена? — освобождали меня от всяких забот. Я мог широко предаться было-

му увлечению моей молодости — собирать автографы, и некоторые прекраснейшие, драгоценнейшие из этих чудесных реликвий нашли у меня любовно охраняемое пристанище. Если говорить по большому счету, то за свои все же довольно недолговечные произведения я смог приобрести рукописи непреходящих произведений, рукописи Моцарта и Баха, Бетховена, Гёте и Бальзака. Таким образом, было бы нелепой позой, вздумай я утверждать, что неожиданный внешний успех нашел меня равнодушным или даже настроенным отрицательно.

Но я искренен, когда говорю, что радовался успеху лишь постольку, поскольку он относился к моим книгам и моему литературному имени, что для меня он, однако, стал скорее обременительным, когда интерес стал вызывать я сам. С ранней юности во мне не было ничего сильнее инстинктивного желания оставаться свободным и независимым. Я чувствовал, что самое ценное, что есть у человека, — его личная свобода — сковывается и уродуется, когда выставляется на всеобщее обозрение. Кроме этого, то, что начиналось как увлечение, грозило принять форму профессии и даже некоего доходного дела. Каждая почта доставляла кипы писем, приглашений, предложений, анкет, на которые надо было отвечать, а когда я куда-нибудь уезжал на месяц, то потом два или три дня уходило на то, чтобы разобрать скопившуюся грудку и снова наладить «свое предприятие».

Сам того не желая, я благодаря спросу на мои книги оказался занят чем-то, что требовало порядка, учета, осмотрительности и сноровки, чтобы вести дело должным образом, — все это весьма достойные добродетели, которые, к сожалению, отнюдь не соответствовали моей натуре и самым серьезным образом грозили помешать хорошо обдуманному решению и планам. Поэтому чем больше от меня требовали участия в чем-то, чтения лекций, представительства по разным поводам, тем больше я уединялся, и мне никогда не удавалось преодолеть почти патологический страх, что придется отвечать собой за свое имя. Я и поныне совершенно инстинктивно стараюсь сесть в зале — на концерте, спектакле — в послед-

ний, неприметный ряд, и нет для меня ничего более невыносимого, чем выставлять себя напоказ на сцене или каком-то ином обозреваемом месте; анонимность существования в любой форме для меня — потребность.

С детских лет мне были непонятны те писатели и деятели искусства старшего поколения, которые старались, чтобы их узнавали прямо на улице — по бархатным курткам и развевающимся волосам, ниспадающим на лоб прядям, как, например, мои уважаемые друзья Артур Шницлер и Герман Бар, или по бросающейся в глаза бороде и экстравагантной одежде. Я убежден, что всякое обретение известности внешнего свойства невольно толкает человека, если процитировать Верфеля, «жить зеркальным отражением» своего собственного «я», в каждом жесте следовать определенному стилю; но с нарочитым изменением поведения утрачивается обычно сердечность, свобода и простодушие. Если бы сегодня я мог начать все сначала, то постарался бы наслаждаться обоими видами счастья: литературным успехом в сочетании с личной анонимностью, опубликовав свои произведения под другим, вымышленным именем; ибо жизнь уже сама по себе прекрасна и полна неожиданностей, а тем более жизнь двойная!

ЗАКАТ

Это время, о котором я всегда буду вспоминать с благодарностью, эти десять лет, с 1924-го по 1933-й, были для Европы относительно спокойными; но на политическом горизонте появился тот человек, и миру был положен конец.

Наше поколение, именно потому, что на его долю выпало столько тревог, приняло временную передышку как неожиданный подарок. Было такое чувство, словно мы должны навертать все, что украдено из нашей жизни мрачными военными и послевоенными годами: счастье, свободу, душевную сосредоточенность; мы работали больше, но не чувствовали усталости, мы путешествовали, экспериментировали, заново открывали для себя Европу, мир. Никогда еще не путешествовали

так много, как в эти годы, — может быть, молодежь спешила вознаградить себя за все, что было потеряно в разобщенности? А может, это было смутное предчувствие, что надо вовремя вырваться из этой норы, прежде чем ее засыпят?

Я тоже много путешествовал тогда, но иначе, чем в дни моей молодости. Теперь ни в одной стране я не был чужаком, повсюду имелись друзья. А также издатели, публика — ведь я больше не был безвестным любопытствующим посетителем, а приезжал в качестве автора своих книг. Это давало много преимуществ. Я получил гораздо больше возможностей для пропаганды идеи, которая много лет назад стала главной в моей жизни, — идеи духовного единения Европы. Лекции на эту тему я читал в Швейцарии, в Голландии, я произносил речи на французском языке в брюссельском Дворце искусств, на итальянском — во Флоренции, в историческом Дворце дождей, где бывали Микеланджело и Леонардо, на английском — в Америке во время лекционного турне от атлантического побережья до Тихого океана.

Да, путешествовал я иначе; я запросто общался с лучшими людьми страны, а не искал доступа к ним; те, на кого я в молодости взирал с благоговением и которым никогда не осмелился бы написать, стали моими друзьями. Я стал вхож в круги, как правило наглухо закрытые для непосвященных; я любовался частными коллекциями во дворцах Сен-Жерменского предместья, в итальянских палаццо; в государственных библиотеках я теперь уже не стоял с просительным видом у барьера, где выдают книги, — директора лично показывали мне самые редкостные и ценные издания; я бывал в гостях у антикваров, ворочающих миллионами долларов, например у доктора Розенбаха в Филадельфии, — рядовой коллекционер робко обходит стороной такие магазины.

Я впервые вступил в так называемый «высший» свет, да еще с тем преимуществом, что не нуждался в рекомендациях и все шли мне навстречу сами.

Но лучше ли я видел благодаря этому мир? Снова и снова томила тоска по путешествиям, какие я совершал в молодости,

когда никто меня не ждал и все поэтому представлялось таинственнее, — мне хотелось вернуться к прежнему способу путешествовать.

Прибывая в Париж, я не спешил в тот же день оповещать о своем приезде даже ближайших друзей, таких, как Роже Мартен дю Гар, Жюль Ромен, Дюамель, Мазерель. Мне хотелось прежде всего побродить по улицам — бесцельно, как некогда в студенческие годы. Я заходил в старые кафе и гостиницы, словно возвращался в свою молодость; как и прежде, если я хотел поработать, то выбирал самую неподходящую местность — Булонь, или Тирано, или Дижон; было так хорошо жить в неизвестности, в маленьких гостиницах (особенно после мерзости роскошных), то появляясь на поверхности, то уходя на глубину, распределяя свет и тень по собственной воле.

И что бы впоследствии ни отнял у меня Гитлер, но светлого чувства, что все-таки еще одно десятилетие было прожито так, как мне хотелось, с ощущением душевной свободы европейца, — этого даже он не в силах ни конфисковать, ни разрушить.



Одно из путешествий того времени было для меня особенно волнующим и поучительным — путешествие в новую Россию. Я собирался поехать туда еще в 1914 году, когда работал над книгой о Достоевском, но кровавая коса войны преградила мне путь, и с тех пор меня удерживали сомнения.

Благодаря небывалой доселе деятельности большевиков Россия стала после войны самой притягательной страной; не имея точных сведений, одни безудержно восхищались ею, другие питали к ней столь же фанатичную вражду.

Никто достоверно не знал — из-за пропаганды и бешеной контрпропаганды, — что там происходило. Однако было ясно, что там затеяли нечто совершенно новое, нечто такое, что может повлиять на судьбы всего будущего мира.

Шоу, Уэллс, Барбюс, Истрати, Жид и многие другие ездили туда; одни вернулись энтузиастами, иные — скептиками, и чего бы стоила моя сопричастность миру духа, моя устрем-

ленность к новизне, если бы я тотчас не загорелся возможностью сопоставить свои представления с увиденным собственными глазами.

Там были очень популярны мои книги — не только собрание сочинений с предисловием Максима Горького, но и маленькие грошовые издания, имевшие хождение в самых широких слоях народа; я мог не сомневаться в хорошем приеме. Но меня удерживало то, что любая поездка в Россию в те годы немедленно обрела характер некой политической акции; требовался публичный отчет — признаешь или отрицаешь, — а я, испытывая глубочайшее отвращение и к политике и к догматизму, не мог допустить, чтобы меня заставили после нескольких недель пребывания в этой необъятной стране выносить суждения о ней и о ее еще не решенных проблемах.

Поэтому, несмотря на жгучее любопытство, я не решился отправиться в Советскую Россию. И вот весной 1928 года я получил приглашение — в качестве представителя от австрийских писателей принять участие в праздновании столетнего юбилея Льва Толстого и выступить с речью о нем на торжественном вечере. У меня не было причин для отказа, поскольку поездка, в связи с общечеловеческой значимостью повода ее, не имела политического характера. Толстого — апостола непротивления — нельзя было представить большевиком, а говорить о нем как о писателе я имел полное право, так как моя книга о нем разошлась во многих тысячах экземпляров; к тому же мне представлялось, что для сплочения Европы это станет важным событием, если писатели всех стран объединятся, чтобы отдать дань восхищения величайшему среди них.

Я согласился, и мне не пришлось пожалеть о своем быстром решении. Поездка через Польшу уже была событием. Я увидел, насколько быстро умеет наше время залечивать раны, которые оно само себе наносит. Те самые галицийские города, развалины которых я видел в 1915-м, выглядели обновленными; я опять убедился, что десять лет, такой огромный для каждого человека период, — это всего лишь миг жизни народа.

В Варшаве ничто не напоминало о том, что по ней дважды, трижды, четырежды прокатились победоносные и разбитые армии. В кафе блистали элегантные женщины. Стройные офицеры в приталенных мундирах прогуливались по улицам, похожие, скорее, на ловких придворных актеров, наряженных военными. Повсюду ощущалось оживление, доверие и оправданная гордость за то, что новая, республиканская Польша так быстро поднялась из руин.

От Варшавы было уже недалеко до русской границы. Местность становилась все более плоской, почва — более песчаной; на каждой станции выстраивалось все население деревни в пестрых сельских нарядах: в запретную и закрытую страну проходил в те времена один поезд в день, и прохождение ослепительного вагона-экспресса, соединяющего миры: Восток и Запад, — это было целым событием. Наконец добрались до пограничной станции Негорелое!

Над железнодорожным полотном был натянут кумачовый транспарант с надписью, которую я не разобрал, так как это была кириллица. Мне перевели: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Пройдя под этим пламенеющим стягом, мы вступали в империю, где правил пролетариат, в Советскую республику, в новый мир. Правда, поезд, который нам подали, был отнюдь не пролетарский. Он оказался старорежимным спальным поездом и был роскошнее, чем европейские люкс-поезда, и удобнее — вагоны шире, а скорость меньше.

Впервые ехал я по русской земле, и — странное дело — она не казалась мне чужой. Все было удивительно знакомо — тихая грусть широкой пустынной степи, избышки, городки, высокие колокольни с луковичными завершениями, бородастые мужики — каждый не то крестьянин, не то пророк, — улыбавшиеся нам открыто и добродушно, женщины в пестрых платках и белых фартуках, торговавшие квасом, яйцами и огурцами. Откуда я знал все это? Исключительно благодаря замечательной русской литературе — по произведениям Тол-

стого, Достоевского, Аксакова, Горького, которые столь правдиво изобразили «жизнь народа». Мне казалось, хотя я и не знал языка, что понимаю то, что говорят эти люди — трогательно-простые мужики, спокойно стоявшие вокруг в своих просторных рубахах, и молодые рабочие в поезде, игравшие в шахматы, или читавшие вслух, или спорившие, — понимаю эту беспокойную, неукротимую энергию молодости, неимоверно возросшую в ответ на обращение отдать все свои силы. Сказывалось ли в этом отношении любовь Толстого и Достоевского к «народу», которая жила во мне как воспоминание — во всяком случае, уже в поезде меня охватило чувство симпатии к детскому и трогательному, умному и естественному в этих людях.

Две недели, которые я провел в Советской России, требовали непрерывного огромного напряжения. Смотрел, слушал, восхищался, разочаровывался, воодушевлялся, сердился — меня без конца бросало то в жар, то в холод. Уже сама Москва двоилась: вот великолепная Красная площадь: стены и башни с луковичами — нечто поразительно татарское, восточное, византийское (а стало быть, исконно русское), — а рядом, словно выходцы из другого мира, современные, сверхсовременные дома, подобные американским...

Один-два сверкающих автомобиля — и тут же бородатые, грязные извозчики, погоняющие кнутом, причмокиваньем и ласковыми словами своих тощих лошадемок; Большой театр, в котором мы выступали перед пролетарской публикой, сиял царским великолепием и торжественным блеском, а на окраинах стояли ветхие дома-инвалиды, прислонясь друг к другу, чтобы не упасть. Слишком много накопилось старого, инертного, заржавленного, и теперь все стремилось без промедления стать современным, ультрасовременным, супертехническим. Из-за этой спешки Москва казалась переполненной, перенаселенной, сумбурной и хаотичной... Повсюду толкались люди: в магазинах, перед театрами, и повсюду им приходилось ждать, излишняя заорганизованность приводила к сбо-

ям. Молодые руководители, призванные навести «порядок», еще вкушали радость от сочинительства записок и разрешений, что тормозило дело.

* * *

Большой вечер, который должен был начаться в шесть часов, открылся в половине десятого; когда в три часа утра, смертельно усталый, я покидал театр, ораторы, как ни в чем не бывало, продолжали выступать. Время утекало между пальцев, но все же каждая секунда была насыщена впечатлениями и спорами; во всем этом был какой-то лихорадочный ритм, и я чувствовал, как захватывает это загадочное горение русской души, неукротимая страсть выплескивать мысли и чувства еще горячими.

Сам не понимая отчего, я пребывал в какой-то восторженности: по-видимому, дело было в самой атмосфере, беспокойной и новой; возможно, я уже сроднился с русской душой.

Было много замечательного, особенно в Ленинграде, этом городе, созданном неукротимым государем, городе с широкими проспектами, громадными дворцами, — и в то же время это был гнетущий Петербург «Белых ночей», город Раскольникова. Незабываемое зрелище: в величественном Эрмитаже толпы рабочих, солдат, крестьян, в тяжелых сапогах, благоговейно сняв шапки, словно перед иконами, проходили по бывшим царским апартаментам, разглядывая с затаенной гордостью картины — теперь это наше, и мы научимся понимать такие штуки. Учителя проводили по залам круглощеких детей, комиссары искусства объясняли слегка робеющим крестьянам Рембрандта и Тициана; всякий раз, когда обращали внимание на детали картин, зрители взглядывали исподлобья, украдкой. Здесь, как и повсюду, это бескорыстное и искреннее стремление одним духом поднять народ из тьмы невежества до понимания Бетховена и Вермера отдавало чем-то наивным, но желание одних с ходу объяснить, а других — с лету понять

высочайшие ценности было у тех и у других одинаково нетерпеливым.

В школах детям давали срисовывать самые странные, самые экстравагантные вещи, у двенадцатилетних девочек на партах лежали книги Гегеля и Сореля (которого я и сам в то время еще не знал), извозчики, и читать-то еще не выучившись как следует, не расставались с книгой лишь потому, что это были книги, а книги — это учение, то есть дело чести для молодого пролетариата. Ах, как часто случалось улыбаться, когда нам показывали обыкновенные фабрики, ожидая, что мы удивимся, как будто мы ни в Европе, ни в Америке ничего подобного не видели. «Электрическая», — сказал мне один рабочий, указывая на швейную машину, и в глазах его было ожидание: ведь я должен был изумиться.

И я посмеивался, восхищаясь, и восхищался, улыбаясь про себя; до чего же замечательный, одаренный и добрый большой ребенок эта Россия, думал я постоянно и спрашивал себя: сможет ли она и в самом деле выучить этот невероятный урок так скоро, как решила? Воплотится ли этот план с еще большим великолепием или увязнет в старой русской обломовщине? Временами я был уверен в успехе, порой сомневался. Чем больше я видел, тем меньше понимал суть происходящего.

Но разве только во мне была эта двойственность, разве не было ее еще больше в глубине русской души, даже в душе Толстого, на чествование которого мы прибыли? В поезде, по пути в Ясную Поляну, я говорил об этом с Луначарским. «Кем он, собственно, был, — сказал мне Луначарский, — революционером, реакционером? Разве сам он это знал? Как настоящий русский, он хотел всего сразу, хотел одним махом изменить весь тысячелетний мир. Совсем как мы, — добавил он, улыбаясь, — и, подобно нам, он хотел добиться этого с помощью одной-единственной формулы. Нас, русских, неверно понимают, называя терпеливыми. Мы терпеливы телом и даже душой. Но мышление у нас нетерпеливее, чем у любого другого народа, нам подавай сию минуту всю правду-матку. И как он, старик, страдал из-за этого».

И в самом деле, бродя по дому Толстого в Ясной Поляне, я все время думал: «Как он страдал, этот великий старик». Вот письменный стол, за которым он писал свои бессмертные произведения, и он уходил от него, чтобы тут же, за стеной, в убогой комнатушке, тачать сапоги, плохие сапоги. Я видел дверь и лестницу, по которой он хотел бежать от двойственности своего существования. Там висело ружье, из которого он стрелял на войне во врагов — а ведь он был противником всякой войны. В этом невысоком светлом доме я оказался лицом к лицу с загадкой всей его жизни, но это гнетущее, трагическое чувство, как ни странно, утихло, когда мы пришли к месту его последнего упокоения.

Ибо я не видел в России ничего более прекрасного, более волнующего, чем могила Толстого. Эта величайшая святыня расположена в лесу, в отдалении. Узкая тропинка ведет к холму — это всего-навсего прямоугольник насыпанной земли, не защищенный, не охраняемый никем, кроме нескольких больших тенистых деревьев. Высокие эти деревья Лев Толстой посадил сам — так сказала мне его внучка, когда мы стояли у могилы. В детстве они с братом Николаем слышали от какой-то крестьянки поверье, будто место, где посадишь дерево, становится счастливым. И они посадили несколько саженцев — скорее для забавы. Лишь много лет спустя, уже стариком, он вспомнил это удивительное предсказание и завещал похоронить себя под теми деревьями, которые сам посадил. Воля его была исполнена в точности, и могила эта — самая волнующая в мире, благодаря хватающей за душу скромности.

Прямоугольный холмик в лесу, тонущий в листве, — *nulla sugh, nulla sogopa**, ни креста, ни плиты, ни надписи. Великий человек, больше всех на свете страдавший от своего имени и славы, похоронен безмянным, так же как случайный бродяга, как неизвестный солдат. Никому не возбраняется прибли-

* Ни креста, ни венца (*лат.*).

зиться к его последнему пристанищу, легкая деревянная оградка не заперта. Никто не сторожит вечный покой того, кто не знал покоя, — он под охраной одного лишь людского благоговения. Обычно взоры привлечены к пышному убранству могилы, а здесь эта простота властно налагает запрет на всякое суетное любопытство. Над безымянной могилой шумит ветер, точно молитву читает, а вокруг — безмолвие, и можно пройти мимо, увидев лишь то, что здесь кто-то похоронен, — русский человек в русской земле. Ни саркофаг Наполеона под мраморными сводами Дома Инвалидов, ни гроб Гёте в герцогском склепе, ни памятники Вестминстерского аббатства не производят такого потрясающего впечатления, как эта затерянная в лесу, удивительно молчаливая, трогательно безымянная могила: только ветер шелестит над ней — ни слов, ни славы.



Две недели пробыл я в России, не переставая ощущать этот внутренний подъем, этот легкий туман духовного опьянения. Но что же, что вызвало такое волнение? Вскоре я понял: дело было в людях и в порывистой сердечности, которую они излучали. Все как один были убеждены, что участвуют в грандиозном, всемирно-историческом деле, всех воодушевляла мысль, что они идут на выпавшие им лишения и ограничения во имя высокой цели. Пришло опьяняюще-горделивое сознание, что они первые, они впереди всех. «Ех oriente lux»* — они были уверены, что несут избавление: Истина — они узрели ее; им выпало осуществить такое, о чем другие только мечтали. Какую бы мелочь они ни показывали, глаза у людей сияли: «Это сделали мы». И это «мы» объединяло весь народ. Извозчик, широко улыбаясь, указывал кнутом на новостройку: «Это мы построили». В студенческих общежитиях подходили татары, монголы важно показывали книги: «Дарвин», — говорил один; «Маркс», — вторил другой с такой гордостью, точно

*Свет идет с востока (*лат.*).

они сами написали эти книги. Беспреданно окружая нас, они наперебой объясняли и показывали — они были рады возможности показать результаты своего труда.

Но в то же время даже самые скромные давали почувствовать, что если они кого и любят, то уж во всяком случае без «почитания» — ведь все были братья, товарищи, друзья. И писатели тоже не изменяли этому правилу. Мы все собрались в доме, принадлежавшем некогда Александру Герцену, — не только европейцы и русские, но и тунгусы, и грузины, и кавказцы; каждая советская республика послала к Толстому своего делегата. Многие из них не могли объясняться друг с другом, и все-таки понимали все. То один, то другой вставал, подходил, называя книгу, которую написал его собеседник, и прикладывал руку к сердцу, как бы говоря: «Мне очень нравится», а потом вашу руку сжимали и трясли так, точно хотели от избытка любви переломать вам все кости. И каждый — что было особенно трогательно — подносил вам подарок.

Времена были еще трудные, ценностей никаких ни у кого не имелось, но каждый оставлял что-нибудь на память: старую, грошовую гравюру, книгу, которую мне было не прочесть, или деревенскую резную самоделку. Я был в более выгодном положении, ведь я мог одаривать «драгоценностями», которых в России тогда не было: бритвенным лезвием «Жиллет», авторучкой, хорошей белой почтовой бумагой, парой мягких домашних туфель; так что на обратном пути чемодан у меня был совсем легкий. Покоряла именно эта молчаливая и вместе с тем порывистая сердечность, неизвестные у нас широта и тепло отношений, которые здесь воспринимались обостренно.

Но самым ценным из того, что я привез домой, была дружба Максима Горького, с которым я впервые встретился лично в Москве. Год или два спустя мы увиделись в Сорренто, куда он вынужден был поехать, чтобы поправить свое подорванное здоровье, и где я провел три незабываемых дня гостем у него в доме.

На этот раз наше общение протекало довольно своеобразно. Горький не владел никакими иностранными языками, я же не говорил по-русски. По логике вещей нам оставалось только молча разглядывать друг друга или прибегать в любом разговоре к услугам переводчика... Но не зря ведь Горький был одним из гениальнейших в мировой литературе рассказчиков; рассказ был для него не только формотворчеством, но и насущным способом самовыражения. Рассказывая, он жил в событиях своего рассказа и превращался в его героев — и я, не зная языка, понимал его сразу же по мимике. Сам он выглядел очень «русским», иначе не скажешь. В его лице не было ничего примечательного; этого высокого, худого человека со светлыми волосами и широкими скулами можно было представить себе крестьянином в поле, извозчиком на облучке, уличным сапожником или опустившимся бродягой — он был воплощенный «народ», воплощенный тип русского человека.

На улице я не обратил бы на него внимания, прошел бы мимо, не заметив ничего особенного. Только сидя напротив него, когда он говорил, вы понимали, кто это, ибо он невольно превращался в того, кого описывал. Я вспоминаю его рассказы о человеке, встреченном в скитаниях, — старом, горбатом, усталом — я понял это прежде, чем мне перевели. Голова сама собой ушла в поникшие плечи, лучисто-голубые, сиявшие в начале рассказа глаза стали темными, усталыми, голос задрожал; сам того не зная, он превратился в старого горбуна.

Но стоило ему припомнить что-нибудь веселое, он заливался смехом, непринужденно откидываясь на стуле; лицо его сияло; слушать его, когда он плавными и в то же время точными — я бы сказал, изобразительными — жестами воссоздавал обстановку и людей, было неопишущим наслаждением. Все в нем было совершенно естественно — походка, манера сидеть, слушать, его озорство; как-то вечером он нарядился боярином, нацепил саблю, и тотчас взгляд его стал высокомерным. Властно насупив брови, он энергично расхаживал взад и вперед по комнате, словно обдумывая безжалостный приговор; а

в следующее мгновение, сбросив маскарад, он рассмеялся по-детски — ни дать ни взять деревенский парень.

В нем была необыкновенная воля к жизни; он, с его разрушенным легким, жил, собственно говоря, вопреки всем законам медицины, однако невероятное жизнелюбие, железное чувство долга поддерживало его; по утрам он писал каллиграфически аккуратным почерком новые страницы своего большого романа, отвечал на сотни вопросов, с которыми обращались к нему молодые писатели и рабочие его страны; рядом с ним я чувствовал Россию — не старую или сегодняшнюю Россию, а саму душу бессмертного народа, широкою, сильную. И все же его угнетала мысль, что он живет вдали от своих товарищей в такие годы, когда каждая неделя — решающая.

В эти дни я случайно стал очевидцем одной очень характерной, в духе новой России, сцены, в которой мне открылось недавнее его беспокойство. В Неаполь впервые зашел советский военный корабль, находившийся в учебном плавании. Молодые матросы в парадной форме, никогда не бывавшие в этом всемирно известном городе, бродили по Виа-де-Толедо, не в силах досыта наглядеться своими большими, любопытными крестьянскими глазами на все диковины. На следующий день некоторые из них решили съездить в Сорренто, чтобы навестить своего писателя. Они не предупреждали о своем визите: русская идея братства подразумевала, что их писатель всегда найдет для них время. Они нагрянули в нему домой — и не ошиблись: Горький не заставил их ждать.

Но эти молодые люди, для которых их «дело» было выше всего, поначалу держались с Горьким довольно сурово — он сам со смехом рассказывал об этом на следующий день. «Как ты тут живешь, — заговорили они, едва войдя в красивую, удобную виллу, — словно какой-нибудь буржуй. И почему, собственно, ты не возвращаешься в Россию?» Горькому пришлось объяснить им все как можно подробнее. В сущности, эти смелые парни были настроены не так уж строго. Они просто хотели показать, что не питают никакого «почтения» к славе и судят о каждом прежде всего по его убеждениям. Они

непринужденно расселись, пили чай, болтали и на прощание по очереди обняли его.

Стоило посмотреть, как великолепно Горький рассказывал об этой сцене: восхищаясь раскованностью и свободой нового поколения, без тени обиды на бесцеремонность этих людей. «До чего же мы были не похожи на них, — повторял он без конца, — были забитые, были порывистые, но ни у кого не было уверенности в себе». Весь вечер глаза его сияли. И когда я сказал ему: «Вы, кажется, охотнее всего уехали бы с ними на родину», он взглянул на меня строго и удивленно: «Откуда вы знаете? Я и вправду до самой последней минуты все раздумывал, а не бросить ли мне все как есть — и книги, и рукописи, и работу — и уйти на пару недель в море с такими вот молодыми ребятами, на их судне. Я заново понял бы, что такое Россия. На расстоянии забывается самое лучшее, еще никто из нас не создавал ничего стоящего на чужбине».

* * *

Горький мог в любой день вернуться домой, да так он и сделал. Ни сам он, ни его книги не были отвергнуты, как случилось с Мережковским — я встречал этого озлобленного неудачника в Париже — или сегодня с нами, с теми, у кого, по прекрасному выражению Грильпарцера, «две чужбины и ни одной родины», кто бесприютен в своем языке и гоним судьбой.

Нет, настоящего и притом своеобразного изгнанника я встретил в Неаполе: это был Бенедетто Кроче. Целые десятилетия он был духовным вождем молодежи, удостаивался, как сенатор и министр, всех почестей, какие могла оказать ему страна, — до тех пор пока сопротивление фашизму не привело его к разрыву с Муссолини. Он отказался от всех своих постов и устранился от дел; но крайне правым («бешеным») было мало этого, они хотели сломить его стойкость, а в случае неудачи — и проучить его. Студенты — теперь, в отличие от

прежних времен, они повсюду стали штурмовым отрядом реакции — осаждали его дом и били стекла.

Но приземистый человек с умными глазами и бородкой клинышком, похожий, скорее, на преуспевающего буржуа, не дал себя запугать. Он не покинул страну, он остался в своем доме за баррикадой из книг, невзирая на приглашения американских и прочих университетов. Он продолжал издавать журнал «Критика», придерживаясь прежнего направления, он печатал свои книги, и авторитет его был так велик, что по приказу Муссолини цензура, как правило нетерпимая, не трогала его, хотя с его учениками, с его соратниками было покончено.

Соотечественник и даже иностранец, вздумавший его навестить, должен был обладать немалой смелостью, ибо власти прекрасно знали, что в своей цитадели, своем доме, забитом книгами, он высказывался без экивоков.

Так он и жил — словно в наглухо замкнутом пространстве, под каким-то воздушным колпаком посреди сорокамиллионного моря своих соотечественников. Эта герметическая изоляция в огромном городе, в многомиллионной стране представлялась мне чем-то загадочным и в то же время героическим. Я еще не знал, что это была гораздо более мягкая форма духовного умерщвления, чем та, что впоследствии выпала на долю нам самим, и я не мог не восхищаться той бодростью и духовной энергией, которую сохранил в повседневной борьбе этот уже не молодой человек.

А он смеялся: «Спротивление-то как раз и возвращает молодость. Останься я сенатором, живи полегче — давно уже впал бы в духовную спячку, изменил бы себе. Ничто так не вредит человеку умственного труда, как недостаток сопротивления; лишь после того, как я остался один и рядом со мной нет молодежи, я сам оказался вынужден снова стать молодым».

Но должно было пройти еще несколько лет, прежде чем я постиг, что испытания зовут на борьбу, преследования зака-

ляют, а одиночество возвышает человека — если они не сломят его. Как и все самое важное в жизни, это знание никогда не дается чужим опытом, а всегда — только собственной своей судьбой.

* * *

Хорошо было путешествовать в те последние годы затишья перед бурей. Но и возвращаться домой тоже было прекрасно. Странные вещи происходили там в это спокойное время. Маленький — сорок тысяч жителей — город Зальцбург, который я избрал своим местожительством именно из-за его романтической отдаленности, поразительно переменялся: что ни лето, он превращался в летнюю артистическую столицу не только Европы, но и всего мира.

В труднейшие послевоенные годы Макс Рейнхардт и Гуго фон Гофмансталь, пытаясь помочь нуждающимся актерам и музыкантам, сидевшим каждое лето без хлеба, поставили на зальцбургской соборной площади несколько спектаклей на открытой сцене — прежде всего ту знаменитую пьесу «Для всех», — привлекавших поначалу только окрестных жителей; затем предприняли оперные постановки, которые тоже от раза к разу удавались все лучше, все совершеннее. В конце концов они вызвали интерес во всем мире. Лучшие дирижеры, певцы, актеры наперебой оспаривали честь приехать сюда, привлеченные возможностью продемонстрировать свое искусство перед международной, а не только отечественной аудиторией. Зальцбург стал вдруг всемирным центром паломничества, это были как бы олимпийские игры современного искусства, на которых все нации стремились показать свои лучшие достижения. Отныне трудно было себе представить, как раньше мир жил без этих шедевров исполнительского искусства.

Европа еще не знала подобного средоточия исполнительского музыкального мастерства, какие явил миру этот небольшой городок в маленькой Австрии, которой пренебрегали долгое время. Зальцбург преобразился. Летом на его улицах мож-

но было встретить всех, кто ценил в искусстве высочайшее совершенство формы: каждый, будь то европеец или американец, одевался «по-зальцбургски»: на мужчинах — белые полотняные шорты и просторные куртки, на женщинах — пестрый «баварский» наряд: крохотный Зальцбург захватил первенство в мировой моде. Номера в гостинице были нарасхват, скопление автомобилей у здания, где проходил фестиваль, выглядело не менее внушительно, чем съезд карет перед каким-нибудь балом в императорском дворце, на вокзале яблоку было негде упасть; другие города пытались переманить этот золотой дождь к себе, но безуспешно. На протяжении этого десятилетия Зальцбург был Меккой артистической Европы.

Так я нежданно-негаданно очутился, не покидая своего города, в самом центре Европы. Судьба опять исполнила мое желание, в котором я вряд ли осмелился бы сам себе признаться, и наш дом на Капуцинерберг превратился в европейский салон. Кто только не побывал там! Книга посетителей могла бы рассказать об этом больше, чем моя бедная память, но и книги, и сам дом, и многое другое досталось нацистам.

С кем только не вели мы там долгих душевных бесед, сидя на террасе, любуясь красивым и мирным ландшафтом и даже не подозревая, что прямо напротив, в Берхтесгадене, находится некий человек, который все это разрушит. У нас гостили Ромен Роллан и Томас Манн, запросто бывали писатели Г. Дж. Уэллс, Гофмансталь, Якоб Вассерман, Ван Лун, Джеймс Джойс, Эмиль Людвиг, Франц Верфель, Георг Брандес, Поль Валери, Джейн Адамс, Шолом Аш, Артур Шницлер; музыканты Равель и Рихард Штраус, Альбан Берг, Бруно Вальтер, Барток — да разве всех перечислишь, этих художников, актеров, ученых со всего света. Сколько добрых и светлых часов интеллектуальной беседы дарило нам каждое лето! Однажды, одолев крутую лестницу, зашел Артуро Тосканини, и с этой минуты началась дружба, заставившая меня еще сильней и осознанней, чем прежде, полюбить музыку, наслаждаться ею.

С тех пор в течение ряда лет я непременно присутствовал на его репетициях и всякий раз переживал заново ту страстную борьбу, в которой выковывалось его мастерство — то самое, которое на публичных концертах представляется одновременно и волшебным и простым.

Как-то я попытался описать эти репетиции, которые представляют для любого художника образец и пример того, каким неотступно взыскательным надо быть даже в самом малом. Слова Шекспира, что «музыка — хлеб для души», блистательно оправдались, и, наблюдая за состязанием искусств, я благословлял судьбу, даровавшую мне возможность длительное время трудиться в союзе с ними.

Как насыщены, как ярки были эти летние дни, когда искусство и божественный ландшафт взаимно обогащали друг друга! И всякий раз я, оглядываясь назад, вспоминал, каким был этот городок в первые послевоенные годы: разрушенный, серый, притихший, в нашем доме протекает крыша и мы боремся с дождем, — лишь тогда я понимал, чем стали в моей жизни эти незабвенные мирные годы. Вновь появилась возможность верить в мир, в человечество.



Много бывало в те годы в нашем доме желанных, именитых гостей, но и в часы, когда я оставался один, вокруг меня теснилась магическая толпа великих образов тех, чьи тени, одну за другой, мне удавалось вызывать из тьмы небытия: в моей уже упоминавшейся коллекции автографов были теперь представлены образцы почерка величайших мастеров всех времен. Благодаря опыту, достатку и все возраставшему увлечению затея пятнадцатилетнего дилетанта превратилась за эти годы из обыкновенного собрания в органичное целое, смею даже сказать — в истинное произведение искусства.

На первых порах я, как и всякий начинающий, гнался за именами, за громкими именами; потом собирал — из любопытства к психологии — только рукописи произведений, чер-

новики или фрагменты, которые, помимо всего прочего, позволяли заглянуть в творческую лабораторию прославленного мастера.

Самой глубокой и самой таинственной из бесчисленных и неразрешенных загадок бытия остается все же тайна творчества. Тут природа не терпит соглядатаев, нам не суждено было увидеть момент, в который возникла Земля, или былинка, или стихотворение, или человек. Тут она немилосердно и непреклонно задергивает завесу. Ни поэт, ни музыкант не сумеют описать миг вдохновения после того, как он уже миновал. И если вещь завершена, художник уже не помнит о ее рождении, развитии и становлении. Никогда или почти никогда он не способен объяснить, каким образом в его взволнованной душе слова сложились в строфу, а разрозненные звуки — в мелодию, которая потом звучит веками. Единственное, что может как-то приблизить нас к непостижимому процессу творчества, — это рукописи, особенно еще не готовые для печати, испещренные поправками, первые, пока безымянные наброски, из которых не сразу, а лишь впоследствии выкристаллизуется окончательная форма.

Свести воедино все манускрипты такого рода, принадлежавшие великим поэтам, философам и музыкантам, собрать свидетельства их авторской работы, запечатлевшие труд и борьбу, — этим я занимался на втором, более осмысленном этапе своего коллекционерства. Охотиться за автографами на аукционах, с трудом выслеживать их в самых укромных тайниках было для меня не только удовольствием, но и в некотором роде научной работой: мало-помалу рядом с моей коллекцией автографов выросла и вторая — собрание всех когда-либо написанных книг об автографах, всех без исключения когда-либо вышедших каталогов — общим числом более четырех тысяч — и справочная библиотека, не имевшая в мире равных, потому что даже торговцы не могли отдавать чему-то одному так много времени и любви.

Пожалуй, я вправе сказать — на что я никогда не осмелил-

ся бы, если бы речь шла о литературе или любой другой области, — что за тридцать или сорок лет, что я собираю рукописи, я стал в этом деле крупным авторитетом и мог сказать, где находится, кому принадлежит и каким образом попал к своему владельцу любой сколько-нибудь ценный автограф; я был настоящим знатоком, умел с первого взгляда отличить подлинник от подделки и в оценках был опытнее большинства специалистов.

Однако со временем тщеславие коллекционера завело меня еще дальше. Мне уже мало было просто владеть рукописным сводом всемирной литературы и музыки, зеркалом тысячи творческих методов; простое расширение коллекции уже не занимало меня, и последние десять лет моего собирательства прошли в том, что я без конца облагораживал ее. Если на первых порах я довольствовался теми рукописями поэта или музыканта, которые отражали творческий процесс, то со временем моей главной заботой стало представить каждого автора в минуту творческого счастья, в миг высочайшего взлета. Другими словами, теперь я разыскивал уже не просто рукопись стихотворения того или иного поэта, а рукопись одного из прекраснейших стихотворений, а еще лучше — такого, в котором ощущалось бы вдохновение первого мига озарения, воплощенного в первых чернильных или карандашных штрихах, устремленного к вечности.

Я хотел — о дерзкое тщеславие! — постичь в реликвии рукописи именно то, что сделало бессмертных бессмертными для мира.

Таким образом, коллекция, по сути дела, находилась в беспрестанном движении; каждый имевшийся у меня манускрипт, не отвечавший этим высоким требованиям, подлежал изъятию, продаже или обмену, как только мне удавалось найти более значительный, более характерный, более сопричастный вечности, если можно так сказать. И что самое примечательное — удавалось это не так уж редко: ведь мало кто собирал ценные вещи с таким знанием дела, так упорно и умело,

как я. В результате набралась папка, а затем целый ларец, где, защищенные металлом и асбестом от порчи, лежали черновики и черновые фрагменты произведений, которые принадлежат к главнейшим достижениям человеческого творчества.

Сейчас, когда я вынужден жить как на бивуаке, у меня нет под рукой каталога этой давно уже распавшейся коллекции, и я могу перечислить наудачу некоторые из вещей, в которых запечатлен земной гений в минуту общения с вечностью. Тут был лист из рабочей книги Леонардо, зашифрованные с помощью зеркала примечания к рисункам; обращение Наполеона к солдатам под Риволи, четыре страницы, исписанные в бешеной спешке почти неразборчивым почерком; тут были корректуры целого романа Бальзака, каждый оттиск — полбитвы, тысячи поправок, с невероятной наглядностью отразивших его титаническую борьбу за новые и новые улучшения в тексте (по счастью, сохранилась фотокопия, сделанная в одном американском университете). Здесь было «Рождение трагедии» — первый, неизвестный вариант, который Ницше написал задолго до опубликования и посвятил своей возлюбленной — Козиме Вагнер; имелась кантата Баха, глюковская «Ария Альцесты» и одна из арий Генделя, чьи рукописные партитуры встречаются реже всего.

Я всегда искал и по большей части находил самое ценное: «Цыганские напевы» Брамса, «Баркаролу» Шопена, бессмертное «К музыке» Шуберта, неувядаемую мелодию «Храни, Господь» из императорского квартета Гайдна.

В некоторых случаях мне даже удалось составить из нескольких творческих вспышек целостную картину внутренней жизни художника.

Так получилось с Моцартом: у меня были не только робкие опыты одиннадцатилетнего мальчишка, но и шедевр его песенного искусства — бессмертная «Фиалка» на слова Гёте, и танцевальная музыка — менуэт, перекликавшийся с *Non più andrai* Фигаро, а из самого «Фигаро» — ария Керубино; а кроме всего этого — очаровательно-непристойные, никогда не

печатавшиеся полностью письма к тетушке, скабресный канон и, наконец, написанная Моцартом совсем незадолго до смерти ария из «Тита».

Обозначались подобным же образом и контуры биографии Гёте: первая страница — латинский перевод девятилетнего мальчика, последняя — стихотворение, написанное на восемьдесят втором году жизни, незадолго до смерти, а между ними — потрясающая страница из шедевра, из «Фауста», — лист гербовой бумаги, исписанный с обеих сторон, и трактат по естествознанию, и множество стихотворений, да еще рисунки самого разного времени... На этих пятнадцати листах мне раскрывалась вся жизнь Гёте.

С Бетховеном такого исчерпывающего обзора не получилось. Здесь у меня был конкурент — мой издатель, профессор Киппенберг, один из самых богатых людей в Швейцарии; он собрал уникальную бетховениану.

И все же, не говоря о юношеской записной книжке, песне «Поцелуй» и фрагментах «Эгмонта», мне удалось представить один, самый трагический миг его жизни с такой наглядностью, какая не снилась ни одному музею мира.

Сначала мне посчастливилось приобрести все уцелевшие вещи из его комнаты — те, что были после смерти Бетховена проданы с аукциона и достались советнику Бройнингу: во-первых, письменный массивный стол с потайным ящиком, где были обнаружены портреты обеих его возлюбленных — графини Джульетты Гвиччарди и графини Эрдеди; во-вторых, шкатулка для денег, с которой он не расставался до последнего вздоха (она стояла подле кровати); затем конторка, за которой он уже незадолго до смерти набрасывал последние произведения и письма; локон седых волос, срезанный с головы Бетховена, когда он лежал в гробу; пригласительный билет на отпевание; последний перечень белья, написанный уже неверной рукой; опись домашней утвари для аукциона и лист подписки, которую провели его венские друзья в пользу кухарки Зали, оставшейся без гроша.

А поскольку случай всегда на стороне настоящего коллекционера, то вскоре после приобретения обстановки той комнаты, в которой Бетховен умер, удалось заполучить еще и три рисунка, где он изображен на смертном одре. Со слов современников было известно, что молодой художник Иозеф Тельчер, друг Шуберта, пытался в тот день, 26 марта, когда Бетховен был уже в агонии, зарисовать умирающего, но советник Бройнинг счел это кощунством и выставил его из комнаты.

На протяжении всего века считалось, что эти рисунки пропали бесследно, пока на каком-то маленьком аукционе в Брюнне не были распроданы за бесценок несколько десятков альбомов этого незначительного художника, и в них вдруг нашлись эти наброски.

И опять-таки, поскольку удача любит удачливых, мне в один прекрасный день позвонил некий торговец и спросил, не интересуюсь ли я оригиналом рисунка, изображающего Бетховена на смертном одре. Я ответил, что у меня-то он и находится, но выяснилось, что мне предлагают оригинал литографии Дангаузера «Бетховен на смертном одре», столь известный впоследствии. Таким образом, я стал обладателем всего, что зримо запечатлело эти последние, достопамятные и воистину значительные мгновения.

Само собой разумеется, я всегда считал себя не владельцем этих вещей, а только временным хранителем. Меня радовало не чувство собственности, обладания, но прелесть объединения, превращения коллекции в произведение искусства. Я понимал, что создал нечто более достойное бессмертия, чем мои собственные произведения. Мне не раз предлагали составить каталог, но я не решался, потому что работа по созданию коллекции была еще далека от завершения и я ощущал острую нехватку некоторых имен и шедевров. Было у меня благое намерение завещать эту уникальную коллекцию учреждению, которое выполнит мое особое условие — выделит ежегодную субсидию, чтобы пополнять коллекцию так, как это задумал я. Это помогло бы ей избежать окостенения, и она

осталась бы живым организмом, быть может, перешагнула бы на полвека, на век пределы моего собственного существования и, разрастаясь, стала бы еще более ценной и целостной.

Но моему многострадальному поколению не дано загадывать вперед. Когда наступила эпоха фашизма и я оставил свой дом, радости собирательства улетучились вместе с верой в возможность сохранить что-либо навсегда. В течение некоторого времени я хранил коллекцию по частям в банковских сейфах и у друзей, но потом — вспомнив бессмертные слова Гёте о том, что музеи, коллекции и арсеналы, прекратив движение, мертвеют, — предпочел навсегда расстаться с нею, раз уж не мог продолжить ее созидание.

Часть коллекции я передал Венской национальной библиотеке — главным образом то, что сам получил в дар от друзей и современников, другую часть распродал, а то, что случилось с остальным, не очень тревожит меня. Не создание, а созидание всегда радовало меня. И я не оплакиваю то, чем некогда владел. Ибо если уж нам, затравленным и гонимым, и суждено было в эти времена, враждебные искусству и собирательству, научиться еще чему-нибудь, так это искусству расставания с тем, что мы когда-то любили и чем гордились.

* * *

Так шли годы — в работе и путешествиях, занятиях и чтении, собирательстве и развлечениях. В одно ноябрьское утро 1931 года я проснулся пятидесятилетним. Седому, подтянутому зальцбургскому почтальону в этот день пришлось туго. В Германии был распространен благой обычай широко отмечать в газетах писательские полувековые юбилеи, и старику пришлось втащить по крутой лестнице изрядный груз писем и телеграмм. Прежде чем вскрыть их и прочесть, я задумался над тем, что значит для меня этот день. Пятидесятилетие — это перевал; с тревогой оглядываешься назад, на уже пройденный путь, и втайне спрашиваешь себя, суждено ли ему идти все выше. Я перебирал прожитые годы; оглядывал

эти пятьдесят лет, оставшиеся позади, как будто смотрел из окна своего дома на цепь Альп и пологую долину, и мне пришлось сказать себе, что роптать было бы грешно.

В конечном счете мне было дано больше, безмерно больше, чем я ожидал или надеялся достичь. Поприще, на котором я желал воспитать и выразить свою душу — поэтическая, литературная работа, — принесло плоды, о которых я и помыслить не мог даже в самых смелых отроческих мечтах.

Лежавшая передо мной отпечатанная к моему пятидесятилетию библиография — подарок от издательства «Инзель» — упоминала мои книги, вышедшие на всех языках мира, и сама была книгой; ни один язык не был пропущен — ни болгарский, ни финский, ни португальский, ни армянский, ни китайский, ни маратхи. Мои слова и мысли устремились к людям в знаках для слепых, в стенографических значках, на самых экзотических алфавитах и диалектах, мое существование вышло далеко за пределы моего собственного «я».

Я завоевал дружеское расположение некоторых из лучших людей нашего времени, наслаждался блистательнейшими зрелищами; мне было дано вкусить радость общения с вечными городами, бессмертными книгами и прекраснейшими пейзажами Земли. Я сохранил свободу, не зависел от службы и профессии, моя работа была мне в радость, и мало того — она доставляла радость другим!

Чего же мне было теперь бояться?

Вот стоят мои книги — разве кому под силу их уничтожить? — так, ни о чем не догадываясь, рассуждал я тогда.

Вот мой дом — разве может кто-либо прогнать меня отсюда? Вот мои друзья — разве могу я когда-нибудь потерять их? Я без страха думал о смерти, о болезни, но не мог вообразить и сотой доли того, что мне еще предстоит пережить: что мне придется бездомным, затравленным изгнанником скитаться из одной страны в другую, по морям и океанам; что мои книги будут сожжены, запрещены и объявлены вне закона; что на моем имени Германия поставит клеймо преступника и лица

тех самых друзей, чьи письма и телеграммы лежали на столе передо мной, будут бледнеть при случайной встрече. Мне и в голову не приходило, что все достигнутое тридцати-сорокалетними усилиями можно перечеркнуть, что вся эта жизнь, такая удобная, прочная, казавшаяся мне такой незыблемой, может пойти прахом и что я, почти достигнув вершины, буду принужден опять начинать все сначала — с почти растраченными уже силами и разбитым сердцем.

Да и впрямь, не такой это был день, чтобы воображать разные невозможные нелепости. Я мог радоваться. Я любил свою работу и потому любил жизнь. Мне не надо было думать о пропитании: даже если бы я больше не написал ни строчки, мои книги прокормили бы меня. Казалось, что я всего достиг и подчинил себе судьбу. Вера в себя, с которой я вышел из отчего дома и которую утратил в годы войны, благодаря моим усилиям была обретена вновь. Чего мне было еще желать?

Но удивительно — именно то, что мне в этот час нечего было пожелать себе, наполняло душу странным беспокойством. Так ли уж было хорошо в самом деле, вопрошал меня некий внутренний голос, если твоя жизнь и далее пойдет по-прежнему — столь же спокойно, упорядоченно, выгодно, удобно, без новых усилий и испытаний? Разве это привилегированное, застрахованное от всех бед существование не чуждо тебе, не чуждо самому главному в тебе?

Я расхаживал по дому, погруженный в размышления. Эти годы мне жилось хорошо и как раз так, как я хотел. Но неужели я так и буду всегда жить здесь, сидеть за этим самым письменным столом, писать книгу за книгой, а потом получать гонорар за гонораром, огражденный от всех случайностей, трудностей и опасностей, постепенно превращаясь в этакое солидного, знающего себе цену господина, которому остается лишь жить на проценты от своего имени и пожинать плоды трудов своих? Неужели вот так все и пойдет — год за годом, до шестидесяти, до семидесяти — по прямой, избитой колее?

Не лучше ли было бы, мечталось мне еще, зажить как-то иначе, по-новому, так, чтобы стать тревожнее, упорнее, мо- ложе ради новой и, возможно, еще более отчаянной борьбы? Ведь любому художнику извечно присуща таинственная двойственность: в безумных треволнениях жизни он алчет покоя, но дайте ему покой — и снова он тоскует по борьбе.

Вот и у меня в этот пятидесятый день рождения было в глубине души одно легкомысленное желание: стряслось бы что-нибудь такое, чтобы мне развязаться со всем этим незыб- лемым уютом и быть вынужденным начать сначала, а не про- сто продолжать начатое.

Может статься, это был страх старости, усталости, инер- ции? Или таинственный инстинкт, призывавший меня тогда к более суровой жизни — во имя внутреннего роста? Этого я не знаю.

Я не знаю этого. Ибо то, что поднималось во мне в тот необыкновенный час из потемок бессознательного, отнюдь не было ни отчетливым желанием, ни тем более порождением ума. Просто мелькнула мысль — возможно, совсем и не моя, а пришедшая из неведомых мне глубин. Но загадочная сила, властвовавшая над моей жизнью, та неведомая сила, которая уже дала мне много такого, о чем я никогда и помыслить не смел, — она, должно быть, подслушала ее.

И вот она уже покорно подняла руку, чтобы разрушить мою жизнь до основания и заставить меня пойти по совершен- но иному, более суровому, тернистому пути.

ГИТЛЕР INCIPIT*

Непреложным законом истории остается тот факт, что со- временникам не дано распознать еще в истоках те важные движения, которые определяют их эпоху. Вот и я не могу припомнить, когда впервые услышал имя Адольф Гитлер —

* Наступает (*лат.*).

имя, о котором с некоторых пор мы вынуждены думать и произносить его ежедневно, а порой по тому или иному поводу даже ежеминутно, имя человека, который принес нашему миру несчастья больше, чем кто бы то ни было за всю историю. Во всяком случае, произошло это, вероятно, довольно рано, ибо наш Зальцбург был в известной степени соседом Мюнхена, находившегося всего в двух с половиной часах езды по железной дороге, так что его местные новости вскоре становились известны и нам.

Знаю только, что однажды — точную дату не могу припомнить — оттуда приехал знакомый и пожаловался, что в Мюнхене опять беспокойно. В частности, там объявился некий оголтелый горлопан по имени Гитлер, который устраивает сборища с дикими потасовками и совершенно нагло подстрекает против республики и евреев. Имя это мне ничего не говорило и тут же забылось. Оно меня не интересовало. Сколько их — сегодня уже бесследно исчезнувших из памяти имен крикунов и скандалистов — всплывало тогда в дезорганизованной Германии, чтобы тут же вновь навсегда исчезнуть. Сотни мелких пузырей беспорядочно всплывали во всеобщем брожении и, не успев лопнуть, не оставляли после себя ничего, кроме дурного запаха, который явно выдавал скрытый процесс гниения в еще открытой ране Германии. Как-то на глаза мне попала и газетка этого нового национал-социалистского движения «Мисбахер анцайгер», из которой позднее выросла «Фёлькишер беобахтер». Но Мисбах был всего лишь крохотной деревушкой, а газетка такой примитивной. Кого она могла тронуть?

И вдруг в соседних пограничных городках Рейхенхалле и Берхтесгадене, где я бывал почти еженедельно, объявились небольшие, но растущие отряды молодых парней в сапогах с отворотами и коричневых рубашках, с кричащего цвета повязкой со свастикой на рукаве. Они устраивали сборища и массовые шествия, парадным шагом маршировали по улицам с песнями и хором скандировали; клеивали стены огромными

плакатами, марали их свастиками; тогда я впервые осознал, что за этими так неожиданно возникающими бандами должны стоять финансовые и другие влиятельные силы. Одному Гитлеру, который в те времена разглагольствовал лишь в баварских пивных, судя по всему, вряд ли удалось бы создать из тысяч этих молодых парней такую дорогостоящую машину. Нужны были более крепкие руки, чтобы подтолкнуть это новое «движение». Ибо форма была с иголочки, «штурмовые отряды», которые направлялись то в один город, то в другой, имели в своем распоряжении — разве не удивительно? — совершенно новые автомобили, мотоциклы и грузовики, и это во времена всеобщей бедности, когда ветераны войны ходили в изношенной до дыр форме. Кроме того, было очевидным, что тактике этих молодых людей обучали — или, как говорили в то время, «дисциплинировали по-военному» — профессиональные военные, что это сам рейхсвер, на тайной службе которого Гитлер давно уже состоял шпиком, регулярно муштровал здесь добровольно поставляемый ему материал.

Вскоре мне случайно довелось увидеть одно из этих запланированных «боевых действий». В пограничный городок, в котором самым мирным образом проходило собрание социал-демократов, внезапно ворвались четыре грузовика, каждый битком набит нацистскими выкорышками, вооруженными резиновыми дубинками, и точно так же, как я это видел на площади Святого Марка в Венеции, своей стремительностью они застали неподготовленных людей врасплох. Это был тот же, перенятый у итальянских фашистов, метод, только еще более по-военному отточенный и доведенный в мелочах до совершенства истинно по-немецки. По свистку штурмовики, молниеносно прыгнув с машин, обрушили свои резиновые дубинки на каждого, кто оказался на их пути, и, прежде чем смогла вмешаться полиция или подоспеть рабочие, вновь вспрыгнули на машины и умчались восвояси.

Что меня поразило, так это отработанная техника этой

выгрузки-погрузки, которая всякий раз происходила по одному лишь резкому свистку главаря банды. Было видно, что любой парень каждым своим мускулом и нервом знал заранее, как и у какого колеса автомашины и в каком именно месте ему следует выпрыгнуть, чтобы не помешать другому, ставя тем самым под угрозу срыва всю операцию. Это была отнюдь не личная сноровка — каждый из этих приемов, несомненно, отработывался десятки, а быть может, и сотни раз в казармах и на учебных плацах. С самого начала — это было ясно с первого взгляда — отряд готовился для нападения, насилия и террора.

Вскоре стало известно о таких нелегальных маневрах в Баварии. Когда уже все засыпали, молодые парни, крадучись, покидали дома и собирались для ночных «тактических занятий на местности»; офицеры рейхсвера срочной службы или резервисты, оплачиваемые государством или таинственными кредиторами партии, муштровали эти отряды, не привлекая излишнего внимания властей к необычным ночным маневрам. Спали власти в самом деле или только закрывали глаза? Безразлично ли было им это движение или скрытно они способствовали его развитию?

Во всяком случае, даже те, кто тайно поддерживал движение, были впоследствии напуганы его жестокостью и быстротой, с которой оно вдруг стало на ноги. Одним прекрасным утром власти очнулись, но Мюнхен был уже в руках Гитлера, все учреждения захвачены, газеты вынуждены под дулом револьвера с триумфом возвестить о свершившемся перевороте. Точно с небес, на которые лишь мечтательно взирала ничего не подозревающая республика, явился *deus ex machina*^{*}, генерал Людендорф, первый из тех, кто уверовал, что перехитрил Гитлера, но на самом деле был им одурачен. С утра начался знаменитый путч, который должен был охватить всю Германию, днем (передо мной не стоит здесь задача пересказать

^{*} Букв.: бог из машины; развязка вследствие вмешательства непредвиденного обстоятельства (*лат.*).

мировую историю), как известно, он уже завершился. Гитлер бежал и вскоре был арестован; на том движение, казалось, иссякло. В этом же 1923 году исчезли свастики, штурмовые отряды и имя Адольфа Гитлера было почти забыто. Никто более не думал о нем как о возможном претенденте на власть.

Лишь через несколько лет оно снова всплыло, и нарастающая волна недовольства быстро его вознесла. Инфляция, безработица, политические кризисы и в не меньшей мере косность остального мира всколыхнули немцев: во всех слоях населения Германии проявилось невероятное стремление к порядку, а порядок для него уже издавна значил больше, чем свобода и право. И на стороне того, кто такой порядок обещал — еще Гёте говорил, что беспорядок для него хуже, чем несправедливость, — сразу же оказались сотни тысяч.

Но мы все еще не замечали опасности. Те немногие писатели, кто действительно дал себе труд прочитать книгу Гитлера, иронизировали — вместо того чтобы проанализировать его программу — над витиеватостью его бумажной прозы. Крупные демократические газеты — вместо предостережения — изо дня в день успокаивали своих читателей, что движение, которое с грехом пополам с помощью денег крупных промышленников и сомнительных махинаций финансирует непомерную саморекламу, неминуемо со дня на день развалится.

Но, возможно, за рубежом так никогда и не поняли истинную причину того, почему Германия все эти годы настолько недооценивала и преуменьшала и личность, и растущую власть Гитлера: Германия всегда была не просто классовым государством — в ее классовом идеале свято почиталось и обожествлялось «образование». Не считая нескольких генералов, высокие посты в государстве были забронированы исключительно за так называемыми «академически образованными»: для немца было немислимым, чтобы человек, не закончивший даже среднюю школу, не говоря уж о высшем учебном заведении, чтобы тот, кто обитает в ночлежках и неизвестно на что живет, смел бы даже мечтать о таком положении,

которое занимал барон фон Штейн, Бисмарк или князь Бюлов.

Не что иное, как высокомерие образованности, обмануло немецкую интеллигенцию, заставив по-прежнему видеть в Гитлере горлопана из пивных, который никогда не будет представлять серьезную опасность, в то время как тот давно уже благодаря своим закулисным покровителям получил сильную поддержку в самых различных кругах. И даже когда в тот январский день 1933 года он стал канцлером, большинство, и среди них те, кто протащил его на этот пост, смотрели на него как на калифа на час, а на господство нацистов — как на эпизод.

В ту пору впервые полностью проявилась бесподобная в своем цинизме тактика Гитлера. Уже много лет он раздавал обещания направо и налево и привлек на свою сторону крупных деятелей многих партий, каждый из которых полагал, что сможет воспользоваться мистическими силами «неизвестного солдата» для своих целей. Он так совершенно умел обманывать и тех и других своими посулами, что в тот день, когда он пришел к власти, в противоположнейших лагерях царило ликование. Монархисты в Доорне* полагали, что он преданнейший человек, прокладывающий путь кайзеру, и точно так же торжествовали баварские, вительбахские монархисты в Мюнхене: они тоже считали его «своим» человеком. Немецкие националисты надеялись, что он колет дрова, которые должны растопить их печи; их вожак Гугенберг договором обеспечил себе ключевой пост в кабинете Гитлера и был уверен тем самым, что крепко держится в седле, — разумеется, в первые же недели он, несмотря на прежние клятвенные заверения, вылетел из него.

Толстосумы-промышленники чувствовали себя избавленными с помощью Гитлера от страха перед большевиками, у кормила власти они видели теперь человека, которого многие

* Доорн — небольшой город в Нидерландах, где с 1920 по 1941 г. находилась резиденция бывшего германского кайзера Вильгельма II. — *Примеч. пер.*

годы тайно субсидировали; и одновременно свободно вздохнула разоренная мелкая буржуазия, которой он на сотнях собраний обещал уничтожение «налоговой кабалы». Мелкие торговцы вспомнили об обещании закрыть крупные магазины — их самых опасных конкурентов (обещание, которое так никогда и не было выполнено); но особенно пришелся по душе Гитлер военным, потому что был настроен агрессивно и поносил пацифизм.

Даже социал-демократы, против всех ожиданий, отнеслись к его восхождению весьма терпимо, так как надеялись, что он устранил их заклятых врагов, наступавших им на пятки, — коммунистов.

Самые разные, самые противоположные партии смотрели на этого «неизвестного солдата» — клятвенно наобещавшего всего и заверившего во всем каждое сословие, каждую партию, каждое направление — как на своего друга; даже немецкие евреи были не очень обеспокоены. Они тешили себя надеждой на то, что «*ministre Jacobin*» больше не якобинец, что канцлер германского рейха, само собой, расстанется с вульгарными приемами антисемитского подстрекателя. И наконец, как может он прибегнуть к насилию в государстве, основанном на законности, где большинство в парламенте было против него и каждый гражданин государства считал свои свободу и равноправие обеспеченными торжественно принятой конституцией?

Затем произошел поджог рейхстага, парламент исчез, Геринг спустил с цепи свое отребье, одним ударом в Германии было уничтожено всякое право. С ужасом узнали, что в мирное время существуют концентрационные лагеря и что в казармах имеются потайные помещения, где без суда и следствия убивают невинных. Это лишь вспышка бессмысленной ярости, уговаривали себя. Такое в двадцатом столетии не может продолжаться долго. Но это было только начало. Мир насторожился, но отказался поверить в невероятное. Хотя уже в те дни я увидел первых беженцев. По ночам они преодолели

вали Зальцбургские горы или переплывали пограничную реку. Голодные, оборванные, испуганные, они смотрели, словно оцепенев; началось паническое бегство от бесчеловечности, распространившейся затем по миру. Но я не предполагал еще, глядя на этих изгнанников, что их бледные лица предвещают уже мою собственную судьбу и что все мы станем жертвами произвола этого человеконенавистника.

Трудно за несколько коротких недель отрешиться от тридцати- или сорокалетней незыблемой веры в мир. Живя нашими представлениями о праве, мы верили в существование немецкой, европейской, мировой совести и в то, что есть мера бесчеловечности, которая человечеству однажды покажется предельной. Так как я стараюсь, насколько возможно, передать все как можно более объективно, я вынужден признать, что все мы в Германии и Австрии ни в 1933-м, ни даже в 1934 году ни на сотую, ни на тысячную долю не считали возможным то, что должно было случиться в самом скором времени. Разумеется, то, что мы, свободные и независимые писатели, должны столкнуться с определенными трудностями, неприятностями, враждебностью, было ясно с самого начала.

Сразу же после поджога рейхстага я сказал своему издателю, что скоро с моими книгами в Германии будет покончено. Я не забуду его удивления. «Кто может запретить ваши книги?» — спросил он тогда, в 1933 году, и добавил: «Вы ведь никогда не написали ни единого слова против Германии и не вмешивались в политику». Как видно, вся эта фантастика: сжигание книг и позорные судилища, которые через несколько месяцев, спустя месяц после захвата власти Гитлером, стали действительностью, даже для дальновидных людей казалась за пределами возможного. Ибо нацизм в своей бессовестной технике обмана остерегался обнаружить всю крайность своих целей, прежде чем мир попривыкнет. Они осторожно опробовали свой метод: всегда лишь одна доза, а после нее — небольшая пауза. Всего лишь одна-единственная пилюля, а затем какое-то время выжидания, не окажется ли она слиш-

ком сильной, выдержит ли совесть мира и эту дозу. А так как европейская совесть — к стыду и позору нашей цивилизации — срочно подчеркнула свое невмешательство, потому что ведь все эти ужасы происходят «по ту сторону границы», дозы становились все сильнее и сильнее, пока наконец от них не погибла вся Европа.

Сила Гитлера состояла именно в этой тактике осторожного прощупывания и все более сильного давления на все более слабеющую в моральном, а вскоре и в военном отношении Европу. Давно predetermined акция уничтожения всякого свободного слова и всякой независимой печати в Германии тоже происходила по этому методу предварительного зондирования. Не сразу был издан закон — это произошло через два года, — полностью запрещающий наши книги; сначала устроили лишь небольшую репетицию — выясняя, как далеко можно пойти, — официально приписав первую атаку на наши книги некой безответственной группе студентов-нацистов. По той же самой системе, по которой инсценировали «народный гнев», чтобы начать разгул антисемитизма, к студентам был обращен тайный призыв публично продемонстрировать свое «возмущение» нашими книгами.

И немецкие студенты, довольные всякой возможностью проявить свою реакционную сущность, послушно устраивали сборища в каждом университете, выносили наши книги из книжных магазинов и с развевающимися знаменами маршировали с этими трофеями на площадь. Там книги по старинному германскому обычаю — средневековье вдруг стало образцом для подражания — или приколачивались к позорному столбу (я сам видел такой пробитый гвоздями экземпляр одной из моих книг, который после экзекуции спас один дружелюбно относившийся ко мне студент и передал его мне), или же — видимо, потому, что, к великому сожалению, не было разрешено сжигать людей, — они сжигались на больших кострах под декламацию патриотических лозунгов. И хотя после долгих колебаний министр пропаганды Геббельс в конце концов дал свое благословение на сжигание книг, оно долго оста-

валось полуофициальной мерой, и ничто не указывает более явно, насколько эти акции не принимались всерьез, как то, что общественность не сделала ни малейших выводов из этих вылазок студентов, сжигавших книги.

Хотя торговцы книгами были призваны не выставлять в витрине ни одну из наших книг и ни одна газета более не упоминала о них, на истинных ценителях это никак не отразилось. Пока за этим не стояли еще тюрьма или концлагерь, мои книги, несмотря на все трудности и препоны, продавались даже в 1933 и 1934 годах почти так же широко, как и прежде. Категорическое требование «защитить немецкий народ», объявлявшее печатание, продажу и распространение наших книг государственным преступлением, сначала следовало узаконить, чтобы принудительным путем отдалить нас от сотен тысяч и миллионов немцев, которые теперь с еще большим интересом относились к нашему творчеству, особенно на фоне всех этих вдруг откуда-то явившихся напыщенных доморощенных поэтов.

Право разделить судьбу полного уничтожения в литературе Германии с такими выдающимися современниками, как Томас Манн, Генрих Манн, Верфель, Фрейд, Эйнштейн, и некоторыми другими, чей труд я считал гораздо более весомым, чем мой, я воспринимал скорее как честь, чем позор, и поза мученика мне настолько претит, что о своей доле в этой общей судьбе я предпочел бы не распространяться. Но, как ни странно, именно мне суждено было побеспокоить нацистов и даже «самого» Гитлера *in persona**. Именно мой литературный герой среди всех объявленных вне закона в высоких и высших кругах берхтесгаденской виллы снова и снова становился предметом долгого и бурного обсуждения, так что к приятным моментам своей жизни я могу прибавить скромное удовлетворение тем, что явился причиной раздражения Адольфа Гитлера.

Уже в первые дни нового режима я нежданно-негаданно

*Персонально (*лат.*).

стал виновником необычайного переполоха. Дело в том, что в это время по всей Германии шел фильм, снятый по моей новелле «Жгучая тайна» и имевший то же название. Название как название. Но на следующий день после поджога рейхстага, который нацисты безуспешно пытались приписать коммунистам, у рекламных тумб с афишами «Жгучей тайны», перемигиваясь и подталкивая друг друга, стали толпиться люди. Гестаповцы быстро раскусили, почему это название вызывает смех. В тот же вечер повсюду пронеслись полицейские на мотоциклах, демонстрация фильма была запрещена, а название «Жгучая тайна» со следующего утра бесследно исчезло из всех газетных объявлений и афиш. Запретить одно-единственное неприятное слово и, более того, сжечь и развеять в прах все наши книги было для них делом несложным. И лишь в одном конкретном случае они не могли разделаться со мной, не задев одновременно человека, в котором они из соображений престижа в этот критический момент весьма нуждались, — великого, самого знаменитого из живых немецких музыкантов — Рихарда Штрауса, с которым я только закончил работу над оперой.

Это была моя первая совместная работа с Рихардом Штраусом. До этого, начиная с «Электры» и «Кавалера роз», все либретто для него писал Гуго фон Гофмансталь, я даже лично не был с ним знаком. И вот после смерти Гофмансталя он передал через моего издателя, что намерен начать новую работу, и спросил, не возьмусь ли я написать для него текст оперы. Такое предложение мне было исключительно лестно. С того момента как Макс Регер впервые положил на музыку мои стихи, я не представлял свою жизнь без музыки и музыкантов. С Бузони, Тосканини, Бруно Вальтером, Альбаном Бергом я был в близких, дружеских отношениях. Но я не знал более плодовитого современного музыканта, которому с большей готовностью желал бы послужить, чем Рихард Штраус, последний из великой когорты истинных немецких музыкантов, которая восходит к нашим дням от Генделя и Баха через Бетховена и Брамса.

Я тотчас объявил о своем согласии и при первой встрече предложил Штраусу использовать для сюжета оперы «Молчаливую женщину» Бена Джонсона, и было приятной неожиданностью, что Штраус сразу же понял меня и принял мое предложение. Я и не предполагал в нем столь тонкого художественного чутья, столь поразительного понимания драматургического искусства. Ему еще только излагали материал, а он уже сформлял его сценически, тут же примеривая его — и это было поразительнее всего — к границам своего собственного мастерства, которые видел с почти пугающей четкостью.

Мне довелось встречаться со многими крупными деятелями культуры, но ни один из них не умел сохранять объективность по отношению к самому себе настолько безошибочно и бесстрашно. Так, Штраус сразу честно признался мне, что в семьдесят лет музыкант не владеет изначальной силой музыкального вдохновения. Такие симфонические произведения, как «Тиль Уленшпигель», «Дон Жуан» или «Жизнь героя», едва ли ему вновь под силу, ибо именно чистой музыке требуется крайняя степень творческой свежести. А вот слово все еще его волнует. Произведение литературы он и теперь способен проиллюстрировать полнокровным действием, потому что коллизии и речь стихийно пробуждают в нем музыкальные темы; вот почему в преклонном возрасте он обратился исключительно к опере, хотя знает, что опера, как форма искусства, свое отжила. Вагнер — вершина, выше которой не подняться никому. «Но, — добавил он с широкой баварской улыбкой, — я эту гору обошел».

После того как мы уяснили для себя главное, он высказал несколько частных пожеланий. Он предоставляет мне полную свободу, либретто как у Верди — подогнанное под музыку — его никогда не вдохновляло, его волнует поэзия. Вот только ему хотелось бы, чтобы я включил несколько сложных форм, которые предоставят большие возможности колоратуре. «Мне не приходят в голову длинные мелодии, как Моцарту. У меня всегда рождаются короткие темы. Но вот в чем я понимаю

толк, так это в умении использовать тему, парafразировать ее, вытянуть из нее все, что в ней заложено, и я думаю, что в наши дни никто не способен это сделать так же, как я». И снова я был поражен такой откровенностью, ведь у Штрауса и в самом деле едва ли отыщется какая-либо мелодия, превышающая несколько тактов, но как они затем усиливаются, эти несколько тактов — например, вальс из «Кавалера роз», — как вырастают в совершенную мелодию!

Каждая последующая встреча вновь и вновь восхищала меня тем, с какой уверенностью и серьезностью этот старый мастер относился к себе. Однажды я сидел рядом с ним на закрытой репетиции его «Елены Египетской» в Зальцбургском доме фестивалей. В совершенно темном зале, кроме нас, никого не было. Он слушал. Вдруг я заметил, что он тихо, но нетерпеливо постукивает пальцами по спинке кресла. Затем прошептал мне: «Плохо! Просто очень плохо! Здесь мне ничего не пришло на ум». А через несколько минут снова: «Если бы я мог это вычеркнуть! Боже милостивый, это место никуда не годится: пусто и слишком длинно!» И снова через несколько минут: «А вот это, послушайте, это — хорошо!» Он судил свое собственное произведение так серьезно и так бесстрастно, словно эту музыку слушал впервые, а написана она была композитором, ему совершенно неизвестным, и это удивительное чувство границ собственных возможностей никогда не подводило его. Он всегда знал точно, кто он и на что способен. Что по сравнению с ним значат другие, интересовало его мало, и так же мало — что значит он для других. Что его волновало, так это работа.

«Работа» для Штрауса — процесс довольно удивительный. Ни следа демонизма, ничего от творческого «озарения», от тех спадов и отчаяния, которые нам известны из биографий Бетховена, Вагнера. Штраус работает деловито и холодно, он сочиняет как Иоганн Себастьян Бах, как все настоящие мастера своего дела — спокойно и планомерно. В девять часов утра он садится за стол и продолжает работу с того места, на котором остановился вчера, всегда записывая первый набро-

сок карандашом, чернилами — партитуру клавира, и так без перерыва до двенадцати или до часу. После обеда он играет в скат, переносит две-три страницы в партитуру, а вечером при любых обстоятельствах дирижирует в театре. Всякая нервозность ему чужда, днем и ночью его художнический разум одинаково бодр и ясен. Когда прислуга стучится в дверь, чтобы подать концертный фрак, он откладывает работу, едет в театр и дирижирует с той же уверенностью и тем же спокойствием, с какими после обеда играет в скат, а вдохновение снова включается на следующее утро в том месте, где была прервана работа. Ибо Штраус, выражаясь словами Гёте, «повелевает» своим вдохновением; искусство означает для него мастерство и еще раз мастерство, как об этом свидетельствует его шутка: «Кто хочет стать настоящим музыкантом, тот должен уметь сочинять музыку даже к меню». Трудности его не пугают, они доставляют лишь развлечение его виртуозному мастерству.

Я с удовольствием вспоминаю, как искрились его большие голубые глаза, когда он торжествующе обращал мое внимание на то или другое место: «Ну и задал же я тут задачку певице! Настрадается она, бедняжка, пока у нее получится это место». В такие редкие секунды, когда глаза его начинали искриться, чувствовалось, что в этом необыкновенном человеке, который точностью, планомерностью, основательностью, мастерством и внешним спокойствием своего творческого метода, да и всей своей внешностью — на первый взгляд заурядным лицом с пухлыми по-детски щеками, невыразительностью черт и слегка выпуклым лбом — сначала вызывает некоторое недоверие, глубоко скрыто нечто демоническое. Достаточно раз заглянуть в его глаза, светло-голубые, лучистые глаза, чтобы почувствовать за этой маской добропорядочного бюргера некую особую магическую силу. Быть может, это самые живые глаза, когда-либо виденные мной у музыканта, не демонические, но какие-то по-своему ясновидящие глаза человека, который до конца познал свое назначение.

Возвратившись после этой вдохновляющей встречи в Заль-

цбург, я тотчас принялся за работу. Сгорая от любопытства, подойдут ли ему мои стихи, я буквально через две недели отослал первый акт. Ответ пришел незамедлительно: открытка с цитатой из мейстерзингеров — «первый бар* удался». После второго акта еще более сердечное послание: начальные такты его песни «Благословен тот час, когда тебя я встретил, о милое дитя!» — и эта радость его и даже восторг сделали всю мою дальнейшую работу невыразимым удовольствием. Во всем моем либретто Рихард Штраус не изменил ни единой строчки и лишь один раз попросил меня вставить для вторых голосов еще три или четыре строки. Так между нами установились самые сердечные отношения, он бывал у нас дома, а я у него в Гармише, где он своими длинными тонкими пальцами проигрывал мне на рояле, одну часть за другой, всю оперу. И для нас было само собой разумеющимся, решенным делом то, что после окончания этой оперы я должен буду сразу же приступить ко второй, предварительный набросок которой он уже заранее безоговорочно одобрил.

* * *

В январе 1933 года, когда Гитлер пришел к власти, наша опера «Молчаливая женщина» в клавирной партитуре была почти готова и примерно первый акт инструментован. Несколько недель спустя последовал категорический запрет немецким театрам ставить произведения неарийцев, в том числе и те, к созданию которых имел какое-то отношение еврей; это предание анафеме распространялось даже на мертвых, и, к возмущению любителей музыки во всем мире, перед Гевандхаусом в Лейпциге был снесен памятник Мендельсону. Этим запретом, как я считал, была решена судьба нашей оперы. Совершенно естественным находил я то, что Рихард Штраус прекратит дальнейшую нашу совместную работу и начнет новую с кем-нибудь другим. Он же слал мне письмо за письмом: я не имею права так думать, напротив, теперь, когда он

*Бар — многоstroфная песня мейстерзингеров.

уже приступил к инструментовке, я просто обязан подготовить текст к следующей его опере. Он и мысли такой не допускает, что кто-то посмеет запретить ему сотрудничать со мной; и я должен прямо сказать, что впоследствии он хранил мне дружескую верность, пока ее можно было хранить. Правда, наряду с этим он предпринял шаг, который был мне исключительно неприятен: сблизился с властями, неоднократно встречался с Гитлером, Герингом и Геббельсом и позволил объявить себя президентом нацистской имперской музыкальной академии, в то время как даже Фуртвенглер еще открыто противился этому.

Его прямое сотрудничество в этот период было чрезвычайно важно нацистам. Ибо, к их неудовольствию, не только лучшие писатели, но и виднейшие музыканты открыто показали им спины, а те немногие, кто были лояльны к ним или переметнулись на их сторону, были неизвестны широким кругам. Публично заполучить на свою сторону в этот неустойчивый период самого знаменитого немецкого музыканта чисто политически означало для Геббельса и Гитлера большой успех. Гитлер, рассказывал Штраус, уже во времена своих венских скитаний, на деньги, с трудом добытые им неведомым способом, отправился в Грац, чтобы присутствовать на премьере «Саломеи», и демонстративно восторгался; на всех торжествах в Берхтесгадене, кроме Вагнера, исполнялись произведения только Рихарда Штрауса.

Поведение Штрауса было куда более расчетливым. При всем его эгоизме в искусстве, проявляемом им открыто и последовательно, в душе ему был безразличен любой режим. Он служил в качестве капельмейстера германскому кайзеру и инструментовал для него военные марши, затем придворным капельмейстером — у австрийского императора в Вене, и в равной мере был *persona gratissima** и в Австрии, и в Германии. Заигрывать с нацистами — на то у него имелись житейские

*Самая желанная личность (*лат.*).

основания. С точки зрения нацистов, он был весьма уязвим. Сын его женился на еврейке, и ему следовало опасаться, что его внуки, которых он безгранично любил, будут исключены из школы; его опера была опорочена моим именем, предшествующие оперы — Гуго фон Гофманстале, не являвшимся «чистым арийцем»; его издателем был еврей. Тем настоятельнее казалась ему необходимость заручиться поддержкой, и он упорно искал ее. Дирижировал именно там, где этого требовали новые господа, положил на музыку гимн для Олимпийских игр, хотя в письмах ко мне открыто высказывал свое недовольство этим заказом. В действительности в *sacro egoismo* художника беспокоило его лишь одно: сохранить свое произведение в первозданности, увидеть постановку своей новой оперы, которая была особенно близка его сердцу.

Снисхождение со стороны нацистов было бы мне в высшей степени неприятно. Легко могло возникнуть впечатление, будто я втайне с ними сотрудничаю или, во всяком случае, отношусь терпимо, дабы получить для своей особы в этом унижительном бойкоте право на одноразовое исключение. Со всех сторон на меня пытались воздействовать мои друзья: они склоняли меня к публичному протесту против постановки оперы в нацистской Германии. Однако, во-первых, я чувствую принципиальное отвращение ко всяким публичным и патетическим жестам, а кроме того, в душе мне было неприятно создавать трудности гению масштаба Рихарда Штрауса.

Штраус в конечном счете был самым значительным из живущих музыкантов, и ему исполнилось семьдесят лет, этому своему произведению он отдал три года и в течение всего этого времени проявлял по отношению ко мне дружеское расположение, обязательность и даже мужество. Поэтому со своей стороны я считал правильным не вмешиваться в события, молча предоставив их естественному ходу. Кроме того, я знал, что новым стражам немецкой культуры создам еще больше трудностей своей полнейшей пассивностью, ибо нацистская имперская канцелярия и министерство пропаганды

только и ищут необходимый предлог, чтобы запретить величайшего немецкого музыканта. Именно поэтому либретто было затребовано во все — какие только возможно — инстанции в тайной надежде найти долгожданный предлог. Как было бы удобно, если бы в «Молчаливой женщине» была, например, такая же сцена, как в «Кавалере роз», где молодой человек выходит из спальни замужней женщины! Это можно было бы преподнести как необходимость защиты немецкой морали. Но, к их разочарованию, мой текст не содержал ничего безнравственного.

Затем были перерыты всевозможные картотеки гестапо и все мои книги. Но и здесь нельзя было обнаружить ни одного обидного слова, сказанного мной против Германии (как и против какой-либо другой страны), или хотя бы следы высказываний на политические темы. Что бы они ни пытались предпринять — будь то отказ их на глазах у целого мира в праве поставить свою оперу корифею, которому они сами вручили знамя национал-социалистской музыки, или — день «национального позора»! — дозволение осквернить (в который уже раз) немецкие афиши именем Стефан Цвейг, на объявлении которого автором текста категорически настаивал Рихард Штраус, — ответственность неизменно ложилась на них одних. Как я втайне наслаждался их великими заботами и неразрешимой головоломкой; я предчувствовал, что и без моего вмешательства или, точнее, именно благодаря полному отсутствию с моей стороны со- или противодействия моя музыкальная комедия неудержимо вырастет в партийно-политический кошачий концерт.

До поры до времени нацисты уходили от решения. Но в начале 1934 года в конце концов все же пришлось выбирать: либо пойти против своего собственного закона, либо против величайшего музыканта эпохи. Дело не терпело дальнейшего отлагательства. Партитура, клавираусцуг, текст были давно отпечатаны, в «Гофтеатре» Дрездена были заказаны костюмы, роли распределены и даже разучены, а всевозможные инстанции: Геринг и Геббельс, имперская канцелярия и совет

по культуре, министерство просвещения и гвардия цензоров — все еще не могли договориться. И хотя это кажется смешным, но история «Молчаливой женщины» превратилась в дело государственной важности. Ни одна из всех этих многочисленных инстанций не осмеливалась взять на себя всю полноту ответственности как за дозволение, так и за запрещение, и, стало быть, ничего иного не оставалось, как предоставить решать вопрос лично самому владыке Германии и вождю нацистской партии — Адольфу Гитлеру.

Еще до этого мои книги «удостоились чести» быть прочитанными нацистами, особенно «Фуше», которого они считали образцом политической благонадежности и перечитывали снова и снова. Но что после Геббельса и Геринга Адольф Гитлер должен будет самолично утруждать себя прочтением *ex officio** трех актов моего лирического либретто, этого я никак не ожидал. Решение далось ему нелегко. Как вскоре мне удалось выяснить всякими окольными путями, состоялся бесконечный ряд совещаний. Наконец Рихард Штраус предстал перед «всемогущим», и Гитлер сообщил ему *in persona*, что постановка, хотя она противоречит всем законам нового германского рейха, как исключение разрешается — обещание, очевидно, данное столь же неохотно и лицемерно, как подписание Пакта о ненападении с СССР.

И вот наступила премьера — день позора для нацистской Германии, когда имя Стефана Цвейга, объявленное вне закона, красовалось на всех афишах. На спектакле я, разумеется, не присутствовал, так как знал, что зрительный зал будет переполнен коричневыми формами, а на одно из представлений ожидают самого Гитлера. Опера имела очень большой успех, и я должен отметить к чести музыкальных критиков, что девять десятых из них с готовностью использовали хорошую возможность, чтобы еще раз — в последний раз — заявить о своем внутреннем неприятии расовой теории, высказав

* По должности, по обязанности (*лат.*).

самые, какие только возможно, добрые слова о моем либретто. Все немецкие театры: в Берлине, Гамбурге, Франкфурте, Мюнхене — тотчас объявили постановку оперы на следующий сезон.

Вдруг, после второго спектакля, с высоких небес грянул гром. Запрет был наложен разом на все, в одну ночь оперу запретили в Дрездене и по всей Германии. И более того, все с удивлением прочитали, что Рихард Штраус заявил о своем уходе с поста президента музыкальной академии. Каждый понимал, что произошло нечто чрезвычайное. Но минуло еще какое-то время, прежде чем я узнал всю правду. Оказывается, Штраус написал мне письмо, в котором убеждал меня безотлагательно приступить к либретто новой оперы и более чем откровенно выразил свое личное отношение ко всему происходящему. Это письмо попало в руки гестапо. Оно было предъявлено Штраусу, который тотчас после этого вынужден был подать в отставку, а опера была запрещена. Она увидела свет на немецком языке лишь в свободной Швейцарии и в Праге, позднее — на итальянском языке — в миланской «Ла Скала», по особому дозволению Муссолини, в то время еще не успевшего позаимствовать расистскую теорию. Однако немецкий народ был лишен возможности наслаждаться этой чарующей оперой своего величайшего музыканта современности.

* * *

Пока вся эта история довольно бурно протекала в Германии, я жил за границей, ибо чувствовал, что в Австрии мне не дадут спокойно работать. Мой дом в Зальцбурге находился так близко от границы, что невооруженным глазом я мог видеть гору Берхтесгаден, на которой стоял дом Адольфа Гитлера — малоотрадное и очень тревожное соседство. Эта близость немецкой границы давала мне, разумеется, и возможность судить лучше, чем моим друзьям в Вене, об угрожающем положении в Австрии. Завсегдаги кафе и даже люди в министерствах рассматривали нацизм как движение, которое происхо-

дит «по ту сторону» и ни в коем случае не может коснуться Австрии. Разве у нас нет больше социал-демократической партии, которая включает в себя почти половину населения и так четко все организует? И разве ее всеми силами не поддерживает партия клерикалов, особенно с тех пор, как «германские христиане» Гитлера открыто преследуют христиан, а своего фюрера величают «более великим, чем Христос»? Разве Франция, Англия, весь союз народов не являются больше покровителями Австрии? Разве не клятвенно поручился защитить и обеспечить независимость Австрии сам Муссолини? Даже евреи не тревожились и делали вид, будто лишение гражданских прав врачей, адвокатов, ученых, артистов происходит в Китае, а не в трех часах пути отсюда, по ту сторону границы, в той же языковой области. Они преспокойно сидели по своим домам и разъезжали в своих автомобилях. Кроме того, у каждого была заготовлена успокоительная фраза: «Долго это продолжаться не может!»

В Зальцбурге, в непосредственной близости от границы, многое было видно более отчетливо. Начались беспрестанные переходы через узкую пограничную речку: молодые люди прокрадывались ночью на ту сторону, и их там муштровали; на машинах или с альпенштоками, как рядовые «туристы», через границу проникали агитаторы и создавали свои «ячейки» во всех слоях населения. Они вербовали, грозили тем, кто не признавал себя их сторонником, что они за это поплатятся. Это угнетало полицейских и государственных служащих. Я ощущал все большую неуверенность в поведении людей, они начали колебаться. А то, что пережил в повседневной жизни сам, убеждает больше всего.

В Зальцбурге у меня был друг молодости, довольно известный писатель, с которым тридцать лет я находился в близком духовном общении. Мы были на «ты», мы посвящали друг другу книги, встречались каждую неделю. И вот однажды я увидел этого старого друга на улице с незнакомым господином и заметил, что он тотчас остановился у совершенно ему безразличной витрины и чрезвычайно заинтересованно указывал

в ней на что-то, повернувшись ко мне спиной, этому господину. Странно, подумал я, он не мог не увидеть меня. Возможно, случайность. На следующий день он мне вдруг позвонил, спросил, не может ли он зайти ко мне для разговора после обеда. Я ответил утвердительно, несколько удивленный, ибо обычно мы встречались в кафе. Однако сказать ему было нечего, несмотря на столь срочный визит, и мне стало ясно, что, с одной стороны, он хотел сохранить дружбу со мной, с другой — боялся быть заподозренным в дружбе с евреем и обнаружить особую близость ко мне в нашем маленьком городе. Это насторожило меня, и вскоре я заметил, что за последнее время целый ряд знакомых, которые часто меня навещали, давно не появлялись. Ведь я числился в черном списке.

Тогда я еще не думал покинуть Зальцбург окончательно, но с большим желанием, чем обычно, решил провести зиму за границей, чтобы уйти от всех этих мелких неприятностей. И я не предполагал, что, уезжая в октябре 1933 года, я прощаюсь со своим столь любимым домом.

* * *

Я намеревался провести, работая, январь и февраль во Франции. Я любил эту духовно прекрасную страну как вторую родину и не чувствовал себя там иностранцем. Валери, Ромен Роллан, Жюль Ромен, Андре Жид, Роже Мартен дю Гар, Дюамель, Вильдрак, Жан Ришар Блок — ведущие литераторы — были моими друзьями. У моих книг здесь было едва ли не больше читателей, чем в Германии, никто не считал меня иностранным писателем. Я любил народ, любил страну, любил Париж и чувствовал себя в нем в такой степени дома, что всякий раз, когда поезд въезжал в Gare du Nord *, у меня было такое чувство, будто я «возвращаюсь».

Но в этот раз, в связи с особыми обстоятельствами, я выехал раньше, чем обычно, а в Париже рассчитывал оказаться лишь после Рождества. Ну а куда же пока? И тут я вспомнил,

* Северный вокзал (фр.).

что более четверти века не бывал в Англии, со студенческих времен. Почему всегда только Париж, сказал я себе. Почему бы не поехать на десять—четыренадцать дней в Лондон, спустя столько лет другими глазами взглянуть на музеи, на страну и город? Так, вместо скорого поезда на Париж я сел на поезд в Кале и в результате туманным ноябрьским днем через тридцать лет вновь оказался на вокзале Виктория, и непривычным было лишь то, что в гостиницу ехал не в кебе, как некогда, а в автомобиле. Туман, холодная мягкая серость были прежними. Я еще не успел и взглянуть на город, а мое обоняние и через три десятилетия снова узнало этот удивительно терпкий, вяжущий, влажный, обволакивающий воздух.

Багаж мой был невелик, как и мои ожидания. Дружеских связей у меня в Лондоне почти не было; и в литературном отношении между нами, континентальными и английскими писателями, было мало контактов. Они вели обособленный образ жизни, опиравшийся на традиции, нам не совсем понятные: я не могу припомнить, чтобы среди книг, которые приходили в мой дом со всего света, на моем столе хоть раз оказалась книга английского автора — подарок от коллеги. С Шоу я встречался в Хеллерау, Уэллс навестил меня однажды в моем зальцбургском доме; мои же книги, хотя и были все переведены, не пользовались известностью; Англия всегда оставалась страной, где они были наименее популярны. В то время как я лично дружил с моим американским, французским, итальянским, русским издателями, я никогда не видел главу фирмы, которая публиковала мои книги в Англии. Я подготовился к тому, чтобы почувствовать себя здесь так же неприкаянно, как и тридцать лет назад.

Но вышло иначе. Через несколько дней я почувствовал себя в Лондоне невероятно хорошо. Не то чтобы существенно изменился Лондон. Просто я сам изменился. Я стал на тридцать лет старше и после всех этих военных и послевоенных лет нервозности и сверхнапряжения был полон желания хоть немного пожить совсем тихо, не слыша ничего о политике. Разумеется, и в Англии имелись партии, но их разногласия меня

не волновали. Различные направления и течения, споры и скрытое соперничество, несомненно, были и в литературе, но я находился от всего этого в стороне. А вот отрадно было то, что я наконец снова ощутил вокруг себя атмосферу терпимости, любезности, спокойствия и дружелюбия.

Ничто в последние годы не отравляло мне жизнь в такой степени, как постоянное чувство неприязни и напряженности в стране, в моем городе вокруг меня, необходимость постоянно ограждать себя от того, чтобы тебя втянули в какие-нибудь дебаты. Население здесь не было сбито с толку, в общественной жизни было куда больше справедливости и порядочности, чем в наших странах, ставших аморальными после великого обмана инфляции. Люди жили спокойнее, в большом достатке, их скорее интересовали их собственный сад и маленькие пристрастия, чем жизнь соседа. Здесь можно было свободно дышать, думать и размышлять. Но главное, что меня здесь удерживало, была новая работа.

Это произошло так. Только что вышла моя «Мария Антуанетта», и я читал корректуру моей книги об Эразме, где пытался дать духовный портрет гуманиста, который, хотя и более ясно понимал абсурдность времени, нежели сами преобразователи мира, трагическим образом все же не в состоянии был даже при его здравом разуме выступить против этой абсурдности. После завершения этого замаскированного автопортрета я хотел написать давно задуманный роман. Биографий у меня было достаточно. Но так уж случилось, что уже на третий день в Британском музее, привлеченный моей давней страстью к автографам, я рассматривал различные экспонаты, выставленные в специальном помещении. Среди них было рукописное сообщение о казни Марии Стюарт. Невольно я спросил себя: что же, собственно, произошло с Марией Стюарт? Действительно ли она была причастна к убийству своего второго супруга или нет?

Так как вечером мне нечего было читать, я купил книгу о ней. Это был прямо-таки гимн, который защищал ее как свя-

тую, книга — пустая, поверхностная и глупая. В своем неизлечимом любопытстве на следующий день я достал другую, которая утверждала нечто прямо противоположное. Это заинтересовало меня. Я спросил, существует ли действительно серьезная книга на эту тему. Никто не мог мне ее указать, и так, разыскивая и справляясь, я непроизвольно втянулся в сопоставление и, еще не осознавая, приступил к книге о Марии Стюарт, которая затем удерживала меня неделями в библиотеках. Когда в начале 1934 года я снова поехал в Австрию, то был полон решимости вернуться в полюбившийся мне Лондон, чтобы в тишине закончить там эту книгу.

В Австрии мне потребовалось не более двух или трех дней, чтобы увидеть, насколько за эти несколько месяцев ухудшилось положение. Приехать из тихой и надежной Англии в эту сотрясаемую беспорядками и столкновениями Австрию было равносильно тому, как если бы в жаркий июльский день в Нью-Йорке вдруг выйти из прохладного помещения с кондиционером на раскаленную улицу. Давление нацистов начало постепенно ощущаться клерикальными и буржуазными кругами; все сильнее они чувствовали экономические тиски, губительный и нетерпеливый натиск Германии. Правительство Дольфуса, которое хотело сохранить Австрию независимой и оградить от Гитлера, готово было схватиться за соломинку. Франция и Англия находились далеко и проявляли безразличие, Прага еще хранила старое раздражение на свою соперницу Вену; оставалась лишь Италия, которая в то время стремилась к экономическому и политическому протекторату над Австрией, чтобы защитить альпийские перевалы и Триест. За это покровительство Муссолини потребовал большую цену. Австрия должна была, приняв фашистскую идеологию, покончить с парламентом и тем самым с демократией. Но это было невозможно без ликвидации или лишения прав партии социал-демократов, самой сильной и лучше всех организованной в Австрии. Одолеть ее можно было только путем применения силы.

Для этого уже предшественник Дольфуса, Игнац Зейпель, создал организацию, так называемый «Хаймвер». Со стороны она представляла самое жалкое зрелище, какое только можно было себе представить: мелкие провинциальные адвокаты, демобилизованные офицеры, темные личности, безработные инженеры — каждый разочарованная посредственность и каждый люто ненавидел другого. Наконец в молодом князе Штаремберге нашли так называемого вождя, который некогда был приспешником Гитлера и метал громы и молнии против республики и демократии, а теперь с кучкой наемников объявился уже как противник Гитлера, заверяя, что «покатятся головы». Чего хотели хаймверовцы на самом деле, было совершенно неясно. Главное для них было любым способом дорваться до власти, держались они с помощью Муссолини, подталкивавшего их вперед. То, что эти псевдопатриоты Австрии с помощью винтовок, доставленных из Италии, подпиливали сук, на котором сидели, они не замечали.

Социал-демократическая партия лучше понимала, откуда исходит действительная опасность. Что до нее самой, то ей открытой борьбы можно было не опасаться. У нее было свое оружие: всеобщей забастовкой она могла парализовать все дороги, водоснабжение, все электростанции. Но она знала также, что Гитлер ждет лишь подобной так называемой «красной революции», чтобы получить повод вторгнуться в Австрию «спасителем». Таким образом, ей представлялось, что лучше пожертвовать большей частью своих прав и даже парламентом, но добиться приемлемого компромисса. Все благо-разумные вынуждены были выступить за подобное урегулирование, когда Австрия находилась в угрожающей тени гитлеризма.

Даже сам Дольфус, гибкий, честолюбивый, но чрезвычайно реалистичный человек, казалось, склонялся к соглашению. Но молодой Штаремберг и его сподвижник, майор Фей, который позднее сыграл особую роль в убийстве Дольфуса, требовали, чтобы шуффбунд сдал свое оружие и чтобы был уничто-

жен всякий след демократической и гражданской свободы. Против этого требования выступали социал-демократы, послания с угрозами передавались из лагеря в лагерь. Развязка, это явно ощущалось, была близка, и в этом ощущении всеобщей напряженности невольно думалось о словах Шекспира: «So foul a sky clears not without a storm»*.

* * *

В Зальцбурге я пробыл несколько дней и вскоре поехал дальше — в Вену. И как раз в эти первые февральские дни разразилась гроза. Хаймверовцы напали в Линце на помещение рабочего союза, чтобы отобрать у него его оружие, предполагалось, что оно там есть. Рабочие ответили всеобщей забастовкой, Дольфус со своей стороны приказал оружием подавить эту спровоцированную «революцию». В рабочие кварталы Вены были направлены регулярные войска с пулеметами и пушками. Три дня шли ожесточенные бои от дома к дому; это было в последний раз перед Испанией, когда демократия в Европе боролась с фашизмом. Три дня стойко держались рабочие, прежде чем отступили перед превосходящими силами.

Эти три дня я находился в Вене и, следовательно, должен был быть очевидцем этого решающего сражения и его результата — самоубийства австрийской независимости. Но поскольку я намерен быть честным свидетелем, то должен признаться в том факте, кажущемся поначалу парадоксальным, что сам я не видел и следа этой революции. Кто ставит перед собой цель дать по возможности честную и наглядную картину своего времени, должен иметь мужество развеивать некоторые романтические представления. И ничто не кажется мне более характерным для современных революций, как то, что на огромном пространстве современного крупного города они совершаются, собственно, в немногих точках и поэтому для большинства жителей проходят совершенно незаметно.

*Мрачное небо без бури не очистить (англ.).

Как это ни покажется странным, я был в эти исторические февральские дни 1934 года в Вене и не видел ничего из этих решающих событий, которые разыгрались здесь, не знал даже о самой малости происходящего. Стреляли пушки, войска занимали дома, выносились сотни трупов — ничего этого я не видел. Любой читатель в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже имел лучшее представление о том, что происходило тогда, чем мы, кто, судя по всему, должны были быть свидетелями происходившего. И тому удивительному феномену, что в наше время в десяти улицах от решающих событий знаешь меньше, чем люди на расстоянии в тысячи километров, я не раз находил подтверждение впоследствии.

Когда средь бела дня несколько месяцев спустя в Вене был убит Дольфус, то уже в половине шестого вечера в Лондоне я увидел на улицах объявления. Я попытался тотчас позвонить в Вену; к моему удивлению, я тут же получил связь и, к моему еще большему изумлению, узнал, что в Вене, через пять улиц от министерства иностранных дел, знали гораздо меньше, чем в Лондоне на углу каждой улицы. Таким образом, на примере того, как я пережил события в Вене, я могу сделать вывод: насколько мало сегодня современник, если он не окажется случайно на решающем месте, узнает о событиях, которые изменяют лик мира и его собственную жизнь.

Вот все, чему я был свидетелем: вечером у меня было свидание с хореографом из оперы, Маргарет Вальман, в кафе на Рингштрассе. Я спокойно отправился на Рингштрассе пешком и хотел перейти ее. Тут ко мне подошли несколько человек в старых, наспех подобранных формах, с винтовками, и спросили, куда я направляюсь. Когда я объяснил им, что в кафе, они меня спокойно пропустили. Я и понятия не имел, почему и с какой целью вдруг здесь оказались эти гвардейцы. На самом же деле тогда уже в течение нескольких часов велась ожесточенная перестрелка, но в центре города никто об этом не знал. И лишь когда вечером я вернулся в гостиницу и хотел оплатить счет, поскольку на следующее утро собирался уехать в Зальцбург, портье высказал опасение, что это будет невоз-

можно, поезда не ходят. Забастовка на железной дороге, и, кроме того, что-то происходит в пригородах.

На следующее утро газеты довольно неопределенно сообщали о восстании социал-демократов, которое в основном уже подавлено. В действительности же восстание как раз достигло в тот день своей полной силы, и правительство решилось после пулеметов направить пушки в рабочие кварталы. Но и пушек я также не слышал. Если бы в то время в Австрии пришли к власти нацисты, социалисты или коммунисты, я бы знал столь же мало, как в свое время жители Мюнхена, которые утром проснулись и лишь из «Мюнхенер нойесте нахрихтен» узнали, что их город в руках Гитлера. В центре города все шло как обычно, спокойно и размеренно, и в то время, когда в пригороде бушевали бои, мы слепо верили официальным сообщениям о том, что все улажено и с беспорядками покончено. В Национальной библиотеке, где мне нужно было кое-что посмотреть, как всегда, сидели и читали студенты, все магазины были открыты, люди совершенно спокойны. И только на третий день, когда все закончилось, по крупницам узнали правду. Как только снова пошли поезда, я выехал утром в Зальцбург, где двое-трое знакомых, которых я встретил на улице, тотчас набросились на меня с вопросами, что, собственно, произошло в Вене. А я, непосредственный «очевидец», должен был им честно ответить: «Не знаю. Лучше всего купите иностранную газету».

* * *

На следующий день, в странной связи с этими событиями, мне пришлось принять решение в моей собственной жизни. К вечеру я возвратился из Вены в свой дом в Зальцбурге, обнаружил там кипы гранок и писем и работал до поздней ночи, чтобы все привести в порядок. На следующее утро, когда я еще лежал в постели, в дверь постучали; наш бравый старый слуга, который обычно никогда меня не будил, если я не указывал точного часа, появился со смущенным видом. Меня просят спуститься вниз, там господа из полиции и они хотели

бы поговорить со мной. Я был несколько удивлен, надел халат и спустился на первый этаж. Там стояли четверо полицейских в штатском, объявившие мне, что у них приказ обыскать дом; я должен немедленно выдать все, что спрятано в доме из оружия республиканского шуцбунда.

Должен признаться, что в первое мгновение я был слишком потрясен, чтобы что-то ответить. Оружие республиканского шуцбунда в моем доме? Это было слишком абсурдным. Я никогда не принадлежал ни к одной партии, никогда не интересовался политикой. Меня много месяцев не было в Зальцбурге, кроме того, было бы самым нелепым делом на свете создавать склад оружия именно в этом доме, который стоял за городом на горе, так что всякого, кто нес винтовку или иное оружие, видно было со всех сторон. Я не ответил ничего, кроме холодного: «Пожалуйста, смотрите». Четверо детективов походили по дому, открыли несколько ящиков, простучали пару стен, но сразу же стало ясно по их поведению, что обыск был рго фогта и никто из них не верил всерьез в склад оружия в этом доме. Через полчаса они заявили, что обыск закончен, и удалились.

Причина, почему этот фарс огорчил меня в то время так сильно, нуждается, к сожалению, в одном поясняющем историческом примечании. Ибо в последние десятилетия Европа и мир почти забыли, каким святым делом были права личности и гражданская свобода. С 1933 года обыски, произвольные аресты, конфискация имущества, выселение из домов и изгнание с родины, высылки и всякая иная мыслимая форма унижения стали почти рядовым явлением; я едва ли назову кого-либо из моих европейских друзей, кто не столкнулся бы с этим. Но тогда, в начале 1934 года, домашний обыск в Австрии был еще невероятным оскорблением. Чтобы человек вроде меня, стоявший совершенно в стороне от политики и уже многие годы не пользовавшийся своим выборным правом, был подвергнут обыску, на это должны были быть особые причины, а кроме того, это было сугубо внутреннее дело самой Австрии.

Президент полиции Зальцбурга был вынужден резко выступить против нацистов, которые по ночам устраивали взрывы и будоражили население, и этот его шаг был рискованным проявлением мужества, ибо уже в то время партия вводила свою технику террора. Каждый день чиновники получали письма с угрозами, что им еще придется дорого заплатить за все, если они и дальше будут «преследовать» национал-социалистов, и в самом деле, когда речь шла о мести, нацисты всегда сдерживали свое слово на сто процентов: самые преданные австрийские служащие в первый же день после вторжения Гитлера были брошены в концентрационные лагеря.

Этот обыск должен был дать понять, что проведение подобных мер безопасности будет происходить, невзирая на лица. Я, однако, за этим незначительным эпизодом видел, насколько серьезно уже стало положение в Австрии, насколько ощутимо давление Германии. Мой дом был уже не тот после этого визита, и определенное чувство говорило мне, что подобные эпизоды — лишь скромный пролог гораздо более далеко идущих акций.

В тот же вечер я начал собирать свои важнейшие бумаги, решив постоянно жить за границей, и это отторжение означало больше, чем просто отторжение от дома и родины, ибо моя семья была привязана к отчужденному дому как к своей отчизне, она любила страну. Для меня, однако, личная свобода была важнейшим делом на земле. Не уведомив никого из своих друзей и знакомых о своем намерении, двумя днями позже я отправился обратно в Лондон; первое, что я сделал там, — это сообщил властям в Зальцбурге, что оставил свое жилище навсегда. Это был первый шаг, который отторг меня от моей отчизны. Но я знал с тех событий в Вене, что Австрия потеряна, — разумеется, я не предполагал тогда, сколь многое потерял я сам.

АГОНИЯ МИРА

The sun of Rome is set. Our day is gone.
Clouds, dews and dangers come; our deeds are done *.

Шекспир. Юлий Цезарь

Англия означала для меня в первые годы эмиграции не больше, чем в свое время Сорренто для Горького. Австрия все еще существовала и после вооруженных столкновений и последовавшей попытки нацистов захватить власть в стране путем внезапного переворота и убийства Дольфуса. Агонии моей отчизны суждено было продолжаться еще четыре года. Я мог вернуться домой в любое время, я еще не был выдворен, объявлен вне закона. В зальцбургском доме по-прежнему стояли в неприкосновенности мои книги, был действителен мой австрийский паспорт, родина еще была моей родиной, а я был ее гражданином — гражданином со всеми правами. Еще не подступили тот ужас, то ни для кого, кто не прочувствовал его на себе самом, не понятное до конца положение человека без родины, это убийственное ощущение, будто пытаешься ходить в пустоте с открытыми глазами, сознание того, что отовсюду, где только остановишься, тебя могут вышвырнуть в любой момент. Тогда это лишь начиналось.

Когда в феврале 1934 года я вышел из поезда на вокзале Виктория, это было уже другое прибытие: иначе воспринимаешь город, в котором решил остаться, чем тот, в который приезжаешь только на время. Я не знал, как долго я проживу в Лондоне. Одно лишь было мне важно: снова засесть за свою работу, защитить свою внутреннюю и внешнюю свободу. Поэтому я не приобрел — всякое владение уже связывает — никакого дома, а снял небольшую квартиру, достаточную для того, чтобы разместить на двух стеллажах те немногие книги, без которых я просто не в силах жить, и поставить письменный стол. Тем самым у меня, собственно говоря, было все, что

*Погасло солнце Рима: грозовые/ Его затмили тучи. Нам — конец!
(англ.)

необходимо для творческого труда. Для общения, правда, места не оставалось. Но я предпочитал жить в стесненных условиях, но зато время от времени иметь возможность путешествовать: жизнь моя неосознанно настраивалась на преходящее, а не на устойчивое.

В первый вечер — уже темнело, и очертания стен расплывались в сумерках — я вошел в маленькую квартиру, которая наконец была подготовлена, и испугался. У меня вдруг возникло такое чувство, будто я очутился в той другой маленькой квартире, в которой жил почти тридцать лет тому назад, в Вене: такие же маленькие комнаты и единственно доброе знамение — те же книги на полках и галлюцинирующие безумные глаза блейковского «Короля Джона», который сопровождал меня повсюду. Мне и впрямь потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя, ибо многие годы я уже не вспоминал об этой квартире. Не было ли это предвестием того, что моя жизнь — так долго устремленная вперед — поворачивала в прошлое и я сам становился собственной тенью?

Когда тридцать лет тому назад я нашел себе то жилище, я только начинал. Я еще ничего не создал — или почти ничего; ни моих книг, ни моего имени еще не знали на родине. Теперь — поразительное сходство — моих книг снова не было там, и то, что я писал, было совершенно неизвестно в Германии. Друзья были далеко, старый кружок распался, дом с его коллекциями картин и книг недосыгаем; точно так же, как и прежде, все вокруг меня было чужое. Все, к чему я когда-то стремился, что делал, чему учился, чем наслаждался, казалось, развеяно в прах, перешагнув за пятьдесят, я снова оказался на пороге, снова был тем студентом, который сидел за своим письменным столом, а утром спешил в библиотеку — только теперь без былой веры, без того энтузиазма, с проблеском седины в волосах и тихой тенью печали в уставшей душе.

Я не решаюсь говорить подробно о тех годах — с 1934 по 1940-й в Англии, — ибо уже подступил к нашему времени, а все мы пережили его почти одинаково, с тем же вызываемым радио и газетами беспокойством, с теми же надеждами и теми же заботами. Мы все сегодня без особой гордости думаем о его политических ошибках и заблуждениях, но с ужасом: куда оно нас завело; кто захотел объяснить, должен бы был обвинять, а у кого из нас есть такое право!

И еще: моя жизнь в Англии была сплошным затворничеством. Поскольку я осознавал, что мне не дано преодолеть в себе излишнюю стеснительность, то был все эти годы полуэмиграции и эмиграции лишен всякого искреннего общения, глупо полагая, что в чужой стране я не смею высказываться по актуальным вопросам. Если я ничего не мог поделать с бестолковостью правящих кругов в Австрии, на что же я мог решиться здесь, на этом добром острове, где чувствовал себя гостем, хорошо знавшим, что если он — обладая большей информацией — укажет на опасность, которая грозит миру со стороны Гитлера, то это может быть воспринято как частное предвзятое мнение.

Разумеется, молча наблюдать за совершением явных ошибок было порой нелегко. И больно было видеть, как наивысшая добродетель англичан — их лояльность, их стремление сразу поверить другому, не требуя особых доказательств, — была использована в преступных целях образцово отработанной пропагандой. Их снова и снова лживо уверяли, что Гитлер хочет только присоединить немцев приграничных областей, тогда он будет удовлетворен и в благодарность за это искоренит большевизм; эта приманка действовала превосходно.

Гитлеру достаточно было произнести в речи слово «мир», и, страстно ликуя, газеты забывали обо всем и уже не спрашивали, зачем, собственно говоря, Германия так безудержно вооружается. Туристы, которым в Берлине пускали пыль в глаза, возвратившись домой, превозносили новый порядок и

его создателя, мало-помалу в Англии начали уже негласно одобрять его «притязания» на Великую Германию как обоснованные — никто не понимал, что Австрия краеугольный камень в стене и что Европе суждено развалиться, как только его выбьют. Я же смотрел на наивность, благородную доверчивость, с которой англичане и их лидеры давали себя обмануть, горящими глазами человека, который близко видел у себя дома штурмовиков и слышал, как они распевают: «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир».

Чем больше усиливалась политическая напряженность, тем больше сторонился я разговоров и всяких публичных выступлений. Англия — единственная страна Старого Света, где я не опубликовал в газете ни одной статьи на злобу дня, никогда не выступал по радио, не принимал участия в публичных дискуссиях; я жил там в своей маленькой квартире более замкнуто, чем за тридцать лет до этого студентом в своей венской квартире. Таким образом, я не имею права говорить об Англии как осведомленный очевидец, тем более что потом мне пришлось признаться себе самому, что до войны я так и не смог уловить сокровенную и проявляющуюся лишь в час крайней опасности силу Англии.

Писателей я тоже видел мало. Двоих, именно тех, с кем я стал сближаться, Джона Дринкуотера и Хью Уолпола, вскоре унесла смерть, с более молодыми я со своей стороны встречался не часто, так как из-за того злополучного гнетущего чувства неуверенности «foreigner»* я избегал клубов, обедов и публичных мероприятий. Тем не менее однажды я получил особое и действительно незабываемое удовольствие, став свидетелем того, как два острейших ума, Бернард Шоу и Г. Дж. Уэллс, сошлись во внутренне накаленной, но внешне рыцарской и блистательной словесной схватке.

Происходило это во время ленча в самом узком кругу у Шоу, и я оказался в небезынтересном, но в то же время ще-

* Иностранец, чужеземец (англ.).

котливым положении человека, который не знал заранее, что, собственно, вызвало ту потаенную напряженность между обоими патриархами, которая, словно электричество, почувствовалась уже в том, как они приветствовали друг друга, со слегка пропитанной иронией фамильярностью, — по всей вероятности, между ними имелись принципиальные разногласия, которые незадолго перед тем были устранены или предполагалось их устранить в ходе этой встречи.

Оба они, два гиганта, слава Англии, полвека тому назад в фабианском обществе плечом к плечу боролись за нарождающийся социализм. С тех пор они в соответствии со своими очень несхожими характерами все больше и больше отдалялись друг от друга: Уэллс — следуя своему деятельному идеализму, неутомонно представляя в своем воображении будущее человечества, Шоу, напротив, все больше взирая на будущее, как и настоящее, со скепсисом и иронией, распространяя и на это свой снисходительно-иронизирующий юмор. Они даже внешне становились с годами все более непохожи. Восьмидесятилетний Шоу, невероятно живой, высокий, сухощавый, полный энергии, язвительная улыбка на словоохотливых устах, увлеченный фейерверком своих парадоксов больше, чем когда-либо, на ленче лакомился лишь орехами и фруктами; семидесятилетний Уэллс, жизнерадостный, более терпимый, чем когда-либо прежде, маленький, краснощекий и сохранявший серьезность и в моменты особого оживления, ел с аппетитом. Шоу, ослепительный в атаках, быстро и неожиданно менял направление ударов, Уэллс уверенно держал оборону, стойкий, как всякий, кто верен своим убеждениям.

У меня сразу сложилось такое впечатление, что Уэллс пришел не просто на дружескую беседу за ленчем, а на встречу для обсуждения принципиальных вопросов. И именно потому, что я ничего не знал о предшествовавшем идейном конфликте, я особенно отчетливо ощутил его атмосферу. В каждом жесте, каждом взгляде, каждом слове обоих проскакивала какая-то часто озорная, но в то же время и довольно серьезная запаль-

чивость, как у фехтовальщиков, которые, прежде чем атаковать, короткими, прощупывающими выпадами проверяют оборону противника.

Шоу обладал более быстрой реакцией. Глаза из-под его кустистых бровей сверкали словно молнии, когда он парировал выпад противника, его умение острить, каламбурировать, за шестьдесят лет доведенное до настоящей виртуозности, здесь доходило чуть ли не до озорства. Его белая, клочковатая борода сотрясалась иногда от неслышного саркастического смеха, и казалось, что он, склонив немного голову набок, смотрит вслед своей стреле: куда она угодила.

Уэллс, со своими красными щечками и спокойными полуприкрытыми глазами, был более резок и прямолинеен; и его мозг работал невероятно быстро, но удары били не столь ослепительными зарядами, а более легко и с большей непринужденностью.

Это состязание происходило в таком темпе и столь остро — то здесь разряд молнии, то там, отражение и выпад, выпад и отражение, и все вроде бы в шутку, что сторонний наблюдатель не переставал восхищаться этим поединком, разрядами молний и точностью взаимных ударов. Но за этим стремительным и неизменно изысканно-вежливым диалогом скрывалось какое-то внутреннее напряжение, которое сдерживалось чисто английским искусством вести спор в светских формах. Это была — что и делало дискуссию такой захватывающей — серьезность в шутке и шутка в серьезности, резкое столкновение двух полярных характеров, и ход этого блистательного состязания был предопределен неизвестными мне причинами и мотивами.

Но так или иначе, я видел двух лучших мыслителей Англии в момент подъема, и продолжение этой схватки, которая в последующие недели была вынесена на страницы «Нейшн», по сравнению с тем темпераментнейшим диалогом не доставило мне и сотой доли того удовольствия, потому что за доказательствами, ставшими отвлеченными, уже не были видны

живые люди и суть дела. Но редко я так сильно наслаждался электрическими разрядами интеллекта, которые возникали при столкновении двух умов, — ни раньше, ни позже ни в одной комедии в театре я не видел такого виртуозно отточенного искусства, как тогда, когда оно жило в этой непреднамеренной, нетеатральной и самой благородной форме.



Но лишь местом жительства, а не всей своей душой был я тогда связан с Англией. Именно тревога за Европу, эта мучительно-гнетущая тревога, заставила меня в тот период, между захватом власти Гитлером и началом второй мировой войны, много путешествовать и даже дважды переправиться через океан. Возможно, меня подстегивало предчувствие, что, пока мир доступен и суда могут мирно следовать своим курсом, необходимо, насколько сможет вместить сердце, запастись впечатлениями и опытом на более мрачные времена, а может, страстное желание убедиться, что в то время, как наш мир рушился из-за недоверия и раздоров, зарождался и креп другой, а возможно, еще неясное предчувствие, что мое будущее и будущее многих из нас лежит по ту сторону Атлантики.

Турне с лекциями по Соединенным Штатам предоставило мне благоприятную возможность увидеть эту огромную страну во всем ее многообразии и в то же время во внутреннем единстве с востока на запад, с севера на юг. Но еще более сильным, возможно, оказалось впечатление от Южной Америки, куда я охотно отправился на конгресс, получив приглашение международного Пен-клуба; никогда не казалось мне более важным, чем в этот период, утвердить идею духовной солидарности стран и народов.

Как раз перед отбытием из Европы я получил серьезное предостережение, вызвавшее беспокойство. В то лето 1936 года началась гражданская война в Испании, которая лишь на поверхностный взгляд была только внутренним делом этой прекрасной страны с трагической судьбой, а в действительно-

сти уже подготовкой к будущей схватке двух идеологических миров. Я отбыл из Саутгемптона на английском корабле и был уверен, что судно, чтобы уклониться от района военных действий, не сделает, как обычно, первой остановки в Виго. К моему удивлению, мы все же вошли в порт, и нам, пассажирам, было даже разрешено на несколько часов сойти на берег.

Виго в ту пору был в руках франкистов и находился далеко в стороне от театра военных действий. И все же за эти немногие часы я смог кое-что увидеть, что дало достаточный повод для серьезных размышлений. Перед ратушей, над которой развевался франкистский флаг, стояли рядами — во главе каждого ряда священник — молодые парни в крестьянской одежде, согнанные сюда, по всей видимости, из близлежащих деревень. В первый момент я не понял, что все это значит. Быть может, это рабочие, их завербовали на какие-нибудь принудительные работы? Или это безработные, которым будут раздавать еду? Но через четверть часа я увидел тех же молодых парней, которые выходили из ратуши совсем в другом виде. На них была форма с иголки, они шли с винтовками и штыками; под присмотром офицеров их погрузили в новенькие и сверкающие автомобили и быстро увезли из города. Мне стало не по себе. Где я однажды уже видел это? Сначала в Италии, а затем в Германии! И тут, и там вдруг появлялись эти совершенно новые формы, новые автомобили и пулеметы.

И снова я спросил себя: кто поставляет, кто оплачивает все это, кто организует этих молодых бедных людей, кто подстрекает их против действующих законов, против избранного парламента, против их собственного законного народного представительства? Государственное богатство, насколько мне известно, находилось в руках законного правительства, точно так же, как и арсеналы с оружием. Эти автомобили, это оружие, следовательно, доставлены из-за границы, и они, несомненно, прибыли через границу из соседней Португалии. Но кто их поставил, кто оплатил их?

Это новая сила, которая рвется к власти, та же самая сила,

которая проявлялась то тут, то там, прибегала к насилию, нуждалась в насилии и для которой все те идеи, к которым мы были привержены и ради которых мы жили: мир, гуманность, терпимость, — считались пережитками мягкотелости. Это были нелегальные группы, притаившиеся в учреждениях и концертах, которые цинично использовали наивный идеализм молодежи, чтобы добиться власти и своих целей. Это была жажда насилия, которая хотела изощренным способом вернуть нашу злосчастную Европу в давно минувшее варварство войны.

Одно ярко пережитое впечатление всегда действует на душу сильнее, чем тысяча газетных статей и брошюр. И никогда сильнее, чем тогда — когда я видел, как этих молодых безвинных парней вооружали таинственные закулисные заправилы, намеревающиеся повернуть их против точно таких же парней, их же соотечественников, — мной не овладевало предчувствие того, что ждет впереди нас, всю Европу. Когда через несколько часов стоянки корабль продолжил плавание, я уже был внизу, в каюте. Я не мог больше без боли смотреть на эту прекрасную страну, по чьей-то злой воле подвергшуюся ужасающему опустошению; обреченной на гибель показалась мне Европа из-за ее собственного безумия: Европа, наша священная родина, колыбель и Парфенон нашей западной цивилизации.

Тем более благословенной показалась затем Аргентина. Это была вторая Испания, ее древняя культура, оберегаемая и сохраняемая на новой, более обширной, еще не сдобренной кровью, еще не отравленной ненавистью земле. Тут было обилие продуктов, богатство и избыток, тут были бескрайние просторы, а значит, и новые ресурсы. Безграничная радость охватила меня. Разве культуры не странствуют уже тысячелетия от одной страны к другой, разве всегда, когда дерево становилось добычей топора, не спасались семена и тем самым и новые цветы, новый плод? То, что поколения создавали до нас и вокруг нас, никогда ведь не исчезало бесследно. Надо

было лишь научиться мыслить крупномасштабно, мерить более значительными временными измерениями. Пора, говорил я себе, мыслить не только европейскими масштабами, но шире, не зарывать себя в отмирающем прошлом, но способствовать его возрождению. Ибо по сердечности, с которой все население нового миллионного города относилось к нашему конгрессу, я понял, что мы здесь не чужие и что вера в духовное единство, которому мы посвятили всю нашу жизнь, еще жива здесь, действует и с ней считаются; что, следовательно, в наше время новых скоростей нас не разделяет более даже океан. Новая задача встала здесь рядом со старой: более широко и смело упрочить единство, о котором мы мечтали. Если я считал Европу потерянной с того последнего момента, когда увидел приготовления к грядущей войне, то под Южным Крестом я снова начал надеяться и верить.

Не менее значительным впечатлением, не меньшим обещанием стала для меня Бразилия, эта щедро одаренная природой страна с красивейшим городом на земле, эта страна, гигантское пространство которой и сегодня еще не в состоянии измерить до конца ни железные дороги, ни шоссе, ни даже самолет. Здесь прошлое сохранялось более заботливо, чем в самой Европе, сюда еще не проникло очерствение, которое внесла первая мировая война в нравы, в дух наций. Люди здесь были более миролюбивы, более терпимы, не таким неприязненным, как у нас, было само общение между различными народами.

Здесь человек еще не был отделен от человека нелепыми теориями крови, расы и происхождения, чувствовалось, что здесь можно было жить спокойно, ибо имелось то неизмеримое, предназначенное для будущего пространство, за крохотную крупицу которого в Европе государства воевали, а политики вели бесконечные дебаты. Здесь земля еще ждала человека, чтобы он ее возделал и наполнил своим присутствием. Здесь вся та цивилизация, которую создала Европа, могла успешно продолжаться и развиваться в новых и разнообраз-

ных условиях. Я заглянул, наслаждаясь зрелищем тысячелетней красоты этой новой природы, в будущее.

* * *

Но путешествия, и даже дальше — под другие звезды и в другие миры, — не означали бегства от Европы и от ее тревог. Порой кажется, что природа зло мстит человеку тем, что все достижения техники, благодаря которым он подчинил себе ее сокровеннейшие силы, лишают покоя его душу. Нет более страшного наказания, чем то, что технические средства лишают нас возможности хотя бы на мгновение уйти от действительности. Люди предыдущих поколений могли в тяжелые времена бежать, уединяться; и только мы получили сомнительную привилегию — какие бы беды ни случались на нашем земном шаре, в тот же час и ту же секунду обо всем узнавать и все переживать.

Как бы далеко я ни находился от Европы, ее судьба оставалась моей. Высадившись в Пернамбуку ночью, под Южным Крестом, я увидел прикрепленную газету с сообщением о бомбардировке Барселоны и гибели испанского друга, с которым несколько месяцев тому назад провел незабываемые часы. В Техасе, проносясь в пульмановском вагоне недалеко от Хьюстона, я вдруг услышал истошные крики и беснование на немецком языке: какой-то ничего не подозревавший пассажир настроил приемник на волну Германии, так что мне довелось в поезде, идущем по равнине Техаса, услышать одну из поджигательских речей Гитлера. Не было возможности бежать, ни днем, ни ночью; я вынужден был с мучительной тревогой постоянно думать о Европе, а думая о Европе — неизбежно об Австрии. Может быть, покажется мелкотравчатым патриотизмом то, что, когда опасность приняла гигантские размеры — от Китая до Эбро и Мансанарес, — меня особо волновала судьба именно Австрии.

Я знал, что за Австрией падет и Чехословакия, и Балканы станут для Гитлера легкой добычей, что нацизм вместе с Ве-

ной, благодаря ее особому положению, получит в свои жесткие руки рычаг, которым он сможет раскачать и сорвать с петель всю Европу. Лишь мы, австрийцы, знали, какая страсть, подстрекаемая затаенной обидой, гнала Гитлера в Вену, в город, который видел его в дни крайнего унижения и в который он хотел войти триумфатором. Поэтому всегда, когда после недолгого пребывания в Австрии я возвращался обратно, то на границе вздыхал с облегчением: «Пока пронесло» — и оглядывался назад словно в последний раз.

Я видел неотвратимое приближение катастрофы; сотни раз по утрам все эти годы, в то время как другие с надеждой брали в руки газету, я боялся увидеть в ней крупный заголовок: «Конец Австрии». Ах, как я обманывал сам себя, делая вид, что давно уже не связан с ее судьбой! Находясь далеко от нее, я вместе с ней ежедневно переживал ее медленную и тяжкую агонию — бесконечно сильнее, чем мои оставшиеся в стране друзья, которых ввели в заблуждение патриотические демонстрации и которые ежедневно заверяли друг друга: «Франция и Англия не допустят нашего падения. А прежде всего этого не разрешит Муссолини». Они верили в Лигу Наций, в мирные договоры, как больные в лекарства с красивыми этикетками. Они продолжали жить беззаботно и счастливо, в то время как я, смотревший более трезво, изводил себя постоянными страхами.

Причиной моей последней поездки в Австрию тоже явилось не что иное, как волна внутреннего беспокойства, связанного с приближающейся катастрофой. Осенью 1937 года я побывал в Вене, чтобы навестить мою старую мать, больше мне там делать было нечего; никакие срочные дела не звали меня туда. Как-то в середине дня несколько недель спустя — вероятно, в конце ноября — я возвращался по Риджент-стрит домой и мимоходом купил «Ивнинг стандарт». Это было в тот день, когда лорд Галифакс полетел в Берлин, чтобы впервые вступить в личные переговоры с Гитлером. В этом выпуске газеты прямо на первой странице — это и сейчас еще перед глазами —

жирным шрифтом были перечислены отдельные пункты, по которым Галифакс хотел прийти к соглашению с Гитлером. Среди них — Австрия. И, пробегая по строчкам, я прочел — или мне показалось это? — предполагалось принести в жертву Австрию, ибо что иное могла означать встреча с Гитлером? Мы-то, австрийцы, знали: в этом пункте Гитлер никогда не уступит.

Странное дело, это перечисление пунктов, по которым пытались договориться, появилось только в том дневном выпуске «Ивнинг стандарт», а затем бесследно исчезло из вечернего выпуска этой газеты. (Позднее до меня дошли слухи, что эту информацию газете подбросило итальянское посольство, ибо в 1937 году Италия ничего так не опасалась, как сговора Германии и Англии за ее спиной.) Не берусь судить, какова на самом деле доля правды в этой — большинством, вероятно, вообще оставленной без внимания — заметке одного из выпусков «Ивнинг стандарт». Я знаю лишь, как беспредельно лично я испугался при мысли, что между Гитлером и Англией уже ведутся переговоры об Австрии; я не стыжусь признаться, что газета дрожала в моих руках. Вымышленное или действительное, сообщение взволновало меня, как никакое другое за последние годы, ибо я знал: если оно правдиво хотя бы на йоту, то это станет началом конца, из стены выпадет камень, а вслед за этим обрушится и сама стена. Я тотчас повернул обратно и вскочил в первый автобус с надписью «Вокзал Виктория» и поехал в «Эмпайр эруэйз», чтобы узнать, нет ли билета на следующее утро. Я хотел еще раз увидеть мою старую мать, моих родных, мою родину. Дело случая, но билет я достал, наскоро собрал чемодан и полетел в Вену.

Мои друзья удивились, что я так быстро и так неожиданно вернулся. Но как они меня высмеивали, когда я дал им понять, что именно меня тревожит: я все еще «старик Иеремия», шутили они. Разве мне не известно, что вся Австрия единодушно поддерживает Шушнига*? Они подробно расписывали пара-

*Шушниг Курт — федеральный канцлер в 1934—1938 гг. — *Примеч. пер.*

дные манифестации «Отечественного фронта», тогда как я еще в Зальцбурге видел, что большинство участников этих манифестаций предписанный значок единства носят на лацкане пиджака лишь для того, чтобы не рисковать своей работой, и в то же время предусмотрительно числятся в Мюнхене у нацистов — я слишком долго учил историю и писал о ней, чтобы не знать, что большинство всегда тотчас же переходит на ту сторону, на чьей сейчас сила. Я знал, что те же голоса, которые сегодня кричат «хайль Шушниг», завтра будут горланить «хайль Гитлер».

Но в Вене все, с кем я разговаривал, проявляли наивную беспечность. Они устраивали званые вечера в смокингах и фраках (не предвидя, что скоро будут носить одежду узников концлагерей), они сновали по магазинам, делая к Рождеству покупки в свои прекрасные дома, не предвидя, что эти их дома через несколько месяцев отнимут и разграбят. И эта вечная беззаботность старой Вены, которую я раньше так сильно любил и по которой тоскую, эта беспечность, которую венский поэт определил однажды краткой аксиомой: «С тобой ничего не может случиться», впервые отозвались во мне болью. Но, возможно, в конечном счете они были более мудрыми, чем я, все эти друзья в Вене, потому что их страдания начались лишь тогда, когда все действительно произошло, в то время как я уже заранее, в воображении, испытывал муки, и вторично — когда беда пришла. И все же я уже перестал понимать их и не мог сделать так, чтобы они поняли меня. На следующий день я больше никого не предостерегал. Зачем беспокоить людей, которые не хотят этого?

И это — не домысливание задним числом, а чистая правда: на каждую хорошо знакомую улицу, каждую церковь, каждый сквер, каждый старый уголок города, в котором я родился, в те последние дни я смотрел в полном отчаянии, с немым «никогда больше!», с сознанием того, что это прощание, прощание навсегда. Мимо Зальцбурга, города, где находился дом, в котором я работал двадцать лет, я проехал, не выходя даже

на перрон. И хотя из окна вагона я мог бы увидеть на холме мое жилище, связанное со многими воспоминаниями прожитых лет, я даже не глянул в ту сторону. К чему? Ведь мне никогда не придется жить в нем снова. И в тот момент, когда поезд пересек границу, я понял, как некогда библейский праотец Лот, что все за мной — прах и пепел, горькой солью окаменевшее прошлое.

* * *

Я считал, что предвижу все ужасы, которые могут произойти, если кошмарный бред Гитлера сбудется и он вступит в Вену — город, который отверг его, жалкого молодого неудачника, — как завоеватель. Но сколь робким, сколь ничтожным, сколь убогим оказалось мое воображение, как и воображение любого человека, по сравнению с трагедией, которая произошла 13 марта 1938 года, в тот день, когда Австрия — и тем самым вся Европа — стала жертвой неприкрытого насилия! Теперь маска была сброшена. Так как другие государства не смогли утаить свой страх, зверству незачем было более сдерживать себя какими бы то ни было моральными барьерами — подумаешь, Англия, Франция, мир! — ему уже не нужны были фальшивые измышления о «марксистах», которых необходимо политически обезвредить.

Теперь уже не просто бесчинствовали и грабили, но дана была воля неограниченному надругательству над человеком. Университетских профессоров заставляли убирать улицы, набожных белобородых евреев сгоняли в святые храмы, и гогочущие молодчики принуждали их бить поклоны и хором кричать «хайль Гитлер». Неповинных людей отлавливали на улице, как зайцев, и волокли в казармы СА* чистить нужники; все, что прежде мерещилось болезненно-грязному, безудержно злобствующему воображению по ночам, бесчинствовало теперь среди бела дня. То, что нацисты врываются в жилища и у дрожавших от страха женщин вырывают из ушей серьги,

*СА (нем. SA — Sturmabteilungen) — нацистские штурмовые отряды.

было не ново — городские грабежи, как известно, происходили и сотни лет тому назад, во времена средневековых войн; но здесь было бесстыжее упоение от публичного истязания, душевных пыток, изощренных унижений. Все это засвидетельствовано не одним, а тысячами тех, кто это выстрадал.

До этого «нового порядка» убийство одного-единственного человека без суда и следствия еще потрясало мир, пытки считались немыслимыми в двадцатом столетии, экспроприацию еще прямо называли — воровство и грабеж. *Теперь*, однако, после нескончаемых варфоломеевских ночей, после ежедневных истязаний до смерти в застенках и за колючей проволокой, какое значение может иметь еще одна несправедливость, земное страдание? После Австрии 1938 года мир притерпелся к бесчеловечности, к бесправию и жестокости больше, чем за все предшествующие столетия. В прежние времена того, что произошло в злосчастной Вене, было бы достаточно для международного бойкота; в 1938 году мировая совесть помалкивала или лишь слегка роптала, вскоре все забыв и простив.



Эти дни, когда с родины постоянно доносились призывы о помощи, известия о том, что ближайших друзей хватают, пытаются и унижают, а ты лишь беспомощно переживаешь за тех, кого любил, принадлежат к самым ужасным в моей жизни. И я не стыжусь признаться — насколько время извратило наши чувства, — что у меня не оборвалось сердце, я не зарыдал, когда пришло известие о смерти моей старой матери, которую мы оставили в Вене, но, напротив, я почувствовал своего рода облегчение, сознавая, что она наконец избавлена от всех страданий и невзгод.

Восьмидесятичетырехлетняя, почти оглохшая, она жила в квартире в нашем семейном доме и даже по новым «арийским законам» ее не должны были выселить; и мы надеялись, что через некоторое время удастся каким-нибудь образом вывезти ее за границу. Но уже одно из первых распоряжений по городу

жестоко отразилось на ней. В свои восемьдесят четыре года она уже слабо держалась на ногах и во время ежедневной маленькой прогулки имела обыкновение после пяти или десяти минут утомительной для нее ходьбы отдыхать на скамье на Рингштрассе или в парке. Гитлер еще и недели не пробыл властелином города, а уже прибыл скотский приказ, по которому евреям запрещалось сидеть на скамьях, — один из тех запретов, которые явно придуманы лишь с садистской целью гнусного издевательства, ибо в том, чтобы грабить евреев, — в этом все же была своя логика и определенный смысл, потому что добычей от грабежа фабрик, обстановки квартир, вилл и освободившимися должностями можно было содержать своих пособников, вознаграждать старых приспешников: так, картинная галерея Геринга своим богатством обязана главным образом этой проводимой в широких масштабах практике. Но отказать старой женщине или обессилевшему старику в том, чтобы несколько минут передохнуть на скамейке, — это стало уделом двадцатого столетия.

К счастью, моя мать была избавлена от необходимости долго пребывать среди подобного рода жестокости и унижения. Она умерла через несколько месяцев после оккупации Вены, и я не могу не упомянуть один эпизод, связанный с ее смертью: отметить именно эти подробности представляется мне важным для будущих времен, когда подобные вещи покажутся невозможными. Восьмидесятичетырехлетняя женщина утром неожиданно потеряла сознание. Вызванный к ней врач сразу же заявил, что она едва ли переживет ночь, и пригласил к постели умирающей сиделку, женщину лет сорока. Рядом не было ни меня, ни моего брата, единственных ее детей. Да мы и не могли прибыть, ибо и приезд к смертному одру матери представители «германской культуры» сочли бы преступлением. Поэтому вечер в квартире согласился пробыть один наш родственник, чтобы хоть кто-то из родных был рядом во время ее смерти.

Этому нашему родственнику тогда было шестьдесят лет, он

сам давно уже болел и год спустя умер. Когда он в соседней комнате как раз собрался приготовить на ночь постель, появилась — к ее чести надо признать, довольно смущенная — сиделка и заявила, что в силу новых нацистских законов она, к сожалению, не сможет остаться на ночь у одра умирающей. Мой родственник — еврей, и она, будучи женщиной в возрасте до пятидесяти лет, не имеет права остаться на ночь под одной с ним крышей, даже рядом с умирающей, ведь, по логике Штрайхера, первой мыслью еврея должно быть поползновение надругаться над чистотой германской расы. Разумеется, сказала она, это предписание ей ужасно неприятно, но она вынуждена подчиняться законам.

В результате мой шестидесятилетний родственник был вынужден вечером покинуть дом для того, чтобы с моей умирающей матерью могла остаться сиделка; теперь, возможно, понятно, что я вздохнул с облегчением оттого, что ей больше не придется жить среди подобных людей.



Падение Австрии внесло в мою личную жизнь изменение, которое я сначала рассматривал как совсем пустяковое и чисто формальное: я утратил тем самым мой австрийский паспорт и должен был испросить бумагу, заменяющую паспорт человеку без родины. Часто в своих космополитических мечтаниях я тайно представлял себе, как бы это было прекрасно, насколько это, по существу, соответствовало бы моему внутреннему побуждению — быть человеком без родины, не быть обязанным ни одной стране, но принадлежать всем без исключения. Но снова мне пришлось признать, сколь ограничена наша земная фантазия и что лишь тогда поймешь сокровеннейшие чувства, когда выстрадаешь их сам.

В ту только минуту, когда после долгого ожидания на скамье просителей в коридоре я был впущен в английскую канцелярию, я постиг, что означает этот обмен моего паспорта на бумагу иностранца. Ибо на свой австрийский паспорт я

имел право. Каждый австрийский чиновник консульства или офицер полиции был обязан тотчас выдать мне его как полноправному гражданину. Английскую бумагу, которую я получил, мне пришлось выпрашивать. Это было унижительное одолжение, и, кроме того, одолжение, которого меня в любой момент могли лишить. За ночь я вновь опустился на одну ступеньку ниже. Вчера еще зарубежный гость и в некотором роде джентльмен, который здесь спускал свой иностранный капитал и выплачивал налоги, я стал эмигрантом, «refugee»*.

Я оказался в куда менее почитаемой, если даже не позорной категории. Кроме того, всякую иностранную визу по этому листу бумаги отныне надо было особо вымаливать, поскольку во всех странах с подозрением относились к тому «сорт» людей, к какому стал принадлежать я, — к лишенному прав человеку без родины, которого в случае необходимости нельзя было выдворить и препроводить назад, как других, когда он становился обременительным, задерживаясь чересчур долго. И мне все чаще приходилось думать о словах, сказанных мне за несколько лет до этого: «Раньше человек имел только тело и душу. Теперь он еще нуждается в паспорте, иначе к нему не будут относиться как к человеку».

И в самом деле, ничто, возможно, не свидетельствует о падении человечества после первой мировой войны более очевидно, чем ограничение личной свободы перемещения человека. До 1914 года земля принадлежала всем. Каждый отправлялся, куда хотел, и оставался, на сколько хотел. Не было никаких разрешений, никаких санкций, и я снова и снова получаю истинное наслаждение, видя, как удивлены молодые люди, когда узнают, что до 1914 года я путешествовал в Индию и Америку, не имея паспорта и даже вообще не имея понятия о таковом. Ехал куда и когда хотел, не спрашивая никого и не подвергаясь расспросам, не было необходимости

*Беженец, эмигрант (англ.).

заполнять ни одну из той сотни бумаг, которые требуются сегодня.

Не было никаких разрешений, никаких виз, никаких справок; те же самые границы, из-за патологического недоверия всех ко всем превращенные сегодня таможенниками, полицией, постами жандармерии в проволочные заграждения, были чисто символическими линиями, через которые человек переступал так же просто, как через меридиан в Гринвиче. Только после войны началось искушение мира национализмом, и явным проявлением этой духовной эпидемии нашего столетия явилась ненависть к иностранцам или по меньшей мере страх перед чужеродным. Повсюду отгораживались от иностранца, повсюду его игнорировали.

Все те унижения, придуманные раньше исключительно для преступников, теперь распространялись до и во время поездки на каждого путешественника. Надо было фотографироваться справа и слева, в профиль и en face, волосы стричь коротко, чтобы было открыто ухо, нужно было оставлять отпечатки пальцев, сначала только большого, а затем всех десяти, сверх того надо было предъявлять свидетельства, справки о состоянии здоровья, справки о прививках, свидетельство полиции о благонадежности, рекомендации, надо было предъявлять приглашения и адреса родственников, нужны были моральные и финансовые гарантии, нужно было заполнять и подписывать анкеты в трех, четырех экземплярах, и, если хоть одной бумаги в этой кипе не доставало, дело шло насмарку.

Это кажется мелочами. И на первый взгляд может показаться мелочным с моей стороны само их упоминание. Но этими бессмысленными «мелочами» наше поколение безвозвратно, бессмысленно растрачивало драгоценное время. Если подсчитать, сколько анкет я заполнил за эти годы, заявлений во время каждого путешествия, налоговых деклараций, валютных свидетельств, справок о пересечении границы, разрешений на пребывание, разрешений на выезд, заявлений на

прописку и выписку, сколько часов отстоял в приемных консульств и органов власти, перед каким числом чиновников высидел, сколько выдержал опросов и обысков на границах, тогда начнешь понимать, как много от человеческого достоинства потеряно в этом столетии, в которое мы, будучи молодыми людьми, веровали как в столетие свободы, грядущей эры мирового гражданства. Как много отнято у нашей производительности, у творческих сил, нашего воображения из-за этих бесполезных и вместе с тем унижающих душу мелочей!

Ибо за эти годы каждый из нас изучил больше служебных распоряжений, чем умных книг, первый шаг в чужом городе, в чужой стране вел уже не в музеи, не в окрестности, как некогда, а в консульство, полицейский участок, чтобы получить «разрешение». Те, кто раньше читал наизусть стихи Бодлера и горячо спорил на интеллектуальные темы, встречаясь теперь, ловили себя на том, что говорят о письменных показаниях под присягой и визах и рассуждают, подавать ли прошение на длительную визу или на визу туриста; знакомство с мелкой сошкой в консульстве, которая может ускорить дело, в последнее десятилетие стало куда полезней, чем дружба с «каким-нибудь» Тосканини или «каким-нибудь» Ролланом.

С душой, рожденной свободной, приходилось постоянно чувствовать, что являешься объектом, а не субъектом, что прав у тебя нет никаких, а все лишь милость властей. Тебя постоянно допрашивали, регистрировали, нумеровали, проверяли, избличали, и я — неисправимый представитель более свободной эпохи и гражданин пригрезившейся всемирной республики — по сей день воспринимаю каждую из этих печатей в моем паспорте как клеймо, каждый из этих вопросов и обысков как унижение. Это мелочи, всего лишь мелочи, я знаю, мелочи — для времени, когда ценность человеческой жизни падает еще быстрее, чем ценность валюты. Но, только отметив эти маленькие симптомы, более позднее время сможет установить правильный клинический диагноз духовной

атмосферы и духовной сумятицы, которая охватила наш мир между обеими мировыми войнами.

Возможно, прежде я был слишком избалован, или из-за этих резких перемен последних лет мое восприятие постепенно болезненно обострилось. Всякая форма эмиграции сама по себе неизбежно вызывает определенное нарушение равновесия. Переставешь — и это надо пережить, чтобы понять, — держаться прямо, когда не чувствуешь больше под ногами родной почвы, становишься менее уверенным, более недоверчивым по отношению к себе самому. И я, не раздумывая, признаюсь, что с того дня, когда я начал жить с бумагами или паспортами, я никогда более не чувствовал себя самим собой. Что-то, свойственное моему природному, изначальному «я», оказалось навсегда утрачено. Я стал более сдержанным, чем это было мне свойственно, и меня — бывшего космополита — не покидает чувство, что теперь мне следовало бы благодарить особо за каждый глоток воздуха, который я отнимаю у другого народа.

Трезво размышляя, я, разумеется, понимаю всю нелепость подобных причуд, но разве разуму когда-нибудь удавалось победить чувство! Мне не помогло то, что почти столетия я приучал мое сердце биться как сердце «citoyen du monde»*. Нет, в тот день, когда я утратил мой паспорт, я — в пятьдесят восемь лет — обнаружил, что со своей родиной теряешь больше, чем кусок застолбленной земли.

* * *

Я был не одинок в этом чувстве неуверенности. Постепенно беспокойство стало распространяться по всей Европе. Политический горизонт в Англии оставался пасмурным с того дня, как Гитлер напал на Австрию, и даже те, кто тайно прокладывал ему дорогу, надеясь тем самым купить мир для собственной страны, теперь начинали задумываться. С 1938 года во всех городах и селах не было больше ни одного разговора — как бы

*Гражданин мира (фр.).

далеко ни отстояла его тема сначала, — который бы в конце концов не сводился к неизбежному вопросу: можно ли и как избежать войны или хотя бы ее отсрочить.

Когда я оглядываюсь назад, на все эти месяцы постоянного и нарастающего страха перед войной в Европе, то вспоминаю в основном лишь о двух или трех днях подлинной уверенности, о двух или трех днях, когда еще раз, в последний раз, появилась надежда, что туча пройдет мимо и снова можно будет дышать мирно и свободно, как некогда. Поразительно, что эти два или три дня были именно теми, которые сегодня считаются самыми роковыми в новейшей истории: дни встречи Чемберлена и Гитлера в Мюнхене.

Я знаю, что сегодня неохотно вспоминают об этой встрече, на которой Чемберлен и Даладье оказались вынужденными капитулировать перед Гитлером и Муссолини. Но так как я здесь намерен следовать правде, то должен сказать, что для каждого, кто эти три дня находился в Англии, они тогда казались прекрасными. Ситуация в те дни сентября 1938 года была исполнена драматизма. Чемберлен только что вернулся из своей второй поездки к Гитлеру, куда ездил затем, чтобы в Годесберге безоговорочно согласиться с Гитлером в том, чего тот требовал от него ранее в Берхтесгадене. Но то, что Гитлер считал достаточным несколько недель тому назад, уже не могло насытить его истерию власти.

Политика appeasement* и «try and try again!»** самым жалким образом провалилась, эпоха веры в добро закончилась в Англии в одну ночь. Англии, Франции, Чехословакии, всей Европе оставалось лишь смириться перед императивным стремлением Гитлера к власти — или же преградить ему путь с оружием в руках.

Англия, казалось, решила на крайность. Теперь вооружались уже не тайком, а открыто и демонстративно. Вдруг появлялись рабочие и прямо в парках Лондона, в Гайд-парке,

* Умиротворения (англ.).

** Пытайся снова и снова! (англ.)

в парке Риджент и против германского посольства, рыли укрытия от грозящих бомбардировок. Флот был мобилизован, офицеры генерального штаба постоянно летали между Парижем и Лондоном туда и обратно, чтобы согласовать последние решения; иностранцы, стремившиеся своевременно оказаться в безопасности, брали штурмом корабли, идущие в Америку; с 1914 года Англия не знала подобной встряски. Люди выглядели более серьезными и сосредоточенными. На здания и на многолюдные улицы смотрели с тайной мыслью: не посыплются ли уже завтра на них бомбы? А во время последних известий люди стояли или сидели подле радио. Неприметно и все же ощутимо в каждом человеке, не отпуская ни на секунду, сказывалось невероятное напряжение, охватывавшее всю страну.

Затем состоялось то историческое заседание парламента, на котором Чемберлен уведомил, что он еще раз попытался прийти к соглашению с Гитлером, в третий раз предложив ему встретиться в Германии в любом месте, чтобы спасти мир от угрозы войны. Ответа на его предложение пока не последовало. И вот в разгар заседания — проходившего весьма драматично — пришло то известие, которое подтверждало согласие Гитлера и Муссолини провести совместную конференцию в Мюнхене, и в этот момент — возможно, единственный случай в истории Англии — английскому парламенту изменила его выдержка. Депутаты, вскочив с мест, кричали и аплодировали, галереи гремели от ликования. Уже многие годы почтенное здание не сотрясало так от взрыва восторга, как в эти минуты.

Чисто по-человечески было отрадно видеть, как искреннее воодушевление, вызванное надеждой на то, что мир еще можно спасти, преодолело обычно столь искусное умение англичан сдерживать свои чувства. Но политически этот взрыв был огромной ошибкой, ибо своим бурным ликованием парламент, страна обнаружили, как сильно ненавидели они войну, на какие жертвы они готовы были пойти ради мира: на любой

отказ от собственных интересов и даже от собственного престижа. С самого начала поэтому о Чемберлене поговаривали, что он отправился в Мюнхен не для того, чтобы отстаивать мир, а чтобы его выпрашивать.

Но никто тогда даже не предполагал, чем это обернется. Потом еще два-три дня томительного ожидания, три дня, когда весь мир, казалось, затаил дыхание. Рыли в парках бомбоубежища, работали на военных заводах, устанавливали зенитные орудия, раздавали противогазы, составляли планы эвакуации детей из Лондона и проводили тайные приготовления, назначения которых — каждого в отдельности — никто не понимал, но все знали, для чего они проводятся. Каждое утро, день, вечер, ночь проходили в ожидании газеты, сообщений по радио. Снова как бы возвратились те дни июля 1914 года с их ужасающим, изматывающим нервы ожиданием «да» или «нет».

А затем вдруг, словно невероятным порывом ветра, нависшая туча развеялась, на душе полегчало, с сердца упал камень. Стало известно, что Гитлер и Чемберлен, Даладье и Муссолини пришли к полному согласию, более того — что Чемберлену удалось заключить с Германией соглашение, которое гарантировало мирное урегулирование между этими странами всех возможных конфликтов в будущем. Казалось, что это решающая победа непреклонной воли в общем-то незначительного и ничем не примечательного государственного деятеля, и все сердца в этот первый час благодарно раскрылись навстречу ему.

И вот по радио передали послание «peace for our time»*, которое возвестило нашему уже немало испытавшему поколению, что ему позволено пожить мирно еще, побыть беззаботным, потрудиться над созданием нового, лучшего мира, и всякий лжет, кто задним числом пытается отрицать, что мы не были опьянены этим магическим известием. Ибо кто мог

* Мир нашему времени (англ.).

подумать, что вернувшийся домой в проигрыше способен вызвать триумфальное шествие? Если бы широкие массы населения Лондона в то утро, когда Чемберлен возвратился из Мюнхена, знали точный час его прибытия, сотни тысяч устремились бы в аэропорт, чтобы приветствовать его и выразить свое восхищение человеку, который, как мы все считали тогда, спас мир Европы и честь Англии.

Затем вышли газеты. На помещенных в них фотографиях Чемберлен, строгое лицо которого обычно имело сходство с головой встревоженной птицы, гордо улыбаясь, размахивал, выходя из самолета, тем историческим листом, который устанавливал «peace for our time» и который он привез домой своему народу как самый драгоценный дар. Вечером эту сцену показывали уже в кино; люди вскакивали со своих мест и, ликуя, кричали — чуть ли не обнимая друг друга в порыве этого возникшего братства, которое отныне должно было воцариться в мире. Для каждого, кто тогда находился в Лондоне и вообще в Англии, это был необычайный, окрыляющий душу день.

В такие исторические дни я люблю бывать на улицах, чтобы лучше, более осязаемо почувствовать атмосферу, чтобы, в полном смысле слова, подышать воздухом времени. В парках рабочие приостановили рытье бомбоубежищ, улыбаясь и переговариваясь, их окружили люди, ибо благодаря «peace for our time» бомбоубежища оказались ненужными; я слышал, как два молодых человека шутили на отличном кокни: дескать, теперь есть надежда, что из этих убежищ соорудят подземные общественные туалеты, ведь в Лондоне их явно не хватает. Каждый с готовностью смеялся вместе со всеми, люди выглядели посвежевшими, воскресшими, как растения после грозы. Они держались более уверенно, чем еще за день до этого, расправив плечи, и в их обычно столь холодных английских глазах появилось оживление. Дома казались освещенными ярче с тех пор, как стало известно, что им больше не угрожают бомбы, автобусы казались наряднее, солнце ярче,

жизнь многих тысяч счастливее и надежнее благодаря этим вдохновляющим словам. И я ощущал, как они окрыляют меня самого.

Я ходил без усталости, быстрее и раскованней, и меня тоже увлекала с собой поднимающаяся волна новой надежды. На углу Пиккадилли ко мне внезапно кто-то подскочил. Это был английский государственный чиновник, с которым я едва был знаком, отнюдь не экспансивный, скорее замкнутый человек. В другое время мы, как обычно, вежливо поклонились бы друг другу и ему никогда не пришлось бы в голову заговорить со мной. Но теперь он с блестящими глазами остановил меня. «Что вы скажете о Чемберлене? — сказал он, сияя от радости. — Никто в него не верил, а он все же сделал свое дело. Он не уступил и тем самым спас мир».

Так думали все; то же чувствовал и я в тот день. И следующий день тоже был днем счастья. Хором ликовали газеты, на бирже резко подскочили валютные курсы, из Германии впервые за многие годы послышались дружелюбные голоса, французы предложили воздвигнуть Чемберлену памятник. Но это была лишь последняя яркая вспышка пламени перед наступлением кромешной тьмы. Уже в ближайшие дни просочились скверные подробности того, сколь безоговорочной была капитуляция перед Гитлером, сколь позорно предали Чехословакию, которую торжественно заверяли в помощи и поддержке, а на следующей неделе стало очевидно, что капитуляции Гитлеру уже недостаточно, что он — едва успела высохнуть подпись на договоре — уже нарушил его по всем пунктам. Не стесняясь, Геббельс объявил всему миру, что в Мюнхене Англию приперли к стене. Великий свет надежды погас. Но он светил в течение одного-двух дней и согревал наши сердца. Я не могу и не хочу забыть о тех днях.

С того момента, как мы узнали, что же на самом деле произошло в Мюнхене, я, как ни странно, редко встречался в Англии с англичанами. Я сам был повинен в этом, ибо избегал их, и больше всего — разговоров с ними, хотя не мог не восхищаться ими гораздо больше, чем раньше. К беженцам, которые теперь прибывали толпами, они относились великодушно, демонстрируя самое благородное сочувствие и готовность оказать помощь. Но между ними и нами выросла некая невидимая разделяющая стена: мы знали то, что им было еще неизвестно. Мы понимали, что произошло и должно произойти, они не могли это понять, пытаясь вопреки всему упорствовать в заблуждении, что слово есть слово, договор — договор и что с Гитлером можно договориться, надо только говорить с ним разумно, по-доброму.

В силу давней демократической традиции английские правящие круги не могли или не хотели признавать, что у них под боком выработана и пущена в ход техника преднамеренно циничного аморализма и что новая Германия отвергла все когда-либо действовавшие в международных отношениях и в рамках права нормы, как только они показались ей обременительными. Англичане все еще верили и надеялись, что Гитлер сначала ринется на других — желательно на Россию! — а тем временем можно будет прийти к какому-либо соглашению с ним.

У нас же, у каждого, стоял перед глазами образ погибшего друга, замученного пытками товарища, а потому был более жесткий, более острый, более холодный взгляд. Мы — объявленные вне закона, гонимые, лишенные прав, — мы знали, что никакой повод не будет чрезмерно нелеп, чрезмерно лжив, когда речь идет о грабеже и господстве. Таким образом, мы, эмигранты, уже пережившие испытание и оставшиеся в живых, и они, англичане, говорили на разных языках; думаю, не будет преувеличением, если скажу, что, кроме немногих британцев, мы тогда в Англии были единственными, кто не за-

блуждался относительно подлинных размеров опасности. Как в свое время в Австрии, мне суждено было также и в Англии исстрадавшимся сердцем предвидеть неотвратимое, с той лишь разницей, что здесь, как иностранец, как гость, которого терпят, я не смел предостерегать.

Таким образом, мы, кого судьба уже отметила каленым тавром, оставались в полном одиночестве, когда первое дуновение грядущего опалило нам губы, — и как мы терзались тревогой за страну, которая по-братски нас приняла!



Нет ничего более мистического, чем когда то, что ты считал давно отжившим и погребенным, вдруг наяву предстает перед тобой и в том же самом обличье. Наступило лето 1939 года, давно позади уже был Мюнхен с его кратковременной иллюзией передышки, «peace for our time»; уже Гитлер, вопреки клятвам и торжественным заверениям, напал на изувеченную Чехословакию и захватил ее, уже был захвачен Мемель, германская пресса в иступлении требовала Данциг с польским коридором.

В Англии наступило горькое прозрение от ее снисходительного попустительства. Даже простые, неискушенные люди, которые лишь неосознанно чувствовали отвращение к войне, начали выражать резкое негодование. Каждый из обычно столь сдержанных англичан заговаривал сам — портье, охранявший наш многоквартирный дом, мальчик-лифтер в лифте, горничная, прибиравшая в комнате. Никто из них отчетливо не понимал, что происходит, но каждый помнил об одном, неопровержимо очевидном, что Чемберлен, премьер-министр Англии, чтобы спасти мир, трижды летал в Германию и так и не смог убагатворить Гитлера. В английском парламенте вдруг послышались твердые голоса: «Stop aggression!»*, повсюду ощущались приготовления к предстоящей войне.

Снова светлые аэролаты — они еще выглядели невинными

* Остановить агрессию! (англ.)

серыми детскими игрушечными слонами — начали зависать над Лондоном, опять рылись бомбоубежища и тщательно примерялись выданные противогазы. Положение стало столь же напряженным, как и год назад, а возможно, еще напряженнее, потому что на этот раз за правительством стояло уже не наивное и доверчивое, а решительное и протестующее население.

В те дни я оставил Лондон и перебрался в Бат. Никогда в жизни я не ощущал бессилие человека перед мировыми событиями более трагично. Я сидел в своей комнате, как и все другие, беззащитный, как муха, бессильный, как улитка, в то время как речь шла о жизни и смерти, обо мне самом и моем будущем, о созревающих в моем мозгу мыслях, рожденных и нерожденных планах, о моей работе и отдыхе, моей воле, моем имуществе, обо всем моем бытии. А я все сидел и ждал, вглядываясь в пустоту, как осужденный в его камере, замурованный, вставленный, словно звено в цепь, в это бессмысленное, бессильное ожидание, а меня окружали такие же заключенные и так же вопрошали, гадали и спорили, будто кто-то из нас знал или мог знать, кто и каким образом распорядился нами.

Звонил телефон, и кто-либо из друзей спрашивал, что я думаю. Приходила газета, которая запутывала все еще больше. По радио передавали сообщения, и одно противоречило другому. Тогда я выходил на улицу, и первый встречный начинал выпытывать у меня, столь же неосведомленного, мое мнение, будет война или нет. А я, обеспокоенный, вместо ответа сам спрашивал и говорил, обсуждал и спорил, хотя прекрасно понимал, что всякое знание, всякий опыт, любое предвидение, все накопленное и усвоенное за многие годы ничего не стоит, что вторично за двадцать пять лет снова оказался бессильным и безвольным перед судьбой, а бессвязные мысли стучали в висках, отдаваясь болью.

В конце концов я больше не мог вынести большого города, потому что на каждом углу posters*, крупные заголовки на-

*Плакаты, объявления (англ.).

брасывались на человека с кричащими словами, как бешеные собаки, а я невольно пытался прочесть на лице у каждого из тысяч людей, мелькавших мимо, о чем он думает. А думали мы ведь все об одном и том же, думали только о «да» или «нет», о черном и красном в решающей игре, в которой для меня ставкой была вся моя жизнь, мои последние сбереженные годы, мои ненаписанные книги, все, в чем до сих пор я видел мою задачу, смысл жизни.

Но, выматывая нервы своей медлительностью, шарик рулетки дипломатии неуверенно катился то туда, то обратно, сюда и туда, туда и сюда, черное и красное, красное и черное, надежда и разочарование, хорошие вести и плохие вести, и все еще не последние, не окончательные. «Забудь! — говорил я себе. — Спасайся бегством, беги в твой внутренний мир, в твою работу, туда, где ты просто живое существо, не гражданин государства, не ставка в этой дьявольской игре, в единственное прибежище в обезумевшем мире, где крупица твоего рассудка еще может трудиться».

В работе недостатка не было. Многие годы я непрерывно накапливал материал для большого, двухтомного жизнеописания Бальзака и его творчества, но никак не хватало решимости приняться за столь объемную, рассчитанную на длительный срок работу. Но именно отсутствие мужества в данный момент дало мне мужество приступить к ней. Я перебрался в Бат — и не случайно, потому что этот город, где писали многие из тех, кто прославил английскую литературу, прежде всего Филдинг, более достоверно и проникновенно, чем любой иной город Англии, создает перед застывшим взором иллюзию другого, более мирного столетия — восемнадцатого.

Но как же мучительно контрастировал этот мягкий, наделенный столь нежной красотой ландшафт с растущим беспокойством мира и моих мыслей! Точно так же, как июль 1914-го был наилучшим из всех, что я помню в Австрии, столь же вызывающе изумительным был этот август 1939 года в Англии. Опять мягкое, шелковисто-голубое небо, словно шатер

господний, опять эти добрые лучи солнца над полями и лесами, к тому же неопишное великолепие цветов, — тот же вечный покой над землей, в то время как на ней люди вооружались к войне. Невероятным, как тогда, казалось безумие перед этим мирным, ликующим, пышным цветением, этим наслаждающимся собственным дыханием покоем в долинах Бата, которые своей прелестью необычайно напоминали мне те долины под Баденом.

И снова я не хотел верить в плохое. Снова я, как тогда, готовился к летней поездке. На первую неделю сентября 1939 года в Стокгольме был назначен конгресс Пен-клуба, и шведские товарищи пригласили меня — поскольку я не представлял больше никакой нации — в качестве почетного гостя; каждый день, каждый вечер в ходе конгресса был заранее расписан гостеприимными хозяевами до минуты. Я давно уже заказал билет на корабль, но тут, опережая друг друга, появились угрожающие сообщения о предстоящей мобилизации. По всем законам разума мне следовало бы теперь быстро собрать свои книги, свои рукописи и покинуть Британские острова как потенциальную воюющую страну, ибо в Англии я был иностранцем, а в случае войны — тотчас же иностранцем-неприятелем, которому грозило всякое ограничение свободы.

Но что-то необъяснимое восставало во мне против спасения бегством. Отчасти это было упрямое нежелание бежать снова и снова, так как судьба все равно догонит повсюду; отчасти это была уже подступившая усталость. «Такими время встретим мы, какими нас оно застигнет», — вспомнил я слова Шекспира. Если ты ему нужен, то, на шестом десятке, нет смысла сопротивляться ему далее! Над твоей лучшей, твоей прожитой жизнью оно ведь уже не властно.

И в итоге я остался. Прежде всего я хотел по возможности упорядочить свое гражданское состояние, и так как у меня было намерение вступить во второй брак, то решил не терять ни мгновения, чтобы из-за интернирования или других непредвиденных обстоятельств не быть разлученным надолго со

своей спутницей жизни. Таким образом, я отправился в то утро — это было 1 сентября, пятница, — в нотариальную контору в Бате, чтобы оформить свой брак. Служащий принял наши бумаги, выказав невероятную благожелательность и усердие. Он, как и каждый в это время, понимал наше желание избежать проволочек. Бракосочетание должно было состояться на следующий день; он взял ручку и начал вписывать в свою книгу наши имена красивыми круглыми буквами.

В этот момент — вероятно, около одиннадцати часов — дверь соседней комнаты резко распахнулась. Молодой клерк ворвался в комнату, на ходу надевая пиджак. «Немцы напали на Польшу. Это — война!» — громко раздался его голос в тишине помещения. Слово это молотом ударило меня в сердце. Но сердца нашего поколения уже привыкли к любым жестоким ударам. «До войны дело еще не дошло», — сказал я, искренне убежденный. Но служащий был чуть ли не взбешен. «Нет, — крикнул он резко, — с нас хватит! Нельзя каждые шесть месяцев начинать все сначала! Пора покончить с этим!»

Между тем другой служащий, уже начавший заполнять нам свидетельство о браке, задумчиво отложил ручку в сторону. В конце концов, ведь мы иностранцы, рассуждал он, и в случае войны автоматически становимся враждебными иностранцами. Он не знает, разрешается ли заключать брак в подобных обстоятельствах. Он сожалеет, но в любом случае ему придется обратиться за инструкцией в Лондон. Затем прошли еще два дня ожидания, надежд, страхов, два дня ужасающего напряжения. В воскресенье утром радио передало сообщение, что Англия объявила войну Германии.



Это было странное утро. Молча отходили от радио, швырнувшего в пространство известие, которому суждено пережить столетия, — известие, которому предназначено было коренным образом изменить наш мир и жизнь каждого из нас; известие, которое для тысяч из тех, кто молча в него вслуши-

вался, таило в себе смерть, скорбь и несчастье, отчаянье и угрозу для нас всех и, возможно, спустя многие годы — содержание творчества. Это снова была война, война, более ужасная и разгорающаяся все шире, чем любая из бывших когда-либо на земле. Опять кончалась одна эпоха, опять начиналась другая. Мы молча стояли в комнате, вдруг ставшей тихой, как дыхание, и избегали смотреть друг на друга. Снаружи доносилось беззаботное щебетание птиц, предававшихся под теплым ветром легкомысленной любовной игре, и в золотом блеске света шелестели деревья, словно их листья, как губы, хотели нежно прикоснуться друг к другу. Она опять ничего не ведала, древняя мать-природа, о тревогах ее созданий.

Я прошел в свою комнату и собрал вещи в небольшой чемодан. Если подтвердится то, о чем меня заранее предупредил занимавший высокий пост друг, то мы, австрийцы, будем отнесены в Англии к немцам и нам следует ожидать тех же ограничений; возможно, ночью мне уже не придется спать в своей постели. Снова я опустился ступенью ниже, вот уже час больше не просто иностранец в этой стране, а *enemy alien*, враждебный иностранец, насильственно высылаемый обратно, туда, куда совсем не тянулась моя душа.

Ибо можно ли было придумать более абсурдную ситуацию для человека, давно уже выдворенного из Германии, заклеенного как «антинемец» из-за его национальности и образа мыслей, чтобы теперь, в другой стране, в силу бюрократического указа принудительным путем причислить его к общности, к которой он как австриец никогда не принадлежал? Одним росчерком пера смысл целой жизни превратился в бессмыслицу; я писал, я думаю еще на немецком языке, но каждая мысль, которую я вынашивал, каждое желание, которое я чувствовал, принадлежало странам, которые встали на защиту свободы мира. Всякая другая связь, все бывшее в прошлом было разбито и развеяно, и я знал, что и после этой войны снова придется начинать все сначала. Ибо самая священная задача, которой я всей силой своей убежденности служил в

течение сорока лет — мирное единение Европы, — оказалась неразрешимой. То, чего я страшился больше, чем собственной смерти, — война всех против всех была развязана вторично. И тот, кто целую жизнь страстно стремился к духовному и человеческому единению, ощущал себя в этот час, как никакой другой требовавший несокрушимого единства, из-за этой неожиданной изолированности бесполезным и одиноким как никогда в своей жизни.

Чтобы бросить последний взгляд на мирную жизнь, я еще раз вышел в город. Он тихо лежал в полуденном свете и был таким, как обычно. Люди обычным шагом шли своим обычным путем. Они не спешили и не собирались группами для разговоров. По-воскресному спокойно и невозмутимо было их поведение, и в какой-то момент я спросил себя: неужели они еще не знают всего? Но это были англичане, привыкшие владеть своими чувствами. Они не нуждались ни в знаменах и барабанах, ни в шуме и музыке, чтобы подкрепить себя в твердой, без всякой ложной патетики решимости.

Насколько иначе выглядело это в июльские дни 1914 года в Австрии, но насколько другим, чем тот молодой неопытный человек, стал и я сам, столь тяжело обремененный воспоминаниями! Я знал, что такое войны, и, глядя на изобильные, сверкающие магазины, совершенно отчетливо увидел магазины 1918 года, разграбленные и пустые, точно открытыми глазами глядящие на тебя. Как в вешем сне, видел я длинные очереди убитых горем женщин перед продовольственными лавками, матерей в трауре, раненых, калек — все эти ночные кошмары былого, точно призрак, вставали в ярком полуденном свете. Мне вспомнились наши бывалые солдаты, вернувшиеся с войны смертельно усталыми и одетыми в лохмотья, мое бьющееся сердце чувствовало всю прошлую войну в той, которая началась сегодня и ужасы которой еще были недоступны взору.

И я знал: опять все прошлое осталось позади, все свершения уничтожены — Европа, наша родина, для которой мы

жили, разрушена на срок намного больший, чем наши собственные жизни. Началась какая-то иная, новая эра, но сколько кругов ада потребуется еще пройти, чтобы изжить ее?

Солнце светило ослепительно ярко. Когда я направился домой, взгляд вдруг упал на мою тень, шагающую впереди; и так же я увидел тень другой войны — позади нынешней. Она не покидала меня все это время, эта тень, она омрачала каждую из моих мыслей днем и ночью; возможно, ее темный отпечаток лежит на некоторых страницах этой книги. Но каждая тень в конечном счете тоже ведь дитя света, и лишь тот, кто познал светлое и темное, войну и мир, подъем и падение, лишь тот действительно жил.



СОДЕРЖАНИЕ

МАРИЯ СТЮАРТ. *Перевод Р. Гальпериной*

Вступление	7
Глава I	
Королева-дитя	15
Глава II	
Юность во Франции	26
Глава III	
Вдовствующая королева и все же королева	39
Глава IV	
Возвращение в Шотландию	56
Глава V	
Камень покотился	72
Глава VI	
Оживление на политическом аукционе невест	85
Глава VII	
Второе замужество	106
Глава VIII	
Роковая ночь в Холируде	122
Глава IX	
Преданные предатели	141
Глава X	
В непроходимых дебрях	156
Глава XI	
Трагедия любви	173

Г л а в а X I I	
Дорога к убийству	199
Г л а в а X I I I	
Quos deus perdere vult...	215
Г л а в а X I V	
Путь безысходный	234
Г л а в а X V	
Низложение	259
Г л а в а X V I	
Прощание со свободой	273
Г л а в а X V I I	
Беглянке свивают петлю	287
Г л а в а X V I I I	
Петля затягивается	298
Г л а в а X I X	
Годы в тени	310
Г л а в а X X	
Последний круг	324
Г л а в а X X I	
Дело идет к концу	336
Г л а в а X X I I	
Елизавета против Елизаветы	359
Г л а в а X X I I I	
«В моем конце мое начало»	381
Водевиль	393

ВЧЕРАШНИЙ МИР. ВОСПОМИНАНИЯ ЕВРОПЕЙЦА

Перевод Г. Кагана

Предисловие	405
Мир надежности	411
Школа в прошлом столетии	432
Заря Эроса	467
Universitas vitae	486
Город вечной юности — Париж	510
Окольный путь к самому себе	543
За пределы Европы	560

Блеск и тени над Европой	573
Первые часы войны 1914 года	594
Борьба за духовное братство	616
В сердце Европы	632
Возвращение в Австрию	658
Снова в мире	680
Закат	700
Гитлер incipit	726
Агония мира	757

СТЕФАН ЦВЕЙГ

**Собрание сочинений
в десяти томах**

Том восьмой

Редактор

И. Шурыгина

Художественный редактор

И. Марев

Технический редактор

Г. Шитова

Корректоры

Н. Кузнецова, И. Сахарук

ЛР № 030129 от 23.10.96 г.

Подписано в печать 04.12.96 г. Уч.-изд. л. 39,5.

Цена 37 600 р.

Цена для членов клуба 34 200 р.

Издательский центр «ТЕРРА».

113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

**Издательский центр «Терра»
предлагает:**

Лот № 235

Ги де Мопассан

Собрание сочинений в десяти томах

Произведения Ги де Мопассана (1850—1893) — французского писателя, одного из последних великих французских реалистов XIX в. — были переведены и изданы в России еще в XIX в., первым его пропагандистом был И. С. Тургенев. Искусству этого писателя свойственны строгая внутренняя художественная логика, сжатость, точность и ясность языка. В десяти-томное Собрание сочинений автора вошли романы «Монт Ориоль», «На воде», «Пьер и Жан», «Сильна как смерть», «Наше сердце» и др., новеллы, рассказы, статьи, очерки, письма, драматургия и стихотворения писателя.



Лот № 177

Ж. Санд

Собрание сочинений в четырнадцати томах

Произведения французской писательницы XIX века Жорж Санд — под этим псевдонимом публиковала свои романы Аврора Дюпен — пользуются заслуженным успехом у читателей всего мира. В Собрание сочинений включены романы «Индиана», «Валентина», «Лелия», «Леоне Леони», «Странствующий подмастерье», «Ускок», «Орас», «Маркиз де Вильмер», «Консуэло», «Графиня Рудольштадт», «Мельник из Анжибо», «Лукреция Флориани», «Пиччинино», «Мон-Ревеш», «Она и он», «Исповедь молодой девушки», «Снеговик», «Нанон» и др., а также повести и статьи.

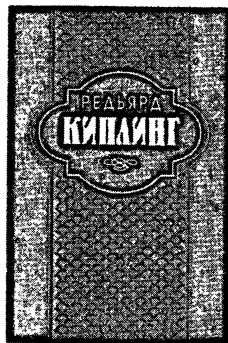


Лот № 210

Р. Киплинг

Собрание сочинений в шести томах

Произведения классика английской литературы Редьярда Киплинга — при всем их жанровом многообразии — отличает отточенность стиля, простота и сила художественной образности и, главное, стремление автора служить словом «простому человеку», помочь ему победить страдания и одиночество, научить мужеству и стойкости. В шеститомное Собрание сочинений включены романы «Ким», «Наулака», «Отважные мореплаватели», «Свет погас», «История Бадалии Херодсфут» и др., рассказы, сказки и легенды, лирика.



*Книги издательства «ТЕРРА»
можно купить в магазинах по адресу:*

113399, Москва, ул. Мартеновская, 9/13,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 1.
Тел. 304-57-98, 304-61-13

113216, Москва, б-р Дмитрия Донского, 14 б,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 2.
Тел. 712-34-54

123022, Москва, ул. Красная Пресня, 29,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 3.
Тел. 252-03-50

129110, Москва, пр. Мира, 79, стр. 1,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 4.
Тел. 281-81-01

или заказать по адресу:

109033, Москва, а/я 66.